

ОТ ПЕРВОГО
ЛИЦА
история России
в воспоминаниях
дневниках
письмах

Екатерина Мышкис

МОИ ПЯТЬ ЖИЗНЕЙ





РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

**Ю.А. Веденин (председатель), А.И. Зорин,
А.П. Ненароков, О.Н. Постникова,
М.О. Чудакова, Л.С. Янович**

**ОТ ПЕРВОГО
ЛИЦА**
история России
в воспоминаниях
дневниках
письмах

Екатерина Мышкис
**МОИ ПЯТЬ
ЖИЗНЕЙ**
Воспоминания

ББК 83.3(2=411.2)

УДК:821.161.1

М 96

Мышкис Е.Д.

Мои пять жизней. Воспоминания. / Публикация и предисловие Г. Ганзбурга. – М.: Новый хронограф, 2019 – 690 с., ил.

ISBN 978-5-94881-452-0

Екатерина Дмитриевна Мышкис (урожденная Кутырина 13.10.1924–9.06.2014) – историк-медиевист и филолог (канд. ист. наук), жена известного математика А.Д. Мышкиса – преподавала в Харьковском университете и Харьковской консерватории. Она начала писать свои мемуары по просьбе Г.И. Ганзбурга в конце 1980-х гг. и работала над ними до своей смерти. Содержание охватывает историю рода Кутыриных, жизнь в довоенном Ленинграде, работу в блокадном Ленинграде, спасение по «дороге жизни», эвакуацию, работу в послевоенной Прибалтике, потом в Харькове, эмиграцию 1991 года в Израиль.

Достоверность фактологии ставит книгу в ряд важных документальных источников, а ее богатое содержание и стиль изложения могут заинтересовать широкий круг читателей.

ISBN 978-5-94881-452-0

© Ганзбург Г.И., автор предисловия, 2019.

© Мышкис П.А., 2019.

© Издательство «Новый хронограф», 2019.

От публикатора

Екатерина Дмитриевна Мышкис (урожденная Кутырина, 13.10.1924 – 9.06.2014), коренная петербурженка, филолог и историк-медиевист, кандидат исторических наук (диссертацию на тему «Рижские цехи в XVI веке и “календарные беспорядки” в Риге 1585–1589 годов» защитила в Москве в 1951 году). В 1940–1960-е годы была женой выдающегося математика, профессора А. Д. Мышкиса. Преподавала в Харьковском университете историю, позже работала в Харьковской консерватории (Институте искусств) преподавателем немецкого языка, параллельно читая лекции по истории живописи. В 1991 году эмигрировала с семьей в Израиль.

Мне посчастливилось быть студентом Е. Д. Мышкис в 1970-х годах и помимо учебного курса слышать от нее захватывающие рассказы о жизни и об истории семьи, где в каждом поколении старшую дочь называли Екатериной в честь императрицы Екатерины II, даровавшей Кутыриным дворянство (жалованная грамота с подписью императрицы хранилась в семье и была сожжена вместе с другими бумагами умершего от голода отца Е.Д., – Дмитрия Владимировича Кутырина – перед эвакуацией из блокадного Ленинграда).

На мои уговоры записать воспоминания Е.Д. долго не поддавалась, предвидя колоссальный объем предстоящей работы. Кроме того, она не верила, что когда-либо удастся «пробить через цензуру» издание такой книги. Я же уверял, что эта книга когда-нибудь обязательно будет напечатана и станет бестселлером.

Лишь к концу 1980-х годов Е.Д. согласилась надиктовать мне в виде интервью свои воспоминания, она сказала, что, возможно, это будет интересно внукам, и предполагала потратить на это всего несколько часов, ограничившись перечислением известных ей родственников с кратким рассказом о жизни каждого из них в форме комментариев к сохранившимся фотографиям из семейного альбома. Но «лиха беда начало». Втянувшись в эту работу, которая всколыхнула, казалось, давно забытые пласты памяти, Е.Д. заново мысленно пережила давние события, смогла шаг за шагом восстановить и зафиксировать такие житейские подробности довоенного, блокадного и послевоенного быта, о которых невозможно узнать из других источников. (То же касается «негласных» запретов и ограничений, которые существовали в советское время, но не были отражены в официальной печати, а диктовались чиновниками в устной форме). Таким образом, в ходе работы над семейной историей замысел расширился: Е.Д. согласилась со мной в том, что читателям ее воспоминаний будут интересны не только сведения о старых фотографиях, но и подробное, последовательное повествование о ее жизни, включая страшные военные впечатления, суждения об истории и политике, многолетние размышления об искусстве, литературе, педагогике, науке... Особенно трудно было уговорить ее решиться рассказать под запись жуткие подробности о жизни в блокадном Ленинграде.

Несколько лет, с конца 1980-х годов до ее отъезда за границу я записывал рассказы Е.Д. на большой бобинный магнитофон. Тогда у нас еще не было портативных диктофонов, и работа шла медленно, с многодневными перерывами, поскольку для аудиозаписи приходилось специально собираться у меня дома, что при нашей обоюдной занятости (у каждого – преподавательская нагрузка и чтение публичных лекций) удавалось не часто; к тому же не каждый раз удавалось улучшить такой момент, когда у Е.Д. есть соответствующее настроение (даже, можно сказать, – вдохновение), без которого интервью получилось бы скучным и никому не интересным. О видеозаписи (такой доступной и легкой при сегодняшней технике) мы тогда не могли и мечтать.

Позже, в 1990-е годы, Е.Д. присылала мне из Израиля магнитофонные кассеты с новыми главами воспоминаний. Мы в Харькове эти аудиозаписи расшифровывали, набирали на компьютере, распечатывали и отправляли ей на вычитку. И хотя звукозаписывающая аппаратура в те годы стала более компактной и удобной, некоторые фрагменты она не наговаривала на магнитофон, а дописывала на бумаге и присылала почтой в рукописном виде, но и в таких «неозвученных» частях текста сохраняется живая интонация речи. Эта работа длилась много лет вплоть до смерти Е.Д. (умерла она в возрасте 89 лет, до конца сохранив ясность ума и параллельно с написанием воспоминаний все эти годы работая над оригинальным авторским учебником немецкого языка «Веселая грамматика», издать который пока не удалось).

Рукопись воспоминаний редактировалась мной при жизни Е.Д. (с частыми консультациями и согласованиями по телефону) и потом в течении нескольких лет после ее смерти. Сложность в том, что магнитофонные записи разных годов в ряде случаев содержат повторы одних и тех же эпизодов, но с разными подробностями. Выбрать один из нескольких вариантов и дополнить итоговый текст подробностями, взятыми из других вариантов, – задача, не имеющая однозначного решения. Возможно, в будущем, если эта книга будет котироваться как исторический источник (которым она, безусловно, является), текстологи подготовят новое научное издание на основе критического анализа всех имеющихся фонографических и рукописных вариантов, но это работа не быстрая.

Читателю полезно иметь в виду, что в 2007 г. была издана ценная мемуарная книга профессора Анатолия Дмитриевича Мышкиса «Советские математики. Мои воспоминания». Понятно, что мемуарные книги бывших супругов – Е.Д. и А.Д. – взаимодополняют друг друга.

За время подготовки к печати книги Е.Д. нам удалось опубликовать в периодике небольшой, но очень важный для исторической науки и для разных групп читателей фрагмент – о жизни в блокадном Ленинграде, сообщающий такие подробности, каких не найти в другой литературе по этой теме. Один вариант текста о блокаде опубликовала

музыковед Марина Кацева в журнале «Чайка», США (2016); другой, более полный и выверенный вариант текста опубликован мною в журнале «Знамя» (2017 – №10), за что я признателен главному редактору журнала Сергею Чупринину и редактору Ольге Балла-Гертман. Для полной публикации воспоминаний отдельной книгой долго не удавалось найти подходящее издательство и я благодарен за подсказку ныне покойному Леониду Баткину, который раньше меня узнал об издательстве «Новый хронограф» и высоко оценил качество его работы, публикуя в этом издательстве свои воспоминания и «Избранные труды в шести томах».

Книга воспоминаний Е. Д. Мышкис публикуется ныне для широкого читателя. Это соответствует пожеланию автора, неоднократно высказанному ею в последние годы жизни, и отличается от ее первоначального намерения адресовать воспоминания лишь членам своей семьи. К сожалению, первоначальные адресаты, прямые потомки Е.Д., живущие ныне в разных странах, постепенно, с каждым поколением утрачивают знание русского литературного языка и возможность оценить красоту речи и самобытность стиля Е.Д., но я верю, что вскоре для них (и не только для них) будут осуществлены переводы этой книги на другие языки.

Григорий Ганзбург,
канд. искусствоведения

12 марта 2019 г., Харьков

Предыстория

Ну что ж, я решила начать с того, с чего начинают всегда, – со знакомства, с имени.

Так получилось, что сейчас под одной крышей живем мы вместе – все четыре Кати. Познакомившись с нами, все спрашивают, почему это у нас так странно: всех называют одним именем?

Очень давно в нашей семье сложилась такая легенда. Что-нибудь, конечно, в этой легенде – правда. Не станет же ни с того, ни с сего столько поколений женщин называть своих дочерей Катеринами, и притом только старших. Наверное, что-то правда. Но может быть, что-то в этой легенде и не совсем так, как я ее себе представляла.

* * *

Когда-то, в XVIII веке, на Руси было модно среди интеллигентных, богатых дворян, которые знакомились с литературой по сельскому хозяйству – с английской, французской – свое хозяйство организовывать по образцу того, о чем они читали. А в это время жил да был некий помещик. Жены у него не было, она умерла, когда ребенок только родился, и оставила она у него на руках дочь, названную Екатериной. Это было в конце XVIII века.

Девочка росла. Отец дал ей очень хорошее образование, занимался с ней всем на свете, науками, которым в те времена дворянские девушки не обучались. Отец, по всей видимости, был офицером, военным, потому что обучал ее математике, языкам... У помещика была

большая библиотека, а Катерина очень любила читать и учиться. Всю свою библиотеку она перечитала. Она выросла чрезвычайно образованной для своего времени.

Имена их были в средней полосе России, где-то, видимо, в районе Медыни.

И как-то получилось, что не вышла она замуж. Отец ее умер, оставив ей по тем временам очень даже хорошее состояние – большое и хорошо управляемое поместье. Вот тогда-то Катерина и решила управлять своим имением сама. Она выписала иностранные журналы, пришла к выводу, что в ее климате и в ее почвенных зонах будут хорошо произрастать плодовые, и стала разводить плодовые сады. Но для того, чтобы культурно разводить плодородное хозяйство, надо же было в этом разбираться. И ей понадобился хороший садовник. Тогда выписала она откуда-то из Италии квалифицированного человека – знатока по разведению садовых культур.

Не могу вам сказать, сколько прожил этот садовник, не могу вам рассказать что-то еще об этой выдающейся женщине, кроме уже сказанного.

Шли годы... Как-то замуж она все не выходила... Может быть потому, что была слишком образована для своего круга... Кроме того, она привыкла распоряжаться всем сама... Женихи не находились, а если и находились – в общем, брака не получалось.

Хозяйство процветало. Имение давало хороший доход, Катерина была богата. Крестьян своих она перевела с барщины на оброк – что делали тогда отнюдь не многие¹.

И вот, в один прекрасный день пришел якобы к ней этот садовник и принес младенца женского пола... В истории ничего не говорилось о том, прижитый ли ребенок этим садовником с кем-то из девушек в деревне, или это был ребенок Катерины, может быть, от того же итальянца. Такие вещи тоже случались...

¹ Сравните: у Пушкина «Ярем он барщины старинной оброком легким заменил». Оброк был более прогрессивен: давал больше возможности для развития крестьянского хозяйства и большие доходы помещику.

Эта помещица – Катерина – девочку удочерила; ее окрестили тоже Екатериной, в честь ее приемной (или настоящей) матери. А помещица эта (Екатерина) пожелала, чтобы впредь во всех последующих поколениях в ее потомстве старшие дочери получали бы имя Екатерина в память о ней. (Фамилии девушки получали от мужей, когда выходили замуж).

И так стала эта девочка расти в имении, как дочь, как единственная наследница богатейшего и прекрасно организованного поместья.

В конце XVIII – начале XIX в. в среде помещиков росло стремление к роскоши, процветали постоянные игры в карты с большими проигрышами, пьянство².

Но наша героиня-помещица в карты не играла, не пьянствовала, а свои доходы (вовсе не малые!) вкладывала в развитие хозяйства.

Ее дочь – Катерина – выросла очень-очень богатой невестой. Пришло время, и выдали ее замуж. И начала она свою жизнь с человеком по фамилии Отрыганьев. Была ли эта фамилия действительная – я не знаю.

Оказалась эта Катерина (вторая в нашем семействе) женщиной – ну, как бы сказать – невероятно плодovитой. Ведь в те времена дворянки сами детей не кормили, были кормилицы.

И было у нее – сейчас не помню точно – очень много детей. У нас хранился довольно долго так называемый дагерротипный портрет. Она было снята в середине с ребеночком-младенцем на руках. А вокруг были фотографии всех ее детей. Самый старший был уже студентом.

Стало известно в округе, что у нее было так много детей и что все они были живы и здоровы; это растрогало кого-то из чиновников, т.к. тогда обычно умирало много детей, а это был редкий случай. И об этом было даже доложено самому государю императору.

Тогда ее пригласили ко двору, и подарил ей царь какую-то необык-

² М.Ю. Лотман. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века). СПб.: Искусство-СПб, 1994. – С. 108109.

новенную бриллиантовую штуку, которая представляла собой звезду. С ней она и была запечатлена на этом портрете.

Ну, хорошо... Это хорошо, когда детей много и когда они все здоровы – это прекрасно. Но у нас ведь в России не было права майората³. И потому, когда родители скончались, их имение и все, что было, должно было быть поделено между всеми детьми.

Девочкам надо было выдать приданое, а молодых людей надо было обеспечить каким-то имуществом. Ну, естественно, что в этой семье первую девочку, назвали – ну, конечно! – в честь той Катерины, с которой начался наш рассказ. Потому что это было ее завещание. Это была ее просьба ко всем последующим дочерям своей семьи: первую дочь в семье называть Катериной.

И вот эта-то Катерина (в девичестве Отрыганьева) и была моей бабушкой Екатериной Александровной Кутыриной.

Эта-то Катерина и оказалась невестой с богатой перспективой, но фактически без больших средств; однако все думали, что она будет очень богата, потому что ее родители были богаты, и она должна была получить наследство. Но это наследство ведь было поделено чуть ли не на двадцать частей! Человек, который женился на этой Катерине, на старшей дочери в семье, на моей бабушке, и был моим дедом. Он был человеком, по-видимому, очень жестоким и малоприятным, потому что о нем дошли рассказы, рисующие его крайне несимпатичным. Он был весьма разочарован тем, что не получил больших средств в качестве приданого за моей бабушкой; а поскольку он почти ничего не получил в приданое, то то немногое, что бабушка имела, он очень быстро промотал в карты и в попойках (свою собственность женщина имела и после вступления в брак). Он был картежником, гулял на все стороны, и личная жизнь моей бабушки была очень несчастливой. От мужа, с которым бабушка прожила лет 12–15, было у бабушки шестеро детей.

³ Майорат (от латинского *maior* – старший) в феодальном и буржуазном праве система наследования, при которой все имущество переходит нераздельно к старшему из сыновей умершего.

Было два сына: мой отец – Дмитрий, его брат – Владимир, и дочери: Екатерина, Лидия, Анастасия и Александра. Все они выжили, все были взрослыми, и о каждом я потом немного расскажу.

Деда моего звали Владимир Дмитриевич; это тоже было родовое имя; Владимир Дмитриевич Кутырин. Остались мрачные воспоминания о том, что в семье он бывал мало, все время куда-то уезжал... ярмарки какие-то... жил весело.

Последний акт этой истории – как он оказался непорядочным по отношению к одной из крепостных девушек (крепостное право по этой губернии еще отменено не было) и вызвал ненависть ее жениха. Жених ее был конюхом, работал в имении моей бабушки Екатерины Александровны.

Небольшая деревенька, поместье, которое находилось километрах, наверное, в двенадцати от теперешнего города Малоярославца, было уничтожено пожаром. История эта такая (ее мне рассказывали папа и тетки, когда я была уже взрослая): значит, в одну ночь дворня вывела бабушку и сказала: «Барыня, тихо». Ее шестерых детей, которых одели, тоже вывели из дома и тоже предупредили, чтобы «шума не поднимали». И одновременно дом был подожжен с разных сторон⁴.

Остался только сарайчик, в котором были какие-то ненужные вещи, и где почему-то оказалась керосиновая лампа, которую туда снесли, уж не знаю, по каким соображениям. Лампа очень красива: ее нижняя часть в виде декоративной вазы стоит сейчас против меня на шкафу. Я так и вожу ее с собой всю свою жизнь.

Бабушка моя, та самая Екатерина Александровна Кутырина, которую я уже близко знала, осталась со своими шестью детьми, по сути дела, без всяких средств. Так вот. Дедушка же мой не сгорел – вопреки ожиданиям тех, кто поджигал дом. А дом поджигал его конюх, и он поджигал его потому, что дедушка мой – ну, в общем, насильно ли

⁴ Это место называлось, кажется, Бобровники; мы часто ходили туда гулять. Сохранились только следы фундамента дома и потрясающе красивая березовая аллея, где мы собирали грибы.

не знаю как, но (как в те времена говорили) «испортил» его невесту. Вообще, дедушка мой был, так сказать, специалист по этому роду деятельности. Его буквально ненавидели во всей деревне. Но во время пожара он как-то услышал шум или почувал дым и выскочил из дому в чем был и вынес в панике только одну зубную щетку.

Дом горел как факел.

А бабушка с детьми, видя, как горит дом и все, что в нем было, порадовалась только, что дети одеты в теплую зимнюю одежду. Потому что пожар этот происходил зимой. И осталась моя бабушка Екатерина Александровна Кутырина со своими шестью ребятами в этом самом сарайчике, из которого я всю свою жизнь, как уже сказала, вожу с собой керосиновую лампу как память о том, с чего пошла наша семья.

Дедушка после этого события куда-то исчез. Потом стало известно, что он женился на цыганке, пил, был картежным шулером... умер он уже после революции. На его похоронах был только мой отец. Никто больше не поехал. Из семьи его исключили, и отношение к нему было очень плохое.

На память от деда остались у меня две вещи, найденные в развалинах после пожара, обе металлические. Кастет – такая очень опасная штука – металлические кольца, соединенные вместе, которые надевали на пальцы и сжимали руку в кулак. Удар в висок кулаком с таким кастетом бывал смертелен; по преданиям, дед этой штукой бил в спину кучеров и ямщиков... Жуткое бандитское холодное оружие...

Да! Судя по всему, был дед жуткая скотина.

Вторая вещь – печатка. Печатками с инициалами, иногда с фамилией запечатывали письмо (сургуч наливался жидким и затвердевал быстро). Распечатать письмо или другое послание можно было, только взломав печатку (слова-то однокоренные!). Печатка эта состояла из двух частей: собственно печатка из бронзы представляет собой две фигурки: женщину и закалывающего ее кинжалом мужчину; он в костюме восточного рыцаря; она – вроде бы в ночной рубашке. Наверное, набег сарацинов на чей-то замок... Но группа красива... Потом оказалось, что самым интересным был постамент из серого камня,

круглый, высотой 7–8 см. Долгие годы никто не знал (ни отец, ни я), что в постаменте – тайник. Интересно, что там дед прятал?

Обнаружил этот тайник случайно мой зять перед отъездом в Израиль. Увезла я в Израиль только группу – тайник-постамент оставили: уж очень тяжелый, а жаль!

Да, вернемся к детям, которые остались в сарайчике. Помогали им крестьяне. Жизнь была очень тяжелой. Мне известно, например, что валенок было всего три пары, и гулять они могли только по очереди.

Бабушка «поднимала», «ставила на ноги» детей с большими трудностями. Сама она до замужества училась музыке, прекрасно играла на фортепьяно, была одной из любимых учениц Николая Рубинштейна⁵, училась в Московских классах и была с Рубинштейном в переписке. Письма эти, по ее просьбе, сожгла моя тетя Катя, когда бабушка умерла. Акция эта, как я понимаю теперь, была какая-то неправильная... Ну, что уж об этом. У нас теперь другие взгляды на все...

Старший мой дядюшка по имени Владимир был отдан в Кадетский офицерский корпус⁶ и вышел оттуда офицером. Когда началась Первая мировая война, он был на фронте, был тяжело ранен, и впоследствии у него была ампутирована нога. Дядя Володя был женат на подруге и соученице своей сестры, моей тети Кати. Жена дяди Володи – Соня – была очень хорошим гинекологом. Якобы у нее была своя частная клиника в Праге, а дядя Володя остаток своих дней проработал шофером такси и начал страшно пить. Потом его жена, кажется, переехала в Париж, перевезла и дядю Володю, и их следы потерялись. По слухам, умер дядя Володя в Париже.

⁵ Рубинштейн Николай Григорьевич; в 1860 г. организовал Московские музыкальные классы, которые в 1866 г. были преобразованы в Московскую консерваторию.

⁶ Кадетские корпуса – закрытые средние военные учебные заведения, преимущественно для детей офицеров (принимали туда и дворянских сыновей, как моего дядю Володю). С 1863 по 1882 гг. они назывались также «военными гимназиями», но в быту сохранялось прежнее название – «кадетские корпуса».

Как вы понимаете, в те времена никакой переписки с заграницей быть не могло. Единственное, что говорило нам о том, что они были в Праге – это какая-то посылка, переданная через оказию моей тетушке, которая должна была родить первую дочь. Это было детское приданое необыкновенной красоты, с какими-то кружевами... И вообще что-то такое, чего мы никогда не видали ни до, ни после того. Нечто, что предназначалось для новорожденного ребенка.

Ну так вот, бабушка моя, еще до замужества учившаяся в Московских музыкальных классах, очень хорошо играла. Я помню ее, когда ей было уже 80 лет. Старенькая совсем, худенькая, с палочкой, каждый день она выходила гулять в любой дождь и в любой мороз. И каждый день после завтрака она садилась за рояль и играла часа три-четыре.

Конечно, в те времена, тем более с таким мужем и с шестью детьми при ограниченных средствах никаких серьезных перспектив на музыкальные занятия у нее не было.

Вскоре после переезда семьи в Калугу (детям надо было учиться, а жить в сарайчике вряд ли хорошо при подмосковном климате) старшая сестра в семье, естественно, тоже Екатерина, окончив гимназию, вышла замуж. Она очень была хороша собой.

Ее муж, математик, хоть и не был выдающимся ученым, но работал по специальности и был состоятельным человеком и до, и после революции.

Я его знала, когда он преподавал математику или в каком-то техническом вузе во Всехсвятском, или работал в научно-исследовательском институте, тоже во Всехсвятском. Помню это уже в то время, когда жила у тети Кати в Соколе.

Фамилия моего дяди, мужа тети Кати, была Попперек (не «поперёк», а Пóпперек, через 2 «п» и с ударением на первом слоге). Судя по фамилии и по его внешности – он был невероятно смугл и черноглаз; белки глаз у него сверкали, как в гриме у негра; яркие белые зубы, крупные черты лица – может быть, он был родом из болгар?

Место, где тетя Катя жила, сейчас, наверное, называется Сокол. А тогда у Всехсвятского разделялось шоссе. И одно шоссе шло прямо,

кажется, в Серебряный Бор или куда-то в места гуляний, а другое направо, в направлении Сокола.

Мой дядя, Георгий Александрович Попперек, дал возможность своей жене стать врачом во Франции, закончить там медицинский факультет и в России войти в первую десятку женщин-врачей⁷. По просьбе тети Кати, он в первые же годы брака отправил ее учиться в Париж. Собственно, не в сам Париж, а в Монпелье, где был медицинский факультет. Тетка моя его блестяще окончила, подружилась там со своей сокурсницей Соней, которая тоже была из России. Приехав в Москву, моя тетя Катя и тетя Соня (вышедшая в Москве замуж за дядю Володю) должны были сдавать какие-то жутко страшные экзамены, потому что в те времена в России женщин врачей еще почти не было. В числе нескольких женщин (шести или десяти), получивших диплом врача за границей, тетя Катя и тетя Соня сдавали все экзамены еще раз перед очень строгой комиссией. Экзамены они сдали, и тетя Катя стала известным в Москве детским врачом – специалистом по детскому туберкулезу, а тетя Соня – гинекологом.

Немало хлопот и, вполне вероятно, что и унижений, стоило моей бабушке, Екатерине Александровне дать всем (пятерым!) детям гимназическое образование. Все они, за исключением дяди Володи, окончившего офицерский кадетский корпус, учились на «казенный кошт», т.е. бабушка ничего не платила за их обучение в гимназии (впрочем, как и за дядю Володю).

Когда мой папа и тетя Катя стали работать и хорошо зарабатывать, они и помогали младшим сестрам и годами вкладывали деньги в банк, чтобы выкупить заложенное дедом бабушкино небольшое имение Песочное где-то недалеко от Калуги и Медыни. Они выкупили это имение за несколько лет до революции.

⁷ Медицинский институт для женщин в России был открыт в Петербурге в 1897 г. Может быть, в семье считали, что во Франции медицинское образование лучше, чем в России, а может быть, моя тетушка уехала во Францию почти одновременно с открытием этого института, или немного раньше.

Какова была судьба других трех сестер – Анастасии, Александры и Лидии?

Интересна очень история Анастасии. В те времена церковью запрещался брак двух братьев на двух сестрах. То есть для такого брака нужно было получить особое разрешение у патриарха в Москве. Анастасия была моложе тети Кати намного – лет, может быть, на восемь-девять – и в то время, когда тетя Катя приехала, закончив свое обучение, была Настя молоденькой девушкой. Звали ее Анастасия Владимировна. Была она очень хорошенькой и познакомилась с младшим братом тети Катиного мужа.

Между ними начался бурный роман, и они хотели пожениться.

Но странные законы церковные: брак между людьми в таком свойстве не разрешался, то есть две сестры родные и два родных брата могли бы вступить в брак, но только с разрешения, которое получали в Москве, кажется, у самого патриарха. И вот тетя Настя и ее жених отправились туда, «бросились в ноги» и просили разрешения на этот брак. То ли патриарх выпался плохо, то ли, знаете, как в наше время было – начальник милиции мог дать разрешение на прописку, а мог не дать. Почему – никто не знает, это его дело. Так вот и тут – он этого разрешения не дал. Тогда тетя Настя сказала: «Уйду, буду жить – это называлось тогда – гражданским браком». Но бабушка моя, Катерина Александровна, была женщина крутая. «Нет! – сказала она. – Прокляну, выгоню из дому, и больше никогда нога твоя сюда не ступит!».

Это было большое горе для Насти.

И тогда тете Насте выделили небольшое приданое, и пошла тетя Настя в монастырь, приняла постриг в Шамординском женском монастыре, который назывался тогда Шамордина Пустынь. Построили ей там так называемую «келью». Ну, это избушка такая, домик. Дали ей в помощницы и надзирательницы пожилую монахиню, матушку Матрену, и стала матушка Матрена тете Насте самым близким человеком: вместе они были в ссылке; там, на руках тети Насти матушка Матрена и умерла. До революции жили они обе в Шамординском монастыре.

Тетя Настя была отличной мастерицей – она очень хорошо вышивала. Она вышивала шерстью, бисером и шелками, умела расписывать пасхальные яички необыкновенно красиво.

Она фактически работала учительницей. Приняв постриг, будучи монахиней, работала в детском доме. При Шамординском монастыре был большой детский дом для девочек. Это были все девочки-сироты, которых подбрасывали – ну, в общем, «найденныши».

Тетя Настя окончила гимназию, и это давало ей право быть учительницей. Она учила девочек грамоте, шитью, Закону Божьему, арифметике, рукоделию. В те времена многие занимались разным рукоделием.

Тетя Настя потрясающе вышивала бисером. Это очень принято было в монастырях. Она делала поделки из бисера – кошельки, воротнички, целые картины для церкви. Этому искусству обучала тетя Настя девочек. Было еще одно интересное занятие – роспись пасхальных яиц. Яйцо расписывали, разрисовывали, а потом это свежее, сырое яйцо прокалывали с двух сторон иголкой, а содержимое медленно выдували; яйца процарапывались иглой, расписывались разными красками – на них бывали целые картинки. У тети Насти были поразительно красивы эти яички, которые использовались в ритуальном обмене при христосовании. Когда была Пасха, все друг другу радовались, целовались, говорили: «Христос воскрес!» – «Воистину воскрес!», и обменивались вот этими расписными яйцами. Их продажа была одним из промыслов монастырей. Тетя Настя расписывала много таких яичек. У нас были где-то эти яички, но они очень уж хрупкие... Сколько они могли существовать? Постепенно их не стало.

Тетя Лида, окончив гимназию, тоже получила возможность поехать за границу. Она пожила во Франции, немного, кажется, на границе Франции и Германии, была в Швейцарии. Эту возможность дал ей ее дядя, родной брат матери. Он был офицером, участником русско-японской войны. Вот он и помог ей таким образом.

А тетя Шура – она даже не успела, собственно говоря, никуда и поехать. Она только успела окончить гимназию, как началась Первая

мировая война. По своим убеждениям – служить благу других людей – она пошла на фронт; на фронте была медсестрой.

Медсестрой она и работала всю жизнь, до старости. И на войне, и в мирное время – это тяжкий труд. И оплачивается он далеко не по заслугам. Всю жизнь свою тетя Шура посвятила уходу за страдающими людьми – это была ее религия, служение страждущим. У нее не было семьи, не было ничего для себя...

Мало таких людей на земле.

О сестрах отца до того, как началась моя история, было сказано: вернемся к тому времени, когда тетя Катя уехала к мужу.

Итак, бабушка, Екатерина Александровна, осталась, следовательно, со своим сыном, которым был мой папа, Дмитрий Владимирович, и с тремя дочерьми, о которых я рассказала, и которые играли разные роли в моем детстве, о чем я расскажу позже.

Отца моего приняли в гимназию города Калуги на «казенный кошт», и он прекрасно эту гимназию закончил. Гимназия давала «классическое» образование: там обучали греческому, латыни, в некоторых гимназиях – двум новым языкам, но очень плохо и мало учили математике и физике, а химии вообще не было в гимназическом курсе; а у моего отца была мечта: поступить в Горный институт и стать горным инженером.

Лет в 9–10 он прочитал одну книгу, которая и определила его будущее. В прошлом, в XIX в. работал, кажется, в Московском университете один профессор. Модест (отчества я не помню) Богданов. Он был не только видным прогрессивным натуралистом своего времени, но и писателем, и он написал прекрасную книгу для детей. Это были рассказы, очень разные по содержанию.

Я помню эту книжку, она называется «Из жизни русской природы». Эта книга даже недавно была выпущена еще раз в Советском Союзе, потому что, действительно, таких рассказов о многом в природе, как у Модеста Богданова, даже у самых лучших наших писателей я больше не встречала.

На папу поистине неизгладимое впечатление произвел рассказ под названием «Карпушкин родник». Это история о том, как деревенский мальчик заблудился в горах, забрел в какую-то пещеру и вынужден был там заночевать.

В пещере был родник с очень хорошей водой, которую брали жители ближней деревни.

На глазах измученного мальчика родник вдруг иссяк... а серые деревенские жители обвинили в том мальчика Карпушку, стали говорить, что он колдун, «выпил родник».

Приехал в деревню горный инженер (мы бы сказали геолог), нашел карстовую пустоту, в которую ушел родник, вывел родник в трубу и вернул его людям.

И вот этот-то конфликт, который папа представил себе во всех деталях, будучи мальчиком девяти-десяти лет, с тех пор и заставил его стремиться к тем знаниям, которые помогли найти этот иссякший родник приехавшему горному инженеру.

И отправился мой отец после провинциальной классической гимназии в Петербург поступать в Горный институт.

То ли в Калуге не было реального училища (именно в этих училищах преподавали те предметы, которые надо было сдавать на экзаменах в Горный институт), то ли сочла бабушка реальное училище недостаточно «дворянским»; но отец без репетиторов (поскольку денег не было) прошел самостоятельно все нужные для экзамена дисциплины в объеме реального училища.

Надо сказать, что это редкостная целеустремленность – с десяти лет до взрослого состояния стремиться к одной и той же цели!

Отец сдал экзамены и был принят в Петербургский Горный институт, закончив его первым по списку. Первым по списку – это было важно, я, кстати, видела папин матрикул⁸ – это очень интересно. В матрикуле были перечислены всякие предметы, которые он сдавал на

⁸ Матрикул – теперь называют «зачетная книжка». А то, о чем я пишу, это как бы наш вкладыш в диплом, выписка из зачетной ведомости.

государственных экзаменах. Вот там, например, было написано: ну, геология – пять, кристаллография – пять, что-то еще – пять, Закон Божий – два...

Комиссия состояла из трех человек. Протопоп какой-то за Закон Божий поставил моему папе два, еще какой-то священнослужитель тоже поставил два, а профессор Горного института поставил ему пять. Ему тогда выставили среднее – три.

Эти двойки по Закону Божьему и средняя тройка не помешали моему отцу занять первое место в списке и получить назначение по своему выбору.

Когда я работала в Харьковском институте искусств, ходили легенды, довольно характерные для того времени о том, что Святослав Рихтер долго не мог сдать экзамен по основам марксизма в Московской консерватории (не знаю, правда ли это!), что по этой причине он долго не мог ее закончить, а был он, между прочим, выдающимся исполнителем того времени.

Но если в нашем институте кто-нибудь не получал положительной отметки по дисциплине «основы марксизма-ленинизма» (современному Закону Божьему в Советском Союзе), он мог и не мечтать о дипломе. С другой стороны, и Святослав Рихтер вполне мог просто выучить то, что от него требовали, как и мой отец вполне мог выучить Закон Божий. Имел же Ленин в гимназии по этому предмету высший балл – 12...

Поэтому я думаю, что и у моего отца, и у Рихтера это была демонстрация свободомыслия. Впрочем, говорили, что Рихтер получил, в конце концов, тройку и тогда получил диплом.

В те времена был такой обычай – «места», как бы заявка на нужных специалистов, которые присылали в Горный институт разные заводы, распределялись в зависимости от того, как человек закончил. Лучше всех его закончивший получал первое место в списке, право первого выбора. Мой отец и выбрал, таким образом, Урал – Уральские пушечные заводы.

Ну вот. Так мы дошли до того места, когда мой отец, Дмитрий Владимирович Кутырин, должен был, окончив свое обучение в Пе-

тербургском горном институте, ехать по назначению.

Тут я должна еще кое о чем рассказать. Во-первых, в те времена в армию брали только одного сына, то есть, то, что Владимир был военным – это уже освобождало Дмитрия от службы в армии.

За это время с моим отцом произошла такая романтическая и трагическая история.

Он был очень выдающимся студентом, специализировался на кафедре кристаллографии, если я не ошибаюсь, где был некий профессор Шубин. И мой отец, часто бывая в доме этого человека, влюбился в его жену. А жена в него. Роман был вполне не платонический, он длился несколько лет. Жена Шубина, Евгения Николаевна, была очень красива, и хотя была старше моего отца лет на 9, но их любовь была очень пылкой. В результате их связи родилась девочка, названная Клавдией (в семье ее звали Лялей). У Шубиных уже было двое довольно больших (уже школьного возраста) детей.

Шубин сначала не знал, потом узнал... известно, что где-то на юге – в Крыму – он сел в лодку и... не вернулся. Был это несчастный случай или нет – так никто никогда и не узнал.

Может быть, он покончил с собой, а Евгения Николаевна и двое ее детей от мужа, и родившаяся от моего отца девочка, которая тоже носила фамилию Шубина, стали на долгое время семьей моего отца.

На Урал отец уже ехал с моральной обязанностью взять на себя заботу о Евгении Николаевне, двух ее детях и, естественно, о своей дочери. Как сказал Толстой, «каждая несчастная семья несчастлива по-своему». В этой сложной семье у каждого была причина чувствовать себя несчастливым.

Жили они в Перми. Дом состоял из двух частей. На одной половине жил Дмитрий Владимирович, мой отец, в другой половине жила Евгения Николаевна со своими тремя детьми. Судя по всему, старшие дети не больно-то жаловали моего отца, наверное, у них были основания.

Может быть, и мой отец, их отчим, неся все расходы по их воспитанию, не делал попыток сближения. А младшая дочь, Клавдия, – ну, так сказать, «болталась» между этими двумя половинами.

Евгению Николаевну «в обществе» не принимали. Жены папиных сослуживцев-инженеров с ней не общались.

Когда мы читаем, как Анна Каренина вошла в театр и все вокруг нее в ложе встали и ушли – вот так оно и было в жизни: такое пришлось испытать и «незаконной» жене моего отца. Было им очень тяжело. Евгению Николаевну нигде не принимали, никто не считал ее женой, т. к. она была «незаконная», т. е. «невенчанная»: их брак не имел церковного оформления и браком не считался.

Был однажды такой эпизод: папа и Евгения Николаевна были в концерте. И вот в антракте, когда зажгли свет, весь ряд встал, и все ушли, остались в целом ряду только папа и Евгения Николаевна... И они тоже ушли.

После этого случая они нигде не бывали.

Моя тетя Лида рассказывала мне, как маленькая Ляля говорила матери: «Ну что ты все говоришь ему: «Женись на мне, женись на мне». Вот возьми и сама на нем женись».

Евгения Николаевна и Ляля бывали в Песочном, где жили тетя Лида и бабушка. Старшие дети Евгении Николаевны – никогда.

Бабушка всегда обращалась к Евгении Николаевне по имени и отчеству, всегда давала понять, что Евгения Николаевна не родственница, а посторонний человек – гостья, которую принимают потому, что так уж получилось, но принимают нехотя. Лялю бабушка признавала, даже с ней фотографировалась (была у нас такая фотография); но любила ли она эту свою «незаконную» внучку – не знаю.

Отец так и не женился на Евгении Николаевне, прожив с ней много лет; не сложилось даже маломальских корректных квазиродственных отношений у моего отца ни с падчерицей, ни с пасынком. А бабушка, Екатерина Александровна, все время была категорически против женитьбы отца на Евгении Николаевне.

Они прожили в Перми до самой революции; уже после революции они пришли в официальные инстанции города и заявили, что их младшая дочь, записанная в документах как Клавдия Федоровна Шубина, не Шубина, а что она Клавдия Дмитриевна Кутырина; отец официаль-

но заявил, что она его дочь, и он это признает) С тех пор она действительно стала носить его фамилию.

В тяжелой истории гибели Шубина, в отношениях отца с Евгенией Николаевной и со старшими ее детьми никто посторонний не может быть судьей.

Я не могу сказать, кто был прав, кто виноват... то, что я сейчас рассказываю – это уже результат реконструкции по деталям, по многим отдельным высказываниям – и папы, и тетки, и бабушки, и самой Ляли. Не сразу и не вдруг возникла передо мной вся эта картина печального прошлого, а наоборот, очень как-то скачками, отрывками.

Но представляла я все это себе очень живо.

Жизнь в Перми была для Евгении Николаевны очень тяжелой, очень серой. Но жизнь есть жизнь, она шла вперед. Ляля пошла в гимназию; в Перми она еще носила фамилию Шубина.

Закончил папа свой Горный институт в 1905 г.

Отец быстро, скажем, счастливо, продвигался в служебной карьере. Приехав рядовым инженером, через несколько лет он стал главным инженером Уральских императорских пушечных заводов – очень большая должность: это же оборонная промышленность.

И вот, проработав года четыре-пять и став главным инженером, незадолго до Первой мировой войны он был послан в Европу. Должен был поехать и в Америку, но в Америку он не смог поехать из-за того, что началась война. Командировка была именно для ознакомления с состоянием дела в Европе на металлургических заводах.

Забавные какие-то детали... Отец мой был человеком очень, как говорят, везучим. Во всех лотереях – а было очень принято проводить лотереи в пользу рабочих, неимущих, в пользу семей, у которых погиб кормилец, еще каких-то – он всегда выигрывал (наверное, как я теперь понимаю, просто потому, что покупал много билетов); выигрыши всегда отдавал: швейную машину выиграл – отдал рабочему, корову выиграл – тоже отдал туда, где было много детей, тарантас выиграл – тоже отдал кому-то. Был он человеком справедливым, пользовался большой любовью сослуживцев и рабочих.

С ранних детских лет помню огромный альбом в кожаном переплете, (примерно 1м × 1м): собрание великолепных репродукций картинной галереи Лувра. Многие картины оттуда я узнавала потом, когда готовила лекции о французской живописи. Очень мы любили рассматривать этот альбом.

До сих пор хранится у меня серебряная дощечка с трогательной надписью. Этот альбом подарили отцу, когда он ушел с завода, уезжая в Москву. Написано: «От рабочих завода в Мотовилихе» – это Пермский завод.

Перед самой Первой мировой войной отца и еще одного инженера все-таки послали в Европу (и должны были послать и в Америку). Отец успел побывать в Швеции, Италии, во Франции, Англии, Германии и знакомился с постановкой металлургического производства. Но началась Первая мировая война. Отец был в это время в Германии, а тогда его и того человека, с которым он вместе ездил, посадили не то как иностранных шпионов не то как людей, у которых не было достаточных дипломатических документов.

Некоторое время в Германии они и сидели в тюрьме. Но потом их обменяли – обменяли на кого-то, кто в аналогичной ситуации оказался в России. Но еще до того, как их посадили, отец, собираясь в Америку, заранее заказал в Америке очень хороший рояль для своей матери (кабинетный, фирмы Rönisch), рассчитывая его получить перед отъездом домой, однако получить его не смог, так как в Германии он попал в тюрьму, потом вернулся оттуда, из Германии, домой, когда уже шла революция. Тогда прошла полоса погромов в России, и в Москве тоже все ждали и боялись погромов.

Как раз в это время отец оказался в Москве, и они с тетей Катей прятали тети Катиних сотрудников. Она ведь была врачом. Много было аптекарей, зубных врачей, просто врачей-евреев. Всех их тетя Катя, ее муж, Георгий Александрович, и мой отец старались уберечь, спрятать.

После революции отец приехал в Москву и работал на московском заводе АМО – первый автомобильный московский завод, который потом превратился в завод имени Сталина.

История семьи моего отца может служить яркой иллюстрацией к тому, как разоряющееся и беднеющее дворянство отходит постепенно от сельского хозяйства, пополняя частично ряды интеллигенции: папа, став представителем технической интеллигенции, обслуживал государство, работая в оборонной промышленности. Дядя Георгий как был (до революции, вероятно, преподавал математику в гимназии), так и остался представителем все той же быстро растущей русской интеллигенции.

Тетя Катя, сдав экзамены в России, стала работать детским врачом. Она специализировалась, в основном, по детскому туберкулезу, который в те времена страшно косил детей и, прежде всего, конечно, из неимущих семей; но даже и из вполне обеспеченных семей тоже дети заражались туберкулезом и умирали, в общем-то, очень часто.

Только бабушка, Екатерина Александровна, и тетя Лида жили не в городе, а в Песочном. Песочное – единственное, что осталось у моей бабушки. Это небольшое поместье недалеко от Медыни, доставшееся ей в приданое. Дед умудрился заложить и перезаложить это Песочное в дворянском банке, а мой отец, тетя Катя и дядя Георгий в течение многих лет платили большие деньги, чтобы выкупить это имение, в котором так хотела жить бабушка.

Бабушка и ее дочь, тетя Лида, жили в Песочном, а старшие дети приезжали – на каникулы, в отпуска; приезжала туда и Евгения Николаевна с Лялей, моей сестрой.

Надо сказать, что не бог весть какое завидное место это Песочное. Я там была и расскажу об этом. Лес – далеко, речка – маленькая и плохонькая, но прекрасные луга. На этом и стали существовать мои родственники, наши предки. Я уже упоминала, что крепостные этих деревень очень давно, еще в 18-м веке, были отпущены на оброк. Позже, видимо, были и там какие-нибудь управляющие из местных, понимающие в сельском хозяйстве больше бабушки и тети Лиды.

На лугах разводили молочный скот и снабжали пару московских лавок сметаной и маслом. По сути, это ведь переход на капиталистическое производство.

Связь с землей уже, конечно, оставалась весьма номинальной – это совсем другого рода хозяйство – хозяйство, ориентированное на рынок.

С началом революции жизнь, конечно, изменилась.

Папа переехал с Урала в Москву; в Москву же переехала и Евгения Николаевна с Лялей. Отец проработал на заводе АМО несколько лет.

Однажды он был на какой-то вечеринке по случаю свадьбы одной из подруг Ляли; там же была и моя мать. Отец влюбился в нее, а она, несмотря на разницу в возрасте (отец был старше лет на 26 или даже на 28!) – в него. От этого брака родилась я. На этом заканчивается предыстория и начинается уже история моей жизни.

Но, заканчивая свою предысторию, я хочу привести некоторые приблизительные хронологические расчеты, из которых я исходила, излагая ее для своих детей и внуков или для любого читателя.

Мой отец родился в 1878-м (умер в 1942-м в возрасте 64 лет). Когда он родился, бабушке было предположительно около 30 лет, так как он был не первым и не последним ребенком. Известно, что бабушка училась в Московских музыкальных классах, а в 1866 г. они были преобразованы в Московскую консерваторию. Вероятнее всего, что бабушка родилась в 1846м. В музыкальных классах она училась года 2–3, т. к. стала любимой ученицей Николая Рубинштейна. Поступали в музыкальные классы лет в 1617; проучившись в музыкальных классах и сделав большие успехи, Екатерина Александровна вернулась домой и вышла замуж, вероятно, лет двадцати.

Это позволяет думать, что моего отца она родила, лет в тридцать. Он был третьим ребенком.

Екатерина Александровна не была самой старшей в семье, но не была и младшей. Это позволяет предполагать, что ее матери, моей прабабке, когда родилась Екатерина Александровна, тоже было примерно лет тридцать. Тогда, следовательно, моя прабабка родилась примерно в 1818 г.

Но оба варианта предположений – была ли Екатерина Первая, моя прапрабабка, дочь помещика, усыновившая (удочерившая) мою прабабку, или она сама родила этого ребенка вне брака – в любом случае такое решение вряд ли могла принять молоденькая девушка; такое решение возможно уже для зрелой женщины, как мне кажется, лет в 35 или даже 40.

Высчитываем возможную дату рождения этой первой в нашем роду Екатерины, и выходит, что она родилась приблизительно году в 1783-м, может быть, в 1781-м.

Опять же, ее отцу, когда он овдовел и занялся воспитанием своей дочери, тоже было не 25–30 лет; в таком возрасте он, скорее всего, женился бы еще раз; может быть, отдал бы ребенка родственникам. А он уже был офицером в отставке, судя по тому, что он обучал свою дочь тому, что и не снилось другим девочкам ее круга.

Поэтому, вероятнее всего, что ему было около 50.

Вычисляем примерную дату его рождения и получаем, что он родился где-то в 30-е годы XVIII в.

Хотите – верьте, хотите – проверьте!

Сейчас, когда я оглядываюсь на прожитую уже жизнь, мне кажется, что я прожила не одну, а несколько жизней, настолько каждая жизнь отличалась от всех других. Как у Сетон-Томпсона жизнь трущобной кошки делилась на несколько жизней. Как будто иногда это была не я, а мне просто кто-то рассказал историю маленькой счастливой девочки. Но ведь с нею был мой папа, а значит, это была я – я и никто другой.

Жизнь Первая

...неповторимая пора детства!

Как не любить, не лелеять воспоминания о ней.

Л.Н. Толстой

Моя история начинается, естественно, с моего рождения, с 13 октября 1924 г.

Мы жили тогда вместе с тетей Катей и дядей Георгием в Москве в Лялином переулке. Я помню тетю Катю, когда она играла со мной – крошкой – красивыми пуговицами. (Наверное, потому я и сейчас очень люблю красивые пуговицы, и все надо мной посмеиваются.)

Приехав в Москву после Свердловска, я даже нашла дом и подъезд, где мы жили тогда. Лестница там поднималась как-то очень интересно – прямоугольниками, нигде я больше таких лестниц не помню – а было мне тогда года три.

Помню эпизод, который произошел, когда мне не было еще, может быть, и 3 лет.

Мы с отцом ехали в поезде в Новогириево... (тогда это было дачное место). Я стала капризничать, то ли жарко мне стало, то ли пить хотела, не знаю... Мы вышли из поезда, а отец забыл в вагоне свою фуражку... Мы видели в окно уходящего поезда, как она, покачиваясь, проплывала мимо нас. От этого я стала реветь еще громче.

Тогда отец посадил меня к себе на плечи – он любил меня носить так. Это замечательное положение! Я выше всех и мне все видно!

Вдруг мимо идет какой-то человек, и говорит: «Какая капризная девочка, отдайте ее мне... я ее уже воспитаю».

Сердце у меня в пятки ушло. По сей день помню охвативший меня ужас... А папа сказал: «Ну что вы! Это мой лучший друг! Это моя дочка Катюша. Разве друзей отдают?»

Боже, какая благодарность охватила меня после этого ужаса! Я ухватилась за папины уши, прижалась всем животом к его шее и голове, а подбородок положила ему на макушку, и стало мне так легко, так сладостно спокойно!

Помню, как я ныла и клянчила, чтобы мне дали поводок нашей собаки – фокстерьера – чтобы я сама вела свою собаку... Чтобы все видели, что это моя собака!

Было очень скользко: мне не хотели давать вести Бибку; но я ныла и клянчила и в конце концов выклянчила. Сразу же Бибка дернула, я упала и расшибла в кровь нос. Я ревела: мне было больно и обидно, это была несправедливость со стороны моей собаки по отношению ко мне...

В это время вышли первые постановления советского правительства, которые разрешили кооперативное строительство. Некоторые строили кооперативные квартиры в городах, а тетя Катя и дядя Георгий построили кооперативный домик – ну, тогда это была не совсем Москва, ее пригород, – а теперь-то это уже кварталы Москвы. Район назывался Всехсвятское, туда только что был проведен троллейбус из Москвы. Вот там и был построен кооперативный домик с небольшим садом. Туда переехали тетя Катя, дядя Георгий и тетя Шура, которая жила в то время тоже в Москве, но в очень плохонькой комнате. Место это стало называться поселок Сокол⁹. Я там часто жила и зимой,

⁹ Как-то недавно (сравнительно недавно) я читала в какой-то газете, что преступлением оказывается то, что этот поселок не удастся сохранить. То есть вокруг него выросли колоссальные дома, а вот это включение небольших индивидуальных застройки хороших домиков с садами – в общем-то, уникальное для Москвы явление первых лет после революции. Его пытались сохранить уже в послевоенные годы.

и летом. Сокол был небольшой поселочек, выстроенный на кооперативных основаниях, и, по-видимому, там жили, в основном, разные научные работники.

Папа мой, милый мой папа! Как он берег и уважал каждое мое стремление. Вот, помню, игрушек ведь было мало, в моде у детей были разноцветные черепки от битой посуды – то с цветочками, то разноцветные, стеклянные; если сквозь них смотреть, все становится другого цвета. Это было восхитительно! Волшебно! Но находились-то эти стеклышки, извините, – в помойках! И моя тетушка, врач, как-то не очень одобряла такие дела, чтоб ее племянница копалась в помойках... А папа мой милый взял палку, взял мешочек какой-то – и пошли мы с ним по помойкам. Откапывал он эти черепки, складывал их в мешочек. Когда мы пришли домой, черепки были вымыты, высушены... я оказалась богачкой, владелицей самых лучших черепков.

Вот, не убоялся мой папа, не постеснялся – притом, что он был профессором, да и вид-то у него был всегда очень породистый, вид профессора, ученого. А вот не побоялся копать в помойках, чтоб порадовать свою маленькую дочь.

Так много он мне рассказывал обо всем! Как он знал природу, каждую травку, каждый цветок! Он различал голоса птиц, знал их повадки. Он же был охотником-любителем, и когда жил на Урале, были у него охотничьи собаки. Помню, в Ленинграде были его охотничьи трофеи. Лису помню черно-бурую, которую выследить было очень трудно. От лисицы мне уже ничего не досталось, ее, по-моему, моль съела. И была еще волчица, потрясающая была волчица – не серая, а рыжеватая, с белым брюхом. Красавица! Шкура ее лежала на небольшом диванчике. Еще убил он сам и бурого медведя на Урале.

Медведь был какой-то светло-коричневый, и одновременно его шерсть золотилась и отливала серебром. Очень я любила сидеть верхом у этого медведя на голове и воображать, что он живой и меня слушается не то, как в сказках, не то, как в цирке.

Я и с папой играла, как будто он в цирке дрессировщик, а я его помощница.

Самым лучшим отдыхом для отца были долгие лесные прогулки, ему было важно уйти в лес, углубиться даже на несколько дней в природу.

Он однажды мне говорил, что хотел-то быть горным инженером, представлял себе так, что это будет «в поле», т. е., в экспедициях... а на самом деле стал металлургом, а это большие заводы, горячие цеха, копоть, отравленный воздух. Хотелось же ему всегда в лес... Очевидно, было у него и затрудненное дыхание – всегда открывал он окна, и меня всегда закалял, даже когда у меня началась астма – все равно закалял. Может, благодаря ему я и выросла практически здоровой, несмотря на свою бронхиальную астму.

Летом мы долго до осени ходили босиком; купались до сентября – если было холодно шли на речку в пальто, но все равно купались; зимой он долго – лет до 12–13 обливал меня по утрам холодной водой в ванне и растирал полотенцем. Лет в 13 и прошли у меня приступы бронхиальной астмы.

Он был весьма своеобразно одет, всегда одинаково: очень свободные брюки, толстовка¹⁰, краги до колен¹¹, высокие, закрытые ботинки. (Он говорил: «Ничего, ничего! Попа и в рогожке узнают!») Зато удобно на заводе...

Тетя Катя была большой любительницей садоводства. Были у нее необыкновенные розы, другие цветы. От нее я на всю жизнь получила уважение и любовь ко всему живому. Все живое – это «любая травка, любой цветок, любая птичка, любой щенок, любой котенок». С тех пор мне было внушено, что и растения – они тоже живые, что им больно, что их нельзя ломать и портить просто так.

За всю мою жизнь я никогда не сломала для забавы ни одной ветки, всегда старалась сохранить и оберечь растения от бессмысленного уничтожения.

В те далекие годы моя тетя даже переписывалась со знаменитым американским садоводом Бербанком. Получала саженцы, выводила

¹⁰ Толстовка – широкая сборчатая блуза без подкладки.

¹¹ Краги – плотные кожаные накладки, охватывающие икры и голень.

розы необыкновенной красоты. В это время она еще продолжала работать: вела прием в какой-то большой детской больнице.

Постепенно годы брали свое, работу она оставила и осталась хозяйкой своего небольшого домика.

Жила с ней до самой своей смерти и мать, Екатерина Александровна, моя бабушка, о которой я уже говорила, что она прекрасно играла на рояле. Любила я слушать ее игру. Но она не любила, чтобы ей мешала. Мне разрешалось сидеть или за шкафом или... под роялем.

Помню еще эпизод, я бы сказала, для меня окончившийся благополучно.

Меня отдали в детский сад. Но там мне дали котлету с луком. Я его не могу есть, аллергия у меня на лук – меня тяжело вырвало. Положили меня спать, на мертвый час – чего я тоже не любила.

Когда мне стало легче, я оделась, потихоньку вышла, и пошла по улице, по Всехсвятскому. До троллейбуса дошла и дальше иду. (Это мне еще не было пяти – потому знаю, что в мои пять мы уже были в Ленинграде.) Шла я долго, устала. Помню, заговорила со мной какая-то женщина, стала спрашивать: как зовут, куда идешь.

– К папе.

– А где папа?

– А он в Москве.

Ну, она завела меня в дом, напоила вкусным компотом, булочку дала и позвонила, естественно, в милицию. Нашли тетю Катю, забрали меня. Но больше уже в детский сад не водили.

Не менее теплые воспоминания, чем о Соколе, остались у меня о Малоярославце.

Сразу же после революции тетя Лида купила там небольшой домик, частично перевезла туда песочинскую мебель и жила там со своими двумя дочками, Олей и Лелей. Малоярославец был тогда небольшим городком; он стоял на высоком берегу реки Лужи; речка это была в те времена типичной среднерусской рекой – с чистой водой, заросшими берегами, с лесом вокруг и прекрасными заливными лугами.

Отец очень много работал, часто уезжал в командировки, а проработав несколько лет на АМО, стал перебираться в Ленинград. По этой причине я довольно часто оказывалась то у тети Кати в Соколе, то у тети Лиды в Малоярославце, который тогда был небольшим городком с базаром, с базарной площадью, но уже и с железнодорожной станцией.

У моей тети Лиды был там домик, как мне казалось тогда, с громадным садом, где были вишневые и яблоневые деревья и кусты малины. В саду и затевались самые интересные игры. С собаками, с сестрами, с санками, с соседями... Все, что только возможно было придумать в детские годы, придумывали мы с моими сестрами, живя в Малоярославце. Моих двоюродных сестры две – они с небольшой разницей лет отличаются и друг от друга, и от меня. Мы очень дружили всю жизнь и дружим по сей день – хотя бы в переписке или по телефону.

Одно из первых моих воспоминаний – это приезд в Малоярославец ночью. Папа, держа меня на руках, едет в телеге, на лошади, иногда кладет меня на мягкие какие-то вещи, а сам идет рядом с телегой.

Где-то далеко-далеко лают собаки, воздух совсем другой, чем в Москве. А когда мы подъезжаем и стучим в калитку, зажигается керосиновая лампа, и выскакивают мои сестрички и тетя. Нас обнимают, усаживают, и пьем мы чай – на террасе... Вся терраса закрыта со всех сторон кустами сирени с великолепными гроздьями – лиловыми и белыми. Они лезут в окна, и от них такой аромат, какого я потом никогда и нигде почему-то не ощущала, даже от самых лучших духов.

На столе стоит керосиновая лампа, и вокруг этой керосиновой лампы вьются и летают какие-то мелкие мошки. А мы сидим и пьем чай с горячими булочками. На столе стоит большой блестящий самовар. Он шумит, ворчит и булькает. Я никогда еще не видела ни керосиновой лампы, ни самовара... и все так интересно... Но я очень хочу спать... Помню только вопрос тети Лиды:

– Митенька, так вы что ж, машиной приехали? (Машиной тогда назывался поезд.)

– Да, – ответил отец, – ночной. Других билетов не было.

И я блаженно засыпаю, как спится только в детстве. Папа и тетя говорят о чем-то для нас не очень понятном. Но что-то мы, в общем, улавливаем, понимаю, что скоро мы из Москвы уедем и переедем в другой город, а именно – в Ленинград.

Прекрасны годы, проведенные в Малоярославце. Не весь год полностью, но хотя бы несколько месяцев мы каждое лето проводили там...

И это были необыкновенные, незабываемые прогулки с папой по ручью, до самой реки, которая носила смешное название Лужа, но вовсе не была лужей, а была тихой красивой, а иногда и очень глубокой, очень чистой речкой. Это и замечательные прогулки за грибами, когда мы иногда собирали целые ведра и даже больше. Мы чистили грибы все вместе – и тетя Лида их солила и мариновала. А мы рассматривали грибы внимательно, любовались, какие они разные и красивые, играли грибами; с тех пор я знаю и люблю грибы – искать, обрабатывать и готовить.

Это были замечательные прогулки в поля, где папа рассказывал о каждом цветке, о каждой травинке. Папа так много знал всего о природе, он был не только образованным инженером, но он был и очень образованным человеком. Он так любил все, что его окружало!

Одной из самых интересных прогулок с отцом была прогулка вдоль ручья до его впадения в Лужу. Ручей проходил по дну глубокого оврага и весь зарос ежевикой, малиной и удивительной мать-и-мачехой. Листья ее были как зонтики, а высотой это странное растение было выше папы.

Ручей начинался из родника – чистого и очень холодного. Мы брали там воду для питья; летом так приятно было ее пить! Такая холодная, что зубы мерзли! Необыкновенно вкусной была эта родниковая вода!

Вот еще эпизод из жизни в Малоярославце.

Как-то нам привезли удочки, и мы отправились на Лужу ловить рыбу.

Поймала одну рыбку и я – какую-то маленькую, с красными плавничками. Уж не знаю, почему остальных мы съели, они были очень

вкусные, хрустящие, а этой была подарена жизнь. Почему ее помиловали, я сейчас не помню. (Может быть, больно маленькая она была, не было смысла ее жарить – а может быть, потому, что была она очень красивая). Наша рыбка прожила в банке один день, а к вечеру моя рыбка стала плавать как-то боком. (Я знала, что когда рыбкидохнут, они переворачиваются кверху пузом, и стала плакать). Я просила папу снести рыбку в ручей, чтобы она доплыла до реки. Тогда папа взял банку с рыбешкой, и сказал, что отнесет ее в Лужу, чтоб она осталась жить. До сих пор я уверена, что так он и сделал.

Как-то, уже будучи взрослой, я рассказала эту историю в компании, и мне кто-то сказал: «Ну, неужели Вы верите, что он отнес рыбешку в реку?» Я сказала: «Да, я верю, потому что он меня никогда не обманывал».

А теперь я думаю: как это надо было вырастить ребенка с такой уверенностью, что ты его никогда не обманул и не обманешь никогда... Как же сильна была эта уверенность, если она жила во мне – и во взрослой женщине?!

Папа мой, папа! Как многим я обязана тебе. И как мало я дала тебе любви и радости... взамен того, что ты отдавал мне. Впрочем, в этом наверно, и есть радость родителей, которые сначала отдают всего себя детям, а потом дети, не заплатив им этих долгов, отдают все, что у них есть – своим детям. Так наверно и идет жизнь на свете.

Для нас, детворы, жизнь в Малоярославце проходила очень весело. Сад, вишни... каких я никогда после уже не ела и не видела. Крупные, черные, настоящая владимирка. Ее было столько, что мы набирали целые корыта. Корыта эти потом стояли в сених, и мы выбирали поклевыши – они самые сладкие. Были яблоки, были груши. В саду были у нас любимые таинственные «особые» места – там мы читали или просто разговаривали.

Одно время тетя Лида даже держала корову, но потом оказалось, что это очень тяжело, и коровы у нас не стало. Помню, я понимала, что кормить семейство было довольно трудно. Почему-то покупали мясо жеребят – замечательная была еда! Помню, всегда делали кот-

леты, которые мы очень любили. (Теперь понимаю, шло раскулачивание, и крестьяне забивали скот).

Еще помню в Малоярославце походы на базар. Тетя Лида раз в неделю отправлялась на базар, и брала одну из нас – по очереди... Ах, какое это было «празднице»! Торжище! Базар! Ярмарка...

Лошадей не распрягали, а только разнуздывали, они так и стояли в оглоблях и сбруе, с торбой на морде: в торбе они жевали овес. Они храпели, ржали иногда странными голосами – это было так интересно! Особенное торжество было для нас, если это был такой базар, когда продавали животных. Тетя Лида всегда заходила с нами туда – поросята, телята, жеребята, щенята! Это было лучше всякого зоопарка. Продавали тогда и лошадей; они как бы пританцовывали, ржали, запрокинув голову.

Ну, конечно, каждая из нас всегда знала, что будет готовиться в доме. Что-нибудь вкусное и интересное перепадало же всегда и прямо на базаре!

Во время Отечественной войны 1812 года 12 (24) октября около Малоярославца русские войска под командованием генерала Д.С. Дохтурова и Н.Н. Раевского добились стратегической победы над наполеоновской армией, не допустив ее прорыва на Калугу. Здесь состоялось кровопролитное сражение, и французская армия отступила, вынужденная следовать по ранее разорённой Смоленской дороге. С этого началось бегство французской армии из России.

Мы, дети, не представляли себе сражения. Ведь не было ни кино, ни телевидения. Мы представляли себе по картинкам из детских книг.

Рядом с Малоярославцем были громадные искусственные насыпные горы. Это и были те самые редуты, у которых и собиралась русская армия остановить наступающих французов. Но до Малоярославца французская армия не дошла; об этих редутах было написано во многих воспоминаниях. Эти искусственные насыпи были постоянным местом наших игр и прогулок. Громадные насыпанные горы будили наше воображение, все это заставляло представлять себе и то,

как русские солдаты строили эти громадные горы, работая одними лопатами, как сражались, и то, как французская армия бежала, спасаясь от преследования русских; одновременно все это будило большую жалость к тем и к другим – к тем людям, которые мерзли и погибали в пути, и к тем, кто в непосильном труде воздвиг эти горы. Мы очень жалели и наших солдат, и замерзающих, голодающих французов, как-то не отличая в нашем сознании справедливость постигнувшего французскую армию возмездия.

Как это ни странно, но в Малоярославце сложилось и еще одно мое качество. Как бы это сказать... Я не верующий человек, но у меня есть некие установки, целиком связанные с христианской моралью. Вот, как и почему это случилось, где этому начало.

Кроме Оли, Лели и тети Лиды в домике сначала никого не было.

Дядя Миша (муж тети Лиды) жил отдельно; он работал где-то на больших стройках, а может быть, просто был выслан. Теперь я думаю, что это так и было, но нам, естественно, этого не говорили.

Потом появилась тетька Настя. Она была крестной матерью Оли, и все называли ее Крё. И я тоже называла ее Крё, хотя никакого отношения к моему крещению она не имела.

Ее монастырь, Шамордина Пустынь, был ликвидирован, и она, и бабушка Матрена, приехали к тете Лиде. Была отдана им маленькая комнатка, в которой они повесили иконы, лампадки...

Помню, как по вечерам, в сумерках, приходили мы в эту келью... лампадки горели как-то особенно уютно, и от нас требовалось произнести две самых коротких молитвы. Это была «Отче наш», и это была «Богородице, Дево, радуйся». Вот эти две молитвы произносили мы, а в душе молились о том, чтобы Господь Бог помиловал папу, маму и нас всех, и чтобы в дальнейшем он обошелся с нами так же хорошо, как прошла наша сегодняшняя жизнь, «Хлеб наш насущный даждь нам днесь» – молитва эта сама по себе, быть может, не так уж понятна и важна была для меня. Но все это было настроение какой-то тишины, спокойствия, умиротворения в полном смысле слова.

В келье было тихо-тихо и очень тепло, так же, как и на душе. Радость от того, как прошел этот день, и надежда на то, что завтра будет таким же счастливым, сливались в общее чувство счастья в моей ребячьей душе.

Тетя Настя говорила: «Подумай сейчас о том, кого ты больше всего любишь». Я больше всего любила папу; и я думала о папе – это и была моя вечерняя молитва.

В этом же Малоярославце произошло событие, которое косвенно на меня тоже очень повлияло.

Как-то мы играли в большой комнате, там было много стульев, и каждая из нас стульями огораживала себе угол, и там жили ее куклы. Как-то так получилось, что мы со старшей сестрой Олей ухватились за один и тот же стул, он был последний. Стали дергать его, каждая к себе, и безобразно подрались.

Прибежала тетя Лида, пошла вся красными пятнами, расплакалась. Говорила, что она даже представить себе не могла такого позора – чтобы ее девочки подрались... что вообще таких детей нельзя – просто нельзя – пускать жить вместе, что всех надо развести по разным углам и никогда больше не разрешать им играть вместе.

Мы растерялись. Мы уже и драться забыли. Это было ужасно. Это было впервые, когда я видела, как тетя Лида плачет.

Прошло несколько дней, и мы должны были все идти на исповедь. Это было где-то к семи годам.

Исповедь... Подготовили нас дома. Сказали, что это вот такое торжество, что после этого мы будем взрослыми, что до сих пор мы сами не понимали, что мы делаем, что за свои поступки дети не отвечают, а вот после исповеди, когда мы придем – мы уже будем взрослыми, и будем уже понимать и нести ответственность за каждый свой поступок.

Муж тети Лиды, дядя Миша, был из семьи священников; в городке все друг друга знали, так что этот батюшка, что нас исповедовал, тоже был, в общем-то, знакомый. Мы шли к нему, и я все время думала, чтоб не забыть все свои плохие поступки. И чтоб он меня от них освободил, и чтоб больше я уже никогда ничего плохого не делала.

Он накрыл меня епитрахилью, ласково спросил:

– Ну, как, деточка?

– Батюшка, я такая грешница, я недавно подралась с сестрой!

– Ну... не дерись больше, не дерись... Бог простит... И погладил меня по голове.

И так мне стало легко на сердце, снял он с меня страшный этот грех. Мы вернулись домой такие просветленные, такие очищенные.

Отец даже и предположить не мог – при его-то атеистическом направлении ума – что мы проходили такую религиозную... подготовку. Но сейчас, ей-богу, я не знаю – было ли это плохо. К чему-то это обязывало нас. Надо сказать, что действительно – больше мы никогда не дрались!

Никогда и ни одна из трех сестер. Ссоры, конечно, бывали, выяснения – кто прав, кто виноват – но драк больше не бывало.

Что-то от этих ранних детских уроков «христианского воспитания» осталось во мне навсегда. Сейчас я человек неверующий. Так, например, я против как еврейского, так и православного ритуала (с другими я не знакома), но думаю, что принципиально – любой ритуал для морального облика человека нечто второстепенное.

Живет во мне собственное четкое понимание «греха».

Грех – это то, от чего из-за меня страдают другие люди и страдают безвинно. И вот многие годы я знаю, что такое «грех», и стараюсь избежать поступков, «греховных» с моей точки зрения.

Но, конечно, жизнь – сложная штука. Иногда и даже довольно часто бывает, что приходится совершать жестокие поступки, и кто-то от них страдает. Но я, если и иду на что-то греховное, (в моем понимании), то стараюсь продумать все и совершать этот поступок (если мне некуда деться!) с пониманием того, что у меня просто нет другого выхода.

В этом смысле христианская мораль наложила на меня свою печать.

Не знаю, так ли это плохо? Я думаю, что если человек – ну, как это говорится? – прелюбодействует, и от этого никто не страдает, – то какой же это грех? И какой же это грех в том, что я не соблюдаю поста?

А какую радость может получить Бог, если наши столпники (или еще кто-то там) не мылись никогда? И почему здесь у евреев можно мыться только накануне субботы, а в другие дни недели – нельзя? В пустыне воды не было... Но сейчас? Что за чушь? Почему что-то можно есть, а что-то вообще нельзя? Посуда же должна быть отдельно и молочная, и мясная, и не молочная, и не мясная. Эти разные посуды не должны даже стоять на одном столе и тем более соприкасаться друг с другом.

А если кто-то ест не кошерную пищу, то он что, становится плохим человеком? Кого-то обижает, причиняет кому-то зло?

И многое другое, столь же странное и нелепое с современной точки зрения или с точки зрения других религий.

Впрочем, и эти, и множество других вопросов никого из верующих не переубедят.

Вера – это именно то, что не контролируется никакими доводами рассудка. Средневековый философ написал: «Верую, потому что абсурдно». Я же могу сказать, как и многие современные люди: «Не верю потому, что абсурдно».

Но тот, кто верит – все равно верит потому, что... просто верит.

Но то, что у меня была теть монахиня, приучило меня уважать чужие верования и ритуалы.

Никогда я не участвовала в каких-то кружках «юных безбожников», никогда не приходило мне в голову, например, забросать грязью и камнями икону (а такое я видела не раз!).

Ведь и отец, будучи атеистом, с уважением относился к образу жизни тети Насти и всегда помогал ей. Так и здесь – я уважаю так называемых «датишных» верующих, даже живу с семьей верующих, стараюсь не нарушать их требований с посудой и т. п., но все-таки живу сама, не соблюдая их ритуала. Живем мы очень дружно.

Вероятно, имея терпимость, не обижая никого, все-таки надо жить по своим, а не по чужим убеждениям. Впрочем, каждый считает, что он прав. И я тоже.

Малоярославец кончился для меня переездом в Ленинград. Тетя Лида вынуждена было продать свой дом, и переехала она с девочками

в нашу ленинградскую квартиру. Но позже, не вместе с нами. Одна большая комната, бывшая библиотека владельца дома, была отдана тете Лиде. А дяде Мише, как я теперь понимаю, было запрещено жить в больших городах.

Жизненный путь дяди Миши – Михаила Ивановича Жарова – до революции можно представить себе так. Отец его был известным священником в религиозном центре, городе Боровске. Его расстреляли немцы за пособничество партизанам в Великую Отечественную войну. Один из его сыновей (тех, которых я знала) получил высшее техническое образование. Когда началась война, он принес нам пакет с чертежами, просил сохранить. Он не вернулся.

Другой – дядя Миша – не стал священником. Он окончил юридический факультет университета, был избран мировым судьей. Это, как я понимаю, была ответственная должность – мировой судья уезда. Он работал им до самой революции, когда это все упразднили. И то ли за то, что отец его был священником, то ли за то, что он сам был судьей – посадить его посадили, но ненадолго, и довольно быстро выпустили, позже он был в ссылке, а потом ему запретили жить в больших городах. Работал он на каком-то большом строительстве и приезжал редко, несколько раз в год.

Помню: дорога в Боровск была удивительная – это же хвойные леса вокруг, боры!

По дороге мы нашли громадную, сантиметров 10–12, гусеницу – розовую с лиловыми какими-то чешуйками на спине. Посадили в коробку, она у нас окуклилась и из куколки вышла громадная ночная бабочка. Мы трое с замиранием сердца следили за совершением этого чуда.

Это был прекрасный урок по естествознанию.

Дядя Миша и его родственники очень тепло относились ко мне.

В Боровске нас встретило все семейство Жаровых, их друзья и соседи с таким теплом, таким радушием, с истинно русским гостеприимством; застолья с пирогами всевозможными, вареньями, соленьями. Позднее как-то стало уж очень «алкогольно-русское» гостеприимство;

тогда, в моем детстве, я этого не помню. Наливки домашние были, конечно, но пьянок я не видела в этой провинциальной и «поповской» среде.

В Соколе произошли еще некоторые события, которые я тоже запомнила навсегда. Когда я жила у тети Кати, напротив ее домика был пустырь. Это была довольно большая площадь. Потом там что-то построили, не то родильный дом, не то стадион, не знаю. Но тогда люди перекапывали эту землю и сажали – кто картошку, кто морковку. Жизнь-то была тяжелая.

У тети Кати был сад, и там было все, что нужно, ну, и кроме того, материально, как я понимаю, тетя Катя и дядя Георгий жили намного лучше среднего.

Напротив нашего дома были огородики и довольно большой участок, засаженный картошкой – не тети Кати, а какой-то из соседок.

И вдруг, как бывает иногда, на нас, несколько детей, человек пяти-шести, которые играли вместе, напало дикое буйство – мы стали выдирать эту картошку и сечь ее палками. Буквально за пятнадцать минут весь этот участок был превращен в перерытое и совершенно изуродованное поле, где уже, конечно, никакой картошки вырасти не могло.

Мы накинулись на участок с картошкой, вырвали и вытоптали ее всю! Разделались с этим участком, как со злейшим врагом: горько было и страшно видеть результат этой зверской расправы с только что зеленым, цветущим лиловыми цветами картофельным участком...

И когда я посмотрела на это, вдруг вспомнила, что ведь картошка – это растение. И как мне говорила тетя Катя, ведь каждому растению больно, когда его обрывают. И как же больно, наверное, было этой бедной картошке, когда мы изничтожали ее – с таким, ну... с ненавистью, как будто бы мы играли в какую-то очень жестокую плохую игру.

Мы сразу же разошлись; молча, не глядя друг на друга.

Вечером пришла соседка. Она горько плакала и говорила: «Ну, другие дети – ладно. Но как могла ваша Катя? Ведь это нам на всю зиму было бы...» А меня она спросила: «Ну почему, почему, зачем ты это сделала?»

Тетя Катя утешала ее, может быть, даже ей что-то заплатила. Меня она не ругала, но то, что произошло, было страшнее любого наказания: я почувствовала такой позор... Как гадко я сделала... я стала давать себе обещания, что запомню это на всю жизнь, что никогда не буду так себя вести. И вот же – смотрите, запомнила и правда, на всю жизнь. И действительно, больше никогда ничего подобного себе не позволяла. Никогда не шла за «стадом»; если не была ведущей, то шла своей дорогой, не участвуя в «коллективных буйствах».

По-прежнему я часто бывала в Соколе. Не раз в Сокол в гости приезжали члены одной семьи: бабушка Татьяна, ее внучка, ее зять. Они жили в Песочном. Бабушка Татьяна была совсем старенькая женщина, очень милая; принимали ее, как родственницу: она и была связана с семьей моего отца почти родственными узами: ее дочь была кормилицей моей сестры Ляли, а внучка бабушки Татьяны – Евлампия (Евлаха) была Лялиной молочной сестрой.

Бабушка Татьяна еще помнила отмену крепостного права (отмена эта была растянута на много лет и в разных губерниях происходила в разные сроки). Моя благодарная память сохранила два эпизода, связанных с бабушкой Татьяной.

Приезжая, бабушка Татьяна всегда привозила гостинцы. Это были пироги из совсем серой муки грубого помола, часто с грибами или капустой. Я же – избалованная городская девчонка – есть эти пироги не хотела. Однажды бабушка Татьяна увидела, как я крошила привезенные ею пироги воробьям.

Она сказала мне как-то строго и вместе печально:

– Запомни, кто хлеб на землю кидает, в мусор его бросает – тот будет когда-нибудь сам из мусора, из земли, крошки выбирать. Бог его накажет, Катенька.

– Да я воробьям, я же не на мусор. Они ведь тоже есть хотят.

Бабушка посмотрела строго и сказала:

– Ну, тогда бы отдала уж лучше курам.

Что такое голодать – я тогда, конечно, не могла себе еще представить. Но я помню: я видела крестьян, которые наводняли Москву

и пригороды; они стояли, просили милостыню возле магазинов, так странно одетые, на мой городской взгляд: лапти, обмотки, поддевки. Женщины часто с грудными детьми. Они стояли у магазинов, а иногда уже лежали, обессиленные, в подворотнях или на ступеньках подъездов; я видела, как их грубо прогонял милиционер от булочной во Всехсвятском... многие умирали прямо на улице.

Теперь я понимаю – это было страшное время голода и коллективизации.

Когда бабушка Татьяна сказала, что Бог накажет, если бросать хлеб в землю, вдруг сразу я вспомнила этих людей, одетых в серую (домотканную, как я теперь понимаю) одежду, просящих милостыню, лежащих и умирающих на улице, вспомнила того милиционера... Тут я вдруг подумала: «Это, наверное, всех этих людей Бог и наказал!» Хотя, я, конечно, весьма смутно представляла, за что же их мог Бог наказать так страшно. Неужели они все бросали хлеб на землю?

Бабушка Татьяна приезжала довольно часто.

Песочное, естественно, было оставлено сразу, когда началась революция. А к этому времени тетя Лида, младшая дочь моей бабушки, вышла замуж, и купила небольшой домик в Малоярославце. Очень сельский городок; домик среди громадного сада, с хозяйственным двором, с каретным сараем, с сеновалом. И вот однажды, когда мы были там, приехала бабушка Татьяна на лошади, и сказала, что хочет меня свозить в Песочное. Как мне было все интересно! Во-первых, я впервые ехала на телеге! Трясло немилосердно, но я была в совершеннейшем восторге! Я прожила в настоящей деревне около недели.

Я видела рядом телят, коров, лошадей, птицу домашнюю – все запомнила навсегда.

Особенно я подружилась с телянком. Давала ему всякие вкусные вещи на ладошке: соль, морковку. Но однажды он тяжело обидел меня. Я скормила ему подсолнух, а он, видимо, в благодарность – стал облизывать мне шею и руки. Боже, как я орала! Язык-то у него – как щетка!

А все подняли меня на смех – кого испугалась, телянка маленького...

Помню дом в Песочном. Несколько комнат внизу, все провалено, в запустении. Можно было забраться в мезонин; кажется, там было две комнаты; тоже все пустые, пахнет сыростью. Стало не только грустно в этом заброшенном доме, но даже как-то страшно: провалившаяся крыша – видно небо; проваленные полы... Даже грибы там повыврастали – большие поганки.

Так я побывала в своем родовом «дворянском гнезде».

Совершенно прелестным местом был Малоярославец. На многие годы Малоярославец и Сокол стали для меня самыми привлекательными местами.

Я даже долго не могла привыкнуть к Ленинграду.

Ну вот, и переехали мы в Ленинград.

Позднее переехали моя тетя Лида и ее дочери, Оля и Леля, у которых мы так часто бывали в Малоярославце. Домик она вынуждена была продать – детям не сильно объясняли причины – муж ее остался где-то на большом строительстве.

Несколько лет – лет, наверное, пять – жили мы в Ленинграде, в трехкомнатной, по тем временам очень хорошей квартире, с тетей Лидой и двумя ее дочерьми.

Самая большая в три окна комната была моя и как бы общая для игр всех трех девочек; другая большая комната – библиотека бывшего владельца дома – была тети Лидина и девочек, а у отца с матерью была небольшая комната, выходившая во двор окнами.

Квартира эта была выделена из квартиры бывшего владельца дома по Саперному переулку, дом 10. Дом был громадный, из нескольких корпусов в три двора, поэтому у нас была совершенно отдельная парадная лестница на один этаж (бельэтаж). Наша квартира была как бы на втором, но низком (втором) этаже.

Под нами был жилой полуподвал. А на лестнице мы хранили дрова (отопление было печное, и ванная комната, и колонка тоже отапливалась дровами).

Очень я любила свою тетю Катю. К тете Кате я была очень привязана, а она, в свою очередь, – ну, поскольку у нее своих детей не

было – любила меня так, как могла бы любить, наверное, свою собственную дочь.

Естественно, когда у моего папы родилась первая законная дочь, она (то есть, я) была названа – как вы думаете? – опять же, Катериною.

Только тетю Катю могла я спросить обо всем. Никого другого.

Уже после нашего переезда в Ленинград или прямо перед ним состоялся у меня с тетей Катей серьезный разговор. Особенно после случая с уничтожением картофельных посадок, я стала думать о том, что хорошо, а что плохо... И исповедь мне вспомнилась, и думала я о том, что есть ли Бог, видит ли он всю нашу жизнь?

С тетей Катей я впервые пыталась выяснить: «Так верующие мы или неверующие? Так есть Бог или нет его?»

Тетя Катя ответила мне так: «Знаешь что, Катюша... ты сейчас про это не думай. Когда-нибудь, тебе оно само откроется, – есть он или нет. Не надо это решать. Само ясно станет. А ты просто старайся быть хорошей. Не для него – для себя. Для меня. Для папы».

Я старалась быть хорошей. Но чтобы быть хорошей, надо было не делать плохого, или хотя бы стараться не делать. Это неминуемо требовало: думать, думать...

С мыслями о том, что такое хорошо, а что такое плохо, детство мое подходило к концу.

* * *

Моя мама... Самая красивая, самая веселая, самая, самая... Это не только в моем детском восприятии. Действительно, моя мама была очень хороша собой, она была человеком очень одаренным. Она прекрасно пела – у нее был очень хороший голос, она была изумительно сложена, она прекрасно танцевала. Когда она шла со мной по городу, на нее смотрели все: и старички, и старушки, и дети – не было человека, который бы не проводил ее взглядом. У нее был особый дар – самые простые вещи готового платья, которые тогда были, поверьте мне, совсем не от Шанель – она надевала, и все видели, как это красиво. Все, что на ней, делалось красивым. И всегда она обращала на

себя всеобщее внимание... Она не была жадной, она могла отдать все, что у нее было, она могла прийти на помощь.

Любила ли я маму? Любовь – сложное чувство. Я любила безмерно, безгранично отца; я любила тетю Лиду; с тетей Катей я могла говорить о самом сокровенном, как не могла говорить даже с папой... А мамой – мамой я гордилась! Ведь она была самая красивая...

* * *

Гостил у нас дедушка, мамин папа, а отец, наверно, был в командировке. Мать, дедушка и я сели на поезд и поехали из Ленинграда туда, где жили дедушка и бабушка, в городок, который назывался Бежица. Это возле Брянска, несколько десятков километров, наверно, на реке Десна. Некоторое время мы жили там... не сразу отец нас разыскал, не сразу начались перепалки – с кем мне оставаться. И пока этого не было, пока мы просто жили с бабушкой и дедушкой, я очень их полюбила. Я очень полюбила ту атмосферу какой-то общей музыкальности, мира и спокойствия, которая царила в их семье. Им уже было, думаю, за 50, когда я их узнала. Бабушка работала учительницей музыки в музыкальной школе, дед и бабушка прекрасно пели вдвоем, распевали целые оперы. Бабушка играла, оба пели, а слушали, разинув рот, мы с тетей Зиной. Тетя Зина, по сути-то, не так уж старше меня. Когда мы приехали в Бежицу, она была подростком, лет 14–15. (Потом, когда она приезжала в Харьков, она прекрасно играла на рояле, т. е. в Бежице училась музыке у своей мамы).

Теперь я хочу рассказать о моих предках со стороны матери – о бабушке, Надежде Антоновне Бориславской, и о дедушке, Геннадии Александровиче Бориславском.

Дедушка – киевлянин. Его отец был полковником. Когда было знаменитое восстание арсенальских рабочих¹², как раз его полк был направлен на подавление этого восстания.

Известно из истории, что полк стрелять по рабочим отказался.

¹² Восстания рабочих арсенала в Киеве.

Полк расформировали, прадеда моего... не знаю точно, наверное, расстреляли, а его дети были отданы в пажеский корпус – закрытое высшее учебное заведение для мальчиков из семей военных. Дед и его брат закончили этот пажеский корпус. Дед, видимо, был очень способным, потому что закончил он блестяще, и был оставлен... ну вроде как сейчас в аспирантуре. Потом он еще поступил в военную академию. По рассказам Куприна, может, вы помните, поступить туда было очень трудно. Дед поступил, и даже закончил эту академию военную дважды: один раз по тактике, второй – по военной юриспруденции. Был тогда порядок представления выпускников царю. Царь обладал очень цепкой зрительной памятью и узнал его, не преминув заметить: этот человек представляется второй раз. Поговорил он там с дедом, похвалил за усердие.

Когда произошла революция, началось разжалование офицеров, солдаты ему сказали: мы не можем с Вас погоны срывать, снимите сами.

В Красной армии он как-то служил под Тухачевским, во всяком случае, какие-то грамоты у деда были подписаны Тухачевским. Демобилизован он.

Забегая далеко вперед, мне все же хочется рассказать еще немного о Бориславских.

После исчезновения (думаю, что после расстрела) моего прадеда, полковника, когда его полк отказался стрелять в рабочих Киевского арсенала, а братья были отданы в пажеский корпус, осталась еще дочь Ксения.

О ней мы узнаем следующее: она стала женой известного народовольца Николая Александровича Морозова¹³.

¹³ Морозов Николай Александрович (1854–1946). Член группы «Земля и воля», член исполкома «Народная воля»; участник покушений на Александра II, после суда над народовольцами был приговорен к вечной каторге, был заключен в Шлиссельбургскую крепость, где просидел в одиночном заключении 20 лет. В тюрьме занимался науками – физикой, химией, астрономией, математикой, историей христианства. Был выпущен из тюрьмы в результате революции 1905 г.

После суда над группой «Народная воля» Морозов был заключен в Шлиссельбург, в одиночную камеру, где просидел 20 лет. В тюрьме он занимался, в частности, историей христианства. Сейчас, конечно, эта его работа устарела, но в то время она была оригинальна, вносила в вопрос новые точки зрения и оценки.

Известно также, что, сидя в одиночке, Николай Александрович заболел, кажется, туберкулезом. Системой упражнений и дыхания он погасил начинающийся процесс в легких. Это требовало невероятной силы воли: недаром он единственный, кто выжил и не сошел с ума в условиях одиночного заключения в одной из самых страшных царских тюрем.

Выйдя из заключения, Николай Александрович женился на родной сестре моего деда, Ксении Александровне Бориславской. Не мог такой человек жениться на пустой девушке, лишенной общественных и культурных интересов и запросов!

Этот брак свидетельствует о том, что в семье Бориславских сохранились либерально-демократические устремления; брак был счастливым. Морозов общался с прогрессивными представителями русской интеллигенции первой половины XX в. Имеется фотография, сделанная в «Пенатах» – Николай Александрович гостил у Репина.

В советское время Николай Александрович стал академиком. Был директором (или ректором?) Ленинградского института физкультуры и спорта им. Лесгафта.

Я помню, мать бывала у Морозовых и брала меня с собой. Меня принимали всегда очень ласково, но запомнила я только, что было у них всегда очень интересно, что меня старались развлечь книгами с картинками и что к супу подавали какие-то очень вкусные гренки – квадратики из гречневой каши. Если бы я была постарше! Сколько интересного я могла бы узнать и запомнить!

Жена моего дедушки – мамина мама, Надежда Антоновна – то ли дочь, то ли внучка поляка, высланного после одного из польских восстаний. По материнской линии она украинка. Она прекрасно пела, но не могла пойти на профессиональную сцену – жена офицера не мог-

ла быть артисткой. Она много пела в так называемых «любительских спектаклях». Я помню их уже людьми пожилыми, в Бежице, как они вдвоем музицировали. У деда был красивый тенор, бабушка играла и пела – они это очень любили. И украинские, и русские, и еврейские народные песни пели, и романсы и целые оперы. Видно было, что они счастливы в браке.

У них было три дочери – Ольга, Татьяна (моя мать) и Зина, о которой я уже упоминала.

* * *

В Бежице я очень скучала без отца. Наконец, он приехал (потом я узнала, что он не сразу нас нашел, т. е. мы уезжали тайком от него). Начались какие-то странные события: был какой-то суд. На этом суде меня спрашивали: хочу я жить с папой или с мамой. Я сказала, что я хочу жить с папой. Потом мы уезжали почему-то среди ночи, очень спешно, на лошадах, и садились на поезд не в Бежице, где была железная дорога, а где-то далеко. Мы почти целую ночь ехали куда-то в другую сторону и там садились на поезд.

Позже, сопоставив все эти факты, я поняла, что произошло: мать требовала развода и чтобы меня присудили ей. Их не развели. Моя мать, будучи человеком очень неуравновешенным, пошла, по-видимому, в местные органы (тогда это называлось ГПУ) и в припадке злости наговорила что-то про отца. Результатом этого и было бегство из Бежицы.

В Ленинграде отца знали; он был на очень большой должности; хоть такой наговор был и мог бы быть и в Ленинграде опасен, но все же менее опасен, чем в провинциальном ГПУ Бежицы.

Но печальные последствия поступка мамы были следующие: бабушку и дедушку поувольняли с работы. После этого бабушке и дедушке удалось какими-то правдами и неправдами с папиной помощью все-таки переехать в Ленинград, и стали они жить у дедушкиной двоюродной сестры в крошечной комнате в Лесном. (Такой тоже был пригород Ленинграда). Сейчас это все громадные дома.

Но Зине жить было негде.

Тогда Зину, сестру моей матери (когда мать уже ушла от нас), взял мой отец. Ей было лет 14–15. Зина прожила у нас несколько лет, окончила техникум, пошла работать, потом вышла замуж (в 19 или 20 лет). Зина считала папу своим вторым отцом.

Вернулись мы домой в нашу квартиру, в которой я жила до самой эвакуации, в ту самую, где был совершенно отдельный парадный вход и один марш лестницы. Это было важно во многих отношениях. Я еще об этом расскажу.

Наше возвращение было невеселым. Отношения между отцом и матерью не стали лучше. Отец переместился в мою комнату. Я помню, как однажды при мне она бросилась на отца с кулаками, ударила его по лицу... До сих пор у меня перед глазами искаженное злобой лицо матери и побледневшее, какое-то помертвевшее лицо отца.

Он ушел на работу, она плакала в своей комнате, ходила быстрыми шагами и что-то громко говорила.

А я села в кресло вместе со своей милой, верной собакой Бибкой и обняла ее...

Папа ушел... В эти горестные для него, тяжкие минуты он забыл обо мне.

И вдруг я поняла, что у него есть какая-то другая, скрытая от меня жизнь, что не я одна заполняю его душу... раз он мог забыть меня... поняла, что мы – отдельно.

Я почувствовала такое одиночество, такое страшное одиночество... Ведь папа же ушел.

Это закончилось мое детство. Пришло отрочество.

Я уже не замечала, как красива и обаятельна моя мама; я только со страхом ждала от нее все более странных и даже страшных выходок.

Она очень рано начала страдать от маниакального состояния психики. Много позже, когда в Харькове я разговаривала с психиатрами, и они спрашивали меня о ее молодости, они сказали мне: ваша мама была больна уже тогда, лет в 25–26.

Она страдала манией ревности, она не доверяла моему отцу, она устраивала дикие скандалы. Жизнь с ней была просто безумно тяжела, хотя она была очень красивая, очень пылкая и добрая.

Однажды в выходной день мы с мамой пошли в кино на детский сеанс. Демонстрировался фильм, который назывался «Гибель сенсации», после которого я несколько лет просыпалась в холодном поту. В фильме рассказывалось, как какие-то роботы-машины восстали и давили людей. Люди кричали, извивались в объятиях этих роботов, но роботы их душили, и люди погибали. Это было очень страшно. (Может быть, с тех самых пор я боюсь всякой техники и машин и не доверяю им!). Для взрослых, может быть, это все было очень хорошо, и, наверное, этот фильм технически был для того времени очень современен. Но для ребенка восьми лет это было совершенно непереносимо. И моя мама подняла, как бы сказать, шум, что на детском сеансе – в 11 часов в выходной день – когда пришли, в основном, родители с детишками – такой фильм. Это не подобает, этот фильм не следовало демонстрировать. И вместе с ней поднимал шум по тому же поводу некий человек, военный. На нем было, как я тогда помню, две «шпалы». Две «шпалы» – это довольно большая должность. Он был со своим сыном.

Ну, короче, моя мама с ним познакомилась, ушла от отца и вышла за него замуж. Фамилия его была Мандров. И в течение нескольких лет этот брак держался.

Она неплохо относилась к мальчику Косте. Мальчику, может быть, даже она и принесла какую-то пользу... а может, и нет. Я в то время слишком плохо относилась к матери, и объективной быть не могу.

А Мандров был вдовец. Но тем не менее, точно так, как моего отца совершенно дико ревновала она и своего второго мужа.

На Васильевском острове жила первая жена моего отца, Евгения Николаевна, со своей старшей дочерью Валентиной Федоровной, очень похожей на свою (и мою!) сестру Лялю. У Валентины был любовник военный, и он носил те же петлицы, что и муж моей матери Мандров.

И тогда моя мама чудно вообразила целый роман и стала преследовать эту Лялю, мою сестру и эту вторую ее сестру Валентину, даже поднимала скандалы на улицах. Я помню дикий скандал, который она устроила Мандрову в моем присутствии на какой-то трамвайной остановке, когда она требовала, чтоб я увидела у него на носу желтую цветочную пыльцу... Не было там никакой пыльцы, но она устроила совершенно безобразную сцену. А там же люди на улице обращают внимание, останавливаются, а он военный... Все это было совершенно отвратительно. Кончилось тем, что она с ним, в конце концов, тоже разошлась.

Папина сестра, тетя Лида, приехала к нам далеко не сразу.

И оставались мы с папой, в общем-то, вдвоем. Было трудно. Очень, очень трудно – бедный мой папа, он получал большие деньги, но почему-то он должен был стирать сам в ванне по утрам. Я помню, он очень рано вставал, сам стирал. Что это было, почему нельзя было отдать в прачечную – не знаю. Но на папу свалилось очень много всяких тяжелых хозяйственных обязанностей. И кое-что, конечно, приходилось делать и мне. Найти домработницу было невероятно трудно, это требовало времени для поисков, а папа так много работал.

В это тяжелое время Евгения Николаевна много помогла мне.

Не было дня, чтобы она не позвонила мне по телефону и не спросила бы: «Ну, как он? Он здоров? А как он, что ты давала ему на завтрак?» Много раз, в самых тяжелых ситуациях Евгения Николаевна помогала мне, когда я была девчонкой – я же в 8–9 лет осталась без матери, только с отцом.

Я совершенно нечего не умела делать по хозяйству. И всему меня учила Евгения Николаевна. Сначала по телефону, а потом летом мы ездили в Пушкинские Горы, на дачу. И она брала меня и своих внуков от дочери, Клавдии Дмитриевны. Опять учила меня всему в хозяйстве: сварить, помыть, почистить. Я очень многим обязана Евгении Николаевне. Она никогда не сказала ни одного не то что худого, а холодного, безразличного слова о моем отце. Она всегда говорила о нем только самое теплое, самое хорошее. И как многому она меня научила! Самые

простые вещи: помыть посуду, сварить суп, приготовить какое-то элементарное второе. Всем этим я обязана Евгении Николаевне.

Летом Ляля отправляла меленького сына Феликса с Евгенией Николаевной в Пушкинские Горы, это недалеко от Михайловского. Отец Лялиного мужа, Григорий Филиппыч Богданов, работал в Михайловском, что-то вроде как лесничим – охранял заповедные парки и леса.

Обычно мы снимали один деревенский дом. Туда ехала Евгения Николаевна, и я часто была «подсоединена» к этому летнему отдыху. Сколько всего она успела рассказать мне, как многому научить. У нее была такая пословица: «Делай дело до конца!» Бывало, она мне говорила так, чтобы никто не понимал – «Три Д Ка!». И я понимала, что я что-то не доделала.

Теплым, душевным человеком она была. Не мне судить, отчего так тяжело прошла ее жизнь, но я ей очень благодарна.

Она любила папу всю свою жизнь. А это немало. Мир праху ее...

Матери моей явно становилось хуже. Она придумывала такой бред, который только безумные могут придумать; и требовала отчета у человека в такой совершенно необъяснимой ситуации, которую она сама и выдумывала.

Сначала она уходила и не могла уйти от отца, потом она уходила и ушла от своего второго мужа, потом она вышла за третьего, потом уезжала в Киев, приезжала... с третьим мужем жила в нашей квартире довольно долго, несколько месяцев... я не участвовала в вопросах материальных, но понимала, что все это за счет отца.

Более того, я понимала, что отец любит ее, несмотря на эти кошмарные отношения; что отец страдает, мучается.

Особенно противно мне было, что она старалась посвящать меня в свой бред; что-то я понимала, многое – нет.

Но ее разговоры со мной были мне не просто противны, но ненавистны.

Все это мне было непереносимо, ужасно. Когда мне было лет 10–12, и мать брала меня за руку, хотела меня поцеловать – у меня мороз по коже шел, я ее ненавидела! Была даже мысль у меня, что я,

наверно, должна ее убить. Я не знала, как, и понимала одновременно, что это фантазии... но отношения были испорчены. Мы считали тогда, что ее разговоры и действия продиктованы низким характером, подлостью. Мы и представить себе не могли, что это – болезнь.

Первой, кто сказал из близких, что мама нездорова, была тетя Лида. Когда я, подростком уже, ненавидела свою мать, относилась к ней с омерзением, тетя Лида говорила, что она просто больна, что она не виновата, что нужно помягче с ней. Ну, тогда это, конечно, ничему не помогло.

Многие-многие люди встречались на моем пути. И многие были добры и хороши со мной. Может быть, мне везло, а может быть, вообще добрых и хороших людей больше, чем плохих. Потому что действительно плохого человека я встретила только один раз, много позже, работая в Харькове на кафедре иностранных языков. А в те долгие далекие годы самым горьким в моей жизни была моя мама...

В это время в Ленинград приехала по каким-то делам, по поводу своей реабилитации и прописки, женщина, которая была знакома с моим отцом очень много лет. Она стала женой его товарища по институту по фамилии Фойгт. И их выслали – как многих тогда выслали. Тем боле, Фойгт был не русский – фамилия-то у него явно не русская.

Ее звали Наталья Николаевна. Она развелась со своим мужем; ее два сына учились в Ленинграде, и она тоже хотела в Ленинграде остаться.

Наталья Николаевна прожила у нас года полтора без прописки. Спасибо нашему совершенно отдельному парадному и... дворнику дяде Грише, который ни разу не донес на папу. (Потом без прописки жила тетя Настя).

Как тепло вспоминаю я эту женщину! Так же тепло, как и Евгению Николаевну.

Наталья Николаевна была небольшого роста, очень пропорционально сложена; с какой-то необычной южной внешностью (что-то армянское виделось в ней); отличалась она своей особенной статью – очень прямая с гордо поднятой головой.

В те времена окружающие меня женщины, даже и не очень молодые, волосы не красили.

Черные как вороново крыло, с яркими серебряными прядями толстые косы укладывала она вокруг головы короной; как-то нечаянно взгляд сразу же останавливало ее лицо с глубокими черно-бархатными глазами, увенчанное черно-серебристой короной над высоким чистым лбом.

Лишь потом, опуская глаза по ее лицу, можно было обратить внимание на глубокие горькие морщины около губ – как бы вечный след печальной улыбки – свидетельство пережитого: ей было за 40...

Она была удивительно одновременно и очень спокойна, и неизменно деятельна. Двигалась как-то не спеша, «как пава» в сказках, а успевала все и была смуглая, смуглая, не загорелая – она ведь приехала из Бодайбо – а смуглая от рождения.

Те полтора года, что она жила с нами, было так хорошо и уютно: в доме все убрано, всегда во время и все вкусно. Все спокойны, все в хорошем настроении. В гости к нам приехали и оба ее сына – они были студенты.

Один из них очень хорошо рисовал и сделал мне в подарок великолепную акварель-игру «Вверх и вниз» – с действующими лицами – моими любимыми героями прочитанных книг.

Благодарна я Наталии Николаевне еще за один случай из моего детства.

Я отношусь к людям, на которых особенно яростно нападают кровососущие насекомые (может быть, зависит от группы крови?), но американцы установили, что именно на блондинок. Если да, и если комары, как и джентльмены, предпочитают блондинок, то я могу гордиться. Я настоящая блондинка! О джентльменах – не знаю, а вот о комарах, и, боже мой! – о вшах – это я хорошо проходила!

И совсем не гордилась, поскольку тогда о джентльменах не знала...

И в предвоенные годы, и в войну, и после войны бывали у разных людей вши. Очень легко такая дрянь нападала на меня; только стоило мне избавиться от нее, я опять могла легко подцепить новую. Особен-

но трудно это было во время войны – в вагонах поездов в теплушках было ужасно тесно и сами вагоны бывали уже заражены. Но и в мои школьные годы случалось подхватить в школе или даже в трамвае такой «подарок».

И вот однажды Наталия Николаевна заметила, что я чешу голову. У меня были хорошие косы. Папа не понимал, что со мной, я тоже не понимала.

Наталья Николаевна как-то так посмотрела на меня, расчесала мне волосы и говорит: «Ну, ладно, давай мы этим займемся». И как-то тихо, спокойно, ничего не говоря, вывела она у меня этих гадов из головы. И все это было так дружелюбно, так просто. Она научила меня, как бороться с этой напастью, если такое со мной случится еще.

Как славно было, когда она жила у нас! Ах, как я хотела бы продлить это время!.. Я знала, что папа хочет на ней жениться, и я была бы очень рада.

Но прописку ей не разрешили. Она уехала...

Очень мне было жаль папу. Опять он остался одинок и бесприутен; опять мы остались с ним вдвоем.

Здесь я расскажу историю бабушки Нади и дедушки Гены, забегая вперед, чтобы потом уже рассказывать о себе.

Зина жила с нами, а дедушка и бабушка – в Лесном. Прожили они там года 2–3.

Это время было для них нелегкое, Геннадий Александрович не сразу, но все же смог устроиться, опять работал на заводе юрисконсультантом, ну, а бабушка уже, конечно, не работала тогда.

Однажды, это был день ее рождения, а она Надежда, стало быть, Вера, Надежда, Любовь – 30 сентября это было. Мы с моим папой с букетом приехали в Лесное и видим, на их двери – громадный замок. Записочка там, пломба была, а это значило, что комната опечатана. Никто не знал, что случилось. Дедушкина двоюродная сестра сказала, что их забрала машина, которая у нас тогда называлась «черный ворон» – это машина, которая возила арестованных.

Через много лет мы узнали следующее. Дедушку взяли в заключение и, по-видимому, он умер очень быстро, потому что у него был уже один инфаркт.

В документах, которые мы потом получили, было сказано, что умер он от сердечного приступа. Возможно, что это была правда. А может быть, его просто пристрелили, чтобы «не мешал старик работать».

Дедушка был в Красной Армии, а еще раньше он был и офицером. У него было много документов, подписанных Тухачевским, с которым дед сотрудничал, когда служил в Красной Армии и даже довольно близко его знал.

Ну, наверное, это его и погубило.

Бабушку, Надежду Антоновну, с конвоем посадили в поезд и куда-то повезли – она даже не знала, куда. На ней была легонькая кофточка – это ведь был конец сентября, в Ленинграде еще не было так сильно холодно, но и жарко уже тоже далеко не было.

Но самое главное, она ничего не знала о дедушке.

И вот куда-то ее везли, везли, везли... несколько суток! И чрез трое суток ей сказали: «Ну, бабка, выходи». Вывели ее на перрон. Она поняла, что это какой-то большой город. Прочитала: Омск. И пошла бабушка буквально, куда глаза глядят, без вещей, без денег, без документов. Думала она, что замерзнет, и что никто из детей не узнает, как она погибла. Бабушка религиозная была, стала молиться.

В каком-то окошке на первом этаже увидела свет, вроде бы услышала детские голоса... Постучала. Сказала, что ее высадили из вагона, что ничего у нее нет, никаких ни вещей, ни документов, попросилась переночевать. Поверили ей, разрешили на стульях лечь, дали какой-то тупуп укрыться.

Наутро бабушка поговорила с хозяином, он оказался рабочим-железнодорожником. Она рассказала ему все, спросила, где милиция.

Он ей объяснил, сказал, чтоб из милиции приходила: «Куда ж ты, бабушка, пойдешь после милиции-то».

Пошла она в милицию. Начальник там посмотрел чего-то: «Да, правильно. Вижу. Что, нашла место? Хорошо. Там и живи. Детей смо-

три, чего-нибудь заработаешь». Адрес записал.

Люди эти ее не выгнали, стала она сначала детей нянчить, потом кого-то стала музыке учить, в общем, как-то прижилась в Омске. Прожила около года. Ходила в милицию отмечаться.

В этой семье было трое детей. С детьми она занималась – они готовили с ней уроки, и стала она с ними песенки разучивать, понемножечку заниматься музыкой. Так моя бабушка в Омске нашла – как бы сказать – и друзей, и учеников.

И в общем, стала жить и думать о том, как бы ей куда-то поближе, что ли, чтобы хоть не так холодно было. Ну, права переписки с Ленинградом у нее не было. Тем не менее, какие-то ее знакомые по ее просьбе написали нам и мы узнали о том, что с ней произошло, смогли помочь ей хотя бы деньгами.

Надо сказать, что моя бабушка, Надежда Антоновна, стала после этого эпизода глубоко религиозным человеком. Она сказала: «Если бы я не молилась, и если бы мне Бог не помог, я бы умерла там, на пороге какого-то чужого дома, я бы замерзла, как паршивая собака».

Прошла пара лет. И ей разрешили жить не в больших городах, а просто переехать туда, где не так холодно. Она переехала в центральную Россию в маленький городок Вышний Волочек. Это был старинный русский городок, где издавна были очень развиты такие промыслы, как вышивка, вязание. И стала она работать в артели. Артель эта выпускала изделия на экспорт, поскольку бабушка делала это все очень хорошо; там она прожила несколько лет.

Началась Великая Отечественная война. В самую тяжелую полосу войны немецкие войска оккупировали территорию средней России и стали приближаться к Вышнему Волочку.

Местное население спасалось от оккупантов бегством. Бежала и моя бабушка.

Но уж как она могла, несчастная, бежать – трудно это себе представить. Но, тем не менее, это было так. Бросив то немногое, что смогла приобрести, прихрамывая, с палочкой добиралась она до своей младшей дочери Зины, которая со вторым мужем и двумя детьми была эва-

куирована из Ленинграда в город Нижний Тагил на Урале, потому что туда переехала проектная организация, в которой работал инженером ее муж. И бабушка добралась.

Я знаю, что такое переполненные теплушки и поезда, куда не пускали несчастных беженцев; что такое ожидание неизвестно когда прибывающего поезда на набитом битком станционном вокзале. Я не понимаю, как ей это удалось, как она не погибла на этой страшной дороге. Может быть, все же свет не без добрых людей и кто-то помогал ей иногда, или хотя бы не выталкивал из поезда, если ей удавалось в него влезть.

И когда Зина с бабушкой пришла к начальнику милиции в Нижнем Тагиле и рассказала ему всю эту историю, он ей сказал так: «Я ничего этого не знаю, она бежала от немцев, она беженка, она добралась до вас – пусть живет. Вот ей, как эвакуированной, – нормальный паспорт». Все. На этом вопрос о ее высылке и всем прочем закрыт, и бабушка прожила свою жизнь вместе с Зиной до конца своих дней. Она даже один раз приезжала в Харьков.

Но я намного забежала вперед. Пока что мы жили в Ленинграде. Наконец-то приехала из Малоярославца, закончив там дела, тетя Лида с Олей и Лилей. С нами жила Зина. Она заканчивала техникум, была красивая девушка – темноволосая, с зелеными какими-то удивительными глазами, певунья.

В нашем же доме жил один молодой человек, который работал в Институте металлов, где и папа. Зина с ним познакомилась. Начался между ними роман. Мы, девчонки с интересом поглядывали за ними и докладывали взрослым, что они целовались. Зине было лет 19. Она вышла за него замуж, родила ребенка. Когда она ждала уже второго, он ее бросил, сбежал и даже алиментов не платил. Зина ужасно нуждалась, ей помогал папа. А жила она через стенку от комнаты тети Лиды и девочек. Там даже была дверь, грубо заколоченная гвоздями.

Потом Зина вышла замуж второй раз и с проектной организацией мужа была эвакуирована в город Нижний Тагил на Урале.

Годы шли. И, казалось бы, что надо мне идти в школу. А я тяжело заболела. В Ленинграде у меня начались приступы бронхиальной астмы, они возникали от каких-то гриппозных инфекций и от простудных заболеваний. И тогда я задыхалась. В течение ночи (обычно в два и в четыре часа) были приступы удушья. У меня всегда был один и тот же бред – какие-то большие не то черви, не то змеи, которые лезли почему-то на меня. Я кричала не своим голосом, а папа держал меня на руках, уговаривал, иногда даже носил по комнате.

Возили меня в Крым – не помогало.

Из-за моей болезни отец решил пока не отправлять меня в школу и попробовать ограничиться домашним воспитанием, пожалуй, даже с каким-то «дворянским» оттенком.

Дедушка работал в Ленинграде на заводе юрисконсультom. На том же заводе работала переводчицей молодая девушка. Она сказала деду, что уходит с завода, т. к. хочет собрать группу детей и с ними заниматься. Так мы познакомились с замечательной семьей Воцининых.

Все со школьных лет знают, что был такой закон Бойля-Мариотта. Так вот, действительно, и Бойль, и Мариотт были живые люди, которые занимались физикой, и не только физикой, но и влюблялись, и семьи у них были. Бойль был англичанин, и была у этого Бойля внучка. А в Англию прибыл по каким-то делам военный русский корабль. И на нем был офицер по фамилии Воцинин, наверное, молодой и красивый. Этот офицер влюбился во внучку Бойля, женился на ней и увез ее в Петербург. И стала эта семья основой для нескольких поколений культурных интеллигентных людей. Я знала три последних поколения великолепных учителей, преподавателей. Не только преподавателей – ах, как это узко, сказано! – «преподавателей иностранного языка». (Я знала женщин, а о единственном мужчине скажу потом).

Семья эта совершенно удивительная. Она оказала большое влияние и на мое детство, и на то, кем и чем я стала, на то, что я горжусь этими связями с русской потомственной интеллигенцией, которые подарила мне жизнь. Я глубоко уважала этих людей, я понимаю теперь, в каких тяжелейших условиях они жили и работали. И я могу только

удивляться, сколько добра, сколько общей культуры, сколько интереса к знаниям сумели вложить эти люди в меня.

В первую очередь это, конечно, был отец и его сестры – тетя Катя и тетя Лида, во многом заменившая мне мать.

Во вторую очередь – семья Вощининых: бабушка, как я понимаю, уже правнучка Бойля, дочь ее, довольно пожилая уже, но подтянутая дама, Наталья Платоновна, и две ее дочери, Екатерина Ильинична и Александра Ильинична, и сын, Алексей Ильич, и няня, всю жизнь прожившая в этой семье и вырастившая всех детей; все называли ее Вавочка. Семья блюла традиции, знание языков, в первую очередь.

Жили Вощинины на Сергиевской улице, почти напротив Таврического сада. Это была громадная коммунальная квартира с длинным коридором, который заканчивался очень большой кухней, где стояло много столов (у каждой семьи – свой!) с керосинками и примусами; в конце коридора была уборная, куда нас – детишек по коридору водила Вавочка.

У Вощининых было 3 комнаты – все рядом со входом с парадной лестницы, все по одну сторону коридора.

Большая, метров 40, комната – в ней мы занимались за большим столом; от нее был отгорожен уголок, где мы раздевались; в углу, около окна стоял небольшой кабинетный рояль. Из этой комнаты была дверь в две другие – небольшие – где, собственно и жили все Вощинины. У стены был большой книжный шкаф.

Когда мы играли или танцевали, стол сдвигался в угол; бабушка садилась за рояль, и мы танцевали. Помню польку, вальс, венгерку; мы очень любили эти танцы, с увлечением пели хором русские и немецкие песенки.

Екатерина Ильинична, «Катеринишна», как я называла, и стала моей первой, самой любимой учительницей. (Впрочем, работала с нашей детской группой вся семья, как это будет видно из дальнейшего). Когда была набрана группа, Катеринишне было лет 19.

Среднего роста, прекрасно сложена, очень темная шатенка, она была всегда очень аккуратно одета и причесана к лицу; носила она

всего 2–3 шерстяных платья, сшитых так, что к ним можно было как к сарафану, но с рукавами, надевать разные блузки, вставки, манишки. Это и создавало некоторое разнообразие ее одежды.

Лицо у нее было чуть удлинненное, овальное, нежно окрашенное; губы – четко очерченные и яркие, зубы были очень белые, крепкие, чуть-чуть скошенные, что еще больше украшало ее и делало ее улыбке еще милей.

Но всего лучше были ее глаза «в крапинку». Радужная оболочка состояла как бы из очень разных пятнышек – зеленых, серых, коричневых при очень белых, даже голубоватых белках. Брови были очень темные, густые, как в сказках пишут «соболиные» и почти что «союзные». Но над переносицей, где они сходились, волосы были светлые, даже чуть золотистые, так же как и ресницы очень густые, прямо пушистые, черные, но на концах почему-то тоже золотистые, как и волосы на переносице. А на конце носа, очень прямого, была как бы маленькая пуговка; она задорно морщилась, когда Катеринишна смеялась.

Как мы все любили нашу молодую веселую учительницу!

Екатерина Ильинична всегда была участницей наших игр, часто их и придумывала и веселилась с нами от души.

Группа состояла из семи человек, одно время – из восьми.

Нас приводили к 9 утра; с этого времени мы говорили по-немецки, если погода была хорошая, мы шли гулять часа на два, рядом был Таврический сад – великолепный, заросший, с желтыми листьями, с сиренью, с цветниками. А местами какой-то одичавший – просто полянки, просто пруд. Позже в Таврическом саду невероятно размножились какие-то ларьки, будки, аттракционы – их стало так много, что и сад как бы уменьшился, но тогда сад еще был, прежде всего, сад! Воцинины жили на Сергиевской улице и, когда была не очень плохая погода, мы гуляли по улицам. Это очень красивые улицы Петербурга XIX в. – Кирочная, Фурштатская, рядом была Нева...

Приходя домой, мы садились заниматься. Часто эти занятия вела с нами Наталия Платоновна. Мастерство преподавания было высо-

чайшее. Неудивительно, т. к. Наталия Платоновна была начальницей одной из гимназий; а потом была открыта частная женская гимназия – очень хорошая, пользующаяся в Петербурге популярностью. Отдохнув немного, к нам возвращалась Екатерина Ильинична.

Мы читали, мы пересказывали прочитанное, иногда рисовали, иногда разыгрывали в лицах прочитанное.

Все это оставило в моей душе навсегда самые теплые, самые нежные воспоминания – даже просто об этом районе. Сергиевская, Таврический сад, Фурштатская.

С 9 часов утра и до конца, до 6 часов вечера, мы говорили по-немецки, за исключением времени, когда нам читали, мы писали и рассказывали по-русски.

За две зимы всех нас научили писать и читать по-немецки и по-русски, считать в пределах двух десятков.

Мы что-то клеили, мы придумывали какие-то картинки, мы рисовали и вышивали. Потом бабушка, как мы ее звали, (я не знаю, даже, как ее зовут по-настоящему), садилась за рояль... И мы пели или танцевали польки, вальс. Потом нам няня – Вавочка она называлась (потому что я тоже не знаю ее настоящего имени: дети когда-то не могли выговорить ее имя и называли ее Вава) – итак, эта Вавочка, глубокая старуха, вероятно по возрасту как сама правнучка Бойля, грела нам на кухне наши завтраки. Мы завтракали, потом нам читали вслух по-русски или по-немецки.

Читали и мы сами вслух, и за хорошее, выразительное чтение нас обязательно хвалили.

Иногда мы успевали еще раз спеть хором какие-то песенки – русские или немецкие, а в 6 часов за нами приходили и забирали нас по домам.

Все получалось в этой группе как-то легко и просто без всяких страданий-чистописаний, а писали мы письменными буквами и по-немецки и по-русски. Не было ни палочек, ни крючков почему-то в моем детстве.

Всю жизнь хранил папа мою вышивку – 2 вишенки: черенки зеленой ниткой, вишни – красной и надпись: «Катя папе, когда ей было

5 лет». Я нашла эту вышивку, разбирая его бумаги перед отъездом в эвакуацию; она и сейчас в моих бумагах.

Ни одной школы, ни одного кружка не вспоминаю я с такой нежностью, как эти занятия в семье Воцининых. Я не помню никаких страданий по поводу обучения письму.

Каким-то образом, тихо и спокойно, научили нас писать письменные буквы – не только русские, но и немецкие. И, кроме того, нас обучили основам арифметики – вот тут, конечно, была некоторая трудность для меня. Я была очень упрямая девочка. Я считала, что вот семь и три – ну, не должно быть почему-то десять. Но это было десять, и это было ужасно для меня. С одной стороны, я понимала, что бесполезно с этим спорить. С другой стороны, я хотела, чтобы этого не было, чтобы было иначе. Я давно выучила, что будет – десять, но сказать это не хотела, и все!

Вот тут были слезы, много, много моих слез...

Екатерина Ильинична (во избежание их) говорила мне: «Пропусти этот пример, Катюша. Решай дальше».

Три плюс семь или семь плюс три – почему-то эти две фатальные цифры вызывали у меня совершенно невероятное неприятие. Я не хотела, чтобы было десять, не хотела сказать то, что было нужно; но я знала, что три плюс семь равно десяти – и... плакала, но не говорила.

Упрямство мое детское дурацкое, может быть, имело свое продолжение в том, как упорно я занималась тем, чем хотела заниматься... Может быть, такое упрямство потом, во взрослом состоянии, переходит в какое-то другое качество...

Многому научила меня семья Воцининых, намного большему, чем русский и немецкий.

Мы в группе научились общению друг с другом и со старшими; я видела в этой семье чувство необыкновенной доброжелательности к другим людям.

Радоваться подаркам естественно, особенно в детском возрасте, но Воцинины научили меня радоваться, принося радость другим.

Никто из детей не уходил в свой день рождения без подарка. Мужчины Вошинины были морскими офицерами и ездили по всему миру.

Японские и китайские лаковые вещицы, статуэтки восточные, северские и саксонские, прекрасные детские книжки с картинками – все эти дорогие вещи раздаривались нам не только спокойно, но и радостно.

Мне была подарена серебряная десертная ложка самого Бойля из их фамильного серебра с монограммой.

В Риге ее «прихватила», уходя, какая-то из домработниц, не потому что интересовалась физикой, а только потому, что ложка была серебряная...

Уже живя в Харькове, я бывала у Екатерины Ильиничны в Ленинграде, наезжая раза два в год в 1955–1960 гг. Я знаю, что ее первый муж был детским писателем, что он погиб на Великой Отечественной войне.

Кажется, он был автором исторических романов для юношества, по-моему, об Урале (Салават Юлаев).

Екатерина Ильинична ждала ребенка. Но в блокаду от слабости не было родовых схваток, и у Екатерины Ильиничны ребенка извлекли по частям, операционно.

Екатерина Ильинична и в пожилом возрасте осталась такой же прелестно-женственной, абсолютно «*comme il faut*». Я со своей преувеличенной экспрессией и жестикуляцией была так вульгарна...

Второй муж Екатерины Ильиничны был тоже писателем (фамилию я забыла). Он написал большую работу «Петербург конца XIX – начала XX вв.» Отрывки из нее были опубликованы в каком-то толстом журнале уже после его смерти. При публикации было отмечено, что подготовка этой работы к печати – труд и заслуга жены писателя Екатерины Ильиничны Вошининой.

Но потом однажды, когда я была в Ленинграде и позвонила по ее телефону, мне грубо ответили, что ее здесь нет, и запретили звонить.

Может быть, она умерла?

Все это было потом, когда я была уже взрослая. А пока казалось, что и третья зима в группе пройдет так же интересно и радостно.

Но, во-первых, Алексей Ильич женился. Большую комнату, где мы занимались, где был рояль, где мы танцевали, пришлось перегородить: даже стол уже не помещался.

Девочки нашей группы с ревностью и злостью отнеслись к его жене – он нам так нравился, он был так хорош... молодой мужчина, он радостно играл с нами, знал нас всех...

Брак этот оказался прочным. Алексей Ильич окончил Институт кораблестроения, и видимо, был очень толковым – при своем происхождении, перед войной, и на всю войну – был отправлен в Америку. Всю войну он пробыл там по какому-то правительственному заданию.

Это я узнала уже взрослой, когда вновь наладила связь с Екатериной Ильиничной, когда она стала меня ругать, что я не занимаюсь со своими детьми немецким. Тогда я и стала заниматься немецким языком; впрочем, не вижу теперь никакой пользы от того, что я делала...

Когда большую комнату перегородили, вся семья – бабушка, Вавочка, Наталия Платоновна, Екатерина Ильинична и Александра Ильинична оказались в двух крошечных комнатах. Екатерина Ильинична поступила в Университет, окончила факультет германской филологии и осталась там же работать. Я потом занималась по ее книжкам. На третий год, еще до женитьбы Алексея Ильича, я походила в группу всего до 13 октября – это день моего рождения, и я хорошо помню все. Была прекрасная осенняя погода, солнце; мы собирали в Таврическом саду кленовые листья. Желтые, красные, коричневые вдруг они стали лезть на меня, а за ними какие-то змеи. Я стала кричать. Вызвали отца. У меня была температура 40°. Скарлатина.

Мало мне было бронхиальной астмы!

У меня были тяжелые осложнения после скарлатины, но самым тяжелым был начинавшийся суставный ревматизм. Лечили его согревающими компрессами, обматывали и бинтовали мне каждый сустав, а снимали только вечером на 2 часа. Я очень страдала.

С отца взяли подписку, что у нас отдельный вход, что сестры мои будут совершенно изолированы, только чтоб меня не клали в больницу.

Болела я тяжело.

Ухаживать за мной приехала «крестная», монахиня, сестра моего отца тетя Настя. Матушка Матрена к тому времени умерла, Кре́ освободили из ссылки, она могла ехать, куда захочет, но, конечно, кроме больших городов. Жила она у нас без прописки, что было возможно из-за отдельного парадного и хорошего отношения к нам дворника.

Она одна ухаживала за мной – ни тетя Лида, ни девочки не могли ко мне зайти.

Карантин длился 2 месяца и заканчивался как раз к Новому году, к Рождеству – к празднику с елкой: тогда уже смогли ко мне заходить Оля с Лелей, играли со мной, ведь я же не видела никого, кроме тети Насти, так долго. Но елка, елка!

Елки у нас были всегда, сколько я себя помнила. Собирали детей, человек 15; елка стояла в середине моей – самой большой – комнаты. Наряжали ее вместе с детьми: кто-нибудь из взрослых, непременно, и мы все трое, Оля, Леся и я. Это было необыкновенно интересно – рассматривать игрушки, развешивать их со специальной маленькой лестнички с перилами, чтобы мы не упали. Но главное – игрушки... Надо было поторапливаться, а так хотелось играть этими игрушками, воображать себе разные игры и истории... Игрушек у нас было очень много, красивых, старинных, еще с тех времен, когда сестра Ляля была маленькая. Особенно я любила русалку и морского царя; были и очень красивые рыбы, и кит из сказки о коньке-горбунке и сам конек-горбунок. И я быстро-быстро успевала напридумывать всякие приключения про этих сказочных героев и развесить их в соответствии с моими выдумками. А то, что это надо было делать быстро (нельзя же было сесть в уголок с этими игрушками и поиграть с ними), придавало даже какое-то особенное ощущение остроты в такой «ускоренной» игре.

Но главным был приход Деда Мороза.

Как я теперь понимаю, папа заводил свои великолепные бронзовые настольные часы с очень красивым боем, на 10, но били они 12 ударов.

Детей собирали обычно часов на 7; за три часа все успевали наиграться, набеситься, утомиться от вкусностей и веселья.

Но... в 12 часов (по папиным часам) вместе с боем часов раздавался странный звонок (3 раза) и тяжелый стук во входную дверь (тоже 3 раза)... Вся компания высыпала в переднюю, замирая в предвкушении и предвосхищении чуда, слегка попискивая от страха и восторга... И появлялся ОН. Вывороченная мехом наружу шуба, белая борода, громадные усы и большущий мешок.

Мешок вручался кому-нибудь из старших, и содержимое его вываливалось около елки на пол.

Вся гурьба бросалась разбирать – каждому был подарок с записочкой – все смотрели только на подарки, а не на Деда Мороза. Дед Мороз в это время тихо исчезал; но очень скоро появлялся мой папа.

Я ведь понимала, что это мой папа был Дедом Морозом; я и верила и не верила, мне было все-таки страшновато, сердце у меня сладко замирало, и я была так счастлива, так горда! Я никому не говорила, что Дед Мороз почему-то похож на папу, и шуба была папина, но я все равно верила...

В год, когда я была больна скарлатиной, елку поставили у самой моей кровати – я ведь не вставала. Были и игрушки, даже Дед Мороз приходил, как обычно, но в гостях никого не было – только Оля, Леля и я. И елка была; она стояла очень долго, высохла, стала осыпаться. Но я так просила еще немного не убирать ее. Я такие сказки себе выдумывала под сенью осыпающейся елки с зажженными свечами; таинственно поблескивали мои любимые елочные игрушки; я лежала вся забинтованная – мне даже садиться разрешали лишь раза два-три в день – и молча играла, и Дед Мороз приходил, наверное, ночью, когда я спала; он любил мою русалочку; он разговаривал с ней, с морским царем, а конек-горбунок помогал ей выйти из воды и... Боже, чего только я не выдумала, не нафантазировала в эти долгие сказочно-таинственные вечера под елкой! Я выдумывала бесконечные истории; было тихо, только свечи потрескивали (электролампочек-гирлянд тогда еще не было).

Вдруг, елка вспыхнула сразу вся, с треском и каким-то гудением пламя взметнулось куда-то вверх... Я закричала; искры посыпались на одеяло, и даже несколько их попали мне на руки и лицо.

В момент отец распахнул дверцу большой голландской печки, у которой стояла елка, рывком сунул горящую мою елочку в печь, и в печке загудело пламя еще сильнее; а отец все вдвигал за ствол елку дальше и дальше в печь...

Испугались мы: все было в саже от летящей и горящей сухой хвои; когда разошелся дым, когда «считать мы стали раны» – увидели: пол был усыпан осколками стекла. Погибли почти все мои любимые игрушки – и русалочка, и морской царь и конек-горбунок. Это была последняя елка, на которую приходил Дед Мороз. Я тогда никому не сказала о своем подозрении, но мне казалось тогда, что он (все-таки он был не совсем мой папа) не приходил больше именно потому, что не было больше ни русалочки, ни морского царя; что ему было грустно приходить туда, где они погибли.

Теперь я думаю, что мудрый Дед Мороз не хотел больше навещать будущую ученицу 4-го класса советской школы, доблестную пионерку и с 5-го класса даже члена учкома, чтобы не ставить эту самую пионерку в конфликтную ситуацию с окружающей действительностью... Елки-то были запрещены... Лишь потом, после разрешения на празднование Нового года были елки у друзей, а потом в школе у меня и у Лели, – но такого волшебства, такого чуда как до моей болезни скарлатиной, не бывало и уже не случилось в моей жизни никогда.

С октября месяца я пролежала до весны. Когда меня вынесли на улицу – цвела сирень. Это в Ленинграде бывает в начале июня.

Очень тоскливо мне было лежать, и я все время умоляла тетю Настю читать мне. Но она ведь была занята, не могла же она читать по много часов!

В эту зиму я «зачитала» для собственного удовольствия толстые книжки.

Потом я поняла, насколько хорошо была подобрана наша детская библиотека: все лучшие дореволюционные издания для детей были

у нас. Л. Олькот «Маленькие женщины», ее же «Маленькие мужчины». Множество сказок, русская классика о детстве, прекрасная детская писательница Сысоева «История маленькой девочки» – история ребенка, который рано осиротел... Потом жила она по каким-то родственникам, пока ее забрала какая-то гувернантка, вырастившая ее.

Были эти книги интересные, и, самое главное, добрые, милые. Мы прочитали бесчисленное количество путешествий; особенно мы любили Сетона Томпсона – его книги отец покупал еще до революции – очень нравились нам «Рольф в лесах» и другие изданные на русском языке его книги.

Но была в нашем детстве ОДНА КНИГА. Мы представляли в действии все события; мы выучили ее едва ли не наизусть – это были приключения Маугли Киплинга (не знаю, в чьем переводе, кажется, все в тех же приложениях к «Ниве»).

Гимны всех зверей мы выучили наизусть, распевали их, «танцевали» всех зверей, в прыжках изображали все, что прочитали в книге, – все события, в ней описанные; привязав себе хвосты, изображая обезьян...

«Мы одной крови – ты и я», – так мы здоровались и так прощались.

Но годы шли... Мы выросли и не изображали больше обезьян с привязанными хвостами. Мы стали все больше читать серьезные книги; громадное количество о всяких путешествиях, очень мы любили научно-популярные книги – помню книги про доисторических людей, про Египет и Шумер; не помню авторов (всех), но, например, Ильин «Горы и люди»; «Разгаданная надпись» – о Шампольоне; «Черным по белому» – о письменности; «Который час?» – о возникновении часов и измерении времени; Поль де Крюи «Охотники за микробами». Множество занимательных изложений: занимательная ботаника, занимательная минералогия и многое другое.

Теперь я понимаю: отец еще до революции следил за литературой для детей и юношества, собирал для своей дочери, сестры моей, о которой я уже говорила, лучшие книги; при мне эта традиция продолжалась.

Я хорошо помню ящики с книгами на лестнице, совсем без картинок (это были приложения к журналу «Нива» – этот журнал выписывали-то ради этих приложений!). Книжки, изданные на неплохой бумаге хорошим шрифтом, но странно: скажем, рассказ мог в одной книжке не кончиться, а на переносе какого-нибудь слова книжка кончалась; другая, за другой месяц, могла начинаться со второй половины этого же слова. (Папа все мечтал переплести их. Но мы их сожгли во время блокады; только мои школьные и «музейные» премии пожалел папа.)

Такая странность как-то особенно остро (уже лет в 12) дано мне было осознать, что хотя в книге кажется главным развитие действий – фабула, ее угадываешь иногда верно, а чаще неверно, но самое-то главное в книжке – это то, о чем думаешь сам, читая и прочитав книгу.

Не знаю, как это на других действовало, но на меня – так. В этих приложениях были у нас Горький, Гарин, Гаршин, Куприн, Мамин-Сибиряк, Короленко, Уайльд, Бунин, Андреев, Толстой и другие авторы.

Нам рекомендовалось, что именно прочитать. Почему-то не возникало желания читать другое, может быть, потому, что мы убедились: то, что советовали, всегда было интереснее всего.

И все эти имена, и многие другие знали мы к 7-му классу уже не только «понаслышке», но и по их произведениям.

Странно даже, что то, насколько мы, дети, были начитанны, тот факт, что мы буквально «росли и выросли из хорошей книги», стал мне, пожалуй, ясен только сейчас, в процессе работы над этими записками.

Хорошо или плохо, что не было телевизора? Теперь люди «вырастают» не из книг – из телевизоров. Но надо иметь характер, вкус и разум, чтоб уметь отобрать то, что следует смотреть. А если нет этих трех компонентов, не знаю, что же вырастает... поколение, которое воспитано на чтении романов Сорокина и «поп»-программах? Ну, я этого уже не увижу...

А к 7-му классу мы читали уже и многое из английской и французской литературы (конечно, в переводе на русский), Диккенса,

Гюго, Теккерея, Дюма. Тогда я очень увлекалась Гюго. Помню, как-то разговор с папой (мне было лет 13) после прочтения «Человек, который смеется»:

– Знаешь, Гюго – самый-самый великий писатель из всех! Ну, никто-никто так не смог написать...

– Ну что ж, детинка моя дорогая! Я рад, я очень рад, что тебе так понравился Гюго. У него много еще и романов, и пьес, и поэт он был выдающийся. Да, конечно, он был великий писатель... А вот «самый-самый»... Ты подожди лучше так думать и говорить. И ты, может быть, изменишься и других писателей еще узнаешь, и может быть твое отношение к ним тоже будет меняться. И вообще, «самый-самый» – как это померить – «самый» или «не очень самый»?

Запомнила я этот разговор. Это надолго сдержало категоричность моих суждений обо всем: о литературе, поэзии, людях, событиях.

В этом предостережении отца таилась глубокая мудрость.

Что меня и тогда удивляло и теперь – как и когда он успевал быть в курсе выходящей тогда литературы? Это с его рекомендации мы читали и «Дикую собаку Динго» Фраермана и «Угрюм-реку» Шишкова, и «Одноэтажную Америку» Ильфа и Петрова, и «Республику Шкид» Пантелеева, и многое другое – например, так же и Шолохова.

Имена Инбер и Паустовского, Тынянова и Леонова я услышала от папы, и многие их книги прочитала и полюбила навсегда «с его подачи».

Отец стремился воспитать наш вкус и фантазию, образовать нас всесторонне, но, несомненно, даже еще до посещения Эрмитажа и Русского музея хотел он не только приучить меня, но и привить мне любовь к хорошей иллюстрации. Сначала это были прекрасные детские сказки. Помню «Войну грибов» с иллюстрациями Е.Д. Поленовой, сестры художника. Помню целую полку русских сказок, иллюстрированных Билибиным; репродукции Третьяковской галереи. Помню громадный (с полстола) альбом с репродукциями Луврской галереи, помню их с детских лет и рассказывала об этих картинах потом в своих лекциях.

Вскоре после того, как я стала учиться – готовиться к школе – пошли мы с папой в Мариинский театр, и я впервые была на оперном спектакле «Сказка о царе Салтане». Помню даже, что не было билетов, что я редела на все фойе, и что папа купил (через какого-то швейцара с галунами) билеты в так называемую «царскую ложу».

Я была потрясена, очарована – это все было, как мои ожившие книжки сказок с иллюстрациями Билибина и Васнецова – я все это узнала зрительно. Но вместе с музыкой вся моя детская фантазия получила потрясение.

И после этого мы много ходили в театр: я не раз бывала на всех идущих тогда в Ленинграде русских операх.

Также неизгладимое впечатление произвел на меня (в ту же первую после скарлатины зиму) балет на музыку Грига «Ледяная дева».

Наверное, моя болезнь и самостоятельное чтение многих книг сразу как-то «продвинули» меня интеллектуально и эмоционально. Даже появилось у меня серьезное нравственное убеждение – надо учиться.

После моей болезни (ведь уже приехала тетя Лида, замечу, что переезд происходил не сразу, что были периоды, когда мы опять по нескольку месяцев оставались вдвоем с папой и моей собакой Бебкой) стала наша с папой жизнь более организованной. Тетя Лида вела хозяйство.

А вести хозяйство было совсем нелегко. Все же трое детей, а жизнь была достаточно трудна; продукты выдавали по карточкам. За ними были очереди. Как правило, тетя Лида ходила в очереди по утрам, когда меня отводили в группу, а девочки – Оля и Леля – уходили в школу. Как вспоминали мы Малоярославецкие базары! Но и в Ленинграде было одно место, куда тетя Лида брала нас и где мы выстаивали тоже немалую очередь, не жалуясь.

У папы был «академический паек» и он был прикреплен к «академическому магазину» где-то на углу Садовой и Невского.

Карточка у папы тоже была особая – нам ее даже подержать в руках не давали – только и разрешили прочитать на одном большом талоне некое волшебное-ароматное слово «копчености».

Входя в этот магазин, ты весь погружался в особый «дух» этих самых копченостей; можно было, стоя в очереди, нюхать, подойти к витрине, посмотреть и даже попросить взять на талон то или другое, немного, но все же самим нанюхаться, выбрать и попросить купить.

Получалось очень немного этих вкусностей – их хватало только детям на несколько дней по бутерброду утром или вечером в выходной день. (В школу, мы, конечно, такие вещи никогда не брали и уже тогда понимали, почему...)

Но все же – это было нечто особенное: и поход в этот магазин и этот потрясающий запах... И мы знали, что, к сожалению, это дано совсем немногим. Теперь я понимаю, как много трудного приходилось преодолевать тете Лиде, а вспоминался об этом времени головокругительный аромат этого магазина больше всего остального и почему-то долго.

Хозяйство было вести трудно – карточек все равно не хватало.

Одно из тети Лидиных мероприятий по прокормлению нашего семейства было следующее.

Сестра моей мамы, Ольга Геннадиевна, работала медсестрой на мясокомбинате. Для рабочих и сотрудников один раз в неделю продавали очень дешево и без карточек кости, горловину, хрящи какие-то, что-то мясное.

Тетя Оля покупала и для нас это нечто мясное, а тетя Лида ездила на трамвае (это была на несколько часов экспедиция!) на мясокомбинат и привозила это домой.

Сначала тетя Оля жила в бараке, потом построили дома, и семья их получила комнату с балконом в квартире с соседями.

С соседями (семья из 5 человек) они не ссорились, но соседи почему-то никак не могли приучиться спускать воду в уборной, говорили: «Это же по малому делу. Оно не вонько». После этого тетя Оля и ее семья перестали им напоминать, а сами за ними спускали воду... И все равно – после барака – эта комната была счастьем! Тетя Оля, дядя Алик и их дочь Мила прожили в этой комнате года 2, до войны.

Мы, все три девочки, очень любили друг друга, всегда играли вместе. Правда, моему самолюбию долго наносила невыносимую рану сестра Оля: она была старшая, старше меня почти на 3 года и любила упоминать об этом факте. Я же ужасно злилась, хоть и понимала, что сделать тут уже ничего нельзя (так же как и $3+7=10$ – как бы я ни хотела, чтобы было иначе!) – да, действительно, она была старше... Иногда это было просто ужасно! Но чаще – ничего себе... жить было все равно очень весело, даже с этим обстоятельством. Вторая сестричка моя, Леля, была на год с небольшим старше меня; но этой «мелочью» я как-то пренебрегала, считала себя с ней абсолютно наравне и стремилась к этому изо всех сил.

Когда я выздоровела, Леля уже ходила в школу. Она начала учиться в Малоярославце, потом ходила в школу в Ленинграде, кончила уже три класса – должна была пойти в четвертый в этом году. А я страстно хотела пойти с ней в один класс. Это был вопрос моего самолюбия; я была очень привязана к Ляле, я страшно ревновала ее к возможным подругам в школе. Я решила, как говорится, лечь костью – выучить все, что угодно, но поступить в четвертый класс. Ну, и папа не возражал. Дело в том, что он был уже человек немолодой. Я родилась, когда ему было сорок шесть или сорок восемь лет – кажется, сорок шесть. И его все время угнетала мысль, что на мать расчет, в общем, очень слабый, поскольку она явно уже тогда производила впечатление человека маниакального. А он боялся, что с ним может что-то случиться. И поэтому он все время старался, чтобы я – как бы это сказать? – немного опережала свой возраст.

Мне надо было учиться... Ведь в 4-й класс надо было поступить. Это же не шутка... Конечно, чему-то я уже была научена. Но надо было по программе школы заниматься. Стали мы искать учительницу. И нашли. Учительницей моей стала Надежда Николаевна Хитрово. Сама фамилия Хитрово очень знаменита в русской истории. Она была последней «потомницей» как там – последним потомком Кутузова. Хитрово, по-моему, была праправнучкой Кутузова. Ее прабабка, дочь Кутузова, по 2-му браку Хитрово, и дочь Хитрово, Дарья Финельмон,

были добрыми друзьями А.С. Пушкина. И закончила она Смольный институт со всеми возможными отличиями.

Великолепно воспитанная, очень интересная пожилая дама, которая занималась со мной русским, русской историей, русской литературой, а ее соседка, бывшая ее компаньонка, занималась со мной немецким языком. Соседка эта мне сразу же не понравилась – маленькая, с узкими губами, с глазами круглыми, как у птицы, вся скучная и недобрая. И нос у нее тоже был острый, как длинный клюв; он был всегда белый, как мел и часто на нем висела капля.

Она требовала, чтобы я ставила точки над «і», а я от злости эти точки превращала в кляксы. Не нравилось мне заниматься с ней немецким языком после того, что мы видели у Екатерины Ильиничны, после того, каким светлым пятном осталась для меня вся эта группа.

Занятия с этой скучной и нудной гимназической крысой казались совершенно невыносимыми.

Но не только ее нос мне не нравился. Дело в том, что я читала и писала по-немецки латинским шрифтом. А эта учительница требовала, чтобы я не только читала готический шрифт, но чтобы я и писала готическими письменными буквами. Это было очень трудно и казалось мне совершенно бессмысленным.

Как пригодились мне эти знания потом, в работе над немецкими архивами!

Но с Надеждой Николаевной я занималась с большим удовольствием. Она очень поощряла мое чтение. Уже тогда я прочитала Тургенева и очень многие вещи Толстого, и да, еще мы с большим увлечением читали «В лесах» и «На горах» Мельникова-Печерского. Тогда мне это очень все нравилось – ну, язык-то действительно интересный. И как-то... я не могу сказать, что сейчас я хотела бы читать эти вещи. И боюсь, что, например, моей внучке и моей правнучке это будет чуждо и непонятно. Но мне тогда это чтение принесло очень многое. У меня возник какой-то другой взгляд на прошлое – о том, как жили в монастырях и скитах, какие сложные человеческие отношения там возникали...

Ну, поступила я в 4-й класс – в класс, где села за одну парту со своей сестрой Лелей.

Я была очень горда собой, но очень ревновала Лелю к ее школьной подруге. И рыдала, когда Леля уходила без меня с той девочкой, потому что ревнива я всегда была до невероятности – наверное, это в мать.

Училась я очень хорошо. Но отличалась я какой-то такой странной драчливостью. Куда девались те манеры, которые усваивали мы в семье Воцининых!

Когда с Олей я подралась, то я рассматривала это как тяжкий грех. А когда мальчишки меня дергали за косы или еще как-нибудь приставали, я отвечала им дракой. Может быть, я не сразу адаптировалась к школе? Конечно, это было плохо. Отца даже вызывали в школу и пеняли ему, что, вот, мол, какая не очень воспитанная девочка у него, дочь-то.

Постепенно как-то это все стало само по себе проходить, с мальчишками я подружилась: многие заходили ко мне домой, я давала им читать свои книги.

Немецкая группа распалась, но надо же было хотя бы не забыть немецкий язык. Тут выяснилось, что в нашем доме (или в каком-то из соседних) живет некая старушка – прибалтийская немка, как я потом поняла. И живет она со своим мальчиком – внуком примерно моего возраста.

Мой отец попытался нанять ее для того, чтобы она занималась со мной.

Дети иногда бывают так жестоки! Как мне потом было стыдно – долгие годы за то, что я тогда сделала.

Я возненавидела этого мальчишку. Несомненно, он был ниже меня по уровню развития, хоть и мой однолетка.

Его бабушку я и сейчас помню: маленькая, в какой-то очень дешевой бумажной коричневой кофточке – другой я на ней никогда не видела – с аккуратным белым воротничком, стриженная, гладко причесанная с зеленой дешевой гребенкой в волосах.

Говорила она, как я теперь понимаю, на нижне-немецком диалекте, и поэтому я совершенно ее не понимала... Что же это за немецкий язык? Это вызывало у меня раздражение, неприязнь к ним обоим.

Кончилось это тем, что я просто-напросто оклеветала этого мальчишку. Я сказала, что он стащил у меня статуэтку саксонского фарфора – маленького поросенка, очень дорогого – подарок Воцининых, и очень дорогую вещь. Я думаю, папа не оглашал, почему именно он отказался от ее услуг.

И я помню, как она уходила, плача, я помню, как она мне сказала: «Ну, чем же так уж насолил тебе мой внук?» Тогда я ее на какую-то минуту пожалела. Но потом я была так счастлива, что не должна с ними общаться!

Только намного позже я подумала, что, может быть, жила-то она с внуком потому, что родителей этого мальчика посадили. Может быть, деньги эти были для нее единственным источником существования. Может быть, так бы и осталась она как-то при нашей семье – не то в положении гувернантки, не то в положении домработницы. Может быть, она на это надеялась. Все могло бы быть, но не было из-за меня, из-за моей жестокой подлости.

Через пару месяцев после того, папа говорил со мной о возможном своем аресте, я вдруг подумала об этой женщине, что и родители этого мальчишки, наверное, арестованы, или, может быть, уже и в тюрьме...

И этот мой проступок, когда я оклеветала невиновного, жег меня и мою совесть много лет. Опять и опять возвращалась в мыслях к тому, как подло поступила. (Это не мешало мне и забывать об этом – ведь мне было 10 лет! Дети часто думают по-своему о серьезных вещах, о чем взрослые и не подозревают).

Именно тогда, в 10 лет, я поняла, что подлый поступок – он и есть наказание для меня самой. И что самое главное – чтоб так не мучаться внутри собственной совести от этого поступка, самое главное – его НЕ совершать.

Это намного оградило меня от плохих поступков, может быть, даже от поступков просто подлых.

Но вот произошло событие, результатом которого было множество несчастий во всех семьях.

В 1934 г. был убит Киров. Сколько семей «поразил» этот выстрел. Сколько людей поплатились за него! Даже и теперь в этой истории много неясного... А тогда! Митинги везде, нагнетание возмущения, аресты. Митинг в моей школе...

Примерно в это же время нас должны были принимать в пионеры. Сейчас я, конечно, «вижу» это время. А тогда!.. Как много людей понимали, какая я дура, и как много людей старались, в общем-то – ну, не дать ход тем событиям, которые могли бы произойти. Но тогда...

Когда убили Кирова, полная решимости, я сказала, что хочу поступить в пионеры... Ну, пожалуйста, все были очень довольны – я прекрасно училась и все такое... Но все дело в том, что мой папа сказал: «Я не хочу». И тут, когда у меня стали спрашивать, а почему же вдруг ты передумала, по глупости я и сказала: «Мне папа не разрешает».

При этом присутствовал старший пионервожатый школы – такой молодой человек лет девятнадцати с военной выправкой... в полувоенной форме, в гимнастерке – я не знаю, был ли у него револьвер или нет, но кобура на поясе была.

Он этим всем очень заинтересовался, вызвал меня к себе в кабинет и начал у меня выспрашивать, есть ли у меня родственники за границей, а переписывается ли мой папа с этими родственниками, как давно эти родственники за границу уехали, чем же занимался мой папа до революции? А мама? А тетя?

Поскольку я ничего не могла сказать, кроме того, что – да, где-то есть за границей один родственник, дядя Володя, о котором я решительно больше ничего не знаю, то как-то (так я понимаю) моей классной руководительнице, Наталье Алексеевне – дай ей бог здоровья! – удалось, в общем-то, этого старшего пионервожатого утихомирить.

Встречались на моем пути хорошие люди!

Я же была такая дура! Только теперь понимаю, как я могла подвести отца, и что могло произойти...

Меня оставили в покое, папу моего вызвали несколько раз в школу, и даже к директору. Папа сказал: «Девочка пришла после очень тяжелой болезни; ей пришлось поступать в четвертый класс, она не училась в первых классах школы. Я думал, что ей просто будет тяжела эта общественная работа. Но если она так настаивает, и так хочет, – пусть поступает». Я вступила в пионеры и моментально стала какой-то – «общественной деятельницей». В те времена были такие организации – ученические комитеты, которые назывались учкомами; от всей школы выбиралось семь человек. И я, самая младшая из 5–6-х классов, была избрана в этот самый учком и стала его членом.

Учкомы эти должны были способствовать хорошей успеваемости и дисциплине во всех классах – старших и младших, с 5-го по 10-й. Я-то все же была младше всех!

Передо мной в это время стояли весьма для моего возраста сложные проблемы. Трудности общения с ребятами, только что преодоленные и еще преодолеваемые. Учителя и отношения с ними... вся сложность школьной жизни, вся эта история с поступлением в пионеры... не говоря уже о сложностях в семье – мамины уходы и разводы.

Тяжелейшая обстановка вокруг. Знакомые говорили по телефону только так: «Вы знаете, он женился, да... а вы знаете, он ненадолго переехал».

Моя милая Наталья Платоновна, член семьи Вошининых, которая опять стала заниматься со мной, очень остро переживала арест своего зятя.

Александра Ильинична, ее дочь, которая потом стала крупным знатоком по причерноморским античным городам-колониям, была замужем за работником Эрмитажа, чуть не замдиректора. Его арестовали, и Александра Ильинична еще студенткой осталась с маленькой дочкой Настей. Может быть, только это уберегло ее от того жребия, который был уготован очень многим членам семей репрессированных.

Настя выросла трудом всей семьи. Я эту Настю видела, уже когда у нее у самой была дочь. Это было странно – ведь я помнила рассказы Натальи Платоновны про маленькую Настю.

Исчезали целые семьи.

Одна моя подруга – Таня Коняева – пришла к Люсе Пономаревой, она была и нашей подругой, и сказала, что уезжает сегодня вечером, не знает куда, и не знает, когда сможет послать нам весточку.

И вся эта семья исчезла. И другие знакомые так же исчезали – навсегда.

Стало очень страшно жить. Папа, который был засекречен по самую макушку, занимал большой пост – в один тяжелый вечер позвал меня, и сказал: «Нужно серьезно поговорить».

Это происходило, когда я училась в 5-м классе. Уже было принято решение: тетя Лида и девочки переедут в комнату моей сестры по отцу – Лялечки – на Васильевский остров, т. к. дядя Миша уже мог вернуться и жить с семьей; Ляля, ее муж и сын будут жить с нами. Долго не решались на эту вариант и все искали обмен, чтобы была квартира, где больше комнат; отец хотел, чтобы у меня была своя жилплощадь. Боже, какое дикое слово родилось тогда! Как сама жизнь становилась невозможна из-за этой самой «жилой площади», которая часто состояла всего из одной комнаты в коммунальной квартире и где жили родители, взрослые женатые (замужние) дети со своими детьми, а иногда еще какие-то родственники.

Так эта «жилая площадь» становилась абсолютно «нежилой» – но деваться было совершенно некуда. И жили... Один дом, в который мы чуть не переехали – очень красивый во вкусе начала XX в. с затейливыми «фонарями», застекленными выступающими изнутри как бы террасами – стоял рядом с местом дуэли Пушкина на Черной речке.

Когда я была ребенком, это был странно – один дом среди полей капусты и картофеля. Трамвай (всего один маршрут) оканчивался до моста через Черную речку.

Когда я «прощалась» с Ленинградом от этого дома начинался Ленинград послеблокадного строительства – от дома начинается проспект Смирнова.

Там было 5 комнат и еще эти «фонари», но мои родственники так и не решились туда переехать из-за отдаленности дома: все же в каких-то полях... а транспорт?

Вот тогда и решили перестроить и Лялину комнату, а в нашей квартире разделить самую большую комнату на две.

Но это требовало хлопот, денег и времени.

Тетя Лида и ее девочки переехали не на Васильевский Остров, а пока на время куда-то к дяде Мише, а папина дочь Ляля еще не переехала в нашу квартиру – в процессе переезда они жили у Евгении Николаевны, первой жены моего отца, Лялиной матери – пока шли эти ремонты и перестройки (летом с Евгенией Николаевной и Феликсом мы уезжали в Пушкинские Горы). А пока мы с папой остались одни в квартире, правда, с моей собакой Бибкой.

Продукты покупал папа (карточки уже отменили); иногда по вечерам привозила их Ляля. Готовила я, но консультируясь по телефону с Евгенией Николаевной.

Так получилось, что из школы (в 5-м классе училась утром в 1-ю смену) я возвращалась в пустую квартиру. Вот в такой обстановке состоялся мой серьезный разговор с папой.

«Слушай, все люди, которые как бы куда-то уехали – их посадили в тюрьму, – сказал папа. – Могут посадить и меня, хотя я ни в чем не виноват. Я хочу предупредить тебя. Все может случиться».

В то время было модно, чтобы девочки ходили в школу не с ранцами или портфелями, а с маленькими чемоданчиками. Мне это было очень удобно: наш подъезд выходил прямо на улицу; это была только наша квартира, но звонок был для меня очень высоко: я вставала на свой чемоданчик, он был твердый, и звонила; замочную скважину я тоже доставала с чемоданчика – она была на высоте груди взрослого мужчины – а для меня где-то на уровне лба. Ключ был у меня свой – он был пристегнут булавкой внутри кармана школьного халата (мы все ходили в халатах, и школьники и учителя).

Папа взял мой школьный чемоданчик, отклеил подкладку и положил туда пачку денег. Не знаю, сколько, но, видно сумма была вполне достаточная. Помню, что купюры были красного цвета. Потом он заделал подкладку так, чтобы было незаметно, что ее вспарывали и что там что-то лежит.

– Слушай внимательно. Если ты, идя из школы у подъезда или в подворотне, рядом с подъездом, увидишь «черного воронка» – ты ведь знаешь эти машины – или если увидишь на своем окне беспорядок, даже не заходи домой. И сразу на Московский вокзал. Подойди к поезду, найди женщину с лицом подобрае, и скажи, что в твоей семье все заболели, что ты заплатишь, чтоб она пустила тебя в вагон, и довезла до Москвы, что в Москве у тебя тетька. В Москве иди на Сокол, к тете Кате, там ты доберешься. Плачь, умоляй, но добейся!

– Ты все поняла?

– Да. Я поняла.

– А теперь на другой случай. Я всегда звоню тебе с работы... но может случиться так, что я не приду. Вот тут в ящике – документы. Тут – некоторые ценные вещи. Так то же самое: все взять, спрятать между тетрадками, и скорее идти на поезд «Ленинград–Москва». И еще – только ты и я должны об этом знать. Больше – никто. Ты понимаешь, детинка моя, никто».

Меня так потрясло, что у нас с папой (только у нас) общая тайна, что я долго никому ничего об этом не рассказывала. Потом, после 6-го класса, я просто забыла об этом на... целых 60 лет! Только в Израиле я рассказала об этом внучке и правнучке, когда правнучка расспрашивала меня и просила: «Расскажи, как ты была маленькая».

Моя школа называлась 32-я железнодорожная. Я пошла туда, потому что там в 4-м классе училась (уже год!) моя сестра Леля; мы и жили вместе и я сгорала от честолюбивого и ревнивого желания учиться с ней в одном классе. (Почему она там оказалась в 3-м классе, приехав из Малоярославца, я не помню).

Школа эта находилась в самом конце Знаменской улицы (тогда улицы Восстания) за один дом до угла Невского. Напротив школы была Знаменская церковь; потом ее сломали и сделали один из входов в метро.

До дома мне надо было пройти 2–3 квартала по Знаменской. Но, немного не доходя до нашего Саперного переулка, от Знаменской отходил очень странный узкий-узкий переулок. В него не выходил ни один

двор, ни один подъезд – это были глухие кирпичные стены, задние стены многоэтажных каменных домов – этажей в 5–6, переулок загибался под прямым углом, как самоварная труба и выходил прямо в Саперный; напротив, на другой стороне переулка был наш парадный вход с папиной медной табличкой: «Дмитрий Владимирович Кутырин. Горный инженер» и окна 2 комнат – большой и потом отгороженной от нее, моей (НО комната была поделена летом – когда я была в Пушкинских Горах).

С этого места как раз и было хорошо видно и парадное и окна нашей квартиры. В 5-м классе, идя домой, я всегда думала о том разговоре с папой. Я останавливалась, не выходя еще на Саперный, внимательно разглядывала наши окна и подъезд – нет какого-нибудь беспорядка, нет ли «черного ворона» на той стороне. Сердце у меня замирало... мне было очень страшно... А вдруг я что-то увижу там – такое, чего не было раньше...

Постояв некоторое время, я переходила переулок, ставила свой чемоданчик, становилась на него и доставала до звонка, и звонила; зачем? Ведь я знала, что дома никого нет... Но я ждала, замирая... Чего – я и сама не знала, но мне было страшно. Я и сегодня помню это чувство страха «где-то в животе»... Подождав, не слезая с чемоданчика, я открывала дверь своим ключом и поднималась по «своей» лестнице, скорее захлопнув дверь на улицу.

Ко мне бросалась моя любимая Бебочка; мы целовались и обнимались. Мой страх проходил – не потому, что Бебка была моей охраной, – это было нечто гораздо большее. Я не чувствовала себя одинокой. Она, моя умница, все понимала, каждое мое настроение. С ней я разговаривала, ей рассказывала все, даже читала стихи, а она так старалась их понять!..

Страх отступал; все было спокойно, и мы выходили с Бебочкой погулять (утром ее выводил папа).

Иногда я вспоминала, что папа говорил «тюрьма», «арест». Я думала тогда, что это, наверное, так: вот папа уедет, а потом приедет, что это как бы командировка (отец часто уезжал в командировки, чаще всего на Урал).

Да, конечно, в 12 лет я уже понимала хотя бы из книг значительно больше, но это было потом... А в 9–10 лет, когда я бывала одна, и была предупреждена папой и боялась, – я все еще была маленькой в некотором смысле.

Дети не могут понять, что может человека не быть; меня часто мои дети спрашивали, когда были маленькие: «А где же я был, когда меня не было? Как это не было? Я всегда был».

А мой папа был всегда... и о том, что его могло бы «не быть» вообще нигде – мне даже не приходило в голову. Я не то чтобы в это верила, нет, я это знала.

Это «знание» никогда не оставляло и не покидало меня, едва ли не до самой его смерти.

Но тогда, в детстве (в 10 лет), я даже иногда начинала воображать: что вот может быть мне придется ехать совсем одной в Москву, к тете Кате; тогда я представляла себе, как это все будет: как я на перроне ищу проводницу с добрым лицом и вслух говорила Бекке то, что должна была ей сказать.

Всю сцену «На вокзале» я играла перед Беккой; она виляла хвостом, «отвечала» мне. Это была такая игра – репетиция.

Впрочем, в это время в моей жизни было много не менее интересного. Так что я переключалась на другое, и мысли мои об этих вещах посещали меня в основном по дороге домой. А по приходе домой забывала я вместе с Беккой и о предупреждении отца, и о деньгах в чемоданчике до... следующей дороги из школы домой. Теперь, когда Леля уехала, я шла одна – другие все жили близко от школы и почти все – в другую сторону.

Два учебных года я ходила в школу с этими деньгами. Это были 5-й и 6-й классы. Никто, кроме папы и меня, не знал о них. А папа ночевал наготове с портфелем: зубная щетка, мыло, полотенце. Говорили, что это разрешают брать в тюрьму при аресте.

Постепенно я стала думать об этом все реже; деньги все лежали у меня; у нашего подъезда все было спокойно, и я совсем забыла обо всем этом.

Какое счастье, что сама эта страшная «игра» не состоялась! Я закончила 5-й класс; к нам переехала Ляля с семьей; на лето я засунула свой чемоданчик в шкаф, а сама уехала с Евгенией Николаевной в Пушкинские Горы.

Весной моего 6-го класса папа вынул деньги из моего чемоданчика и убрал портфель с полотенцем от своей кровати. А в 7-м классе я стала доставать до звонка – подросла все же...

Несмотря на эти поистине страшные (и другие – менее страшные) семейные события, моя школьная и даже внешкольная жизнь шла очень интересно, я бы даже сказала, интенсивно.

После так сказать «экзамена» меня приняли сразу в 4-й класс. Ну, по общему развитию я была более чем подготовлена, но... увы! В 5-м классе начались некоторые сложности.

Появились сложные арифметические задачи – эти ужасные бассейны с трубами, поезда с разной скоростью, идущие в одном и в разных направлениях, разные сорта товаров, которые зачем-то перемешивали для продажи, разные пешеходы и велосипедисты. А я была в 5-м (подумать, ведь уже в 5-м!) классе и член учкома; как же я могла не то что плохо, а даже средне учиться?

А те самые мальчики, которые меня обстреливали бумажками и дергали за косы... – я должна была – это было просто необходимо достигнуть того, чтобы смотреть на них сверху вниз (это при моем-то росте?!), чтобы они зауважали меня...

На помощь пришел папа.

Он все понял: и мое самолюбие и мое тщеславие – ничего от него не укрылось, но он всегда помнил и о своем возрасте и всегда старался как можно раньше сделать меня самостоятельной, вложить в мою голову как можно больше знаний и понимал, как важна качественность эти знаний.

Начиная с 5-го класса, особенно регулярно в 5-м, 6-м, 7-м классах, отец занимался со мной утром почти каждое воскресенье; в 9-м и 10-м классах эти занятия возникали по необходимости – перед контрольной, если я чего-то не понимала, перед экзаменом.

По воскресеньям мы вставали в 7 утра, а занимались с 8 до 13, сначала арифметикой, потом, в следующих классах, алгеброй, геометрией, тригонометрией, физикой: использовались «наглядные пособия»: движущиеся предметы, мыло разрезалось в разных направлениях, склеивались объемные бумажные фигуры.

Папа очень много требовал от меня.

Может быть, у меня дефект такой в мозгу, может быть, я все-таки была на 2 года моложе своих одноклассников, а он требовал очень точных формулировок, добивался от меня точного, а не формального понимания. Он заставлял меня думать. Ах, как это было трудно!

Ну и поплакала я в эти воскресенья! Я даже помню, как я не хотела думать, как отвлекалась в мыслях, а потом начинала плакать и уходила в уборную. Некоторое время отец ходил мимо, а потом начал тихонько стучать в дверь... Я выходила, вся зареванная, утыкалась в папу; из-за моего маленького роста это получалось «моськой» ему в живот. Папа говорил: «Детинка моя, дорогая, ну если тебе это так трудно – давай, не будем заниматься?» – «Нет, мы будем, будем», – подавляя всхлипы, упрямо говорила я...

И мы опять садились, и папа клал на стол часы.

За эти занятия папа научил меня тому, что точность мысли не терпит неряшливости языка и формулировок; научил меня думать, приучил к работе за письменным столом – научил меня учиться, думая.

После занятий мы шли в Эрмитаж, или в Русский музей часа на 1,5–2. Потом мы пешком шли домой и заходили в книжные магазины. Тогда стали издавать много книг для юношества в издании ЦК ВЛКСМ. Иногда мы также заходили в комиссионные магазины. Папа покупал ценные антикварные вещи; он думал, что, может быть, мне придется потом, когда его не станет, жить продажей вещей.

В 5-м классе учительница географии, Агния Павловна Лесниченко, направила меня в школьный кружок при музее этнографии народов СССР. Кружок был серьезный; я читала специальные книги, работала даже в запасниках музея (впервые узнала об их существовании).

Каждый год завершался нашими докладами и прекрасным концертом, перед которым вручали премии. Мои доклады оценивались высоко и: я каждый год (5–7 кл.) получала в награду какую-нибудь хорошую книгу.

Руководила нашими занятиями Нина Александровна Дылева, этнограф по профессии, оказавшаяся прекрасным чутким и умным педагогом.

Будучи в Ленинграде со своими двумя сыновьями, я нашла Нину Александровну. Она меня вспомнила и по имени, и даже по темам докладов (которые я, увы! забыла), и вспомнила, что у меня была сложная обстановка в семье. И вся наша встреча была такой теплой!

Я очень благодарна Нине Александровне: многие знания, полученные в этом кружке, а самое главное знакомство и умение работать с литературой по этнографии (я уже заглядывала в основную литературу по многим вопросам) потом пригодились мне, когда я на истфаке читала курс «Первобытной истории с элементами этнографии». Не знаю, к сожалению, других организаторов кружка и заключительных концертов...

Во многих концертах участвовали студенты Института им. Герцена и Университета: выступали национальные ансамбли Северных Народов с танцами, сценками, пантомимами; исполнялись танцы и песни народов Кавказа – всегда очень красочны были их выступления. Но один концерт, это был последний год моего участия в кружке (я училась в 7-м классе), я не забуду никогда, т. к. больше не видела ничего подобного за всю свою жизнь.

На этом концерте со мной был папа.

На сцене поставили небольшую кафедру и на сцену вышел небольшого роста, совсем неприметный на вид мужчина, невысокий; объявили только его фамилию (если бы он был из цирка – я бы обратила на это внимание, т. к. была равнодушна к цирку); номер объявили: «Собачий суд».

Пока публика пошумела и пошуршала недоуменно, выступающий оказался – собакой! Голова и даже лапы на кафедре – собачьи: круп-

ная, как бы овчарка, и он – этот большой пес – начал: он полаивал, рычал, лапами «рыл» по кафедре, явно кого-то ругал и чем-то возмущался. Потом голос человека спросил: «Потерпевший, Вы закончили?» Овчар гавкнул утвердительно, и человеческий голос сказал: «Слово обвиняемому». Исполнитель «исчез» – присел – и появилась другая собака – маленькая, жалкая, скулящая, перепуганная дворняжка. Она униженно просила прощения повизгивая; всем телом виляла; «видели» мы, как собачонка почти ползет... А «исполнитель» опять на минуту скрылся и появился прокурор обвинитель – маска боксера, рычанье, почти неподвижная верхняя часть тела и какой-то лай с металлом в голосе.

«Процесс» завершил «судья» в маске сенбернара: какое-то благожелательное порывивание, небольшое подвывание; «судья» чихнул, потряс головой и, сказав спокойное как-то горлом: «вау, хрр, хрр, вау», сдернул маску.

В зале стоял стон и хохот, буря ребячьего восторга. Скромно одетый, совсем обыкновенный человек утирал льющийся по лицу и голове пот...

А мой папа, сняв очки, утирал слезы – вот уж поистине посмеялся до слез...

Папа потом сказал мне, что это редчайший номер, называется «чрево вещание» – исполнитель говорит (а здесь он лаял, рычал, визжал, как собака) за нескольких «собак» совсем один...

Я читала в книгах, что в древности на Руси на ярмарках выступали чрево вещатели, но даже представить себе ничего подобного не могла.

Кто был этот человек? Сотрудник музея? Отец кого-то из ребятишек?

И вообще, кто были эти люди, бесплатно организовавшие все концерты, выступавшие на них – тоже бесплатно; где брали они время и силы в такое трудное время...

Но вот находили... В своем тяжелом, неустроенном существовании находили время и силы для того, чтобы сделать нашу ребячью жизнь осмысленной и радостной... Низкий, низкий им поклон!!!

Кроме занятий была у меня еще она обязанность, которую всегда выполняла только я и которую было невозможно не только не выполнять, но даже отсрочить.

До 7-го класса включительно жили у меня мои животные: у меня был снегирь, белые мыши, а потом крысы, белые с черными пятнами. Чистить клетки, давать корм, воду – все это надо было делать всегда вовремя и только мне; с 5-го класса я стала выводить и свою собаку, только рано утром папа, а потом уже я.

Мы знали, что у Натальи Платоновны пертурбации семейные, Екатерина Ильинична пошла в университет. Сестра ее, Александра Ильинична, работала в Эрмитаже, была уже научным сотрудником, была довольно известна, занималась она причерноморскими античными городами-колониями, было у нее несколько книг, которыми я пользовалась, когда училась на истфаке и когда преподавала.

Наталья Платоновна давала уроки. Мы обратились к ней, она, конечно, с радостью согласилась, потому что меня они все любили.

Лет пять, наверно, каждую зиму я занималась с Натальей Платоновной немецким.

Я читала, потом мы это обсуждали, потом Наталья Платоновна делала мне небольшой диктант.

Думаю, это было очень разумно. Если б она стала терзать меня грамматикой – я бы возненавидела немецкий, и больше ничего. А так я немецкий полюбила. Мы очень много прочитали из немецкой классической литературы: красоту Гейне, Гетевских романов, Фауста я поняла – и это было важно.

Наверное, под влиянием этих занятий, когда встал вопрос, куда же поступать – я решила поступать на германское отделение филфака. Но это было потом.

А пока Наталья Платоновна приходила два или три раза в неделю на уроки. Она всегда говорила обо мне хорошие слова – какая я способная, как со мной интересно заниматься... а я, бывало, зная, что она пришла, ждет меня, находила более интересные дела – стенгазету выпускать, или еще что-нибудь... да, было, бывало и так.

Да, я не была ангелом, отнюдь. Видно, хватало ума у старших увидеть во мне хорошее, за что-то же они любили меня.

Понемногу схлынула волна арестов – во всяком случае, меньше стало разговоров по телефону о том, кто «женился» или кто «уехал ненадолго в другой город».

Признаться, я и сейчас удивляюсь, что отца не забрали. Потом папа рассказал мне, что тогда всего три человека так знали проблемы закалки качественной стали (идущей на военную промышленность) отец и еще двое. Одного посадили – и тот «исчез». Один остался – академик Гудцов выжил. За перевод закаливания этих сталей с масла на воду группа инженеров получила Сталинскую премию.

Академик Гудцов Николай Тимофеевич (1885–1957 гг.) – металлург; его основные труды по кристаллизации, термической обработке сталей и по свойствам специальных сталей. В 1943 г. он получил Государственную премию СССР.

Не помню точно, когда, но мать не только сама сделала важное дело, но и тетю Лиду уговорила, и они обе закончили, кажется, годичные курсы для людей, владеющих иностранными языками, и получили право преподавания иностранного языка в школе. Тогда вышло постановление правительства об обязательном преподавании одного иностранного языка в школах. А учителей не было. Правда, в постановлении была оговорка, что к свидетельству с этих курсов надо окончить институт. Но вскоре началась война, и об этой оговорке все забыли.

Окончив эти курсы, тетя Лида преподавала французский язык на ст. Шушары – первая остановка от Ленинграда, а мама до своей окончательной болезни преподавала немецкий язык. Мама также вела кружки для командиров в Доме Красной Армии по овладению иностранными языками – немецким и французским.

Но откуда же мама хорошо знала языки? Дедушка был офицером и по долгу службы часто переезжал. Маму и ее сестру отдали в закрытые учебные институты для девочек. Маму – в Смольный институт. Этот институт играл важную роль в женском образовании в России;

много в нем было и дурного, но было и хорошее. Девочек хорошо учили иностранным языкам, литературе и музыке; очень плохо – математике и физике, а химии там вообще не было.

За детьми следили классные дамы и строго наказывали провинившихся. Девочки должны были один день говорить только по-немецки, другой – только по-французски, даже между собой.

Жизнь детей была нелегкой: кормили плохо, холод был ужасный (ведь раньше это был монастырь и кельи не отапливались – в них девочки спали); подъем был в 6 часов утра и даже в те короткие 2 часа, когда дети могли заняться чем хотели, все равно за ними следила очередная классная дама. Вот от этих-то дам и зависела вся жизнь девочек (На уроках были преподаватели-предметники, но классная дама все равно присутствовала). Некоторые классные дамы искренне любили воспитанниц, другие – ненавидели, третьи же – отбывали службу. Дети видели родителей только летом.

Когда началась Первая мировая война, первые 2 года институт оставался в Петербурге.

С начала войны из патриотических соображений стали меньше внимания уделять немецкому языку.

С развитием военных действий Смольный институт эвакуировали.

Но откуда же мама хорошо знала языки? Родители ее приехали в Петербург из Германии в самом начале XX в. и натурализовались в России.

Немецким мама, естественно, хорошо владела, поскольку по-немецки говорили родители – это был их «родной» язык, хоть они и были евреи, но тогда в Германии евреи стремились войти в немецкое население, стать немцами и говорили по-немецки.

Родители мамы были довольно состоятельные люди (дед был юристом) и девочки всегда получали уроки французского.

В революцию Петербург голодал... Близкие друзья родителей поехали под Ростов-на-Дону, (где все же было посытнее), и взяли мою маму с собой. В центральной России и в столицах уже всюю шли

революционные события, а в этом уголке Черноземья власть дольше принадлежала казачеству.

Но революция приближалась. Тогда эти друзья родителей решили эмигрировать через Черное море. Последнее, что мама знала о дедушке, – это что он ушел в Красную Армию; что бабушка и Зина куда-то эвакуировались из Петербурга, а об Ольге она ничего не знала.

Институт вывезли в город Новочеркасск под Ростовом-на-Дону. Эта вся территория долго оставалась под властью белых. В Центральной России и в столицах уже происходили революционные события, а в этом уголке Черноземья власть принадлежала казачеству. Дети буквально остались без пищи и крова: их расселили кое-как по частным хозяевам и 2–3 классные дамы, преданные своему долгу, из любви к детям ходили по домам и выпрашивали продукты для детей.

Было решено отправить детей за рубеж – через Черное море. Но мама моя каким-то образом узнала, что дедушка и вся их семья осталась в России, что дедушка где-то работает; мама отказалась уезжать наотрез.

Тогда ей дали какое-то пальтишко «на рыбьем меху», немного денег, купили билет на поезд до Москвы и посадили в поезд.

Очень смутно представляла она себе, где и как искать дедушку; велика ведь Москва-то...

Жизнь человеческая – это странная цепочка случайностей; оборвется эта цепочка – и нет человека!

Следующее звено у цепочки прицепится – живет человек дальше, до следующего колечка...

Приехала мама в Москву. Девчонка лет 15, почти без денег; искать дедушку решила где-то, где самые главные из управления Красной Армии! А где? И кто?

Холодно. Дело было поздней осенью. Дождь шел. Она прижалась на ступеньках какого-то подъезда большого дома; задремала.

Вдруг какой-то мужчина с бородой и золотыми нашивками («Кто бы это?», – в ужасе подумала она!) взял ее за плечо и стал спрашивать: кто она, как сюда попала и зачем. Мама ему все рассказала.

Он завел ее в какую-то теплую комнату, постелил на мягком диване бархатную скатерть со стола и сказал: «Ты спи. Завтра я поговорю с одним человеком. Он поможет тебе найти отца».

Это был швейцар дома, где не то жил, не то часто бывал Луначарский. Он нашел дедушку – тот работал в городе Ирбите. Дали маме денег на билет и на дорогу. Так она нашла своих. У нее даже начиналось как-то заболевание легких; ее лечили кумысом... А потом поехала в Москву учиться, встретила моего папу и вышла замуж.

Много событий случилось в то время, когда я училась в 5-м классе. Приезжала и уезжала моя мама, разводясь со своим мужем; вернулся дядя Миша, отец Оли и Лели. Наверное, закончился какой-то срок, пока ему запрещали жить в больших городах. И теперь семья Жаровых стремилась жить отдельно. Тогда и возник план переезда моей единокровной сестры Ляли в нашу квартиру (а переезд этот происходил не сразу: мы с папой опять на время оставались одни). Жаровы переезжали на Васильевский остров в квартиру Ляли. Это тоже требовало времени и хлопот, квартиры ремонтировались и даже перестраивались.

Вдруг приходит папе известие со ст. Ленинград-Товарный о том, что на его имя пришел груз из... США.

Все были в совершенном недоумении. Но постепенно вспомнили, что мой папа должен был поехать в США, но не поехал из-за начавшейся войны.

До своей поездки он успел заказать в Америке и оплатил замечательный маленький, кабинетный, но прекрасно звучащий рояль для своей матери в подарок. Он думал, что он туда приедет и сам оформит отправку этого рояля для бабушки. Но случилось иначе. Случилось так, что этот рояль пришел в Ленинград, когда все забыли о том, что вообще что-то такое было. Мы никак не могли понять; что такое пришло из Соединенных Штатов моему отцу, который в Штатах никогда не был. Там было написано, что уже его искали в Москве – не нашли. И вот тогда-то и всплыла эта история с роялем.

Даже бабушка, для которой был рояль, уже умерла. Ведь прошли десятки лет! И тогда рояль этот был водружен у меня в комнате. Ког-

да мне было лет 12–13, была сделана попытка обучать меня музыке. Попытка эта, к сожалению, кончилась бесславно. Ну, во-первых, мне уже было довольно много лет. Во-вторых, я не обладала в то время ни усидчивостью, ни большим желанием заниматься музыкой – вероятно, нужен был со стороны старших некоторый нажим.

Но некому было этот нажим осуществлять. Дяде Мише стало возможно переехать в Ленинград к семье: громадный железнодорожный мост (он работал на строительстве бухгалтером) был построен, его срок закончился. Вопрос о переезде семьи Жаровых в квартиру, где жила моя сестра Ляля и о переезде Лялиной семьи в нашу квартиру не только был решен, но и осуществлялся. Шли ремонты в квартирах и перестановка внутри квартир, готовились документы на обмен. Было не до моих занятий музыкой. Кроме того, мне как-то не повезло: у одной моей учительницы что-то тяжело заболел муж, и она не могла со мной заниматься; другая моя учительница позанималась со мной, а у нее умерла ее научная руководительница. И она опять от меня отказалась. Третья учительница... уж, я не знаю, что с ней было, но только кончилось это все тем, что музыкой я так и не стала заниматься. А история та с роялем так и осталась в анналах нашей семьи. Рояль этот потом сослужил мне большую службу: удалось его продать после Великой Отечественной Войны, даже когда такие вещи плохо покупались. Но уж очень был хороший рояль – продали его за большие деньги (по тому времени тем более).

Через много лет на эти деньги удалось привести в жилое состояние склад при каком-то развалюшке-доме в Москве. Но это тоже я забегая вперед.

Вернемся к моим 5–6-му классам. Я встала на коньки и на лыжи, не сразу, но все же это уже было интересно мне; с 5-го класса началась предметная система – разные учителя преподавали нам теперь (4 класса включительно все предметы преподавались одним учителем). Софья Алексеевна Хвоцинская¹⁴... В книге Ю.М. Лотмана «Беседы о

¹⁴ Семья Хвоцинских играла видную роль в русской литературе XIX века. На-

русской культуре» тоже упоминается Хвоцинский – силуэтист-любитель из Рязани¹⁵.

Софья Алексеевна (возможно, по традиции названная в честь рано умершей писательницы и поэтессы, своей родственницы) закончила знаменитые Бестужевские курсы, так же как и Крупская, как сестры Ленина и как Стоклицкая-Терешкова – профессор МГУ по кафедре истории средних веков, как моя свекровь, Х.С. Мышкис.

Бестужевские курсы – это очень высокая марка, Софья Алексеевна была очень образована и культурна.

Она была большая театралка и приучила нас любить и понимать театр. Тогда было еще возможно просто купить билеты, но мы ведь хотели, чтобы места были недорогие и хорошие. В этом нам помогали в Малый Оперный и в Александринку родители одной девочки, Нины Фильштанской, работавшие в этих театрах. В Мариинский театр покупал нам хорошие и недорогие места бывший ученик Софьи Алексеевны, Сергей Корень, артист и солист балета сначала в Мариинском, а потом в Большом театре.

Каждое посещение театра сопровождалось обсуждением увиденного; часто в сравнении с литературной основой спектакля, что требовало чтения.

Софья Алексеевна садилась на первую парту, лицом к классу, спиной к доске, ставила ноги на скамейку и... класс замирал! Как она

дежда Дмитриевна Хвоцинская, дочь рязанского помещика – писательница, прозаик и критик. У нее были 2 сестры Софья и Прасковья – обе писательницы. Софья умерла рано. По-видимому, к этой семье принадлежал и силуэтист Хвоцинский, о котором упоминается в книге Ю.М. Лермана. Вполне вероятно, что Софья Алексеевна Хвоцинская – внучатая племянница Н.Д. Хвоцинской. Русские писатели, 1800-1917: биограф. слов. / Гл. ред. П.А. Николаев. – М.: Сов. энцикл., 1989–2007. – 691 с.

В Москве мы были у родственников С.А., тоже Хвоцинских – чувствуется одна порода: все крупные, смуглые брюнеты. По-видимому, фамилия «Хвоцинская» – не фамилия ее мужа, а ее собственная; имя Софья тоже могло быть дано в честь рано умершей поэтессы и писательницы – ее родственницы.

¹⁵ М.Ю. Лотман. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века). СПб.: Искусство-СПб, 1994. – 484 С.

рассказывала! Оживала перед нами русская история в образах, в портретах, в описаниях русской классической литературы.

Цитировала она все по памяти: драмы и стихи А.К. Толстого, отрывки из «Войны и мира», стихи и прозу Пушкина, Некрасова... Много, что я слышала в ее исполнении, было мне неизвестно.

Но, может быть, литературу даже легче сделать интересной, чем просто русский язык и грамматику.

Вдруг оказывалось, что некоторые буквы как бы дружат, «любят» быть вместе при определенных условиях; что иногда одни буквы постоянно заменяются другими, всегда определенными. Мы искали эти случаи, угадывали, ошибались, но это все было так интересно...

А эти противные суффиксы, оказывается, придают такие краски языку! А префиксы полностью меняют смысл слова, иногда до «наоборот».

Мы получали, например задания: попробуйте описать плач-жалобу в подражание старинным (на уроке до того она нам читала отрывки). Какие суффиксы уместны в такой жалобе-плаче? А какие звучат нелепо? Мы читали свои задания, весело смеялись, если что-то звучало неудачно... И как-то никто из ребят не обижался.

А что такое синоним? А можно ли в стихах заменить слова их синонимами? Давайте попробуем. Кто знает синоним к этому слову? И опять весь класс хохотал, и за этим стихом стояло понимание того, почему эти стихи прекрасны, почему в них незаменимо каждое слово. Возникал перед нами и высокий смысл поэзии, и труд души поэта.

Софья Алексеевна одна растила двух детей: девочку в параллельном классе со мной и мальчика на 2 класса старше меня.

Я никогда не слышала ничего о ее муже, и дети никогда не вспоминали отца.

Дети у Софьи Алексеевны были не ранние, думаю, было, ей больше сорока, может быть к пятидесяти. Но, может быть, она казалась старше своих лет. Она была высокого роста, смуглая брюнетка, уже начинающая седесть; волосы носила стриженные, без завивки. В ней

никогда ничего не говорило о ее желании выглядеть получше; какие-то тусклые, неинтересные, однообразные платья, крайне плохие бюстгалтеры, уродующие фигуру, какое-то полное отсутствие женственности.

Но большего педагогического мастерства я в своей жизни не встретила никогда...

Итак, когда я училась в 6-м классе, семья Жаровых: дядя Миша, тетя Лида и Оля с Лелей – переехали в комнату моей сестры Ляли на Васильевский остров, а Ляля с мужем, Леонидом Григорьевичем Богдановым, и сыном Феликсом переехали к нам.

Но все это осуществлялось долго и сложно. Поэтому весь мой 4-й класс я училась в одном классе с Лелей, а почти весь 5-й мы с папой жили вдвоем и я возвращалась из школы одна в пустую квартиру. (Кажется, даже тетя Лида с девочками ездили куда-то на этот год к дяде Мише). Лишь в моем 6-м классе переехали все по своим постоянным местам: и Жаровы, и семья Ляли.

Весь этот переезд осуществлялся так долго и сложно потому, что кроме всех формальностей по документам папа всячески стремился обеспечить сносные условия жизни семье тети Лиды; он очень любил и ее, и девочек: ведь тетя Лида несколько тяжелых лет заменяла мне мать. Рассматривалось множество вариантов и, в конце концов, решили «перестроить» комнату сестры Ляли – по сути, сделать из одной комнаты почти что квартиру. Это была большая хорошая комната, почти 40 квадратных метров в два окна на углу Большого проспекта и 8-й линии на Васильевском острове, с отдельным выходом на лестничную площадку. Эту комнату разгородили; получилось две комнаты и некое помещение при входе – одновременно как бы передняя и как бы кухня. Из входной двери с лестницы попадали в это помещение; в правой его части была дверь в большую комнату; рядом с нею была вешалка для пальто. Прямо напротив входа висело зеркало; под ним была полка для шапок, шарфов и варежек.

Слева у входной двери висели ключи от соседней квартиры – зачем, скажу ниже.

Еще левее на этой же стене был кран и раковина: водопровод был, но не было стока и под раковину ставилось ведро.

Далее уже в углу была устроена «кухня» – полки для посуды; там же стояли две керосинки – на них готовили. «Кухня» занимала прямой угол между двумя стенами – полки расположены были вдоль стены, составлявшей саму комнату, до перегородки; от «кухни» была дверь в перегородке в комнату девочек.

Когда эту большую комнату разделили, то отделена была узкая комната в одно окно, настолько узкая, что две кровати можно было поставить лишь вдоль стены; с трудом у второй стены размещался узкий диванчик; в стене, между кроватями была дверь в соседнюю квартиру, которую заделали и сделали в ней платяной шкаф; против этой двери только и можно было поставить письменный стол; далее, к окну, тоже вдоль стены стояла вторая кровать, а напротив книжная полка. Пройти к окну можно было только боком.

Справа из «передней» был вход во вторую комнату; там спали родители (их кровать была в углу отгорожена ширмой): это же была и столовая, где был обеденный стол, каким-то чудом уцелевший очень красивый резной буфет еще из Песочного и оттуда же прекрасное «вольтеровское» кресло. У окна был книжный шкаф и письменный стол. Вот как бы и прекрасно! Да... но уборной не только не было, но ее невозможно было сделать... Вот потому-то и ключи от соседней квартиры на стенке!..

В квартире рядом было девять так называемых «квартиросъемщиков» – семей и несколько одиноких людей, среди них одна женщина – несчастная горькая пьяница. От этой квартиры, от так называемого «Седьмого номера» на стене при входе всегда и висели ключи – в этой квартире пользовались уборной и туда же сливали ведро из-под раковины.

Вход в «седьмой номер»: открыв дверь своим ключом, мы попадали в большое совершенно пустое помещение, без окон, наверное, метров в 30 (его пустота удивительна! Позже в «коммуналках» все было заставлено). Но прямо из этой пустой комнаты отходил длиннющий

коридор, в который и выходили двери всех комнат. Уборная была на углу этого коридора.

В этом странном пустом помещении был какой-то особенный резонанс: отдавались и как бы умножались шаги, а если, бывало, уронишь ключи – звук был как от падения чего-то железно-огромного... Потом мы привыкли и не боялись.

Семья Жаровых платила за уборку и пользование туалетом и имела дело только с одной очень приятной женщиной, взимавшей плату. В этой квартире прожили Жаровы и до начала войны, и после нее несколько лет.

Да, конечно, по современным понятиям это была плохая квартира, но тогда это было очень удачно. Мы, девчонки, радостно бегали в баню – она была близко на 8-й линии, недалеко от проспекта. Да, возникали проблемы со стиркой, но ведь они жили не в коммуналке! Это было главное достоинство этой «квартиры», жилплощади, как тогда говорили и писали в официальных документах. Именно эта самая жилплощадь, которая часто была вовсе непригодна для жизни, была главным неразрешимым вопросом того времени в крупных городах.

Я, конечно, видела кошмарные «коммуналки», когда ходила к кому-нибудь в гости. Например, Хвоцинские жили в большом и довольно широком коридоре коммунальной квартиры; он заканчивался маленьким темным чуланом (без окон, но с дверью). Это называлось «Юрина комната». Там стояла кровать; над ней на стене был привешен велосипед; у кровати стоял крошечный столик-тумбочка; над ним была полочка с Юриными книгами; был один стул. Конец коридора, отгороженный двумя шкафами, составлял комнату Софьи Алексеевны и ее дочери Иры. За занавеской, между шкафами в нескольких шагах была видна кухня.

Конечно, то, как мы жили, было несравнимо с их условиями...

Я же, будучи очень привязана к своим двоюродным сестрам, рвалась каждую субботу к ним, норовила переночевать там, оставляя папу одного.

Теперь я понимаю, как он скучал, как ему было грустно, когда я так радостно бросалась в свою компанию – коньки, танцы, кино, зоопарк, лыжи. А папа оставался один. Жили мы теперь с папой в одной комнате, потому что одну комнату пришлось отдать Лялиному мужу, так как он и Ляля занимались в аспирантуре; им нужно было место для занятий.

Но папа хорошо знал, как буквально рушатся человеческие судьбы из-за отсутствия собственной жилплощади и все время хотел, чтобы у меня была своя комната. Вначале хотели поменять нашу квартиру, но не нашли ничего лучше, чем перегородить нашу с папой комнату. Летом, когда я перешла в 7-й класс (я была в Пушкинских Горах с Евгенией Николаевной), прошел ремонт. После этого у меня была своя комната.

Оказалась наша семья в таком составе: папа, я, Ляля с мужем и сыном. Бывали какие-то домработницы – то хуже, то лучше; часто не было никаких. Тогда опять помогала по телефону Евгения Николаевна, а я опять готовила что-то. Каждое лето возникал вопрос: куда меня девать на каникулы? Лагерь отпадал. Мне всегда внушали, что много детей не имеют таких возможностей, как мы. Мы жили на значительно более высоком материальном уровне, чем многие другие, и что поэтому мы не имеем морального права пользоваться ни дешевыми, ни тем более бесплатными путевками в лагерь.

Я знала так же, что и деньги отец всегда мне давал довольно свободно. Не говорю о той пачке, что лежала в чемоданчике, – но если мы шли в театр, скажем, или еще куда-то, с компанией – всегда мне давались какие-то деньги, чтоб купить себе что-то вкусное, угостить девочек. Я понимала, конечно, что мы живем много лучше других. Ну кроме того, папа всегда помогал сестрам. Когда я постарше уже была, носила на почту переводы – тете Насте, тете Шуре. Я привыкла с детства, что это было естественно для отца.

Отец Леонида Григорьевича, Григорий Филиппович Богданов, и его жена, Евдокия Николаевна, жили в Пушкинских Горах. Григорий Филиппович работал лесником и охранял заповедные парки и леса.

В Пушкинских Горах провела я несколько летних каникул. Мы много гуляли по лесам, а главное, в парках Михайловского и Петровского и в округе Тригорского. В Святогорском монастыре я залезала (я часто бродила одна) на колокольню, заходила в церковь; там все обрушивалось – было даже опасно...

Особенно часто я бывала на могиле Пушкина. Я сидела там подолгу одна и думала.

Тогда я уже много читала и сами вещи Пушкина и о нем многое; многие его стихи (некоторые я знала наизусть) «вписывались» в мою фантазию, расцветавшую от красоты и волшебства этих пушкинских мест; оживали известные мне портреты его окружения; я воображала этих людей, их диалоги; все это сливалось для меня в прекрасные живые зрительные движущиеся картины; и эти виденья возникали и сменялись передо мной – правда, слегка похожие на постановки опер и балетов в Мариинском театре...

Лес, озера – север средней полосы России. Впечатления от красоты окружающей природы сливались в единое целое с красотой и всей прелестью русской поэзии и литературы.

Может быть, тогда впервые возникло во мне сложное чувство Родины.

Очень я любила и Пушкинские Горы, и время, проведенное там с Евгенией Николаевной.

Как жаль, что нельзя сделать фотографии из моей головы! А еще лучше было бы – кинофильм. Цветной. Я так хорошо вижу сейчас все, о чем рассказываю: одежду, лица, манеры, прически – всех в движении, в деятельности; так ясно вижу Наталью Алексеевну, которая «утихомиривала» моего бдительного пионервожатого; худенькая, замученная, лет 35–38 женщина; ходили мы все (и учителя и ученики) в сатиновых халатах, и она тоже; вижу прелестную, женственную, обаятельную Екатерину Ильиничну и ее мать Наталью Платоновну – обе такие неизменно прекрасно воспитанные и благожелательные... И следы их тяжелой бедности и борьбы семьи буквально за жизнь. Как бедно, аккуратно, во все старенькое была одета Наталья Платоновна...

А их ум, а общая культура, а интересные увлекательные занятия с нами... Или помню Надежду Николаевну Хитрово – величественную, царственно красивую, с седеющей короной волос (своих), которые отсвечивали серебром и золотом. И ни одной минуты потерянного времени! Точность, почти утраченная многими обязательность во всем.

Я даже не могу сказать «я вспоминаю» – нет, я опять сижу на занятиях, слушаю, разговариваю с ними, с моими любимыми учителями. И все меня любят...

А я хочу еще столько прочесть книг! И можно заниматься этнографией, а можно познакомиться поближе с ботаникой – это так интересно... а может быть историей?

Все влечет меня, все манит вперед, вперед, скорее, скорее. И чем пристальнее стараюсь я всмотреться в это прекрасное завтра, тем интересней и увлекательней оно кажется мне.

Это Юность моя звала меня... Закончилось отрочество...

Но не было для меня какого-то взрыва, отделившего детство от юности; как-то пришло другое качество восприятий и чувств, но такого вот – что я смотрела бы назад на свою жизнь, как бы на жизнь другого человека, такого не было...

Все стало ярче, интереснее, все увлекало, неудержимо хотелось все узнать и все сразу... но все равно ведь это была я, все та же я и никто другой.

Один год как-то получилось, что Евгения Николаевна не смогла поехать в Пушкинские Горы, не помню почему, и я осталась, и меня некуда было девать летом.

Софья Алексеевна предложила взять меня с собой. «Мой Юра девочками не интересуется, – сказала она, – и поэтому я совсем не боюсь тебя взять».

Эта фраза, «что Юра девочками не интересуется», попала мне в оба уха.

Я же вполне пользовалась успехом у мальчиков: дергали меня за косы и бумажками обстреливали на уроках, а однажды даже один мо-

лодой человек лет 13–14 намеревался меня хорошенько вздуть после уроков. Только он хотел приступить к делу, как оказался рядом мой папа (он встречал нас с Лелей – мы учились во вторую смену и довольно далеко от дома).

Папа затеял с мальчиком какой-то интересный разговор, после чего Аба Баргер проводил нас домой и стал моим приятелем на много лет.

Так вот. Поехали мы в небольшой городок Кобеляки (теперь это курорт для харьковчан) километрах в 20–30 от ст. Лещиновка. Местечко это было тихим, очень дешевым; украинский рынок в Кобеляках, куда съезжались на волах и привозили возами абрикосы, вишни, не говоря уже об арбузах и дынях; где продавали, что помельче – ведрами; где все это можно было есть сколько хочешь...

Мы были потрясены. И все это было так красиво, так необычно, так интересно и так... вкусно! После северной природы, когда мы с отцом очень много ходили в лес за клюквой, за брусникой, за грибами, просто гуляли, а прекрасные места Михайловского – это тоже Северная Россия... я вдруг попала на Украину! Украинские ночи, украинские тихие и удивительные вечера, украинская природа вместе со всем изобилием фруктов, овощей, ягод...

И это все при особой остроте восприятия всей красоты, всего очарования необычности накладывалось на неумную мою устремленность всех чувств на яркое, неиспытанное, необыкновенное...

Все было бы прекрасно... если бы не мерзкая моя манера кокетничать со всеми мальчишками. Вот и начался у меня бурный роман с Юрой Хвошинским – первая моя любовь. Любовь ли? Не знаю...

Да, не учла Софья Алексеевна... отнюдь не всеми девочками не интересовался Юра... на меня он даже о-о-очень обратил внимание.

Юре было 18, мне скоро должно было исполниться 15.

Самым рискованным номером было то, что Софья Алексеевна оставила нас двоих ночевать на террасе. Она не боялась... и зря она не боялась. Должна сказать, что только Юриной выдержке я должна быть благодарна, что не кончилось это, как вполне могло кончиться; я даже и не знала, что же это такое и как это бывает.

Днем мы все время были втроем – Юра, Ира и я; купались, читали много (библиотека в Кобеляках была – недели на четыре хватило русских книг). Про многое говорили, главным образом, про прочитанное.

Вечером, обычно после купания и прогулки, мы все долго сидели на террасе. Софья Алексеевна и еще одна учительница из нашей школы, с которой вместе мы приехали, часто читали стихи. Обе знали их несчетное количество (не говоря, например, о Майкове, Апухтине, Надсоне), они декламировали и Ходасевича, и Блока, и даже Гумилева. Это само по себе было прекрасно.

Никогда не было никаких сплетен о других учителях нашей школы, но сколько же говорилось об учениках! Как доброжелательно даже о таких сорванцах, которых знала вся школа.

Я впервые поняла, что учителя думают всегда, все время о своих уроках, о своих учениках; эти две учительницы иногда говорили: «Хватит о школе. Мы в отпуске». Через 10 минут опять возвращались «в школу», либо как провести какой-то урок, либо как спрашивать по какой-то теме класс, а как того, кто сильнее других в классе, а как самого «трудного», а как приохотить его к чтению.

Раньше мне казалось, что у хорошего учителя все получается само собой, все случайно. Тогда я увидела, что если кажется, что уроки Софьи Алексеевны случайны, родились как бы неожиданно, по вдохновению, – это вдохновение и их кажущаяся случайность основываются на громадном знании; как много они обе знали и... как же мало могли они использовать своих знаний на уроках! Очень интересно было их слушать дома...

Юра обычно садился на мой топчан; я лежала, а он тихонько брал меня за руку, гладил сверх одеяла плечи и ноги; когда уже все расходились он тихонько, нежно целовал меня в щеки, глаза; целовал мне руки... и уходил, сказав мне: «Спокойной ночи! До завтра!»

Правда, поцелуи становились все нежнее, и их делалось как-то все больше, а прощание – все длительнее, но ни разу он не прилег ко мне. Мы ведь были неискушены. Это теперь в кино демонстрируется все очень подробно, в технических деталях, а тогда наше сближение шло

очень медленно. Я даже и не понимала, что именно я в это время чувствую.

Все было овеяно украинским воздухом, украинской ночью, украинской луной. Все вместе было для меня поэзией, неизведанно сладким, взрослым, манящим.

Как-то однажды Юра не то чтобы спас меня, но проявил известный такт и находчивость.

Мы купались на глубоком месте реки Ворсклы.

Жили мы совсем на краю поселка, и пляжа там не было, но были чудесные высокие кусты и заводь – глубокая и широкая, гладкая, как зеркало. Мне, конечно же, хотелось, чтобы Юра думал, что я очень хорошо плаваю. Мы купались всегда у нашего берега, где дно песчаное и плыли вдоль реки, заводь не переплывали. Но в один прекрасный день я поплыла на тот берег. И, о ужас! – гладкая как зеркало, заводь оказалась заросшей водорослями, которых с нашего берега не было видно. Водоросли буквально схватили, связали меня за ноги – как я ни билась, я не могла плыть дальше. Я довольно долго (так мне казалось) билась в середине заводи, но не смогла отплыть ни на шаг. Я испугалась, но, конечно же, молчала и Юру не звала. И вот он сам почувял (следил, значит, за мной), что со мной что-то не то; поплыл ко мне, почувствовал сам водоросли на ногах; но он-то ведь посильнее меня – выдернул меня за руки и мы поплыли вдвоем на тот берег. На ногах мы тащили по доброй охапке водорослей каждый. Он как бы не заметил этого эпизода, щадил мое самолюбие. С тех пор не любила я купаться в местах, где мелковато и могут быть густые водоросли на дне.

С нашей террасы была видна гора (может быть, это был курган), а на горе росло одинокое дерево. Мне очень хотелось дойти туда и посмотреть, что там. Дело уже шло к отъезду, оставалось 3 дня. И вот в один лунный вечер отправились мы с Юрой к этому дереву. Быстрым шагом поднялись мы на гору.

Дерево, выделявшееся четко на фоне неба, оказалось дикой яблоней, его искореженные ветром ветви, почему-то не густо поросли ли-

ствиями,. И такое это дерево было искромсанное, такое в нем было отчаянное сопротивление ветрам, такое оно было одинокое, что на него было грустно смотреть; мы оба отвели от него глаза, но задержались на горке, оглядывая все вокруг этой высотки, – такое все четкое и невообразимо прекрасное в лунном свете; было видно все далеко-далеко...

Тут мы увидели, что сбоку и сверху к нам приближается серебристое лунно сверкающее облако; скоро оно пришло к нам, поглотило нас в этом лунно-молочном тумане, и мы видели только плечи и лица друг друга; сами как-то светились голубым светом в этом тумане; стало приятно прохладно после подъема на гору.

Все вдруг (и мы сами) тонуло в лунном сверкающем и, одновременно, как бы матовом мареве, прохладном и мягком. Мы вдыхали его, а оно окутало нас; мы стали сами частью этого облака, этой красоты, этого великолепия.

Вдруг мы, не говоря ни слова, побежали под горку. Нет, мы не бежали, – мы неслись, мы летели. Мы были сказочными эльфами, мы мчались, не ощущая дороги, нас несли туман и лунное сверкание...

Под горой туман так сгустился, что стал холодным дождем и пал на землю росой, покрывшей всю землю вокруг, намочившей нас... и тумана не стало.

Мы примчались на нашу террасу. Юра стащил с меня мокрый сарафан, сбросил рубашку, а я упала на свой топчан.

Юра встал на колени, и, согревая меня своим дыханием, стал целовать мне руки; меня с ног до головы, всю – мой мокрый живот, мою грудь в мокром лифчике, мое тоже мокрое не то от слез, не то от росы лицо. Мы бормотали какие-то бессвязные слова любви и клятвы: «Вот я вернусь из армии, и мы поженимся! Да, да, конечно! Я люблю тебя! Да, да! Мы всегда, всегда, всегда будем вместе! Да, да!»

И за этим лепетом грезились, что вот поженимся и все будет опять, как только что было в эту серебристую лунную ночь: и наш бег-полет и вполне взрослая страсть, вдруг вспыхнувшая с такой силой в нас – полудетях.

Но плавки его были плотно зашнурованы, и того прикосновения я в эту ночь не испытала.

Небо все более бледнело, голубело. Рассвело.

Через день мы уезжали. Ночь и день мы укладывались, потом шагали пешком за телегой, которую тащили волы. Обалдевшие от усталости, с вокзала в Мециновке, потом на вокзал в Харьков и, наконец, поезд до Москвы.

В Москве днем мы были у родственников Софьи Алексеевны, тоже Хвощинских, а вечером они уезжали домой. Я задержалась на несколько дней в Соколе у тети Кати: должен был приехать из командировки папа, и мы вместе должны были ехать в Ленинград. В поезде мы, конечно же, договорились с Юрой, что я сразу же по приезде приеду к ним.

Как-то я спросила маму: «Ну, а как все-таки заводится ребенок в животе у женщины? Нам объясняли на уроке и на картинках видно, как ребенок лежит, как выходит головкой вперед... Но как же он начинается?» И мать дернула меня за косу и сказала: «Вот когда кто-нибудь будет целовать тебя, всю-всю, долго-долго, тогда ты и поймешь». Я знала, что кровь месячных питает ребенка и что во время беременности месячные прекращаются.

Трудно теперешней молодежи поверить в то, что на пятнадцатом году я совершенно не знала о, так сказать, «технике зачатия», понятия не имела о половом акте, даже не представляла себе никак и совершенно того, что это такое. Но это было именно так.

Рисунков скабрёзных я не видела – они были в общественных уборных; я там почти и не бывала, а если что-то такое видела, то не поняла; грязь этих заведений даже мешала пользоваться ими в случаях необходимости.

Порнопрограмм, естественно, не было, так как и телевизора еще не было.

То ли я перекупалась, то ли прозябла в ту единственную, никогда более не повторившуюся ночь, то ли это было потрясение от этого взрыва первой страсти – но только месячные у меня задержались на 10 дней.

По дороге домой, в поезде, я уверилась, что у меня будет от Юры ребенок... Ведь он меня долго целовал и всю-всю...

Я понимала, что это совсем переменит мою жизнь, что придется уйти из школы. Я знала, что делают операцию – аборт – и как-то убивают ребенка. Но в своих размышлениях я ни на минуту не допускала даже мысли об этом самом аборте. Я думала, рассказывать ли папе...

Но не понадобилось. Нормальные физиологические явления возобновились.

По приезде я сразу же поехала к Юре и встретила его в их подъезде: он куда-то хотел пойти, но мы встретились, и, радостные, отправились вместе пешком на Васильевский остров к Жаровым, так как у тети Лиды была моя собака Бибка. Уже с собакой на проводке мы зашли ко мне, завели собаку... Потом Юра сразу уехал, куда собирался, а вечером мы с папой должны были увидеть Софью Алексеевну. Юра меня попросил: «Не говори матери, что мы уже виделись. Мать и Ирка меня дразнят, а мне неприятно».

Если бы мы знали! Оказывается, Ира была у подруги в соседнем доме и видела с балкона, как мы вышли из подъезда.

«А знаешь, мама, Катя уже приехала. Я видела, как они с Юрой вышли от нас и пошли куда-то».

Тягостен был этот обед с Софьей Алексеевной и для меня, и для Юры. Софья Алексеевна была чопорная, какая-то отчужденная.

И все после нашего возвращения домой стало каким-то странным. Юра был у меня всего несколько раз. Стал каким-то... деревянным: ни разу не только не поцеловал меня, но даже и за руку не взял ни разу; садился от меня на расстоянии в несколько метров, на улице мы тоже шли друг от друга за метр, так как под руку ходить стеснялись.

Даже говорить нам стало как-то трудно.

А потом он вообще перестал приходить...

А я все ждала... Хотя бы телефонного звонка... Но он ушел в армию, так и не сказав мне даже «до свиданья».

Я жестоко обиделась.

Это было больше года моей тяжелой обиды, моего полного непонимания его обращения со мной. Мне было очень трудно. Софья Алексеевна стала со мной холодна, враждебна, подозрительна и даже презрительна.

Когда она смотрела на меня, один ее глаз как-то странно моргал.

Может быть, что-то и казалось мне, но мне было очень горько и обидно, тем более что и обида на Юру меня жгла. Я думала иногда, что они вместе решили от меня отвернуться. За что?

Я и сейчас, мало сказать взрослая, уже старая, не понимаю Софьи Алексеевны.

Ведь это она сама разрешила мне и Юре спать на террасе; сама не подумала, что этого делать не следует, она – взрослая женщина... Она же знала, что мы нравимся друг другу, она же поддразнивала нас.

Лишь когда Ира сказала матери, что видела нас, а мы с Юрой соврали, тогда она вдруг поняла, как это было неосмотрительно – оставить нас вдвоем на террасе ночевать два месяца. И решила она, что между нами произошло то, чего не было. Относиться стала она ко мне совершенно иначе.

Жаль мне... Так горько закончилась эта дружба с Софьей Алексеевной. Самое печальное, что на нее жестоко обиделся Юра: потом я узнала: он не разговаривал с ней до армии, по-моему, больше года: даже не попрощался с ней, уходя в военкомат. И погиб в бою под Ровно.

Боже! Как грустно! Хорош ли такой характер: «кремень»-юноша... Зачем?

Очень это был грустный период в моей жизни... как-то я стала относиться ко многим людям хуже, чем раньше. Софью Алексеевну тогда я не могла понять... понимаю ли теперь? Нет, не понимаю. Ну, хорошо, ну даже если бы ее страхи оправданы были, если бы мы действительно стали близки с Юрой? Ну? Ну, бывает, в конце концов... мне было почти 15, ему – 18. Да, это рано, это плохо – но ведь это она сама нас толкнула в такую ситуацию. Ну, стоило ли так презирать меня... а главное, потерять дружбу с сыном... даже перед его смертью.

Нет, мне кажется, я бы так не сделала. Но может быть, я не понимаю, может, так в то время было принято... ведь очень изменились взгляды на эти вещи... тогда, наверное, все это было иначе...

Но почему Джульеттой и ее любовью восхищается весь мир, а я заслужила тогда презрение Софьи Алексеевны даже за то, чего не было?

Мне стало так тягостно в школе. Нет, Софья Алексеевна ничего не говорила, но я чувствовала такую ненависть, такое презрение... Только через много лет, узнав, как уходил Юра в армию, уже после его смерти, став взрослой, я пожалела Софью Алексеевну. Боже мой, зачем? А тогда, как только кончилась первая четверть, я взяла свой табель и пошла на прием к директору 193-й школы через один переулок от нас.

Мы принадлежали к этой школе по микрорайону, и в ней училась моя сестра Оля, когда мы жили вместе. Почему-то Леля, а за ней и я оказались в 32-й железнодорожной школе довольно далеко от нас (на углу Невского проспекта и Знаменской улицы).

Когда я пришла к директору 193-й школы на прием, я ему сказала: «Вот мой табель. Я хочу уйти из той школы и перейти в Вашу. По району я отношусь к этой школе». Он посмотрел мой табель, потом на меня как-то очень внимательно и сказал: «Ну, наверное, есть какая-то причина, почему Вы хотите уйти из той школы. Но я не буду Вас о ней спрашивать, так как такими учениками ни один директор школы не будет разбрасываться. Место в 8-м классе есть, но нужно заявление от родителей».

В тот же вечер я подошла к папе и сказала: «Папа, 32-я школа очень далеко... Я хочу перейти в 193-ю школу и уже говорила с директором. Место в 8-м классе есть, но надо заявление от тебя, папа».

«Гм, есть причина», – не то подумал он вслух, не то спросил.

Может быть, он говорил с Софьей Алексеевной, но я точно не знаю.

Были написаны заявления в обе школы...

И вот новый класс, учителя – все другое. Было и трудно привыкать, но и очень интересно.

С тетей Катей мы по-прежнему поддерживали тесные связи: она принимала живейше участие в решении вопроса о моем будущем.

Вопрос этот впервые возник, когда мне было 12 лет, я училась в 5-м классе.

Я и во Дворец пионеров ходила тогда, в танцевальный ансамбль.

А поскольку я очень хорошо танцевала, то через Ленинградский Дворец пионеров меня вдруг, так сказать, выделили из всего танцевального коллектива и предложили мне поступить в балетное училище. Ну, вот тут сказала «дворянская косточка» моего папы. «Нет! – сказал он. – В моем роду канатных плясунов и плясуний не было... И не будет». Папа и приехавшая в Ленинград тетя Катя проводили со мной «разъяснительную работу», а мне было объяснено так, что, «во-первых, ты очень маленького роста, во-вторых это же специальность очень неверная – а вдруг ты упадешь и сломаешь ногу, что будет тогда?»

Я горько плакала. Но сделать было ничего нельзя. Папа был непреклонен!

Теперь-то я понимаю, даже если бы я и хорошо танцевала, но профессионально действительно я не годилась бы из-за маленького роста. Последней балериной небольшого роста была Вячеславова. Но сцены становились все больше, а маленькая балерина просто была бы не видна; особенно плохо было бы в кордебалете. А как можно было рассчитывать на сольные партии в начале обучения? Да и солистка маленького роста в балет не годилась категорически. Так что тетя Катя и папа были тогда абсолютно правы.

Но были вещи, которые я могла сказать только одной тете Кате. Даже папе не могла.

Так, только тете Кате одной я призналась в своих страданиях от ревности. Я не знала, даже как ей объяснить, что я чувствую, не знала как «это» называется.

Например, когда к нам переехала моя единокровная сестра, дочь отца Ляля, со своим сыном (Феликсу было тогда 3–4 года), я жестоко ревновала отца к этому мальчику. Своими страданиями я поделилась

с тетей Катей. Она меня уговаривала, что это надо в себе подавлять, что это неумно, что я только себя растрavляю, и окружающим жизнь усложняю.

Она поняла меня; а мне моя ревность часто отравляла жизнь и, к сожалению, не только тогда. Очень я ревновала свою сестру Лелю. Мне казалось, что с классными подругами своими она была ближе, чем со мной. Это не так, но тогда я, бывало, шла за Лелей и ее подругой, Люсей Пономаревой... (она потом стала и моей подругой), а тогда: они заходили в квартиру, а я горько плакала на лестнице! Через много-много лет, уже взрослой, имея детишек, я вошла в этот подъезд Люсин... нашла царапины, моей рукой сделанные, вспомнила эти глупые свои слезы. Глупые-то глупые, а как же больно мне было тогда...

Папа и тетя Катя очень не хотели, чтобы я превратилась в гуманитария – они считали, что это не профессия, трепотня: сегодня одно, завтра – другое.

Увы, как они были правы! И в этом тоже, как и в вопросе о балете...

А я все более склонялась к «болтологии», хотя и не вполне еще решительно.

Очевидно, влияние Софьи Алексеевны было настолько сильным, что и в новой школе я выдвинулась на одно из первых мест в гуманитарном цикле предметов в старших классах и считалась очень выдающимся репетитором. У меня собиралась большая группа ребят – те самые «Савки и Яшки» (имена мальчиков, особенно часто приходивших ко мне домой) – и я им с голоса всю программу русской литературы и русской истории рассказывала перед каждым экзаменом, перед каждым их ответом. И, наверное, это было неплохо, потому что они получали потом очень хорошие отметки.

Это она, Софья Алексеевна, научила меня думать не только на математике, как учил папа. Она умела заставить нас думать, не замечая этого. Думаю, что инерция ее влияния, может быть, и определила мое направление на всю жизнь.

В 8–9-м классах я жила весьма насыщенной жизнью. Сейчас я удивляюсь тому, как много я успевала. Я была деятельной комсо-

молкой – было модно и везде стимулировалось получение «военной профессии». «Если завтра война, если завтра в поход – будь сегодня к походу готов!» – И я поступила на 3-годичные курсы медсестер. Тетя Катя и папа были довольны – они надеялись, что я стану врачом.

Кроме того, я по-прежнему очень много читала, довольно часто ходила в 2 лектория: при Эрмитаже и в Городской лекторий на Литейном (это недалеко от нас) и по истории, и по разным аспектам искусства; через день по вечерам 3-часовые занятия на медицинских курсах; кроме того, я уже много ходила на каток и на лыжах; кружить головы мальчишкам – надо было (хоть и небольшое) тоже время.

Когда я уже училась в 9-м классе, вдруг посыпались на меня солдатские письма – треугольники без марок. Юра писал часто, очень нежно... Написал, «я боюсь, что мы сами с собой не сможем справиться, не удержимся!»

Он писал, что любит меня с каждым днем все больше, что он вернется из армии, и мы поженимся.

Теперь где-то впереди замаячило возвращение «Юриньки», как я его называла; хоть он мне и писал теперь очень часто, но до первого его письма от нашей последней встречи прошло полтора года – довольно большой срок, особенно в 15–16 лет...

Но вот когда он вернется... Ах, тогда опять будет бег-полет в серебристом лунном тумане... Все решится, все устроится, все будет как в ту волшебную удивительную ночь. Вот он вернется, и все решится, и все устроится.

А пока все так интересно... Ах, как все хорошо! Можно заниматься, например, в университете кружок – геоботаника, или в Педагогическом институте им. Герцена – кружок по химии.

Но из «химического» увлечения ничего не вышло: очень там воняло, и было скучно.

В кружок по ботанике я ходила месяца 2–3, но там в микроскоп надо было готовить срезы клеток. С микроскопом я не справилась. Наверное, уже тогда сказала моя неспособность к технике.

Ведь и немецким языком я продолжала заниматься. Ну, не знаю как, но я все успевала.

Когда я училась в 9-м классе, умерла тетя Катя. Смерть ее прошла как-то странно, вдалеке от меня. Будучи к ней привязана, близка – я как-то не очень поняла, что она умерла.

Что ее не стало, я поняла только, когда туда поехала тетя Лида, и когда я спросила – зачем, ведь тетя Катя умерла? – она сказала, что там осталось много вещей, и что она хочет поделить их между своими дочерьми и мной. Тут я впервые поняла, что очень близкие люди, и любимые, и любящие – когда дело касается каких-то ценностей – оказывается, ко мне иначе относятся, чем к своим собственным дочерям. Это был первый случай, который меня больно кольнул. Став старше, я уговорила себя, что это неважно. Больше, меньше... наверное, она действительно любила меня меньше своих собственных детей... важно, что любила. Я видела от нее очень много хорошего, во многом она заменила мне мать.

А тем временем моя мама разошлась со своим мужем Леандровым, выменяла как-то себе, я теперь уж не помню как, комнату, поменяла ее на Киев, и вышла замуж за человека, который был из Киева; там у него были мать и две сестры; был он моряком, судовым механиком, звали его Василий Яковлевич Рябоконь.

О нем у меня сохранились, в общем-то, тоже теплые воспоминания. Был у него ласковый и веселый характер, он легко мирился с трудностями. В армию его взяли в первые дни войны – он ушел из нашей квартиры, т. к. еще не успел оформить все по другому адресу, а прописан временно был у нас. Когда уже зима была, и было очень холодно, Василий Яковлевич был сильно ранен. Он потерял глаз, рука была изуродована. Он лежал в госпитале. Не помню, как мы узнали, где он лежит, но мы с папой ходили туда к нему, носили ему, что могли. Это было в ноябре. Как только стала такая возможность, госпиталя стали эвакуировать на самолетах, и Василия Яковлевича переправили на «большую землю». Я его не искала, но старшая сестра моей матери как-то встретила его в поезде, и он очень тепло говорил об отце моем

и обо мне... и очень горько о моей матери. «Прекрасная женщина, – он сказал, – она очень умна, но жить с ней невозможно».

Благодаря этому браку моей матери, я съездила в Киев. Побывала я там на каких-то каникулах и даже не один раз. Мне было интересно посмотреть и Киев, и Днепр... все это было очень интересно.

Через родных Василия Яковлевича я познакомилась с молодым человеком, студентом 3-го курса мединститута Сережей Тимошенко.

В Киеве я сначала провела одни зимние каникулы со встречей Нового года. Мы ходили по киевским паркам и музеям, а Сережа рассказывал мне о городе, об исторических местах, вообще об истории Украины, которую он неплохо знал, а я не знала совсем.

Говорил он на своеобразном мягком южном диалекте, наполовину русском, наполовину украинском. Он любил свою прекрасную Украину, свой родной город и свой украинский язык.

Раньше я знала, конечно, о существовании Т. Шевченко и даже пыталась читать его стихи (у нас был его однотомник): ведь эти стихи были написаны русскими буквами...

Это чтение произвело на меня чудовищное впечатление – искажение, изуродование русского языка, нечто невозможное для чтения и произношения.

А Сережа читал мне наизусть по-украински почти всю лирику и поэмы Шевченко. И какой музыкой они звучали в его исполнении!

Впервые певучесть, красота музыкальности стиха открылись мне и даже не в русском, а в украинском языке.

И еще 2 раза я ездила в Киев. Прощаясь со мной, Сережа нежно поцеловал меня в щечку и сказал: «Сейчас мы будем писать друг другу, а я закончу и приеду в Ленинград. Ты будешь ждать меня?» – «Да, конечно, я буду очень рада!» – ответила я не совсем на его вопрос. И он писал мне, а я отвечала очень тепло, но не так, как «Юриньке».

Впрочем, и мои письма к Юре тоже становились все более дружескими; все дальше уходил наш бег-полет и та ночь.

Был и еще один человек, с которым я проводила все больше времени. Это был младший брат мужа моей сестры Ляли – Виктор Гри-

горьевич Богданов. Все началось с того, что он, заядлый лыжник, по воскресеньям брал девочку-семиклассницу, то есть меня, с собой кататься на лыжах; чаще всего мы ездили в Кавголово.

Ездил он, сопровождала его жена, не катавшаяся на лыжах, и сын Сережа 7 лет.

Наши лыжные поездки продолжались года 2–3. Через 2 года Сережа нашел себе компанию своих сверстников.

Виктор вдруг стал водить меня на художественные выставки. Он был архитектором и учился в Академии Художеств в аспирантуре по художественной архитектуре.

Потом я узнала случайно, что с женой он развелся. Ни тогда, ни теперь я не ставила в связь его развод и встречи со мной. Однако встречи эти не прерывались и ясно, что мне было очень интересно с ним, наверное, и ему тоже. Иначе с чего бы он продолжал наше общение? И мы все смотрели в будущее: кто кончал, а кто начинал (я!) свое образование.

Сталин выступал на предвыборном собрании с речью; везде висели его портреты: он улыбался, чуть сощурившись; и везде подпись — из его речи слова: «Жить сталь лучше, жить стало веселее!»

Уже отменили карточки, появились продукты в магазинах, разрешили праздновать Новый год с елкой...

Ни мне, ни моему окружению не был известен кошмар жизни в колхозах и во многих маленьких городах; тем более не знали мы всех ужасных условий жизни в лагерях. Этого планомерного уничтожения рабов-заключенных. Ленинград и Москва многие годы были как бы отдельным «государством в государстве». Жизнь в этих городах проходила на другом уровне, нежели в остальных частях страны.

9–10-й классы были очень веселыми для меня годами. Были у меня две компании: одна — в школе, дома, другая — на Васильевском острове, где жила тетя Лида со своей семьей. Там сложилась крепкая дружная и очень спортивная компания из подруг Оли и Лели с братьями и поклонниками, иногда даже серьезными.

Так, Олина подруга Аня Яненко была признанной невестой моло-

дого человека – старшего среди нас – Сережи Ефремова. Он тоже где-то учился и был он чемпионом Ленинграда по скоростному бегу на коньках. Его брат и брат Ани, Виктор, учились в военной спецшколе (тогда были открыты специальные военные школы, куда набирались мальчики в старшие классы). Туда был большой конкурс, математикой и спортом занимались очень серьезно. Не знаю, получали ли там мальчики какую-то военную профессию (один из моих друзей ушел на фронт фельдшером, другой стал танкистом), но форму они носили. Сережа бегал на коньках потрясающе. Мы, как только научились стоять на коньках, попали «в школу» к Сереже и его брату Коле. Так, как они научили меня, – в моей школе не мог никто. Я действительно стала на виду.

Тогда были приняты такие романтические походы на лыжах. Ночные лыжные походы по Неве. Идти было легко, нет ни спусков, ни подъемов. Горок я боялась, а надолго полюбила бегать на лыжах по ровной местности. Горки я полюбила уже много-много позже – когда я ходила по Карелии, по Кавказу – уже взрослой.

Походы наши, вечеринки домашние, вечера у Оли в школе – это дорогие воспоминания юности. Так было хорошо, как бывает только в 15–16 лет.

Была компания и у меня в школе. Несколько мальчиков было, которых я, как бы сказать, привечала, подавала надежды; один из них оказался в Израиле. Сейчас он уже, бедный, умер; мы встретились с ним в Израиле как родные. Были еще человек 5 из нашего класса, и мы все виделись и общались с радостью.

Но теперь уже нет их. Все больше близких людей уходят в небытие!

В своем классе я была председателем (потом это называлось «староста»). Когда я была в 9-м классе, в меня влюбился наш преподаватель химии и прикрепленный классный Сергей Алексеевич Мурашов. Мы часто с ним писали какие-то отчеты, заполняли такие длинные бумаги с отметками для каждого человека за несколько лет обучения в школе. Он диктовал, я заполняла.

Однажды вечером Сергей Алексеевич мне говорит: «Я очень голоден. Пойдем ужинать». Я подумала, что к нам (у меня дома ничего не было), и даже испугалась.

Но мы сели на автобус, и я в первый раз в жизни была... в ресторане. Для меня тогда казалось это совершенно невероятным событием, чем-то, что пахло какой-то абсолютно взрослой жизнью. Но к тому же я действительно была очень голодна.

Оказалось, что в ресторане люди просто едят. Даже и пьяных там никого не было...

И вот, когда мы ужинали в ресторане, Сергей Алексеевич заказал, я помню, рыбу копченую, а в этой рыбе он обнаружил рыболовный крючок и вдруг понял такой скандал по поводу этого рыболовного крючка. И он кричал на официантов, что он мог бы умереть, если бы это проглотил; все обращали внимание, сбежались какие-то люди из кухни... Я понимала, что это глупо: не мог же официант «пробовать на зуб» каждый кусок копченой рыбы! Все это было так неприятно... Да и проглотить такую здоровую железную штуку, не заметив, тоже невозможно. Как-то очень уж несимпатично выглядел Сергей Алексеевич в этот момент. И не эти ли минуты определили мое отношение к нему?

Школа наша находилась рядом с каким-то военным учреждением. Говорили, что это штаб противовоздушной обороны города (Басков переулок).

И вот однажды под окнами нашего класса проходила важная похоронная процессия – хоронили какого-то генерала, и сзади за гробом шли очень важные военные. Не знаю по сей день, кто – но кто-то из нашего окошка выбросил графин с водой. Графин большой, тяжелый.

Слава Богу, графин не попал ни в кого. Но если бы попал – мог бы и убить человека... Он упал прямо перед ногами этой группы, которая шла за гробом, и скандал был чудовищный. Если бы графин в кого-нибудь попал, Сергея Алексеевича могли в тюрьму посадить, ведь он был наш классный руководитель.

Это похуже рыболовного крючка!

Меня винули – ведь я председатель класса – окно было из нашего класса, а я выходила куда-то в этот момент.

Вызывали папу; говорили, что, наверное, хотели убить кого-то из этих генералов, что может быть это заговор... Это был такой ужас! И даже меня на десять дней вообще исключили из школы. Но, слава Богу, в конце концов, обошлось, замяли скандал.

В эти годы, последние в школе и первый год до войны, я очень много успевала – не только в учебе, в спорте, в развлечениях, но именно в это время точно во мне проснулся какой-то бес: я безошибочным инстинктом ощущала, как овладеть вниманием «брюк», как понравиться, как покорить... Это стало одним из важных интересов в моей жизни.

Нравиться! Мальчикам, молодым людям, всем мужчинам любого возраста без исключения... Я переписывалась с Юрой Хвоцинским и с Сережей Тимошенко; в школе были у меня и поклонники (всеми признаваемые и мне признававшиеся) и тайные «воздыхатели»; на Васильевском Острове, где жили мои двоюродные сестры Оля и Леля, была очень дружная компания с начинающимися влюбленностями и просто дружбой.

Я много ходила на лыжах и бегала на коньках. На вопрос о том, как же это возможно (который я задавала сама себе), я отвечала, что все это очень весело и интересно; что вот Юра вернется и тогда... Ну вот, тогда все и решится!.. Потому что никто, кроме Юры, не вызвал у меня взрыва таких чувств; «та ночь», с ее голубым туманом все еще была жива в моих воспоминаниях.

Рядом со своей ненужной мне любовью крутился Сергей Алексеевич Мурашов.

К моей сестре Ляле приходили двое ее соучениц по аспирантуре. Она училась на кафедре экономической географии в Институте им. Герцена, и в ее аспирантской группе по французскому языку было 2 азербайджанца. Одного из них звали Нураддин; ему было лет 25; кажется, он был физик, и он тоже был ко мне неравнодушен.

Вот однажды им было задано внеклассное чтение по-французски, и сестра с ними занималась. В тексте было такое выражение по-фран-

цузски, которое на русский переводится как «в этой женщине есть изюминка». Азербайджанцы долго не могли понять: при чем тут изюм; потом им сестра это объясняла (тоже по-французски!), и наконец, Нураддин понял и радостно воскликнул: «Я все понял! Вот Катя – так это пуд кишмиша!» Все очень смеялись и потом дразнили меня: «Ну, ты, кишмиш!» или: «Ну, ты, урюк, иди обедать!»

Примерно тогда сестра Ляля и завела со мной трудный разговор о том, как и для чего жить – каждому человеку; и в повседневности, и в крупном, и мужчине и женщине...

Надо сказать, такие вопросы мне до того в голову не приходили: моя голова и время были и без того заполнены. Но беседа эта очень на меня подействовала во многом, а особенно один вывод стал для меня важен с тех пор и даже на всю жизнь.

«Даже самая обаятельная женщина должна быть увлечена своим делом, быть специалистом в какой-нибудь области и быть хорошим специалистом. В наше время – это, а даже не внешняя красота вызывает уважение и привлекает мужчин. В сочетании со всем остальным только это, может быть, обеспечивает длительность мужского внимания, ну, вместе с «изюминкой!» – улыбнувшись, закончила она.

У меня же перед глазами был и пример моей матери – обаятельной, красивой, делающей несчастными всех тех, кто ее окружал и несчастной самой.

Папа смотрел на все это даже с некоторым страхом.

Как-то раз, когда я была уже в 10-м классе, отец не то сказал мне грустно, не то спросил меня: «Может быть, ты за Сергея Алексеевича замуж выйдешь?» Я ужасно удивилась; подумала, как это? Зачем? И опять же – а Юра?..

Ах, ведь было так интересно жить! Я, как губка, впитывала и литературу, и немецкий, и этнографию (по которой продолжала все-таки читать!), и лекции по истории искусства в лектории, и занятия на медицинских курсах. Замуж? Зачем? Мне так интересно и весело без всякого «замужа».

И все эти окружавшие меня поклонники: и мальчики, и двое взрос-

лых, Сергей Алексеевич и Виктор Григорьевич, брат мужа сестры Ляли – с ними тоже было весело и интересно.

Казалось, что во мне бил какой-то неиссякаемый и неудержимый источник жизни, ключ какой-то особой волшебной живой воды. Как будто ее животворные брызги разлетались от меня, слегка обжигая, слегка «опьяняя», как шампанское.

Я теперь понимаю, что дело тут было не в уме и даже не во внешней привлекательности, а в этом внутреннем кипении – в какой-то концентрации всех жизненных сил. В 16 лет как бы вся будущая жизненная энергия на короткое время, как вспышка, вырывается на поверхность. Наверное, она не может не освещать окружающих, не может не зажигать их хотя бы на время.

Когда я читала разные материалы о художниках, я прочитала, что Ренуар писал об особом периоде в жизни девушки, когда ей 16–17 лет, и она вся светится счастьем жизни; он писал, как важно художнику уловить этот краткий – около года – период и суметь перенести его на полотно.

Может быть, в то время и было во мне то самое особенное, о чем писал Ренуар...

Сергей Алексеевич приходил к нам домой и жаловался папе на меня, за то что я плохо себя веду, болтаю на уроках. Вряд ли я стала бы лучше к нему относиться после этого!

Был он среднего роста, но очень крепкий, плотный, может быть, он раньше занимался тяжелым физическим трудом, судя по развитым бицепсам; был он очень быстр в речи, в жестах, в движении. У него были глаза странного цвета – желтые, как у плюшевого мишки; волосы цвета скорлупы лесного ореха, коротко подстриженные, стояли ежиком.

У него были крупные, чуть желтоватые (он много курил) зубы; лицо овальное со слегка выдающимися скулами.

Он не был красив или, скажем, привлекателен, но и некрасивой или не располагающей его внешность тоже никак не была.

У него был общительный веселый характер. Он любил танцевать и

искренно веселился на школьных вечерах, танцуя и с учительницами и со старшеклассницами. Однажды под общие аплодисменты танцевал он с маленькой первоклассницей, выступавшей у нас на вечере с балетным номером. Сергей Алексеевич танцевал с ней вальс с фигурами, и это выглядело трогательно и очень красиво. Он был как-то очень одинок. В подробностях я его биографию не знаю, но одиночество его чувствовалось.

Я познакомилась с ним, когда ему было 26 лет. Что он нашел во мне – я не знаю. Я смеялась над ним. Было много случаев, когда вела себя просто безобразно. Помню, однажды мы были с ним в Малом оперном. Он стал говорить мне о своей любви, а я стала издеваться над ним – и он... заплакал! Слезы капали на красный бархат барьера ложи.

Я расхамилась до такой степени, что позволяла себе по-свински вести себя с ним даже при посторонних.

Я помню, был такой случай: я была нездорова, и ко мне пришли ребята из моего класса и он. А я – Боже, мне даже сейчас стыдно! – я выгнала его вон при всех посторонних, при моих одноклассниках.

Я чувствовала свою власть над ним. И несколько не задумывалась над тем, что это и меня-то ведь плохо характеризует, если я так себя веду.

Однажды папа сказал, что он хочет поговорить со мной и очень серьезно. Он сказал мне примерно такие слова, которые я тоже запомнила на всю жизнь. Он сказал: «Совершенно необъяснимо, почему один человек вдруг получает власть над другим человеком. И если на тебя пал такой жребий, если ты можешь почему-то владеть другим человеком, то как не стыдно тебе вести себя так, чтобы он страдал? Он же человек, он не хуже тебя. И ты ничем не заслужила той власти над ним, которую вдруг судьба дала тебе».

Вот тогда мне стало стыдно.

Папа посмотрел на меня с грустью и добавил: «Мне впервые стыдно за тебя. Так вести себя может только злая и грубая женщина!» И он ушел...

И только после разговора с отцом я подумала, а ведь действитель-

но, почему мне дана такая власть? Почему он, а не кто-нибудь другой, может плакать, если я веду себя с ним по-свински?

Я впервые подумала о своем поведении; так, по-хамски, я перестала себя вести, но его верная и долгая – три с лишним года – любовь ко мне оставалась безответной. Что именно было мне в нем неприятно, не знаю, любовь – хитрое дело...

Был ли Юра моей первой любовью? Была ли это любовь – то, что произошло у нас с ним? И кто все-таки точно знает и может определить, что такое любовь? И когда это любовь, а когда нет...

Все в классе знали о наших с Сергеем Алексеевичем сложных отношениях.

Например, если я просила: «Сергей Алексеевич, не вызывайте сегодня Валю Смирнову (или кого-нибудь другого)», – он никогда этого человека не спрашивал.

Но вот меня он вызывал к доске и заставлял меня выписывать химические формулы, решать задачи; он никогда не слушал того, что, может быть, я тоже была или нездорова, или я не успела что-то выучить – нет, этого для него никогда не существовало. Вместе с тем он приглашал меня в театры; мы ходили вместе и на лекции, и просто гулять.

Последние школьные годы я уже всерьез читала книги для филологов. Работы Гудзия, Пуришева, Иванова, Толстого были мне уже тогда известны. Потом это мне пригодилось в Свердловске, когда я сдавала экзамены за литературный факультет.

Экзамены в университет мне пришлось сдавать по специальному разрешению. Мне же было 16, а принимали с 18. Папа ездил в Комитет по делам Высшей школы, показал мои отметки, аттестат и добился разрешения.

В Университет я поступила на отделение германской филологии и проучилась там один год. Занималась я очень много. А на медицинских курсах осталась еще на один год, особенно из-за практических занятий. Я хорошо училась на курсах.

У нас были практики в больницах. Впервые я видела роды, которые произвели на меня ужасное впечатление; впервые я была на

каких-то операциях – что тоже меня очень испугало в те времена. Но, бывая в больницах и госпиталях еще до войны, я очень остро чувствовала, что те люди, которые там – страдают... Что им очень больно, им очень трудно. Тогда и мой страх, и вонь, и грязь, и гной уходили. Я их переставала замечать и думала только о том, что люди страдают, что мы – хоть как-то им помогаем. И это было правдой.

Отменили затемнение. Отгремела Советско-финская, на которой погиб Сережа Ефремов, тот, что учил меня на коньках, погибли еще несколько человек наших знакомых ребят... за это время, на этой войне как-то очень приблизилось горе.

Конечно, и раньше знали горе, особенно семьи арестованных. Но все же... что-то становится уж не таким острым от времени – если и не забывается, то как-то несколько отодвигается в прошлое. А после финской войны мы потеряли столько друзей и товарищей!

Ведь к молодежи горе арестов не так было близко, как гибель их соклассников, товарищей по катку, по спортивным секциям – гибель друзей, совсем молодых.

Сережина невеста, Аня Яненко, стреляла в себя из отцовского охотничьего ружья, в сердце не попала, но прострелила себе легкое.

Все мы сразу же повзрослели. Но мы были так молоды, и все смотрели только вперед. И жизнь была так увлекательна, так захватывающе интересна.

Говорили ли у нас в доме о политике? Ну, сказать, что я, как многие мои друзья, особенно мальчики, очень интересовалась международными событиями, я не могу, хотя, конечно, жили мы в особом мире – наша печать нас воспитала, очень всех капиталистов ругала и осуждала. Пожалуй, первое мое воспоминание, оценка совершающегося вокруг относится как раз к одному спору, вспыхнувшему как-то за столом между мужем сестры, Леонидом Григорьевичем, и моим папой. Это было как раз, когда я училась в 5-м классе, и папа положил мне в школьный чемоданчик деньги на случай своего ареста.

Газеты пестрели материалами о делах «убийц», как их называли «презренных наймитов, палачей и шпионов».

Как-то папа, откладывая газету в сторону, сказал Леониду Григорьевичу (Леонид Григорьевич бы преподавателем марксизма и философии, недавно окончил университет и тоже был еще аспирантом):

– Ничего, кроме отвращения и недоверия не может вызвать такая пресса. Я знал лично некоторых осужденных раньше – как «старых спецов». Я с ними учился и с ними общался по работе. Они не были и не могли быть шпионами и вредителями... Чем отвратительнее ругань по их адресу, тем меньше я ей доверяю.

– Это Вы, Дмитрий Владимирович... А нам надо уверить в этом других людей, чтобы они нам доверяли. Если есть ошибки – в этом разберутся (если они невиновны); но в целом люди должны быть настроены на доверие партии – для того и пресса!

– Но это же бред! Если невиновны!

Тут, я думаю, до них дошел «шорох и треск» моих как локаторы встающих ушей, тут же повернувшихся в нужном направлении.

Я моментально уловила: «невиновны»... сразу же вспомнила слова отца «я ни в чем не виноват», как бы «увидела» пачку денег в чемоданчике... И последний урок, на котором еще два дня назад была наша подруга Таня Коняева...

В школе ввели занятия по военному делу.

В учкоме я стала отвечать (подумать только!) за оборонную работу... В 6–7-м классах я стала ответственной за связь на случай военных действий. Потом было и смешно и грустно – чем мы занимались в качестве подготовки к войне! По сигналу сирены – из разных классов школы ко мне в спортзал, где были носилки и санитарные сумки, должны были прибежать человек 12–15; «звено» связи (я командир!) должно было на основании сведений от расставленных в разных этажах постов, доложить(!) директору в его кабинет о попадании бомб (или бомбы), а санитары из физкультурного зала с носилками и санитарной сумкой «прибыть»(!) в место попадания бомбы – за ранеными. Все остальные должны были «оставаться спокойны»(!) на своих местах...

Увлекались мы этой «кукольной» деятельностью искренно, а я даже была награждена почетной грамотой.

Потом, боже! Потом мы узнали, как страшно было это наше узнавание!

Когда бомба попадала в нашу школу... то уж никто из нашего оборонного отряда никуда «прибыть» не мог: не оставалось уже никого и ничего. Лишь откапывая, вытаскивали раненых и погибших из общей груды развалин, – уже не мы, а нас...

В семье не очень-то и обсуждалась наши государственные внутренние дела, так сказать, «политика партии и правительства». В юности моей эта терминология как-то не была еще так употребительна, как в более поздние годы.

Может быть, многого и не знали, о многом не говорили... К чему? Зачем? На какое-то время действительно стало «легче и веселее» жить!.. Вот ведь дяде Мише разрешили жить в Ленинграде.

Обсуждались дома, пожалуй, больше события культурные. Например, прекрасно помню, что на «Леди Макбет Мценского уезда» с музыкой Шостаковича в Малый Оперный меня просто не взяли, чтобы не портить мой музыкальный вкус; помню, как обсуждалась современная опера Кабалевского «Кола Брюньон»; роман этот я любила, может быть потому и помню; как я была этой оперой потрясена... как долго потом ни с чем другим не могла сравнить этого потрясения. Я и роман этот прочитала в 7-м классе и очень полюбила.

Говорили о возвращении Куприна и Прокофьева и о музыке последнего к «Ромео и Джульетте» – не могли одобрить: «хоронят – и танцуют; гроб несут – танцуют... странно очень...»

Вот на концерты симфонической и фортепианной музыки меня очень даже брали.

Однажды только, когда я училась уже в 8-м классе, у нас все прочитали и очень обсуждали книгу Л. Фейхтвангера «Москва, 1937 год».

Единственный раз говорили о Сталине и его роли. Леонид Григорьевич говорил: «Гений, гений во всем!» Ляля же утверждала, что это все та же лесть, бесконечная и бесстыдная.

А папа сказал: «Да, конечно! Живая власть для черни ненавистна!» Только кто хуже – власть или чернь, если она так труслива, что

даже ненавидеть не смеет...» Слова эти я запомнила навсегда, но долго по-разному их истолковывала...

Именно в 8-м классе я и поступила на вечерние курсы медсестер. Я думаю, что с точки зрения оборонной, в видах приближающейся войны, это было разумное дело, не чета моей учкомовской оборонной деятельности в так называемом «звене связи».

Война уже разгоралась.

Во многих странах шла война. Земной шар был еще не весь в огне, но пожар уже начинался.

Отец был сторонником внешней политики, осуществляемой Литвиновым. Он был очень удручен, когда не были соблюдены условия договора с Францией и Англией, и Германия получила свободные руки по отношению к Чехии и Судетские горы.

Отец понимал опасность усиления фашизма и его утверждения в Италии и Германии; да и в Испании республиканцы потерпели поражение. В иностранной прессе (кое-что успевала прочитать сестра Ляля) говорилось о нашей подготовке к войне, а наши газеты пестрели сообщениям, что мы четко выполняем все условия договора с Германией; немецкие войска уже оккупировали Францию... В иностранной прессе сообщалось о том, что немецкие войска подтягиваются к нашей границе, а мы, в наших газетах, сообщали о том, что это лишь обычные войсковые учения, что ни мы, ни Германия не готовимся к войне; что мы, наоборот, отгрузили большие зерновые поставки Германии, что у нас все очень хорошо, что отношения с Германией прекрасные.

Все это было очень странно: в воздухе не только пахло войной с Германией; мы слышали раскаты гром и грохот страшной увертюры, а нас наша печать уверяла в обратном, что ничего этого нет и все совсем тихо...

Союзники уже отдали Чехию и Судеты немцам; уже были введены во Францию немецкие войска; помню, как удручен был папа – мы слушали радио – передавали, что немецкие войска уже в Париже.

От этих грозových событий вибрировала вся атмосфера, дрожал воздух.

А я и все мы, окружающая меня молодежь, мы спешили радоваться жизни, а я, кроме того, спешила учиться. Я читала не учебники, а уже громадную дополнительную литературу, всю русскую классику и много иностранной литературы (в переводах, конечно); кроме того, я часто посещала театр, преимущественно балет и драму (их очень любил Виктор) и концерты.

Когда началась война, я была в городе Кексгольме. Это бывший финский город Каакисалме, теперь он называется Приозерск. Это удивительно красивое место, оно расположено на реке Вуоксе, которая впадает в Ладожское озеро. Вуокса представляет собой как бы цепь озер с живописными островами. Ну, если думать о Севере – то, вероятно, более красивое место – трудно себе представить...

Эти территории СССР получил по договору с Финляндией после финской войны.

Финны оставляли свои земли в спешке. На островах было множество домиков; в них мы находили брошенную второпях еду (особенно грустно было видеть в одном домике тарелку с манной кашей с черничным вареньем и маленькой ложечкой); не раз мы натыкались и на трупы.

Находили картошку, хранившуюся в ямах – очень, кстати, хорошую – на ней и существовали.

Мать там оказалась потому, что муж ее, Василий Яковлевич Рябонь, руководил там ремонтом плавсостава этого района, и в Кексгольме, и в Сортавала; временно они жили у нас на Саперном переулке.

Все было очень интересно: я много ездила на разных катерах и парходиках, много плавала в озере, а в остальное время сидела, обложившись учебниками. В Кексгольме нам дали временно 2 комнаты в школе.

В городе стояла военная часть, там был клуб, куда я ходила по субботам и воскресеньям на танцы, на какие-никакие концерты и на лекции о международном положении, где нам все объясняли: как мудро, что у нас пакт о ненападении с Германией, и что мы живем в мире с ней.

С матерью было жить очень трудно. Опять у нее начались ее маниакальные отклонения в психике. Вдруг она стала ревновать меня

к Василию Яковлевичу. Это было ужасно. Я просто с содроганием вспоминаю об этом; многое из ее слов я просто не понимала.

Когда отец отправлял меня в Кексгольм, он мне дал деньги и сказал: «Ты никому не говори об этих деньгах. Вдруг тебе захочется уехать сразу, чтобы тебе не нужно было с кем-то об этом договариваться – напиши записку, и приедешь домой».

По-видимому, отец предполагал такие осложнения с матерью. Но для меня это было совершенно неожиданно. Я была этим потрясена. Ситуация сложилась совершенно ужасная. Мать истерически умоляла меня не отвергать ее жертвы и вступить в связь с ее мужем. Это было невыносимо!

Я уже собралась уехать.

21 июня была суббота, я хотела в последний раз сходить на танцы, в клуб. Там бывал один офицер; часто был он моим партнером по танцам. У него была яркая черная борода (а это разрешалось в Советской Армии только в исключительных случаях); по этой бороде его все и знали. В тот вечер мы с ним танцевали модный тогда танец «молдаванеску». Ее усиленно «вводили», чтобы перестали танцевать фокстроты и танго. Молдаванеска танцевалась с фигурами и требовала некоторой красоты движений танцующих. Получалось, что мы солировали, нам все хлопали. Это было приятно мне и ни к чему не обязывало.

В прекрасном настроении мы с мамой пошли домой – и тут – включенные у клуба громкоговорители и сообщение по радио: немецкая авиация бомбила Минск и Киев.

Не переодеваясь, ничего не делая, дома бросив все вещи, схватила я свою собаку Бекку, умолила маму, и мы помчались на поезд.

Поезд был уже набит людьми. Я умудрилась влезть с другой стороны поезда, не там, где посадка. Мама подала мне Бекку в открытое окно, а потом уже она влезла сама. Представьте себе, как мне в спину ругались за то, что я собаку тащу. Все-таки я ее втащила, влезла сама, и в тот же день мы были в Ленинграде.

Я очень любила свою собачонку Бекку, фокстерьерика, которая, в общем, жила со мной всю мою жизнь. Взяли этого щенка, когда мне

было года, быть может, полтора или два. Я себя без Бибки не помню. Бибка была моим лучшим другом, Бибка была поверенной всех моих горестей, Бибке плакала я, сидя на ее кресле, в свои горькие минуты, с Бибкой бегала я и играла в течение всей своей жизни, ей даже читала стихи. К этому времени Бибка стала уже совсем старая, толстая, полуслепая... Как я могла ее оставить?!

Но больше всего я боялась оказаться без папы.

Василия Яковлевича, естественно, взяли в армию сразу же; он приехал за нами через день.

Мама, уже с Василием Яковлевичем, жила неоднократно в нашей квартире; пока она переезжала в Киев, туда-сюда, папа уже хорошо знал Василия Яковлевича, относился к нему по-доброму, а я очень страдала от всего этого. Но сейчас война вытеснила все, и мы все проводили Василия Яковлевича. Он ушел тоже из нашего дома.

Ленинград начала войны... Километровые очереди за всем, что только можно купить. Без карточек. И я, по глупости своей, задирая нос кверху, говорила: «Ну, если война долгая – это все равно не поможет; а если короткая – то стоит ли стоять в очередях?»

Но становилось все голоднее, все голоднее...

Кормить Бибку стало абсолютно нечем. Тогда мы еще даже подумать не могли, что, может быть, мы потом пожалеем, что мы ее не съели. Тогда мы еще не думали, что будем в состоянии съесть собаку или кошку, такого голода мы еще себе не представляли...

И взяла я свою старенькую, плохо видящую собачонку, обняла ее крепко, и повезла в ветеринарную поликлинику. Заплатила за то, чтоб ее умертвили, и побежала. И тут я услышала ее вой... она поняла, что ее бросили...

На этом кончилась моя юность. Началась та страшная молодость, которую принесла война. Запомнила я этот страшный собачий крик. Вечером папе рассказать я не смогла – боялась, что даже он не поймет... Ведь всего-навсего собака.

Конец Жизни Первой...

Жизнь Вторая

Война! Что ты, подлая, сделала...
Б. Окуджава

С Бебкиного горестного вопля я почувствовала: война! С началом войны резко изменилась ситуация у нас в квартире. Когда немцы оккупировали значительную территорию – а под Ленинградом это все было оккупировано в первые же недели войны – в Ленинград стянулись большие массы народа, собственно все пригороды Ленинграда, все вот эти города подленинградские и не только: очень быстро западные территории были оккупированы. Кто смог, тот бежал. В Ленинграде нашли приют беженцы из Псковской и Новгородской областей. К нам приехали родители Леонида Григорьевича, мужа моей сестры Ляли, которые жили раньше в Пушкинских Горах. Я упоминала уже, что Григорий Филиппович был там вроде как лесником, смотрителем парков и лесов. Он и его жена, Евдокия Николаевна, приехали к нам в условиях очень тяжелых, ведь они бежали, бросив всё: дом, хозяйство, вещи.

В отпуск, в конце мая, приехала жена старшего сына Богдановых из Гродно с двумя детьми, мальчиками лет 5 и 7. Они тоже остались у нас; о Гродно стало довольно быстро известно, что этот город оккупировали. Что случилось с Сергеем Григорьевичем, военврачом, было неизвестно. Мария Федоровна ехала на лето в отпуск почти без вещей. Она хотела что-то купить детям из одежды; естественно, теплых вещей у них не было.

У Григория Филипповича и Евдокии Николаевны было три сына и дочь. Средний сын был мужем моей единокровной сестры Ляли, и он жил с нами, а с началом войны ушел политработником на флот. А вот о старшем сыне никто ничего не знал – он остался в Гродно.

О дочери Богдановых, Марусе, её двух сыновьях-дошколятах и муже (он был офицером Балтийского флота, и семья в начале войны жила в Таллинне), тоже было ничего не известно. Муж Маруси служил на одном корабле с Леонидом Григорьевичем. Семья Маруси собиралась летом в отпуск – в Пушкинские Горы и к нам в Ленинград.

Младший сын Богдановых, Виктор, довольно долго оставался в Ленинграде и занимался маскировкой ленинградских улиц и памятников архитектуры. Они рисовали что-то на сетках там, где ничего не было, и, наоборот, покрывали какими-то сетками то, что хотели скрыть от вражеских бомбёжек. Виктор был на 16 лет старше меня. А было мне 17. С женой своей он развелся; у него был сын, которому было лет 8.

С объявления войны мы стали очень быстро сближаться с Виктором Григорьевичем. Мы и раньше встречались, но теперь все как-то стало происходить в ускоренном темпе.

Мать Виктора, его отец и моя сестра отнеслись к этому весьма неодобрительно. Но всё же в то время, пока он оставался на маскировке, мы очень часто бывали вместе.

Наши отношения все больше делались похожими на влюбленность с обеих сторон.

Взрослый, очень интересный человек, архитектор-художник, аспирант Академии Художеств... Мы много и часто бывали вместе. И хотя называла я его на «Вы» и по имени-отчеству, но это дела не меняло: все понимали, что встречи наши не так-то просты и к чему они шли.

Меня послали на рытье противотанковых рвов, с группой студентов я пробыла там немного более недели. Это было где-то по направлению к Новгороду.

Много людей строило эти рвы, мы были крайней группой.

Еду нам привозили. Но работать было очень трудно: место ровное, деревьев не было, а жара была сильная. Мы же все впервые копали землю, и было мучительно жарко, и все время хотелось пить. Воду нам тоже привозили, но ее не хватало.

Радио у нас, естественно, не было.

Немцы же наступали очень быстро. Еще до моего отъезда на рытье окопов, то и дело сообщалось: «На Ровенском (Псковском, Витебском и т. д.) направлении наши войска ведут ожесточенные бои. Противник несет тяжелые потери» и т. д. Это значило, что город, в направлении которого идут бои, уже занят немецкими войсками. Однажды нам не привезли ни еды, ни воды. Мы продолжали копать землю, ожидая подвозку, и вдруг видим красноармейца.

Он, обнаружив нас, просто застыл на месте от удивления. «Что вы здесь делаете?» – спрашивает. Мы объясняем. Он рассказал, что немцы наступают, что он – связист, а связисты отступают последние; чтобы мы не теряли времени и быстро бы уходили вместе с ним.

Он шел с нами до железнодорожной станции, где стояли товарные вагоны-теплушки для отступающих армейских частей. Нас, конечно же, взяли в вагон, и через короткое время поезд пошел. Шел он медленно, но все-таки поздним вечером того же дня мы были в Ленинграде.

Наша поездка на строительство противотанковых рвов могла кончиться много хуже. Оказывается, уже 3 дня шли бои на Новгородском направлении; но мы-то и не подозревали, что легко могли оказаться на оккупированной территории.

Дома меня ждала открытка от Сережи Тимошенко из военкомата, откуда он ушел прямо в часть военфельдшером. «Если доживу до конца, найду тебя по этому адресу», – писал он. Это был последний привет от него.

Через много лет, будучи в Киеве, я поехала на то место, где был их домик. Это место называлось «Теличка». Там была ровная площадка. Ничто не напоминало о родном Сережином домике. Пришло и по-

следнее письмо от Юры... Уже в начале июля появилось Ровенское направление...

Я подала заявление о добровольном вступлении в армию, ведь я была почти фельдшером.

Я любила свою страну, считала, что она действительно самая справедливая, самая правильная. Идеи казались мне такими полными человечности, что я даже не могла подумать о том, что в действительности скрывалось за ними.

Отец старался не очень посвящать меня в то, что было скрыто за первым планом, но кое-что, конечно, я знала. И тем не менее... было убеждение и было чувство – моя страна, моя Родина.

Папа, когда я ему сказала о заявлении (сначала сделала, потом рассказала), положил руку мне на голову и как бы отогнув меня назад, посмотрел мне в лицо.

«Ну, что же, – сказал он, – правительства бывают разные, и плохие, и очень плохие тоже. Но это – твоя страна».

Началась эвакуация. Уехала Ляля со своими детьми; в эвакуацию отправили Сережу, сына Виктора. Эвакуация шла от предприятий, а бедная Мария Федоровна с детьми не принадлежала ни к какому предприятию. С трудом удалось ей получить продуктовые карточки по временной прописке.

Моему папе предложили вагон для семьи и имущества и давали квартиру в Москве в районе водохранилища и Морского вокзала. Он же сам должен был остаться для переоборудования заводов на оборону. Например, папиросная фабрика переходила на производство патронов. Я же проходила разные комиссии перед уходом в Армию. Заявление уже было подано. Папа отказался от этого предложения из-за меня.

Город пока еще не бомбили по-настоящему, хотя тревоги были каждый вечер в одно и то же время; город забрасывали зажигательными бомбами. На всех крышах дежурили люди, вооруженные специальными щипцами, лопатами; везде стояли бочки с песком. Дежур-

ные сбрасывали зажигательные бомбы вниз, на мостовую, во двор, где эти бомбы догорали, уже не принося вреда. Пока было электричество – радио не выключалось. Днем и ночью щелкал метроном; это цоканье показывало, что налета нет. Но «Внимание! Внимание! Внимание! Воздушная тревога! Воздушная тревога! Воздушная тревога!» – и метроном замолчал после троекратного объявления.

Никогда я не забуду этого ритмичного постукивания, этих трехкратных сообщений... и... ожидания.

Почему-то налеты немцев на протяжении августа, сентября и октября с истинно немецкой точностью совершались от 7:15 до 7:30. Все спешили добраться домой «до тревоги». Вражеские немецкие бомбардировщики гудели совершенно не так, как наши самолеты. За объявлением мы слышали их гуденье, а потом начинали падать бомбы.

Я особенно запомнила первую бомбежку в начале сентября. Мне было так страшно! Мы с папой сидели на моей кровати, я вся тряслась, прижавшись к нему, спрятав лицо, зубы у меня стучали, а папа гладил меня по спине и успокаивал. «Я-то думал, что ты храбрый человек, а ты – трусишка», – говорил он между сотрясениями всей почвы и дома от фугасок.

Потом я привыкла и по тревоге в военной форме иногда даже ходила. Ко всему привыкаешь...

Ушел в Армию Виктор Григорьевич; в скором времени он получил тяжелые ранения. Его мать получила извещение «скончался от ран». Это было в начале ноября.

Тогда еще в Ленинграде работала почта.

Перед уходом в армию я прошла несколько комиссий. Комиссии мандатные, потом такие, потом эдакие. И, наконец, на последней военной комиссии, когда выстроили нас, раздетых догола, целую очередь молодых девушек, которых там мерили, взвешивали, спрашивали все, что надо.

Ну, я оказалась в самом-самом конце. Я была самая маленькая, самая тщедушная из всей очереди.

Я подошла к столу, за которым сидела комиссия; я помню, с края сидел человек – сейчас я понимаю, что ему было лет сорок с небольшим, – тогда он мне казался глубоким стариком. Это был армянин с седыми волосами – ну, с очень сильной проседью. Он подозвал меня и спросил:

– Номер обуви, какой носишь?

– 32-й.

– Так что ж ты думаешь, тебе в армии что, сапоги на заказ будут шить?

– Нет, я не думаю.

– А где до сих пор обувь брала?

– Я покупала в детских магазинах, а одни красивые туфли мне шил сапожник на заказ.

Он хмыкнул и сказал:

– Ну, иди.

Однако в документах было написано, что я годна только к «нестроевой службе». Может быть, это как раз и было главным обстоятельством признания меня «годной к нестроевой»: и моя заморенность, и моя очень маленькая нога. Но поскольку была я признана годной к нестроевой, то и оказалась на обслуживании так называемых «тыловых госпиталей». По всей стране девушек брали в армию с 18 лет, но в Ленинграде брали и раньше.

Много позже, руководя горно-пешеходными маршрутами, я поняла, что в пехоте я бы просто пропала со своим 32-м размером обуви.

С начала сентября кольцо блокады замкнулось, и эвакуация стала возможной только на самолетах. Пока...

8 или 9 сентября была очень сильная бомбежка, и были совершенно уничтожены Бадаевские продовольственные склады; кольцо блокады сомкнулось, и угроза страшного голода стала реальностью.

Много позже, в январе-феврале, люди собирали землю, оставшуюся на территории бывших Бадаевских складов, заливали водой, отстаивали и пили: вода была сладкая...

Меня послали в тыловой госпиталь, расположенный в самом Ленинграде, в одном из зданий университета. Мы возили раненых на трамваях, из района Средней Рогатки, где жила раньше моя тетка, о которой я еще потом расскажу. Теперь это была уже линия фронта. На трамваях возили, пока было электричество.

В трамваях подвешивались носилки, в них лежали тяжело раненые, внизу – полегче. Мы получали раненых, уже немного обработанных. В декабре электричества не стало. Мы выгружали раненых из барж. Они шли с Дубровки, также из других мест.

Не было ни безгливости, ни отвращения, ничего подобного, хотя какую только грязь нам ни приходилось убирать! Все вытеснялось состраданием, болью за этих искалеченных людей. Много людей было моего возраста, но много было, с моей точки зрения, пожилых людей. Разные солдаты, со всего Союза, изуродованные, ампутированные... ждали отправки на большую землю... а отправки-то не было. БЛЮКАДА.

Скапливалось до 20–25 человек раненых на сестру. Мы с ног валялись, но старались хоть чем-то облегчить их страдания.

Я работала в отделении, где люди лежали в так называемых «гипсовых гробах». Ранения позвоночника, таза, ног... Укладывали человека в такое, что ли, гипсовое корыто надолго; таскать их в бомбежку – нечего было и думать. Ходячие уходили, а мои и пошевелиться не могли. Они должны были лежать неподвижно, были они так тяжелы, что я даже одну загипсованную ногу не могла поднять... Да это и нельзя было! В бомбежках я сидела с ними, рассказывала что-то – романы, сказки. Очень было страшно: одно попадание фугасной бомбы – и останется мокрое место.

Кормили все хуже, а против цинги давали отвар из еловых молодых побегов. Горький ужасно, но – пили.

Оказалось, что это еще не самое страшное. Еще хуже стало, когда начались морозы, не стало воды. Почти по всему Ленинграду отключился водопровод. А это значит, что не работала и канализация. На

палату у нас было одно ведро. Раненые с голодным поносом... мы это ведро выливали за окно. Вынуждены были. Это все замерзло на стене под окном – а что мы могли? Даже для того, чтобы что-то сварить, по воду ездили на Неву. Ставили на санки два котла, в них ведерком черпали воду из Невы. По Неве трупы плыли. Потом замерзла Нева, стали воду из проруби вытаскивать, а вокруг все скользкое. С ведрами-то по скользкой горке... За руки держась, становились цепочкой, человек по пять. Воды едва хватало на питьё и еду – кипятили в котлах, в бывшем буфете факультета.

Работала я неделю – днём и ночью. На три дня шла домой к папе, а на четвёртый должна была вернуться. Шла я пешком от Университета, через Дворцовый мост, а потом или по Невскому, или по Набережной, или до Литейного моста, потом по Литейному и по Кирочной улице домой.

Каждый раз город становился всё более пустынным. Трамваи постепенно ходили всё реже; с конца ноября встали они по всему Невскому «на прикол» – не стало тока; потом эти мёртвые трамваи занесло снегом, засыпало по самые входные ступеньки, окна были разбиты от взрывов и бомбёжек... так и стояли они неподвижные – эта неподвижность их отпечаталась в моих воспоминаниях навечно.

По 182-му каналу в годовщину снятия блокады, кажется, к шестидесятилетию, показали несколько блокадных кадров. В дикторском тексте было сказано, что это единственные фотографии блокадного Ленинграда; сохранилась эта пленка в аппарате ФЭД в архиве КГБ; этот аппарат хранился в архиве, как конфискованное вещественное доказательство. Мы знали, что снимать запрещено: это действие рассматривалось, как разглашение военной тайны; никаких объявлений на эту тему, естественно, не было. Мы знали, что письма проходили военную цензуру, пока была почта. И глядя на эти кадры, узнавая, как их сравнительно недавно реставрировали, я думала об этом безымянном человеке, заплатившем своей жизнью задолго до окончания блокады за эту «попытку разглашения военной тайны», о которой

тогда знали лишь миллионы... миллионы умирающих ленинградцев. На этих блокадных кадрах меня странно поразило... многолюдие. По этим фотографиям ясно чувствуется время их съемки.

Люди одеты по-осеннему – это кадры с конца октября и начала ноября (не позже!) – тогда ещё были люди на улицах, и только что появились детские санки в качестве транспорта с привязанными к ним покойниками.

Но потом люди почти исчезли: по улицам далеко друг от друга брели одинокие, закутанные в одеяла фигуры, а покойников уже не везли – их просто увязывали в одеяло и выносили на улицу (если было, кому вынести...). И в моей памяти, естественно, отпечаталось более четко это более позднее время.

Мама в это время переехала к нам, а Ляля с детьми уехала в самом конце августа – они успели, на одном из последних эшелонов...

В мамину комнату попал снаряд, что-то мы оттуда вытащили, так и существовали. Говорили, дальнобойные, а папа: «Обыкновенная артиллерия полевая. Бьют с Пулковских высот».

Уже в конце ноября начались очень сильные морозы, в декабре–феврале доходили до 35 градусов. Очень было тяжело от холода... Топить было нечем, папа раскалывал стулья, кухонный стол, табуретки... Приходил помогать мой соклассник, Сенечка Шифман. Пилили они вдвоем эти остатки кухонной мебели, ими папа ставил самовар. Топить, конечно, этим было нельзя. Жилой стала одна комната, мама, отец, и я оказались в одной комнате, так было чуть-чуть теплее. На карточки получали по 250 г хлеба, в котором половина была – сосновые опилки. Врач, уже в эвакуации, сказала: «Не могу понять, откуда в анализе у вас сосновые опилки?» Голодали страшно. Кто был молод – жизнь теплилась, а вот папа... папа просто угасал на глазах.

Меня стали отпускать из госпиталя уже только через неделю на трое суток. Но далеко не всегда. Иногда вообще не отпускали. И вот, от Васильевского острова пешком шла я к себе домой, чтобы увидеть отца. Когда комнату моей матери на Петроградской стороне разворо-

тило прямым попаданием снаряда, и она тоже пришла к нам, в нашей квартире оказалось теперь совсем другое население: трое Богдановых, моя мать, отец и бедная Мария Федоровна с двумя мальчиками; временами приходила я. Дети таяли; у них был голодный понос. Дедушка их и две бабушки (свекор, свекровь и сестра свекрови моей сестры) всеми силами старались помочь, но что они могли? Даже отдавая свои крохи питания по карточкам, что? – хлеб один – спасти детей им было не под силу, потому что это ведь было не настоящее питание.

Мы жили в полумраке. Освещалась наша квартира коптилками.

Вы даже, наверное, не знаете, что это такое. Это какая-нибудь посуда – ну, лучше всего, консервная банка, в которую наливали какой-нибудь горючий материал. Скорее всего, керосин – все-таки где-то удавалось его добыть; что-то оставалось от старых запасов. Теперь использовали его так помалу!

В дырочку этой консервной банки опускался фитилёк, сплетённый из нескольких ниток, лучше всего, чтобы это была штопка или что-нибудь такое мягкое. Вот это и было наше освещение. Окна были закрыты, завешены одеялами – для тепла. Сначала закрывали такими светонепроницаемыми занавесями, потому что нельзя было, чтобы просвечивал свет в окна из-за бомбежек, из-за обстрелов! Но потом просто не открывали окна, чтобы было потеплее. Ломали стулья. И до конца дней моих буду я благодарна своему однокласснику Сенечке Шифману, который был, кстати, здесь, в Израиле, но теперь он уже тоже умер.

Тогда он приходил помогать.

Сенечка был даже немного моложе меня; он пошел в армию несколько позже, поэтому в самое страшное время блокады он был недалеко и помогал моему отцу.

Иногда меня вообще не отпускали из госпиталя. Иногда приходилось сдавать кровь.

Довольно быстро умер отец Виктора, Григорий Филиппович. Мой папа и моя мама вытащили его на улицу. Сколько было сил. Вскоре

умерла Евдокия Николаевна, потом, очень скоро, Ольга Николаевна – все от голода... Папа и мама вынесли и их на улицу, завернув в одеяла. Покойники такие тяжёлые...

Я вообще до сих пор не знаю, куда же девались эти куклы-покойники. Завязывали их в одеяло; обычно, веревкой перевязывали. Сил везти их на кладбище не было, да и за могилу надо было платить хлебом, его тоже не было... вытаскивали их, и оставляли на улице. Но тогда, казалось бы, через несколько дней, улицы должны были сплошь покрыться этими телами?

Куда-то они исчезали. Наверное, была какая-то служба, которая их возила, но я никого не видела, ни машин, ни лошадей. Какие лошади, лошадей всех съели, конечно... Я не видела, кто убирал, но – убирали (потом я прочитала где-то, что эти трупы складывали в церкви).

Отец слабел. С каждым днем, с каждым моим посещением я видела, что ему все хуже и хуже.

Еще в сентябре–октябре он работал. Тогда все ленинградские фабрики переоборудовались на производство боеприпасов. Отец занимался этим – это была его оборонная работа. И он отдавался этому с большим энтузиазмом.

Когда-то была служебная машина. Потом машины не стало. И он стал ходить пешком с одного завода на другой – расстояния-то громадные!.. Когда-то ходили трамваи, но потом все трамваи остановились. И однажды отец пришел и сказал: «Я по дороге упал, и меня поднимали». Прошло еще две недели, он пришел и сказал: «Сегодня я упал, и меня уже не поднимали».

С этого момента отец оставался дома. К нему приходили инженеры с его работы (это называлось тогда Специальное снаряжное бюро №24, если мне память не изменяет). Одновременно отец был преподавателем Политехнического института, у него были аспиранты; приходили инженеры с заводов.

Они рассматривали какие-то проекты, что-то обсуждали. Я помню, когда они уходили, отец откидывался, весь белый, и у него по лбу

тек пот. Он, изнемогая, все-таки работал. Он говорил мне: «Я очень жалею, что ты не уехала. Если все-таки немцы войдут в город, ты совершенно не представляешь себе, что такое вражеская оккупация».

Отец никогда не сказал ничего плохого о том способе правления, который был тогда. Не знаю, насколько он был в курсе дела всего того, что теперь мы знаем. Теперь мы так много прочитали о лагерях, о тюрьмах. Но, конечно, что-то отец знал. И все же, когда я его спрашивала: «Папа, ну вот, скажи, лучше стало после революции жить?» – он говорил: «Ты знаешь, я близко знаком с бытом уральских рабочих до революции. И я знаю, как жили они после революции, когда я тоже постоянно бывал на Уральских заводах. Так вот – да, они стали жить лучше. У них лучше жилищные условия. Они получили возможность образования. Это нельзя сравнить с тем, что было до революции».

Во время войны отец уже не боялся ареста. По-видимому, такая непосредственная опасность его обошла; он работал на оборону, был засекречен по самую макушку и даже макушки уже, наверное, не оставалось; работал он над производством снарядов морской и полевой артиллерии. Закалка снарядов, производство качественной стали, которая всегда была главной профессией отца, – вот это и было то дело, за которое и на котором отец умер. Группе инженеров удалось за короткий срок (среди них был, я знаю, академик Гудцов, с которым я потом разговаривала в Москве, будучи аспиранткой) перевести закаливание качественных сталей особых сортов, идущей на снаряды, с льняного масла на воду. Во-первых, понятно, что это колоссальная экономия. Во-вторых, в условиях блокады, этот новый метод закаливания дал возможность отдать это льняное масло на пропитание рабочим.

В основном, это делалось на Путиловском заводе. Отец часто там бывал, еще когда мог ходить. Именно эта операция – перевод закаливания качественных сталей с масла на воду – была отмечена Сталинской премией. Среди награжденных был и Гудцов.

Отца уже не стало – отец умер.

Может быть, надо было куда-то ходить, что-то просить, что-то доказывать. Но мне было не до того...

Блокада... Никогда не забуду я то, что увидела и пережила тогда. И до сих пор не могу я выбросить кусок хлеба. Не могу выбросить еду. И надо мной дети мои вроде как бы даже посмеивались: что ты ненормальная, что ходишь с этой тарелкой и ищешь собаку, которой ты могла бы это отдать... а я – ну, вот не могу... и странно устроена у меня память. Я многих не помню по именам, я не помню, как их фамилии, но я их вижу; я их до сих пор вижу – ну, вот как в кино, что ли, или как на рисунке. Я могу описать, что происходило – ну, вот как будто бы я вижу кадр: очень страшные лица, распухшие от голода, с синяками, покрытые грязными потеками – мыться ведь было нечем...

Люди, которые умирали у меня на руках, часто хватались за мой халат, и за одеяло, и за мои руки... Другие кричали: «Мама!» Третьи звали какую-нибудь женщину; а некоторые – просто тихо стонали и угасали молча. И в какой-то момент я видела, что глаза у них мертвели, и я понимала, что уже всё...

Не знаю, сколько их прошло через мои семнадцатилетние руки, скольких людей вынесла я во двор госпиталя. Но я точно знаю, сколько людей умерло в нашей квартире. Сколько ушло из нее и уже никогда, никуда не вернулись, а другие ехали в наш дом и не смогли доехать, погибнув в сражениях начавшейся войны.

Не выходя из дома, *от голода умерли пять человек*: папа, Григорий Филиппович, Евдокия Николаевна, Ольга Николаевна и дядя Алик, пришедший к нам и умерший после нашего отъезда.

Ушли на войну и погибли три человека.

Леонид Григорьевич – муж моей сестры Ляли – погиб в начале войны. Он служил на флоте, а флот переводили из Таллинна в Кронштадт. По дороге был потоплен один из эсминцев, на котором служил Леонид Григорьевич. Кто-то видел, как он организовывал посадку в шлюпки. А сам – не успел. На этом же корабле погиб муж Маруси Богдановой.

Виктор Григорьевич ушел в армию, и через два месяца на него пришла похоронка – «умер от ран» (тогда ещё работала почта).

Стремилась добраться до нашей квартиры – единственного «верного» места, увы, ставшего для тех, кто добрался, могилой, но так и не смогли добраться шесть человек:

Старший сын Богдановых – Сергей Григорьевич – военврач, должен был приехать к нам в отпуск вслед за своей женой и двумя сыновьями. Да, жену он успел отправить в Ленинград... Сам же служил в Гродно, и о нем больше никто ничего не слыхал.

Юра Хвощинский, ждавший в сентябре демобилизации, и Серёжа Тимошенко, писавший «если доживу...»

Дочь Богдановых – Маруся – и её двое детей в момент начала войны были в Таллинне; в июле собирались приехать... Никаких сведений о них не было... Вероятно, они погибли на пути в Ленинград...

А жена Сергея Григорьевича, посадившая в санки своих сыновей, и повезшая их навстречу «легкой» смерти – замерзть...

Ведь всех троих Богдановых вынесли из нашей квартиры. Умершие такие тяжелые – это так трудно чисто физически, потому что морально мы стали бесчувственны. Я уже не могла страдать ни от того, что умерли эти три человека, ни от того, что у меня на руках каждую ночь умирали люди...

И все же, когда Мария Федоровна посадила на мои детские саночки своих двоих сыновей, закутала их во что нашлось и сказала: «Они умирают. Может быть, кто-нибудь подберет нас по дороге. Если нет, мы замерзнем все вместе. Смерть от холода не так страшна, как от голода», – и она ушла. Вот тогда у меня на секунду как бы замерло и куда-то покатилося сердце... Три человека. Не знаю, что с ними случилось.

Всего это 17 человек...

И это одна – только одна! – ленинградская квартира, даже не коммунальная... На Васильевском умерли от голода тётя Лида, заменившая мне мать, и дядя Миша. Но это другая квартира.

Остались (может быть, живы) сын Виктора, уехавший со своей матерью, и сестра Ляля с двумя детьми, уехавшие в первых числах сентября.

Остались живы, но покалеченные (о чём я узнала после войны) Сергей Алексеевич Мурашов и Василий Яковлевич Рябоконт.

Тогда я привыкла к смерти.

Я написала «я привыкла». Нет, я именно окаменела. Только от голода это окаменение не защищает.

Собственно, есть было нечего. Но всем раненым в госпиталях давали настой из хвои (это витамины, борьба с цингой). Этот же настой давали персоналу; может быть, потому у меня все же не было цинги. Но как было бороться с ранами и болезнями, если у всех был голодный понос?.. Умирали страшным образом. Подкормить этих раненых было нечем и в Ленинграде, в то время госпиталь – это был просто перевалочный пункт – с фронта в госпиталь, а потом – во двор. Во дворе складывали штабелями трупы. Очень страшно, когда при мне начали умирать первые люди, а потом... потом, страшно сказать, – я привыкла. И к бомбежкам – тоже.

Одна сцена никогда не изгладится из моей памяти. У меня было увольнение на двое суток. Я пошла в очередь за хлебом, чтобы отovarить карточки папы и мамы.

Булочная, которая раньше была овощным магазином, была почти на углу у нас – нет, не Саперного, а Гродненского, кажется, переулка. И еще ребенком, я всегда любила стоять у витрин, потому что там работал кто-то, кто умел вырезать из овощей забавные фигурки.

Целые сценки из овощных фигурок устраивали на витрине.

Я встала в очередь. В булочной, не на морозе. Продавщица взвешивала хлеб... Если бы вы знали, как следила за этим вся очередь: вес, как в аптеке.

На подоконнике сидел паренек – я думаю, подросток-ремесленник. Особенно тяжело переживали голод вот такие мальчишки 15–16 лет и мужчины цветущего возраста. Он был синий, весь с какими-то

подтеками – очень страшный. И вот когда мимо него шла старуха со своим куском хлеба, он вдруг бросился на нее, вырвал у нее этот хлеб из рук и повалился на пол, потому что его стали бить. Очередь была его, а он в это время запихивал этот несчастный кусок хлеба себе в пасть. А когда его бросили бить, оказалось, что он уже мертв.

Ну, что ж сказать: блокада – всё это было...

До конца ноября ещё работал водопровод; в декабре уже почти во всех домах воды не стало, но в нашей квартире (не знаю, может быть, потому что мы жили хоть и на высоком, но всё же на первом этаже) вода тихонько капала из крана на кухне. Мы кран не закрывали, ставили в раковину ведёрко на ночь. За ночь накапывало литров шесть – восемь. Мы так набрали ванну. Это всё же помогло нам. В конце ноября мы даже как-то умудрились помыться.

Папа и мой одноклассник Сеня Шифман разрубили кухонный стол; мы истопили плиту, нагрели два ведра воды. Но это было в последний раз – потом эта роскошь была недоступна. Следующий раз мылись мы уже в эвакуации в г. Ирбите через пять месяцев. На троих два ведра воды было мало – что уж это было за мытьё! Но это всё же лучше, чем ничего, и мы были почти счастливы.

В половине декабря кран окончательно иссяк – даже не капал. Воду брать стало негде. Искали где-нибудь, где прорвётся водопровод; растапливали снег... Но где его взять – на улицах, даже там, где он казался почище – всё равно он был очень грязный.

К этому времени в квартире уже никого не осталось – только папа и мама. Раз в десять дней на два–три дня приходила из госпиталя я.

В окне нашей кухни был сделан большой ящик (у нас были очень широкие подоконники) для продуктов, ведь не было погреба, а о холодильниках тогда мы даже и мечтать не могли, может быть, их ещё не было? Папа снял верхнюю крышку (мы её сожгли); в этот ящик наметало снег и этот снег папа собирал и таял его, а потом кипятил в самоварчике на три стакана; этот самовар мы кипятили, сжигая книги.

Но как же много снега надо, чтобы натаять из него совсем немного воды! И всё же это был снег не с улицы – не такой грязный.

Большие трудности возникли из-за уборной. Мы всю мочу сливали в унитаз – не знаю, куда она девалась! – но до самого нашего с матерью отъезда, мы таким образом использовали уборную... Ну а остальное? Хотя мы ели весьма мало, но всё же от хлеба ленинградского что-то же из нас выходило...

Да... Что же было делать?

Мы ведь были культурной семьей, и у нас была хорошая, а главное – большая библиотека; были книги и у сестры с зятем... И вот все мы это самое «остальное» совершали на бумагу, аккуратно заворачивали и сжигали; в уборной так и остались три ведра с этими чёрными остатками и пеплом. Сжигали мы всё очень тщательно и осторожно; непременно требовалось на это много бумаги и делалось это в металлическом ведре. В декабре уже часты были и очень страшны пожары...

Пожгли все книги, стоявшие на лестнице – приложения к «Ниве», русские и западноевропейские авторы... Подумать лишь – на *что* ушла вся эта библиотека, которую папа так хотел переплести...

Из всех книг папа пожалел лишь мои премиальные (и в школе, и в этнографическом музее почти за каждый учебный год я получала по хорошей книге с надписью и печатью).

На наше счастье, кому-то удалось купить целую большую упаковку спичек. Это нас просто спасло. Ну что бы мы без этих спичек делали? Но это было необычайное везенье – спички были нужны и на коптилки для света, и на самоварчик, и особенно, на сжигание в уборной – везде были нужны спички, и много... И в этом нам необыкновенно повезло: в самом начале войны – когда иногда вдруг что-то начинали распродавать без карточек, кому-то из нас удалось купить на улице у магазина упаковку спичечных коробок, я не помню, сколько, но нам их хватило до отъезда, и даже часть их мы оставили сёстрам и тёте Лиде.

Когда перестала течь вода из водопровода, перестали работать уборные. Там, где я осталась теперь работать в госпитале, там мы возили на себе из Невы воду в больших котлах на санках – для питья и на суп. Суп варили из жмыхов (после того, как отжимали растительное масло, этот остаток – «жмых», в Ленинграде называли почему-то «дуранда» – из него и варили похлебку). Раньше жмых давали скоту...

Я даже уже перестала страдать от того, что у меня на глазах умирал отец. Я любила его безмерно. Это единственный человек, которого я никогда ни с кем не могла сравнить. И тем не менее, уровень того психического стресса, в котором мы находились, был столь высок, что у многих наступал какой-то распад психики. Мать одной моей подруги, врач по профессии, перед смертью умоляла дочь вынуть у нее печень и съесть – поскольку в печени много витаминов; она даже потребовала у дочери расписку, что дочь это сделает. И девушка, зная, что мать умирает, такую расписку написала, чтобы успокоить умирающую.

А я, подлая, будучи психически еще нормальной, совершила, может быть, самый подлый в моей жизни поступок.

Один раз, когда я пришла домой (отец еще был жив), я съела одну соевую конфету, не поделив ее с отцом. Он отказался. Эти конфеты на талон «сахар» были выданы еще в ноябре. Она была последняя. Я помню эту конфету до сих пор и никогда не могла и не смогу простить себе этот проступок.

* * *

Однажды кто-то из госпиталя попросил меня отнести письмо по адресу недалеко от моего дома – где-то на Рождественских улицах за Мальцевским рынком (позднее они назывались Советскими). Я согласилась.

Я отнесла письмо; но на мой стук дверь не открылась и я подсунула письмо под нее.

На обратном пути, проходя мимо одного дома, я как-то «почуяла», что двор этого дома, наверное, проходной и я смогу укоротить дорогу. Было очень холодно; все оледенело, но, подвыпав, снег запорошил лед. Я заглянула во двор. Железные ворота были двойными и «кружевными» – переплетались цветы, листья, ленты. За первыми виднелись вторые, такие же; а еще дальше под аркой и уже за нею виднелись еще таких же двое «кружевных» ворот, а за ними уже просматривалось свободное пространство и небо – выход со двора. Я вошла в первые ворота – они вмерзли в лед. Я пролезла; потом протиснулась мимо левой – отворявшейся половины вторых входных ворот и пошла очень осторожно, боясь упасть, глядя только себе под ноги; дойдя до тех выходных двойных ворот я увидела на них громадный замок... Да! Раньше этот двор был проходным... Но теперь мне не оставалось ничего другого – я повернула обратно.

Так как я шла назад по своим следам и не так боялась поскользнуться на льду, я подняла голову и посмотрела вперед: прямо по ходу слева от меня на правой створке вторых внутренних входных ворот висело тело мужчины (эта половина ворот была сильно открыта внутрь двора и с улицы была не видна). Я сделала несколько шагов и очутилась напротив повешенного. Я оцепенела...

Тело висело вниз головой, привязанное к узорам ворот за обе очень широко раздвинутые ноги. Обуви не было. Тело было повернуто спиной ко мне и обнажено до пояса; в поясе тело опять было прикручено к узорам ворот, а все что было одеждой, свисало до ледяного слоя на земле; эта бывшая одежда смерзлась в единый сероватый ледяной монолит (ни рук, ни головы не было видно). Это было нечто нелепо напоминавшее постамент памятника.

Я смотрела в ужасе... Возникла странная ассоциация с Распятием. Но оно, воспроизводя жестокость, вызывало сострадание, сочувствие. А я видела злобное издевательство и над человеком, и над этим религиозным символом, какое-то извращение человечности.

Наша жизнь в Ленинграде давно стала противоестественной, абсолютно не похожей на человеческую жизнь больших городов.

Но ЭТО...

На минуту вдруг глянуло солнце (в Ленинграде это бывает очень ярко – вдруг среди серого дня яркая солнечная минута) – оно осветила повешенного – икроножные и ягодичные мышцы сверкнули розовым... (я именно так подумала, ведь я была медичкой).

Моя фотографически моментальная и точная зрительная память зафиксировала эти мгновения яркого освещения. Столбняк от увиденного сменился желанием как можно скорее уйти прочь, бежать быстрее, бежать. По дороге домой я все пыталась объяснить себе самой эту страшную картину. Я не пришла ни к какому выводу, но предположила, что, возможно, появились какие-то безумцы. Может быть они (один ведь не мог повесить так труп!) ловят живых и так их убивают, а может быть они так «хоронят» мертвецов...

Лишь позднее я поняла, что в тот день видела следы людоедства.

Я не рассказала матери о том, что видела. Это было нечто невозможное, что-то едва ли не потустороннее. Но я очень боялась, не появятся ли эти безумцы поблизости от нашего дома...

Когда я пришла домой, папе стало явно хуже. У меня была увольнительная. Дома я отвлеклась от этой встречи с повешенным.

Папа еще дышал. Но лучше ему не становилось.

* * *

Отец умирал медленно. Он был всегда одет в свое старенькое зимнее пальто и шапку. Он сидел – читать он уже не мог, потому что было темно и, вероятно, от слабости. И в конце концов он просто заснул.

В конце января – это были самые тяжелые дни, потому что не шла вода. Иногда посреди улицы прорывало водопровод, вдруг начинала бить чистая водопроводная вода, тогда к этой точке шли люди с чайниками, с санками, с большими кастрюлями, кто чем мог, брали эту воду,

потому что растапливать снег – он же грязный – было противно. Вокруг этого «источника» все больше намерзал лед. Добраться до воды – это была задача для спортсменов, а не для падающих от голода людей.

В документальных кинокадрах о блокаде, которые показывали по телевидению, есть как раз такой эпизод: люди с кувшинами, чайниками, небольшими посудинками – кто с чем – стоят в большой очереди, чтобы взять воды из такого открывшегося на улице «источника» – лопнувшего в этом месте водопровода.

Только не видно ледяной горы, намерзшей вокруг «источника», не видно, как на животе или на четвереньках ползут вверх люди, цепляясь и раздирая руки в кровь об острый лед, иногда привязывают чайник или кувшин веревкой или шарфом за шею, а когда ползут, то держат эту веревку еще и зубами, держа в одной поднятой руке драгоценную чистую воду... как ослабевшие и истощенные, скользят и падают, разливая её – эту драгоценную чистую воду – вокруг или на себя. (А ведь просушить одежду – тоже негде, если она сразу замерзнет всё же лучше – можно лёд кусками отодрать иногда.)

Не видно в кино то, что видела я: как плачут, разлив воду, а слезы, смыв грязь дорожкой с черных лиц, становятся льдинками и повисают на лице.

Как страшны обмороженные лица – пятнами, черными, желтыми, красными. И нельзя даже понять, кто этот человек – мальчик ли, подросток или девочка, женщина ли средних лет... Только мужчины, если с бородой и усами – грязные, покрытые копотью – узнаваемы.

Все мои товарищи по школе ушли в армию. Очень многие девочки погибли в бомбежке, потому что каждый вечер разворачивало несколько домов: то на Невском, то в Саперном переулке, где я жила. В дом моей подруги Любы Тарлер, которая была тут, в Израиле, и с которой я общалась, и которая, увы, уже тоже умерла (а перед тем впала в старческий психоз) – в ее дом попала какая-то особенная бомба, которая лежала в их квартире. Весь дом их выселили, эта бомба взор-

валась через несколько дней – замедленная бомба, что ли... И когда она взорвалась, весь их дом перекосялся; взрыв был хорошо слышен у нас – частью повывлетали стекла.

Начались пожары. Воды не было. А коптилки очень легко вызывали загорание каких-то бытовых предметов; если начинался пожар, то весь дом выселялся на улицу. Жильцы сидели и ждали, пока их дом сгорит; рядом с пожаром сидеть было не так холодно.

Все вытаскивали свой жалкий скарб, и пожар никто не гасил. Дома горели постоянно то в одном, то в другом месте... Я помню, как горел поразительно красивый дом на Кировной, по дороге к Таврическому саду. Большой дом, из нескольких корпусов состоящий, великолепно отстроенный когда-то (теперь он восстановлен). Я помню, как страшно, как долго он горел.

* * *

В блокадном Ленинграде ужасно расплодились крысы. Думаю, что они ели и трупы тоже: в пустых, полностью вымерших квартирах, находили объеденные крысами трупы. Крысы – свирепые и очень умные твари.

Когда умер папа, я была на увольнительной. Я поняла, когда он перестал дышать, что все кончено.

Три ночи и два дня я сидела с ним, а крысы шуршали в темных местах. Они боялись только света коптилки. Когда я задремывала, коптилка начинала гаснуть... они с шорохом приближались; когда подправляла фитилек и пламя чуть-чуть разгоралось – они отступали. В темноте они возились и пищали. Я видела их блестящие глаза. Я так боялась, что они бросятся на меня... Почему я не сразу пошла к папе на работу? Я не знаю. Сидела в оцепенении. Мама в это время на пару дней ушла к себе, хотела еще что-то взять из вещей.

Теперь я осталась без папы, но... с мамой!

Наконец, я сообразила, что надо идти к папе на работу и там просить помощи.

Папина работа находилась на Исаакиевской площади, рядом была гостиница «Астория». В этом здании раньше было Германское консульство. Я пришла туда днем. Там было несколько его молодых сотрудников. Двое бывали у папы дома.

– Папа?

– Да.

– Подожди. Мы поможем.

Действительно, они пришли. Сделали и привезли гроб, сколотили санки из моих лыж. Мне все время казалось, что папе холодно. Холодно в гробу. Когда выносили гроб из подъезда, какие-то люди увидели и говорили: «Вот смотрите! Хотят как человека хоронить – в гробу».

Его сотрудники отвезли гроб на Охту. Я не могла дойти до Охты, очень уж была слаба. Сани из лыж они привезли обратно и сказали: «Если будет возможность эвакуироваться, мы вас найдем».

Вернуть немного назад.

Отец понимал, что он уходит; не знаю, насколько он понимал, что моя мать психически больной и неполноценный человек, – этого я не знаю и не узнаю уже никогда. Я тоже не понимала этого многие годы. Но его гложит тревога, что он уже, конечно, до конца войны не доживет, а я останусь, может быть, совсем одна.

Однажды к нам пришел Сергей Алексеевич. Он был на каких-то курсах и теперь шел по предписанию в свою часть, в Рыбачье. На курсах снабжение было тыловое, и он принес нам одну буханку хлеба; сам очень исхудавший, какого-то серо-бледного цвета.

«Знаешь, детинка моя, если бы ты вышла замуж за Сергея Алексеевича, я бы чувствовал себя намного спокойнее», – сказал мне после его ухода отец. Это было самое страшное время: декабрь–январь 1942–1943 гг. Жестокие морозы, отсутствие воды, а хлеб становился все хуже.

Была норма – 125 граммов черного хлеба для детей и иждивенцев и 250 граммов для рабочих. Я была на довольствии в госпитале. Снабжение было тыловое, конечно, скудное, но всё же хлеб нам да-

вали и какую-то бурду вместо супа, чай с сахарином и еловый отвар. Правда, цинги у меня не было, но я голодала почти так же. Мало кто знает, какой это был хлеб. Когда началась страшная холодная зима, когда лопался водопровод, когда не было воды, тогда в наш хлеб стали все больше и больше подмешивать опилок. И когда потом, после эвакуации, я лежала в больнице, мне делали анализы – у меня было тяжелое воспаление легких – я была уже признана полностью негодной к военной службе, врач этой больницы пришла и спросила меня: «Вот это я не понимаю, откуда у Вас в экскрементах опилки?» Ну, я ведь тоже не очень понимала. Но, собственно, и неоткуда им было быть, кроме как из ленинградского хлеба. Только через много лет я прочитала, что в блокадный хлеб добавляли сосновые опилки.

В ноябре еще выдали на карточки немного соевых конфет и по 150 граммов крупы. В декабре – немного гороха.

С декабря по наш отъезд ничего, кроме хлеба, не выдавали на карточки. Мы все эти месяцы почти ничего не ели, лишь нашу норму хлеба и пили кипяток... Спасибо нашему самоварчику на 3 стакана. Если не было нормальной воды – перетапливали и отцеживали через тряпочку снег.

И вот, после смерти папы, когда стало уже совершенно страшно и непонятно, что будет дальше, моя мать мне и говорит:

– А ты помнишь, что отец тебе сказал? Что он был бы спокоен, если бы ты вышла замуж за Сергея Алексеевича.

– Помню, – говорю.

– Ну, давай, пойдем, найдем его, поговорим.

Пошли мы. День был морозный, солнечный, какие редко бывают в Ленинграде. Блестело все, было ужасно холодно.

Раньше туда, в Рыбачье, ходил трамвай; мы шли полем, вдоль полузаметенной трамвайной линии. Шли долго...

При повороте на Рыбачье, где была укатанная машинами дорога, вдруг перед нами разворачивается американская военная машина, которую у нас прозвали «лягушкой».

Выскакивает из нее тот бородач, с которым я танцевала в ночь, когда началась война, в Кексгольме. Он узнал нас и вдруг вытягивает из каких-то сумок – БОЛЬШУЮ БУХАНКУ белого ХЛЕБА! И еще булку! Он отдал их нам, сказал: «Ну, будьте живы!..» – и уехал.

Голодая, я почему-то никогда не думала о хлебе. Всегда снилась отварная рассыпчатая картошка. А тут вдруг хлеб... Мы с матерью стали его раздирать и есть. Там уже были кристаллики, хлеб был промерзший. Булку мы съели, а буханку решили принести к Сергею Алексеевичу. Нашли мы его легко. Это была деревня, когда-то рыбацкий совхоз, но многие уже работали в Ленинграде, на заводах. Деревня сильно опустела.

Сергей Алексеевич жил в крайнем домике. Он выскочил, когда мы постучали, посмотрел на меня и... заплакал.

Мы пришли уже под вечер; сразу же повалились, усталые, на пол – спать; сытые, как бы пьяные от сытости – еще бы гречневая каша со шпротами! – от усталости, от мороза, в тепле... Сергей Алексеевич укрыл меня потеплее, поцеловал и говорит: «Спи, родная, отдыхай».

На утро он рано убежал в часть, а когда пришел, сказал:

– Ты здесь... Давай я оформлю тебя в нашу часть. Я химик, ты будешь медсестрой, все-таки мы будем вместе.

– Хорошо.

– Но для этого, – сказал он, – нам надо зарегистрировать брак. Иначе это я не смогу.

На следующее утро мы пошли в ЗАГС. Маленький ЗАГС этого поселка, Рыбачьего. С одной стороны очередь, с другой – никакой очереди нет.

– Вот, – говорим, – нам брак...

Женщина какая-то там заплакала:

– Давайте, вам нет очереди, сейчас все с одними только смертями...

В ЗАГСе лежало несколько умерших; а один лежал в такой позе, что видно было: он умер сидя, окоченел в этой позе, и только тогда его положили на пол.

А эта женщина, плача, говорила:

– Ну, хоть кто-нибудь останется жив! Хоть кто-нибудь... Идите, идите! Ведь вы хотите жить вместе уже после войны.

И нас зарегистрировали без очереди, дали мне брачное свидетельство и бумагу на обмен паспорта. А Сергей Алексеевич опять побегал в часть (он вообще очень быстро ходил!), во-первых, чтоб подготовили аттестат¹⁶ на мое имя. «У меня нет ни матери, ни сестры. Ты – единственный человек, который дорог мне», – сказал он.

Он вернулся уже под вечер, когда уже темнело. Увидев, как я истомлена, он опять уложил меня спать, а сам сел и долго смотрел в окно и курил. Я же чувствовала ровно столько, сколько может чувствовать бревно, по которому на морозе проехал трактор, когда это бревно занесли в тепло. И Сергей Алексеевич понял это.

Этот человек любил меня не для себя, а для меня. Любил меня ради меня. «Завтра, когда отдохнешь, – отпразднуем нашу свадьбу».

К шести утра он уже опять ушел в часть... Приходит весь какой-то... перевернутый и говорит: «В восемь мы выступаем...»

Конечно, приказ на меня не успел, а аттестат я все же получила.

Он передал нам свой вещмешок, в нем было 2 буханки хлеба, консервы рыбные – 3 банки, тушенка – 1 банка, кусок сала – 1 кг, и плитка шоколада. Наверное, это был его «НЗ»... Еще темно в восемь утра...

Вошел Сергей Алексеевич в танк, захлопнулась дверь; почти от каждого домика уходил танк. Они взревели все разом, нас осыпало снежной пылью...

И пошли мы с матерью назад в Ленинград. Вещмешок мы сначала тащили по снегу, где чистый снег, а потом несли его вдвоем – одной нести было не под силу.

Надо было менять паспорт: ведь я была теперь жена старшего лейтенанта Мурашова.

¹⁶ Аттестат – документ, который мог получить офицер, находящийся на фронте, для своей жены, матери (может быть, и сестры), и который предъявлялся в военкомате; по нему выдавались деньги, а иногда и кое-какие продукты или, например, дрова, керосин и т. п.

Нева встала. По ней была открыта «ледовая дорога жизни» через Ладожское озеро.

В госпитале стали проверять состояние обслуживающего персонала. Сильно истощенных медсестер демобилизовывали. Я вся распухла от голода. Меня признали полностью негодной к военной службе, я сдала военный билет, получила паспорт на свою новую фамилию и эвакуосправку; по этой справке я обязана была выехать – продовольственных карточек не давали. Поэтому выбора не оставалось.

На санках я отвезла кое-что Оле и Леле, простилась с тетей Лидой, поделилась с ними продуктами, которые оставил Сергей Алексеевич.

Тетя Лида дала мне маленькую иконку и сказала: «Пообещай мне только, что эта иконка будет всегда с тобой, больше мне ничего от тебя не надо».

Иконка до сих пор у меня. Когда кто-то из детей спросил, для чего это, – я... уклонилась от объяснений.

Дядя Миша уже умер. Лелю мобилизовали в городскую милицию, Оля работала в производстве патронов и жила на казарменном положении; тетя Лида умирала. Ее не стало в начале апреля.

Мы погрузили наши вещи на те самые санки из лыж, на которых везли папу на кладбище, перевязали все веревками и потащились к госпиталю, откуда отходили машины.

Поехали вместе – я и моя мама. Хотя прекрасно понимала, что она человек с большими странностями, но я считала все это очень скверным характером. Теперь при ней не было мужа, отступил ее психоз – патологическая ревность. С ней стало возможно жить вместе.

Ни у нее, ни у меня не было теперь никого, ни одного человека. Наши отношения смягчились, между нами появилось что-то вроде привязанности. С кем же было мне ехать? С кем ей было оставаться?

Уезжая, мы оставляли не дорогие могилы – нет! Мы оставляли рвы, заполненные трупами – Пескаревское кладбище... Говорили, что рвы рыли и заваливали машины...

Да какие люди могли вырыть в земле, смерзшейся, как железо,

могилы для миллионов трупов? Истощена была и армия (на тыловом снабжении), и милиция.

В последнюю ночь перед выходом из дома я жгла папины бумаги. Он сказал мне: «Когда я умру, непременно всё сожги; мои бумаги не должны быть в чужих руках». Я жгла исписанные его рукой листы с какими-то выкладками и расчетами, какие-то чертежи. Нашла в документах «Жалованную грамоту» роду Кутыриных, подписанную Екатериной II; там было нарисовано родословное дерево; на грамоте, на такой необыкновенной какой-то бумаге были сургучные печати. Очень красивая была эта грамота. Но я побоялась. И вообще считала, зачем советской девушке такая бумага?

Был уже также и «собственный» жизненный опыт: деда моего с материнской стороны арестовали. Мы знали, что он в тюрьме умер (бумага официальная была – в ней говорилось, что «скончался от сердечного приступа»). «Виновность» деда состояла в том, что у него от его армейской службы остались благодарственные грамоты, подписанные Блюхером, с которым дед несколько лет работал). Была такая мелькнувшая мысль – «не было бы чего от этих бумаг...»

Потом я жалела – очень уж интересная была эта грамота.

С этого времени прошла целая жизнь, и на девятом ее десятке вспомнила я тот документ, который я разглядывала тогда в первый и последний – единственный – раз в своей жизни.

Уже в Израиле позвонил мне мой зять. Он по системе «Поиск» через Интернет установил: в адрес-календаре Калужской губернии на 1890 год значится, что в Малоярославецком уездном земском собрании дворянским гласным был Владимир Дмитриевич Кутырин. Это, несомненно, мой дед, о котором я, правда, знала лишь совсем нелестные отзывы его ближайших родственников и некоторые факты его биографии; видела только фотографии. И второй факт: в Памятной книге Калужской губернии на 1914 год значится, что в Малоярославецком уездном земском собрании дворянским гласным был Кутырин Дмитрий Владимирович... А это мой отец!..

Может быть, это была более sitz-должность, так как отец жил и работал на Урале, в Перми, перед Первой мировой войной был в командировке в Европе. Правда, в Малоярославецком уезде было небольшое имение под названием Песочное, проигранное в карты вышеупомянутым дедом, им же заложенное и выкупленное моим отцом и его сестрой, моей тетей. Как странно, вдруг я вспомнила что-то о земской деятельности Левина в «Анне Карениной»... Я даже не знаю, как грамотно написать об этом – что писать с маленькой, а что с большой буквы?!

И я опять увидела большое белое фаянсовое блюдо. На нем копилку, на которой я поджигала бумаги. Как удивительно вдруг глянула на меня из Интернета эта злая старуха – История: подмигнула, усмехнулась... и скрылась в дыме горящих, сжигаемых мной в блокаду бумаг.

Мы уезжали – все бросали; и вдруг теперь это наваждение – слышу запах горящих бумаг, держу их в руках, слышу эти странные выдержки из документов более чем вековой давности. И знаю: это все – правда...

Укладывали мы вещи в чемоданы, была одна корзина и небольшой сундучок.

Каждое зимнее пальто занимало бы целый чемодан; мы решили как можно больше надевать на себя. В машину – в грузовик, я садилась, когда на мне были: лыжные брюки и свитер, летнее пальто, осеннее пальто, зимнее мое пальто и шуба бабушки Нади; на ногах были валенки бабы Нади с калошами.

На маме были соответственно надеты тоже три пальто, папина шуба и валенки дедушки. Мы предполагали в эвакуации менять эти теплые вещи на еду, так как деньги везде совсем обесценились.

Но мы еле двигались в таком-то облачении!

Погрузиться в машины нам помогали красноармейцы. Именно для этого они дежурили на станции.

Было очень тяжело и очень страшно. Сама эвакуация шла таким образом: сначала нас везли через Ладожское озеро на грузовых машинах: вещи везли на одних, а мы сидели, укутанные всеми одеялами, на других. Это было пятое апреля. Уже на Ладожском озере стояла вода. И, кроме того, нас обстреливали. Несколько машин из нашего каравана ушло под лед. В одной машине были чьи-то вещи, в другой были люди. Все это происходило на наших глазах.

Потом нас подвезли к товарному составу, и красноармейцы стали грузить вещи и тех, кто был на носилках, в теплушки. Вдруг из одного вагона нам какая-то женщина кричит: «Сюда, сюда!» И руками машет, к себе зовет. «У нас есть место!» И правда, на верхней полке, на нарах с ней и ее семьей было место. Там мы и устроились. Внизу был кто-то, но его сняли на ближайшей станции в больницу.

Звала же нас в вагон очень милая женщина Тамара. С ней ехал ее 17-летний брат, еще не служивший в армии, и ее маленький ребенок – Миша, которому было около месяца. Это было чудо! Потому что ленинградки не могли родить. Они погибали в родах, или погибали их дети. Тамара как-то справилась с этой невероятной задачей – но молока, конечно, у нее не было. Я спросила: «Тамара, чем же Вы кормили его?» Она ответила: «Пшеничной кашей. Я варила ее до состояния киселя. Единственное, что мог принести муж (ее муж был моряком, служил в Кронштадте) – это была пшеничная крупа. И была тушенка. Я думала – или этот ребенок умрет у меня на руках от голода, или он будет сыт этой пшеничной кашей. Я даже добавляла в нее бульон – не мясо, а вот бульон из тушенки. И вы знаете – вот, выжил! Видите – живет, кричит... Тощий, страшный – одни кости, но живой!» И Мишка этот – мы потом переписывались некоторое время – вырос и стал одним из редчайших экземпляров: он родился в блокадном Ленинграде... Свидетельство о его рождении надо было бы выставить в Музее блокады Ленинграда.

Наш состав тронулся ночью: наверное, боялись бомбежек.

Ехали мы очень странно, то есть, наш поезд шел без всякого рас-

писания. То вдруг мы останавливались среди поля – и тогда все вылезали по естественным нуждам. То вдруг мы останавливались на каком-то полустанке. А на каждом населенном пункте шли мимо нашего состава бригады с носилками, стучали: «Тук-тук-тук, покойники есть в вашем вагоне? А тяжелобольные есть?» И вытаскивали покойников, и вытаскивали тяжелобольных. И вагоны становились все свободнее... А то вдруг кто-то кричал дико и выл – значит, кто-то сошел с ума...

Нас стали кормить: на эвакуопунктах по эвакусправке давали пшеничную кашу, макароны; детям – манную кашу, сгущенное молоко. Много народу поумирало именно потому, что стали есть... Есть – после такого голода. А можно было съесть самую малость. А многие ели – ведь ТАК хотелось есть! – и умирали от сытости!

Влезали мы в вагон и вылезали все по тем же санкам из лыж, приставленным к вагону, как лесенка. Спасибо папиным сотрудникам, которые везли папу на кладбище...

На этих лыжах-санках мы везли вещи до машины, и с поезда на другой поезд – эта последняя папина вещь служила нам всю дорогу. Без нее мы бы просто не смогли ничего увезти... А вещи дали нам возможность пропитаться в эвакуации – мы их меняли на еду.

Там же произошел со мной страшный случай. Около Вологды я вылезла – а на мне были чужие, моей бабушки, валенки с калошами – в такой обуви передвигаться было крайне тяжело; а уж лезть в вагон по лестнице – тем более; почему-то я была в варежках. И вот, усевшись за малым делом возле вагончика, я не смогла вцепиться в лестницу-лыжи, когда вагон тронулся. Я уронила варежку и стала ее поднимать, а поезд шел и наш вагон уже был довольно далеко; поезд набирал скорость, но вначале шел все же медленно; но он шел, а я стояла – влезть на ходу я даже не пыталась... только подняла варежку...

Тогда из нашего вагона выпрыгнул Славик. Он потащил меня бегом и буквально втянул меня за руки на тормозную площадку последнего вагона.

Полтора часа шел поезд без остановки! А мы сидели, прижавшись друг к другу. Славик был в гимнастерке зятя, а я в свитере и брюках, мороз был градусов 15. Может быть, поэтому и было у меня потом тяжелейшее крупозное воспаление легких, когда мы приехали на место. Я твердо знаю: жизнь мне тогда спас Славик. Если бы не он – я бы осталась и замерзла среди чистого поля, потому что никакого населенного пункта не было на протяжении всех полутора часов пути, пока мы не приехали в Вологду.

Мы зашли в уборную в Вологде. И перед уборной – там, где должны быть умывальники, и даже текла вода, и умывальники эти действовали – в уголке мы впервые увидели брошенную корку хлеба. Я уткнулась в маму, плакала так, как будто я еще раз хоронила отца.

На вокзале встретила я брата одного своего соклассника. Мы дружили с ним. Я знала, что они увлекались коллекционированием марок и открыток.

Юноша этот, распухший, весь какой-то бело-зеленый, ходил и продавал открытки и марки – их коллекцию. На шее у него была лямка, а к ней было приделано полчемодана, как бы лоток. Но никто ничего у него не покупал – а ведь эти коллекции были очень ценные! Эти мои друзья – братья Петрейковы – погибли на войне.

Двинулся наш эшелон дальше, все дальше вглубь страны.

Однажды поезд очень неожиданно дернулся, завизжали тормоза, и мы поехали очень медленно. Это было ночью. Я проснулась; вижу – горит фонарик (у Тамары был). Тамара плачет в голос, даже как-то подвываает и причитает и целует шубу моей бабушки Нади. У меня сердце остановилось от страха: ясно же – сошла с ума...

У стенок спали мама и Славик; мы с Тамарой и Мишуткой – в середине. Я тихонько разбудила Славу. Тамару окликнуть я боялась.

Славик сел, увидел это все и сразу же дернул Тамару за руку и спросил: «Тамарка, ты что?» Она с плачем ответила: «Банка со сгущенкой опрокинулась. Мишкино молоко пропало. А я вот слизываю,

что можно, с этого пальто!» И еще хуже заплакала. Жалко, конечно, сгущенку и Мишку, но Тамара, слава Богу, в уме.

Мы с мамой ехали в город Ирбит. Когда-то, когда мама искала своего отца (и нашла), он работал прокурором в городе Ирбите.

Под городом Ирбитом была в эвакуации старшая сестра матери, Ольга Геннадиевна. И мы знали ее адрес. Вот туда – под этот самый город Ирбит, в село Елань – и повела нас наша эвакуационная дорога.

Приехали мы в конце концов в Свердловск. Куда дальше должен был идти наш эшелон – я не помню. Но мы вышли в Свердловске. Вытащили свои пожитки и, попросив кого-то постеречь, – там много народа вышло из нашего вагона – мы с мамой пошли к вокзальным кассам, чтобы купить билет до Ирбита.

Вы не можете себе представить, что это было – эти вокзалы и кассы в период войны. Это была куча тел, все дрались для того, чтобы проникнуть к маленькому кассовому окошку, сунуть туда деньги и вытащить хоть какой-нибудь билет в поезд. Мы подошли к этой толпе, и моя мать потянула кого-то за ватник. Тот обернулся, увидел ее и меня, закричал не своим голосом и стал пятиться.

На его крик оглянулись другие. И тогда к кассе образовался проход, потому что все в ужасе пятились от нас. Вид у нас был такой страшный (ну, я не знаю, в зеркало себя не видела), что судя по тому, как расступились эти люди, наверное, мы действительно ужасно выглядели, как вставшие мертвецы.

Все расступились в страхе, и образовался свободный проход к кассе. Мама беспрепятственно подошла к кассовому окошку и купила два билета до Ирбита.

В поезде мы поняли, что это было совершенно не нужно: проводников не было, никто ничего не проверял, а если бы хотел проверить – все равно не смог. Так был переполнен поезд. Но почему все лезли в кассу? Зачем? Может быть, у них были какие-то документы, и в кассе надо было получить какую-то печать? Может быть, это была так называемая «трудармия»? Не знаю. Но так было... На весь гро-

мадный зал работало одно окно. Дрались за то, чтоб просунуть туда руку.

Взяв билеты, мы потащили наши сани с вещами на другую часть вокзала, к той платформе, куда должен был подойти, и где должен был формироваться нужный нам поезд, шедший через Ирбит дальше по Уралу.

За хлеб какой-то вокзальный рабочий вывел нас на эту платформу, и мы успели сесть в поезд, когда он только подошел, и посадка еще не началась. Это нас спасло: мы смогли втащить вещи и сесть сами. Но, увы! Люди уже были в поезде, и все лавки были заняты. Дальше началась посадка.

Я после этого очень хорошо представляю себе, как во время Гражданской войны какие-то разные банды останавливали поезда, врывались в вагоны и выбрасывали оттуда пассажиров. В этом поезде, правда, из окон не выбрасывали; но на подножках была форменная драка; лезли в окна, затянутые тряпками, а снизу их тащили за ноги вниз на платформу...

Мы однако уже были в поезде, и наши вещи тоже и даже сани-лыжи стояли рядом.

Людей набилось столько, что стояли впритык друг к другу, пройти было невозможно, в туалет набились люди и стояли и там. Отопления никакого не было. Некоторые окна были забиты фанерой и или заткнуты какими-то тряпками, на полу был слой льда.

Дорога до Ирбита – несколько часов.

В Ирбите мы успели выйти, так как заняли места неподалеку от входа и так как я опять же, спускалась из вагона по своим лыжам-лестенке, как и входила: подножка вагона была на уровне моего рта.

Вниз мы вещи почти кидали, а вверх я их поднимала себе на голову, и мама их тащила дальше. Как у меня хватало сил – не знаю.

И вот мы в Ирбите. Никто, кроме нас, не сошел с поезда. Расспросили мы людей на вокзале, и нам посоветовали идти на заезжий Еланский двор, куда приезжают обозы из Елани. Эти обозы подбирают и людей. До Елани 40–50 км.

Опять погрузили мы наши вещи (да, я забыла сказать, что зимние пальто – с меня и мамы, папино и бабы Нади мы сложили в мешок, который взяли из дома. Завязали, и получилась еще одна вещь, мягкая). Мы хоть смогли ходить.

Погрузили вещи на сани и поехали, куда нам указали. Нам повезло – этот заезжий двор был недалеко от вокзала. Мы остались на этом постоялом дворе, сложили наши вещи, и нам сказали, что люди приедут из Елани только через день, на следующий вечер. На углу той же улицы мы прочитали объявление, что в этот день баня работала для женщин. И тогда мы пошли в баню. Впервые за столько месяцев мы могли вымыться теплой водой!

В бане произошло следующее. Когда женщины посмотрели на нас, они посовещались в уголке, и каждая отрезала ниткой кусочек от своего мыла, чтобы мы могли помыться. Вы даже не представляете себе, какой это был царский подарок в те времена! Что такое было мыло, как дорого оно доставалось и каким счастьем было для нас вымыться в бане...

На следующий день пришел обоз из Елани, и мы, погрузив наши вещи, сели в сани. Все люди обычно то едут, то немножко идут. Но мы были в таком состоянии измученности, и больны совершенно, что идти за лошадьё уже не могли. Мы только сидели; нас добрые люди закутали в так называемые «яги» – это из собачьих шкур сшитое такое очень большое пальто, мехом внутрь; ходить в нем почти невозможно. Но в мороз, когда мы сидели на санях, яги эти были спасением. Вот так.

Приехав в село Елань, мы сняли какую-то комнатенку с хозяйской топкой. Пришла врач – женщина. Она посмотрела и послушала нас и тут же, немедленно, положила в больницу. У меня было крупозное воспаление легких, мать была тоже больна, у нее был бронхит, очень тяжелый. Но кроме того, та мера истощения, в которой мы были, представлялась почти неправдоподобной, так она выделялась из всего того, что нас окружало. Даже в эвакуации все-таки была картошка, и был хлеб.

Мы – блокадники, и нас старались подкормить и в больнице, и по выходе. По аттестату Сергея Алексеевича мне давали 500 г сахара-песка в месяц, иногда даже русское топленое масло (2 раза). Потом мы стали менять наши вещи на картошку, на муку, один раз – даже на мясо. И так постепенно мы стали выкарабкиваться из этой тяжелейшей ситуации. Я помню, тогда поразила меня моя тетка, Ольга Геннадьевна. Я вдруг поняла, что люди могут как-то вдруг обернуться совершенно неожиданной стороной. Ее муж, Александр Степанович (он потом тоже умер от голода в Ленинграде), незадолго до этого пришел к нам и говорит:

– Катя, вот, я совсем погибаю. Дайте мне сколько-нибудь денег, и я отдам тебе Олину швейную машину.

– Хорошо, я дам тебе кроме денег два одеяла, дам простыни, чтобы у тебя хоть что-нибудь осталось после нашего отъезда, – ответила я.

Дядя написал мне записку, в которой благодарил за это: «Я очень хочу, чтобы эта швейная машина послужила тебе на пользу. Швейная машина твоя, не беспокойся, мне она уже никогда не понадобится».

Когда мы приехали, Ольга Геннадьевна спросила меня:

– У тебя есть такая записка?

– Да.

– Ну, дай мне ее, я последний раз прочитаю, что написано моим милым Аликом.

Я ей дала эту записку. Она разорвала её и говорит:

– Ну, вот, теперь у тебя нет никаких доказательств, что эта машина твоя.

Я совершенно опешила, думаю: «Зачем так, да я бы отдала ей эту машину, если бы она попросила». Шить я в те времена не умела и не помышляла о том, что буду шить. И вдруг, когда человек обернулся так странно... ну, не знаю. Хотя, как можно судить людей? В тех условиях... Ей-богу, «не судите, да не судимы будете...». Все мы были психически тронуты, у нас у всех была такая травма, что судить нас – по законам мирного времени – это бессмысленно.

Ольга Геннадьевна уехала в эвакуацию со своей дочерью. Дочь ее была старше меня года на три-четыре. Девочка почти с самого рождения страдала тяжелейшими припадками эпилепсии. Почему у нее была эта эпилепсия, никто не знал; ее пытались показывать врачам, лечили. У меня эта девочка всегда вызывала какое-то чувство жалостливой неприязни, вот, скажем, так. Она почему-то очень любила меня целовать. Как-то целовала очень темпераментно, что было мне крайне неприятно. В те времена нас не приучали к такого рода поцелуям. Хотя я жалела ее, но общаться с ней мне было тяжело. И Ольга Геннадьевна, которая жила какое-то время как бы для нее, испытывала горькое разочарование: красивая, еще не старая, очень темпераментная женщина не могла жить только для дочери, хоть и дефективной.

Она сошлась с эстонцем, который был в Елани, куда его отправили на лечение после госпиталя. С этим эстонцем она даже потом уехала в Таллинн – или в Пярну – не помню. А свою дочь Милу поместила в дом инвалидов, где Мила и умерла, вероятно, просто от голода или от плохого ухода.

Я была последней, кто получал письма от Ольги Геннадьевны. Она уже умерла от рака горла. Этот ее эстонский друг – он поступил с ней, в общем, очень порядочно. Когда нашлась его прежняя семья, он не смог бросить жену и маленькую дочку. Но они сняли ей комнату, пытались устроить на работу, она была по профессии медсестрой. Вскоре после приезда у нее начался рак горла, и процесс этот был необратим. И вот уже умирая, когда она совсем не могла говорить, она мне написала большое письмо (это было письмо любящего меня человека). Оно было как бы письмом с того света. Я уже знала, что ее в это время нет, потому что медсестра, которая присутствовала при ее смерти, положила в конверт это письмо со своей припиской: «Это была просьба больной, и я ее выполняю, но она сама уже умерла». Страшно мне было тогда получить это письмо! И так много было связано тогда с воспоминаниями об Ольге Геннадьевне – и очень много хорошего. Она была необыкновенно талантливой, очень красивой,

она прекрасно рисовала, пела, играла на рояле и гитаре, была бы прекрасной актрисой; тем не менее жизнь ее пошла совершенно искалечено, не в ту сторону. Ее муж говорил: «Да, Ольга – мастер на все руки, только вот руки у нее короткие». И действительно, одаренная, интересная, прекрасная женщина погибла, в общем очень странной и очень бесприютной смертью...

Впрочем, бывает ли смерть не страшная, бывает ли смерть не бесприютная? Что-то я много всего этого навидалась в свои 18 лет. Это были такие страшные годы. Это был такой гнет несчастий, смертей, голода, бомбежек. Ну, не знаю, наверное, я тоже до какой-то степени была сдвинута.

И когда мой муж как бы в подтексте попрекал меня тем, что я вот, дескать, недобитая дворянка и что у меня – вот, это, как сказать – христианская мораль. Вот та первая исповедь и то внутреннее убеждение, что подлость – это есть грех... Страх перед мучениями моей собственной совести сопровождал – и сопровождает меня всю мою жизнь. Я рассказала о своих прегрешениях. И, пожалуй, больше я не мучилась ни от чего в жизни, как от тех событий, которые были со мной, когда я была ребенком и когда я съела вот эту конфету, когда папа уже умирал. Он уже умирал – и, тем не менее, он все-таки отказался, а я ее съела... И потом меня так мучило это, что вот он мне отдал последнюю каплю своей жизни. И я ее взяла.

Два месяца пролежала я больная. А потом я стала искать работу. И поступила на работу сменным воспитателем и старшей пионервожатой в детский дом. Детский дом этот был эвакуирован с Украины, из города Кобеляков. В детском доме я с большой радостью почувствовала хорошее к себе отношение девочек-украинок. Они многое уже знали и умели. У них, по-видимому, были очень сильные руководители.

Так, у них была прекрасная постановка балетных номеров – гопака, например. Они отлично пели – ну, как и все на Украине с вели-

колепными голосами. А моя функция сводилась главным образом к тому, что я помогала делать уроки детям с 5-го по 7-й класс. У многих были большие пробелы по общеобразовательным предметам из-за эвакуации. Я занималась с ними даже летом, сразу как поступила на работу.

Девочки очень «прислонялись» ко мне. Они как-то чувствовали хорошее отношение к себе с моей стороны. С мальчиками я тоже ладила – я знала кое-что интересное про путешествия. Между прочим, пыталась рассказывать книги, которые я перечитала. И потом, как выяснилось, очень многие, так сказать, заинтересованные с моего голоса сюжетом и отношением к авторам, эти книги «добывали» – доставали и читали.

Село Елань лежит на берегу реки. Тогда река была довольно чистой, очень извилистая, и вся она поросла зарослями так называемой «порички». «Поричка» на украинском языке – это дикая смородина, черная и красная, которая растет, как большущие кусты, почти как деревца. И вот наш детский дом постоянно собирал эту смородину. Громадные бельевые корзины черной смородины – крупной, почти как мелкая вишня – мы посылали в детские дома и в госпиталя, преимущественно в Ирбит – там было много госпиталей.

Директор детского дома был жуткой гадиной. Я не сразу это поняла. То есть у меня было инстинктивное омерзение по отношению к нему. Но оказалось потом, что, когда мне нужны были справки о том, что я работала в детском доме, я получила ответ, что все документы были переданы по уголовному делу, поскольку директор детского дома был обвинен в растлении малолетних и изнасиловании своих учениц. Этого я, конечно, не знала. Но какое-то общее отвратительное впечатление от него оставалось. Девочки, наверное, что-то знали; они всегда ходили по несколько человек. Но мне они ничего не рассказали.

Чем мы питались в Елани? У нас были талоны в столовую. В этой столовой нас кормили гороховым супом, гороховой кашей, ко-

торая называлась «горошница», и картошкой. Кроме того, у меня был командирский аттестат, который мне оставил Сергей Алексеевич Мурашов. И я по этому аттестату получала в месяц 500 г сахарного песка, немножко растительно масла и 2 раза я получила по 300 г топленого масла. Мы меняли вещи на продукты: на картошку, на муку, один раз даже выменяли килограмма два свиной солонины и топленое масло.

В основном у нас спрашивали теплые вещи. Мы их меняли на продукты и на них жили, и только таким образом мы сумели с матерью опять встать на ноги.

Однажды была я отправлена в командировку в Свердловск. Иехала я туда за какими-то необходимыми лекарствами для детского дома. Почему их нельзя было получить каким-то иным способом – я не знаю. Трудно даже представить себе, как я, в общем-то, маленькая, тщедушная и не очень сильная, как я умудрилась громадные эти высокие корзины с бутылками, с лекарствами привезти в Елань. В поезд сесть было почти невозможно: поезд осаждался толпами людей, никто не проверял никакие билеты. Все было забито, и подножки были забиты; и сам поезд был забит. Я стояла и плакала. Кто-то втолкнул меня вместе с корзинами – спасибо ему! – в коридор, в котором я и простояла всю дорогу до Ирбита.

В эту же зиму я была послана еще в одну командировку. Дело было вот в чем: наш детский дом повально и внезапно был поражен какой-то инфекцией. У всех делались болячки на губах. И инфекция эта, очевидно, передавалась через ложки, через миски, которых было очень мало; хотя они были металлические и их старательно мыли – ну, в общем, буквально весь дом заболел этими болячками. Вот тогда и было решено послать кого-нибудь в Нижний Тагил, на завод, где выпускалась (и по сей день выпускается) очень хорошая эмалированная посуда. Но почему-то считалось, что я – очень подходящий кандидат для такого рода командировок, как по поводу аптеки, так и по поводу мисок. Наверное, потому что другие воспитатели были заняты также

и в школе. А я была сменным воспитателем, то есть детям помогала только уроки готовить.

Так и отправилась я в Нижний Тагил. Ехала до Свердловска на лошадях с обозом, а дальше – на поезде. Но, к счастью, в Нижнем Тагиле жили мои тетья и бабушка. Так что, собственно, в самом Нижнем Тагиле мне было куда деться. Это тоже было одной из причин, почему именно меня отправили в эту поездку. Поезд пришел в 5 часов утра.

Явилась я рано утром на завод, показала свои бумаги каким-то секретаршам. «А-а, – говорят, – девочка, садись, садись вот тут. А помогай Бог, он сделает, сделает! Помогай Бог, садись!» Я села. Сижу, жду. Ходят какие-то люди, на меня никто больше внимания не обращает. Я еще к кому-то подхожу, говорю: «Пожалуйста, помогите мне. У меня вот такие документы. Мне нужно получить для детского дома миски, ложки, кружки – посуду». «Ну, да, – говорят, – помогай Бог, он сделает, он все сделает!» Я еще раз села, сижу еще час.

Голодная, усталая, измученная – не могу вам передать как, потому что я прямо с вокзала пошла на завод. Я же не пошла к тете, а пошла на завод, чтобы поскорей это все оформить. Наконец, идет опять какой-то важный на вид человек; я к нему. А он мне опять: «Ты посиди, девочка, посиди, помогай Бог – он все сделает». Ну, тут я ударилась в настоящую истерику. Я рыдала и кричала: «Как вам не стыдно, вы же взрослые люди! Вы что, издеваетесь надо мной – я тут сижу уже два с половиной часа, а вы мне говорите какую-то чушь, что мне Бог поможет!» Они так посмотрели на меня дико: «Деточка, ведь мы же не знали, что ты не понимаешь. Это же фамилия! Помогайбог – это замдиректора, он выпишет тебе посуду и поставит тебя на довольствие, ты пойдешь покушаешь и согреешься. Ну, перестань плакать».

И какая-то секретарша уже уговаривала меня и гладила меня по голове, а я все билась в рыданиях и не могла успокоиться...

Потом действительно пришел некий человек, фамилия которого была Помогайбог. Этот самый Помогайбог и помог мне; действительно все сделал. Я получила замечательные миски, ложки, чаш-

ки (то есть кружки) эмалированные. Все абсолютно новенькое, все такое красивое, чистенькое. Это все мне запаковали. И я получила возможность увезти все на саночках до своей тети. А она уже потом посадила меня в поезд до Свердловска. И вот тут я познакомилась с какой-то женщиной, которая тоже, оказывается, ехала в Елань. Она была ветеринарным фельдшером и везла какие-то громадные бутылки для ветеринарной аптеки. И самое замечательное было, что ее будут встречать, что у нее будет подвода, и что таким образом мне удастся доехать до дома.

Но до дома было еще далеко! Ведь надо было влезть в поезд с нашим неподъемным багажом. Но эта поездка была все же легче, чем когда мы ехали из Свердловска в Ирбит.

Тогда я испытала ни с чем несравнимый ужас.

Пол, покрытый льдом, залитый не то стоптанным снегом, не то мочой, открытая дверь в туалет; сверху, над туалетом, гора замерзших фекалий и мочи; люди лежат вповалку на этом полу – друг на друге сидят, стоят впритирку. Окна разбиты, заткнуты какой-то дрянью – даже газет ведь не было, нечем было и заткнуть. Да их бы выдрали на самокрутки, газеты-то! Холодище такой – хуже, чем на улице. А на улице двадцать с лишним градусов мороза. Это был такой ужас – я не понимаю, как люди это выдерживали. И все-таки ездили.

Ехала я, как уже рассказывала, еще и в Нижний Тагил, а теперь вот обратно.

Это было уже немножко лучше. В туалет люди ходили. Это не была открытая дверь и гора мерзости какой-то. Это был очень грязный туалет, но все-таки им можно было пользоваться. И окна уже не были такие разбитые, и люди, хоть и лежали на полу и на лавках и буквально сидели друг на друге, а тем не менее, все-таки, это было уже немножко легче.

Но главное – нас было двое. Мы уже могли как-то скооперироваться, помочь друг другу. Зиночка нам помогла, сложила на перроне наши вещи. Я была так рада повидать ее, ее детишек и бабушку. Де-

ток было уже трое; только муж ее был в командировке, и я его так и не узнала, так как он умер через год.

При посадке я больше всего боялась, чтобы не разбились громадные бутылки для ветеринарной поликлиники – в мой рост почти, упакованные в не такие высокие фанерные ящики и в солому. Но все обошлось. Меня даже оформили как грузчика, и я получила от ветаптеки деньги – 15 р.!

Весной я ушла из детдома и стала уполномоченной райисполкома по оборонной работе. Предполагалось, что я буду подготавливать население к возможным бомбежкам. Кто знал, могли ли быть тогда бомбежки на Урале, но я вела занятия по санминимуму – первая помощь при ожогах, ранениях, удушье и т. п. Я это знала, так как окончила курсы. Вела занятия в школе, на двух-трех предприятиях на промкомбинате и еще где-то.

В те времена был странный обычай: на время ответственных сельхозработ посылать в колхозы, особенно в отстающие, уполномоченных от райкома или исполкома, так называемых «толкачей». Надо было послать «толкача» на уборочную, вот и отправили меня. Других людей, видимо, не нашлось. Но так как тогда не было никакого транспорта, то мне сказали: «Ну, ничего. Сядешь на лошадь – лошадь знает, куда идти, она из той деревни, она тебя привезет».

Привязали лошади на спину одеяло, потому что седла не было. Посадили меня в это «седло» и я отправилась.

Боже, худшей пытки я никогда не испытывала. Во-первых, эта лошадь моментально поняла, что я полностью в ее власти: она шла, куда хотела: то она наклоняла голову и щипала траву; то она немного подпрыгивала и шла рысью. И каждый раз, когда она подпрыгивала, мне было так больно... Одеяло куда-то съехало, я ни слезть, ни влезть на лошадь без помощи не могла. А вдруг бы она ушла?

Это был ужас! Ехали мы часов, наверное, пять.

В конце концов дотащились мы до какого-то сарайчика. Сарайчик

этот стоял на краю деревни, и в этом сарайчике находились люди, ответственные за уборку. Я приехала как бы уполномоченная от райкома комсомола, кажется.

– Ну что ж, – говорят, – хорошо, что приехала. А вот у нас был только один тракторист. А вон он лежит, видишь, на столе, мертвый. Ты на тракторе не ездешь?

– Нет, – говорю.

– Ну, вот, и мы тоже не можем. Да у нас и горючего нет. Ладно, – говорит председатель колхоза, – он был уже с фронта, без руки, – пошли в сельсовет. Кормить тебя будем, на квартиру поставим... А знаешь что, я бабам скажу, они тебе ребят будут приносить – им способнее будет работать. Ты-то согласна?

– Конечно, – согласилась я. Все-таки от меня какая-то помощь будет. Дней 10 я «смотрела» детей. Разных: кто ползал, кто уже ходил. Грудных с собой матери брали. Ведь детей было совсем мало – мужчин-то почти не было – либо инвалиды, либо старики... Человек 5–6 – не больше было детишек. Но больше 2 недель я не могла ходить от моей «верховой езды».

Прошел мой срок, позвонили из района, простилась я с председателем, женщинами, со своей хозяйкой и поехала в Елань. О, счастье! – уже не верхом, а на бричке, с кем-то, кто ехал в район.

Пожила немного в Елани, уже наступала осень – октябрь был. Холодало; начались уже первые утренники.

В Елани я подружилась с Таней Шляковой, девушкой чуть старше меня. И договорились мы ехать в Свердловск – учиться.

Когда выезжали из Ленинграда, мне казалось, что нормальной жизни уже никогда быть не сможет, что учиться я уже никогда не буду, что ни портфель, ни книги мне никогда не понадобятся. Лишь бы была картошка с солью...

Все умерли, непонятно, почему и как мы будем жить дальше с мамой, раз все умерли.

Странная штука жизнь! Человек хочет того или не хочет, замечает

это или не замечает – но меняется. И многое изменилось для меня за это время после блокады.

Я уже начала рваться из Елани, так тяжело на меня воздействовала эта сельская жизнь. Я так захотела учиться, и так мне хотелось в город. Даже запах выхлопных газов от машин вспоминался мне, как самый лучший аромат! Но уборочная еще не была окончена, и послали меня теперь на уборку картошки. В эту деревню я шла пешком километров 15–20 лесом. Так было все красиво, в золоте... Только в лесу вдруг я увидела, трусит за мной собака; я сяду – и она сядет, я иду – и она тоже. Что-то в этой собаке было совсем не собачье. И я вдруг поняла: это же волк! Я хоть и испугалась немного, но меньше, чем боялась в Ленинграде крыс, когда сидела с умершим отцом.

Стала вспоминать, что читала и сама себя успокаивать. Волк, если один, нападает на человека, только если бешеный. А этот вот уже давно идет себе за мной; хотел бы – давно мог напасть, сейчас осень, а они зимой нападают, стаями. Вот думала, думала так – оглянулась. А он ушел: надоело ему, видно. Или были у него свои дела.

Дошла я до своего места назначения. А там всю идет уборка картошки – все вручную. И я копаю, естественно. Это был вклад мой в уборочную. Жила я на квартире у одинокой пожилой женщины, которая относилась ко мне исключительно хорошо. Каждый раз, когда я приходила – мокрая, усталая, замерзшая, как не знаю, кто – вытаскивали ведь мерзлую картошку из земли голыми руками: вскопнешь ее, а потом вытаскиваешь, это ж все пальцами выбираешь. Женщина эта грела мне воду, отправляла меня греться на печку, кормила меня горячей картошкой со сметаной.

Дай Бог, чтобы всех встречали так в колхозах, как встречали меня – глупую несчастную «уполномоченную от райкома комсомола» села Елань.

Кончилась уборочная, и мы с Таней быстро собрались в отъезд.

Очень меня в этом поддержала и подбодрила моя мама. Как-то отступила ее психическая болезнь (это я теперь понимаю) и прояви-

лись лучшие мамины стороны. Она не унывала от трудностей; всегда старалась найти хорошую сторону во всем; поддерживала меня, склонную к пессимизму, юмором, шутками; вспоминала, напоминала мне наши любимые песни и романсы и пела их.

Каким славным человеком была бы она, если бы не ее неумолимая болезнь! Как долго я не понимала этого...

Мы узнали, что прямо в Свердловск из Елани пойдет тягач с двумя прицепами, гружеными картошкой. Это был прекрасный случай для нас, – не надо было грузиться в поезд, не надо было ехать через Ирбит...

И мы отправились.

Впереди нас тащил тягач; к нему были прицеплены как бы 2 корпуса грузовых машин, без кабин, груженные по самые края бортов картошкой. Мы сидели на втором прицепе, на картошке, выше бортов. Почва глинистая, тягач тоже скользил, а уж прицепы – страшно вспомнить – разворачивались на каждом повороте в полную длину своих цепей и канатов, описывая полуокружности. Было очень холодно. Нам было очень, просто ужасно, страшно.

На каждом повороте мы хватались друг за друга: борта крепились не очень надежно, картошка при наклонах как бы покачивалась под нами, а смотреть вниз было еще страшнее, чем ехать.

Но все имеет свой конец.

Сгрузили нас на Свердловском вокзале.

У нас были с собой наши носильные вещи в чемоданах и корзина с картошкой, где были также 2 бутылки русского топленого масла.

Это была наша надежда, наше питание на весь первый семестр.

С вокзала надо было добраться до трамвая, а там у нас был адрес: на ул. Решетникова у нас была знакомая, москвичка, приезжавшая в Елань менять вещи. Мы ехали к ней.

Чемоданы мы сдали в камеру хранения. И стали таскать остальное до трамвая – более тяжелое – продукты и теплые вещи.

Потом, когда мы уже обе поступили в институт, на нашем курсе была девушка, которая сказала:

– Ой, позвольте, я же вас знаю.

Мы говорим:

– Откуда ты нас знаешь?

– А я смотрела, как вы вдвоем таскали вещи. Через каждые десять шагов возвращались, потому что вы дальше тащить не могли. И каждую вещь вы вдвоем даже не могли поднять. Я вас видела – да-да, это были вы

Мы засмеялись и сказали, что да, действительно, наверное, это были мы.

Решетников – это уральский писатель, кстати, очень неплохой. Тогда на этой улице Решетникова стояли только бараки, в которых жили многие эвакуированные и много татарских семей, самые разные люди. Мы сняли квартиру, вернее угол за печкой-плитой, что отделяла часть комнаты, в том же самом бараке, куда мы приехали с вокзала.

Хозяйку нашу звали Феня. Это была молодая и необыкновенно красивая женщина – как с русской иконы, а по национальности татарка. У нее было двое деток, наверное, двух и четырех лет.

Муж ее умер – кажется, на него что-то упало где-то на стройке – в общем, пришибло его сразу. И даже когда Феню записали, как вдову фронтовика, нашлись очень уж правдивые люди, которые пришли и сказали: «Это неправда, она не вдова фронтовика, она просто вдова».

Вдовам фронтовиков выписывали ордера на дрова; так Феня осталась без топлива. Тогда она и пустила нас за дрова. Мы с Таней получали ордер, со склада привозили 2 раза на санках дрова; это спасало нас всех от уральских морозов. Денег мы Фене никаких не платили.

Да, но это было, когда мы уже стали студентками. Притащив свои вещи, мы пошли в университет. Общежитие переполнено, контингент уже набран. Пошли в Педагогический институт. Общежития тоже нет; но если мы снимем частную квартиру, нам будут платить как-бы за общежитие, что-то очень немного, но все же; далее: факультета иностранных языков нет, только русский язык и литература, но на это отделение (филологическое) нельзя поступить нам, потому что

нам не будут платить за общежитие, и не будут выписывать дрова. А вот на отделение истории поступить можно – и нам будут общежитие оплачивать, и дрова выписывать...

Ну, что нам оставалось делать?

Мы поступили на исторический факультет и начали там учиться.

В самом начале нашей учебы я поехала на вокзал получить свой чемодан из камеры хранения. Было скользко, я несла чемодан на плече, но переходя трамвайную линию я споткнулась, чемодан был на плече, при падении он заслонил мою голову от наехавшего на меня трамвая. Кругом страшно закричали... Увидев, что я цела и невредима, стали помогать мне. Чемодан раскололся, вещи были порезаны колесами, и даже нести его дальше было невозможно – четыре отдельные дощечки и выпадающие вещи. Мне помогли перетащить это на скамейку. Я сидела и плакала.

Платье мое выпускное было порезано, – видно было... другое все... и как тащить все это... Разные ноги мимо шли – и вдруг одни, такие красивые женские ноги – остановились, и говорят: «Катя! Катя!» Вижу все это сейчас в деталях – и туфли, модные, на высоком каблуке, с дырочками такими, в форме слезок... у меня тоже перед войной такие были. Только мои были лаковые, а эти были замшевые.

В туфлях оказалась девочка из нашей школы, на несколько классов младше меня. Звали ее Муза. Чем-то, помню, я с ними занималась, занятия по ПВО вела, что ли. Взяли мы с ней чемодан вдвоем, как носилки, понесли к ней домой; она, оказалось, жила в нескольких шагах.

Посидели мы, повспоминали все хорошее, чай попили. Пришел ее отец и помог. Перевязал, ремни дал, проводил меня до дому. Так я добралась со своим чемоданом домой.

Счастье мое, что я упала так, что трамвай наехал сначала на чемодан... Даже платье голубое, мое самое лучшее, мы позашивали, и сколько лет я еще его проносила!

Туфли вот – были полностью испорчены, осталась я без туфель.

Мне хочется рассказать смешной эпизод.

Поскольку все знали, что чемодан мой попал под трамвай, теплые вещи у нас все же кое-какие были. А вот обувь?.. Я ходила в калошах на шерстяной носок. Это, кстати, не так уж и плохая обувка, даже в морозы, хотя, все-таки, валенки лучше, если по ноге.

А вот если в калоши положить хорошую стельку, лучше всего из войлока, а под шерстяной носок завернуть ноги в газеты – и не очень холодно и ходить легко, не то, что бабушкины валенки с калошами, из-за которых я чуть не погибла.

Во время войны иногда приходили из разных стран «подарки» (теперь это называется «гуманитарная помощь»).

Пришли как-то подарки! Из Чехословакии, по-видимому; в подарках нам прислали боты! Поскольку знали про то, что мой чемодан попал под трамвай, мне выдали первой.

Такие, довольно высокие, на молнии, с небольшим каблучком – видимо, предполагалось, что там внутри будут еще и туфли. Но я вложила каблук от чьих-то старых туфель, – и ничего, носила; опять же, газеты наворачивала под шерстяные носки; да, для Праги хорошие были боты, а для Урала, конечно, холодноваты. Ну, ничего...

Хорошая там была записка привязана к замочку молнии: «Дорогие женщины, пусть вам будет тепло! Если вы не изнасилуете замочек, он вам будет служить долго».

Я не «изнасилвала», и носила эти боты почти целый год.

Начался учебный год. Исторический факультет Свердловского педагогического института помещался в маленьком красивом здании – желтом, с колоннами, на берегу пруда, очень большого и красивого (это была запруженная река Исеть). Раньше в этом доме была гимназия. Мы получали стипендию – 115 р.; я получала по аттестату 600 р. и некоторые продукты. У нас были продовольственные карточки для служащих. Карточки выпускались на бумаге с водяными знаками и разных цветов каждый месяц. Цвета их не разглашались, это была тайна, наверное, во избежание подделок. Карточки выдавались на

предприятиях, а неработающим – в домоуправлениях. Отрывные талоны на хлеб были на каждый день, но можно было взять за два дня. Рабочие получали 800 г, служащие – 600 г, а иждивенцы – 400 г в день. Отрывные талоны на мясо, рыбу, крупу, сахар, жиры распределялись по декадам. На талоны «мясо-рыба» выдавали очень редко колбасу, (пока я там была – 2 раза), иногда селедку, чаще всего – яичный порошок. У кого было несколько карточек (на семью) – бывали рыбные консервы (банка). Мяса на «мясо» не дали ни разу. Сахар давали иногда, по 200 г сахарного песка, но редко, иногда конфеты: леденцы или соевые, иногда какао. На «жиры» – постное масло, детям – иногда сливочное. Какие именно продукты выдаются по талонам, объявляли по радио перед началом декады.

Но что самое странное – Свердловск был, наверное, центром произрастания кокосовых пальм – нам давали на карточки кокосовое масло. Оно выглядит, как белая свечка, но растапливается на горячем и вкус у него немножко ореховый. Я в Израиле пыталась его найти – тщетно. Может быть, оно идет на технические нужды? Только в Свердловске во время Великой Отечественной был этот экзотический продукт.

На «крупу» давали овсянку, иногда пшено, 400 г в месяц, детям – манку и рис. Впрочем, Фенины дети питались больше из детской кухни готовой едой.

Конечно, этого не хватало, но у нас была картошка, масло и немного сахара из дома. Этим и держались.

Более всего мы страдали от холода, не дома, но в институте. Конечно, я приехала не с Юга, но зима была необыкновенно суровая, – в те годы была полоса суровых, тяжелых морозов. И в этом корпусе на Историческом был тоже холод совершенно невообразимый. Там был исторический кабинет. В нем была очень хорошая, очень богатая литература.

И чего, чего только там не было! Не говоря уже об учебниках и книгах, но там было множество альбомов – реконструкций храмов

и городов Египта и Вавилона; цветные фотографии храмов Индии, фотографии раскопок; рисунки крупнейших художников на исторические сюжеты; фотографии городов и знаменитых памятников архитектуры Средневековья.

У меня всегда была страсть к картинкам. У нас дома, на специально для этого сделанном столике (думаю, 1,5x1 м) хранился громадный альбом. Он был обтянут синей кожей, и на нем была серебряная тоненькая дощечка с надписью (она и сейчас со мной). Этот альбом подарили папе рабочие одного из цехов, когда он уезжал с Урала. Папа очень берег этот альбом. Нам разрешалось его рассматривать, обязательно хорошо вымыв и вытерев руки.

Не знаю, в какой технике он был сделан, но он был сделан великолепно. Репродукции были черно-белые, но, например, на одной из картин к зрителю шло стадо. И мы, честное слово, видели и пар над овцами и занимающуюся зарю и зелень деревьев вдоль дороги. То ли это были экспонаты Лувра, то ли вообще французская живопись. Многие вещи я потом узнавала, когда показывала слайды, например, Барбизонской школы.

С каким интересом разглядывала я альбомы! Красивые снимки, посвященные истории Древнего Востока, истории средних веков, истории войны в самом широком смысле слова. Скажем, военных обмундирований, начиная с Древней Греции и кончая – не Второй мировой войной, но Первой мировой. И все это было так интересно! Но, Боже мой, как там было холодно... Мы сидели в перчатках, мы сидели в пальто, мы накручивали на себя все, что только было. И все равно мерзли чудовищно, особенно в аудиториях. В кабинете истории хоть чуть-чуть подтапливали... Там можно было накинуть на одно плечо пальто, а другую руку высунуть и писать. Учебники были только там.

Очень трудно было слушать лекции при таком холоде. Чернильницы лопались от мороза. Мы носили в кармане пальто и курток чернильницы «непроливалки» и вынимали их, только когда писали, а потом сразу опять прятали. Самая светлая минута – это было посе-

щение столовой. В столовой было тепло, и мы с наслаждением снимали шубы, снимали варежки и садились за столы, на которых стояли горячие тарелки; шубы вешали на спинки своих стульев, а о тарелки грели руки, даже не спешили начинать есть. На первое давали суп!

Боже мой, что это был за суп! Это был суп с какими-то палками зеленого лука, который был высушен летом и который теперь клали в эти супы. А я – астматик и аллергик – вообще никакой лук совершенно не выношу... И вот, выцеживая жижу, отбрасывая эти палки, я пила эту горячую смесь с луковым запахом, вся трясясь от отвращения. На второе – да, было и второе! – на второе обычно давали лапшу и такой квадратик из яичного порошка. В военном анекдоте того времени мальчик спрашивал: «Мама, когда придет папа, он убьет эту курицу, которая вместо яичек делает яичный порошок?»

На второе часто давали макароны с вареной рыбой. На всю жизнь – макароны с рыбой я есть не могу. И рыба, бывало, пованивала – а ели с восторгом.

Но все равно это было какое-то питание, какая-то пища; на сладкое давали чашку горячего, наверное, из соломы или, Бог знает, из чего, заваренного чая, может быть, из малины?... не знаю, из чего-то совершенно нечаянного. Чай был сладким. И это был самый счастливый момент дня.

Потом мы шли заниматься опять в этот страшный холод, либо отправлялись по домам. Дома заниматься было почти невозможно. Не потому, даже, что там было холодно – нет, наоборот, мы все-таки топили нашу комнату; она была довольно большая, метров 20. Ее перегораживала до половины печка-плита; на ней мы также готовили; в этом отгороженном пространстве стояла наша кровать, корзина с картошкой и все наши вещи. Заниматься все равно было невозможно. Во-первых, у нас был маленький уголок за печкой, железная кровать с досками, покрытая совершенно ничего не греющими одеялами. И присесть было не на чем, и писать негде. Поэтому наше пребывание дома сводилось только к тому, что мы готовили себе поесть и съедали

это, сидя на своей кровати. Мы варили только картофельный суп с ложкой топленого масла. Как это было вкусно!

Спали мы с Таней все на той же железной кровати, на досках, накрытых половиком. Спали «валетом» – иначе нельзя было поместиться. Накрывались двумя тонюсенькими одеялами.

Учиться было очень интересно. В группе нашей – человек 15 – были самые разные люди. Был мальчик, который пришел с фронта с ампутированной рукой и с ранами на лице; были девочки из деревни; были свердловские девочки, интеллигентные, даже довольно зажиточные. Подбор был очень пестрый. Училась я отлично, единственная из группы. Интересно мне было. По филологии, по литературе вузовские учебники я читала перед поступлением, уже был какой-то уровень, а по истории я так специально никогда ничего не читала. И это оказалось очень интересно. История Древнего Востока мне очень нравилась. Но это была вещь очень нелегкая. Много было каких-то неясных мест... В истории Средних веков уже много материала есть, источники, легенды... А Сирия, Египет – это тогда известно было хуже.

На каком-то вечере меня выбрали в президиум, как лучшую студентку первого курса, меня уже отличали в институте. Тут я отважилась на такой поступок: попросила у декана разрешения закончить, заниматься сразу на двух специальностях, и по истории, и по литературе. У историков был предмет литература, и тут как раз присутствовала Лидия Николаевна Фоменко – преподавательница, которая у меня экзамен по литературе принимала. Она засмеялась и декану говорит: «Наум Ефимович (его фамилия была Застенкер, по-видимому, он из очень знаменитой, культурной семьи, где были и писатели, и исследователи истории Востока, вообще такая очень культурная московская семья), знаете, этой девочке можно разрешить все что угодно. Она справится. Разрешите ей, разрешите».

И мне разрешили сдавать экзамены за первый курс параллельно и по отделению русской литературы. Там, правда, не было еще таких страшных вещей, как теоретическая грамматика, история языка, с

этим я там еще не столкнулась. Я пользовалась в основном нажитым раньше багажом, тем, что читала в Ленинграде.

Я хорошо помню лекции по истории Древнего Востока и первобытного общества, которые читал Евгений Георгиевич Суров. Он окончил аспирантуру в Москве. От армии был освобожден – он был горбат. Рассказывал он много интересного. Вот тут-то пригодилось все то, что я узнала в этнографическом музее; то, что я слышала теперь, падало уже на подготовленную почву, что-то я уже знала, о чем-то уже раньше думала.

Помню прекрасные лекции по психологии, по педагогике. Мне кажется, что я и теперь не понимаю, как можно читать прекрасные лекции по педагогике. А это было здорово. Читал, по-моему, Котеночкин. Психологию читал профессор Теплов. Теплов был большой величиной; лекции его так внимательно слушали, что даже мерзли вроде бы меньше.

Раз в неделю был счастливый поход в баню. Боже мой, какие очереди мы выстаивали в баню! По полтора–два часа мы стояли, а потом уже сидели на ступеньках какой-то лестницы, совершенно изнемогая от усталости, от холода, от слабости, которая нас одолевала, для того только, чтобы раз в неделю войти в баню и помыться горячей водой с мылом.

Прелести военной жизни! Что сказать? Наверное, все их пережили. Но, может быть, не все об этом знают. Собственно говоря, ведь почти все, кто пережил это, были старше меня. Мне-то тогда не было и 19 лет. И поэтому, когда я сейчас это вспоминаю и даже иногда говорю что-то своей правнучке, она просто не верит! Она не может этого понять. Не только правнучка, но даже и внучка (70-го года рождения). Тоже не может понять все то, что пришлось нам пережить.

Таня очень страдала от голода. Она плакала и говорила: «Я не могу, я хочу есть». А я, наверное, после блокады Ленинграда, даже есть не очень хотела. Меня как-то удовлетворяла тарелка супа, в кото-

ром плавало несколько кусочков картошки, и который был заправлен русским топленым маслом, привезенным из Елани.

Когда кончился первый семестр, Таня уехала. Осталась я одна, но по-прежнему жила с Фенечкой. Мы жили очень дружно; иногда устраивали себе праздник. Я шла на рынок и что-то покупала или меняла на хлеб. Буханочка черного хлеба приравнивалась обычно к 600 р. Тем не менее продающие на рынке обычно от денег отказывались. Я приносила соленые грибы или соленые огурцы, мы отваривали мою картошку, и у нас был пир!

Феня работала в прачечной и стала водить меня в свой душ – отпало стояние в «банных очередях». Никогда я больше не выглядела такой выстиранной, наглаженной, накрахмаленной, как под Фениным надзором.

Я стала донором. Я – живой человек; мне, конечно, не были лишними ни сахар, ни хлеб, ни рабочая карточка, ни деньги – за 480 г крови я получала 450 р., но главным все-таки было желание помочь выжить сотням и тысячам умирающих от ран в госпиталях, как умерли у меня на руках столько не сосчитанных мною бойцов в Ленинграде.

Сахар со своего донорского пайка я всегда отдавала Фене – для детей. Мне было их жалко: они были такие маленькие, такие несчастные. Однажды я пришла днем домой, открыла дверь и вижу: дети с окровавленными личиками, вокруг рта, на щеках – везде пятна крови.

Я закричала от страха; вбежала наша соседка, схватила кого-то из детей на руки, провела по личику ребенка.

Оказалось – это губная помада. Они ее нашли у меня и съели, она ведь пахла хорошо, они приняли ее за конфеты. Я редко ею пользовалась, но купить ее было дорого для меня.

Сдавать кровь было тяжело. После этого я испытывала резкие головокружения. И даже один раз просто упала в обморок. Мои друзья повели меня в кино. Шел фильм, который назывался «Жила-была девочка». Рассказывал этот фильм, как последняя оставшаяся в семье в живых девочка записала в своем дневнике: «Я осталась одна. Все

умерли». И вот когда я увидела кадры Ленинграда и услышала звук метронома, который не выключался у нас, пока еще было электричество и радио; под этот метроном обычно все жили и ждали: ну, вот, должна начаться воздушная тревога. И действительно, в 7:15 или в 7:20 вечера начинались бомбежка и налет на Ленинград. Когда я услышала цоканье метронома и увидела в кино Ленинград, я и брякнулась в обморок. Это был первый обморок в моей довольно долгой жизни. Такую роскошь не часто я себе позволяла... Был еще только один. О нем – позже.

В Свердловске в то время в большом универмаге во всех отделах продавали две вещи: какие-то круглые плоские штучки, которые надо было класть в молоко при кипячении, чтобы оно не сбегало, и сетки из натуральных волос, чтобы уложенные волосы на ветру не трепались.

А мне нужен был портфель, необходимы были чулки и туфли; последнее было особенно трудно из-за размера. То на хлеб, то на деньги, я все же приобрела себе одни туфли, черненькие, а другие мне отдали из подарков – белые американские, которые ни на кого не налезли.

Уж очень не хотелось мне ходить в театр и на концерты в калошах...

Пожалуй, больше никогда я не ходила так часто в оперу и на концерты, хотя всегда очень это любила. В детстве меня очень много водили в оперу и на симфонические и фортепианные концерты.

Причем тогда говорилось так: «Ну, конечно, девочке нельзя портить вкус. Какой может быть Шостакович? Нет, нет... это не нужно. Вот Бетховен – да, это мы пойдем». В Свердловске я много ходила в Оперный театр и на концерты. Туда съехались лучшие исполнители; приезжали пианисты, скрипачи из Москвы и Ленинграда. Бывала я и в оперетте – она славилась тогда, но я на всю жизнь осталась любительницей оперы и симфонических концертов.

Ничего, кроме перечисленных необходимых мне вещей я, конечно, не пыталась купить; деньги у меня были и донорские, и по аттестату (он был действителен 1 год). Спектакли и концерты – особенно

по сравнению со всем остальным – стоили дешево. А удовольствие от них я получала огромное. Я прослушала так много прекрасной музыки, многое не по одному разу, в разном исполнении.

Это была одна из самых «плодовитых» зим в моей жизни. Я вдруг выросла, вспоминая Ленинград и его музеи, я почему-то иначе и очень остро ощутила музыку... Наверное, просто стала старше. Было мне восемнадцать лет. И все же то, что я пережила, то, что я прошла за эти два года, сделало меня, в общем-то, взрослым человеком, не только взрослым, но другим: я стала остро чувствовать трагичность жизни, так часто и так ярко отраженную в музыке.

Во мне угас тот огонь радостного ожидания и восприятия жизни, который играл и светился во мне в мои 16 лет; я думаю, что это был тот самый огонь, который зажигал чувства моих поклонников, друзей и возможных женихов ко мне; что их отношение фокусировалось во мне и горело, горело во мне желание нравиться все больше, все сильнее, – что это было как бы взаимодействие.

Ренуар где-то писал, что в 16 лет в девушке светится особое чувство, которое должен художник уловить и передать в своих портретах, потому что этот особый свет бывает только около года. Может быть, и во мне тогда был этот свет?

Но теперь – теперь я видела столько смертей; столько погибло моих друзей и поклонников почти сразу же в начале войны: Юра, Сережа, Виктор, мои одноклассники... и весь ужас блокады...

И было чувство, что все умерли, что и жизнь уже никогда не будет такой, дарящей радость ежеминутно и обещающей в будущем еще большее – обещающей счастье...

Какой уж там «пуд кишмиша»... Осталось нечто жалкое, высшее, вроде компота из сухофруктов из нашей столовой.

Не стало не только моих друзей, не стало и меня прежней. Я стала другой...

Пропал мой интерес по отношению к лицам противоположного пола – мне не хотелось нравиться, мне хотелось быть первой. Я и в

детстве была честолюбива. Когда мне трудно давалась математика и физика в 4–9-м классах, каждый выходной мы вставали в семь утра, и с восьми до часу дня занимались с папой. Это было совсем нелегко! Но я не могла, абсолютно не могла стоять у доски и выглядеть дурой-незнайкой.

Теперь в Свердловске мне, конечно же, было интересно заниматься на истфаке (это все же не геометрия!), но главное, что двигало меня вперед, – это честолюбие. Быть первой!

Еще с Таней в Свердловске мы ходили в бывший Дворец пионеров. Ну, в то время там пионеров уже не было, там располагался клуб военно-воздушной академии имени Жуковского. Там бывали очень интересные вечера и танцы. Ну, и естественно, что у молоденьких девушек (и у меня, в частности) завелись там знакомые и приятели. Среди них была одна супружеская пара. (Это тоже показательно – интерес вызывали не столько возможные поклонники и кавалеры, сколько подруга – жена одного из слушателей).

Она была некрасивая, но очень умная и очень образованная молодая женщина. Она окончила Московский университет и была математиком. Работала она в Бюро погоды: как мне объяснили, там очень разнообразные и очень сложные математические задачи. Ее звали Лора. Муж Лоры был слушателем военно-воздушной академии Жуковского; звали его Анатолий. А вот фамилию его никак не могла сразу вспомнить и думала: «Не то Мышкис, не то Кошкис... А может быть, Крысис? Или Собакис?»

Неведомы пути жизни. Тогда я подумать не могла о том, что эта фамилия станет моей.

Ну, все-таки зима не была бесконечна. Постепенно приходила весна, таяли снега, и можно было ехать домой. Но где теперь был мой дом? И был ли он где-нибудь? В Елани ждала меня мать, с которой отношения были очень сложные: мало сказать, что я не любила мать; наше сближение едва-едва стало намечаться.

В Елани же ждал меня еще один человек, который хотел на мне

жениться, который мне нравился. Но в то время я совершенно не представляла себе, что такое любовь.

Однажды я была проездом в Ирбите и на улице встретила свою одноклассницу – Валю Смирнову.

Теперь она была замужем, ее фамилия была Харчева. Познакомилась она с мужем в госпитале, где работала еще с одной нашей одноклассницей. Муж ее вышел из госпиталя, и они поехали в Ирбит, где он приходил в себя после ранения. А с той одноклассницей Валя переписывалась.

И вот та ей написала, что в госпиталь поступил Сергей Алексеевич Мурашов. От Вали я узнала адрес госпиталя (теперь я не помню, в каком городе он был). Наша одноклассница вскоре из этого госпиталя ушла, стала работать в другом месте, адреса мы ее не знали. А я теперь смогла написать Сергею Алексеевичу. И я писала; всю зиму – с конца сентября до июня, каждые 2–3 дня я писала ему письма, открытки; писала о себе и своей жизни. Я была очень благодарна ему. Его аттестат, если и не помог мне выжить в буквальном смысле, то очень поддержал меня. Но для меня важнее было то, что Сергей Алексеевич был из «той прежней жизни», где все умерли; может быть, он один все же остался? И я писала, писала... и не получала никакого ответа. Было же известно, что он именно в этом госпитале... Может быть, и его уже тоже нет? Может быть, и он в этом госпитале умер от ран?.. Иначе куда же девались мои письма?

А я была одна, так ужасно одна. И мне так нужен был кто-то старший, опытный, на кого я могла бы опереться; нужен был сейчас, когда мне было так одиноко.

А в Елани меня ждал Виктор. И я даже скучала без него.

Виктор Владимирович Гальперин был в то время единственным взрослым мужчиной, который мне нравился. Он работал в райкоме партии. Работал он там потому, что был инвалидом. Он вырос в детском доме. Он был еврей по национальности, а это был американский еврейский детский дом, основанный в голодающей России для спа-

сения еврейских детей. В этом доме через годы его нашел старший брат. Он женился на воспитаннице этого же детского дома. Эта семья некоторое время жила вместе с нами. Юношей Виктор работал на каком-то станке, и сунул туда руку – у него оторвало четыре пальца, и остался только один палец на правой руке. Вот поэтому-то он и оказался в эвакуации. Он был намного старше меня – лет на тринадцать. Он много ездил по Союзу, особенно когда работал в ЦК ВЛКСМ; умел рассказать много интересного и был очень в меня влюблен, очень за мной ухаживал. Так и получилось, что когда после года учебы вернулась в Елань, вернулась я к нему, в его комнату.

Не то, что бы любовь... меня окружало столько смертей, меня не отпускали такие страшные воспоминания, и не могла я пройти мимо единственного живого человека, который был рядом и подавал мне руку помощи в эти горестные годы.

Одним этим словом «любовь» называют совсем разные чувства. Но мне кажется, что в основе любви (к любому человеку – другу, брату, матери и т. д.) лежит способность и даже неизбежная необходимость думать об этом другом человеке больше, чем о себе самом. Потому и называют эти разные чувства одним словом.

Но любовь между женщиной и мужчиной – это не только такое отношение, хотя и оно тоже. Такая любовь – это очень сложная вещь, и, наверное, вряд ли кто-то может сформулировать точно, что же это такое. Я бы, наверное, сказала, что если женщина действительно любит мужчину, то она любит его и умом, и душой, и телом. Вот при этих трех компонентах и возникает настоящая любовь и привязанность между женщиной и женщиной. Надолго ли? Бывает, что и на всю жизнь, но это редко. Так уж устроен мир...

Но это я сейчас так думаю. А что я могла знать, когда мне не было восемнадцати лет?

Только перед концом войны я получила письмо от Сергея Алексеевича, очень теплое, даже нежное.

Писем моих он не получал, не знал обо мне ничего; его много

переводили из госпиталя в госпиталь в разных городах... После ранения он сильно хромал...

Но я – я не дождалась этого письма...

А до того произошла трагикомическая история. Мы с матерью купили домик. Он был из трех комнат, печка там была русская, как это всегда бывает, комнаты были чем-то вроде бумаги отгорожены друг от друга. Отдали мы много ценностей за этот домик. Деньги тогда ничего не стоили, да и не было у нас денег... отдавали мы вещи – папины костюмы, пальто, мое зимнее пальто... у меня осталась только курточка.

И вот мы решили, что мы без всяких квартирных хозяек отлично заживем в этом доме. Мда... многого мы не учитывали, конечно... сейчас это покажется странным в моем рассказе, но это было так. Домик был перенаселен... клопами! Когда мы остались там переночевать, (это было уже лето, май месяц) мы увидели: весь пол шевелился. Это клопы шли лавиной по полу, по стенам, по кроватям. Мы выскочили в ужасе на улицу. Не то, что лечь спать, – войти было невозможно. Шел дождь из клопов.

В Елани была такая контора, которая делала дезинфекцию, и якобы клопы должны были от этого передохнуть. Пошли мы туда, заплатили, что-то дорого, но там, слава Богу, взяли деньги. Пришли люди с какими-то вонючими препаратами, зажгли их, позапирали все двери-окна; вонь была чудовищная... а клопы все вышли на крышу, – крыша вся шевелилась. Клопы вышли на свежий воздух и урона от окуривания не потерпели.

Безуспешно сражаясь с клопами, я вспомнила: в этнографическом музее СССР был макет-сруб, вкопанный в глину – тюрьма; яма, в которую бросали на смертную казнь преступников в какой-то из средневековых стран, не то в Узбекистане, не то в Казахстане, начиная с XII века... И там, в этом срубе, жили столетиями полчища клопов, которые заедали заживо брошенных туда людей, закусывали их до смерти. Тогда, в Елани, я вполне поняла, как это делалось,

и вполне уверилась в жестокости и в действенности этой смертной казни.

Вещи наши только провоняли. Ну, раз они выходят на крышу – правильно – я взяла в этой конторе какую-то гадость, сама залезла и полила ею крышу; клопы с крыши попрятались в доме. Окуривание это мы повторяли несколько раз.

Потом дали нам опрыскиватель, который применяли в сельском хозяйстве против вредителей. Крышу тоже им опрыскивали... Но клопов меньше не становилось, может быть, даже больше, или они становились все злее.

Кончилось тем, что мы бросили этот домик. Вещи вынесли, вытряхивали, вывешивали где-то на огороде, и в этот дом не вернулись. Домик этот был в конце села, что с ним стало – не знаю, но уверяю вас, жить теплокровному существу в нем было невозможно.

Вот так, отдав большие ценности для того времени, бросили мы этот домик и ушли.

Мама сняла комнату где-то, а я, вот, приехала уже в комнату Виктора.

Жили мы с пожилой хозяйкой, ее дочерью и внуком лет четырех.

Виктор был москвич, даже не совсем москвич, а эвакуировался из поселка Ленино Московской области – это место, которое называется Царицыно (Царицына Дача). Сейчас это уже черта города Москвы. Но тогда это было известное в истории место, где императрица Екатерина II велела построить дворец, вырыть пруды, собиралась сделать там свою резиденцию. А потом, приехав, посмотрев, решила, что эта резиденция похожа издали на гроб, и отказалась. Строились дворцы по проекту Баженова. Так и остались эти великолепные развалины.

Потом сделали в этих развалинах множество очень плохих жилых помещений, конечно, без водопровода и канализации. Если в Царицыне говорилось: «Они живут во дворце», – все понимали, что жилье это хуже любого барака.

Эти великолепные пруды и сам дворец, и парки, сооруженные по ее приказу, остались незаконченными.

Поселок Ленино или Царицына Дача, как она называлась давным-давно, было местом работы моего мужа. Тогда созрело у меня решение обязательно ехать в Москву. Но как ехать? Нужен был пропуск. А его-то и не было.

Но помогли мне друзья из Академии Жуковского. Слушателей перевозили в Москву в эшелоне теплушек. Лоре удалось включить меня в список. Так, после очень тяжелой, но очень интересной зимы, перейдя на II курс и имея все пятерки за 2 факультета (русского языка и литературы и исторический) и после лета в Елани, в сентябре я отправилась в Москву. На этот раз дорога была совсем не страшной, даже в теплушках дорога в этот раз была уже значительно более комфортабельной, чем в прошлый раз. Хотя теплушки – они и есть теплушки, но я же ехала с друзьями; мы ехали очень весело, хотя на сердце у меня было беспокойно: пропуска у меня не было. Как я сумею прописаться в Москве, куда я там денусь? Мне было совершенно неясно. А без прописки не может быть продовольственных карточек. Как без них жить?

Оказалась история моя тесно связанной с... географией Москвы. Вся моя жизнь с приезда в Москву и до отъезда проходила в районе Покровских ворот... Я и родилась-то там же в одном из переулков – он назывался Лялин переулок.

Хотя я знала, что у Покровских ворот должна, кажется, жить моя тетя – родная сестра моего отца, Александра Владимировна Кутырина; она жила в Барышевском переулке. Лора тут же объяснила мне, что они живут тоже у Покровских ворот в Колпачном переулке – через проходной двор от Барышевского. Лора и Толя позвали меня к себе, и первое время я «приткнулась» у них, вернее у отца Толи. Когда мы приехали, семья состояла только из хозяина, Дмитрия Семеновича Ермакова, его сестры намного старше его – Ефросиньи Семеновны

Ермаковой (тети Фроси), и ее двух внуков – Шуры, лет, наверное, шести-семи и ее внучки Дуни, которой было в то время, я думаю, лет четырнадцать. Она была ученицей ремесленного училища химиков. У них было две комнаты.

Посредине одной из комнат стояла так называемая «буржуйка», которая топилась бумагой, щепками, в общем, где удавалось подобрать какой-нибудь горючий материал, тем и топили, на ней и варили картошку и картофельный суп.

Это была когда-то одна большая комната, разгороженная пополам; была так же выгорожена маленькая такая, передняя – не передняя, но нечто вроде кухни, где стояли электроплитки. Потому что одна кухня была на всех жильцов, а было там, по-моему, 24 семьи, это такая громадная коммунальная квартира. На электричество тоже был лимит, но как-то приспособлялись: готовить было необходимо всем 24 семьям.

Именно там отпраздновано было мое 19-летие. Отпраздновано оно было странно: нам удалось где-то купить сахарную свеклу. А так как мы понятия не имели, каковы ее коварные свойства, то мы эту сахарную свеклу натерли, чего-то туда добавили и напекли такие оладьи. Вроде бы даже очень вкусные, сладкие, так мы их хорошо поели. И после этого – если бы мы знали свойства этой свеклы! – после этого празднования мы все отравились. У нас у всех был дикий понос, рвота – мы все совершенно помирали. А в этой квартире жили 24 семьи. Это был громадный коридор, из которого шли комнаты. В романе «Тихий Дон» описан этот дом – это была больница, где лежал после ранения Григорий. Поэтому можно себе представить, каким сложным оказалось наше положение после этого тяжелейшего отравления. Туалета было всего два на всю эту громадную квартиру. Ну, в конце концов, все проходит. Прошло и это отравление. Зато такой день рождения не забудешь!

Но как жить у посторонних людей без продовольственных карточек? И где и как учиться? И где жить? Все это было непросто решить. Спасибо за приют, данный мне в Москве, спасибо Лоре и Толе за их

советы. Но надо было действовать и без промедления: вот-вот начинался учебный год.

Я также нашла и свою тетю. Но это не решало главных вопросов — о прописке и об учебе.

Тут я услышала объявление по радио: Институт разработок торфа (или он так и назывался Институт торфа) принимает студентов на I курс и обеспечивает им прописку и общежитие; при приеме необходимо предъявить и сдать подлинник аттестата за среднюю школу. На мое счастье, этот институт находился совсем рядом.

Я быстренько пошла в этот институт, сдала подлинник аттестата, оставив себе нотариальную его копию и зачетку Свердловского педагогического института.

Ни об армии, ни об университете, ни об эвакуации и Свердловске я в торфяном институте не сообщала. Мне дали отношение в милицию с просьбой о прописке и с гарантией общежития. Пришлось идти к начальнику милиции всего города Москвы. Очень было страшно: многим не разрешали. Я выстояла тысячу очередей, попала к начальнику милиции города Москвы, ужасно важному; сказала, что вот, я буду учиться в торфяном институте, что там ужасная нехватка, все такое. Он меня выслушал и дал бумагу: разрешение мне прописаться в Москве на предоставленную мне жилплощадь. Кем будет эта жилплощадь предоставлена, он не написал.

Ну, естественно, все эти мои дела обсуждались с Лорой. И Лора говорит: «Знаешь, что рядом тут Областной педагогический институт. В прежние времена он очень высоко котирировался. Ты пойди туда». Я-то мечтала об университете! Но как-то она меня очень охладила и сказала, что в университет меня вряд ли возьмут из Свердловского педагогического института. Хоть у меня и прекрасная зачетка, но вряд ли. Это, наверное, нереально.

То ли это сказался ее университетский снобизм, то ли она просто знала об этом. Я стала узнавать, правда, потом уже, так сказать, задним числом. Оказалось очень большая разница в часах; но что значит,

«досдать эту разницу»? Если, например, курс в университете занимал 80 часов, в пединституте – 60, и как досдать эти 20 часов? Что именно в них входило? Так, что и правда – это все было для меня нереально. Тем более, что время ведь на месте не стоит. А карточки? А прописка?

На мое счастье, этот институт тоже был недалеко, на ул. Радио.

Пришла я на прием к проректору, профессору Антону Ивановичу Козаченко – он был специалистом по истории СССР.

Показала я ему свою зачетку. Естественно, она не могла ему не понравиться, показала нотариальную копию аттестата – там, конечно, были «четверки» – по астрономии, физике и геометрии. А остальные были «пятерки». (Довольно яркая характеристика девочки!)

– Ну, хорошо, – говорит он. – А как же с пропиской? Наш институт ведь прописку не дает.

Я ему показала заявление с резолюцией начальника Московской городской милиции и говорю:

– Прописку я себе обеспечила.

Он удивился и спрашивает:

– Как Вам это удалось?

Я ему рассказала про торфяной институт, про прием у начальника городской милиции, где я стояла в очереди с 4 часов утра.

– Но у нас нет общежития, – говорит он.

– Я найду, где жить.

– Ну что ж, – засмеялся Козаченко, – Вы очень смелая девушка! Просто отчаянная. Мы зачислим Вас. Сегодня же я отдам в приказ.

А о том, что я приехала-то в Москву зайцем, без пропуска, я ему не сказала...

Так я стала студенткой Московского областного педагогического института.

Одним из первых моих дел в Москве была поездка в Царицыно. Там я нашла сотрудников Виктора, поговорила с ними, они очень быстро выслали ему вызов, и к началу занятий я уже жила в Царицыне, где Виктору дали комнату. Он работал в райкоме партии.

Это был не только сельскохозяйственный район – это ближнее Подмосковье, и там уже формировалась кое-какая промышленность. Сейчас туда идет метро (ст. Ленино), а тогда это был Ленинский район Московской области; станция Царицыно Московско-Курской железной дороги.

В институт я ездила на электричке 35–40 минут до Курского вокзала. Прямо, как нарочно, все места, где я постоянно бывала в свои московские студенческие три года, были в 30 минутах ходьбы от Курского вокзала: историческая библиотека, комната тети Шуры, родители Толи Мышкиса и даже парткабинет, где я тоже часто занималась (там было тепло, тихо, и была вся литература по курсу основ марксизма, семинары по этой дисциплине).

Все это находилось совсем рядом, если идти проходными дворами. Все деревянные заборы во время войны были использованы на дрова – проходи, куда хочешь!

Потом было опять все загорожено, может быть, для большей безопасности жильцов.

Если бы я не на Курский вокзал приезжала, а куда-нибудь в другое место, если бы родители Толи жили не у Покровских ворот... пошла бы моя жизнь совсем по другому пути... Как много зависит от цепочки случайных совпадений!

Наш курс состоял из 75–80 человек. Были многие, кто учился еще до войны. Были несколько человек из других городов, но основная масса все-таки в прошлом году здесь первый курс закончила, и теперь нормально перешла на второй.

Хорошо помню двух девочек, с которыми дружила, даже трех – Лену Гуммель, которая сидела с нами всегда на одной парте, Тасю Гурвич, с которой мы очень дружили, и, наконец, девочку, которая стала моей подругой на многие годы. Уже давно, не будучи студенткой, уже имея детей и внуков, мы встречались с ней в Москве. Софья Робертовна, сначала Усаковская, а потом она вышла замуж за нашего общего друга и приятеля Льва Кима. Он был уже кандидатом к тому

моменту, хотя мы познакомились, когда были в аспирантуре, по историческому факультету... потом он работал в Институте Азии и Африки АН СССР.

У нас был очень сильный курс. Может, потому, что мы так соскучились без учебы, не знаю. Впоследствии человек 10 стали кандидатами, печатались.

Тут я должна была родить первую девочку. Это теперь я поняла (а может, и не поняла, это я только так говорю), что беременная женщина должна бросить всякие мысли о карьере, о литературе, о чем угодно, что она должна только беречь ребенка, что это и есть самое главное.

Я же никак не могла с этим примириться, я рвалась в аспирантуру, я стремилась учиться лучше всех. И снова, будучи на историческом факультете, получила разрешение и сдала за второй, а потом и за третий курс факультета русского языка и русской литературы.

Беременная, я ездила на электричке, потом по Москве на трамвае, везде толкались... Москва была скользкая, обледенелая... тут-то и подстерегла меня беда. Я ехала в институт, поскользнулась, упала, ударилась сильно и родила преждевременно. Ребенок прожил 3,5 месяца. Невероятными трудами моими... кормила я его из пипетки сцеженным из груди молоком, и вроде бы даже стал ребенок расти, прибывать в весе. Фельдшерица, которая каждый день заходила, сказала, что это я просто чудо сделала, девочка-то растет! И вот тут у нее начались припадочки сердечные, которые в деревне называют родимчиками. Сердце не успевает развиваться. Два таких приступа она пережила, а на третий приступ она умерла.

Горю моему не было предела. Я так хотела этого ребенка! Я так любила ее! Но так случилось, что я опять стала «свободна» и с невероятным упорством ринулась опять в учебу. Училась я прекрасно.

Получилось так, что за все годы обучения я практически была на свободном расписании. Я ждала ребенка, потом этого ребенка родила, потом я этого ребенка пыталась сохранить в живых – короче гово-

ря, на это ушел год. Ребенок погиб. Весь этот год я посещала только те занятия, которые я считала для себя нужными и полезными. Я и по сей день уверена, что для людей, которые умеют и хотят заниматься сами, гораздо важнее заниматься в библиотеке, в читальном зале, в специализированных кабинетах, нежели отсиживать – не всегда очень высокого уровня лекции.

С другой стороны, я понимала, что лекции, которые казались мне скучными, очень часто содержали в себе такие сведения, которые крайне трудно было найти в какой-нибудь литературе.

Как необходимы для хорошей лекции две ее стороны. Интересная, увлекательная форма (иначе слушать не будут!) и сведения, мысли, которых нет и не может еще быть в учебниках. Ведь учебник – это выжимка, экстракт имеющихся знаний – его усваивают, запоминают факты, их «сдают», и... забывают. В лекции важен пример обобщения фактов, пример возникновения вопросов по изложенному материалу. Может быть, риторические вопросы лектора, а может быть, пример размышления вслух.

Но наши преподаватели страшно перегружены. Я, например, начиная работать, читала одновременно историю первобытного общества с элементами этнографии, историю Древнего Востока, Греции и Рима и все Средние века. О чем я могла бы подумать в этой спешке? И обобщения, и вопросы возникают только на почве определенных знаний ибо «что можно сказать о языке ирокезском, не зная оного?»

Потому-то пониманию и проникновению в различные проблемы учат не столько лекции, сколько семинары и собственные занятия в библиотеках и особенно в архивах. Я понимала также, что далеко не все студенты жаждут сидеть по 12 часов в читальном зале.

Из прослушанных мною лекторов мне хотелось бы рассказать о трех, очень разных.

Блестящие, остроумные, картинно-четкие лекции по истории Французской революции читал профессор Кунисский. До сих пор стоит передо мной картина клятвы Генеральных Штатов в зале для

игры в мяч. Начало Великой французской революции. Это все было очень интересно, но никаких вопросов у слушателей не возникало. Все было так ясно, как будто сервировано и преподнесено на блюде!

Не исключено, конечно, что именно на эту тему не следовало возбуждать вопросов: более кровавой революцией была только русская. Тогда на этом внимание не акцентировалось.

Очень скучные, даже иногда непонятные из-за странных акцентов, отдельных слов, лекции Яна Яковлевича Зутиса, моего научного руководителя...

Было слышно какое-то ворчание, внезапные выкрики, иногда совершенно второстепенных русских, а иногда латышских слов – ни понять, ни тем более записать лекцию было невозможно. Я, беременная, дремала, вздрагивая при выкриках. Долго я даже хранила эти смешные записи.

Почему общие курсы так не удавались ему? Он был великолепным знатоком истории Прибалтики, знатоком архивов и рукописных фондов по этой проблеме... Почему бы ему не читать лекции по этим вопросам? Пусть бы общие курсы студенты и сами учили по учебникам. Но это не разрешалось. Общий курс должен был быть прочитан... «Средние века» – это очень, очень «общий» курс! Может быть, сейчас все иначе, может быть, тогда был смысл, чтобы прослушали те, кто сам не сможет «одолеть» эти сведения, но мне и тогда казалось это странным.

И наконец, третий лектор – Альберт Захарович Манфред, автор нескольких монографий, специалист по международным отношениям XIX–XX вв. Вот его-то лекции, может быть, наиболее приближались к настоящей прекрасной вузовской лекции. И слушали его, и записывали, и в литературе копались... А у него, как не жаль, были большие дефекты речи. Но и они не мешали ни слушать, ни понимать, ни оценить его, как выдающегося лектора.

Семинары по истории средних веков на основании «Салической правды» (документ раннего средневековья) вел Борис Ильич Рыськин.

Вот он заставлял думать; сравнивая всю эту группу «Правд» (русскую «Правду» тоже), мы учились понимать, почему возникает закон, как за ним стоит обычное право, что может указывать на противоречия между обычным правом и законом; мы искали в законе отражение социальных и экономических конфликтов.

Вот уже на эти-то занятия надо было ходить всегда и непременно!

К таким обязательным для посещения занятиям относятся занятия по языкам, как новым, так и древним.

Когда я стала преподавать немецкий, я тоже многократно получила подтверждение этой своей точки зрения.

Занятие иностранным языком должно быть чем чаще, тем лучше.

Однажды у меня была группа, которая по случайным причинам составления расписания – это была группа теоретиков музыки – занималась по часу. Там было как-то так, что кто-то начинал с ними работать не с первой пары, а с половины первой пары (это было удобно кому-то из так сказать «китов» нашего института). И я несколько не пыталась ввязаться в этот спор о часах, но просто взяла эти «половинки» по 45 минут 3 раза в неделю. Студенты работали у меня через день. Я освободила их от всех домашних заданий. Я знала, что это полезно для языка, но я не думала, какой блестящий эффект я получу. Эта группа прекрасно закончила. И очень многие из этой группы потом использовали (собственно говоря, что и требовалось от них) немецкий язык в работе по своей специальности.

Обучаясь на истфаке, я много занималась иностранными языками. Зная довольно прилично немецкий, я пошла в группу, начинающую английский язык.

Кроме того, лаборанткой в кабинете иностранных языков работала пожилая женщина. Звали ее Цецилия Самойловна Эгер.

Она провела свою юность во Франции и, естественно, прекрасно говорила по-французски. И когда она увидела, что я занимаюсь английским, читаю по-немецки, она предложила мне: «Давай, я тебя поучу французскому». И надо сказать, что занятия эти шли весьма успешно.

В благодарность за то, что она занималась со мной языками, два лета она жила у нас в Царицыне. Тихий, спокойный человек... питались мы тогда... супом из свеклы и картошкой с чем-нибудь. Хорошо, если это «что-нибудь» было.

Я очень многим ей обязана. На протяжении нескольких лет я действительно научилась свободно читать и понимать французский, английский и немецкий текст. Но кроме того, я свободно понимала и французскую, и, естественно, немецкую речь. К сожалению, мне не пришлось после защиты диссертации пользоваться французским языком для каких-то, так сказать, утилитарных целей. Но вот был, например, такой эпизод, когда я с мужем была на всемирном математическом съезде в Москве – там был такой, ну, что ли, принят обычай. Стояли автобусы (около университета, где проходили заседания), специально для гостей (жены считались гостями этого съезда). И на каждом автобусе была надпись: «Говорят по-французски», «Говорят по-немецки», «Говорят по-английски». И вот я специально садилась во французский автобус, чтобы вспомнить французский. И надо вам сказать, что я специально ездила во французском автобусе по пригородам, по Подмоскovie, была в Ясной Поляне, в Останкино, в Новодевичьем монастыре, я стала понимать беглую речь.

Это все было очень интересно. И, в общем, я все понимала. Ну, вот это был самый, так сказать, пик моих познаний во французском – тогда я свободно читала не только Мопассана, который очень легкий по языку, я читала и более новых авторов, и даже французские стихи периода Второй мировой войны. Но больше я к французскому языку, к сожалению, уже никогда не вернулась.

В институте мне захотелось заниматься какими-то вопросами, где я могла бы использовать свое знание немецкого и других языков.

Первый доклад, который я сделала, и который, в общем, всем очень понравился, – это был доклад об особенностях западноевропейского средневекового театра, начиная с 15-го по 17-й век. Доклад очень всем понравился, но я была недовольна (дело все в том, что я

теперь понимаю), он не был серьезным докладом. Это была беллетристика. То есть я почитала там, почитала тут – и сумела это все грамотно и достаточно увлекательно рассказать; тем не менее, вот это желание и способность читать на разных языках и это желание работать над чем-то более углубленно сослужили мне хорошую службу; к этому докладу я сумела, конечно, с трудом, прочесть и понять даже одну итальянскую монографию. Это оказалось трудно, но возможно.

Примерно с 3-го курса, конечно, постепенно, не сразу (честолюбие – быть первой!), все стало меняться; меня все больше теперь влекло не то, чтобы быть первой, а чтобы узнать все больше. Зачем узнать? Ну, вот, чтобы знать; потому что знать – интересно; пока что речь не шла (даже внутри меня самой) ни о каких выгодах. Просто, чем больше я узнавала, тем яснее становилось мне: как мало я знаю; тем больше делался круг того, что я не знаю.

И я все время читала, занималась в читальных залах, накапливала что-то, о чем другие не знали и не читали.

На 3-м курсе наша руководительница предложила мне такую тему: «Изменение психологии немецких солдат при оккупации Франции в войне 1870-го года». Материалом были письма этих немецких солдат-окупантов к себе домой, на родину. И мне удалось, пролистав многие тома этих опубликованных писем, в общем, представить себе достаточно интересную и весьма характерную картину.

Изменение психики солдат происходит тогда, когда они покидают свою территорию и оказываются на территории врага. Именно тогда у них возникает совершенно другое отношение к войне: их энтузиазм в борьбе за Родину сменяется чувством злобы и мести, появляется мародерство, теперь характерными становятся грабежи местного населения. Справедливость войны при защите своей Родины вырождается в оправдание справедливости грабежа для тех, кто выжил, кто теперь считает справедливым отомстить, «покарать» поверженного врага грабежами и насилиями, а себя – вознаградить за перенесенные муки и лишения.

Разложение психики, снижение морального уровня, падение дисциплины – это разложение армии. Оно возникает неизбежно с переходом армии на вражескую территорию.

Этот вывод мне удалось тогда сделать самостоятельно на основании множества опубликованных солдатских и офицерских немецких и французских писем. Много позже этот вывод был действителен и для нашей советской армии на чужой территории. Ничего себе, однако, вывод для московской студентки 1946 года!

Но, как это ни забавно, никто из всей кафедры (да и я сама!) не «додумались» всерьез до того, что обобщение-то это о том, что это – закон для оккупирующих войск... Более чем серьезный вывод! Всем так понравилось, что эти сотни писем немецких солдат и офицеров периода Франко-прусской войны, т. е. настоящие, в полном смысле слова исторические источники, подлинники; что я читала эти письма без перевода по-немецки и по-французски, что все признали мою работу достойной опубликования. Но, слава Богу, такие рекомендации, чаще всего, в те времена не осуществлялись. И я сама отвлеклась от мыслей об этой работе и ее содержании и вернулась к размышлению об этом лишь несколько лет спустя.

Но, работая над этими записками и читая современную литературу начала XXI века, я поразились тому, как мои выводы (сделанные тогда! в 1948 году!) подтверждаются художественной литературой о войне теперь в XXI веке!

Тогда же, после этой очень успешной работы, мне предстояло сделать важный выбор. Я твердо решила поступать в аспирантуру, но выбор надо было делать сейчас. Чем же все-таки, каким разделом истории мне заниматься? Несмотря на явный успех моего доклада по семинару «Новая история», я все же сделала свой выбор не в пользу Новой истории. Занимаясь Франко-прусской войной, я убедилась в том, что множество материалов закрыто в архивах; что эти архивы мне недоступны и долго не будут доступны, а постоянное оформление допусков к архивным материалам чрезвычайно усложняет работу над ними.

Уровень моей погруженности в занятия был очень высок. Только об этом я и думала. Тогда же, именно потому, что я была такая уж отличница-разотличница меня даже хотели рекомендовать в партию. Я очень всерьез думала тогда, что я недостойна этой высокой чести: мне казалось, что вот я сделаю свой настоящий вклад в науку – тогда и буду достойна вступления в ряды ВКП... Я так и объяснила в парткоме института.

Честно, я даже не знаю, поверили ли они в это или стали сомневаться: то ли я дура, то ли не очень благонадежна... Это произошло на 3-м курсе. Еще были так свежи воспоминания о войне; еще совсем недавно шла я в колоннах демонстрантов в знаменательный день Парада Великой Победы.

Я была на таком внутреннем подъеме в тот день – ждала, что увижу Сталина. Он должен был быть на трибуне и я, как, наверное, многие, была в экстазе от этой надежды его увидеть... Всего только от надежды! Мы шли под дождем; дождь все усиливался и, наконец, у самой Красной площади перешел в ливень: тут нам и объявили, что демонстрация отменяется; нам объяснили, что «политически неуместно» показывать в кинокамерах демонстрацию под дождем (ведь шла киносъемка!)

Не охладил дождь пыл моего преклонения перед ним, перед Великим... Но вот отмена демонстрации как-то уколола, как-то обидела... Сложна история моего отношения к Сталину! В детские годы в семье у нас редко говорили о Сталине (впрочем, что говорили – я запомнила! – и долго потом это оценивала с разных точек зрения).

Но всю блокаду и первые месяцы жизни в эвакуации и Свердловске я была так внутренне заполнена совершенно другими вопросами, что как-то собственно о самом Сталине не думала. Это была объективная реальность, она была, но не в моих мыслях, а вне меня. Это существовало, но как-то мимо моего сознания.

Ведь для меня все вокруг как бы умерло: почти все близкие, все друзья, все, кто был влюблен в меня, кто просто дружил, кто стремил-

ся стать и мог бы стать моими женихами, мужьями... Обо всем этом – потом... Потом, когда все это кончится, и даже казалось иногда, что не кончится никогда... Это была единственная, все подавлявшая и все другое вытеснявшая из сознания мысль. И даже формально мой законный муж, фамилию которого я тогда носила, тоже не отвечал из госпиталя на мои письма... Может быть, и его тоже уже не было?.. Было чувство, что умерли все.

И лишь когда мы с подругой, Таней Шляховой, в репродукторе услышали голос Левитана... О! Кто не знал этот голос!

Мы замерли, боясь пропустить не то что слово, а хоть интонацию, хоть дыхание диктора... И, сидя на своей кровати, обнявшись, плакали от радости – 28 января 1944 года была прорвана блокада Ленинграда. Это был для меня Великий День – я ощущала конец блокады как переход от всех бесконечных этих смертей – к Жизни... Как надежду на Жизнь, совсем новую – для всех, но и для меня самой тоже!

Никогда больше я не плакала от радости...

После этого вернулся и интерес к музыке и театру, и непреодолимое желание учиться, знать, знать больше всех... И честолюбие – быть первой на курсе. Вот тогда я как бы услышала (потому что стала опять что-то слушать и смотреть вокруг себя) по радио о великом Сталине, Сталине, Сталине... читать везде о Сталине... Это где-то у Бехтерева, что даже заведомо ложное, но многократно повторяемое утверждение оставляет свой след в психике людей.

А тут? Ну как я могла утверждать – что этот фимиам, воскуриваемый Сталину, – это ложь? Моя психика была готова к восприятию этой постоянно жившей всю мою жизнь лжи. А теперь-то тем более... Отстояли страну... Одержали Великую Победу... Несем в мир веру в равноправие всех наций и всех людей... Сняли блокаду Ленинграда! Да смела ли я думать иначе?! И было еще не ушедшее в прошлое сильное влияние отца, никогда не говорившего со мной о Сталине – о нем всегда только молчавшего. Человек ведь всегда подвергается воздействию тех, кого он уважает, любит, с кем считается.

Я помнила, как папа процитировал Пушкина: тогда понимала это так, что живая власть потому и ненавистна для черни, что чернь по сути своей не может ее – власть – понять; что ненавидит чернь любую живую власть по своей – черни – низости и невежеству.

Очень долго я как-то все победы связывала с именем Сталина, а когда начало меня многое возмущать – к этому Сталин как бы и не имел отношения. Все та же «сказка о хорошем царе и плохих царедворцах»... И долго – когда я всем существом своим возмущалась начавшейся после постановления о журналах «Звезда» и оперы «Великая дружба» антисемитской кампании – я это со Сталиным никак не связывала. И годы спустя, уже переоценив и передумав многое, когда я перешла от стремления стать членом партии к пониманию отрицательной ее – партии – роли (но это произошло уже в Харькове – эволюция моя была долгой), я плакала, когда по радио транслировали его похороны. Да, в Риге, когда по всем репродукторам неслась траурная музыка, нагнетающая чувство скорби и страха, я плакала, и плакала непритворно. Я была так приучена, что во всем и все идет только от него, от Великого. Мне казалось, что с его смертью все там наверху станут делить власть; что «дележ» этот, естественно, для нравов нашего времени будет жуткой сварой, вооруженной борьбой между немногими, куда будут втянуты все. Я боялась и плакала от страха перед новой войной, теперь уже гражданской; не столько о нем, сколько от страха, что будет...

Но это я очень-очень забежала вперед.

Пока я еще на 3-м курсе истфака и факультета русской литературы и русского языка (одновременно), сдаю экзамены, решаю для себя вопрос: какой областью истории мне заниматься и смогу ли я так отлично, чтобы поступить в аспирантуру, закончить два факультета. Я уже изложила причины, почему я отказалась от занятий новой историей. Меня же очень «влекло» к себе Средневековье. Почему оно меня все-таки увлекло, я не знаю, я не могу объяснить, что казалось мне там настолько интересным, что именно определило мой выбор.

Пожалуй, сначала это был некий «литературный» интерес к опубликованным источникам. Позднее возникли более серьезные вопросы: реформация и контрреформация в Прибалтике (я всегда интересовалась религией); связь этих религиозных вопросов с международными событиями того времени (Польша, Швеция, Россия); сложность социальных и национальных отношений в Прибалтике; связь всех этих событий с перераспределением земельной собственности.

Было еще одно главное обстоятельство. Мой научный руководитель, Ян Яковлевич Зутис, который вел у нас средние века, заведовал кафедрой в Рижском университете. Он с большим теплом отнесся к моим работам и сказал мне: «Во-первых, в Советском Союзе лежит сейчас архив, вывезенный из Кенигсберга. Во-вторых, Рига и Таллинн обладают колоссальными архивами на немецком языке. Там неисчислимы возможности для работы». И когда я это услышала, мне очень захотелось попробовать свои силы именно в этой области, именно в истории средних веков Прибалтики, которая связана и с западноевропейской историей, и с историей России. И кроме того, у меня был готовый руководитель в лице Яна Яковлевича Зутиса, что немаловажно.

Я.Я. Зутису принадлежат несколько очень интересных фундаментальных работ по истории Латвии. И в частности, у него громадная работа «Остзейский вопрос в XVIII веке», и этот вопрос непосредственно связывается со средневековой историей Латвии.

Мне очень хотелось заниматься этими проблемами. Так, на 4-м курсе я выбрала это направление истории. Именно тогда со мной произошло следующее.

Заведовал тогда кафедрой истории средних веков в нашем институте профессор Поршнев Борис Федорович – человек очень интересный. Лекции его были совершенно блестящими, потрясающими. Кроме того, видимо, у него была очень пестрая биография. Так, например, однажды он при мне восхитительно жонглировал чем-то, что лежало на столе. Б.Ф. Поршнев заведовал в нашем институте ка-

федрой средних веков, но совершенно не знал меня. Он не вел у нас ни спецсеминаров, ни спецкурсов. К нему пришла Эмма Адольфовна Желубовская (руководительница моей работы по изменению в психике немецких солдат), и к нему же обратился и Я.Я. Зутис с тем, что они рекомендуют взять меня в аспирантуру. Кроме того, поскольку у меня были все пятерки, то не против меня была бы также и кафедра психологии. Я подумывала о кафедре психологии, но не решалась. На истории средних веков я все-таки чем-то занималась. А по психологии я ничего не делала, кроме того, что требовалось, – ну для того, чтобы очень хорошо сдать экзамен.

Да, должна сказать, что когда я приехала в Москву, мне разрешили (как и в Свердловске) сдавать экзамены и за литературный факультет. И только когда я сдала экзамены за второй и за третий курс, когда я должна была родить первого ребенка, я отказалась от того, чтобы закончить сразу два факультета. Потом я об это даже жалела. Но, все-таки, ожидая ребенка, живя не в городе, а в этом самом Царицыне Дачном, мне было очень тяжело. И я понимала уже, что на таком уровне два факультета я уже вытянуть не смогу.

Поршнева сказала:

– Ну, хорошо. Пусть она придет со мной познакомиться.

И когда я сидела в деканате за столом (молча ждала и ужасно боялась), он вошел, ему говорят:

– Вот, Борис Федорович, это та студентка, которую мы рекомендуем в аспирантуру на вашу кафедру.

Он о чем-то поговорил со мной, спросил, какие я сделала доклады, какие у меня оценки. Потом говорит:

– Одно условие!

– Какое?

– Пока вы не окончите аспирантуру, не выходить замуж.

Я говорю:

– Борис Федорович, но это уже...

– Как это «уже»?»

– Ну... я уже замужем.

– Ну, хорошо, – сказал он. – Тогда, во всяком случае, – не рожать детей.

Тогда я встала, обнаружив свой живот и сказала:

– Борис Федорович, это тоже уже.

Он развел руками и сказал:

– Ну, не знаю, не знаю. Я знал только одну женщину, которая могла бы справиться с такой задачей – иметь детей и заниматься наукой. Это была моя сестра.

– Я попытаюсь быть второй, – ответила я.

– Ну, попробуйте! – он простился и ушел...

Но рекомендация в аспирантуру была мне написана. Это было в тот момент главным для меня.

Итак, была оформлена и подписана рекомендация в аспирантуру. Но как далека еще была аспирантура от меня! Мне еще оставалось сдать и экзамен за 4-й курс, и госэкзамены... А я была на семи месяцах беременности... Но я-то считала, что за 2 месяца еще все успею...

Итак, я договорилась с преподавательницей о досрочной сдаче исторического и диалектического материализма – это был мой последний курсовой экзамен.

Сдаю я его – все прекрасно – только вот... у меня начинаются схватки!.. Преподавательница меня хвалит, радуется, что у меня прекрасный цвет лица, желает мне здоровья и удачного разрешения, подписывает мне зачетку... Я врываюсь в деканат и к секретарше: «Лера, дверь на ключ, никого не пускай, вызывай скорую. Я рожаю!» В 2 часа я сдала экзамен, а в 4 часа родился мой сын Митя... Слава Богу, не в деканате, а в роддоме. Только и это еще не все мои трудные радости. Ребенок, хоть и недоношенный, грудь брал. Но у меня начался очень тяжелый мастит. Виктор отвез меня в больницу; температура 39-40; одна грудь полна гноем – ее разрезали под общим наркозом, поставили дренажные трубки. Ребенок кричит, ему не хватает молока...

Апрель до конца и май мы пролежали в больнице, и выписали

меня, только когда спала температура. Но где же взять молоко? Прикорм? Но сынок мой – недоносок и весит всего 1800 г. Только в начале июня я была дома... Но госэкзамены на моем курсе уже закончились. Что делать? Даже каждая поездка из Царицына в Москву с малюсеньким ребенком – уже труднейшее мероприятие. Оставить его не могу – грудью кормлю.

Приезжаю в деканат с ребенком на руках, с сеткой пеленок, бутылочек с водой – его поить... Говорю, что хочу в этом году поступать в аспирантуру.

Некоторые смотрят на меня, как на сумасшедшую, но декан Яков Александрович Левицкий придумал выход: сдавать мне госэкзамены с заочниками в конце июня – начале июля. Подготовка к экзаменам? Где там... Это просто смешно.

Ребенок кричит от голода, я плачу потому, что он кричит.

Госэкзаменов всего 4: диамат-истмат, история СССР, история средних веков и педагогика с психологией.

У института не хватает помещений, и часто занятия проводятся в школах, тем более летом. Но в этой школе мы никогда не были. Гардеробщица сидит в пустой раздевалке. Прошу:

– Пожалуйста, подержите ребенка, пока я отвечу.

– Да?! Ты мне его бросишь да уйдешь».

Так и предстала я перед комиссией – ребенок, свертки, бутылки... Беру программу, пытаюсь готовиться. Тут ребенок начинает ерзать и ежиться – сейчас закричит. Тогда я поднимаю крышку школьной парты, кладу ребенка головой в парту и делаю единственное, что может прекратить его крик: сую ему в рот грудь. Подходит моя очередь отвечать, меня просят к столу, где сидит комиссия. А я – я прошу членов комиссии подойти ко мне... Я не могу встать...

Я ответила, получила 4; остальные сдала на 5, абсолютно не имея возможности готовиться. Следующие экзамены уже были легче – женщины, сдававшие вместе со мной, держали Митю во время моего ответа. Председателем экзаменационной комиссии был Ян Яковлевич

Зутис – мой будущий научный руководитель, один из трех, кто давал мне рекомендацию в аспирантуру.

По традиции после последнего госэкзамена – председатель комиссии поздравляет окончивших. И когда я сдала все 4 госэкзамена (это все была одна и та же комиссия) и меня Зутис поздравлял, я обратилась к Яну Яковлевичу. Я сказала:

– Ян Яковлевич, это все было для того, чтобы поступить к Вам в аспирантуру в этом году.

Он посмотрел на меня как-то искоса и говорит:

– Ну, зачем это Вам нужно? Денег нам платят мало, это очень тяжело, Вы будете все время не принадлежать самой себе, все время заниматься надо. Вы красивая женщина, у Вас есть семья, у Вас есть дети... зачем Вам это?

– Это единственная ситуация, в которой я всегда вынуждена буду учиться. А я больше всего люблю заниматься. Вот потому я хочу поступить в аспирантуру.

Тут он как-то очень внимательно, точно еще раз изучая или оценивая меня, взглянул на меня и сказал мягко:

– В таком случае я не могу Вам препятствовать в Вашем желании.

– Ян Яковлевич, – говорю я, – у меня же нет реферата на тему по истории средних веков. Что же делать?

– Я подумаю, – ответил он. – Позвоните мне завтра вечером по телефону.

Завтра бегу на вокзал – там есть телефоны-автоматы. Звоню... Завтра утром надо быть у входа в профессорский зал Ленинской библиотеки. Ну, а ребенок? Нельзя же с ним в читальный зал... Напротив Ленинской библиотеки жили знакомые брата Виктора, и он меня им когда-то представил. Фамилия их была Подкаминер; в их квартире был телефон. Звоню и прошу завтра на 2–3 часа разрешить мне оставить у них Митю. Разрешают! Оставляю – такая милая была жена этого приятеля Витино брата! А я кормлю Митю и молю Бога, только бы он не стал кричать. В это время у меня все-таки стало больше

молока, не то что сразу после больницы. Ян Яковлевич ждет меня. Я по паспорту получаю пропуск и вхожу в Рукописный отдел. Святая святых «ленинки»...

Яна Яковлевича все знают.

– Это Вы нам читательницу или писательницу привели? – спрашивают, посмеиваясь.

Ян Яковлевич показывает мне рукопись про войну Ганзейского Союза, кажется, с Данией или Швецией, называлась она «Селедочная война», за места, где были селедочные ловы.

– Понимаете? – спрашивает.

– Нет, я не понимаю! – у меня сердце падает. – Я не могу это прочитать! Это же рукопись – не книга...»

– Ну, хорошо, – говорит. – Идемте ко мне домой. Надо же что-нибудь придумать.

Ян Яковлевич жил очень близко. Он дал мне книги на немецком языке, где были опубликованы многие документы об этой войне. Да, конечно, язык-то ниже-немецкий XVI века. Есть слова – просто загадки!

И я, захватив ребенка и книги, поехала домой. Ну, это не экзамены, к которым я при всем желании не могла готовиться. Это же все-таки реферат! И я его написала! Потом Ян Яковлевич мне даже сказал, что я молодчина.

Остаются считанные дни – в сентябре экзамены в аспирантуру. Ребенка начали прикармливать разбавленным Малашкиным молоком (Малашку – козу – только что купили) – стало возможно оставлять Митю с Варварой Семеновной, а мне уезжать на более долгое время.

Экзамены в аспирантуру я сдала. Не могу сказать, что блестяще. В общем, вполне прилично, а поскольку у меня была хорошая рекомендация, и было понятно, что я с ребенком, что это не так-то легко – я стала надеяться, что я поступлю. И вдруг выясняется: нет приказа, что я окончила институт. То есть все видели, что я его окончила, все знали, что я сдала все экзамены в институте, что сдавала и сдала эк-

замены в аспирантуру. Но для того, чтобы быть принятой, надо было сдать нотариальную копию диплома. Но тут – о, ужас! – оказывается, диплом я получить не могу, т. к. на меня нет приказа о том, что я допущена к госэкзаменам, и что я их сдала, окончила институт и что мне выдается диплом. Еду в институт на прием к директору. И все это в лихорадочной спешке. Его фамилия Власов. Ни до того, ни после его никогда не видала. Вид у него оказался типично начальственный. Сажу в приемной; он несколько раз выходил из кабинета, возвращался, кого-то принимал. Я истекала молоком, голова у меня кружилась, я еле держалась, чтобы не упасть. Наконец, я девочке-секретарше говорю: «Ну, помогите мне, я Вас просто умоляю, Вы видите, что со мной делается. Ну, Вы же тоже будете матерью, даже если у Вас еще нет детей. Ну, скажите ему, чтоб он меня принял!» Она пошла... «Ну, заходите...» Власов этот говорит:

– Да, экзамены Вы сдали. Ну, хорошо, я задним числом дам приказ, что вы допускаетесь к госэкзаменам... Скажите-ка... а что у Вас произошло с Борисом Федоровичем Поршневым? – я как-то ошалела..., а он еще ухмыльнулся, – В каких Вы с ним состоите отношениях?

Тут я поняла:

– Нет, – говорю, – Вы совсем не то думаете.

И я рассказала ему о том, какая была беседа, когда он увидел, что я беременная, сказала, что я замужем... Я знала, что у него есть такой студент, очень хороший, способный, с предыдущих выпусков, который тоже занимается средними веками, по фамилии Дорошенко. Дорошенко был учеником профессора Неусыхина, и у него была отличная работа по аграрной истории раннего средневековья; и этот Дорошенко как раз сейчас демобилизовался, и тоже сдавал экзамены в аспирантуру, и сдал. И я объяснила, что ничего такого, о чем он думает, нет, а что просто, видимо, Борис Федорович решил, что Дорошенко подходит лучше в аспирантуру, чем я с ребенком на руках...

– Ну, ладно. Дорошенко не наш студент, а Вы – наш. Вы будете в аспирантуре.

Через какое-то время я узнала, что после экзаменов в аспирантуру (на одно место держали экзамен я и Дорошенко) Борис Федорович отказался от моей кандидатуры и не захотел принимать во внимание ни рекомендации, ни сданные мною экзамены. Он действительно хотел, чтобы на это место поступил Дорошенко. Но приняли в наш институт меня. Я начала учиться. Очень важной в нашем обучении также была система аспирантских экзаменов, которой придерживались, во всяком случае, в моем институте, когда я там училась. Экзамены, которые мы должны были сдать, – это были доклады по какой-нибудь из важных кардинальных проблем истории средних веков.

В аспирантуре мы должны были сделать каждый семестр по докладу – за три года шесть докладов. Они делались на заседании кафедры, были распределены так, чтобы охватывать все вопросы курса истории средних веков. Последний доклад уже был планом и заготовкой для кандидатской диссертации. Докладов этих все боялись, потому что всегда задавали достаточно сложные вопросы. Доклады включали обзор литературы по вопросу, и всегда можно было оказаться недостаточно подготовленным. Ну, например, первый доклад, который я делала, был связан с историей колоната – как переходной стадией, переходной формой от разлагающегося рабовладения к рождающемуся феодальному строю. Следующий доклад был связан со средневековыми городскими движениями. Ну, а последние доклады были уже непосредственно связаны с темой самой диссертации. Такой доклад проходил при большом стечении народа – аспирантов из других институтов, полного состава кафедры. Вопросы, которые задавали, были совсем не легкими и не простыми. И таким образом, экзаменующийся мог показать и свое знание литературы, и свою собственную точку зрения на тот вопрос, которым он занимался.

Кстати, Борис Федорович Поршневу, который, в общем-то, в свое время отказался от меня, после первого же моего доклада подошел ко мне, извинился и сказал, что он, ну, наверное, был неправ, когда пытался взять другого человека на мое место. Потому что теперь, после

этого экзамена, он убедился, что я не только способна преодолеть все трудности, которые передо мной возникают, но что я делаю это очень своеобразно, что те мысли, которые рождаются у меня при изучении опубликованных (пока, конечно) документов – что все это очень интересно и очень заслуживает внимания. Он сказал: «Я должен просить извинения. Я был уверен, что не может женщина вынести на себе такой груз. Я ошибся». Все это было очень приятно и весьма лестно... Но груз-то действительно был очень, очень, даже я бы сказала сверхтяжелый.

Учиться мне было очень интересно. Несмотря на то, что Ян Яковлевич часто уезжал в Ригу, я очень много работала. Действительно, много работала. Я предавалась занятиям, как неизлечимая алкоголичка пьянству – без удержу. Прочитать, узнать подробнее, осветить в своем ответе то, что еще никто не осветил; еще, еще читать, об этом думать... Все это относилось к занятиям.

Но кроме занятий была ведь и другая часть жизни. И была эта часть очень нелегка.

Начать с того, что жила я не в Москве, а в поселке Царицыно. Это 4045 минут езды на электричке до Москвы; до вокзала в Царицыне – минут 30 скорой ходьбы... (а когда дождь, скользко, грязь!). По Москве еще на трамвае до института (или на метро). В часы «пик» и электричка, и метро, и трамвай переполнены. По расписанию поезда шли примерно 1 раз в час – это в часы пик; после 19:00 поезда шли через два, а потом и через три часа (примерно в 19:00, потом в 21:00, потом в 23 с минутами). Ждать приходилось в холодном туннеле, так как в залы ожидания пускали только по предъявлении билета дальнего следования. А я была «пригородная». Два учебных года я ездила беременная, за время учебы родив двух детей и похоронив одного из них.

Вот и получилось, что думать о прочитанном, оценивать его, сравнивать с другими материалами – мне пришлось этому учиться в основном в поездках. Это не очень удобно, но, оказалось, возможно, так как другого выхода не было.

Кроме того тяжело не хватало денег. Дополнительные мучения доставляли ежемесячные прикрепления карточек к разным магазинам, и непременно в этот же означенный срок их «отоваривание», то есть получение по ним продуктов. Прикреплялись к тем магазинам, которые находились «на трассе следования», чтобы – по пути: прикрепление тоже осуществлялось не позже 5–7-го числа.

Денег не хватало; не было у нас никаких особых магазинов, были обыкновенные продуктовые карточки и больше ничего. На втором курсе до февраля месяца (7 марта я родила свою дочку!) я зарабатывала кое-что, будучи прачкой: т. е. одна старушка брала у людей белье в стирку и часть отдавала мне – она уже не справлялась, слаба стала.

Жили мы на втором этаже в доме барачного типа – водопровода не было. Воду я носила ведрами, потом грела ее у себя в квартире на плите и стирала на стиральной доске в корыте. Потом кипятила белье в баке, помешивая специальной деревянной лопаткой; потом отстирывала еще раз и несла к колодцу, около него я полоскала. Вода-то холоднющая, а у меня в блокаду были обморожены и руки, и ноги. Очень невеселая это была работа! Очень было больно! Вешала я белье около своего сарайчика на улице. Правда, я не гладила, иногда катала скалкой, но гладила та старушка. Топила я плиту каменным углем. Он лежал в кладовке на нашем этаже. Мы получали его по ордеру и привозили на санках; но нужно было растапливать дровами – они лежали внизу, в сарайчике. Кто не разжигал каменный уголь – тот даже и представить себе не может, какое это мученье! Стирая, отстирывая, растапливая печку, я думала о прочитанном; мысленно отвечала на экзаменах и семинарах. Только у колодца не могла – очень рукам было холодно, до боли.

Какое-то время я пыталась наладить совместную жизнь со своей тетей Шурой, но это оказалось невозможно. Она слишком привыкла к одиночеству. Кроме того, она как-то не была человеком аккуратным. Я тоже не такая уж аккуратная, но все же какие-то нормы, скажем, порядка в доме для меня необходимы. Я не могу представить себе,

чтобы на письменном столе лежали отъеденные селедочные хвосты, грязные чулки, тряпка для мытья полов. И чтоб даже не был виден сразу письменный стол, чтоб было сразу непонятно, что это такое – куча мусора или стол, за которым предполагается работать. Вот, странным образом, тетя моя, будучи, между прочим, медсестрой – и на войне (она прошла две войны медсестрой), и работая в госпитале очень хорошо и добросовестно, отличалась, ну, крайней неряшливостью в своей собственной жизни.

Ну, мир ее памяти. Она была человеком добрым. Она очень много добра принесла тем, за кем ухаживала в госпиталях. Сейчас ее тоже уже давно нет в живых. Умерла она у моей двоюродной сестры в Ленинграде, у Лели.

Плохонькая была наша комната – холодная, крыша текла, потолок был оклеен обоями, как и стены, а если бумагу порвать в углу, было видно небо. Вторую комнату в квартире занимала соседка – как-никак, а мы с ней все же не ссорились – и это важно, хоть она и указывала мне, что я в ее корыте стираю и в ее баке воду грею! И часто... Ни о чем я тогда так не мечтала, как о собственных корыте и баке!

В этой-то комнате, хоть и была она ужасно холодная (еще бы – в углу на потолке я раз порвала при уборке обои и увидела – небо!) прожила почти четыре месяца моя маленькая дочка. Я кормила ее из пипетки; она была очень слабенькой, сосать сама не могла и умерла от сердечного приступа (в деревнях его называли «родимчик») – это часто бывало с недоношенными детьми. Но приехали из эвакуации прежние жильцы, и пришлось нам освобождать нашу жилплощадь. Пришлось снять комнатку в частном доме, самом последнем в поселке. Но и эта неприятность впоследствии обернулась для меня удачей!

Наша хозяйка, Варвара Семеновна Городничева, жила с дочерью (дочь работала в Москве); сын ее был в армии. У Варвары Семеновны был большой огород. Мы отдавали все, что получали по карточкам, а Варвара Семеновна давала нам овощи; питались мы вместе, как

одна семья. На огороде надо было работать – и я, как мы говорили, «вкалывала». Самым тяжким был полив. Колодец был недалеко, но воду надо было наносить, пока можно было ее накачать: к 8 часам утра воды уже не было – все выкачивали. Я носила воду с 4 часов утра – наливала 3 бочки, каждая по 20 ведер; вода согревалась, т. к. этот «экзотический фрукт» – капуста – любит пить воду, и притом, не холодную. Вода должна была постоять в бочках – согреться. Самое трудное для меня – было поднимать ведра и выливать воду в эти бочки почти с меня ростом. После моей «верховой езды» в Елани болела нижняя половина, теперь болело все тело, даже шея. В начале этой деятельности я ходила вся мокрая – вода-то не вся попадала в бочку, а проливалась и на меня. Из-за моего роста мне было очень трудно, но, слава Богу, в июне сезон полива кончался, и я могла заниматься спокойно...

Спокойно! Ребенок требовал ухода... Спасибо Варваре Семеновне – она отпускала меня из дома. Но уж если я была дома – мне работы хватало: огород, стирка, глажка, уборка, ребенок... А он кричал и плакал – ему не хватало молока, у меня было молоко только в одной груди. Тогда мы все это обсудили, я что-то золотое продала, сохранившееся еще с Ленинграда, и мы купили двух коз. Сено им покупали за мои «книжные деньги» (аспирантам один раз в год давали деньги на книги – 600 р.). Козы никогда ничего не едят подряд: они выбирают по листочку, по травинке. Вот копытами толчет, толчет данное ей сено, потом находит одну какую-то сухую травинку, ее жует; а все остальное втаптывает в землю, в навоз и уже снизу ничего не возьмет...

Я смотрела со страхом за будущее – где же взять еще денег на сено? Я бы сама это сено ела, но это все равно не помогло бы: молока у меня было мало... Одна коза доилась очень плохо, ее потом зарезали. А одна – черненькая – Малашкой ее звали – по сути дела, и выкормила моего сына Митю. Но хитрая была эта коза, удирать все время пыталась; а жевала радостно все: бумагу, папиросы, белье с веревки... Однажды я должна была привести ее домой – она паслась,

вырвала веревку и колышек, завидя меня, и потрусилась, куда ей хотелось... Я бежала следом, но как только я приближалась к ее веревке, она мекала, взбрыкивала и трусила дальше. Не говоря уже о деньгах – но ведь это убегала еда моего сына! Я не могла ее упустить... И мы бежали параллельно железной дороге до следующей станции «Битца». Я потеряла калоши, в клочья изорвала носки, разбила в кровь босые ноги...

В Битце был вместо вокзала маленький дощатый навес, весь оклеенный объявлениями, и там под навесом скамейки.

Малашку очень заинтересовала бумага объявлений, она вошла под навес и стала жевать одну афишу. Сидевший на скамье мужчина схватил веревку с колышком, и тут под навес ввалилась я. Он сразу все понял. Мы немного посидели, я пришла в себя, и он отдал мне веревку. Эта козья гадина мекнула, тряхнула рогами и спокойно, как собака по команде «рядом», пошла со мной домой. Только вот калоши купить тоже было нелегко и дорого.

Но как по-хорошему я вспоминаю нашу свинку Машку! Сестра Варвары Семеновны, Наталья Семеновна, привезла нам в рукавице крошечную свинку.

У опоросившейся свиньи не хватило соска для этой свинки; таких поросят раздавали в совхозе, где работала Наталья Семеновна, даром. Такую свинушку нелегко выкормить. Моего сына Митю кормили Малашкиным молоком и кашей из ложки, а Машку тоже молоком и кашей, но из бутылки с соской. Росла Машка удивительно быстро, быстрее Мити, а Варвару Семеновну считала, наверное, своей мамой. Мы поместили Машку за печку в кухне. Печка перегораживала кухню, и никто даже заподозрить не мог, что за печкой живет свинья. Она выросла за зиму, но осталась умной, ласковой и понятливой животинкой. Она «просилась» на горшок! Определенное хрюканье означало большие и малые дела – Машка ждала, и Варвара Семеновна подставляла ей ее горшок. Ни разу Машка не напачкала, верно, понимала, что все мы в кухне рядом с печкой за столом едим. Когда ее

выпускали погулять, она никогда не пыталась убежать, как Малашка; она, ласково похрюкивая, шла рядом, терлась головой о нас, просила, чтобы ее почесали и похлопали, или носилась вокруг для моциона. Она очень любила мыться: ее поливали теплой водой и терли щеткой. Машка удовлетворенно похрюкивала.

На 1-м курсе аспирантуры после лета, когда мы вырастили с Варварой Семеновной наши «фрукты» – капусту и огурцы – и заквасили их, оказалось, что по бочонку того и другого можно и продать. Это было не очень трудно решить, так как были нужны деньги, а еда – это несомненная ценность!.. Но осуществить это было совсем непросто!

Началось все с экипировки: начало этой эпопеи – самое начало ноября; перед праздниками лучше базар! Да, но в чем ехать? В моем драповом (переделанном из папиного старенького) – холодно, да уж очень вид неподходящий! Что от него останется после таких поездок? Шили мне его в с. Елани, в мастерской – но оно же было одно!

Облачаюсь я в ватник Варвары Семеновны – он очень велик, длинен – это не беда! Мне он как полупальто. Но вот рукава так длинны, что даже мешают. Вечером накануне поездки как-то умудряемся их подвернуть и подшить. Но тяжело очень, прямо повернуться трудно! А ворочаться надо – в поезд и из поезда, в трамвай и из трамвая – надо подтягиваться на руках. Ну, хорошо, что сапоги все же у меня были; брюки нашли где-то на чердаке – когда сыну Варвары Семеновны было лет 14 (сейчас он в Армии), но брюки шерстяные из солдатского сукна.

Теперь приспособливаем два эмалированных ведра – к ним подбираем крышки от кастрюль (одну даже занимаем у соседней). Платок на голову. Четыре холщовых полотенца – два обвязываем на ведре, двумя связываем ведра за ручки – мне через плечо; подгоняем, примеряем. Выехать надо первой электричкой, чтобы везде проскочить до часов «пик», пока мало народа – это в 4 часа утра. Выйти надо не позже 3:15 – ведь до вокзала-то в темноте и с поклажей не дойдешь скоро! Лучше даже еще раньше. Как пойду? Только бы не пошел дождь!

И вот в 2 часа ночи встаю. Темно совсем. Но дождя нет. Я не боюсь. С двумя ведрами на полотенце через плечо, с паспортом, прописанным в Царицыне по ул. Кошкина, 9 и со справкой, что по этому адресу есть огород, количество соток (забыла я, сколько), я отправляюсь на центральный колхозный рынок города Москвы...

Ну, очень, конечно, тяжело... Но дошла благополучно, по сухой дороге. Конечно, влезть в вагон трудно, но руки-то свободны, – а снять ведра я смогу только в поезде. Вся мокрая, потная. В поезде еще не топят – я вся трясусь, холодно. Но говорю себе: «Все имеет конец. Думай о хорошем! Все имеет конец!» – как заклинание.

В электричке, перед Москвой, кто-то помог мне взвалить на плечо мою поклажу; в трамвай сажусь свободно – нет людей, никто не толкается... Но подтягиваться в трамвай изо всех сил очень трудно, ведь ведра такие тяжелые. Ну, вот, сейчас я уже буду на базаре. Да – вот объявление – выдача весов, оплата за место. Но что это? Куда эта очередь? Оказывается, это очередь в эту будочку, где склад весов... Но весов – нет! Все весы розданы. А эта очередь куда-то лишь узнать или записаться? И тут я со своими справками выгляжу как совершенная дурочка. Кто-то подсмеивается надо мной, кто-то что-то советует.

Я еле сдерживаю слезы и стараюсь отойти в сторонку, в темноту, чтобы хоть бы не в этой толпе плакать. Тяжелые ведра... Меня еще трясет; я все еще вся мокрая. Прислоняюсь спиной (ведром одним) к какому-то ларьку и горько плачу: нет сил ехать назад. Думаю, вот отдохну; пережду часы пик. А то ведь не смогу влезть ни в трамвай, ни в поезд; колени трясутся.

Вдруг какая-то рука высовывается из окна (я и не заметила – прислонилась к стенке ларька, а в ней окно). Меня кто-то немного подергал за рукав и спрашивает: «Ты чего плачешь? У тебя деньги украли?» Гляжу – в ларьке паренек лет 14–16 зажег в ларьке. А я еще хуже плачу, так сильно, что даже не могу ничего сказать. Он открыл дверь в ларек и меня легонько тянет за рукав; и лицо, и глаза совсем молодые, сочувствующие. Я вошла – одна мысль была – сесть только, посидеть

бы; и плачу, не могу выдохнуть слов – одни рыдания получаются. Он мне табуретку подставил; какой-то еще шубой овчинной укрыл; говорит: «На вот чай, из термоса». Протягивает стакан – горячий чай!

Вот так мне опять повезло! Так горько началась моя «базарная эпопея» и неожиданно так повернулось все удачно.

Оказалось: мальчик этот торгует от колхоза (зимой – чтобы заработать) в ларьке овощами. Колхоз его – довольно далеко, что-то километров 180–200, но колхоз ориентирован на овощеводство для Москвы – потому и ларек этот постоянный, арендован у дирекции рынка колхозом. Но, естественно, вначале этого нашего знакомства он у меня спросил – чего плачу, что в ведрах. Впрочем, расспросов много не понадобилось. Через полчаса я уже сидела на табуретке у окна; передо мной на прилавке стояли весы; рядом на других весах торговал и он, приютивший меня со всем моим – с ведрами и со слезами.

Никогда бы мне не получить ни места на рынке, ни весов, если бы не он, пожалевший меня! Так получилось, у меня тогда стало как бы постоянное место, притом бесплатное; и приехать я могла в любой день и в любое время. Чем я и пользовалась, пока хватило у меня огурцов и капусты – до 5 января, по воскресеньям, но не каждое... Сидеть там на рынке было все равно очень холодно; и ездила я по-прежнему так же рано (очень боялась толкотни при посадке в электричку и в трамвай); и ведра не стали легче – но вся моя рыночная эпопея прошла успешно, благодаря этому юноше. Как я ему благодарна! Какой славный оказался паренек! Очень многое я узнала о жизни этого юноши. О себе я настоящих сведений сообщать не стала. Сказала, что учусь в пединституте; живу у тети в Подмосковье (назвала Люблино); возраст себе убавила на 6 лет; о ребенке и муже, естественно, умолчала. Кажется, это я единственный раз в жизни убавляла себе возраст! А выглядела я соответственно своему вранью...

Сейчас я забыла уже его имя. Но это неважно. Я, как и все, что помню – помню «глазами». Назову его Колей. Жил он с матерью и маленькой сестренкой. Ему было тогда 15 лет. Отец их воевал; Коля и

мать были на оккупированной территории; жили в землянке, все перетерпели, – все же удалось остаться в своей деревне. Дома все сожгли. В 1944 году отец за какие-то заслуги получил отпуск на неделю; от этой недели мать осталась уже беременной – родила дочку. Отец погиб – пришла похоронка – в самом конце войны.

Теперь Коля уже давно в семье за мужика; он и мать после немцев вручную копали под огород; колхозу дали несколько коров – поскольку отца все видели, когда он приезжал – героем! – а девочка была единственным грудным ребенком, – выделили им корову. Сейчас уже ничего: девочка-то уже ходит! И молоко есть. В колхозе есть трактор; с войны все же некоторые мужики вернулись. Ну, работают все, конечно. И Коля – вот зимой ему дают эту работу в ларьке. А в остальное время – в бригаде в поле. Ну, и мать, конечно, слава Богу, здорова и работает. Недавно вот избу поставили – тоже еще не у всех в деревне дома; живут еще с одной семьей – те строятся. Коля все умеет, мог бы и в стройке помогать, но здесь, в ларьке дают больше по трудодням, чем на стройке. Потому он здесь; и еще потому, что умеет хорошо считать, хоть в школе ему так почти и не пришлось учиться. Ну, и не пьет и не ворует от ларька-то. А это в колхозе ценят все. Его и бухгалтер проверяет – всегда ничего не находит плохого, все сходится. Вот что трудно – колхоз-то овощной; хлеба на трудодни не выдают – выдают овощи и деньги. А хлеб-то где купить? В магазине он редко бывает. То из Москвы привезет Коля – он ведь и домой, и сюда с колхозным грузовиком ездит: как продаст все овощи, грузовик приезжает, он на день едет домой – тогда и хлеб везет. А потом опять сюда. Здесь и живет 2–3 ночи в ларьке. Ну, и огород, конечно, кормит-помогает. Не без того, иногда и со своего огорода кое-что продаст.

Я узнавала реалии его жизни и думала: как легко жить мне... Моя «продукция» шла хорошо. Но удивительна людская психика! Один попробует огурец: «Что же недосолила-то? Кислый очень!» Другой: «Пересолено... Нет настоящего вкуса!» Третий: «Вот капуста – хороша!» Четвертому – капуста, как вода! Вот уж поистине – на вкус да

на цвет! Я потом уже не обращала внимания: выкладывала на пробу на блюдечко. Хочешь – бери, не нравится – иди дальше. Но больше никогда, ни на одном базаре я не смела сказать продающему овощи (перекупщика сразу видно): «Дорого!» Проработав на огороде все лето да еще помучившись с «реализацией», я сама знала, как все это недешево достается!

В воскресенье я ездила на рынок; один раз в неделю были у меня лекции в институте по политэкономии, марксизму и философии. Но эти посещения рынка были хоть и очень тяжелой частью моего образования и обучения, но, пожалуй, по политэкономии я узнала там больше, чем из лекций профессора Панцхавы. Посмотрела я (правда, из окошка ларька) на жизнь каких-то пьяниц и проституток, женщин, потерявших совершенно человеческий облик, того самого «дна», которого в нашей советской действительности как бы и не было или даже и не могло быть. А вот было... и было это очень страшно.

Однако эти мероприятия предпринимались мною отнюдь не с целью изучения этого слоя общества; мне были нужны деньги.

Необходимо было что-то купить из одежды мне и Виктору; ордера на одежду и обувь мы почти не получали – один раз Виктор получил обувь, один раз я – детские туфли.

Кончилась война, но карточки отменили далеко не сразу. Тяжела была карточная система, ничего не скажешь! Это тоже один из «грузов» той жизни, но без этого груза – есть нечего. Карточки – это была главная «пища».

Боже, вы даже не представляете себе, что это было такое: прикрепить карточки в трех разных магазинах, успеть эти карточки «отovarить» каждого десятого числа, (потому что после десятого давали уже не то на эти карточки), привезти это в сетках на руках все домой; а когда отменили карточки, то сначала повысили цены на все продукты очень намного, кое на что в 3 раза. А зарплата осталась прежняя.

Пожалуй, нам стало жить еще труднее: теперь зарплаты не хватало даже на выкуп продуктов по карточкам.

На деньги, вырученные от продажи огурцов и капусты, удалось купить мне туфли, сатин в горошек на платье и шерстяную вязаную кофточку. Виктору – несколько рубашек и брюки; на костюме денег не было.

Но если бы не Коля, пожалевший меня в то трудное время, не смогла бы я даже и этой малости купить! Впрочем, об этих сложностях моей студенческой жизни профессор Поршневу, вероятно, не подозревал.

Когда я училась на 3-м курсе института, мама тоже перебралась в Москву. Думаю, что ей выслал вызов Виктор, т. к. она сразу же стала работать в школе села Семеновского; тогда это было село и входило в Ленинский район. Теперь это Москва.

Когда родился Митя, моя мама со всей страстью влюбилась в моего сына: ее материнские чувства по отношению ко мне никогда не были так пылки – теперь в ней вдруг вспыхнула любовь к внуку.

Она, моя мама, работала сначала в школе с. Семеновского; потом перешла в Москву и жила в Москве в общежитии для учителей. Она преподавала французский и немецкий. В Москве встретила она Евгения Евгеньевича Стефановского, вышла за него замуж. Он был харьковчанин; там он и работал до войны в Политехническом институте. В Москве же он был военным и работал где-то переводчиком, так как прекрасно владел немецким, французским и английским.

Когда мы жили в Царицыне, у Варвары Семеновны, мама с мужем часто приезжали к нам; Митенька подрастал хорошо (он родился семимесячным. Перед тем, как я сдавала последний экзамен и родила Митю, я даже несколько дней жила у мамы в Москве – они снимали там комнату на Софийской набережной). Мама очень радовалась малышу. На долгие годы он стал ее главной любовью.

Вскоре Виктор перешел на работу в Москву в трест «Мосгаз», кажется, заведующим отделом кадров. Надо было перебираться в Москву... Но как?

Я узнала, что эвакуированным из Ленинграда возвращают вещи,

оставленные в квартире. Я дала Виктору доверенность, копию эвакуационной справки и еще все, что нужно, и он поехал в Ленинград. С некоторыми сложностями, но ему все же удалось взять мой рояль и поставить в комиссионный магазин на продажу. Мы получили очень крупную сумму денег – не помню сколько, но этих денег хватило на то, чтобы превратить в жилье старый кирпичный склад.

Это был склад каменного двухэтажного дома, построенного в виде буквы «П»; склад замыкал дом в небольшой прямоугольник: внутри этого прямоугольника был двор. Получить разрешение на достройку этого склада и оборудование там жилого помещения было весьма трудно, но работа Виктора такое разрешение в горсовете получила. Склад этот (как бы верхняя крышка буквы «П») располагался на первом этаже и стоял на фундаменте. Наверное, это был дом какого-то небольшого лавочника. С улицы были ворота во двор, в который выходили двери флигелей, а мы входили через двор; пересекали его, и наша дверь была в середине, почти против ворот.

Вся эта квартира состояла из четырех комнат и довольно большой прихожей. Это место для достройки получили две семьи – работники треста Мосгаз. Кроме нас, тоже две комнаты, но значительно больше наших, получила очень славная семья из пяти человек. Уже хорошо – все же две семьи – это не так уж трудно ладить. Семья оказалась очень мирной, и жили мы дружно. В прихожей – большой, метров 20 – эта семья оборудовала себе кухню. По договоренности мы ею не пользовались – только брали там воду. Водопровод был, но вот канализации не было совсем во всем доме, так что сделать ее было невозможно.

У нас были тоже две комнаты. В одной была печка с плитой. Два окна выходили на большой пустырь. Они были на высоте 1,5 метра от земли (так как фундамент был) – все же свет был нормальный – и наша квартира не была подвалом. Да и водопровод был на кухне, но стока и канализации не было. Вход был через двор, где были разваливающиеся три деревянные уборные: этот двор с текущими туалетами был ужасен! Помой выливались во дворе в специальную дыру...

В туалет ходить было не только противно, но и страшновато: доски качались, подгнивали, зимой покрывались льдом. Вход к нам был через двор мимо туалетов с вываливающимися досками и дверями и помойной дырой. Наша улица называлась Сибирский проезд; жили мы в доме № 7. Напротив был Птичий рынок, где продавалась любая живность – от рыбок до коров.

И все же это была жилплощадь в Москве, за наши деньги отстроенная. В те времена это была редкая удача.

Я очень надеялась, что если нам удастся жить в Москве, то, может быть, наши отношения с Виктором улучшатся, может быть, он станет учиться... Может быть, у него появятся какие-то интересы, может быть, мы хоть в концерт иногда ходим.

В то время, когда шли все эти хлопоты со строительством квартиры, Мите исполнился год. На одну зиму его взяли к себе родственники Виктора. Его брат был в городе Фергане военкомом. Может быть, можно считать, что я поступила неблагородно и непорядочно. С другой стороны, я вовсе не собиралась разводиться с Виктором. Я понимала, что он любит меня, что каждый человек любит по-своему, что иначе он не может любить. Я не понимала тогда, что все-таки у большинства людей любовь эгоистична. Большинство людей любит для себя. И он тоже любил меня для себя. Не лишена этого недостатка была и я, как увидела это по ходу своей жизни через много лет.

Он же был отцом двух моих детей... Это нелегко было забыть, не сразу можно было на что-то решиться.

Моя мама переехала с мужем в Харьков. Квартиры у них не было; ее обещали, но пока они жили, снимая комнату в частном секторе.

За год наша квартира была готова. Мы переехали, и в конце лета собственно строительством я не занималась, но вся уборка мусора от постройки лежала на мне. Это многие ведра мусора, многие ведра грязной воды; это не очень-то увязывалось с моими занятиями, но ведь денег хватало только на постройку – остальное – мои руки, мое время.

Но все когда-нибудь кончается! Если уж пройден этот ужасный двор – дальше – собственно в квартире – жить было можно... даже уютно... Но самым печальным было то, что, к сожалению, мои надежды на жизнь в Москве и на какие-то изменения к лучшему в отношениях с Виктором не оправдались. Более того, наши расхождения с Виктором становились все острее.

Я выросла в атмосфере, где в человеке более всего уважалось и ценилось трудолюбие, притом особенно – трудолюбие интеллектуальное. Может быть, это свойство вырабатывается лишь до определенного возраста? Виктор не хотел, а скорее всего, просто не мог учиться. Он не одолел контрольных работ, не дошел даже до первого экзамена.

Я пыталась подсунуть ему книги, о которых все тогда говорили, которые все читали – тщетно. Даже в кино его не тянуло.

Пока речь шла об окончании мной института, прямых возражений с его стороны не было; но можно ведь и поспокойнее – закончить... Зачем все это неистовство с аспирантурой? Кому это нужно? Он не понимал, что это было нужно мне! Как-то еще до переезда в Москву эти расхождения зародились. И постепенно развивались; наша совместная жизнь становилась все труднее. С одной стороны, он брал на себя большую часть хозяйственных забот: он топил печку, всегда старался что-то приготовить поесть к моему приходу...

Привезли Митеньку. Я отводила его в ясли, Виктор забирал. Но я каждый день все с большим страхом шла вечером из читального зала домой.

Да, конечно, печка – была истоплена, еда какая-то была. Но начались каждодневные сцены.

Он мне не верил; следил за мной; сцены заканчивались то его рыданиями, то уверениями в любви, то уверениями в ненависти.

Он ненавидел и мою аспирантуру, и все, что с этим было связано, он постоянно стоял и выслеживал меня в «ленинке», и, как выяснилось, у другого зала! Я не могла выйти оттуда, потому что я туда не

заходила! Я ходила в третий зал, а он меня ждал у профессорского. Скандалы все время: где была, что ты делала – это было ужасно... Заниматься в этой атмосфере было трудно. И это тоже был груз, даже просто непосильный! Что там груз ведер – ерунда! А вот скандалы до двух–трех часов ночи почти ежедневно – вот это отравляло жизнь!

От всего этого во мне не прибавлялось не то что любви, а просто хорошего к нему отношения. Становилось все хуже.

Однажды в пылу скандала он сказал мне, что он много раз хотел сжечь в печке все мои бумаги, всю подготовку к диссертации; что жалеет, что не сделал этого.

Тут меня охватил ужас! На следующее утро (он уходил раньше!), отведя Митеньку в ясли, я собрала все свои бумаги и передала их на хранение Илье Лерману. Бумаги я отнесла, но сама почувствовала себя в западне... Как-то мне надо было пойти на доклад в 6 часов вечера в библиотеку. Он запер меня на ключ. Я пролезла в окно, на пустыре сильно порезала ногу о какую-то железку, а вечером он пытался меня даже побить...

Так, жизнь становилась все более невыносимой.

Моя мама уехала с мужем в Харьков, и, когда я училась в конце 2го курса аспирантуры, они получили там квартиру.

А меж тем у меня сложилась и закрепились своя очень дружная компания. В нее вошли несколько аспирантов, моих соучеников с гуманитарными наклонностями и интересами; это был очень тесный кружок – большинство моих друзей принадлежали к кафедре всеобщей литературы (раньше, до начала так называемой «борьбы с космополитизмом», она называлась «западноевропейской»). Во главе этой кафедры стоял Марк Захарович Эйхенгольц – живая история литературы России начала XX века; участник кружка в «Бродячей собаке», он был и прекрасным руководителем и замечательным знатоком литературы и очень хорошим, чутким человеком.

Его аспирантами были трое: Галя Кошелева, Илья Лерман и Светлана Покровская.

Галя Кошелева, окончившая МИФЛИ и уже работавшая преподавателем в Учительском институте города Шадринска, была старше меня на несколько лет. Она была необыкновенно образована, умна и почему-то полюбила меня, впрочем, как и я ее. Она специализировалась на немецкой литературе.

Илья Лерман был после армии и фронта. Он тоже хотел заниматься немецкой литературой, хорошо владел немецким. Мы втроем составили отдельную аспирантскую группу по немецкому языку, так как нам этот язык нужен был в большем объеме и глубине, чем остальному потоку. Занятия в этой группе еще больше сдружили нас. Для нас троих пригласили преподавателя из Института международной торговли – Теодора Давыдовича Ауэрбаха. Занимался он с нами с большим интересом, как он мне потом говорил, и с большой пользой для нас. Обучение языкам у нас было поставлено на довольно высоком уровне: еще бы! – ведь для нас троих (двое должны были заниматься немецкой литературой, а я – историей средневековья, где немецкий язык играл очень важную роль на территории всей Прибалтики) – создали отдельную группу и пригласили высококвалифицированного преподавателя.

Теодор Давыдович был эмигрантом. Сначала он эмигрировал из Германии в Австрию, потом уже из Австрии в Советский Союз. Был он в те времена каким-то деятелем молодежного движения, немецкий он знал превосходно. И у него было несколько печатных работ, забавных таких, чисто практических. Ну, теоретик-то я не знаю, какой он был, потому что его кандидатская диссертация называлась так: «Изменения словаря ругательств немецких солдат на протяжении оккупации русских территорий и после нее». (Или что-то в таком роде). После этого многие спрашивали: «Кто этот неприличный человек? Покажите его!» В те времена диссертацию его я не смотрела, хотя, думаю, что это было бы небезынтересно.

Очень много мы получили от общения с ним – от свободного общения в языке, от тех вопросов, которые он перед нами ставил в

целом ряде случаев. Вот, скажем, он учил нас смотреть в газету не только с точки зрения того, что там напечатано, но и как напечатано и каким языком. В частности, обращал наше внимание на особенности газетной лексики, где очень часто оказывается, что сдержанность газетной лексики, в общем-то, передает отношение того, кто этой газетой владеет. Теодор Давыдович внес очень много в мое знание языка, и именно он использовал любую методику преподавания, кроме скучной. Урок проходил всегда в темпе, мы всегда ждали каких-то интересных находок в его объяснениях.

Мы очень много с ним общались. А началось все с некоторого анекдота.

Сначала у нас была общая группа, а потом, когда нам сказали, что нам выделяют особого преподавателя на трех человек, и он приехал, первое, что он сделал – начал быстро-быстро нас спрашивать о разных вещах, совсем разных и неожиданных; он проверял нашу быстроту понимания и реакции. (Я потом тоже часто пользовалась этим приемом на занятиях).

Ну и вот, он меня спросил:

– Вы откуда приехали?

– Из Свердловска.

– А как же Вы приехали?

– На трамвае, – я просто настолько отвыкла от беглой немецкой речи, что сказала такую глупость. А он решил, что это я сострила, что это я вот так проявила свою оригинальность, свое остроумие.

Занимались мы с Теодором Давыдовичем два учебных года. Это было чрезвычайно интересно. Это были занятия немецким языком на таком уровне, который, конечно, в Московском областном институте был практически недостижим. И то, что он действительно немец и приехал оттуда, и то, что он работал во Внешторге, – все это, в общем, определенная марка.

В наш тесный дружеский кружок вошли еще два человека: Светлана Покровская, тоже аспирантка Эйхенгольца (она занималась фран-

цузской литературой) и ее сначала поклонник, а потом муж, Саша Пронштейн, аспирант профессора Тихомирова.

Я познакомилась с Сашей, т. к. он занимался русскими городами-республиками Псковом и Новгородом, и у нас в работах были общие проблемы (отношения этих городов с Ганзейским Союзом, торговля их с Прибалтикой, вопросы цехового строя и др.). Вскоре Света и Саша Пронштейн полюбили друг друга, стали мужем и женой, и я бывала у них в Ростове-на-Дону, когда приезжала туда по поводу своих пособий для музыкантов.

Всех нас объединял и интерес к занятиям, и возмущение проводимой тогда политикой «борьбы с космополитизмом». Под этой вывеской началась антисемитская кампания.

И надо сказать, что постепенно непонимание между нами с мужем выросло так сильно, что у меня уже эти истерики не вызывали ни жалости, ни желания как-то помочь ему понять, успокоиться. Я уставала, и все больше мне хотелось избавиться от этого бессмысленного истязания друг друга. Он считал, что это я его истязую, а я – что он.

Но отказаться от аспирантуры я не могла. Примерно в это время, может быть в 1946 году (это было уже после моего поступления в аспирантуру) вышло постановление партии и правительства. В нем повышалась зарплата научным работникам и преподавателям вузов; делался упор на защиты диссертаций. То есть я могла стать материально сносно обеспеченным человеком. Это укрепило меня в моем упорстве, а Виктора – в его нежелании допустить мою самостоятельность.

Теперь, с появлением своей жилплощади у нас стали часто собираться мои друзья по аспирантуре. Это было время (1946–1947 гг.), когда в том или в другом ключе вся интеллигенция обсуждала ряд постановлений – прежде всего о журналах «Звезда» и «Ленинград».

Это постановление не только «давало нужное направление мыслям интеллигенции, но чисто практически коснулось нас. Ах! Если бы дело ограничилось переименованием французских булок в городские, халы в плетенку, а кафедры «западноевропейской литерату-

ры» – во «всеобщей литературы»... Это было бы воистину смешно, если бы не было так грустно.

Начались гнусные обсуждения газетных статей на собраниях. Всем понятные намеки, направленные против М.З. Эйхенгольца. «Погорела» тема диссертации Кошелевой (что-то о Гофмане и немецком романтизме). Осталось абсолютно непонятно, «в каком ключе» должен заниматься Лерман... и фамилия его как-то непонятно должна была учитываться...

По этому принципиальному для многих из нас и абсолютно «личному» отношению и к вопросам литературы (Ахматова, Зощенко и многие другие), и к начавшейся проповеди государственного антисемитизма наш тесный кружок учеников Эйхенгольца еще более сплотился. Но резко отделился и выделился Володя Богословский, оценивавший все происходящее с «государственной точки зрения». После этого он уже никогда не был нашим другом. Мы так и держались на определенном расстоянии от него.

Потом Богословский стал заведовать кафедрой в том пединституте, где мы оканчивали аспирантуру – Московский областной педагогический институт.

Мы все абсолютно доверяли друг другу, особенно после отхода от нас Богословского, позволившего себе какие-то антисемитские высказывания.

Обсуждению подвергались и газетные статьи, и опубликованные в журналах литературные новинки; ну, и, естественно, происходившее в институте. Маленький Митя, слушая наши разговоры, считал слово «козлолиты» – испорченное в его детском восприятии «космополиты» – ругательством.

Мой муж чувствовал себя в нашей компании чужим. Он всегда был не участником наших споров и разговоров, а лишь свидетелем; ну ладно литература или музыка, но ведь он же был евреем... И это тоже как-то все проходило мимо него, его не затрагивая; вырос он в детдоме, а социальная несправедливость его не волновала.

Встречались мы всегда у меня – у остальных своей жилплощади не было. Часто и ночевали у меня: в тесноте, да не в обиде.

В аспирантуре у нас были лишь групповые занятия по языкам (у меня – немецкий и латынь) и лекции по истории философии, истмата и диамату потоком, человек 40–50. По этой учебной дисциплине на 1-м курсе надо было сдать экзамен. Лекции нам читал профессор Панцхава.

Посещение их было строго обязательно. Первые лекции, которые мы услышали в аспирантуре, были его лекции.

О-о-о! Это было нечто ужасное!

Он рассказывал «на полном серьезе», что уже в XVI веке по Каспийскому морю ходили грузинские пароходы! И что на этих пароходах как раз и зародилось Возрождение, которое эти пароходы (?) перевозили сначала через Каспийское море, а потом через (?) Кавказ. Они (что это – «они»? пароходы? или Возрождение?) попали из Каспийского в Черное море. А потом из Черного моря они попали в Средиземное – и в Италию.

«Знайте! Ни в Италии, ни в других странах Западной Европы Возрождения вообще не было. Это все выдумали буржуазные историки. Что-то кажется было в Армении... Но настоящее Возрождение – это Грузия, Грузия и еще раз Грузия. Наконец, ведь капитализм никакого прогресса-то и не принес, так как положение рабочего при капитализме хуже, чем у римского каторжника на галерах».

Вся эта чушь вызывала у меня просто дрожь отвращения, мороз по коже...

Не перестаю до сих пор удивляться: это в Москве в 1946 году! Но своими ушами слышала, вынуждена была слушать, и даже записала и цитирую.

Честное слово, сама я этого придумать не могла.

Кроме того, он совершенно нагло не считался с нашим временем. Он позволял себе уходить на перерыв на час–полтора; а мы в это время должны были сидеть и ждать. Я же сэкономила свое время, расчи-

тывала каждые 30 минут, меня возмущало, что, например, перерыв между двумя частями лекции составлял у Панцхавы не менее 1,5 часов.

Против нашего институтского здания была баня. Я в перерыв успевала там покрасить брови и ресницы и вымыться, ни разу не опоздав на второй час лекции...

Для меня эта расхлябанность Панцхавы была особенно невыносима. Я кормила ребенка, ездила на электричке; поезда же, как известно, придерживаются своего расписания. Занятия наши начинались в 18:00 и должны были кончаться в 19:30–19:45 – если бы был перерыв 15 минут. Но перерыв длился не менее 1,5 часов, а иногда и более. Никто не мог сказать, сколько этому человеку захочется где-то в преподавательской трепаться и «травить» анекдоты. А я, между прочим, должна была вечером ехать в Царицыно. И поезда у меня ходили чем позже, тем реже, и дома меня ждал грудной ребенок (спасибо, за ним стала приглядывать квартирная хозяйка).

После восьми вечера поезда ходили совсем редко. Мне приходилось стоять в холодном туннеле вокзала на страшном сквозняке иногда по часу, иногда даже более часа. У меня текло молоко, холод, ведь лекции были с конца ноября по май месяц. Удивляюсь, что я не заболела. Наверное, злость меня грела!

Особенно тяжело мне было, когда движение поездов прекращалось на 2–3 часа: это пропускался правительственный поезд, о чем никогда заранее не было известно по понятным причинам. Можно ли себе представить, сколько людей скапливалось в туннеле, и что творилось при посадке! Правда, после того, как снимался запрет на движение, поезда отправляли каждые 15–20 минут. Но попробуй-ка, влезь в один из первых!.. А я родила на 4-м курсе института (следовательно, всю зиму ездила беременная), а в аспирантуре – кормила грудью.

Как прослушанный курс лекций по диамату и истмату, так и то пренебрежение, которое проявлял профессор Панцхава по отноше-

нию к нам, своим слушателям, вызывало во мне едва ли не ненависть к нему... По-видимому, у меня было слишком выразительное лицо, и сам Панцхава довольно четко понимал, каково мое отношение к нему и к его лекциям.

Несомненно, что по такому предмету можно было бы прочитать нам очень интересный курс... Но надо было обладать определенными знаниями и культурой... А в этом профессор Панцхава не был грешен.

В ходе нашего обучения каждый был обязан подготовить выступление на определенную тему.

В своем выступлении я должна была почему-то доказать, что с развитием исторических условий условия жизни рабочих, рабочего класса, например, в Англии, в общем-то, ухудшаются, а не улучшаются. Это был тезис Панцхавы. Я очень разозлилась и сказала, что нет, развитие экономики все-таки вело к улучшению условий жизни рабочего класса во всех странах. Что если мы будем сравнивать, скажем, условия работы раба и условия работы свободного капиталистического рабочего – это же несравнимые вещи. Но тем не менее я была одернута: мне было сказано, что это буржуазная точка зрения. Были голоса среди слушателей: «А что бы Вы сами предпочли: положение раба на римских галерах или положение английского или американского безработного, который получает пособие по безработице?»

По этой самой философии мне «вкатили тройку». И это была долго единственная «тройка» во всех моих матрикулах на протяжении всего моего гуманитарного обучения.

Очень уж, скажем, «оригинален» был профессор Панцхава и потому занимает столь большое место в описании моей аспирантской жизни в Москве в 1946 году в пединституте.

Но истинно глубокое воздействие на меня оказали собственно три моих преподавателя. Глубокая моя благодарность им! Не прошло мое восхищение их культурой, их знаниями, высокими человеческими качествами; на всю жизнь осталось желание быть похожими на них в

отношениях со студентами-учениками, пользоваться их приемами в преподавании, постараться быть такой же образованной, как они.

Первым я, пожалуй, назову Якова Александровича Левицкого – моего декана, преподавателя и коллегу-медиевиста. Узкой его специальностью был средневековый английский город. Но как он знал русскую поэзию!

Это теперь есть понятие «серебряный век» русской литературы, но тогда любой эмигрировавший, будь он крупнейшим поэтом или писателем, просто как бы не существовал.

Яков Александрович и Галя Кошелева не только о многом рассказывали мне, но, что даже важнее, посоветовали мне, что следует читать и знать. (Все-таки, многое можно было получить в читальном зале Ленинской библиотеки). Но Галя была подругой – это другое. Хотя оба они сыграли очень большую роль в моем литературном и общем развитии. Яков Александрович Левицкий, который одно время даже был нашим деканом, он-то как раз и разрешил мне сдавать экзамен за литературный факультет, он же подписывал и рекомендацию в аспирантуру. Человек высочайшей образованности и культуры, он так хорошо знал литературу, он знал столько стихов! А случилось случайно, что я и он жили довольно близко, в одном районе Москвы, – около Крестьянской заставы. А район тогда был довольно мерзкий, – уж не знаю, какой он сейчас. И мы довольно часто вместе ездили из читального зала и разговаривали.

Как я любила, когда Яков Александрович читал мне стихи! Я об очень многих поэтах периода начала послереволюционных лет и послереволюционной эпохи узнала только из его уст.

Это он дал мне понимание того, что такое «научная добросовестность». Он говорил: «Вы можете сослаться на что угодно, но Вы должны точно указать, где это написано. Вот когда Вы скажете, что это прочитали в такой-то книге и на такой-то странице, Вы уже не несете ответственности за содержание. Но Вы отвечаете за то, откуда взято это сведение». И как, с какой добросовестностью проверял

он наши курсовые работы, а потом мои статьи! Как он проверял не только порядок ссылок, но и язык работы, не допускал неряшливости в языке!

Проделав всю эту работу, он меня спрашивал: «Вы согласны с тем, что Вы цитируете, или не согласны? Если да, то почему? Если нет, то тоже – почему?» И вот этот подход к тому, что вы пишете, к тому, о чем вы говорите, умение подойти ко всему критически, не только умение, но и желание и обязанность критического подхода ко всему – все это из общения с Яковом Александровичем Левицким. Он всегда стремился помочь, относился к людям не с формальным интересом, а с интересом дружеским, внимательным.

Очень много я встречалась с ним и потом, когда он переехал в академические дома, и бывала у них дома, и дружила уже и с его женой, и с его сыном. Но начало нашей дружбе было положено именно тогда, когда я была студенткой 2-го курса.

Два других моих любимых преподавателя, с которыми тоже сложились у меня теплые и очень дружеские отношения, – это были Борис Ильич Рыскин и Яков Абрамович Ленцман. Борис Ильич Рыскин вел у нас семинар-практикум по истории средних веков. Занимались мы с ним комментированием и чтением так называемых «Варварских правд» (это законы раннего феодального общества со следами варварского общественного строя). Мы сравнивали Правду Русскую и Правду Вестготскую и Остготскую. В общем, это было очень интересно. С этим преподавателем я как-то оказалась, в общем, в довольно коротких отношениях (это все было абсолютно «безгрешно» на уровне дружбы – дружбы пожилого человека с очень молоденькой женщиной). Как я понимаю, Борис Ильич пришел, может быть, из каких-то лагерей в результате репрессий, потому что у него был сильнейший нервный тик, и потому что в какой-то момент он был уж очень одинок. Потом я случайно узнала, что у него была дочь и семья. Но в этот момент, по-видимому, он жил в Москве один (кажется, в общепитии). Может, они еще не успели вернуться из ссылки – я не знаю

точно. И вот он довольно часто приглашал меня на концерты. Мы слушали с ним преимущественно фортепианную музыку – видимо, он был большой ее любитель. И как много получила я от общения с Борисом Ильичом! Так интересно было говорить с ним о том, что мы только что прослушали, как интересно было говорить с ним о прочитанных книгах, о том, что выходит в толстых журналах. Я на многие годы глубоко благодарна этому человеку.

Когда я стала работать в Харькове, одна из моих студенток, очень хороших, очень любимых, очень милых... (семья ее и ее родители, и она сама со своей семьей (уже собственной) стали моими друзьями на многие десятки лет. В частности, я и здесь встречаюсь с ними и постоянно общаюсь) – и вот в одном из разговоров, когда она училась у меня на 1-м курсе, она мне сказала, что на каникулах была в Москве в доме, где очень много немецкой литературы. Ну, мало ли в Москве домов, где можно видеть немецкую литературу? Наверное, был это не единственный дом... И вдруг она мне говорит: «Это мой внучатый дедушка Борис Ильич Рыскин».

Я просто остолбенела: человек, которому я так благодарна, с которым я, в общем-то, провела столько интересных часов в моей жизни, – и вдруг он оказался ее родственником!

И когда она была в Москве в следующий раз, она говорила ему обо мне. На что он сказал: «А мы думаем, что Екатерина Мышкис – это Потонувший Колокол... Мы возлагали на нее такие надежды, а о ней ни слуху, ни духу – никто не знает, где она и что она делает».

Тогда я решила, что когда выпущу первую свою книжку «Пособие по немецкому языку», вот тогда я приду и как бы предъявлю доказательство не полной бесполезности моего обучения и моего общения со своим учителем.

Но получилось все это очень грустно. Когда я выпустила, наконец, эту книжку, приехала в Москву и позвонила ему по телефону, женский голос мне сказал:

– Его больше нет.

- Как это? – говорю я. – Как это «нет»? Его нет в Москве?
- Нет, – сказал мне женский голос, – он умер.
- А с кем я говорю?
- Вы говорите с его дочерью.

Я как-то извинилась неловко, положила трубку и заплакала...

И мне было так горько, что, может быть, я могла бы этому человеку скрасить хоть чуть-чуть те горести жизни, которые он перенес, тем, что, в общем-то, его ученица его любит и помнит. Ну, и что действительно (тогда мне казалось это очень важным) что-то я сделала в своей специальности. И вот, я не успела это сделать. Я опоздала, и было мне очень грустно.

И, наконец, преподаватель мой по латыни. Ведь те аспиранты и те студенты, которые хотели специализироваться в области средних веков, должны были проходить латынь. Тогда Яков Александрович Левицкий нашел для нашей небольшой аспирантской группы из трех человек античника, о котором вначале-то мы ничего не знали; потом выяснилось, что этот человек откуда-то с территории не то Западной Украины, не то из Прибалтики – откуда-то оттуда; что он там в каком-то из университетов преподавал античную историю, что он блестящий знаток латыни и греческого. Вот он-то и занимался со мной и с моей подругой Софой, которая тоже стала заниматься античностью (в настоящее время ее фамилия Ким). Вот он, Яков Абрамович Ленцман, и стал третьим человеком, который оказал на меня необычайное влияние на протяжении моей аспирантской и студенческой юности. В Советском Союзе он более известен работами по истории раннего христианства (у него есть две или три работы по истории христианства, кстати, чрезвычайно интересно написанные, очень увлекательные). Яков Абрамович знал очень много.

Так, общение мое с людьми, которые много знали, становилось для меня как бы ступеньками моего желания пройти все дальше и дальше, все больше и больше знать.

Получилось ли из этого что-то или не получилось – трудно судить.

Может быть, что-то и получилось, но еще больше, к сожалению, не получилось.

На одной из моих лекций по живописи одна студентка – по-моему, это была Люда Сучкова – подошла ко мне с сияющими глазами и говорит:

– Екатерина Дмитриевна, ну, откуда Вы все знаете?

– Людочка, милая, я так мало знаю!

– Ну, вот... Вы так все рассказываете!

– Верно. Но это все потому, что я рассказываю только то, что знаю, а того, чего не знаю, я никогда не говорю. Вот и все, вот и весь «рецепт» моих знаний.

Но это было много позже, уже в Харькове.

А пока в Москве я жила в атмосфере тех знаний, которые сделала своей специальностью. Такая атмосфера создавалась не только сложившейся системой аспирантских экзаменов, но и обычаем свободного посещения всеми аспирантами и молодыми преподавателями заседаний соответствующих кафедр в других институтах, в частности, в МГУ, а особенно – заседания сектора в АН СССР. Это давало возможность быть постоянно в курсе тех проблем, которыми занимались люди, связанные с изучением истории средних веков. Мне кажется, это было очень важно.

И самое главное – это заседания сектора средних веков Академии Наук. Это было чрезвычайно важно и очень интересно.

Это был очень разумный метод – приглашать молодых, начинающих, учащихся на заседания, где обсуждались самые последние новости в данной области науки. Это было всегда интересно: самые крупные ученые-медиевисты докладывали о своих работах; их коллеги задавали им вопросы, о которых мы, конечно, на нашем уровне, даже и задуматься еще не могли. И все это вместе создавало какую-то особую атмосферу. С одной стороны – общих интересов, а с другой – высокоинтеллектуальную атмосферу в данной области знаний.

Мы видели, как в процессе работы из доклада, потом из серии до-

кладов вырастает монография; мы слышали критические замечания; мы слышали дискуссии по самым сложным вопросам (например, серия докладов М.А. Барга о средневековой культуре).

Кстати, именно там я впервые начала думать о том, что лекция или доклад могут быть очень хороши по форме и, в общем, не очень содержательны. Могут же быть очень содержательны – а по форме просто неудобоваримы. И как трудно найти такую меру занимательности, такую меру изящного изложения при ценности содержания, которые сделали бы доклад или сообщение действительно ценным во всех отношениях. Ну, вот скажем, лекции моего руководителя, Яна Яковлевича Зутиса, великолепного знатока истории Прибалтики вообще, и средневековой Прибалтики, в частности, были совершенно неудобоваримы по форме. Это было скучно, совершенно непонятно, с какими-то ничем неоправданными непонятными выкриками. То есть нельзя представить себе, чтобы человек мог увлечься такого рода лекциями. С другой стороны, он был действительно глубоким знатоком своего вопроса и единственным знатоком такого уровня вообще, наверное, даже в мире. Потому что в Латвии таких историков не выросло. Зутис уехал из Латвии, кажется, в период революции, прожил долгое время в Советском Союзе, работал долго в Воронежском университете. Мне было так обидно, что такие поистине уникальные знания так и не становятся в его исполнении той потрясающей по интересу и напряженности страницей истории Прибалтики, которая так тесно связана с русской историей. Этими знаниями владел только Я.Я. Зутис! И только и исключительно из-за очень плохой формы его лекций и докладов они не звучали так, как могли и должны были звучать.

Кроме круга близких друзей, о которых я уже рассказывала, я не теряла связи еще с несколькими друзьями и подругами.

Катя Кирпичева, занимавшаяся русской литературой, в частности, наследием Герцена.

Софа Ким, моя подруга по институту и аспирантуре, стала специа-

листом по античной истории, защитила диссертацию по истории Рима и работала многие годы в фундаментальной библиотеке Академии Наук.

Нина Соловьева, кандидат наук, моя соученица по курсу, потом многие годы работала в Ленинской библиотеке, зарекомендовала себя, как великолепный знаток истории и книги и принесла там очень большую пользу.

Но ближе всех, конечно, были Илья Лерман, Галя Кошелева и Светлана Покровская с Сашей Пронштейном.

Со всеми этими людьми меня связывали совместные занятия, общие интересы и взгляды и на историю, и на культуру, и на все, совершавшееся на наших глазах.

Занималась я очень много. Я сидела в Ленинской библиотеке, в исторической библиотеке, в Центральном государственном архиве древних актов буквально по многу часов.

Были вещи, с которыми мне помогли справиться мои подруги по аспирантуре, аспирантки Б.Ф. Поршнева, Инна Тираспольская помогла мне очень в важной и совсем мне не знакомой области: она научила меня пользоваться русскими архивами. Западноевропейские архивы я осваивала сама, в Риге, а вот русскую архивную скоропись и русские архивные документы, которые мне понадобились для того, чтобы уяснить определенные связи дипломатического характера между Рижским городским советом (Магистратом) и Россией – в этом помогла мне Инна Тираспольская.

Я нежно любила ее и многим ей обязана – в тяжелой ситуации она помогала мне просто помещать рукописные вставки в диссертацию, править ее. В Москву я приехала уже без детей, одна; это была очень срочная работа. Инночка Тираспольская потратила на меня кучу времени.

Я очень любила и другую свою коллегу по аспирантуре, тоже Поршневскую аспирантку. Звали ее Женя, а фамилия ее писалась то ли Телешева, то ли Телишева.

И Женечка тоже помогала мне вставлять в диссертацию цитаты на

старо-нижненемецком (именно из-за этого случая я получила неприятнейшие внушения от своего тестя).

Как странно зависит наша судьба от случайных совпадений! Не живи я в Царицыне, не ездил я с Курского вокзала и не занимайся я в исторической библиотеке на Старосадском переулке, разве могла бы я при моей очень нелегкой и переполненной жизни забегать хоть иногда в Колпачный переулок, где жили родители Толи? Но я все-таки с семьей Мышкисов связи не теряла.

Когда мы ехали в теплушке в Москву, и Лора и Толя позвали меня первое время пожить у них в Колпачном, дома были отец Толи, Дмитрий Семенович Ермаков, и его сестра, Ефросинья Семеновна – тетя Фрося, и двое ее внуков от ее умершей дочери, опекуном которых был Дмитрий Семенович. Когда я узнала, что Дмитрий Семенович и Хая Самойловна взяли этих детей полностью со всеми заботами и стали их опекунами, я как-то очень этих людей зауважала; но через некоторое время мне стало страшно и не зря. Девочке было лет, наверное, 14–15; мальчику было 7, потому что он при мне тогда пошел в школу. Девочку звали Дуня, мальчика – Шура. Мать Толи, Хая Самойловна Мышкис, и ее дочь Лена еще не вернулись из эвакуации; позднее Дмитрий Семенович выслал вызов и пропуск мужу Лены – Муле.

То, что я расскажу об этой семье естественно, я узнавала не сразу, но напишу известную мне историю этой семьи, заглядывая и вперед и назад, чтобы к этому больше не возвращаться.

Я не клялась, положив руку на Библию, «говорить правду, правду и одну только правду», но начиная эти записки я бы хотела, чтобы тот, кто будет их читать, представил бы себе мою жизнь и приметы времени, отразившиеся в ней; все люди, которых я знала и о которых пишу, в них тоже в каждом – приметы времени, хоть люди все разные.

Приметы этого времени определялись сталинским режимом, рухнувшим далеко не сразу со смертью Сталина.

Собственно все многие миллионы советских граждан были не только отмечены приметами этого времени – они все были жертвами

сталинского режима – все! Жертвами физическими, или психическими, но жертвами... И все-таки жертвы эти были разные.

Вот о них и пишу, о «разных»...

По-русски говорят, об умерших или хорошо, или никак. Я не могу и не хочу так поступить: я поклялась себе самой – только правду. Если не будет правды – то и примет времени не будет. Возможно, что это будет читать кто-то, когда и меня уже не будет; почти всех, о ком пишу, уже нет на свете. Но некоторые еще живы, во всяком случае, сейчас. И мне трудно было решиться на правдивый рассказ о семье Анатолия Дмитриевича, особенно об его отце, но я решилась на это.

Дмитрий Семенович в то время был, кажется, майором (или старшим лейтенантом) НКВД; ездил в командировки на Кавказ и в другие «горячие точки». Он, естественно, не рассказывал ничего, и я даже не сразу поняла, куда и зачем он ездил: ведь я бывала там нечасто.

Хая Самойловна еще не приехала, когда произошло следующее.

Однажды при мне Лора стала очень резко и абсолютно открыто осуждать выселение и подавление татар в Крыму и народов Кавказа; речь шла о политике правительства в этих районах, о колхозах и о многом другом. Дмитрий Семенович разъярялся, выходил из себя; Лора же спокойно вела спор, приводила примеры и доказательства. Ее эрудиция позволила ей привлечь факты из истории войны 1812 года; она была не понаслышке знакома с жизнью провинции Приазовья (она была из Мариуполя); на основании нашей печати она говорила о тяжелой жизни в колхозах (все-таки ее математическое образование проявлялось, ну, хотя бы в анализе опубликованных цифр); она даже посмела сомневаться в правильности действий нашей армии, в частности, в том, что Харьков был сдан и потом опять взят... Где было Дмитрию Семеновичу сразиться в споре с таким эрудированным и логически мыслящим противником, как Лора!

Вот тут-то и выяснилась роль Дмитрия Семеновича – стали понятны командировки. Он ездил на усмирение и выселение этих народов. Стала понятна его роль НКВДиста и КГБиста тех лет. Он слишком

был осведомлен об этих движениях, приводил детали и факты, которых не было в печати: «Раздавить, расстрелять; изменники Родины; предатели, прислужники Гитлера, союзники оккупантов», – он весь трясся от злобы и ненависти. Спор перешел границы приличия.

Лора возражала: говорила о гибели женщин и детей, об изничтожении целых народностей Кавказа; пыталась защищать понятие «гуманизм». Где там!

Уничтожить их всех, всех. Самое главное – никакого снисхождения ни к кому из этих... И опять град ругательств (правда, без матерщины – этого он при нас себе не разрешал, а может быть, в те времена это было «не модно» в довольно высоких партийных кругах). Он был страшен, он не играл роль: он был таким, каким проявился вдруг в этом споре, перешедшем в привычный скандал. Впрочем, он ведь мог и донести и на Лору, и на меня, но этого он не сделал.

Когда мы ехали в Москву в эшелоне Военно-воздушной академии, и Лора рассказала мне, что родители Толи взяли двух сирот – племянников Дмитрия Семеновича, который и считался опекуном этих детей, я прониклась таким уважением к этой семье. Как я ошиблась!

Постепенно я узнала жизнь этих детей. Поистине страшной была судьба Ермаковских приемных детей Шуры и Дуни.

Жил Шурик буквально впроголодь. Если Ефросинья Семеновна иногда что-то такое «ткнет» ему – он поест. Но, скажем, о том, чтобы кормить этого ребенка так, как остальных членов семьи, чтобы был завтрак, обед, ужин, – не было и речи. Неудивительно, что он был покрыт болячками, что учился плохо: ему жилось, как приبلудной собачонке у плохих людей.

Ребенок пошел в первый класс... в моих туфлях. Я получила ордер и купила себе детские туфли на низком каблучке и носила их 2 года. В них-то и пошел Шурик в школу... Он плохо учился, его этим постоянно попрекали.

Ну, а кто-нибудь почитал ему? Кто-нибудь поговорил с ним? Если уж взяли ребенка, то он должен расти точно так же, как и собственные

дети. Там же подрастала Аня, дочь Лены, ей было все: и внимание, и самая лучшая еда, и игрушки, и книжки. А Шуру только прогоняли от Анечки, чтобы он у нее не схватил что-нибудь: яблочко, игрушку, печенье.

Дмитрий Семенович, как и его дочь Лена, по всякому поводу легко впадал в ярость. Однажды мы были там, и при детях начался дикий скандал с битьем посуды. Я схватила мальчиков за руки и пошла с ними гулять.

Наши дети не должны были видеть все это безобразия!

Жили Ермаковы в Колпачном переулке; теперь, кажется, в этом здании ОВИР.

Мне стало известно от Хаи Самойловны, что Толя и Лора сняли себе комнату в районе театра Красной армии, что Лора ждет ребенка. Познакомившись с Хай Самойловной, я почти сразу очень удивилась не только тому, что ее брак с Дмитрием Семеновичем оказался столь прочным, но тому, что он вообще состоялся.

Хая Самойловна была очень культурна, образована, тактична и доброжелательна: она закончила Бестужевские курсы и перед революцией вела какие-то занятия для рабочих Путиловского завода в Петербурге, где работал Дмитрий Семенович. Он был участником II съезда Советов, слушал Ленина, работал секретарем Обкома в городе Черкассах, а потом его перевели в Москву – тоже на партийную работу. Последняя должность – заведующий отделом кадров Министерства речного флота СССР. Не мелкая рыбешка!..

Хая Самойловна так никогда и не приняла фамилии мужа и даже брак с ним не регистрировала; и Толя и Лена носили фамилию отца только до того времени, как стали получать паспорт.

Тогда они взяли фамилию матери, основания для этого были в тяжелых семейных отношениях. Как я позже узнала, и Толя с Лорой ушли из дома не столько потому, что было тесно, сколько из-за скандалов. Хотя тесно – это не то слово! В двух комнатах жили фактически 4 семьи: Хая Самойловна и Дмитрий Семенович, тетя Фрося с

двумя внуками, Лена с мужем (вскоре родилась дочь Аня) и Толя с Лорой (тоже ожидавшей ребенка) – 9 человек. Дмитрий Семенович из тех партийцев, что не считал возможным (?) или не умел (?) улучшить жилищные условия – кто знает? Но даже по московским меркам того времени – все равно было очень тесно...

Родители Хаи Самойловны жили в городе Оргееве – это территория Бессарабии, с 1812 года принадлежавшей Российской империи, но после революции до 1940 года незаконно оккупированной Румынией; с 1940 года возвращенной Советскому Союзу. Понятно, что общение с живущими там родственниками было довольно сложным. Но история этой семьи начинается приблизительно в первой четверти XIX века. Тогда в город Оргеев пришли три брата, вероятно из Литвы. Фамилия Мышкис происходит от слова Miske – гора. Значит, в переводе на русский фамилия мужчины – Горов, а женщины – Горова.

Один из братьев – Шмуль (Самуил) – стал работать на мельнице подручным. Потом приглянулись они друг другу с дочкой хозяина, Голдой, и поженились. Брак оказался на редкость счастливым и от этого брака родились три сына – Израиль, Беньямин и Меер, и две дочери – Хая и Мася.

Все дети этой семьи из того слоя еврейской предреволюционной молодежи, которая видела свое будущее в революции, в образовании, надеялась на уравнивание в правах с русскими.

Братья уходили из дома, жили репетиторством в Одессе, пробивались через процентную норму, поступали в университет. Старшие тянули младших. Хая тоже закончила в Одессе гимназию (тоже пробиваясь через процентную норму, иначе ведь было нельзя!), тоже подрабатывала репетиторством и уехала в Петербург, где и выдержала экзамен на Бестужевские курсы.

Мася – член компартии – с головой ушла в нелегальную революционную работу; она была арестована румынской полицией и провела несколько лет в страшной румынской тюрьме, подвергалась пыткам.

Потом ее удалось под чужой фамилией как-то вызволить из тюрьмы и переправить в Советский Союз.

Масю я знала лично – обаятельная, абсолютно правдивая, за что даже, кажется, была исключена из партии – или получила какие-то ужасные неприятности. Мася так и умерла под чужим именем.

В специальности братьев я могу ошибиться, но, кажется, Израиль был математиком, а Беньямин – экономистом (он преподавал в Инженерно-экономическом институте статистику). Дольше всех с родителями оставался Меер; но потом и его потянуло в большой мир из тихого Оргеева. Он ушел в Одессу, там нанялся юнгой на пароход и уехал в Америку. В Штатах он сумел окончить университет, стал выдающимся биохимиком, организовал собственную лабораторию.

Никого из братьев я не знала, но близко знала дочь Израиля от первого брака – Марьяну Израилевну Мышкис. Она инженер, по-видимому, очень способный, т. к. в городе Миассе на автомобильном заводе грузовых машин работала в конструкторском бюро.

Была я также знакома с Абрамом Беньяминовичем и его женой. Историю семьи я знаю от Мары, Абраши и его жены Ани.

Итак, судьба всех трех братьев при Советской власти была печальной.

Вероятно, где-то в конце 20-х, может быть начале 30-х, Меер подарил свою лабораторию Харькову. Харьков был столицей Украины. Меер выкупил свою лабораторию в Штатах, перевез в Харьков и получил советское гражданство.

С ним приехали жена и двое детей – Аня и Джим. Перед Великой Отечественной войной оба были студентами МГУ; известно, что они получали премии за свои студенческие работы. С первых дней войны оба добровольно ушли на фронт и погибли, защищая свою новую родину.

А папу их обвинили в том, что он каким-то образом оказался виноват в отравлении каких-то групп населения пищевыми консервами, к производству которых он не имел никакого отношения, и в разгла-

шении каких-то «тайн», которые до него были опубликованы в открытой печати. Меер и его жена были арестованы, высланы, кажется, в Бодайбо в один из лагерей; они уцелели благодаря тому, что работали в лагерной больнице. В больнице они подружились с молодым человеком. Звали его Соломон Мазелис. После отбывания срока им разрешили жить только в маленьких городах, и они приехали куда-то на Урал, недалеко от Миасса. Там Соломон женился на Марьяне Израилевне. К сожалению, он довольно быстро трагически погиб – упал в расплавленный металл.

У Марьяны есть сын, Лев Соломонович Мазелис. Лев работает во Владивостоке в университете – он тоже математик; когда я его знала, он был кандидатом наук. Может быть, он стал доктором.

Беньямин Самойлович жил и работал в Москве. После ареста Меера он начал чувствовать какую-то слезку за собой. Но его не задерживали, не арестовывали. Беньямин любил ходить с работы пешком и ходил часто вместе со своим сотрудником, беседуя по дороге; шли они обычно по небольшим улочкам и переулкам, где не шумно и мало машин и людей.

Однажды они шли, как всегда, и этот сотрудник обратил внимание на грузовик, который ехал все время за ними очень медленно, хотя по этим переулкам грузовики почти не ездили.

Когда Беньямин должен был, как всегда, свернуть и пройти через проходной двор, друзья простились, и этот сотрудник пошел прямо. Сразу же он услышал скрежет, крик, откуда-то подбегали люди; он вернулся и увидел под аркой проходного двора перекосившийся грузовик, а под ним раздавленного Беньямина.

Эту историю единственный ее свидетель поведал Абраше, сыну Беньямина, когда Абраше было 16 лет. Я узнала о конце Беньямина Самойловича от Абраши уже в Израиле.

А Толя мне когда-то сказал, что его дядя Беньямин бросился под машину сам или, может быть, случайно попал под автомобиль.

Абраша – специалист по математической статистике, необычно-

венно интересный человек, писавший прекрасные стихи; он прошел всю Великую Отечественную войну, был тяжело ранен и умер уже здесь, в Израиле.

У него была интересная абсолютно случайная встреча: он ожидал вызова на рентген; на фамилию Мышкис встали сразу два человека. Оказалось, что это сын какого-то из двух других братьев, пришедших когда-то в Оргеево. К сожалению, тот говорил по-испански и по-английски, а Абраша – по-русски, по-немецки и на иврите. Поэтому общение было затруднено. Известно, что те Мышкисы живут в Южной Америке, кто-то из них в Рио-де-Жанейро.

Старший брат Хаи Самойловны, Израиль, успел умереть собственной смертью. Он разошелся с матерью Мары, переехал в Москву, там женился и имел дочь, Риту Мышкис. Ей всю жизнь помогала Мара, даже тогда, когда сама Мара была уже очень пожилым человеком. А Израиль умер от туберкулеза.

Дмитрий Семенович постоянно устраивал скандалы по тому поводу, что у Хаи Самойловны еврейская родня. Он очень легко приходил в ярость; тогда выкрикивались всевозможные обвинения: «из-за твоей жидовской родни», «из-за твоего брата, который продал Родину», «я не допущу в своем доме еврейскую синагогу». Он запрещал Хае Самойловне видеться с сестрой и племянниками – Масю он просто выгнал из дома и запретил ей приходить. Мася бывала у них, только когда Дмитрий Семенович уезжал в командировки.

Этот «несгибаемый ленинец» был просто трусом. Он смертельно боялся своих доблестных соратников, настолько хорошо знал он нравы этой среды. Он все-таки был помельче Молотова, жена которого сидела в лагере.

Я уже говорила, что раньше в этом доме был госпиталь, описанный в «Тихом Доне». Потом в нем помещалась квартира кого-то из заместителей Берии. Там была усиленная охрана. Квартира эта помещалась на 2-м этаже, а на 1-м этаже жили обычные жильцы. Причем Дмитрий Семенович смертельно боялся, чтобы к нему (или ко мне)

кто-нибудь не пришел. Например, когда мне надо было вставлять в несколько экземпляров диссертации немецкие цитаты, перед самой защитой ко мне пришли две подруги-аспирантки, которым я до сих пор благодарна, помогать, – это Инна Тираспольская и Женя Телешева, аспирантки кафедры истории средних веков.

Дмитрий Семенович на меня так орал и так топал ногами! И сказал, чтобы никогда ни один человек не смел бы тут появляться. Единственный, кто «появился» потом, был сын моего учителя, Якова Абрамовича Ленцмана, который сажал меня на поезд, поскольку я была беременная, – появился, чтобы взять чемодан.

Этот дом – двухэтажный очень красивый особняк с великолепным входом. Когда-то это был госпиталь. Наверху, я так понимаю, лежали офицеры, внизу – солдаты. Длиннющий коридор, двери палат в него и выходили. При мне рядом с каждой дверью на стенах коридора были тесно развешаны корыта, детские ванночки и коляски, даже чемоданы и корзины. Это была противопожарная мера – пожарная инспекция не разрешала загромождать выход – потому вешали на стены выше человеческого роста. На весь этот коридор была одна ванная комната с ванной, но без раковины для умывания (все умывались над ванной), одна большая кухня и 2 уборных. Ермаков («Сам» – как его называла тетя Фрося) – получил там квартиру, когда его перевели из Черкасс (на Украине) на работу в Москву. К моменту начала войны в двух комнатах (это была прежде одна комната, думаю, что примерно 30–35 квадратных метров с одним окном, которую поделили на две (окно тоже пополам!) и еще с маленьким тамбуром при входе – как бы кухней!) жили Дмитрий Семенович, Хая Самойловна, их дети – Толя и Лена (студенты), муж Лены, тетя Фрося (сестра Дмитрия Семеновича) и внуки тети Фроси от умершей дочери: Шура – трех лет и Дуня – лет одиннадцати.

Лишь Дмитрий Семенович дожил до получения новой квартиры и то потому, что этот дом весь расселяли; там поместили, кажется, ОВИР. «Сам» был видный партийный деятель, знавший Ленина лич-

но; Толя и Лена учились в той же школе, что и дети Сталина – Светлана и Василий. Я привожу эти сведения и для характеристики быта того времени, и для характеристики «Самого».

При мне в этой квартире жили 24 семьи. К моему удивлению, люди жили там довольно дружно. Вспоминаю, как мы один раз перезаразили всех детей коклюшем – ни одного слова упрека я не услышала.

Постепенно, однако, этот дом начали расселять. Дело было в том, что верхний этаж был отдан какому-то очень большому начальнику, чуть ли не Абакумову или его заму, и на первом этаже при входе на лестницу, мраморную, огромную, парадную – сидела в довольно большой, метров 9–10, застекленной будке, охрана. Кто бы ни приходил, всегда оттуда наблюдали. Когда мы приезжали, Дмитрий Семенович должен был предупредить, что у него будет сын с семьей.

Дуня была девочка очень хорошенькая – она такая вся золотая: блондиночка, розовая, такая прелестная девочка. И какой-то из этих охранников стал за ней ухаживать. И, по-видимому, там, так сказать, перешли эти отношения платоническую грань. И это пронюхал Дмитрий Семенович. И проявил в этом случае свою «опекунскую заботливость» о своей внучатой племяннице в единственной доступной ему форме.

Однажды я заболела; Митя требовал заботы, Виктор был в командировке. Ко мне приехала Дуня. Она помогла мне по хозяйству; она быстрая на руку, очень работающая и прелестная девушка 16 лет: нежная блондинка, золотые волосы и абсолютно русское, курносенькое, скуластое лицо с яркими губами и крупным красивым ртом, с прекрасными зубами.

Мы разговаривали о разном, и тут Дуня расплакалась и в слезах рассказала, что когда мама (тетя Фрося) и тетка (Хая Самойловна) уходят – одна в магазин и очереди, другая на работу, дядя (Дмитрий Семенович) в обеденный перерыв приходит домой (его министерство было близко) и начинает к ней приставать. Особенно ей страшно и трудно от него отбиваться, когда она после ночной смены ложится спать (она работала аппаратчицей на заводе, окончив ремесленное

училище химиков). «Я уже не раздеваюсь, – плакала она, – ну, куда мне деться? Я же не могу рассказать это ни матери, ни тетке! Он лезет ко мне руками и говорит: “Ты же другому дала, почему же мне не даешь?” Катя, какой он мерзкий, какой гадкий».

Бедная девочка! Довольно скоро она вышла замуж и уехала с мужем куда-то на лесоразработки. Там на него упало дерево, он умер сразу же, а Дуня была беременна. У нее был тяжелый выкидыш и детей больше она иметь не могла. Вернувшись в Москву, Дуня опять вышла замуж. Ее муж жил с ребенком вдвоем, т. к. его жена была в тюрьме. Дуня привязалась к этому ребенку, пыталась построить семью; но вышла амнистия для женщин – вернулась из тюрьмы мать этого ребенка. Дуня опять осталась в горьком одиночестве, жила в заводском общежитии и начала пить. Она умерла где-то почти что под забором.

Ее брат Шура с грехом пополам закончил 7 классов и работал некоторое время на заводе; ушел в общежитие; последняя работа Шуры – подрезать сухожилия у покойников, предназначенных к сожжению в крематории, наверное, чтобы они не корчились, сгорая. И он пил, пил по-черному и тоже умер, бросившись из окна.

Я абсолютно уверена, что в судьбе этих двух совсем молодых людей виноват прежде всего Дмитрий Семенович. Он взял этих детей и должен был в качестве опекуна, хотя бы по долгу, не по любви, растить и воспитывать этих детей, своих внучатых племянников. Также и горячо любимую мою Хаю Самойловну – единственно в чем считаю ее виноватой – в судьбе этих детей.

Много лет спустя мой сын Петя, Наташа, жена Мити, и я приехали в Москву. Петя был студентом МГУ. Нас пригласили остановиться на Колпачном (Хая Самойловна, Лена и ее дочь Аня были на даче).

Кажется, тетя Фрося сказала, что на кухне попадают тараканы. Не помню, какая была усмотрена Дмитрием Семеновичем связь между тараканами и не то евреями, не то именно евреями, занимающимися научной работой, но начался дикий скандал, он топал ногами,

брызгал слюной и орал. В 11 часов вечера мы выскочили из этого дома искать где-то пристанища. У Наташи был в Москве дедушка, мы позвонили ему, и она поехала туда. Мы с Петей отправились в университет – там были комнаты для приезжих родителей. Петенька мой, весь побледневший от возмущения, сказал: «Если бы я не боялся уголовного наказания, я бы мог, наверное, пристрелить этого человека, и это было бы полезное обществу дело».

Но я сильно забежала вперед! Пока что я ведь еще как бы живу на Сибирском проезде, дом № 7; сдаю экзамены в аспирантуре; учу латынь – это уже конец второго курса; готовлю и сдаю последние два экзамена по специальности. Последний экзамен – это уже как бы первая вводная глава диссертации.

И... пытаюсь как-то жить более или менее сносно со своим мужем.

Сын мой – прелестен!

На мой последний экзамен из Риги в Москву приезжает Ян Яковлевич. Экзаменом все довольны. После экзамена у меня состоится беседа с Зутисом. Он подчеркивает в этой беседе и то, что ждет от меня еще больших успехов, и то, что дальнейшее без работы в архивах Риги (может быть, и не только Риги!) не будет продуктивно. Говорит мне о том, что они с женой приглашают меня жить у них – квартира позволяет... «А снимать для Вас – дорого будет», – заключает он свое приглашение. Командировка мне дается только всего на одну поездку – на 3 месяца с оплатой дороги туда и обратно, при сохранении стипендии, но без суточных. (Это Ян Яковлевич все узнал для меня – потому и пригласил жить). Через 3 месяца я должна представить отчет – дальше будет видно... Ну, что же. «Мы Вас ждем весной», – так завершает Ян Яковлевич нашу беседу. Это было в январе. До весны есть еще несколько месяцев...

Митя! Маленький мой! Сынок? Что делать?

В конце января приезжает мама погостить, посмотреть на Митю. Разговоры, конечно, обо всем. Она готова взять Митю, пока я закончу

работу в рижских архивах. «А с Виктором пока нечего решать. Может быть, ты уедешь, и в разлуке окажется, что вы нужны друг другу; у вас ребенок... Думай пока о диссертации!» На том и расстались.

Я часто занималась в исторической библиотеке – это на Старосауском переулке; через дворы – Колпачный; нечасто, но все же я забегала туда по дороге на Курский вокзал; а когда жила в Сибирском проезде, то опять по дороге с трамвая на метро оказывалась рядом с Колпачным. Так узнавала я, как они живут: узнала, что Лора и Толя сняли комнату в районе театра Красной армии. Несколько раз заходила я и к ним, хоть тоже нечасто. За это время я родила свою девочку; потом я отчаянно старалась удержать в ней жизнь, но так и не смогла.

На Колпачный я иногда забегала, а когда похоронила собственную крошку-дочку, заезжала и к Лоре, Лора ждала ребенка. Она также рассказала мне о том, что их отношения с Толей стали портиться. Они очень ссорились. Как мне потом признался Толя, когда он стал моим мужем, она его очень ревновала. И, в частности, очень ревновала ко мне. Тогда для этого не было никаких оснований. Но тем не менее... Кроме того, она была или просто еще слишком молода, или была холодной по натуре женщиной: вся физическая сторона любви вызывала у нее насмешку и отвращение. И, конечно, это не могло способствовать хорошим отношениям между супругами.

В следующее свое посещение Колпачного я узнала от Хаи Самойловны, что у Лоры туберкулез, что она родила мальчика, и что для ухода за ней вызвали ее мать из Мариуполя. А мальчика забрала Хая Самойловна.

Как-то я зашла туда, спросить, как дела. Хая Самойловна показала мне ребенка. Он был в тяжелейшем состоянии. К тому времени ему уже было 8 месяцев, он даже не держал голову. И никто не мог понять, что у него – не могли поставить диагноз. Я всегда очень любила и люблю детей, и тут было мне очень горько. Ведь совсем недавно я схоронила свою девочку... Несколько раз я была у Лоры. Лора чувствовала себя все хуже и хуже; вскоре она умерла.

Частыми мои посещения быть не могли; я действительно была очень занята – ведь я сдавала свои последние аспирантские экзамены... Я очень, очень думала. Собственно, не о том, что будет дальше; я думала о диссертации, о том, что я могла бы еще сделать в этом направлении, как использовать эти мои несколько месяцев в Москве.

Наверное, у другого человека могли бы быть разные решения. Я же решила вот так: я не смогла отказаться от занятий, от лекционной деятельности и... от материальной независимости тоже, не в последнюю очередь.

Приходит письмо от мамы: «Как мы рады – мы получили хорошую квартиру!» Прекрасно!

Итак, перед моим отъездом в Ригу надо было отвезти Митю в Харьков, к маме. Даю телеграмму до востребования, выезжаю; адрес мне неизвестен – они только что переехали.

Поезд прибывает утром. Выхожу: чемодан с Митиными вещами – в одной руке; в другой руке – Митина рука; у Мити в другой руке – сеточка, в ней его горшок. Стою на перроне. Публика расходится.

Меня никто не встречает! Расспрашиваю, как проехать на Басейную улицу. Это единственное, что я знаю.

Со всей поклажей садимся на трамвай; едем. Сходим в начале улицы. Большая, шумная улица, 5–6-этажные дома. Куда идти? Что и у кого спрашивать? Адреса я не знаю. В милицию идти бесполезно – они еще не прописаны – потому и письма – до востребования. В каком институте работает мама – не знаю; в каком Евгений Евгеньевич, ее муж, – не знаю. В Харькове-то много институтов. Идти на вокзал... зачем? Назад ехать – так у меня денег нет, даже на булку Мите.

Уже 12, а поезд пришел около 9 часов. Митя устал, голоден, хочет спать.

На ступеньках большого дома, явно не жилого (потом оказалось, что это автодорожный техникум) сажусь; даю ему последний кусок булки, и он засыпает, приткнувшись ко мне. Я плачу тихонько. Так и сидим.

Но везло же мне в жизни! Свет не без добрых людей... Подходит ко мне молодая женщина и спрашивает:

– Что это Вы здесь сидите и плачете?

Я ей все рассказала. Она говорит:

– Вы мне расскажите как можно подробнее о муже Вашей мамы – все, что Вы знаете, опишите, как он выглядит...

И в какой-то момент моего рассказа она говорит:

– Я с ним не знакома, но я знаю такого человека. Я даже думаю, что знаю, где они получили квартиру.

Всего в одном квартале от того места, где я сидела, был их дом... Привела она меня туда, поднялась в подъезд, что-то там узнала, вернувшись посадила на скамейку в скверике перед домом и говорит:

– Тут и ждите. Это их подъезд, – и ушла.

Сижу... Тут несется моя мама, вся взъерошенная, перепуганная. Я увидела ее раньше, чем она нас. И все объяснилось: они только что переехали и потому получали почту «до востребования». Телеграмма же пришла утром, а мама пришла на почту после занятий.

На несколько дней возвращаюсь в Москву и около исторической библиотека случайно встречаю Толю. Мы встретились, а он и говорит:

– А знаешь, меня направили в Ригу.

– Ой, как интересно. Я тоже скоро поеду в Ригу.

Мы поговорили, многое вспомнили; да и поболтали просто. Он говорит:

– Знаешь, когда ты говорила, что хочешь поступить в аспирантуру, я ничему этому не верил – а смотри-ка, оказывается, можно верить твоим словам. Значит, ты действительно чем-то всерьез хочешь заниматься.

Вот так как-то. И о литературе мы поговорили, о том да о сем. Мы долго гуляли по Москве в этот вечер, и договорились, что в Риге я их найду. Но адреса своего он еще не знал.

Когда я зашла попрощаться с Хаей Самойловной, она дала мне

адрес Толи, рассказала, что мать Лоры, Надежда Самуиловна, будет жить с Толей и с Петенькой: «Ты обязательно зайди к ним. Лора много рассказывала о тебе матери и Надежда Самуиловна будет тебе рада. Не теряй с ними связи». Свой отъезд в Ригу я рассматривала, как начало новой, самостоятельной жизни. Одна моя жизнь закончилась и начиналась новая!

Я была молода; передо мной лежало будущее – защита диссертации, работа в каком-нибудь институте.

А еще впереди была Рига...

«Король умер... Да здравствует король!»

Жизнь Третья. Счастье

Что такое счастье – не знает никто,
но каждый стремится им овладеть...
Но может быть, счастье всегда и только – временно?..
Кому-нибудь удалось удержать его навсегда?

Рига, Рига, красивая Рига – так поется в одной песне на латышском языке. (Кстати, в Латвии не нравилось, если говорилось – латыш, по-латышски, латышский; поправляли – латвиец, по-латвийски, латвийский... По сей день не знаю, как же правильно?! По телевидению – московскому – говорят латышский...).

Вот я на вокзале; напротив – адресный стол. (Потом его снесли, а вокзал кардинально перестроили). Узнаю адрес Яна Яковлевича и еду к нему на трамвае, с чемоданом. Это совсем близко – одна остановка.

Как красив город! Видны парк, Оперный театр, здания XIX в. Похоже на Ленинград – это так называемый «Новый город», но видна и «Пороховая башня» XVII в.

Меня приняли очень ласково, накормили, отвели отдельную комнату; пригласили жить у них, сколько мне будет нужно. Жена Яна Яковлевича лет 50, круглолицая, большеглазая и сероглазая, небольшого роста вся уютно-кругленькая, но не грузная, не толстая – очень милая (в Москве я знала его дочь Зенту и их няню, а жену увидела впервые).

В прекрасном месте на бульваре, который раньше назывался по имени поэтессы Аспазии, а потом стал Бульваром Райниса, располо-

жена квартира. Меня поразила громадная комната – зал в 4 или в 5 окон, светлый, весь увешанный, как в музее, картинами.

Ян Яковлевич после Первой империалистической войны (кажется, он был ранен, так как хромал немного) довольно долго жил и работал в университете города Воронежа. Я не знаю, как это получилось, но с молодых лет он оказался в России, как и многие другие латыши.

Любя свою родную Латвию и занимаясь ее историей, а, следовательно, и историей всей Прибалтики, он сразу же стал скупать и собирать везде не только опубликованные источники по этим вопросам – литературу, но и картины латышских художников. На это он тратил практически все, что зарабатывал. Няня (ее звали Паша – она прожила в этой семье всю жизнь) рассказывала мне, что когда они уезжали из Москвы в дни известной паники 15–16 октября 1941 г., Ян Яковлевич вынул кирпичи из стенки их подвала, сделал там тайник и схоронил там самую ценную литературу и (упакованные без рам) картины. Все это, к счастью, сохранилось; Зента, историк по специальности, кажется, сдала это в музей или куда-то еще после смерти отца.

Яну Яковлевичу принадлежат фундаментальнейшие исследования – монография «Остзейский вопрос в России XVII–XVIII вв.» и ряд других более мелких работ на ту же тему.

А уж как он знал архивы по этим темам! В Риге – государственный и городской, в Таллинне – государственный, в Тарту – университетское хранилище, в Москве – Центральный архив древних актов и рукописный отдел библиотеки им. Ленина... Жаль только, что ему поручали в нашем институте общие курсы, а не специальные. Преподаватели должны преподавать то, в чем они уникальные специалисты, а то, что в любом учебнике, пусть бы студенты сами читали и учили...

Ну, я, естественно, в первые же дни, когда отметила командировку, выяснила, какие там, в архиве, дела – Ян Яковлевич мне посоветовал, какие материалы заказать, я получила пропуски в городской архив и в государственный.

Именно тогда я поняла, насколько увлекательна работа в архивах. В Москве я более преодолевала трудности средневекового нижне-

мецкого, училась читать русскую архивную скоропись XVI в. – борьба с трудностями и их преодоление – тоже вещь, не лишенная интереса и даже азарта.

Но теперь, теперь я поняла другое: до меня вдруг дошла романтика поиска и открытия: хоть и описанные уже кем-то архивные дела, но их содержание, их глубину открываешь впервые – ты! Тебе первому открываются связи между событиями, пусть даже уже описанными в литературе, и фактами, которые встают перед тобой на архивных страницах. Люди, жившие 400 лет назад, вдруг говорят друг с другом в твоём присутствии; ты читаешь в архивных документах, какие дома они занимают, с кем судятся за эти дома, и видишь эти дома на улочках старой Риги, на них написаны имена их владельцев.

Я и раньше интересовалась бытом, жизнью средневековых горожан: чем занимались, во что одевались, что ели; как формировался цеховой строй, почему где-то побеждала реформация, а где-то католицизм.

Но теперь я просто «побывала» через архивные записи цеховых уставов на цеховых собраниях, на приеме новых членов, на их пирах.

Стали прорисовываться социальные проблемы и связи национальных и религиозных разногласий.

До решения этих проблем было так далеко! Но тем важнее и тем увлекательнее было, что вопросов становилось все больше и все острее возникало желание найти на них ответы. Жить становилось все интереснее.

Когда я уже начала заниматься, пошла навестить Надежду Самуиловну и Толю.

Они жили в Старой Риге, в так называемом «Кошкином доме». Напротив этого дома находились здания Большой (объединение привилегированного слоя населения Риги, преимущественно связанного с торговлей) и Малой (цеховое объединение) Гильдий. Подробнее об отношениях этих двух корпораций здесь говорить не место – это материал для исторических исследований, но о Кошкином доме расскажу легенду, которая не была подтверждена архивными данными, но которую мне рассказал едва ли не сам Ян Яковлевич.

Будто бы в конце XIX в. был в Риге богатый торговец лесом – латыш. Он хотел войти в состав Большой Гильдии и внес на это деньги; он также устроил прощальный пир для Малой Гильдии, членом которой он был. Но все его старания успехом не увенчались: Большая Гильдия его не приняла, а Малая обиделась за то, что он хотел перейти в Большую.

Тогда этот человек в отместку обеим гильдиям на трех башенках своего дома поставил чугунных (во всяком случае, металлических) котов, которые, выгнув спины, собрав почти вместе четыре лапы и подняв хвосты в позе драки и презрения, тем, что под хвостами, были обращены к гильдиям.

Члены обеих гильдий были возмущены, и было вынесено обязательное решение – повернуть котов мордами к гильдиям – все же не так оскорбительно; а убрать котов хозяин наотрез отказался. Потом, кажется, дом достраивался, и на новой этой части был на башенке посажен пес.

При мне оставалось лишь 2 кота; потом один из них был свален ветром, и висел, еле держась; потом их сняли, и один кот лежал довольно долго на тротуаре – очень внушительная, увесистая «статуя»... Действительно, если бы она упала – это очень опасно... Большой был кот! При мне в Большой Гильдии помещалась Рижская городская филармония, а в Малой был Клуб профсоюзов.

Надежда Самуиловна встретила меня очень тепло – чувствовалось, что я – подруга ее умершей дочери, о которой ей Лора много рассказывала, – для Надежды Самуиловны я была своим человеком.

Надежда Самуиловна по натуре контактный, гостеприимный и добрый человек, хотя и несколько истерического характера. Лора мне не рассказывала о своей семье и, к сожалению, я знаю об этом очень мало.

Вот то немногое, что я знаю от Надежды Самуиловны. Ее девичья фамилия была Свинарская. Но она носила фамилию мужа – Рыкунова (кажется, его звали Петр Петрович); ни Лора, ни ее младший брат Володя никогда ничего не говорили об отце – у меня сложилось впе-

чатление, что они его не помнили. Надежда Самуиловна была очень хороша собой (был у нее портрет – лет в 30 – очень красивая женщина: своеобразный разрез глаз, прекрасные черты лица, волосы).

Когда я приехала в Ригу, ей было года 52–53, не знаю где и как она училась, но она правильно говорила, была не только вполне грамотна, но так сказать в бытовом смысле культурна и начитана. Я думаю, что ее муж рано умер. После смерти мужа она как-то «пробивалась» – с двумя маленькими детьми – нелегко это; она хорошо шила. Последние лет 10–12 перед Великой Отечественной войной она работала секретарем при директоре громадного Мариупольского металлургического комбината. Этот человек, хоть и не оставлял свою жену и, кажется, двух детей, но как бы имел параллельно две семьи – об этом очень многие знали.

Его связь с Надеждой Самуиловной в течение этих многих лет была постоянной. Он помогал ей во всем; много помог он и в том, чтобы «поставить на ноги» детей. Тем более было трудно, т. к. у Володи начался туберкулез.

К началу войны Лора была на 4-м курсе МГУ, а Володя учился в старших классах школы.

Во время немецкой оккупации Мариуполя этот директор был расстрелян в первые же дни. Надежда Самуиловна и Володя (по поводу туберкулеза он был освобожден от военной службы) оставались в Мариуполе. Они рады были, что хоть Надежду Самуиловну не расстреляли вместе с этим директором. Связь с Лорой, потерянная на годы войны и даже после нее, восстановилась не сразу. Ведь Лора поменяла фамилию, вышла замуж, уезжала из Москвы; изменились адреса и Лоры, и Надежды Самуиловны.

После отступления немцев восстановилась связь Лоры и Надежды Самуиловны. Когда Лора заболела туберкулезом и родила ребенка, Дмитрий Семенович Ермаков (отец Толи) сумел получить для нее разрешение на прописку в Москве. Это было очень трудно даже для него, работника КГБ – ведь она была в оккупации. С этих пор и после смерти Лоры Надежда Самуиловна жила вместе с Толей и растила Петю.

Через пару месяцев после моего приезда в Ригу познакомилась я и с Володей при очень печальных, даже трагических обстоятельствах. К этому времени Володя уже жил под Москвой в общежитии Библиотечного института и был на 4-м курсе. В Москву он приехал с любимой девушкой (она была гречанка и звали ее Клара). Клара, как и он, увлекалась литературой; вместе они поступили в этот институт и собирались пожениться по окончании. Они жили в общежитии, кажется в Малаховке. Однажды они ехали на занятия на электричке и Клара заметила, что она что-то забыла взять с собой; она попросила Володю вернуться, но он не хотел пропускать именно эту лекцию, и Клара вернулась сама – она собиралась приехать на следующей электричке. Сядясь на поезд, она как-то сорвалась, поезд тронулся и ее перерезало. Останки Клары увезли в морг. За Володей приехал в институт кто-то из товарищей; и этот друг, видя состояние Володи, купил ему билет и посадил его на поезд в Ригу. Володя приехал в Ригу... В Москву поехал Толя: он и похоронил Клару. А состояние Володи было крайне тяжелым: он винил себя в ее смерти, был в отчаянии... – бедный юноша едва не сошел с ума... Толя после похорон вернулся в Ригу... Маленький Петя что-то даже помнил об этом, он меня спрашивал: «Кто попал под поезд?»

Я приехала в Ригу через пару месяцев после этого случая – Володя уже съездил в Москву, сдал экзамены и опять приехал в Ригу. Мы тогда и познакомились. Он произвел на меня тогда впечатление человека, хоть и очень увлеченного своей специальностью, но в крайней степени болезненного и угнетенного своим горем.

После окончания института он получил назначение в город Чебоксары. К нему уехала Надежда Самуиловна после того, как стало ясно, что жизнь нашей семьи – Толи, меня, Пети и Мити вместе с Надеждой Самуиловной невозможна.

Но это было позже. А пока Надежда Самуиловна и Петя (он считал ее мамой) были очень привязаны друг к другу. Пете исполнилось 4 года. Это был славный малыш – абсолютная копия отца.

Надежда Самуиловна говорит мне: «Ну, зачем ты будешь искать

себе квартиру? Оставайся с нами. У Толи своя комната, а мы прекрасно проживем все трое; и нам с Петей, и тебе будет веселее». Мы договорились, что я буду вносить деньги на свое питание, а она будет все равно всем готовить, прокормит и меня.

С утра я уходила в архивы и читальный зал библиотеки Академии Наук Латвийской ССР. Я много работала, и это было трудно. Знакомый мне с детских лет готический письменный шрифт вспоминался медленно – я ведь им никогда потом не пользовалась; язык архивов (средне-нижненемецкий) тоже затруднял; сами эти архивы тоже не легко читать. Они были написаны в XVI в., да еще на средне-нижненемецком (так назывался диалект живущих на Прибалтийской низменности немцев). В Москве я даже специально читала романы на этом диалекте; теперь для каждой рукописи приходилось составлять как бы «её» алфавит – особенности почерка и написания отдельных букв. И это было все так трудно и... так интересно!..

Но не менее интересными были и вторая половина дня, и вечер! Иногда мы гуляли с Петей и Надеждой Самуиловной по парковому кольцу Риги, часто ходили с Толей на концерты в филармонию, главным дирижером оркестра был Арвид Янсон. Часто ходили в Оперный театр (я очень любила оперу). Толя немножко посмеивался надо мной за это пристрастие, но при его музыкальности, когда он читал партитуры, как мы читаем книги (я знала только двух людей, на это способных – Толю и Израиля Марковича Глазмана уже в Харькове) – все равно музыка доставляла ему большое удовольствие и давала зарядку. Толя занимался всегда и везде очень напряженно и интенсивно.

Сложился странно-семейный образ жизни.

Ну вот, с этого все и началось. Во-первых, я очень привязалась к Пете. Во-вторых, всё больше стал меня интересовать Толя Мышкис. Небезуспешно.

С этого началась другая часть моей биографии.

Мне очень трудно говорить обо всем этом. Но тем не менее, поскольку я обещала, что я расскажу всю правду, у меня нет другого выхода.

Да, вот одна у меня была любовь в жизни. И любовь и страсть... Да это была ТАКАЯ ЛЮБОВЬ... о ней пишут романы и стихи, говорят о ней музыкой.... Но я бессильна рассказать о ней – это просто невозможно.

Но если на склоне лет я вижу во сне только Толю; и что мы спасаемся от бомбежки, взрывов и обстрела, продираемся сквозь колючую проволоку; всегда спасаем, тащим буквально по земле какого-то ребенка, которого мы во что бы то ни стало должны спасти, ползем и передаем этого ребенка друг другу, и кто-то умирает у меня на руках... Наверное, это и есть нерасторжимо возникшая связь в моей психике с Толей и с детьми.

Наверное, это показатель того, что был этот человек в моей жизни единственным и главным; показатель того, какую роль в прошедшей нашей жизни сыграли для меня дети и семья. Жизнь моя подходит к концу. Но эти сны не оставляют меня...

Странно, что почти так же, как и в мой приезд в Свердловск, в первую же неделю по приезде в Ригу, я оказалась под трамваем.

Произошло это так.

Ходила я на высоких каблуках, тогда были модны узкие юбки. И вот, ехала я на трамвае в архив, и захотелось мне соскочить на ходу с моторного вагона, притом с задней площадки; а там был еще и прицепной вагон. А поскольку юбка была узкая, то вперед соскочить я не сумела, и упала.

И ноги мои оказались под прицепным вагоном: один мой каблук был срезан до основания, а один был срезан наполовину. То есть, до моих ног от колеса прицепного вагона осталось, может быть, сантиметров 4-5.

Все произошло так быстро, что я не сразу поняла, кто был мужчина, ругавший меня громко по-латышски (это был вагоновожатый!), и почему собралась толпа; трамвай затормозил со скрежетом; и я также не поняла, почему люди закричали... Я же даже испугаться не успела, но ужасно расстроилась, посмотрев на свои ноги: я не знала совсем, как же я пойду домой? Ну, как же, в этих вот... Туфель-то нет, а как-

то разуться, чтоб идти босиком по Риге... что-то как-то было это уж очень некрасиво.

Я потом испугалась, только когда пришла домой, сняла рваные чулки, и выбросила эти туфли без каблуков; но тогда же я подумала, что трамвай никогда не будет причиной моей гибели, и утешилась.

Дважды лежать под трамваем и остаться живой и невредимой – это был «знак судьбы». Тем более что здесь, в Израиле, трамваев-то нет! Есть автобусы... Иногда они защищены решетками от камней, которыми их забрасывают.

Есть также много других способов погибнуть насильственной смертью. Терроризм, он не дремлет. Отнюдь!

Например, когда едешь по дорогам, то совершенно ты не застрахован, что в ту машину, в которой ты едешь, или в тот автобус, в котором едешь, не будут стрелять из проходящей машины. Даже иногда, как передают по радио, жертв нет. А иногда и очень даже есть: часто печальные сообщения, что столько-то человек убито и столько-то увезли в больницу; а что вчера кто-то был ранен, и он в больнице умер.

Или вот стоят люди, ждут автобуса. Террорист-смертник взрывает себя, и гибнут многие вместе с ним; взрывчатое устройство еще начинено бывает множеством болтов, гаек, гвоздей. Чтобы было больше жертв.

Опасность грозит везде и каждому – моим детям, внучке, правнучке – всем... Но я ведь дома сижу, мне безопаснее.

Вот так и идет, идет себе время. И мне уже столько лет, что, несомненно, я и высокие каблуки носить не буду, и прыгать с автобуса не буду, и из машины еле вылезаю, если меня в машине подвозят... Жизнь все-таки проходит... А по телевизору вижу, что везде теперь то же самое: взрывы и теракты...

Когда я приехала в Ригу, выяснилось, что после смерти Лоры Толя уже успел жениться на другой женщине, и у них даже есть ребенок – девочка Таня.

Объединение наше с Толей шло трудно. Конечно, самым трудным было решиться – Толя остро чувствовал свою вину перед Ниной.

Я решила быстрее, чем он; но и я ведь прожила с Виктором не один год – много трудного мы прошли, Виктор был нежным и преданным отцом... И вообще много было всякого... Но решение было принято. Важно было и то, что Толя все равно вынужден был с одним ребенком как бы все-таки расстаться: или с Ниной и ее дочкой, или с Петей... и со мной. Но и формальные вопросы тоже решить было трудно – для развода в то время требовалась публикация в местной газете (в московской – по месту жительства как Нины, так и Виктора); очередь была и в судах – это тоже время и поездки в Москву. Кроме того, развод оплачивался – а денег у нас не было. Но в конце концов – эти трудности были позади; на это ушло года два; наконец, разводы были оформлены; дети усыновлены; у них у всех было теперь одно отчество и одна фамилия.

Когда все это завершилось оформлением нашего брака – 23 мая – Толя очень сожалел о том, что вот не сразу мы к этому пришли, и вину свою перед Ниной не забывал, но и радовался очень: как теперь все просто! Ничего никому не надо объяснять – мы были спокойны и счастливы.

С Толей нас многое объединяло, во многом (хоть далеко не во всем) были у нас общие взгляды; я очень любила Петю (и люблю его по сей день, абсолютно не различая его и Митю в своем отношении к ним).

Было решено, что на следующую за этим летом осень Митя уже будет жить с нами. Его привезли моя мама и ее муж, Евгений Евгеньевич Стефановский, приехавшие к нам в отпуск в июле.

В сентябре мы переехали в Риге в другую квартиру. «Кошкин дом» передавали Академии Наук, а военных расселяли в другие квартиры.

Мой муж и Семен Борисович Айнбиндер попросили поселиться в одной квартире на ул. Гертрудес, а потом Карла Маркса, 54, кв. 13. Их кто-то предупредил: «Будете жить вместе – перегрызетесь».

5 лет прожили мы в одной квартире и даже дачу снимали рядом – и не поссорились ни разу. Навсегда остались самыми близкими друзьями.

Процесс этого расселения и передачи квартир, заселенных семьями военных из КЭЧа (квартирно-эксплуатационной части военведа), шел через городские отделы коммунального хозяйства, а для этого, то есть для самой передачи, необходима была прописка проживающих по этим адресам. Тут вот и выяснилось как-то, что на площади капитана А.Д. Мышкиса в 68 кв. м проживает он один! Но это же было невозможно, незаконно... (Я-то не могла отдать свой паспорт, прописанный в Москве, с печатью о браке с другим человеком в Рижское отделение милиции). К нам явился некий проверяющий милиционер. Он весьма удивился странной мебелировке – чтобы не сказать убожеству – нашей квартиры. Он спросил меня: «Вы что это здесь общежитие организовали?» Ну, я как-то пыталась что-то объяснять, но он очень рассердился, слушать ничего не стал и приказал: «Ответственный квартиросъемщик должен явиться в райотдел к начальнику. Вот повестка на явку, выяснение обстоятельств и уплаты штрафа». Он был вежлив, суров и краток.

Толя всегда и постоянно испытывал почти непреодолимый страх перед разными начальниками, вроде милицейских. Я очень испугалась; дети тоже, хоть и не знали точно, но что-то почувствовали и тоже перепугались. Да! Этого, конечно, следовало ожидать, но мы как-то совсем об этом не думали.

Пошел Толя в милицию – некуда было деваться... Пришел: ссутулился, как-то голова втянута в плечи, глаза даже как бы косят. Я знала за ним этот вид крайней угнетенности и подавленности. Рассказывает очень нехотя. Впрочем, сам начальник милиции как бы и прилично себя держал с ним; но выяснения вопроса все же не наступило. Возможно, будет штраф. «Господи! Ну, если заплатим, что же потом-то?» – «Я как-то не понял. Тебя вызывает. Завтра на 15:00». Ну, что же делать? Как мне кажется (может быть, я и не права!) все время нашей советской жизни вопрос о прописке граждан был полностью в компетенции начальника районного отделения милиции. Закон был только: обязательна прописка: жены к мужу, мужа к жене и престарелых родителей к детям. Все остальные случаи – как ОН решит, так и

будет. Никаких жалоб или просьб в вышестоящие инстанции не разрешалось. Ну, да ведь деваться-то некуда. Оставляю детей на Наташу и Варю. Иду... Это недалеко, на нашей же улице.

Конечно, очень тяжело и неприятно постороннему человеку все это объяснить. Говорю, что ведь дела о разводах – это же годы! А на мне двое детей... Ну, конечно, мы с Толей виноваты (нарушили советские законы), в частности, вот о прописке... Но раз уж так случилось – нельзя ли найти какой-то выход? Не плачу... Очень прошу, и ради детей, и ради наших отношений. Страшно даже сказать в милиции слово ЛЮБОВЬ! Начальник молчал долго. Не спрашивал почти ничего. Потом позвонил в звонок и вышел, оставив мой паспорт на столе, а меня в кабинете.

Вошел некто в штатском. Стал меня расспрашивать – ну, всю биографию мою. И родители – кто? И муж? И в Ленинграде – где я жила? А потом, значит, и говорит: «Как истинно советская гражданка, Вы понимаете: живя в Латвии, Вы находитесь в особых условиях. Именно поэтому Вы должны сообщать нам обо всех разговорах, действиях, настроениях окружающих Вас людей. Да, я знаю, конечно, Вы ответите мне, что Вы это сделаете, если почувствуете в этом необходимость. Но все же, именно потому, что Вы все понимаете – я прошу Вас подписать вот этот документ. Это Ваше согласие на сотрудничество и обязательство о неразглашении факта этого соглашения в настоящем и в будущем и о сегодняшней беседе».

Он положил передо мной на стол отпечатанный бланк и дал ручку. Я подписала. Он не отдал мне мой паспорт, взял этот бланк, попрощался и сказал: «Вы дождетесь начальника отделения. Он отдаст Вам Ваш паспорт. Когда мы захотим встреч с Вами, мы вызовем Вас повесткой в милицию. Но никому о целях Ваших посещениях и о беседах во время посещениях Вы не должны говорить. Вы подписали обязательство о неразглашении государственной тайны. Помните об этом».

Я сидела одна, и в голове у меня все переворачивалось. Не то чтобы я думала – нет. Это какое-то совершенно особенное состояние, когда в голове что-то трясется, скрипит и бултыхается, а мыслей нет.

Вошел начальник. Поглядел на меня, как-то усмехнулся, даже как бы сочувственно и ободрительно и сказал: «Капитан Мышкис оставил мне заявление – просьбу прописать Вас на его жилплощадь. Я имею право только на такую форму – без предоставления жилплощади». И подает мне заявление с резолюцией: «Прописать Е.Д. Гальперину на кроватное место к А.Д. Мышкису». Он даже извинился за формулировку: «На кроватное место – это такая форма, Вы не обижайтесь!»

Я вышла, шатаюсь. Голова у меня просто трещала, гудела и лопалась в прямом смысле слова. Ну и первое, что я сделала, отдавая заявление с резолюцией Толе, рассказала ему и Семену все. И оба стали утешать меня: «Ведь ты же не дура – будешь говорить то, что сочтешь нужным!» Толя даже уверил меня, приободрившись, что жизнь наша и дальше пойдет вместе, что ничего страшного; что у него даже есть друг, который как-то по математике в чем-то им, этим самым, помогает. Но мне было очень гадко на душе...

Правда, вызывали меня всего два раза; спрашивали что-то, я отвечала какую-то чушь. О чем кто говорил – ну, о людях, о ценах, о детях. Так я отделалась легким испугом. Это, конечно, было все очень неприятно, но мы в то же самое время были заняты и совсем другим, может быть, и о формальностях как-то не вовремя подзабыли.

Нашу семью ожидало осложнение, которого я совсем себе не представляла и не ожидала. Когда появился Митя, естественно было предположить, что мальчики будут расти в одинаковых условиях, воспитываться одинаково – ведь это же одна семья. Но Надежда Самуиловна категорически вела себя так, что получалось, я с Митей – одна семья, а она с Петей – другая. Она и раньше очень баловала Петю – он же был единственный. Теперь она по-прежнему продолжала баловать Петю (например, Петя ел только одни сладости, а от остального отказывался с ревом); баловала она Петю, а Митя был тому далеко не равнодушным наблюдателем, начинались детские ссоры и конфликты. Тогда Надежда Самуиловна всегда была несправедлива к Мите; Митя плакал, Петя учился злорадствовать – сделали так, как он добивался, а Митю можно и подразнить.

Это стало невозможно терпеть. Толя тоже был во многом не согласен с воспитанием Пети – например, считал, что его пора учить читать и считать. Я ему говорила: «Недоволен – учи сам!» Но я все же понимала, что ему надо математикой заниматься, а не обучением детей. Обучение детей – это моя обязанность и моё горячее желание; моё, но Надежда Самуиловна опять же была против столь раннего обучения детей, как и против всего, что считали нужным мы с Толей.

Надежда Самуиловна устраивала истерики – очень громко обвиняла меня и Толю в равнодушии и нелюбви к Пете. В конце концов, ей пришлось уехать к своему сыну в Чебоксары.

Я до некоторой степени стала понимать Нину. Борьба за Петю она не хотела, а может быть, не умела. Петя при Надежде Самуиловне иногда становился очень капризен и неуправляем, а у Нины была своя маленькая дочка. Нине было удобнее и спокойнее жить в Москве со своей мамой, чем брать на себя ответственность за уже большого чужого ребенка, далеко не всегда ангельски кроткого.

Для меня Петя никогда не был «чужим ребенком». Он был Толин, а значит абсолютно и мой.

Может быть, Нина – не борец по натуре...

Не знаю, грешна ли я во всей этой истории.

Мне казалось тогда, да и сейчас кажется, что, выбирая семейное спокойствие, взаимно хорошие отношения и любовь, которая выросла в нашей семье, нельзя было все это ставить под удар, потому что Надежда Самуиловна была достаточно истеричного нрава, или потому что ей не нравился мой сын.

Ладно, ее нет, она уже умерла, и мне тоже уже скоро туда же... Кто судья? Только уже либо Господь Бог, либо дети, уже взрослые, уже сами бабушки и дедушки.

Надежда Самуиловна уехала, остались Толя, Петя, Митя и я. Такой вот стала наша семья.

И всё же... Чувствую я, что грешна за свое счастье как-то сразу и перед Ниной, и перед Надеждой Самуиловной, и перед Виктором.

Да, я долго была счастлива, но заплатили за это другие люди сво-

ими горестями. Не было другого способа от этого узла избавиться – только рубить; а в узел были связаны живые люди и их судьбы.

А я, по природе своей – действенная натура – боролась и рубила. И было и другим больно, и мне... Ах, как нелегко...

Может быть, меня оправдает суд будущего. Двадцать лет мы всё же были счастливой и дружной семьей; даже после ухода Толи еще много лет сохранялась эта дружба и эта сплоченность... А это немало.

Да, это была «лестница счастья», но начиналась она круто и трудно.

Мы с Толей решили непременно завтракать всем вместе и вовремя: режим дня должен быть разумный, должен быть порядок во всем; завтрак и утро – это и общение с ребятами, и их воспитание; у всех есть дела: работа у Толи, у меня – диссертация; у детей – смена занятий – прогулки, игры, вечернее чтение для них. За годы армии Толя оценил положительные стороны дисциплины. Я тоже, помня занятия с папой и сама занятая работой в архивах и библиотеке, понимала, что наш быт должен быть четко организован. День для меня начинался раньше всех – я ведь и завтрак подготавливала, и кое-что старалась успеть сделать еще в это «тихое» время, пока все спали.

Для всех день начинался в 7:30. «По-военному», точно в 8:15, ни минутой позже все должны быть за завтраком, обычно в 9:00 Толя уходил или на занятия, или в свою комнату заниматься. Все это было очень правильно и хорошо задумано, а исполнение – каждый день по четкому расписанию все осуществить – это лежало на мне... Только добиться-то этого было совсем не просто!

Когда я приехала в Ригу, Пете должно было исполниться четыре года; Митю привезли трех лет. Дети были прелестны, достаточно развиты и любознательны, но какие же они были разные! Петя часто бывал со своей бабушкой в кино; она ему много читала. На день рождения – четырехлетие – кто-то подарил ему очень хорошо сделанные маленькие счеты; думаю, что как на них считать, ему показал отец. И у Пети началось увлечение – он все считал... Начал с того, что считал все книги (каждую книгу откладывал – одна единица; потом в

соответствии со следующей книгой – другую единицу). В доме у нас кроме книг не было ничего, что можно было бы считать в количестве больше десятка! Потом он стал считать, сколько ему лет; отец показал порядки – тогда он стал к своим годам прибавлять мои...

Это постоянное увлечение счетом, мне такое чуждое и непонятное, к пяти годам уже дало Пете возможность на счетах подсчитать – Боже! – сколько он прожил за пять лет дней, потом – сколько я, а потом – его папа. Он все хотел (вместе со мной) посчитать, сколько же я прожила часов... Ужас какой-то! Я до такой степени не любила и не умела никогда считать... Петя остался в своих подсчетах в одиночестве... Позже он считал, сколько минут и даже секунд... И вообще, такому увлечению я не могла соответствовать. Но, слава Богу, кроме этого, для меня ужасного его увлечения, он умел и любил что-то вырезать, а к шести годам уже склеивал из детских журналов какие-то крепости, замки и целые города из картона.

Митя был совсем другой. Считать он совсем не любил, хоть и мог посчитать до десяти. Когда Толя раз предложил ему за столом посчитать, сколько здесь ложек (их было на столе пять), Митя засмеялся весело и сказал: «Зачем их считать, папа? Просто надо к каждой ложке добавить еще и вилку – это будет удобно для обеда». Он не любил, как Петя, что-то вырезать и клеить, но любил что-то громоздить – ящики наши, стулья и табуретки. С ним приехал его трехколесный велосипед – он к нему что-то приделывал. Сначала он к рулю и раме своего велосипеда приделал фанерку (небольшой кусок). При движении велосипеда она ритмично постукивала, а Митя объяснил: «Если быстро-быстро все повторять слово “мотоцикл”, то получается как-то “тукл, тикл, тукл, тикл”. Вот я и сделал себе из велосипеда мотоцикл. Я сам придумал... Мам, верно ведь, похоже? Да?» Он сделал как-то к велосипеду и «кабинку» (тоже из небольшого ящика); что-то прикручивал веревками к чему-то, делал то «поезд», то «крепость».

За завтраком разрешалось поговорить с папой, что-то спросить. Но Петя чаще всего молчал (он очень плохо и неохотно ел и был погружен в свои подсчеты), а Митя был «почемучка» – говорил хорошо,

свободно и вовсе не глупо. При этом Митя всегда был внимателен за столом и к отцу, и ко мне. Помню, как-то были на завтрак какие-то бутерброды (по количеству действующих лиц, т. к. жили мы очень трудно – я еще скажу об этом). Толя их очень похвалил. Тогда Митя говорит мне: «Мама, дай мне ножик». Он разрезал свой бутерброд пополам и положил отцу на тарелку. Петя, если бы его попросили, наверное, отдал бы; но отдать что-то другому без просьбы ему в голову не приходило.

Вообще, начало нашей семьи было известной ломкой в жизни обоих мальчиков. До тех пор, у своих бабушек, каждый был единственным и во многом избалованным. Митя хотя бы ходил в сад и приучен был вовремя вставать и ложиться, не то было с Петей. При Надежде Самуиловне Толя завтракал один и уходил. Петя и его бабушка вставали обычно после 11 часов (но и ложился Петя в самое разное время – то они были в кино, то в гостях). Любил Петя только сладкие изделия из теста (то покупные, то домашние) и конфеты; ели в самое разное время: например, обеда или завтраков или ужинов просто не бывало. Ели, когда Петя хотел и только то, что он любил.

Сложности по «выработке разумного семейного режима» возникали с самого утра. Я должна была приготовить завтрак – это на кухне; накрыть стол – это в нашей большой комнате, называемой «столовая». За это самое время мальчики должны были одеться (неприменно сами! Надежда Самуиловна одевала Петю – и это очень возмущало и раздражало Толю). Но вот, как ни странно, Петя-то как раз и научился одеваться сам аккуратно и быстро. А вот Митя!.. Первой ежедневной утренней сложностью было его «самоодевание». Никак я не могла быть уверена, что он одевается! Если бы я была в той же комнате, конечно, я хоть и не одевала бы его, но могла бы «руководить» этим сложным процессом... Хорошо бы мне быть сразу и в кухне, и в нашей спальне – а вот не получалось.

Не знаю почему, но он весь в каких-то мечтах, фантазиях и вопросах. Одеваясь, он постоянно то накручивал чулки на шею, то штаниш-

ки надевал не на ту сторону, ронял лифчик, терял резинки; находил что-то, ползая по полу, потом терял что-то другое. А время шло! Я так не хотела и даже боялась опоздания – недовольства Толи. Ведь он же шел на лекцию в военное училище, где опоздания просто невозможны.

Ну, наконец, подходил обряд умывания и чистки зубов (это уже было в пределах моей видимости – рядом с кухней, в ванной и вот! – точно в 8:15 дети, одетые и умытые, готовы. Мы все завтракаем. Но тут начиналось следующее мучение. Петя ест нормальную еду не желал: он давился, сидел, надувшись, иногда даже доводил себя до рвоты.

Но, наконец, завтрак, так или иначе, завершался, и далее шла прогулка. Но об этом я расскажу несколько позже. На долгие годы утро стало для меня каждодневным предельным напряжением сил и нервов. Я не знаю, как было надо, я пишу, как было. Мы с Толей были в этом едины – но... Толя относился к детям очень серьезно, с уважением – едва ли не большим, чем ко многим взрослым. Но может быть, он не понимал (а я думала, что так надо!) и требовал в то время от детей, пожалуй, многого даже не по их возрасту. Но, с другой стороны, не были бы исполнены эти его требования – как бы я смогла справиться с тем грузом, который взяла на себя?

Но детям было – Мите три, а Пете четыре года... Это теперь я понимаю, глядя в прошлое – они еще были такие маленькие, а мы от них все требовали... мы говорили «вы уже большие», «так надо, потому что»...

Толя был сторонником раннего обучения детей чтению; Надежда Самуиловна была категорически против. Я же не имела на этот счет своего четкого мнения и, естественно, раз Толя так считал, начала заниматься с детьми. Я начала учить Петю и Митю с азбуки и чтения. Потом я же учила читать и свою дочь, и внучку, и внука, и правнучку – и все они легко и очень быстро выучивали азбуку по картинкам; и все они читать (т. е. взять в руки книгу и читать ее для своего удовольствия) начинали лишь между пятью и шестью годами. Может быть,

это был какой-то ныне устаревший метод (буква – слог – слово), а может быть, это было потому, что учила их я – т. е. один и тот же человек, так и результат был один и тот же.

Петя и Митя с первых же наших занятий отнеслись к чтению совершенно по-разному. Митя легко и быстро освоил буквы и перешел к слогам; читал вывески и заглавия; всегда спрашивал, что это значит; но дальше этого не шел почти 2 года; он легко запоминал с моего голоса стихи Чуковского, Барто, Маршака и даже Маяковского, любил их декламировать и делал это хорошо.

А Петя... Он моментально запомнил буквы, а потом... потом он начинал злиться и плакать, когда надо было слить буквы в слог. Какое уж там чтение! Какие стихи! Со слезами, конечно, занятия я не вела; мне было очень грустно, но как-то дело замедлилось. Все-таки хорошо, что я вовремя поняла: надо начинать с «другого конца», а я даже уже несколько опоздала. Дело было в том, что Петя плохо говорил, и понимал это. Но вот что странно: ведь настоящих дефектов речи у него не было; т. е. он мог говорить не очень чисто, но вполне понятно. Он привык говорить нечетко, не стараясь: так ему было легче. Он привык говорить как бы неряшливо; слышал, что это плохо, но «перечувствовать» говорить ему вовсе не хотелось.

Вот пример: «Петенька, какая крыса?» – «Ну, мама, как ты не понимаешь! Это не та клыса, сто на мысу похоза, а та сто на доме лезит».

А впереди была школа. Может быть, научить его правильно говорить было даже важнее, чем читать. В школу он должен был пойти, говоря как можно лучше, чтобы не стали бы его дразнить. Это могло бы так тяжело отразиться на его нервишках, на его ребячьем самолюбии; этот ребенок и так многое уже перенес и выдержал всякого... Я должна была избавить его от этого нового горя в будущем. Я была должна...

В противоположность этому был на моих глазах и действительный дефект речи у Толиной племянницы Ани, Петиной ровесницы. Ее не понимала даже ее мать; только бабушки – Хая и Фрося – понимали ее. Три года, каждый день, даже по воскресным дням (за исключением

полутора месяцев лета – когда тоже давалось задание на каждый день) девочку возили через всю Москву к логопеду. И ее выучили говорить. Она пошла в школу, чуть-чуть грассируя, что не помешало ей большую часть жизни работать (и очень хорошо!) преподавательницей английского языка, кажется, в Юридическом институте.

А вот Петя мог говорить, но не хотел! Потому и читать не хотел – ведь надо же было произносить, проговаривать, а тем более стихи! Их надо было читать еще и с выражением. Возникали конфликты. Я говорила: «Не понимаю! Что ты сказал?» Петя сердился, плакал, топая ногами убежал из комнаты, забивался в уборную и сидел там... Ах! Как я вспоминала и задачу $3 + 7$ и свои занятия с папой... Ведь я тогда точно знала, что надо сказать $3 + 7 = 10$, но я не хотела. И как я плакала в уборной – а ведь была уже большая... Как я понимала своего маленького, упрямого Петьку!.. Но впереди была школа...

И вот постепенно, понемногу (Боже мой, как это было трудно и ему и мне!) как бы поднимаясь на высокую гору, с дрожью от напряжения, шаг за шагом шли мы все вверх – и начинал он говорить все понятнее и, наконец, заговорил вполне понятно, уже не сбиваясь... Правда, с тем же небольшим дефектом, что и его отец – чуть-чуть не выговаривать «р».

Ни Толе, ни Пете этот дефект не помешал быть прекрасными лекторами. Правда, когда Петя уже прошел конкурс в Московский автомобильный институт, заведующий кафедрой поставил ему условие: выучиться с логопедом говорить правильно. Петя выучился, но... при чтении лекций он опять вернулся к своему нормальному выговору – как бы проглатывая букву «р» – и ничего не случилось! Так и читает мой сын лекции, и очень хорошо к тому же.

Да, а вот книжки Петушок мой «зачитал» между пятью и шестью годами; стал правильно говорить и сразу же читать.

Всей семьей жить мы начали, когда семьи военных переселили из так называемого «Кошкина дома» на Гертрудинскую (ул. Карла Маркса), д. 24; у нас была 13-я квартира – из шести комнат, большой кухни и маленькой «девичьей» (для домработницы) комнаты. Получили

эту квартиру мой муж и Семен Борисович Айнбиндер по обоюдной просьбе – по 3 комнаты на семью. Сослуживцы подсмеивались: «Номер квартиры дурной... Вот увидите, пропадет ваша дружба – поселитесь вместе – перессоритесь!»

Семен Борисович и Толя работали в Рижском Высшем Авиационном училище; оно было как бы «младшим братом» Академии Жуковского в Москве; оба они знали друг друга еще по работе в Москве: Семен окончил академию и адъюнктуру и работал на кафедре баллистики; Толя, окончив академию, тоже работал на кафедре математики. Жена Семена – Наталия Борисовна Этингоф – режиссер; в Риге она работала в ТЮЗе. У них было две дочери: Маша – младшеклассница и Лена – на год моложе Мити; была у них и постоянная домработница Варя, вырастившая Лену.

Я так многим обязана этой семье! Всем, всем, включая и Варю. Если бы не Наташа, не знаю, все ли мои дети остались бы живы: было одно очень тяжелое время, когда были больны и маленькая дочь, и Митя – оба по больницам. И когда я находилась в больнице с Катюшей, и когда уезжала (то по делам защиты, то работая в Минске), детей я оставляла, а «подхватывала» их семья Айнбиндеров. Друзья были и раньше и позже – но такого, как с Айнбиндерами больше уже никогда ни с кем не было. Однажды, когда мы с Толей были в самолете, который едва не потерпел аварию, написали нечто вроде завещания (на случай общей гибели нас обоих) с просьбой, чтобы наши дети воспитывались у Айнбиндеров, чтобы их не передали никаким родственникам. О многом свидетельствовала такая бумага!..

Те два лета, что я работала в Минске у заочников, Наташа «отвечала» за моих детей – это по целых два месяца. Правда, в это время у нас была хорошая, достойная доверия домработница... Но все равно – главной в этих случаях была Наташа. Все это экстремальные ситуации, но и каждодневная жизнь наших двух семей шла бок-о-бок и как-то даже не просто параллельно, а в ряде случаев, сливаясь в общую.

Требования к детям были одинаковы – разрешалось и запрещалось одно и то же. Лена все свое время проводила с моими детьми; даже

есть со своей тарелкой (т. к. она жила на диете – у нее была с детства как-то больна печень) Лена приходила к нам. Завтрак у нас был осложнен Петиним нежеланием есть нормальную еду. Его привычки были в этом отношении и вредны, и для меня невозможны – не могла же я кормить семью одними пирожными! Он сидел насупившись, еда остывала, становилась уже вовсе невкусной. Я подогревала. (Недаром, когда я ждала Катюшку, думала: «Да пусть кто угодно родится, только бы он ел не как Петя!»)

За едой постоянно Петя начинал плакать, давился... Бывало, Толя уже уходил на работу, а мы все сидели. Плакал Петя почему-то на букву «И-и-и-и!» Я однажды и говорю ему: «Плачь на букву «Б» или «П»!» (Я думала, он перестанет). Он попробовал мрачно – не получается. «Ты вот сама и плачь на свою «Пы», а я всегда буду плакать, как мне удобно!» – и с новой энергией – «И-и-и-и!» Его было очень трудно «выключить» – рев его то стихал, то усиливался, но продолжалось это очень долго. В конце концов – ну хоть что-то! – Петя проглатывал; приходила в нашу половину Лена, и тут мы начинали собираться гулять (выяснялось, что можно взять с собой, сколько игрушек, или не брать ничего – смотря какие были наши планы!) Этим занимались дети; я же бросалась на кухню. Обычно, встав рано утром, я успевала почистить овощи для супа, подготовить что-то из мясного к гарниру на обед; теперь я (скорей, скорей!) мыла посуду; оставляла Варю заготовленное заранее на обед – приготовить; закладывала в бак на газовую плиту белье – вскипятить; оставляла крупу или картофель – сварить. Все это оставлялось Варю.

Милая Варюша! Если бы не ее каждодневная помощь, как бы смогла я обеспечить две прогулки с детьми в день (первая – по 3, вторая – по 1,5 часа), готовку пищи, покупку продуктов, стирку и уборку? Да еще и занятия с детьми и завершение, дополнение и оформление диссертации к защите?

Как и в юности, так и тогда я очень много успевала. Сейчас, когда мне идет девятый десяток, я очень удивляюсь: как это я успела? Но ведь перечисляю-то лишь действительно сделанное и бывшее.

Обед готовился; на кухне всем руководила Варя, а я, забрав всех троих детей, отправлялась на прогулку. Дети очень любили со мной гулять: мы ездили в зоопарк; там всегда удавалось подсмотреть что-то интересное из жизни зверей. В эти часы посетителей не было; было тихо и пусто. Один раз мы видели, как несколько маленьких диких кабанят (они полосатенькие, очень хорошенькие) и три котенка играли на полянке. Все они были такие маленькие, что пролезали свободно из клеток и возвращались в клетки к своим мамашам. Однажды мы видели, как папа-слон, взяв веник в хобот, отшлепал слоненка... Мои дети очень любили такие прогулки. Постоянно ездили в парк, где были собраны старинные постройки из разных мест Латвии – там были лес, озеро, мельницы, амбары и старинный дом-музей этнографии на открытом воздухе.

Если не получалась далекая прогулка, шли в парк в городе; дети очень любили ходить в какой-то не очень людный парк (кажется, он назывался Матвеевский?). Там можно было забираться на разрушающуюся каменную стену; был там «бывший» бассейн – без воды – тоже было интересно лазать. Этому я сама учила детей: летом – по деревьям в лесу, зимой и осенью – по развалинам камней. Им были очень интересны остатки взорванного моста через Двину: на берегу остались глыбы камня, какие-то конструкции, потом это все, конечно, убрали. Теперь я уже не помню, во что именно мы играли, но в одном из парков на развалинах каменной стены мы почему-то проводили ниткой как бы провода... Зачем, не знаю, но тогда придумывали целые истории с сюжетом. А уж бегали, лазали, прятались – вволю! Ребята в восторге! А Пете прогулка даже придавала хоть минимальное желание поесть!

Однажды во время вечерней прогулки мы вышли из дома около шести вечера. Детям давно было обещано покатать их на парходике – через Двину и обратно. Это было в конце октября – в это время в Риге бывает уже темно. Шли мы к реке по улице Суворова (Мариинской), и нам надо было пройти мимо пятиэтажного (или может быть, четырехэтажного) здания городской, а может быть, республи-

канской милиции. Мы радостно предвкушали пароходик и вдруг... Ко мне из здания подходят с двух сторон два милиционера и спрашивают паспорт. Ну, зачем мне для такой поездки паспорт? Он, конечно, дома. «Ну, тогда, гражданка, пройдемте!» Нас заводят в здание, мимо охраны, за загородку, ведут куда-то вверх и по коридорам, сажают в каком-то расширении коридора на нескольких стульях (как бы место ожидания, без окон) и со словами «Подождите здесь!» уходят. Мы, не успев опомниться (все это происходит в темпе!), остаемся сидеть. Дети спрашивают: «Мам, а пароходик? А сколько тут сидеть?» Я ничего не понимаю, но начинаю развлекать и отвлекать детей. Говорим все выученные стихи Маршака и Чуковского... Я начинаю какую-то бесконечную сказку о похождениях мышонка Пита... На мое счастье: невдалеке просматривался туалет, дети хоть смогли туда сходить. Сидим. Прошло уже два часа. Прошло еще два часа. Спросить не у кого – коридор пуст в обе стороны. Дети дома в девять ложатся спать. Митя прилег на стуле и на меня облокотился – дремлет. Петя что-то считал и теперь тоже дремлет. Вдруг – о радость! – по коридору цокает каблуками девушка, может быть, в туалет. Я, как тигрица, бросаюсь к ней и умоляю со слезами, уж совсем не как тигрица: «Девушка! Ну, милая, Вы же женщина. Ну, помогите же. Зачем нас тут держат? Ведь без пропуска я же не могу уйти! Ну, почему нас задержали? Дети уже спят, Вы же видите. Ну, кто нас выпустит?» Я не плачу, только чтобы дети не расплакались. Она, бедная, даже до туалета не дошла. Тоже оторопела от такого зрелища и от моих просьб и молений. Сказала: «Я сейчас» – вошла в какую-то дверь, взяла детей за руки, подвела нас к какому-то кабинету, детей завела, а мне сказала: «Ждите!» Я стою у этой двери – слышу голоса. Девушка сразу же вышла; мне говорит: «Вы не волнуйтесь» – и побежала, куда шла раньше. Говорит мужчина – отвечают мальчишки. Что именно – через дверь не могу понять. Вдруг слышу: Петя плачет. Тут я влетаю в дверь; мы с Петей бросаемся друг к другу – он в меня вцепился, но замолк. По щекам еще слезы текут, но раз я рядом, уже не плачет. За столом три очень каких-то важных милиционера – по форме видно. Просят извинения,

обещают все объяснить, но продолжают беседу («допрос») детей. Где живут? Оба рапортуют адрес. Кому сколько лет – одному почти четыре, другому пять с небольшим. Отвечают.

– Вы с папой вместе живете, или с дядей?

Ответ четкий:

– С нашим папой. А дядя Семен и тетя Наташа – они тоже с нами вместе живут в одной квартире, и Лена и Маша».

Вопрос (на который, как потом выяснилось расплакался Петя) задают Мите, указывая на меня:

– Это твоя мама?

– Да.

– А откуда ты знаешь, что она действительно твоя мама? Это она тебе так сказала?

– Дядя, а откуда Вы знаете, что Ваша мама – Ваша мама? Это она Вам говорила? Да?

После этого спрашивают меня. Что я в Риге делаю; называю фамилию Зутиса. Они находят в телефонной книге его телефон и звонят ему. Уже 11 часов вечера. Зутис мне потом вместе с Мильдой Яновной рассказывали, какое изумление вызвал звонок из этой милиции и сообщение, что я у них. Далее они спрашивали Яна Яковлевича, давно ли он меня знает (он ответил, что 7–8 лет!). Наконец, мне показали фотографию какой-то женщины, и я, якобы, на нее похожа. Она совершила какие-то тяжкие преступления и скрывается в Риге. Ее ищут. На фотографии она и две девочки. О Боже, не знаю, была ли я похожа на эту преступницу, но уверена, что когда нас, наконец, проводили мимо часовых через проходную, думаю, что на себя я была вряд ли похожа.

Почти в 12 часов мы были дома. Все просто потеряли голову: куда я могла деться с двумя детьми вместо вечерней прогулки? Толя просто пожелтел от тревоги (он очень смуглый), и он точно был похож на покойника!

Пока мы жили в Риге – года четыре – мы никогда больше не ходили мимо этой милиции – дети всегда просили: «Мам, не пойдем там! Пойдем по другим улицам!» А я после этого всегда носила с собой

паспорт. Хорошо, что хоть временная прописка «на кроватное место к гражданину Мышкису» у меня все-таки была! Но это, конечно, исключительное происшествие.

Часам к двум мы возвращались обедать и лет до шести (Пете) и до пяти (Мите) я укладывала детей спать. Я же, помыв посуду, садилась за свои бумаги: что-то правила, что-то изменяла по указанию руководителя, дополняла какие-то главы. Иногда я даже уходила в это время в архив или в библиотеку. Дети оставались – опять выручали Варя и Наташа. К семи часам Наташа шла на работу в театр, а часов с шести (1,5 часа) дети в хорошую погоду гуляли с Варей, в плохую – играли дома. В 7:30 я всегда приходила домой; вечером или я читала детям, или они играли, а я работала на кухне (белье, подготовка еды на следующий день). После девяти дети укладывались, а я по субботам мыла полы и убирала. По вечерам, или если шел дождь (дети всегда очень радовались этому), мы оставались дома, и я читала; часто и говорили о чем-то.

Наверное, самыми любимыми были «Том Сойер» Марка Твена, «Ребята и зверята» Ольги Перовской и «Животные герои» Эрнеста Сетона-Томпсона. Начинали мы со стихов Чуковского и Маршака когда-то, но дети росли быстро, менялся и усложнялся и круг чтения. Дети садились все вокруг, «впритык», очень любили, чтобы хоть немножко касаться меня. Как-то смешно, но им было не так страшно в страшных местах, и вообще уютней. Как зверюшки – в клубок, так и дети мои – поближе ко мне, чтобы чувствовать мое колено или плечо. Маленькие, они не хотели слушать ничего печального, называли такие книги «жалкими» (т. е. им было жаль героев).

Постепенно, печальные книги они тоже полюбили, но по ходу сюжета, в грустных местах они как-то расплзались от меня в разные стороны, а иногда даже я слышала шмыганье носами и некоторые вздохи и почти всхлипывания.

Иногда, если шел дождь (не могла же я всегда читать!), дети бросались играть, а я – к своим бумагам! Играли они очень хорошо; правда, Лена участвовала чаще пассивно – ее то брали в плен, то отпускали,

но она все равно была рада. Петя склеивал и складывал макеты крепостей, дети собирали из деревянных и металлических конструкторов подъемные краны, дома, машины... И вот Митя говорит: «Мам, ну ты смотри, все у нас есть, а людей нет... Подари нам кукол – и пусть даже смеются, что мы мальчишки, а куклами играем. Это они просто не понимают – ну, как же можно играть без людей?» Я и подарила им деревянные самые дешевые фигурки солдата и матроса (конструкторы – дорогие; их дарили бабушки – Толина и моя мама). Эти фигурки стали любимыми игрушками; почему-то они стали называться «салдос» и «матрос». Замечательные были игрушки: их кидали об пол, в воду (в море), закапывали в песок на пляже... Они, правда, сильно облезли, и уже трудно было отличить кто из них «салдос», а кто «матрос»; но это не уменьшало их привлекательности.

По вечерам присоединялась «большая» (третьеклассница) Маша, и тогда были войны, разведки, кораблекрушения, путешествия и ШУМ! – просто очень энергичный – и главное – равномерный. Если шум был равномерный – значит – все в порядке; если же что-то грохочет – это надо проверить! И немедленно! Ну, а если вдруг стало совсем тихо – это наверняка какие-то пакости задумали мои мальчишки (ну, например, лезут в электрический штепсель, или иным способом устраивают пожар – это уже было!).

Драться у нас запрещалось. Собственно драка произошла два раза. Один раз Митя залез на стремянку, что-то приколачивал и попросил у Пети молоток. Петя ему молоток дал, а Митя уронил его, и упал молоток на Петю. Петя ужасно рассердился. Когда Митя слез, Петя кинулся в драку: он не мог поверить, что Митя уронил, а не бросил молоток. Все это происходило очень тихо – именно потому я и бросилась в комнату. Увидела сцепившихся молча (чтобы я не услышала и не пришла), катающихся на полу сыновей... Увидев меня, оба с ревом стали объяснять мне:

– Да, вот я дал ему этот молоток, а он в меня... Больно очень! Думаешь, это мне хорошо?!

– Да я не в него вовсе... Я не хотел, я нечаянно... он сам уронился...

– Ну, вот что: за то, что не сумели договориться, как люди, а сцепились в драку, как глупые зверята, идите по углам!

Единственной мерой наказания было «разведение по углам»; у каждого был свой «именной» угол, а не играть было скучно. Это отрезвляло при буйных проявлениях чувств; для «утешения» и от скуки ковырялась штукатурка...

В последний раз, уходя уже навсегда из своей квартиры, я оглядела всю пустоту комнат и навсегда запомнила эти «годовые кольца» в углах от слез и грязных пальцев – темные за зиму, а пока мы жили на даче – светлые круги в каждом именном углу.

Второй раз как-то внезапная тишина побудила меня из кухни заглянуть в комнату: опять оба, пыхтя, дубасят друг друга, сцепившись и валяясь по полу.

– В чем дело? – вопрошаю.

Выясняется:

– Да, а он сказал, что я жид... А я не жид, это он...

Я умышленно громко, очень выразительно начинаю хохотать; я прямо падаю от смеха... Это неприятно, и оба совершенно озадачены и молча, оба еще со слезами на щеках, смотрят на меня и друг на друга. Ну, вот здесь-то я и объясняю, что в этой квартире все – кроме меня – жида... (я наполовину). Ну, и далее беседа о том, кто это – жида; почему же это все-таки обидно; почему никому не может и не должно быть обидно, что он еврей, русский, латыш, татарин – ну кто угодно.

Лишь в Харькове еще раз вспомнили мы об этом случае. Раз Митя пришел из школы с синяком под глазом и с большой шишкой. Выяснилось: кто-то кого-то в классе (это было в 6-м классе) назвал жидом. Митя подрался с тем, кто обидел кого-то этим прозвищем (а мне и учительнице потом объяснял: «Не обидно, что кто-то еврей, а обидно, что тот другой считает его хуже, чем все другие, раз это слово говорит; это слово обидное, а не то, что кто-то еврей»). И мне, и его учительнице это понравилось... Да, интернационализм я ему внушила.

Однажды я из кухни услышала ужасный рев Лены, услышала, как она с воплем бросилась от нас и ворвалась в их половину... Я, конеч-

но, пошла взглянуть, что это произошло. Мальчики мои не режут; мордашки весьма озадаченные, на меня и друг на друга – вопросительные взгляды. Не успела я ничего спросить, влетает разъяренный Семен и тащит за руку ревушую Лену.

– Какую краску дали твои безобразники Ленке? (У Ленки были нелады с печенью). Что это желтое, покажите немедленно! Вас пороть надо!

Тут оба мои героя – всхлип:

– Мы ничего ей не дали плохое, она просто испугалась.

– То есть как это «просто испугалась»? Отчего?

– Оно все жжет, как огонь, – не унимается Лена, – оно желтое – это отравка какая-то! А-а-а! Вдруг я теперь умру-у-у!

Допрос проясняет дело: вчера Лену не пустили гулять из-за насморка.

– Мы решили ее вылечить! У папы был в гостях один дядя, военный. Так вот он рассказывал, что от простуды отлично коньяк помогает... Мы и дали ей в чашке немного. Он же желтый... А она не хотела пить... Тогда мы и сказали: ты пей, это просто краска! – и бутылку мои «деточки» предъявили.

Пришло время Пете идти в школу. А он считал и на счетах и без, да так, как не каждый взрослый может, и читал уже вполне самостоятельно.

Мы с Толей обсуждали это. Толя все же склонился к тому, чтобы отдать его во второй класс. Не учли мы, что, оказывается самое-то страшное – это писать. Какой наступил в доме кошмар! Петушок, милый! Он так стремился «соответствовать» своему «высокому положению» второклассника. С ужасом вспоминаю я Петино поступление в школу и первые полгода его обучения (пожалуй, с таким ужасом я вспоминаю только первые годы жизни Мити и Кати, мою грудницу и кормление их грудью).

Он ходил во вторую смену к двум часам. С утра он садился за стол после завтрака (он уже стал съедать хоть что-то) – делать уроки. И все начиналось с заунывного, горестного плача:

- И-и-и, – плакал он...
- Господи, что случилось? – он начал писать не в той клетке. – Ну, начни еще раз.
- Нельзя.
- Ну, вычеркни.
- Нельзя.
- Ну, сотри.
- Нельзя.
- Ну, вырви страницу... Ну, возьми другую тетрадь.
- Нельзя, нельзя, нельзя! И-и-и-и!
- Ну, брось уроки. Пойдем погуляем, я ведь иду гулять с Митей, Катюшей и Леной, – его невозможно переключить!
- Нет. Нельзя не сделать уроки!

Мы уходили, а он оставался сидеть за столом над своей тетрадкой. Он, бедный, иногда плакал часами. Боже, он уже сам – дедушка, милый мой сын; и мне девятый десяток. А я и сейчас вижу его, маленького, над тетрадкой, за круглым столом в нашей рижской большой темноватой комнате и слышу его горестное отчаянное завывание: «И-и-и» – то громкое, то утихающее почти; то он опять, погружаясь в это отчаянное «нельзя», все громче плачет: «И-и-и»... И я была в полном бессилии помочь ему или что-то изменить! А это ведь силы ребенка, его нервы!

Обычно ребенка можно как-то отвлечь, «заговорить». Но он мотал головой и не обращал в таком настроении внимания ни на что: ни на игрушку, ни на неожиданный рассказ о чем-то... Ах, если бы это были минуты, но это ведь были часы отчаяния... Как я хотела помочь и не могла абсолютно никак.

И все-таки дети росли; мы жили в очень большой, я бы даже сказала, родственной близости с семьей Айнбиндеров. Не только все праздники всегда отмечались вместе с Семеном и его женой Натальей Борисовной Этингф (Айнбиндер), обсуждалось все: экономика, политика, научные события, семейные и детские проблемы. Вечером в кабинете Семена о чем только ни говорили – абсолютно обо всем; у

нас и друзья были общие. И решения по многим важным вещам не только обсуждались, но и выносились: и что делать, и как жить.

Первые несколько лет в Риге мы здорово нуждались. Может быть, ни раньше, ни позже я не жила в таком тяжелом изнуряющем безденежье, как тогда. Впрочем, мы, все обсудив с Толей, пошли на это сознательно. Так, мы с Толей сразу договорились, что я отказываюсь от алиментов на Митю.

Во-первых, я хотела, чтобы у детей наших была одна мама – я, и один папа – Толя. Я не собиралась даже рассказывать им о сложности нашей семьи (я рассказала это Мите и Пете лишь в день Митиной свадьбы и то, по настоянию моей свекрови).

Во-вторых, я думала, что если Виктор не будет платить алименты (а это очень трудно – 25% зарплаты, да еще для всех обязательный государственный заем), это поможет ему построить новую семью.

Все-таки, какую-то долю своей вины перед ним я ощущала. Не знаю, была ли я права: сейчас другие взгляды. Но тогда мы с Толей именно так решили. Кроме того, с того момента, как Толя жил в Риге, а Нина с ребенком в Москве, Толя каждую зарплату переводил ей деньги – 25% зарплаты. Но когда было принято решение (еще до оформления разводов, и моего, и Толи) о нашей с ним совместной жизни, Нина обратилась в суд, и суд присудил выплатить ей деньги за все прошлое время. Так получилось, что больше двух лет (кажется) Толя платил Нине 50% зарплаты! Кроме того, тогда все граждане страны обязаны были подписываться на заем 10%; затем шли налоги от номинальной суммы; в результате после всех вычетов Толя на руки получал четверть своей зарплаты. Это были совсем небольшие деньги. У Толи хранилась пачка почтовых квитанций на деньги, отправленные Нине. Но выяснять это надо было бы через суд, а Толя категорически не хотел и не мог обращаться в суд; он тоже чувствовал свою моральную вину перед второй женой и ребенком. А уж кто понимал его, как не я! Вот и получилось, что жили мы очень бедно: я не работала, а нас было четверо, и жить было не просто трудно, но иногда – невозможно.

Помню, когда-то я попросила в долг 10 рублей, и меня спросил человек, который мне их давал (это был муж моей подруги, Сакшак):

- Как ты собираешься прожить на 10 руб. 3 дня?
- Проживу, что ж делать, у меня нет другого выхода.

Умудрялась, выкручивалась, но было очень тяжело.

В полном и прямом смысле я считала каждую копейку: даже хлеб покупала только самый дешевый: вместо мяса часто покупала копченые кости, из них варила суп; детям покупала кефир. Узнавала, в каких лавочках и когда будут продавать дешевое несортавое мясо; покупала (зимой) свиную голову, говяжье и свиное сердце, легкие, почки, вымя – все делила так, чтобы непременно было на суп и на второе. А Петя так капризничал с едой – ни овощей, ни даже сырых фруктов (например, яблок) не ел категорически.

Мои дети не были избалованы ни едой, ни игрушками. Помню, раз из Москвы привезла я им из коммерческого магазина (тогда только что открылись!) замечательные две груши – какие-то южные. Они съели; а потом как-то стали рассказывать: «Такие были вкусные груши, почти как морковка!»

А ведь детям многое хотелось. Но они каким-то своим особым чутьём угадывали и никогда ничего не просили, не ныли: «Мам, купи!». Они очень многое понимали... Я была должна всем, кто только мог дать нам деньги взаймы; у одних брала – другим отдавала; постоянно закладывала в ломбард две дорогие брошки, доставшиеся мне от папиных женских предков, свою золотую крестильную цепочку и крестик, обручальные золотые кольца. То закладывала – то опять выкупала. Толя утешал: «Потом, ты потерпи – деньги у нас будут. Это только сейчас, пока; а потом будут! Обязательно!» И жалел: как хотелось бы иметь деньги сейчас, в молодости... «Но они у нас будут, обязательно будут; ты не бойся». Жить было трудно; трудно было «потерпеть», но ни разу из-за этого не возникло никакого отчуждения между мной и Толей.

Я брала взаймы – не могла не взять, но и отдать вскоре не могла – своим соседям Айнбиндерам и Яну Яковлевичу была должна долго

и много; что-то иногда подсовывала мне Хая Самойловна («только никому не говори!»), иногда присылала моя мама. Именно в то безденежное время мы с Толей дали себе зарок: когда у нас будут деньги, и у нас будут просить в долг – никому не отказывать. И мы этот зарок исполняли. Но пока, увы! – мы только занимали: есть надо было каждый день; надо было платить за квартиру; у нас были значительные, но необходимые расходы: на оформление моей диссертации, на поездки в Москву и мне, и Толе (он работал над докторской).

А ведь надо было еще и какую-то одежду покупать и Толе, и детям; Толе особенно после демобилизации пришлось купить все, ведь военное раньше было, а теперь? Он же ходил на работу – это я никуда не ходила...

У нас были три довольно большие комнаты; одна около 35 кв. метров. В ней стояли стол, 4 стула (их мы купили через полгода) ...и ящики, оклеенные газетами и бумагой, с посудой и игрушками. Также в углу был «гараж»: стоял трехколесный велосипед; два других угла были «именные». Из этой комнаты был вход в нашу (детскую и мою спальню). Там стояли две раскладушки, солдатская железная кровать, и на стене были крючки, где висело необходимое из платья; в оклеенных ящиках лежало белье, мои и детские вещи. Спальня тоже была проходная – последней комнатой был Толин кабинет, того же размера, что и наша спальня. Там стоял один канцелярский стол, почему-то с дверкой на крышке, одна солдатская кровать и одна табуретка, потом замененная на стул. На стене и двери – вешалка для Толиной одежды и по стенам – ящики с книгами, тоже оклеенные газетами (от заноз). Лишь ящики с книгами Толя привез из Москвы; все остальное – либо отдали соседи, либо Толя получил (списанное!) из училища. Достаточно сказать, что мою дочь принесли из роддома и положили в старый (еще ленинградский!) мой чемодан, у которого оторвали крышку. Я вымыла его мылом и горячей водой, положила в него одеяло байковое вместо тюфячка и простыню. Через два месяца кто-то нашел нам у знакомых старую детскую коляску (в тот момент у всех друзей дети уже выросли, и коляски давно поотдавали – потому и нашли не сра-

зу...). У меня же и своего письменного стола очень долго вообще не было. Моим «столом» был широкий подоконник. В многоэтажных городских домах XIX века строили такие – он и был моим письменным столом, где лежали все мои материалы по диссертации. Зато их не надо было куда-то перекладывать – а ведь это важно, когда пишешь: надо все разложить, не перепутать...

Зрелище было убогое – надо же было иметь ну хоть какой-то шкаф, для посуды или каких-то вещей... Но дело даже не в «зрелище», а в крайнем неудобстве: несколько граненых стаканов, 2–3 тарелки, ложки и вилки – лежали в ящике; ящик я оклеила бумагой, ведь где он только не ездил – этот ящик! Посуда хоть должна была быть чистой... Сидели тоже на ящиках...

Тогда дети (и мальчики, и девочки) носили чулки – их пристёгивали на резинки специальными зажимами, а другой конец резинки на петле пристёгивался на лифчик на пуговку. Без таких резинок чулки спадали, было холодно, да и вид был уже очень неряшливый; длинные брюки с носками мальчики носили лет после 10–12, а моим было 3,5 и около 5.

Почему-то эти резинки пропали из продажи – такое бывало и в Риге тоже! Было это уже в ноябре, то есть с голыми ногами детей не пустишь. Я долго искала, пока нашла купить с рук и заплатила за эти резинки очень дорого – рублей, кажется, пять! Это было столько, сколько я не имела права истратить на эти злосчастные резинки, но и не купить – тоже не могла: боялась простудить детей – да и стыдно гулять, если у них чулки спадают, латышские дети всегда очень были аккуратны. А не гулять тоже невозможно.

И вот, вымыв детей в ванне, я перенесла их на кухню и стала там одевать... И тут – резинки эти оказались испорчены: они теперь чулок не держали, стали, как тряпки... В первый момент я даже не поняла, что произошло.. Но мальчишки мои радостно завопили: «Мама! Эти резиночки так хорошо стреляют!» И тут я пришла в такое остервенение – как они посмели ради игры дурацкой испортить такую нужную вещь... Я ее так долго искала, так дорого заплатила... Я схватила

висевшую рядом резиновую сетку для покупок («авоську») и (Боже, с сознанием своей правоты и разозлившись предельно!) отшлёпала своих ребят по тёплым от ванны попкам... В тот момент я (бессовестная злобная тварь!) даже считала, что пусть знают, что нельзя же портить вещи ради игры. И когда они всхлипывая и вздрагивая засыпали, я даже не поцеловала их на ночь – еще унизила их, показала им, что я их не жалею и не люблю... А утром – Господи! Утром они прибежали ко мне в постель, радостные, любящие – показать: «Смотри, какие замечательные резиночки!» – поделиться со мной радостью своего открытия и изобретения.

И я увидела на их попках отпечаток сетки, даже с узелками.

Боже, ведь меня... никогда никто не... Как я могла... Неужели во мне живёт эта гадкая злобная гадина – и это – я сама?

Неужели глубина падения и подлости греха познается лишь в покаянии? «Не согрешишь – не покаешься!» Как гадко христианство оправдывает подлости, и... как оно наблюдательно...

Уж как я себя презирала, как каялась... Но ведь сделала же это: побила их, маленьких, потому что сильнее их.

Как я смела от них требовать, чтобы они поняли, что мне трудно, что не хватает денег, когда сама не сумела понять их – их, моих таких любимых, таких любящих?

Вот им уже около 60 лет – а я всё еще вижу эти две ребячьи попки: одну смугленькую и более сухощавую, а другую – более розовую и толстенную. Мне и сейчас стыдно за себя и больно за них.

Родные мои, простили ли вы меня?

Но этого больше не случилось никогда.

Это вы научили меня тому, чему только вы и могли научить: уметь быть любящей.

Лишь сейчас, когда уже вся жизнь прошла и делать я совсем почти ничего не могу, но времени на размышления предостаточно, я вдруг подумала: да, счастье – это временная вспышка, озарение, всплеск жизни. И есть большая разница в состоянии человека в момент этой вспышки и в повседневной жизни. И сама эта вспышка, и умение чув-

ствовать себя счастливым – не одно и то же, ни во времени, ни в самоощущении.

Но ведь есть же люди, которые умеют чувствовать себя счастливыми, хоть жизнь всегда трудна? Умеют и в несчастьях не быть несчастными. Что это? Характер? Или это воспитание сделало их такими? Почему я не ставила перед собой целью своей жизни сделать своих детей именно такими людьми?

Я сама испытала и Счастье (именно с большой буквы); но, кроме того, многие годы я жила трудно, но чувствовала себя счастливой – что далеко не каждая женщина может сказать о себе. Может быть, мне присуща какая-то особенно контрастная эмоциональность – когда была и вершина Счастья, но был и тяжелейший гнет Несчастья и Страха, – тоже на годы?

Может быть, в том, как мне кажется, что никто из моих детей (в том числе и приемных – особенно Люда) не чувствует в себе сил быть – чувствовать себя – счастливым, опять же я виновата? Может быть, и за это должна я просить прощения у них? Впрочем, пожалуй, оптимистичнее всех в жизни оказался Слава.

Почему я не смогла привить им, передать как с переливанием крови, умение чувствовать себя счастливым? Может быть, потому что именно их подростковый возраст, возраст формирования совпал по времени с периодом горя, страха и угнетения меня самой? Может быть, недостаточно сильным было влияние моего счастливого материнства и счастливого существования всей нашей семьи, чтобы в подростковые годы и годы юности детей оградить, «закрыть их души» от того, в чем жила я сама? Несчастной я себя не чувствовала, так как не была одна – были дети и была работа. Но в Несчастье, как когда-то в Счастье – да! – была... Но загородить их – не смогла... Этого не смогла... Вот за это я и должна просить у вас прощения.

Наша жизнь не останавливалась – может быть, даже и эти горести стали забываться – скоро я стала ждать третьего ребенка. Но всё равно, я часто была хуже моих ребят. Я всё еще была преисполнена своей

злой педагогической тупости и непреклонности. Помню, уже подрастала Катюша, ей шёл 6-й год, и однажды она спросила меня:

– Мам, а ты меня любишь?

Я ответила:

– Я тебя люблю, когда ты хорошо ведёшь себя.

Дочка как-то задумчиво сказала:

– А я люблю тебя всегда.

Вот они – ничем не замутнённая детская любовь и взрослое бессердечное резонёрство, внезапно прорвавшееся во мне...

Я была хуже детей, но всё-таки с ними и из-за них я старалась становиться (и может быть, хоть иногда становилась!) лучше.

Дети росли. Они давали столько радости, они делали меня счастливой, мне было с ними так интересно. Хотя детки были не ангелы, и с ними бывало иногда очень трудно. Всё бывало: и капризы детские, и бессмысленное упрямство, и опасные шалости... Одних пожаров они устроили четыре! Но никогда не было лжи, не было скрытности в наших отношениях.

Теперь, когда я слышу, что дети должны быть благодарны родителям, я думаю: как я благодарна своим детям! Они сделали мою жизнь счастливой, когда были маленькими; они спасали меня от гибели, когда стали взрослыми.

Кто это сказал, что счастье в наслаждении? Нет, счастье – это трудодни и трудоночи души, ума и рук; это восхождение по бесконечной лестнице с грузом, который дороже тебе всех удовольствий жизни; от этого груза – от напряжения физического труда – ноги дрожат, а ум и душа заняты именно этим целым, нераздельным грузом, который и есть твоя семья... Счастье-то как раз и есть в том, что этот груз – есть, что ты его несешь и все время вверх.

Кто сказал, что «своя ноша – не тянет»? Еще как и тяжело тянет, но не вниз, а вверх, тянет эта самая своя из всех возможных нош и грузов.

Ты взбираешься все выше, если твои дети, вырастая (не всегда, но все чаще), проявляют себя именно такими людьми, какими ты хочешь их видеть...

Счастье – это восхождение по бесконечной лестнице жизни не в одиночку, а рядом с тем человеком, кто для тебя – единственный. Это ОН идет рядом с тобой; вы вместе и все вверх и вверх. Бывает трудно: вы понимаете друг друга и едины в своем движении; и груз у вас – общий; и каждый, по-своему вкладывает в этот груз и в это движение свои силы и душу, и смотрите вы в одну сторону.

Да, может быть, эти годы в Риге и были самыми счастливыми годами в моей жизни. Во-первых, я не могу даже сказать, что я любила детей одинаково, я просто стала с ними одним существом. Да, я с ними была одним существом, хоть нас было трое. (При всей моей любви к мужу полного слияния с ним, какое было у меня с детьми, не было). Сколько и какие игры мы придумывали! Сколько прочитали, сколько узнали! И всегда с детьми было так радостно.

Однажды произошла у нас удивительная и забавная встреча. Мы гуляли с мальчиками в парке. Кормили голубей; к нам подсели два моряка. Мальчики мои были очень славные, воспитанные и бойкие малыши. Начался разговор. Морячки, оказывается, закончили в Ленинграде Высшее Морское училище и ехали по назначению в Калининград, с пересадкой в Риге. Поезд в Калининград уходил вечером. В беседе, естественно:

– Где Вы жили в Ленинграде?

– Я на Саперном переулке.

– Я тоже. На последних курсах нас селили по пустующим квартирам. Я жил в доме №10.

– Но я тоже там жила!

Тут он смотрит на меня диковатыми глазами и говорит:

– Так Вы – Катя?

Я очень удивилась... Оказывается, он жил в моей комнате, смотрел мои книги, в частности, очень много премий из этнографического музея. Мы пожалели их сжечь во время блокады. Он говорил мне:

– Вы знаете, я так хотел видеть эту девочку. Мне так хотелось знать, умерла ли она в блокаду, или ее жизнь сложилась как-то более счастливо.

Вот так удивительно и случайно! А потом я повела этих моряков по Риге и рассказала им много интересного, потому что я тогда занималась историей Риги, и это была, так сказать, одна из небольших частей моей кандидатской диссертации, – а рассказать о своей работе мне было... некому. Толе было некогда слушать, а дети были всё-таки малы. Иногда Петя спрашивал: «Что ты всё пишешь и читаешь ночью, расскажи нам!» И я пыталась. Но это было очень трудно: дети ведь не могли понять исторических сложностей развития Прибалтийского края!

А мне так хотелось найти слушателей... Толя всегда старался приободрить меня; он говорил, что еще надо потерпеть и деньги будут; еще немного... И правда: он уже защитил докторскую; моя диссертация была представлена к защите. Сколько надежд! Впереди работа...

Перед защитой я дважды ездила в Москву, и оба раза мне пришлось взять с собой детей. Они потрясли своей дисциплинированностью мою кафедру: два часа сидели на кафедре, получив бумагу и карандаши для рисования, – и не пикнули! Это было заседание уже перед моей защитой – присутствовало человек двадцать пять. Я детям сказала: «Если вы будете себя плохо вести, все подумают, что я не умею вас воспитывать и что я плохая мать». Потом они меня спрашивали: «Ну, ведь мы же хорошо себя вели? Ведь все увидели, что ты хорошая мама? Да?»

В этот же раз, представляя свою диссертацию, вместе с мальчиками я побывала в гостях у своей подруги Кати Кирпичевой. Жила она в Сокольниках, и был у них там маленький домик с огородом и садиком. Мы с Катей куда-то ненадолго отлучились. Дети остались с ее мамой, им было разрешено гулять в садике, но ничего не рвать и не топтать грядки и клумбы. Возвращаемся мы с Катей. Встречают меня мои мальчики – рты в земле, а на щеках желтые, явно морковные, пятна-следы.

– Как же, – говорю, – вам не стыдно? Вы с грядки сорвали морковку – вам это не разрешили, да еще и ели ее грязную, с землей. Что же теперь о нас подумают мои друзья?

– А откуда ты про это знаешь?

– Разве вы не знаете, мама у вас в глазах все видит – все, что вы делали... Маму нельзя обмануть. Вон у вас в глазах – по грязной морковке!

Родные мои поросята, не удержавшиеся в тот раз от соблазна... Несколько лет после этого, если они встречали меня в передней, закрыв ладошками глаза, я говорила: «Ну, рассказывайте честно! Ведь не можете вы не открывать глаз!» И все выкладывалось начистоту.

Моя защита уже была назначена, и я должна была ехать с детьми – все же оставить их на соседей я не решалась. Митя слегка подкашливал.

В поезде при приближении к Москве Митя раскашлялся, его вырвало. Я убирала это все. Поезд уже пришел в Москву и ушел на запасный путь. Проводник помогал мне; я плакала, а он, помогая, меня утешал: «Ничего, ничего, мы сейчас... Лишь бы мальчик был здоров, ведь у меня тоже есть дети, что-то вот кашель у него нехороший».

На Колпачном мы заразили всех детей в коридоре, человек 8 – у Мити оказался коклюш. И никто во всей квартире не упрекнул меня...

Защита прошла прекрасно: было написано в отзывах, что представлено фактически 2! кандидатские работы: «Рижские цехи XIV–XV вв.» и «Календарные беспорядки в Риге»; рекомендовали к печати.

По приезде в Ригу я только и боялась – не было бы опять преждевременных родов, лежала месяц с лишним. Рождение девочки было очень трудным – вес маленький – 2400 г; у меня опять мастит, молока нет; ребенок кричит; в доме холодно – осень была в этот раз очень холодная, а отопительный сезон еще не начинали.

Привезла нас Наташа Айнбиндер домой... Я смотрю на ребенка и отчетливо помню ощущение ужаса – «Что я наделала? Боже, у меня двое чудных мальчиков. И зачем же я ЭТО сделала?»

И опять у меня температура за 40. Такое нагноение, такой воспалительный процесс, что немедленно на скорую и в роддом, но в другое отделение, где инфицированные. Дети остались с Айнбиндерами! Была уже и домработница... Но что бы я делала без Наташи!

Теперь уже был пенициллин и мне не делали дренаж; но непременно надо было кормить и больной грудью, чтобы не пропало молоко...

Да! Я рожала трижды; перенесла 8 операций, из них одна совершенно уникальная – перелом тазового пояса и шейки бедра, ну и остальные тоже – не кофе с тортом выпить! Но такой муки, как кормление ребенка грудью во время тяжелой грудницы – такой муки я больше не испытала в своей жизни!

Четыре раза в сутки мне приносили ребенка. Она, моя бедная, хотела жить!.. Она впивалась в грудь, как существо, боровшееся за жизнь, как маленькая зверюшка. А я, чтобы не испускать вопли от этой ужасной боли – выдирала ключьями волосы и кусала себе руки до крови: остались даже шрамы. Но через месяц пенициллиновой блокады нас выписали: больная грудь давала 4 г. молока. В больнице ее все же докармливали и она хорошо подросла, но теперь, став сильнее, – ОО! – как больно она меня сосет! И вот мы опять дома... Начали в доме топить; это легче уже... Но голодная девочка кричит день и ночь; я даю ей 4 г. молока из одной груди и 40 г из другой; она день и ночь кричит, я – день и ночь плачу.

Однажды зашла по какому-то делу в нашу квартиру наша дворничиха Виктория Августовна – ее-то совет мне и помог. Она увидела это все и услышала крики дочки; сразу поняла, да и говорит: «У нас в деревне, если не хватает у свиноматки молока, ей дают много пить – непременно хорошо разваренную овсянку в большом количестве воды. Попробуй, хуже не будет!»

Я последовала ее совету, и, как те свиноматки, стала давать все больше молока и кормила дочку свою до 3 месяцев без прикорма; а потом стала прикармливать.

Подходил 750-летний юбилей Риги, и мне предложили издать книгу. Я понимала, что надо многое доработать. И тут начались сразу тяжелые болезни у детей: у Мити прогрессировала бронхиальная астма, развившаяся после коклюша; а у малышки в 9 месяцев вспыхнула

тяжелейшая дизентерия – всего одна какая-то муха заразная села на погребушку...

Огромное спасибо врачам, помогавшим мне, Дине Марковне Крупник и доктору Бетгишевой (к сожалению, не помню ее имени и отчества), нашим районным детским врачам. Девочке становилось все хуже; Митя ходил сам каждый день на уколы – тоже ничего не помогало. Катюшу пришлось положить в больницу. Я приезжала туда к 6 часам утра, первым трамваем. Катюша уже стояла в своей кровати и смотрела с тоской на дверь, как собачка. Завотделением, Тамара Романовна Вишневецкая (потом ей присвоено было звание «заслуженный врач Латвийской ССР»), видя, как боится моя девочка при всяких процедурах, разрешила мне держать ребенка самой. Моя девочка позволяла делать с собой, что угодно, если она крепко держалась ручонкой за мой палец. У нее были очень тяжелые осложнения; особенно серьезное на нервной почве: было перекошено личико. Массажи, кварц, электропроцедуры... Исправилось личико – спасибо Тамаре Романовне Вишневецкой!

Дома ежедневно в 1 час ночи и в 4 утра у Мити – астматические приступы. Мите около 5 лет. Он кричит: «Держи меня, мама, крепче! Мама, я сейчас умру! Мама, я не могу вздохнуть!». Петя вдруг среди ночи начнет плакать: «У меня ножки болят! Мама, возьми меня на ручки». Брала и носила по комнате – не знаю, как хватало сил... Пете нет еще 7 лет. У Пети оказались судороги на почве авитаминоза: сказалось неправильное питание – преимущественно сладкие изделия из теста, без свежих овощей и фруктов. Но диагноз-то тоже не сразу установили, врачи сказали, что главное питание. Сладкое, тесто отменить. Овощи, фрукты – надо, чтобы ел обязательно. Чтобы ел.

А Петя есть отказывается; настолько, что желудок вообще перестаёт работать – и я (вспомнить страшно – в какую муку для него, но и для меня тоже превращалась каждая еда!) – кормлю его насильно.

Это всё ужасно! Наконец, мы уехали на Взморье... Я не прощаю этого себе, но я и сейчас не знаю, что же надо было делать и как же надо было кормить Петю?

Если бы не мои соседи Айнбиндеры, не знаю, кто бы из нас выжил, а кто – нет...

Какая там доработка книги! Но Толя мне не простил того, что я оказалась такой малодушной: не сумела, не смогла... Катюша пробыла в больнице 3 месяца. Юбилей Риги еще не прошел, но сроки для сдачи книги в печать – увы – прошли...

Чуть наладилось с моими ребятами, стала я искать работу.

Хотя «наладилось» очень относительно. Астма у Мити давала очень острые приступы, переходившие в воспаления легких, особенно осенью и зимой. Катюша долго, лет до 6–7, страдала от последствий своей дизентерии.

Несмотря на это, я начала искать работу – я обращалась везде: и в музей, и в школы. Работы нигде не было. Тут мне хотел помочь Ян Яковлевич, и он договорился, что я буду читать лекции в вечернем университете марксизма, в пригороде, в Болдерае. В Болдерае стояла часть Балтийского флота, подводные лодки; там было много офицеров, для них был вечерний университет. Прочитала я там всего две лекции, и они от меня отказались. Я даже теперь плохо помню, как это было; но ясно, что лекции были плохие. В конце концов, историю СССР я никогда не читала. Я если и работала в Подмосковье в Учительском институте, то только по истории средних веков. И вообще, вся обстановка эта, человек 50 офицеров в полной форме, все старшие офицеры. Очень уж я боялась. Так что эти лекции мне не удалось.

Ян Яковлевич обещал мне, что меня возьмут работать в университет на исторический факультет в русскую группу, именно на средние века. И даже включили меня в расписание, и я уже была совершенно обнадёжена. Для того, чтоб там работать, надо было пройти собеседование в Латвийском ЦК Партии, я его как будто бы прошла... Но перед самым началом занятий Ян Яковлевич мне рассказал: ему предложили взять на это место Дорошенко, а не меня, т. к. Дорошенко был членом ВКПСС. Ян Яковлевич был очень смущен: я была его ученицей; я занималась историей Риги; уже защитила диссертацию. Но был

прямой диктат ЦК Латвии. Ян Яковлевич ничего не мог сделать; не подчиниться было невозможно. «Гайки» везде подкручивались, а в Прибалтике – тем более.

Обстановка во всей стране очень осложнилась: все острее чувствовался государственный антисемитизм; кого-то потрясло так называемое «дело врачей-убийц», кого-то напугало (для этого были все основания) – но многих (понятно тоже, кого), приободрило и воодушевило. Еще раньше того начались увольнения из армии – все по тому же признаку; евреи уже как бы не заслуживали доверия... Толю известили об увольнении из армии. Он ехал в Москву капитаном и преподавателем Рижского Авиационного высшего училища – вернулся (по положению увольнение в запас должно было происходить в месте мобилизации) штатским. Он к тому времени защитил докторскую диссертацию и был единственным доктором физико-математических наук в Латвии. Это было все ужасно несправедливо и очень обидно для его самолюбия. К счастью, правда, по совместительству он работал в Латвийском университете и смог перейти туда на основную работу.

Некоторое время мы жили относительно спокойно; Толя работал в университете; я занималась детьми – с ними работы хватало! Так, с Петей я занималась исправлением недостатков его речи (он совсем не говорил шипящие, свистящие звуки и «р») – и это надо было сделать до школы. Все недостатки прошли не сразу: это заняло года три с половиной, но главное – я успела до школы. Митя и Катя болели, каждый был хронически больным ребенком.

При переходе на работу в университет и при увольнении в запас многие данные Толиной биографии устарели, и в них следовало внести исправления. Толе выдали из личного дела его автобиографию – очень интересный документ, из которого прояснилось многое – и его увольнение в запас, и последующие события в университете.

Вся автобиография, написанная его рукой (не на машинке, так требовалось) была исчеркана красным карандашом.

Так, было подчеркнуто красным карандашом «Мышкис Хая Самойловна» – два вопросительных знака; слово «русский», которое стояло около его данных «Анатолий Дмитриевич Мышкис, русский» – вопросительные знаки и подчеркнуто красной чертой.

Этот экземпляр автобиографии объяснил, почему начался странно-неприятный тон недоверия по отношению к единственному профессору и доктору физико-математических наук в Латвии.

Я не могу сказать, что с самого начала это была травля. Но что-то такое вокруг моего мужа в Латвийском университете плелось, сплеталось, становилось крайне неприятным. Пошли какие-то слухи и сплетни. Потом был какой-то малопонятный эпизод, когда на его лекцию пришли молодые люди с магнитофоном и стали записывать его лекцию. В принципе – любую лекцию и любого преподавателя могут проверить в такой форме. Но, во-первых, лекции А. Д. были настолько выше всех лекций этого цикла в университете, что проверка это была бессмысленна, во-вторых, – запись эта проводилась безобразно; лаборанты переговаривались, что-то там портилось и т. п. А мой муж всегда очень ревностно относился даже к самой форме своих лекций, не говоря уж о содержании – все продумывалось, взвешивалось... Такое вторжение очень нарушило ход лекции. В значительной степени, эта лекция была сорвана.

Муж мой совершенно рассвирепел; он сказал, что не то «тут устраивают из лекции бардак», не то «тут устраивают балаган» – или что-то в таком роде. После этого было построено целое обвинение, что будто бы он сказал, что вся Советская власть – это бардак.

Началось тягчайшее разбирательство: моего мужа вызывали в разные инстанции, ректор в неподобающей форме делал ему какие-то внушения.

Все это было достаточно унижительно и тяжело отразилось на нервной системе моего мужа.

Здесь я хочу еще раз остановиться на одном вопросе – на отношениях нас – приезжих – с местным населением. Не знаю, можно ли мне «посметь свое суждение иметь», долго нам внушали, что с капитанского мостика виднее... Но я напишу не столько даже суждение,

сколько изложу некоторые факты. Так, например, живя на Взморье, мы много общались с хозяевами дач, семьями рыбаков, ловивших рыбу и продававших ее нам. Никогда мы (моя семья и мои друзья) не чувствовали никакого враждебного к себе отношения.

Нам постоянно доверяли. Хотя, конечно, не зря не рекомендовали военным ходить ночью поодиночке в Риге и на Взморье. Были и айзсарги – латышские фашисты.

Но было и хорошее отношение. Латвия долго входила в состав Российской империи – русским владели очень многие; надо сказать, что и приезжие были весьма разные. Так нам предлагали любую дачу, такую, какая нам была нужна. Но вот один раз мы жили у двух очень дряхлых старух; была у них еще и третья сестра – парализованная. Ее сажали в кресло под яблонями, и она там дышала воздухом. Так вот, перед нами снимали эту дачу тоже русские и тоже семья военного – полковника. В семье было двое мальчиков 8 и 10 лет. Так они залезали на яблони и... писали на эту парализованную старуху. Когда же папу попросили унять детей, он ответил: «Я снял эту дачу; я – полковник. И пусть мои дети делают тут, что хотят».

Стоит ли удивляться, что хозяева стали бояться семей военных?

Однажды в электричке мы ехали с русской мамашей и ее ребенком; ребенок захотел смотреть в окно, и мамаша поставила его на сиденье; недавно шел дождь, ножки у ребенка были грязные. Рядом сидящая латышка сделала ей замечание. Ну, наша русская раскрыла рот; она орала, что «мало вас выселили»; «вот скоро всех вас в Сибирь вышлют», ну, и т. д. (Недавно в традициях нашего государства было проведено выселение нежелательных элементов в Сибирь. Вечером были поданы машины со стражей по адресам; был дан 1 час на сборы без выхода из дома; все были погружены в товарные составы, и даже позвонить родным люди не могли. Просто исчезли – про Сибирь тоже узнали уже из писем. Во время этого выселения меня не было – я знаю это по рассказам). И тут мой муж не то, чтобы заорал, он взревел: «Молчать!» – и ударил рукой по спинке сиденья так, что у него потом рука распухла... Все замолкло.

А он стоял весь бледно-желтый (был очень смуглый), дрожа от негодования.

Тогда я как-то вдруг и подумала: «Слава Богу, что у него не было револьвера...»

Большое впечатление на меня произвел также один эпизод. Однажды, зимой в ноябре месяце приезжает ко мне хозяйка нашей дачи, которую мы снимали летом. Она – жена рыбака, погибшего в море, жила с подростком-сыном. И вдруг она плачет и, заливаясь слезами, рассказывает, что собираются отбирать дома на Взморье. Эмилия Яковлевна просит меня, чтобы мой муж согласился: она передаст ему свой дом, если надо, оплатит акт этой передачи: «Вы не прогоните меня и сына из дома. А дом будет ваш, и вы будете в нем жить всегда, а если сын вырастет и захочет, он пристроит дом, и мы поделим дом на две половины. Пожалуйста, не отказывайтесь!» Я была совершенно не готова к такой просьбе; объяснила, что надо, прежде всего, спросить моего мужа, а потом уже – что он скажет...

Ну, это оказался слух. Неудивительно. После той страшной ночи выселения латышей, после того, как продавали скarb этих людей просто мешками, 5 р. мешок, а напихивали туда, что подвернулось под руку выселявшим, – можно было поверить чему угодно.

Очень уж плохо зарекомендовало себя наше советское «освобождение» Латвии.

Особенно горько было тем латышам, что приехали из разных мест Союза в свою «родную Латвию». Их ведь тоже считали оккупантами. А они стремились принести пользу – у нас были друзья, естественно, из преподавателей вузов, из научных работников. Например, Эгле, преподаватель инженерного факультета Латвийского университета; Петр Кунин – физик-теоретик (кажется); мой муж, который буквально поднял до другого уровня преподавание математики на мехмате и оставил после себя целую плеяду молодых математиков: А. Лепин, Э. Лепина, И. Эгле, Вита Аболиня.

Наконец, Ян Яковлевич Зутис. Не от горького ли разочарования от того, что произошло с его родной и горячо любимой Латвией и с

вернувшись латышами, начал он пить и умер рано?

Это мои наблюдения по поводу интеллигенции.

Благополучное сельское хозяйство Латвии, державшееся испокон веков на богатых хуторах, после коллективизации быстро начало приходить в упадок. Земли не были плодородны; чтобы давать урожай, они требовали развитого животноводства. Сложная система хуторского хозяйства с образованным сельским хозяином во главе, знавшим в своем хозяйстве каждую тонкость, часто человеком, окончившим агрономический факультет, иногда даже за границей (недаром их называли «серые бароны»), была разрушена в самом основном – конфискацией хуторов и слиянием их в колхозы.

Именно эти хуторские хозяйства давали мясо-молочные продукты на экспорт. Не стало знатоков-хозяев – не стало хуторов... Колхозная система, при которой государственные поставки устраняли для непосредственных производителей-крестьян всякую заинтересованность в труде, вызвала, как и во всем остальном Союзе, бегство колхозников в города, упадок сельского хозяйства.

У меня три года жила в Риге очень порядочная отличная работница, молодая девушка Эльза. Она, придя ко мне, сказала: «Если Вы меня пропишете на три года, я эти годы буду у Вас работать. Потом я выйду замуж – мой жених милиционер в Риге. Но меня не прописывают в городе, т. к. не отпускают из колхоза. За последние три года нам ничего не выдали на трудодни. А работать на своем хозяйстве не дают – мы должны работать в колхозе. Кто может, любыми способами старается из колхоза сбежать».

С каждым годом, приезжая на Взморье, мы видели, как хиреют и беднеют рыбацкие хозяйства. Им стали запрещать продавать и свежую, и копченую рыбу, стали требовать, чтобы сдавали улов, давили налогами... Вот и результат: за несколько лет стало все труднее купить рыбу. Ее не стало даже в магазинах, где теперь то и дело чего-то не было, но появились очереди.

Эти строчки пишутся в 2003 г. По телевизору из Москвы сообщают о том, что русскоязычное население Латвии с большим трудом (и

лишь небольшой процент!) может получить Латвийское гражданство, что идет тенденция уменьшения количества русских школ, что многие из них закрываются... Школьники бастуют. Неужели же это справедливо? Почему забывается, что так называемая оккупация Латвии принесла той же Латвии, например, продвижения во всех областях науки? Были же и некоторые преимущества? Разве русскоязычные граждане, лишь жители Латвии, за свою работу не получали званий, например, заслуженных врачей (Тамара Романовна Вишневецкая) и учителей республики? А если не получали таких высоких званий, разве они не работали и не работают в этом государстве? И все же корень зла в той политике, что стала насаждаться в Латвии нашей Советской властью, которую теперь иначе, как «оккупация», не называют. А могло бы быть иначе, могло бы...

Росли, подрастали мои дорогие собачата! Я замечала, как увеличивалась масса ног, рук, попок; как становилось им тесно в одной ванне, как становились они сильнее. Наша колонка в ванне топилась дровами; их продавали через три дома от нас уже наколотыми и скрепленными железным обручем в вязанку. Я могла «доставить» такую упаковку дров, лишь перекатывая ее по земле и с трудом. С некоторых пор мальчишки мои сами стали покупать и доставлять домой дрова.

Мы читали много книг о путешествиях – например, уже романы Жюль Верна. Иногда начинала я (я даже чуть-чуть их «сокращала», если что-то было уж очень сложно!), а дочитывали они сами! Особенно Петя, но и Митя тоже. Интересно было теперь замечать, как изменились их разговоры между собой. Петя уже наслушался в школе дурацких страшилок. В них фигурировал «какой-то палач с кривым лицом» и какие-то преступники, которые то его ловили, то он – их. Эти «страшилки» были однообразны, но бесконечны. Митя отлично пересказывал прочитанное, оживляя его своими подробностями, очень умело вмонтированными в прочитанные сюжеты. А маленькая Лена безудержно фантазировала, чтобы не отстать от них.

Однажды у детей возникла дискуссия; она даже проходила несколько дней с перерывами и размышлениями, с привлечением про-

читанного в качестве доказательств. Раз Митя рассказывал, какие ужасные в Африке термиты, а Ленка вдруг вмешалась и говорит:

- Ну и что... А у нас на даче я видела муравья очень большого!
- Подумаешь, большого муравья, – подняли ее мальчишки на смех.
- Да, он был... он был такой большой, как ботинок моего папы!

Мальчишки стали смеяться и дразнить ее, что она врунья. Ленка – плакать.

Вот тогда и пошел у нас серьезный разговор – что такое «всегда говорить правду»? Что такое «врать»? Какова разница между враньем и фантазией? Петя рассказал, что когда он уходил в больницу (ему пришлось срочно удалять аппендицит), моя мама сказала ему, что будет «не больно». (Я была в это время в Минске).

- Да, а знаешь как больно мне было!» – говорил он.
- А зачем она так сказала – ты понял? – спросила я его.
- Нет, не понял. Ты говоришь, что врать нельзя, а она ведь мне соврала...

– А как ты думаешь, если бы она сказала тебе, что будет очень больно, тебе было бы легче ехать в больницу? Ведь нет? Потому, в этом редком случае, и следовало сказать тебе неправду: ведь если бы тебе операцию не сделали, ты бы умер... Оперировать было необходимо, но ты хотя бы ехал и шел на операцию и не так сильно боялся.

– Да, это правда. Я только и стал бояться тогда, когда мне стало больно, уже даже после операции, когда стал наркоз проходить!

– Вот видишь! Вот вы стали смеяться над Леной. А вы не правы. Вы читали уже «Пятнадцатилетний капитан» и «Дети капитана Гранта» и кино по этой книге видели. А знаете ли вы, что писатель этот – Жюль Верн – никогда не был ни в Африке, ни в Австралии... Так он что же – врал? А как все любят его книги! Как многое он написал – «придумал» в своих книгах, а это потом изобрели... Вот это и называется фантазия автора. Вы еще много будете в жизни читать. Но фантазии писателей, чтобы быть интересны другим людям, должны быть умными... А чтобы они были умными, автор должен так много знать. Как Жюль Верн – и по географии, и о разных народах – это эт-

нография; и про растения и животных. А Лена просто еще маленькая, мало знает, и ее фантазия про ботинок – тоже «маленькая фантазия» и... не очень умная. Но Лена вырастет...

Несколько дней мои ребята приводили множество разных примеров (и я порадовалась: они многое помнят, многое понимают, а главное – о многом думают!) И решили мои мальчишки, что врать – это себе для пользы кого-то обманывать... А для интереса – можно; если это никому не вредит, а всем интересно. Это ведь писатели и делают.

Иногда дети, когда очень хотят во что-то поверить, даже не спешат выяснять истину (впрочем, как и взрослые). Тяжело пришлось Пете: он свою маму никогда не видел и не мог помнить. Мамой он считал свою бабушку – Надежду Самуиловну. Они, конечно же, очень любили друг друга. Первоначально и наши отношения были вполне добрыми. Но постепенно все менялось в нашей совместной жизни, и ухудшение отношений Петя, конечно, чувствовал, но не понимал, да и не мог понять. Ее отъезд был не только тяжел и непонятен – хуже, ведь в глазах ребенка Толя, я и Митя были не только неправы перед его мамой-бабушкой, но и принесли ему – Пете – большое горе, разлучив его с бабушкой-мамой. Все это было очень непросто.

Довольно долго Петя, уже полюбив меня и привязавшись ко мне, не называл меня мамой, а – Катей. Я не настаивала – ждала, что это само придет. Постепенно это и происходило: ребенок становился все ласковее, все нежнее ко мне. Всегда вечером, перед сном, я целовала обоих детей, прощаясь и желая им спокойной ночи.

Этот вечерний час был часом секретов, признаний, иногда (только на ушко, одному) даже упреков и порицаний; но очень все было интимно – это общение со мной одной; только со мной, как было возможно только с мамой.

Прошел год с отъезда Надежды Самуиловны. Однажды вечером, перед сном, во время «вечернего поцелуя» Петушок, обняв меня, говорит мне шепотом:

- Я все думал, думал и вот решил.
- Что, мой родной, ты решил?

– Я все думал, ты со мной ведь была всегда, да? Ведь всегда?.. А вот Митю ты привезла – он жил отдельно от тебя, у своей бабушки. А ты любишь нас совсем одинаково, ведь правда? А раз так, и раз ты ему мама, то ты ведь и для меня – такая же мама...

– Спи, родной, ты все правильно решил, – поцеловала я его.

И с тех пор он ни разу не назвал меня Катей. Он так хотел верить и так уверился в том, что я – его мама! Однажды, уже когда я кормила грудью Катюшу (ей уже был год!) и она, как это часто бывает, кусала меня, и мне было больно, а мальчики мои возмутились ее «недостойным поведением». Петушок, глядя меня по руке, спрашивал меня:

– Ведь правда же, мам, я тебя не кусал, когда ты меня кормила, ведь правда?

– Почти все малыши кусают своих мам при кормлении – это не значит, что они плохо себя ведут, хотят сделать маме больно... Просто они еще очень маленькие и не понимают, – объяснила я.

Петя уже был в третьем классе; он пришел из школы, и едва я открыла ему дверь, как он бросился мне на шею, плача, всхлипывая, весь содрогаюсь от рыданий. Я ужасно испугалась. Оказалось же вот что: с некоторых пор они с Митей вдруг полюбили... петь песни.

Это были песни, которые они слышали, – в электричках их пели нищие: «Жили два друга-товарища в маленьком городе N», потом «Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой» и еще песни разные, неподходящего для сбора октябрят репертуара. Слух у моих детей был плохой – песни они пели все как-то одинаково, невразумительно, да они же и не слышали нигде ничего хорошо спетого. И вот Петя захотел спеть песню на октябрятском сборе... Его послушали и сказали: «Ты дома, конечно, пой. А на сборе – не надо».

Как он плакал... «Мама! Я так хорошо, так громко пел! Я ни разу не сбился... Ну почему, почему они не хотят?!» Я долго утешала его. Я говорила ему, что все люди разные. Вот, ты, Петушок, замечательно считаешь. Так никто не умеет, даже я. (Уж я-то поистине не умела и не научилась никогда!) Я думаю, что это очень важно для тебя, что что-то ты очень хорошо делаешь. Но ведь один человек не может делать

все лучше всех... Да и вообще важно даже не лучше всех (всех-то как измерить или найти), а просто очень хорошо делать какое-то дело. Это важно... А вот другое может и не получаться... Так я думаю, что вряд ли ты будешь, как артист петь. А я вот не научилась считать, как ты умеешь, правда? Но ты ведь любишь меня, даже если я не умею считать. Так и тебя мы все любим, и еще и другие будут любить, даже если ты не будешь хорошо петь. Это не так уж и важно, важно, что ты хороший, что ты умеешь и любишь многое другое. Ну, а пение – не для тебя. И не плачь об этом.

Поцеловал меня мой неудачливый солист и утешился. Потом, уже в Харькове, дети пытались заниматься музыкой, но оба бросили.

Постепенно «дотерпели» мы, и в семье нашей появились деньги; собственно, свободнее стало с тех пор, как я стала работать и тоже зарабатывать – с нашей работы в Минске не сразу, безусловно, но появилась и купленная нами посуда и мебель. Сначала, конечно, необходимое – стиральная машина и холодильник. Теперешней любой хозяйке даже представить себе трудно, как я справлялась без этих вещей, – одна. Ведь прибегнуть к помощи домработницы тоже стало возможным лишь тогда, когда стало посвободнее с деньгами. Покупать приходилось все; конечно, в первую очередь – необходимое; но не только... Смешно получилось, когда и как мы купили складные байдарки. Под нашей квартирой в Харькове жила семья, с которой мы дружили. У них была смешная фамилия – Зайчик. И вот, однажды к нам пришел по какому-то делу «Главный Заяц»; в разговоре он вдруг стал нам рассказывать, что был в спортивном магазине (у него был автомобиль «Москвич») и там он видел замечательные разборные байдарки – на 4–5 мест каждая. «Вам обязательно надо купить две байдарки!» – закончил он. И очень нас уговаривал. Мы как-то даже растерялись... А потом стали думать... Подумали и... купили! И ни разу не пожалели, но это было потом! Я забежала вперед!

Все те годы, что мы жили в Риге, а потом и в Минске, мы проводили лето на Взморье.

Когда дети были поменьше – это был пляж, мелкий песок, прохлад-

ное солнце, прохладное море. Ребятня строила (Бог знает, что они там строили) из песка, и там же я научила обоих мальчиков плавать. Хоть прохладно было, но зато море было мелкое, и научить плавать было не так уж трудно. Когда дети стали старше, и их еще нельзя было взять с собой, мы ездили на байдарках – Толя, его аспиранты Лиепини – Арнольд и Эра, и я. Два раза мы прошли может быть самую живописную и капризную реку Латвии Гаюю.

В последний поход на байдарках мы уже брали мальчиков. В наших походах мы часто ночевали на хуторах; никогда не чувствовали враждебного отношения к себе. Нас звали ночевать в дома, угощали овощами и молоком; если мы оставались ночевать в сараях, сеновалах или в своей палатке – просили только об одном – не курить. Очень боялись пожара и просили быть осторожными.

Мы много ездили на велосипедах. В Риге купили велосипеды, и меня научили; у меня был дамский велосипед, у мальчиков – у одного был детский, у другого и у Толи – взрослые, мы все ездили по Латвии, это было чрезвычайно интересно и полезно, конечно.

Пять лет мы прожили в Риге, на шестой переехали в Минск, но и тогда около Риги снимали дачу. Очень много ходили гулять в лес, и за грибами, и просто гулять. Очень часто это бывала большая компания: Айнбиндеры, бывшая студентка, а потом аспирантка Толи Ина Эгле, наши местные друзья – семья Ариньшей – супруги и трое детей. Близкими друзьями нашими была сестра пианиста Якова Зака. Он приезжал, и тогда была музыка...

Приезжала двоюродная сестра (или тетя) Наталии Борисовны из Минска, Лидия Сауловна Мухаринская, и ее подруга, Мария Гринберг, – и опять была музыка, музыка...

Природа Прибалтики была мне дорога – это было похоже на места под Ленинградом.

На Взморье к нам часто приезжала на лето Хая Самойловна с Аней, Толиной племянницей.

Аня выросла в очень интересного человека; она кандидат исторических наук, кроме того, стала прекрасным преподавателем англий-

ского языка; занималась историей новых африканских государств и написала об этом интересную работу. Она мужественный человек; после своей очень сложной операции на позвоночнике она не только занималась спортом, но и родила дочь – для чего надо было немало мужества.

Но нелегко было вырастить Толину племянницу с раннего детского возраста. Она родилась слабенькой; когда ей было несколько лет, ей делали какую-то операцию в носоглотке; она говорила так плохо, что ее понимали только Хая Самойловна и тетя Фрося. До самой школы они каждый день (!) возили ее на уроки к логопеду. В школе на медосмотре у нее обнаружили лишний позвонок, перпендикулярный к позвоночнику. Это грозило ей в будущем горбом. И ей опять делали операцию – позвонок удаляли, вживляли на это место кость из голени. Очень долго Аня могла только или лежать на твердом (на досках) или стоять; в школе стояла два урока, потом шла домой – ложиться. Это, конечно, было очень тяжело и для ребенка, и для семьи. И до этих горестей Аня была очень избалована – вкусной едой, игрушками, всеобщим вниманием. А в связи со всеми этими обстоятельствами Аню баловали еще больше...

В одном из своих писем мне в Израиль Аня писала, что ее каникулы у нас в Риге и Харькове – самые счастливые впечатления ее детства.

Но иногда мои мальчишки «гудели». Почему всё, как Аня хочет? Разъяснительная работа велась в нескольких направлениях: 1) Аня – гостя в нашем доме; 2) она перенесла тяжелую операцию; 3) вы мальчишки, мужчины; вы должны уступать девочке.

Я за многое признательна Хае Самойловне. Я нежно любила свою свекровь, что встречается нечасто. Не раз она растрогала меня своим отношением.

Когда по методу раздаивания супоросных свиной я тоже «раздоилась», то и располнела (вероятно, свиньям это было неважно, но мне было очень неприятно). Я осталась буквально в двух ситцевых платьях для беременных, которые мне прислала мама перед рожде-

нием девочки. Хая Самойловна поняла, как мне трудно приходится в «безденежном смысле» и как мне хочется выглядеть получше в Толиных глазах.

Она дала мне деньги, но предупредила меня: «Будь осторожна с Фросей; она, как мы говорим, «Ришелье в юбке». Она все запоминает, а потом использует в разных ситуациях; она может навредить сильно: никогда с ней не откровенничай. И об этих деньгах не говори никому». И Хая Самойловна дала мне деньги; я смогла купить себе два приличных платья и пару туфель – в них я уже могла пойти и на работу.

Хая Самойловна хорошо относилась и к другим бракам Толи, и ко мне; она никогда не делала никакой разницы между детьми; так она не порывала связи со второй его женой, Ниной Щетининой, у которой была от него дочь Таня. Я Таню никогда не видела, знала, что Нина потом вышла замуж, что у нее был сын. Больше о них ничего не знаю.

Хая Самойловна (это было 2 или 3 раза) как-то горько открылась мне. Один раз это было потому, что она должна была уезжать, и оказалось, что Толя не хочет ее проводить. Провожала ее на вокзал я. И вот, обнимая меня, она сказала: «Знаешь, ты, наверное, это поймешь... мне все-таки так горько, что Толя никогда ничего мне не напишет... и когда я приезжаю – он отстраняется от меня... Пишешь всегда ты, а не он!»

Второй раз она открылась, когда видела, как я несу груз хозяйства, что было очень нелегко при трех детях, да и работала я «на полную катушку» – тяжело, в университете. Она мне сказала:

– Знаешь, я только теперь понимаю, как я виновата перед тобой...

– В чем, Хая Самойловна?!

– Ну, в том, что я воспитала Толю так, что он никогда ни в чем тебе не помогает...

И, к сожалению, это была правда. Мне было очень трудно – Толя, как говорится, «ни за холодную воду не брался».

Станным образом Анатолий Дмитриевич умудрялся быть мишенью каких-то обвинений то в идеализме и в недостаточной верности марксизму, то в политической близорукости, если не сказать – в ненадежности.

Я знаю о двух подобных эпизодах со слов Семена Борисовича Айнбиндера – тогда преподавателя кафедры баллистики в Военно-воздушной академии им. Жуковского. Толя в то время был адъюнктом. Был у них, как и у всех аспирантов, семинар по философии; обсуждался идеализм Гегеля – при этом, можно ручаться, что никто Гегеля-то не читал... Кроме Мышкиса.

Он и высказался о Гегеле как-то положительно и изложил с его (Мышкиса) точки зрения, верные положения в философии Гегеля... Ну и пошло: идеалист, гегельянец, не марксист...

А тут еще такая нелепость: Толя очень берег свое время, так как занимался математикой серьезно. Подошел уже срок, когда он по возрасту не подходил к комсомолу; жаль ему было времени высидживать на комсомольских собраниях. Ему их комсорг и посоветовал – написать заявление, чтобы считали его механически выбывшим из комсомола. Мышкис и написал. Ага! Не дорожит честью комсомольца! Несерьезно относится к своему пребыванию в рядах коммунистической молодежи и прочее и тому подобное. Все это было несправедливо и абсолютно неверно по отношению к нему. В нем не было ни соглашательства, ни пошлости ни в малейшей степени. Он вырос в своей семье совершенно идейным, преданным политике партии человеком. Не только осуждать эту политику, не обсуждая ее, – думать иначе было невозможно для него.

Он говорил так: есть люди, которые считают, что кто-то пишет в газеты, а они не пишут, и того, что там пишется, не читают, и с тем, что пишется, не согласны. Так вот, я – пишу в газеты, я – их читаю, я с тем, что там пишут, согласен.

Я с уважением относилась к его убеждениям, но мне было иногда тяжело. Так, были вещи, за которые меня порицали, например, «за черные пятна христианства», за осуждение жестокости в приговорах по процессам «вредителей» в прошлом, или за мое «дворянское воспитание» (имелось в виду, что я в пионерском лагере никогда не была).

Когда мы собирались уезжать из Риги, у нас был за многие годы

журнал – сначала он назывался «Большевик», потом «Коммунист». Полшкафа этих журналов – они уже устарели, и я хотела их оставить. Впервые за все годы совместной жизни он посмотрел на меня сверху вниз и сказал: «Дура!» После этого журналы мы, конечно, повезли. Я от них потом избавилась, но его реакция показательна.

Дома с Айнбиндерами мы обсуждали всё: моя эволюция в отношении «политики партии и правительства» шла очень медленно, но всё-таки шла.

Толя как-то нехотя, вынужденно соглашался с нами, когда мы говорили о несправедливостях и искривлениях «прямой и неуклонной линии партии». Частично он соглашался, но чаще уходил от решения этих острых вопросов даже для себя самого.

Потрясённый «делом врачей», он и тогда не смог (или не захотел?) понять ситуацию. Я же не смела не соглашаться с ним открыто, до спора, и тоже отмалчивалась.

Тем не менее моя эволюция в отношении политических взглядов все же шла, хоть и очень медленно. Если в конце войны и в первые годы после нее я вполне серьезно, стремясь стать достойной вступления в партию, лишь как бы откладывала это для себя на время после защиты диссертации, считая себя еще недостойной этого шага, то теперь я как-то все чаще внутренне не соглашалась со многим. И вот, когда умер Сталин и когда, как и по всей стране, в Риге транслировалась траурная музыка, нагнетавшая чувство скорби и страха, – я плакала, и плакала непритворно. Я была так приучена, что во всем и все идет только от него, от Сталина – мне казалось, что с его смертью все там, наверху, станут делить власть; что «дележ» этот, естественно для нравов нашего времени, будет жуткой сварой, вооруженной борьбой между немногими, куда будут втянуты все. Я боялась и плакала от страха перед новой войной, теперь уже гражданской.

Это было очень страшное время.

После опубликования кошмарного дела врачей общая атмосфера антисемитизма сгустилась до того, что стало трудно дышать. Везде увольняли евреев.

Именно в этой атмосфере и сорвался мой муж. Я уже рассказала об этом. Но рассказать быстро, а в жизни все это тянулось и делало жизнь в Риге для нас всех, но естественно, в первую очередь для Толи, все тяжелее. Его все вызывали, все выспрашивали, все обвиняли опять все в том же – что он «Советскую власть» назвал «бардаком». Все это была подстроенная ложь; он только сказал, что на его лекции устроили бардак; Юргенс – ректор – везде на собраниях кричал: «Мы не можем держать на работе шизофреников, которые сами не знают, что они говорят».

А в это время входило в строй новое здание Московского университета. Его ректором был Иван Георгиевич Петровский – Толин учитель. Толя редактировал работы Ивана Георгиевича, между ними были очень теплые взаимоотношения, и Петровский сказал Толе прислать все документы на конкурс. И что он, Петровский, позаботится, чтоб дали квартиру в МГУ, но...

Документы Анатолию Дмитриевичу выдали с колоссальным опозданием... таким образом, он эту возможность упустил. Иван Георгиевич ужасно рассердился. Это действительно неслыханно. Что такое, не получить документы?! Когда тебе предлагают в Москве работу и квартиру! По закону-то документы на конкурс обязаны выдать немедленно!

Сейчас многое можно понять в этом. Кланяться Толя не стал, шоколадок в отдел кадров не принес, а на каком-то этапе уже не только кадровики, как «вся страна», сплотившиеся против «космополитов» (и Мышкиса в том числе), да и «органы» могли вольнуть выдачу документов.

Толя был в очень подавленном, морально тяжелом состоянии.

В это время пришла ко мне (не к Толе!) его бывшая студентка. (Кажется, ее звали Люся Шаповалова). Она просила никому, даже Толе, не говорить о нашем разговоре. Но она сказала: «Уговорите Анатолия Дмитриевича уехать и побыстрей. Я не могу сказать больше, но, поверьте, у меня есть основания для такого совета».

Может быть, она была комсоргом курса, и ее вызывали в соответствующие инстанции?

В это время Митя стал болеть все сильнее и сильнее, и врачи на консилиуме решили, что прервать заболевание может переезд в другой климат. О Мите был консилиум специалистов-аллергологов. Тогда мы с Толей поехали в Москву, и мы вместе сходили к заместителю наркома по высшему образованию. Фамилия его была Прокофьев. Я показала ему медицинские документы, что очень болен ребенок. В конце концов, он разрешил перевод Анатолия Дмитриевича и переезд, если мы сами найдем, куда уехать. И было много городов, но по ряду причин мы решили переехать в Минск. А к моменту нашего отъезда в Риге у нас уже было много друзей и знакомых, очень многие бывали у нас дома; бывали и местные, и приезжие. Кроме тех, что я уже называла, часто заходили брат и сестра Эйдусы; они окончили университет в Англии (детям государственных служащих при Ульманисе давали стипендии для учебы за границей). Он был физиком, она – преподавателем английского языка и литературы. Бывал Игорь Кирко с женой – очень красивой молодой женщиной. Игорь был директором Института математики при Академии Наук ЛССР и считался другом Толи.

Семен Борисович (мы жили в одной квартире) был директором Института физики Латвийской Академии Наук. Все это были исключительно интересные и одаренные в своей области люди. Друзьями Айнбиндеров были Анна Лацис и ее муж – Бернгард Райх. (Через несколько страниц будет ясно, почему я так подробно перечисляю наших друзей). Оба они были режиссерами. Сначала Райх жил в Австрии, потом переехал в Берлин, где очень подружился с Бертольдом Брехтом. (О Брехте Райх написал большую монографию). Райх также изучал творчество Л. Толстого и ставил одну из его пьес на немецкой сцене. Райх дружил с крупным немецким режиссером Рейнхардом. Еще до установления фашистской диктатуры, Райх и А. Лацис переехали в Советский Союз и жили и работали в Москве.

Толя послал все документы в Минск, и они прошли конкурс. Толе даже разрешили не приступать к работе до тех пор, пока нам не дадут квартиру.

Первое полугодие, уже будучи уволенным в Риге, но еще не переехав в Минск, Толя очень тяготился своим странным «полубезработным положением при зарплате». В Риге он даже продолжал вести свой спецсеминар, на который приходили несколько человек; продолжал он свой семинар совершенно бесплатно, но о дне и часе занятий вывешивал объявление. Это вызвало бешеный взрыв гнева ректора Юргенса. Он вызвал Толю к себе и орал: «Вы уволены. Вы вообще не имеете права тут выступать, а тем более еще и свои объявления вывешивать». Толя был ужасно оскорблен.

Во втором семестре Толя жил в гостинице в Минске. Я с детьми – в Риге; я свою нагрузку выполняла за лето, у заочников.

Но у Юргенса, бывшего КГБиста, оказались «длинные руки» и стойкая антипатия к Толе (уж слишком Толя был не похож на самого Юргенса)! Еще до смерти Сталина в Латвийском университете Толя был выдвинут на Сталинскую премию за его работу «Дифференциальные уравнения с запаздывающим аргументом». И когда мы уже жили и работали в Минске, Латвийский университет отказался от своей рекомендации, о чем и сообщили официально из Риги в Минск, это, конечно, было очень неприятно и унижительно. Нет, не забыл Юргенс Мышкиса, не забыл!

Ситуация сложилась довольно нелепая: уезжать приходилось из-за Митиной астмы, а весь первый учебный год Митя со мной жил в Риге. Летом я работала у заочников, к нам приехала моя мама, а потом, когда нам опять не дали квартиру в Минске, увезла всех троих детей в Харьков.

Теперь мы с Толей жили в гостинице, дети у мамы в Харькове, а квартиру все обещали.

Надо отдать должное моей маме – она не делала ни малейшей разницы между детьми. А пришлось ей трудно: она работала, мальчики ходили в школу, младшую она водила в какое-то подобие частной группы; семью надо было кормить, а снабжение было весьма неравным – не было в продаже масла, сахара. Один раз за зиму я смогла к ним съездить. Как всегда, удивляли меня чудеса в нашей торговле.

Почему-то магазины этого полуторамиллионного города продавали в ту зиму: 1) консервы из крабов, 2) битых замороженных в перышках и очень красивых фазанов, где их набили такое количество? (но других-то продуктов не было). И до и после этого я видела фазанов только в зоопарках... Где их столько было, что целую зиму их продавали во всех гастрономах Харькова? Почему крабы – только в Харькове и только в ту зиму? Кстати, это, конечно, вкусно – и птичка эта очень вкусная дичь (не хватало только «ананасов в шампанском») – но дорого очень. Больше в магазинах ничего не продавали. Или в войну и некоторое время после – года два – под Москвой в Малаховке продавали соленое мясо акул! Где их ловили под Москвой? Из каких океанов везли их на станцию Малаховка? А почему не в Бакровку?

Все: крупы, масло, все овощи – приходилось покупать на рынке.

Катюше нужна была диета; последствия ее дизентерии сказывались еще много лет; даже в подростковом возрасте ее болезни имели корни в той ее дизентерии.

Но мама не жаловалась: главное, в Харькове у Мити не было приступов астмы.

Наконец, на третий год нам дали не квартиру, нет – но нечто, где можно было жить: две комнаты, санизолятор в университетском городке.

Этот год мы уже жили все вместе; дети пошли в школу в Минске, а из Риги приехала наша домработница, жившая у нас в Риге, а потом год в Минске. В общей сложности мы проработали в Минске три года.

Кроме заочников на истфаке (эта нагрузка распределялась на летние месяцы), я работала и в Педагогическом институте, читала лекции на историческом и литературном факультетах.

И тут впервые я столкнулась с понятием «воспитательная работа преподавателя со студентами».

Хитрое это дело. Вот если бы кто-то сказал родителям: «Вы должны воспитывать детей 2 раза в неделю по 2 часа и еще один раз – 1 час». Это показалось бы просто чушью. А как же со студентами? «Политчас» раз в неделю и «посещение общежития». Что это может

воспитать у студентов? Политчас может дать известные знания в разных областях, если эти сведения, сообщаемые на политчасе, изложены со знанием предмета и пониманием задач политчаса. Ну, а что дают эти посещения? Одни «посетители» проверяют чистоту (носовым платком вытирают пыль); другие проверяют, нет ли грязного белья под матрасом у девушек; третьи являются читать вслух газеты... Ну, а если бы ко мне кто-то так являлся? Проверять пыль на шкафах?

Студенты приходили усталые; им надо что-то приготовить себе поесть, надо (иногда!) и позаниматься...

В Минске я не раз бывала в общежитии у девочек пединститута.

Я пожалела их: их комнаты были идеально чистыми, но все они были украшены безвкусными пошлыми картинками, иногда с любовными стихами. Девочки тепло принимали меня, но я четко чувствовала, как они заняты, как я им «ни к селу, ни к городу». И тогда впервые я подумала, что девочки эти, хоть уже и не дети, но первое, что может быть я хотела воспитать в них – это неприятие безвкусицы и пошлости; внушить им чувство понимания красоты... Думаю, что это повысило бы их самооценку и могло бы стать щитом во многих случаях жизни, в частности, в сложных и неизбежных любовных коллизиях.

Как и родители, преподаватель воспитывает студентов не столько на обязательных политчасах и беседах, но влиянием всей своей личности. Да, естественно, личностью следует, во всяком случае, желательно, «быть». К сожалению, личности не на сотни считают... Меня, например, «от противного» научили многому лекции Панцхавы – то, как нельзя, как совершенно противопоказано – не говоря уже о качестве лекций, а о том, как важно строить свои отношения со студентами при полном и неременном уважении к ним, к их времени, к их быту, трудному и сложному, ко всему, что встречает этих только что оторвавшихся от родного дома детей.

И такие посещения общежития с поисками грязного белья под тюфяками у девочек, пыли на шкафу – это унижение человеческого достоинства, какое уж тогда может быть уважение!

А без уважения к личности его, студента, не может быть никакого

воспитательного воздействия со стороны преподавателя. И о лекциях своих стала я очень серьезно думать: я ведь читала их на литературном и на историческом факультетах, но в пединституте. И тут я представила себе, как важно, чтобы я не пересказывала учебник, а пыталась бы научить своих студентов интересно, живо излагать свой предмет ученикам (я ведь помнила свою работу в мужской школе, сразу после войны... Меня выручила живописность и выразительность моих рассказов). И тогда я старалась, особенно на факультете языка и литературы, с одной стороны, расширить государственную программу, подробнее излагать вопросы развития культуры и искусства, а с другой – сократить обязательную хронологию и рассматривать только как бы основные линии исторического развития излагаемых мною обязательных тем курса.

Я старалась, где это было возможно и уместно, привлекать литературные иллюстрации, использовать в своем рассказе живописные детали; давала также списки художественной литературы (для детей и для взрослых) по излагаемым разделам истории.

Такие лекции и слушают с большим интересом, и запоминают лучше.

Это все, конечно, справедливо. Но для такой лекции какая же нужна предварительная работа!

Все эти размышления были и началом моей лекторской работы, и началом общения со студентами.

Прошло три года... А квартиру все обещали. Мы понимали объективные трудности, с жильем действительно было очень тяжело. Однако случайно мне стало известно, что из Ленинграда в Минск согласились переехать три профессора, у которых были совместные работы, и они соглашались только втроем, кажется, один математик и два физика, и им нужно было обязательно всем дать квартиры. В общем, мы ждали, ждали и стали искать другие возможности.

Но сам переезд на этот раз мы решили проводить более осмотрительно: сначала поехать и посмотреть все своими глазами, познакомиться с обстановкой на месте.

Мы съездили в г. Горький (Нижний Новгород). И там все очень приглашали моего мужа на работу, но квартиры – уввы! – не было. Были опять обещания, как в Минске.

Потом мы поехали в Харьков; остановились у моей мамы и первое, что мы сделали – нанесли визит патриарху Харьковских математиков Науму Ильичу Ахиезеру. Тут неожиданно возник вариант для А.Д. работать в Харьковском авиационном институте (ХАИ), где работал известный ученый математик и механик Геронимус. Наум Ильич знал и говорил, что директор института Люкевич ценит настоящие кадры, создает им условия для работы и т. д.; наконец, у ХАИ есть квартиры для преподавателей. Было решено поехать, посмотреть и поговорить с Люкевичем.

На следующий день мы пошли в кино и встретили там хорошо известного Толе математика Владимира Александровича Марченко с женой; были у них дома, ясно было, что это наши будущие друзья. Марченко тоже подтвердил, что от института квартиру, конечно, дадут, но вот когда? Этого невозможно было предугадать.

На следующий день Наум Ильич повез нас в городок авиаинститута, который лежал как бы слегка за городом.

Я испытала истинное потрясение: ничего подобного я не только не видала, но и вообразить себе не могла: как будто небо упало на землю и легло ковром перед колесами нашего трамвая.

Между рельсами под трамваем, вокруг по обе стороны между деревьями вся земля была голубая! Как будто мы в сказке о Коньке-Горбунке едем небом в замок Солнца Месяцовича.

– Что это? Что это? – спросила я, задохнувшись от восторга, Наума Ильича.

– Это пролески цветут.

И сразу же вспомнилось: «подснежника глянул глазок голубой...» Но разве «один глазок» и одну «осторожную вытянул ножку...»? Это была такая сила и мощь цветения – куда хватал взгляд – вся земля была голубая, голубые поляны уходили вдаль без единого пятнышка другого цвета. Я-то до сих пор видала только белые, с чуть розоватым отливом цветочки, тоже называемые подснежниками.

А здесь... перед окнами трех комнат нашей квартиры тоже был дубовый лес, и голубые поляны уходили до самой трамвайной остановки.

И квартиру нам показали сразу – большую и хорошую. Очень понравился и директор Люкевич. Толя потом говорил о нем очень хорошо.

Поистине Харьковский авиационный институт был «детищем» Люкевича. Люкевич был директором, когда в Харьков входили немцы, и тогда он сам взорвал по заданию свой институт; под его же руководством возрождался этот институт из руин.

Довольно долго этот институт был как бы островом среди остатков лесопарка, пустырей и картофельных полей. Рядом были маленькие поселки: один – бывшая деревня Литвиновка, а другой – поселок, около завода, описанного во «Флаги на башне» А.С. Макаренко, называемый долго «Коммуной», так как там действительно была расположена коммуна им. Дзержинского и раньше там был завод фотоаппаратов, где работали воспитанники коммуны им. Дзержинского.

Все это место называлось Померки (когда-то там все померяли и больше строить не разрешалось, потом, по специальным разрешениям строить все же начали).

Долго в авиаинституте было много корпусов и один большой жилой дом. Однажды в Москве у меня даже не хотели принимать телеграмму с адресом «Харьков, жилой дом ХАИ, кв. 13». Девушка на почте мне говорит: «Что это Вы, гражданка, пишете такое странное: Харьков, между прочим, большой город и что это за Хая, у которой свой дом?» Я объясняю, что я в этом доме живу и что такой адрес – не Хая, а ХАИ – институт авиационный. Но лишь когда я расписалась, а у меня списали данные паспорта, приняли мою телеграмму.

Больше 35 лет прожила я по этому смешному, ставшему мне родным, адресу.

Жили мы и в городе, и за городом. Выходишь из трамвая – сразу иначе дышится... Поют соловьи; вечером и ночью их трели влетают в окна, как будто они в комнате (Они в кустах, через дорогу, а поют так громко!) А в июне поют и днем.

Однажды ночью снились мне (как это часто бывало) взрывы, па-

дения бомб и гуденье немецких бомбардировщиков (они и гудели совсем иначе, чем наши самолеты).

Вдруг в мою с дочкой комнату в темноте вбегают домработница с криком: «Бомбят, бомбят!» – и я слышу в темноте шум от ее падения на пол... Темно... Я в ужасе вскакиваю, зажигаю свет. Она лежит на полу в обмороке. Бегу, достаю нашатырный спирт из аптечки, привожу ее в чувство, даю ей выпить горячего сладкого чая; она вся трясется... Не гася свет, укладываю ее в своей комнате на кровать девочки, дочку беру к себе.

Свет горит и у меня, и у мальчиков (их комната была проходная). Наконец, мы все засыпаем.

Утро воскресного дня – детям не надо в школу. Рассвело. Гашу свет. Тут я замечаю, что к ключу моего платяного шкафа привязана нитка. А вот еще нитки, еще и еще...

Призываю своих мальчишек.

Они уже большие и не закрывают глаза ладошками, как раньше (Однажды они поели морковку на огороде у моей московской подруги – мордашки были в земле. Я их уверила, что если они что-то натворили, то я это всегда вижу в их глазах; они тогда закрывали руками глаза, выходя мне навстречу. Несколько лет они свято верили в силу проникновенного взгляда – милые мои мальчишки!)

– Знаешь, мама, – вчера была у нас охота, и кто больше всех их наловит, тот победитель!

– О Господи! Кого «их»?

– Ну, жуков больших. Знаешь, какие тут жуки...

Да, действительно, еще когда мы в первый раз сюда ехали, Наум Ильич показал мне такого красавца – жука. Не кусачие, не ядовитые, абсолютно безвредные. Прекрасного коричневого цвета, длиной с ладонь взрослого человека, а на голове – длиной с его тело – рога. Жили они на дубах в роще против наших окон; может быть, они питались соком дубов или какими-то дубовыми мушками?

– Вот мы решили с Петькой, что у нас и охота общая, как и все. И мы оба – победители. Вот!

Сам триумф победы был отложен на воскресное утро:

– Но мы подумали – как плохо жукам сидеть в тесных коробках. Пусть они ночью-то полетают, а утром, когда их все посчитают, мы их уже отпустим.

Да, было что посчитать – 66 штук... На две комнаты – эффект был разительный.

На третий год нашей жизни жуки исчезли... Наверное, сейчас и коренные жители Харькова таких никогда не видели. Хорошо, что хотя бы в первые несколько лет мы жили в такой близости к природе.

Но, увы! Через 3–4 года на наших глазах погибли и голубые поляны пролесков, и желтые и синие ирисы в глубине лесопарка. Бедные пролески – луковичные; их выдирали вместе, с луковицей; они быстро опускали головки и их тут же, на трамвайной остановке, бросали целыми пачками; вблизи исчезли грибы.

«Средние харьковчане» не были приучены жалеть природу! Раз я видела, как веселая компания тащила из леса деревце; в кроне было гнездо, и две птички бились над ним и летели вслед своим мучителям. Но те влезли на заднюю площадку трамвая, втащили деревце. Птички же побоялись и не смогли лететь за трамваем...

Хорошо, что хотя бы животные исчезли не сразу: гуляя с собакой в лесопарке, я видела лосиху с лосенком, встречала диких свиней; не раз видела косуль; часто мимо бегали зайцы, а по вечерам выскакивали из кустов лисички.

Наверное, потому, что мы жили близко к природе, почти за городом, зимой у нас не было такой сырости, а осень была ясная, золотая, вот и прошла астма у Мити, прекратились приступы; сам-то диагноз – пожизненный, в любое время приступы могут опять начаться.

Да, конечно, наша жизнь в Харькове, почти за городом, имела много преимуществ, но были и некоторые неудобства. И главной трудностью нашего существования в первые 56 лет в Харькове (особенно для меня) была сложность с водоснабжением. Воду отключали в любое время суток, без предупреждения.

Когда мы приехали, нам рассказали, что недавно была эпидемия

дизентерии, все общежития были превращены в больницы; болели поголовно все студенты.

После этого началось строительство специального водоразборного центра для института. Но это дело не быстрое и первые лет 5 мы очень страдали от абсолютно непредсказуемых отключений воды. Приходилось всегда держать запас воды, пристраивать рукомойники, ведь воду отключали в любое время. Вот готовишь еду – бац! – воду отключили... Тогда не было уверенности, что успеешь вымыться или закончить стирку, приготовить или помыть посуду.

Газа еще не было – плиту топили углем. Готовили на плитках и керогазе. Теплую воду подавали лишь два раза в неделю, но надо было поторапливаться – могли и отключить. Очень это действовало на нервы!

В нормальных условиях редко кто отойдет от крана и от умывальника, не выключив воду; но, когда вода сама переставала течь, кран часто забывали закрыть. В Харькове были постоянные суды, так как верхние жильцы заливали нижних. И на нас тоже довольно часто лилась вода. Мы в суд не подавали, но уборка после таких «мини-потопов» – очень тяжелое и долгое дело. А один раз и мы провинились – и, конечно, извинялись, оплачивали ремонт нижним соседям... Очень было неприятно.

В город ездила я одна. Все остальные почти не выезжали из Померок: мальчики учились в школе, в ХАИ работал Анатолий Дмитриевич. А поездки были нелегким делом. От трамвая идти лесочком минут двадцать. В хорошую погоду и без груза – замечательно! Но я не помню, чтобы я возвращалась без тяжелых сумок. Мы много покупали книг (заказывали их, и когда приходили открытки, их надо было выкупать). Всю математическую, историческую литературу, всю беллетристику, все книги доставляемы были «на мне». Обычно еще что-нибудь было – какие-то продукты (у нас в доме был магазин, но плоховатый, а со снабжением становилось все хуже год за годом).

Неприятно и даже страшно было идти вечером, после занятий у

вечерников: темно, никого нет... Часто скользко. Ну, а если сильный мороз или дождь – это еще хуже...

Правда, по расписанию занятий ХАИ для преподавателей ходил автобус, маленький и старый. Но расписание это с моим (в университете) не совпадало никак. Да еще какие-то мужчины-преподаватели пришли в местком и пожаловались, что вот, жены ездят, да еще и с сумками, а в автобусе тесно, даже сесть нам, преподавателям, негде. Я узнала об этом. Этих преподавателей в месткоме даже пристыдили, а мне стало очень неприятно ездить. Но вот когда мы стали возить Катюшу в музыкальную школу, нас автобус очень выручал. Утром-то в город от нас ехали несколько женщин с детишками в садик, и мы – в школу.

Семья была не маленькая; дети растут быстро – им нужна то обувь, то одежда. В Харькове в этом отношении было очень даже плохо. Поэтому всем членам семьи я покупала всё. В студенческие каникулы я ездила в Москву или в Ленинград и по списку, выстаивая очереди, покупала там все нужное. Да уж, приходилось побегать – например, купить обувь на троих детей в одном месте мне, кажется, не удалось ни разу.

Один раз, когда я была в Москве для занятий в читальных залах и для необходимых покупок, моя свекровь, после того, как я все же купила себе хорошенькие босоножки, выстояв 4 часа в очереди, рассказала мне о том, как она до войны покупала для дочери Лены маленькие резиновые ботики-калошки. Они легкие, надевались на туфли, их легко было снять и сдать в гардероб. (После войны вошли в моду теплые сапоги. В них были и неудобства: во-первых, с них текла грязная вода и оставались грязные следы на полу, а кроме того, например, мне в читальном зале, где тогда хорошо топили, было и тяжело, и не нужно много часов сидеть в этих сапогах). И вот, Хая Самойловна (она была очень маленького роста и носила очень сильные очки – даже часто искала что-то на столе рукой) решила сделать дочери подарок.

Резиновые изделия продавались без ордеров, но в очередь становились с вечера и на всю ночь. Магазин «Резинотрест», кажется, был

близко, на улице Маросейке, и Хая Самойловна отправилась туда из дома в 1 час ночи и даже оказалась одной из первых, хотя небольшая группка людей уже стояла у громадных застекленных дверей магазина. Магазин был большой – несколько отделов в разных залах и все по первому этажу – «малодетская обувь» (это название не я придумала), детская, подростковая для девочек, мужская и женская резиновая обувь (дамские отделы появились позже!).

К открытию магазина собралась очень большая толпа, а Хая Самойловна оказалась прижата к дверям так, что даже побоялась уйти, хоть ей и хотелось. Но это уже стало невозможно – не протолкаться было...

Но вот распахнулись двери магазина и моя маленькая, плохо видящая и еще не старая свекровь вынуждена была со всей возможной скоростью бежать впереди всех, т. к. она ужасно боялась оказаться в гуще толпы и упасть из-за плохого зрения. «Знаешь, – рассказывала она, – я так боялась, что до сих пор помню этот страх. Если бы просто постоять в очереди – ну, это бы хорошо!»

Рассказала она мне об этом, наверное, году в 1963–1964; а случилось то еще до войны. Натерпелась она страха, если все еще помнила.

– Ну, а ботики вы купили? – поинтересовалась я.

– Да, да! Она их несколько лет носила, еще даже в эвакуации.

За всю свою жизнь с детьми я не помню, что можно было купить что-нибудь в одном месте за «одно стояние» в очереди для всех троих, например, или обувь, или чулки, или носки в один «заход» в одном магазине...

Так, в самом большом детском магазине в Москве приходилось, например, становиться в одну очередь (один размер давали по два, а иногда даже (о, счастье!) по три изделия в одни руки, но только одного размера); потом надо было подходить к другой очереди (это другой размер!) договариваться с какой-нибудь женщиной, и «впихивать» ее впереди себя. Так мы обе, поменявшись, получали уже два разных размера. (Дети-то разных возрастов и размеров – надо было найти подходящую семейную ситуацию); после этих сложных комбинаций

можно было идти в третью очередь и там что-то обменять на 3-й размер. Так шла я с утра – что «выбросят»? Что будут давать? Нужно было все – чулки, носки, сандалии, трусы и рубашки, штанишки и майки – и все по той же схеме: разные размеры, очереди, замены. И надо было этих своих «товарок» по очереди, таких же мам, как и я, не перепутать, не потерять в толпе, а самое главное не впутаться в какие-нибудь «дела» со спекулянтками или какой-нибудь скандалисткой, и не попасться на глаза шнырявшим в толпе милиционерам – они боролись со спекуляцией. Почему-то считалось, что у матери, как правило, один ребенок, т. е. она как бы законно может стоять только в одной очереди (на «один размер»).

А время на все это, а силы? Несколько часов, да еще счастлива, если получила, что надо, и если товар у меня перед носом не закончился. Московские магазины осаждали толпы иногородних. Ну, и, конечно, просто для спекуляций всяких.

Вот такие детали быта тех лет.

И все-таки повседневная жизнь наша харьковская становилась легче. Построили водоразборную станцию, провели газ. Лет через семь к нам пошел из центра автобус, а лет через 10–12 к нам провели троллейбус. Это все очень облегчало жизнь, но близость к природе пропадала. Но что было все труднее – это плохое снабжение продовольственными товарами. В Советском Союзе это становилось тяжелой проблемой.

Анатолий Дмитриевич всегда интересовался особенностями преподавания высшей математики в технических вузах и, хоть он и пенял мне не раз, что вот, мол, «за квартиру продались», и не будет нам за это счастья, но сам он с увлечением работал над курсом высшей математики для инженеров.

Школа была недалеко; учителя были и получше, были и похуже. Пожалуй, важно, что у Мити в четвертом классе оказалась хорошая учительница; она была молода, культурна, окончила университет по русскому отделению и, сначала вела все предметы у Мити, а потом осталась классной руководительницей и преподавала русскую литературу и русский язык.

Чем больше подрастали мальчики, тем больше становилась разница в их склонностях: Петя как-то был весь в теоретических рассуждениях, а Митя все больше хотел делать руками: что-то приколачивал, соединял, что-то подкручивал.

Еще в Риге, когда я возила Катюшку-дочку в коляске (коляска была старая – нам ее кто-то отдал), от коляски постоянно отлетали колеса. Митя носил с собой какие-то железки, отвертку и тут же на улице ее чинил – и очень этим гордился. Митя вечно таскал с собой какие-то куски железа, дерева, еще чего-то – даже в карманах. И вот на первое родительское собрание в Митин класс я не могла пойти – пошел отец. Смешно – такой взрослый, а вот ведь: ужасно он был и смущен, и обижен, и рассержен; он рассказал, что учительница при всех высыпала на стол из Митинового ранца все, что там было: получилась целая гора мусора. И все смеялись... А Митя этим всем на уроках играет – сам отвлекается и других отвлекает. «Мне было стыдно и неприятно, – заключил Толя свой рассказ, но потом подумал и сказал: – Знаешь что, закажи ему такой стол, вроде верстака, чтобы он мог там мастерить, что хочет. И простые инструменты ему купим! Пусть у него будет свой такой угол, с его мусором». Недаром Толя это угадал тогда: отсюда родилось и Митино увлечение авиамоделизмом и более того, он понял, что руками-то тоже без «теории» не много наработаешь!

Петя тоже однажды очень удивил и обрадовал меня: из Риги вся мебель пришла в разобранном виде – Петя все собирал вместе с отцом. Но ни Петя, ни Толя работу руками никогда не любили. Т. е. сделали, когда было надо, и смогли. Но к этому не возвращались.

У нас в доме постоянно собирались и чем-то занимались дети. Митя пошел в 4-й, Петя в 6-й класс; Катюше было 5 лет.

Быт наш в Харькове оказался сразу сравнительно очень хорошо обеспечен. Еще до нашего приезда моя мама, которая жила в Харькове, нашла нам домработницу – профессора по этим делам. Из бывшей республики немцев Поволжья, немка, знала по хозяйству все на свете, и была человеком в высшей степени добросовестным и честным; и

правда, никогда так хозяйство не велось у нас, как при ней. Она дала мне возможность заниматься и готовиться к лекциям.

А готовилась я очень добросовестно. В университете меня взяли на кафедру всеобщей истории. По сути дела, основные ее сотрудники занимались археологией. Заведующий кафедрой, профессор Гриневич, был археологом, археологом был и Борис Петрович Шрамко – молодой, очень энергичный, прекрасный организатор экспедиций; его два ученика тоже занимались, кажется, скифскими поселениями.

Любовь Павловна Калуцкая и Генрих Венецианович Фризман преподавали историю средних веков. Мне дали небольшую почасовку «Основы этнографии, первобытное общество, Греция и Рим». Это были лекции на стационаре. Я этих курсов до того не читала, боялась и готовилась отчаянно. Лекции, надо сказать, проходили удачно, Много лет спустя, встречали меня мои студенты, так тепло говорили о моих лекциях. Более того, я получала письма от них; в одном из писем какой-то человек, я даже не припомнила, от кого это письмо, он писал, что даже не мог представить себе таких лекций, что это так интересно, что ему повезло, что он мог послушать такой курс.

У вечерников и заочников я читала средние века. В начале нашего пребывания в Харькове нагрузка на истфаке была большая.

Раньше когда-то (боюсь ошибиться!), но года до 1935–1936-го, история в школе не преподавалась, преподавалось обществоведение. Когда было постановление о преподавании истории, стали принимать на истфаки очень много студентов и так до 50-х годов; только тогда стали эти наборы резко сокращать, так как историки были в перепроизводстве. В то время, когда я приехала в Харьков, ликвидировали несколько истфаков в вузах Украины (например, в Полтаве); уже учившихся перевели в Харьковский университет.

Так и получилось, что на 3-м курсе у меня был поток – человек 150; а на 1-й курс приняли всего 20 человек. Увольняют всегда тех, кто позже пришел; к тому же считали, что у меня муж – профессор, доктор, поэтому мне работа и не нужна. Поэтому мне давали лишь почасовую нагрузку. Но, если раньше для меня довольно долго главным

было защитить диссертацию, встать на собственные ноги, то теперь у меня где-то на заднем плане всегда была одна мысль: я знала, что у Толи было в молодости психическое заболевание (он мне, конечно, сказал об этом), поэтому я очень держалась за работу. Где-то всегда было опасение, что может так случиться, что я должна буду стать кормильцем всей семьи. К сожалению, я в этом не ошиблась.

В каждой семье складываются свои традиции, сложились они и у нас. Одним из важных вопросов в семье всегда оказывается вопрос о том, кто и как распоряжается деньгами и как они тратятся. С самых первых дней жизни Толя отдавал мне все деньги (насколько я понимаю, он даже не оставлял для себя никаких «зачачек», как это часто делают мужчины). Когда их было очень мало – этих денег, я выкручивалась, как могла и умела. Но если Толе надо было, например, ехать в Москву, я должна была где-то эти деньги «найти». И находила. Когда денег стало больше – и моя, и его зарплата поступали в сберкассу; мы оба могли брать со сберкнижки деньги, но я почти не помню, чтобы это делал он. Крупные траты (рояль, байдарки, велосипеды и т. п.) обсуждались; траты на поездки даже не подлежали обсуждению. На текущие расходы деньги лежали открыто – дети уже с шестого-седьмого класса что-то покупали из еды, брали деньги на свои мелкие расходы. Одежду, обувь на всю семью покупала только я. Не могу сказать, что денег не хватало! Нет, но и расходы были очень велики, потому и тратилось много. Тогда Толя предложил завести особую тетрадь, куда каждый, кто потратил деньги, заносил их в определенную графу (форму эту Толя расписал). Толя как-то считал, что от этой процедуры – записи – денег станет больше. Нет, этого не случилось. Но зато стало ясно, на что же уходят наши очень немалые заработки; стало даже явственно видно, как дорожала просто жизнь, просто еда!

Сложились у нас и традиции проведения праздников. Еще с Риги, когда детям исполнялось 4–5 лет, я, помня как праздновались «детские праздники» моего детства – и как стали праздноваться они теперь, решительно изменила почему-то сложившиеся тогда стереотипы детских дней рождения. Я не приглашала мам и пап; не устраивала

для них чая с тортом, когда дети были предоставлены сами себе, а мамы проводили время за столом. Я собирала детей одного возраста; подарки, конечно, были, но весьма скромные, как и угощение для ребят. «Гвоздем программы» и весельем были игры, которые организовывали мы с Толей; мы играли с детьми и в «кошки-мышки», и прятали «колечко», и играли в «море волнуется», чередуя очень шумные и более тихие игры.

Так это и шло, что все детские праздники (да и вообще праздники) – мы всегда праздновали с детьми; все играли; потом пели песни, Толя играл на скрипке, которую мы купили ему в Харькове (в Риге он играл на скрипке преподавателя математики Евгения Генриховича Ариньша – мы дружили с этой семьей).

Потом, уже в Харькове, мы купили по случаю очень плохонькое маленькое пианино, и жизнь наша как-то сразу обрела новые краски: в дом вошла Музыка; подумать бы, почему я написала это слово с большой буквы? Потому что для меня явилась некая новая для меня неизвестная раньше радость: ни от одних – даже самых лучших – концертов не получала я такого наслаждения, как – простите меня! – от собственного пения. И когда мой муж садился, и мы брали сборники русских песен или романсов, или какие-нибудь самые-самые легкие вещи... Ну, конечно, до арий я не доходила, но, в общем, самые простенькие романсы... Тогда я испытывала такое ничем не выразимое наслаждение, которое больше уже никогда и ни в чем мне не открылось – разве только тогда, когда я стала писать свою книжку, которая была названа «Веселая грамматика» – но это несколько позже.

Музыка прочно вошла в нашу жизнь: старинные народные русские, украинские и еврейские песни, городские романсы XIX в., любимые военные вальсы «жили» в нашем доме... Как много было написано прекрасных песен во время Великой Отечественной войны и после нее, какие прекрасные, истинно светлые произведения ознаменовали эти годы!

Толя неплохо играл на скрипке (а скрипку мы купили у известного скрипичного мастера хорошую, с красивым звуком, немецкую, рабо-

ты XVII в.) На смену нашему милому старенькому пианино купили мы старинный, с очень красивым звуком, и в прекрасном состоянии рояль «Muhlbach». Конечно же, мой муж легко подбирал на рояле любой «заказ», мы пели вместе, а часто я пела, он – аккомпанировал.

Дети подрастали, а традиция вместе с детьми праздновать праздники – осталась. Когда Петя был в 9-м классе, мы с Толей как-то ушли, подумали, может быть, мы стесняем детей... Когда вернулись домой, одна Петина одноклассница мне говорит: «Без вас было гораздо хуже. Зачем вы ушли? С Анатолием Дмитриевичем и с Вами всегда так весело!»

Сложился и взрослый круг друзей. Чаще всех у нас бывали Израиль Маркович Глазман и его жена, Полина Борисовна Найман; их дочь Ева и наша Катя учились в одном классе Харьковской музыкальной школы-десятилетки. Они стали нашими самыми близкими друзьями.

Друзьями стали все: Израиль Маркович с Анатолием Дмитриевичем, его жена со мной, дети – с нашими детьми, родители Пели (Полины Борисовны) стали мне, как и вся эта семья, почти родственниками.

Первое зрительное впечатление от встречи с этой супружеской четой ошеломляет: оба необыкновенно красивы и совершенно контрастны по внешности. Если бы я была художником, я бы непременно написала их парный портрет.

Изя высок, смугл, черноглаз и черноволос; в его лице есть что-то странно напоминающее обезьяну, но какую-то совсем как бы и не обезьяну, а нечто прекрасное, как бы какую-то другую породу людей, необыкновенно красивых, очень смуглых, может быть, и похожих на обезьян необыкновенной яркостью, четкостью и выразительностью всех черт лица. У него невероятно «говорящие» глаза...

Его жена так белокожа и сероглаза, что могла бы играть в детстве Снегурочку. У нее темно-каштановые волосы; они завиваются и льются волной, тяжелой и сплошной. (Теперь такие волосы показывают в рекламе краски для волос).

Она среднего роста. От нее исходит непонятно как возникающее сияние абсолютной женственности. В этом ее главное обаяние.

Все, что она делает, необыкновенно красиво и очень просто; все ее движения проникнуты какой-то внутри нее возникающей грацией. Казалось бы, поставить на стол тарелку или чашку, или помочь дочери одеться – что тут может быть необыкновенно грациозного или красивого? А у нее женственно и прелестно каждое движение.

Полина Борисовна Найман (Глазман) была математиком, кандидатом физико-математических наук. О ее научных работах я не берусь судить, естественно. Но (Харьков не так уж и велик!) как много слышала я о ней, как о совершенно блистательном преподавателе! Она так много сил отдавала работе, что в ее трудовую книжку (у каждого работающего была такая – важный документ, кстати) пришлось клеивать листки, так как не хватало места для занесения ей благодарностей от дирекции! Это единственный известный мне такой случай... Ну и что? Во время борьбы с космополитами в 50-е годы, уволили ее с работы со всеми ее благодарностями.

В своей жизни (не в кино или на картинах) я встретила двух, в полном смысле слова, красивых женщин. Очень много хороших, милых, смазливеньких, своеобразных, интересных... Но красивыми были только две: моя мама и Полина Борисовна. Все, что Пеля делала, получалось красиво. Не знаю, как это получалось, но это было так. Пелечка была умна, добра, великодушна и, что крайне редко сочетается с этими душевными достоинствами, – она была еще и практична в обычных житейских делах.

Когда Глазманы приходили (часто вместе с двумя детьми), Израиль находил какие-то шутки, какие-то забавные выходки, обращенные к детям, которые всегда встречали их веселой толпой... Сразу же возникает атмосфера ребячьего восторга – и все дети в него немедленно влюбляются. Изю дети просят: «Покажи обезьяну!» – он не стесняется повеселить ребят и как-то моментально изображает обезьяну. Восторгу ребят нет предела.

Изино общество очень приятно Толе: они интересны друг другу и как математики и оба любят музыку: оба играют на скрипке, Изя и на рояле; Пеля немного, но, не чинясь, поет вместе со всеми.

В беде – они рядом с теми, кому нужна помощь. Не раз и Изя, и Пеля помогали мне (в частности, когда надо было и с мамой, и с маленькой Катей – с врачами).

Израиль Маркович погиб еще совсем не старым человеком, покончил с собой. Я расскажу об этом чуть позже. После его смерти Пеля стала главой семьи – дети были тогда еще школьниками; она одна поднимала детей.

После смерти Изи Пеля долго оставалась вдовой и ставила на ноги детей; потом вышла замуж за математика Б.М. Левитана, уехала в Москву, а потом – в США. Сейчас она в США, муж ее умер, мы иногда говорим по телефону. Как жаль, что мы уже никогда не увидимся.

Не пользуясь никакими запретными или непорядочными методами (уж я-то знала все!), в то время, когда одни фамилии ее детей могли загородить им дорогу к образованию и науке, одна, уже после бессмысленной и страшной гибели Изи, сумела Пеля дать образование не только дочери и сыну, но и зятю, Л. Ваксману; сумела помочь им поступить и закончить аспирантуру и войти в науку.

Я была очень привязана и к ее родителям, с которыми у нас были почти родственные отношения. А каким другом умела она быть и была для меня столько лет! До сих пор звоним мы друг другу – это такая радость услышать ее живой голос...

Однажды ректор нашей консерватории Г.Б. Аверьянов на каком-то собрании, призывая студентов быть вежливыми, вдруг обмолвился: «Конечно же, нельзя разговаривать одинаково с уборщицей и с ректором...» Меня эта фраза поразила своим нисколько не замаскированным барством. И тут я сразу же подумала: «Вот Изя Глазман одинаково разговаривает и с уборщицей своей кафедры математической физики, и с ректором своего института Семко, и с каким-нибудь нуждающимся студентом, и с соседями... И всем старается помочь и помогает». А как его любили дети!

Израиль Маркович был удивительно обаятельным человеком, остроумным, не смею говорить о том, каким он был математиком и ученым – это без меня известно, но он был и музыкантом отличным.

Он и мой муж обнаружили у нашей дочери Кати совершенно необыкновенный слух. Она узнавала – просто вот, как сказать? – не «в лицо», а «в ухо», что ли, любую ноту на фортепиано – и диезы, и бемоли. Просто вот, ей из другой комнаты говорили: «Катя, какая это нота?» И нажимали. И она тут же ее называла. Ну, мой муж и также Израиль Маркович Глазман, который тоже был чрезвычайно одаренным и в области музыки человеком, – они сразу же сказали, что, конечно, Катю надо учить музыке и надо учить ее музыке серьезно.

Я много лет проработала в Харьковском институте искусств, но только Израиль Маркович и мой муж могли читать партитуры и слышать их (весь оркестр), как я, например, читая книгу, видела то, о чем читала.

Иногда у нас бывали прямо таки настоящие концерты: Эммануил (Иосифович?) Жмудь играл на рояле великолепно, на профессиональном уровне. Он играл, и Ирина Белогорская пела. Это был уже совсем другой уровень. Исполнялись романсы не только русских композиторов, но и немецких и французских, часто на языке оригинала.

Одно время даже появился откуда-то (не помню, откуда именно!) контрабасист. Тогда составлялся целый ансамбль.

Рояль – Глазман, скрипка – мой муж, и этот контрабасист. Хоть и не по правилам, но звучало все это очень музыкально; особенно были довольны сами исполнители.

Теперь, когда мы переехали в Харьков, мы оторвались от Риги: те три года из Минска мы каждое лето приезжали на Рижское Взморье, видели друзей. Теперь началась новая полоса, новые друзья.

Многие математики бывали у нас: мы дружили с Левиными – Борисом Яковлевичем и его женой, Лией Яковлевной; с Марченко – Владимиром Александровичем и Марией Михайловной; с Повзнерами; с Лифшицами; патриархом харьковских математиков был Наум Ильич Ахиезер; его жена, Галина Васильевна, была по специальности геологом. Все остальные жены были математиками.

Бывало, что и старшие позволяли себе дурачиться: пили легкие сухие вина и пели так называемые в нашем обиходе «дурацкие песни».

У Анатолия Дмитриевича была целая тетрадь таких песен и дурацких выписок из альбомов; такие стишки бывали не только в альбомах – вернее, в альбомы-то они попадали с открыток. Я часто ездила из Риги в Минск, из Минска в Харьков, и опять же в Москву. С конца 40-х годов и до 60-х (когда я почти перестала пользоваться поездами, а перешла на самолеты) я постоянно в поездах наталкивалась на неких странных людей: они ходили по вагонам и продавали кустарно сделанные фотографическим способом пошлейшие открытки часто со стихами; стихи были ужасные, написаны с ошибками. Эти люди или были, или притворялись глухонемыми. Потом, когда мы только переехали в Харьков, я однажды на рынке наткнулась на целую выставку таких открыток. Не знаю, была ли это некая «корпорация» по всему Союзу, или только в некоторых местах, где я бывала. Ни разу я не видела, чтобы этих распространителей пошлятины задержала милиция. Может быть, они откупались взятками? Очевидно, нужна была какая-то подобная продукция, и эти «глухонемые» заполнили образовавшуюся нишу. Раз покупали (а покупали бойко), – значит, нужны были открытки для посылки в Армию, в места новостроек – молодежь нуждалась в такого рода материале, чтобы передать своим любимым слова любви – на разных стадиях отношений. Но для таких случаев не было ничего, кроме этой чудовищной продукции глухонемых продавцов или производителей. А чувства-то были, чаще всего, самые настоящие...

И я стала опять, как после посещения общежития девочек литфака в Минске, задумываться о том, что следует сделать, ну, хотя бы в студенческой среде для борьбы с этой пошлой безвкусицей.

Я собрала большую коллекцию этого «китча», выбирая образцы наиболее безобразные, безграмотные и пошлые – настолько безобразные, что даже смешные.

В том же стиле и качестве были и песни. Их пели в поездах. Из подобных песен я помню лишь очень немного. Например, о Л.Н. Толстом:

Жил был великий писатель
Лев Николаич Толстой,
Не ел он ни рыбы, ни мяса,
Зато он ходил босиком.

Жена его Софья Толстая
Напротив, любила поесть;
Она не ходила босая,
Спасая дворянскую честь.

Песня была длинная, вся в том же стиле. Такая же нелепая песня исполнялась об Отелло:

Отелло, мавр Венецианский,
Любил Отелло, Эх! Пожрать.
Любил Отелло сыр голландский
Московским пивом запивать.

Пели какую-то нелепую песню про Моржу:

На далеком Севере
Эскимосы бегали
Эскимосы бегали
за моржой
Эскимосы бегали
далеко!

Раз поймали ту моржу,
Положили на баржу
пыперек!
На барже моржа лежит
Громким голосом визжит
чижало!

Много было таких шуточных песен – одесские, блатные; хохотали до упаду.

Играли в шарады, переодевались, разыгрывали сценки.

Анатолий Дмитриевич веселился от души, как ребенок, непосредственно.

Как истинно талантливый человек он был и в веселье талантлив и изобретателен, обаятелен и заразителен – если хотел, конечно.

Подросли мои дети. Я благодарна им за то счастье, которое испытала в них, с ними, из-за них. Мне хотелось вырастить их достойными и образованными людьми. Дети стали заниматься английским языком. К нам приезжала преподавательница английского, и целая группа детей занималась у нас два раза в неделю, и занималась, в общем-то, с очень большим интересом. Ставили они какие-то маленькие смешные пьески, выступали со стихами. И вот тут я вдруг подумала, почему бы мне тоже не заниматься языками-то? Тогда-то и решила я попробовать поступить на вечернее или заочное отделения иняза. Анатолий Дмитриевич и все дети начали брать уроки музыки, учиться играть на рояле.

Когда я была в Ленинграде, нашла свою любимую прежнюю учительницу, о которой я говорила, – Екатерину Ильиничну Вощину. И вдруг она мне говорит:

– Ну, как же так? Ты не занимаешься с детьми немецким?

Я говорю:

– Нет, не занимаюсь.

– Ну, как же можно? – говорит она, – мама всегда говорила, что ты такая способная, что ты так хорошо овладела немецким. Ну, как же ты можешь? Ну, пообещай мне, пожалуйста, что ты будешь со своими детьми заниматься немецким.

И я пообещала. И не только пообещала, но и выполнила это обещание. Каков был результат? Ну, тогда был. Тогда все мои дети свободно читали книжки для своего возраста – немецкие неадаптированные. Все они, в общем, понимали, что говорят с ними по-немецки, и могли сами ответить. А когда к нам потом приехали в гости мои друзья, немцы, с которыми я работала, оказалось, что они очень свободно с ними общаются.

Нет, мне не было это легко и просто; я очень уставала, но все же,

лет пять занималась с детьми немецким сама – вполне по известному анекдоту: когда иностранец узнал, что жена советского инженера стирает, готовит, делает все покупки, работает и занимается со своими детьми иностранным языком, он воскликнул: «Я давно подозревал, что у вас в Союзе многоженство, но теперь я в этом уверен!»

В нашей семье произошло некое важное событие. Когда Митя учился в 6-м классе, у нас появилась еще одна (приемная) дочь, Люда Крещук.

Вообще странным образом складывалась моя семья. Дело в том, что кроме моих собственных троих детей, выросло в моей семье, по сути дела, еще двое детей как бы приемных, которых я, в общем-то, вырастила с 11-12-летнего возраста.

Первым таким приемным ребенком была Люда Крещук, которая училась вместе с моим младшим сыном и его будущей женой в одном классе. Все эти дети собирались у нас в доме, выпускали какие-то свои стенгазеты, устраивали вечера, пели под рояль; кстати, у нас в доме Люда Крещук впервые и увидела рояль. Муж мой играл на скрипке и очень легко, свободно подбирал по слуху на рояле. И я, кажется, уже говорила в какой-то другой связи, что никогда, ни от одних концертов я не получала такой радости, такого наслаждения, как когда мы с мужем (у нас в это время было плохонькое пианино) пели вдвоем какие-то песни и романсы. Ну, к тому времени, когда дети подросли, я уже стеснялась петь. А рояль мы купили очень хороший, была и прекрасно звучащая скрипка; все это музицирование всегда было связано с разными праздниками, которые отмечались в нашем доме.

Несомненно, под влиянием нашей семьи, пробудилась у Люды любовь к музыке. Она решила быть музыкантом. Учась в шестом классе, она поехала в районную музыкальную школу, села у директорского кабинета и сказала:

– Я буду тут сидеть и плакать, пока вы меня ни примете в школу.

На что директор ей сказал:

– Девочка, но ты же в шестом классе, а мы берем в музыкальную школу детей первого класса. Что мы будем с тобой делать?

– Нет, – сказала Люда, – я хочу быть музыкантом».

Я не могу сказать точно, сколько она сидела и плакала перед директорским кабинетом, но своего она добилась. Ее взяли на народное отделение – учиться играть на домре. Люда очень быстро, по-моему, за три года, закончила это отделение, закончила его очень хорошо, и решила поступать в музыкальное училище на народное отделение. Это было ее горячее желание.

Люда очень часто бывала у нас. Ну, мне как-то очень нравилась эта девочка. И хотя я, конечно, понимала, что она, в общем, недостаточно культурна, училась она в школе по общим предметам средненько; тем не менее, было в этой девочке нечто, что вызывало к ней глубокое уважение – ну, хотя бы эта история с тем, как она поступила в музыкальную школу.

И вот, когда Люда очень успешно поступила в музыкальное училище, она вдруг стала очень плохо выглядеть; однажды она показала мне справку. В этой справке было написано, что студентка музыкального училища Крещук была направлена на медицинское обследование, и врачи установили, что у нее отеки и обмороки по причине дистрофии.

Я – ленинградка, я очень хорошо знала, что такое дистрофия. И мне стало так страшно – до мороза по коже – что девочка, которая живет рядом со мной, страдает от дистрофии. Я начала как-то понемножку выяснять, на что же она живет? И тут выяснились следующие детали.

Жили они недалеко от нас, в так называемом бакинституте на 2-м этаже над конюшней. Это был такой небольшой завод при институте Мечникова, он вырабатывал бакпрепараты из конской крови и из конского желудочного сока. У Людиной мамы был любовник, который был, как я понимаю, просто мерзавцем. Он очень обижал Люду, он пропивал деньги, которые мать зарабатывала, что в конце концов и вызвало вспышку возмущения Люды: Люда, поступив в музучилище, бросилась на колени перед матерью и стала умолять ее, чтобы она не пускала больше в дом Васёну, потому что он пропил все деньги, и Люду побил, и мать побил. Люда сказала: «Я буду на тебя работать,

я буду отдавать тебе все деньги, только не надо, чтобы больше был Васёна». На что ей мать сказала: «Убирайся вон! Для меня Васёна дороже жизни, а ты уходи, куда хочешь». И Люда ушла.

Какое-то время она ночевала в музыкальной школе, где была уборщица, которая ее знала с прошлых лет и жалела. Но особая трудность была в том, что в десять часов вечера туда приходила пожарная комиссия, которая проверяла, не ночуют ли там посторонние люди. И вот, девочка 14 лет, хорошенькая, одна в десять часов вечера – измученная, усталая, да еще и очень голодная – должна была выходить на центральную улицу города и там слоняться, – несомненно, больше часа. Я спросила Люду:

– Но откуда у тебя деньги?

– Ну, во-первых, я очень хорошо сдала экзамен, и мне дали стипендию (это было, кажется, 115 рублей). А кроме того, у меня были новые туфли, которые я еще даже не принесла домой, потому что мы жили далеко от города, и я эти туфли оставила у подруги. Я их продала. Но сейчас все деньги кончились.

И стало мне так страшно за эту девчонку. Рассказала я все мужу; говорю, знаешь, пусть живет у нас.

Надо сказать, что в таких вещах он никогда мне не препятствовал, хотя он и говорил: «Знаешь, я очень скуп; но поскольку я живу с тобой, то никто этого не знает и не замечает». И действительно, я никогда не слышала от него сопротивления на этот счет.

Он сказал: «Как хочешь. Прокормить – мы ее прокормим. Хочешь – пусть живет». Потом (у нас было принято обсудить все это с остальными членами семьи) за обедом я сказала, в какое тяжелое положение попала Люда Крешук: ей негде жить, ей нечего есть, и она очень страдает от всего этого, – она уже начала болеть. На что мои дети – один за другим, все трое – сказали: «Пусть придет и живет у нас». А маленькая Катя сказала: «Она будет мне старшей сестрой».

Так и случилось. Самое удивительное, что ее мама в течение полутора лет так ни разу и не поинтересовалась у меня, как же живет ее дочь... Ну, это все небольшой район. Васёна этот работал в авиаинсти-

туте, а мы на территории авиаинститута жили, поэтому мамаша знала, что происходит с Людой.

Ну, что сказать... Вначале мне было очень трудно. Были у Люди какие-то странные привычки, которые у нас были совершенно недопустимы. Она врала. И было это вранье какое-то бессмысленное, нелепое. Оно ужасно неприятно действовало на меня и на моих детей. Но, раз взяла девочку к себе, я уже от этого не отступала. Прошло время. Постепенно Люда действительно становилась «нашей сестрой». Она стала совершенно иначе смотреть на вещи, стала очень много читать. Одна моя приятельница (или подруга) и соседка упрекнула меня и сказала: «Для чего ты взяла чужую девочку в дом и ни в чем эту приживалку не отличаешь от своих детей? Почему Кате платье – и ей платье, Кате туфли – и ей туфли?» И мало сказать – Кате – у меня тогда еще жила жена моего сына Мити, Наташа. Так вот, всем все покупалось абсолютно одинаково.

В общем, Люда всегда ездила везде с нами. Я никогда не отделяла Люду от своих детей. Если мы ехали в Крым, то и Люда ехала с нами. Если я покупала платье дочери, а потом и невестке – то я покупала платье и Люде. Если я ехала в Ленинград и собиралась шить пальто всем своим девочкам, то я каждую спросила, какой она хочет воротник, и постаралась сделать именно то, что они меня просили. Таким образом, Люда жила совершенно на положении члена семьи.

«Ты погоди, – сказала мне моя подруга, – твоя дочь еще покажет тебе; когда-нибудь она скажет тебе: «Почему ты растила чужую девочку так же, как и меня?» Слава Богу – никогда я от своих детей таких упреков не услышала.

А Люда действительно становилась все больше членом нашей семьи.

Когда моя дочь Катя тяжело заболела печенью, ее пришлось везти на курорт... Путевки были бесплатные, для малооплачиваемых, девочке из профессорской семьи было достаточно трудно получить путевку. Поэтому мне пришлось поехать туда, на курорт, купить курсовку, устроить ее на квартиру.

И было решено, что поскольку я должна работать, а у Люды и моего сына Мити сейчас каникулы, они по очереди поедут туда и побудут там.

Должна была поехать сначала Люда. И вот тогда-то я и пришла к ее мамаше. И говорю: «Люде исполнилось 16 лет. Дайте мне, пожалуйста, ее паспорт – я хочу послать ее в Трускавец». «Как же так, – сказала эта женщина. – Мы с Людочкой еще ни разу не расставались». А Людочка полтора года жила у меня – и еще хорошо, что у меня. Мамаша же не могла этого не знать совершенно точно. Но, в конце концов, паспорт она все-таки отдала. Отношений у меня с ней, естественно, теплых быть не могло. Люда поехала с девочкой, потом туда съездил Митя – в общем, печень у Кати стала работать лучше, все как будто бы стало налаживаться.

Закончив музыкальное училище, Люда получила назначение в какую-то довольно далекую большую деревню Харьковской области и проработала там три года. (Ровно столько, сколько надо, по-моему, три.) Все это время она получала довольно большую зарплату. И как только она стала получать большую зарплату, ее мамаша решила, что эти зарплаты она будет у нее забирать. Я Люде сказала, чтобы она ответила своей маме так: «Нет, я должна отдавать это тете Кате, которая меня кормила, учила, одевала и обувала в течение многих лет». В первый момент Люда была даже несколько озадачена, но потом поняла, что это, пожалуй, справедливо.

И я стала забирать у нее ее зарплату. И не только забирала, но я еще докладывала и свои деньги. Таким образом, когда снесли вот эту жуткую развалюху на территории бакинститута, где они жили, и им дали квартиру, нам удалось доплатить, поменять, и Люда, таким образом, получила нормальную жилплощадь, благодаря этим деньгам. Конечно, я одна не смогла бы накопить такую сумму. Но все-таки, Людина зарплата за три года и то, что я туда докладывала, позволило нам осуществить эту операцию.

К тому времени Люда уже работала в Авиационном институте, училась на заочном отделении Института культуры – на хоровом ди-

рижировании, и успела даже выйти замуж. Замуж она тоже выходила у нас, и муж ее, Леша, стал тоже близким – членом нашей семьи. Сейчас семья Алексеевых живет в Харькове. Я стараюсь как-то поддерживать их, но это очень трудно: жизнь в Харькове беспросветно тяжелая и помочь я им могу очень немного.

Люда удивительным образом стала одной из лучших преподавательниц – как бы вы думали, чего? – Боже мой, пения! На Салтовке, где, в общем-то, население не очень уж такое избранное, скажем так, в школе, где большинство мальчишек совершенно беспардонно ведут себя с учителями, Люда сумела сделать свои уроки пения любимыми уроками для детей этих школ (до седьмого класса у них было пение, начиная с четвертого). И вот, когда стало в моде собирать сведения – проводили по школам Харькова тайное голосование среди учеников (анонимную анкету), какие учителя лучше всего, то к крайнему изумлению всего района Люда, учительница пения (!), получила наибольшее количество голосов. Люда было признана лучшей учительницей района. Вот это моя первая приемная дочь, которая действительно стала приемной дочерью, которую я нежно люблю и с которой стараюсь поддерживать связи и взаимоотношения.

Людина семья живет в Харькове, очень трудно. Люда – бабушка.

Вот это, пожалуй, «все о Люде». Но я очень забежала вперед.

Ведь мы еще недавно приехали в Харьков; у нас складываются дружеские связи с харьковчанами; дети подрастают. Анатолий Дмитриевич работает в авиаинституте; я – в университете на кафедре.

Бурно подрастают дети – со своими радостями, горестями и конфликтами. Учились все хорошо; Петя – превосходно, Митя – очень хорошо, но отличником не был. Митя очень хорошо работал руками, разными инструментами, всегда что-то мастерил. В 5-м классе он стал заниматься авиамоделизмом и в 7-м даже занял III место по Харькову по какому-то виду этого спорта и получил бесплатную (им самим, так сказать, заработанную) путевку во всесоюзный лагерь под Киевом для авиамodelистов. Митя очень этим гордился... и мы тоже.

Петя учился прекрасно, занимался математикой и с 7-го класса занимался с одним из своих соклассников, с которым он так хорошо работал, что этот юноша поступил в ХАИ и стал инженером.

Как говорил Толя, наша семья жила для работы, у нас был «культ трудолюбия». Дети это, конечно, понимали; росли в этой атмосфере. Главный принцип был: «делу время, а потехе час» – именно через союз «а», а не через «и», как у Даля в пословице. Был очень твердый режим дня – завтрак в 7:45, обед – в 15:00, ужин в 20:00. Ложились всегда вовремя. Вставали все в 7:00, я – в 6:00.

В советской школе с 5-го класса начиналась так называемая предметная система преподавания, т. е. по разным предметам были разные учителя. Именно тогда произошел этот инцидент с учительницей географии, о котором ниже. Дети в этом возрасте часто начинают «изводить» своих учителей. Во-первых, многие дети уже понимают, что учитель слабый, что уроки его неинтересны (особенно, если находится кто-то, кто достаточно развит, боек на язык – чаще всего это мальчики!) Кроме того, хочется такому «герою» выделиться, занять как бы первое, лидерское место в классе. Не миновал этого и наш сын Митя. И он действительно понимал, что были плохи учителя. Например, по географии и по истории. Ну, не скажешь ведь ему, что учитель хорош, если он действительно плох?

Тогда мы с отцом начали атаку на Митю с другой стороны. Я заставила его (не без возражений!) убрать кухню, поблагодарила и сказала:

– Ты работал. Спасибо тебе. Но вот здесь и здесь ты не доделал: не помыл, не убрал на окне и т. п. Я могла бы тебя не благодарить, а ругать. Но я уважаю тебя – ты трудился, и тебе было нелегко, хоть убрать кухню, честно говоря, не такое уж трудное дело!

Потом, довольно скоро, проверила его письменную работу, нашла ошибки, грязь и т. п.; сказала:

– Постарайся! Сделай вот эту следующую работу как можно лучше!

Он сделал и принес ее, очень гордый... Но и там были ошибки... Я сказала:

– Видишь, как трудно сделать вполне посильную для тебя работу без ошибок!

– Да, а знаешь, как я старался!

– Знаю. Потому, несмотря на ошибку, я все же хвалю тебя. Ты работал честно и старался.

А потом вот что было сказано о географичке и о других.

– Ну, вот, – говорю, – а теперь поговорим-ка об учителях твоих. Они стараются и работают, ну как могут. Но это очень трудно, хорошо делать такое трудное дело – вести уроки. Они-то работают, а вы-то им при этом мешаете; а они работают для вас, для того, чтобы вас научить чему-то, им это трудно, но они все-таки это делают, как бы вы безобразно себя ни вели. Поэтому запомни: их работа вызывает мое большое уважение, а ваши безобразия, ваше «изводительство» – только и всегда – мое отрицание и осуждение. И еще вспомни: твоя мама – тоже учительница была и есть. Каково было бы ей, если бы ученики посмели вести себя так же, как ведете себя вы на некоторых уроках.

Больше такие разговоры не понадобились. И только когда он сам преподавал физику в Харьковском фармацевтическом институте, он вспомнил об этом.

– Как трудно, оказывается, хорошо провести лекцию, а семинар, знаешь, мам, – еще труднее. На лекции хотя бы я один говорю, можно продумать и подготовиться. А семинар?! О, кто из студентов что скажет, какую глупость, как тогда приходится возвращаться к уже пройденным и решенным задачам. А что хотел, что планировал – все менять.

Не нравилась нам и в Пете одна его черта: он считал себя исключительной личностью (еще бы, за много лет существования школы – единственная золотая медаль!); как-то высокомерно он относился к другим людям с «высоты своего интеллекта».

Однажды надо было вытащить из дома кирпичи, – разломали ненужную больше плиту, т. к. провели газ. Занимались этой грязной работой Митя и я; я попросила и Петю (он читал в это время). Он мне ответил: «Я же не буду здесь жить, ведь я уеду в МГУ. Почему я должен эти кирпичи убирать?» Как-то это очень нехорошо прозвучало...

Поистине, я была, наверное, единственная мама, которая не сильно радовалась поступлению своего сына в МГУ.

А сколько было вложено в занятия музыкой моей дочери! В начале своих занятий музыкой Катюша очень стремилась, как бы уйти, углубиться в музыку – так она когда-то призналась, что ее мечта – сыграть с оркестром Первый концерт Чайковского. Но постепенно она все больше охладевала к своим занятиям.

Более чем 30-летний опыт моего общения с музыкантами дает мне материал к выводу о том, что может быть, ни в одном другом случае не играет такую роль душевный контакт между учеником и педагогом, как в музыкальном образовании.

Закончив 7 классов специальной десятилетки, моя дочь мне сказала: «Если даже ты будешь бить меня палками, я все равно не подойду к роялю». И это свое намерение она выполнила. Даже выйдя замуж за профессионала-скрипача, она к музыке никогда не вернулась.

Люда, имея обычные данные, стала преподавателем музыки. Катя же с ее каким-то совершенно необыкновенным слухом не захотела быть и не стала музыкантом. Ее учительница считалась очень хорошей преподавательницей, но Катя ее не любила и очень боялась. Вот и результат. К сожалению, отрицательный!

Прочитав статью Г. Ганзбурга о начальном музыкальном образовании, я невольно вспомнила о своем семейном опыте в этой области воспитания: троих собственных детей и двоих внуков начинали в нашей семье учить музыке. Все отказались примерно через три года обучения.

Я вполне согласилась со статьей Г. Ганзбурга: вероятно, надо, чтобы дети, прежде всего, научились получать от своего музицирования радость, удовольствие. Но у нас на всех этапах обучение музыке сводится (я думаю, и сейчас) к «выучить и исполнить» на концерте. Но учить надо долго, и это надоедает; а выступление больше нужно учителю и родителям, чем ученику.

Может быть, даже не столько честолюбивые родители хотят, чтобы их чадо выступило в концерте, сколько учителю надо показать и

доказать свою работу: выступил ребенок в концерте (пусть даже не блестяще!), все равно все видят, что учитель работал.

А если ученик с радостью подбирает песенки, поет с удовольствием – кто это видит? Это ведь никак и не проверишь...

Вероятно, с такой именно целью и направленностью обучения, к сожалению, очень у нас узок круг настоящих любителей хорошей музыки.

Абсолютно немзыкальная серость и пошлость, не столько музыка, сколько ритм, световые эффекты и невысокого вкуса танцевальное сопровождение солиста сейчас господствуют на телепрограммах всего мира в качестве эстрадно-музыкальных концертов.

Широкая публика питается телевизором (развлечение) и компьютером (выход в интернет – получение информации). И то, и другое не оставляет ни места в повседневной жизни, ни условий для возникновения желания музицировать.

Толя везде, где работал, обростал «учениками», с нашим приездом в Харьков многие жили у нас, иногда по полгода, иногда меньше, занимались своей диссертацией.

Из Риги – Инна Эгле, Арнольд и Эра Лепины, кажется, приезжала и Велта Аболина.

Из Минска приехала Ядя Бурак, но вернулась в Минск; потянулись за Толей и остались в Харькове Галя Гиль (потом Щербина) и Валентин Голодец, который женился на моей бывшей студентке Фриде Макаровской. До самого отъезда я близко дружила с этой семьей.

В Харькове стали учениками Анатолия Дмитриевича Лева Ронкин, Марат Бендерский, Коля Копчевский, Бабенко, Слобожанин, Тюпцов.

Наша квартира никогда не пустовала: естественно было для нас, чтобы друзья и ученики Толи, если было нужно, находили у нас приют. Конечно, не все одновременно... Вот, например, Люда окончила музучилище – уехала на 3 года; Петя окончил школу с золотой медалью (медалей, как таковых, не было, была бумага) и поступил в Московский университет. Освободившиеся места сразу же заполнялись. И как это было славно и весело!

Приведу один случай из нашей жизни в Минске, характерный для нашего быта. Мы жили в так называемом санпропускнике или в санизоляторе. В зданиях студенческого городка, в общежитиях, были отдельные секции: со своим входом, две комнаты и санитарный узел с душем.

Были только мы с мужем – дети уже были на даче под Ригой. Это было в июле – скоро и мы собирались ехать в отпуск, поскольку квартиры нам еще не дали, нас и поселили в таком санизоляторе.

Вот однажды Толя приходит после своей лекции и рассказывает, что в коридоре сидят на своих рюкзаках девушки, человек 15, явно не здешнего вида.

Я пошла, поговорила с ними: оказалось это группа студенток биофака Тбилисского университета, и приехали они на практику. Они в Минске на 3 дня, а потом уедут на озеро Нароч. Но кто-то что-то перепутал – им обещали дать места на три дня в общежитии, но мест нет – туда поселили заочников.

«Знаешь что, – говорит мне Толя, – пусть они идут в нашу вторую комнату на эти три дня».

Как же были счастливы эти девчата! «А постирать можно? А помыться? А повесить здесь – можно?» Все можно... Бедняжки развесили свои вещички, расположились на наших четырех кроватях и на своих рюкзаках на полу – и были в восторге – после жары, после долгой дороги в поезде им было «все можно». Уезжая, они оставили мне целый список своих адресов с благодарностью и приглашением приезжать в гости. К сожалению, я этот список потеряла при укладке вещей и переезде. А было бы интересно заехать к кому-нибудь. Я уверена: нас встретили бы как близких друзей...

Довольно долго в Харькове жил у нас Виталий Мильман – сначала дипломник, потом аспирант Толи. Он сын одесского математика и после того, как Виталий пожил у нас, мы познакомились и подружились с этой семьей. Сейчас (я пишу это в 2003 г.) Мильман – проректор Университета в Тель-Авиве. Я очень дружна уже здесь с его матерью. А сам Виталий много помог нам здесь, когда было трудно на «первых порах».

Я уже писала о том, как мы «считали деньги», как в Харькове по настоянию Анатолия Дмитриевича мы много лет (12–15) вели запись всех расходов. Он был уверен, что это окажет магическое воздействие, и денег сразу же станет больше. Ну, в этом он просчитался: больше денег не стало, но сделалось ясно, на что же они расходуются, на что же уходят наши большие заработки? Выяснилось: больше всего на образование. Все дети занимались английским языком; Катюша (у которой обнаружился абсолютный слух) и Анатолий Дмитриевич – музыкой; (мальчики музыкой тоже занимались по 2–3 года, но бросили). Следующей статьёй расходов были книги.

Покупались книги по специальности (моей или Толиной), беллетристика и книги для детей. Толя также очень любил какие-то курьезы, и были у нас какие-то странные книги: в одной (об охоте на китов) говорилось «число «пи» для гренландских китов = 3,16...». Очень все у нас потешались (лишь я, грешница, только тогда и узнала об этом числе!); была книга «Руководство по парикмахерскому делу», которая начиналась фразой: «В голове человека различают две части: часть, покрытую волосами, и лицо». Очень Толе понравилось, что мозг как бы и нет! Книг становилось все больше. Когда я, лет через шесть жизни в Харькове стала заказывать 18(!) книжных шкафов по 3 метра высотой, мне не поверили, что я не из районной библиотеки. А Толя говорил: «Когда не будет места у стен, я буду ставить шкафы рядами, как в библиотеках».

Следующая статья больших расходов – это поездки – не только летом, но и в зимние студенческие каникулы; потом – питание. Ну, с этим делом постепенно становилось все труднее; исчезали из магазинов продукты. Все важнее становились осенние заготовки – варенье, консервирование. Всегда закупалась на всю зиму картошка; исчезли из магазинов крупы и макароны. Быт отнюдь не был легким, но Анатолий Дмитриевич, как говорят, «ни за холодную воду не брался». Демонстративно предоставлял все заботы о доме и быте другим, т. е. мне. Кто ехал в Москву, Ленинград, Минск – вез чемоданы продуктов. Есть-то все хотели.

Одно время в газете «Комсомольская правда» печаталась анкета; она должна была показать, как советская работающая женщина использует свое свободное время. Я все никак не могла понять, о каком это времени идет речь? Конец этого обследования в газете показал: в самом тяжелом цейтноте жили женщины, работающие на ненормированном рабочем дне (в первую очередь преподаватели и некоторые другие) и имеющие более одного ребенка; эта категория постоянно не имеет возможности спать естественную норму. Я как раз к этой категории и принадлежала: детей было трое, и жили мы не в Москве, не в Ленинграде, где условия быта были все-таки лучше, чем в Харькове. Да к тому еще добавлялись и особенности характера моего мужа... За много лет я, кажется, первый раз выпалась в больнице, когда лежала с воспалением легких и бронхиальной астмой.

Когда ребяташки мои ложились спать, бывало, перед сном улаживались всякие важные вопросы, велись беседы «по душам». Однажды Митя мне перед сном говорит:

– Мам, ты знаешь, этого в Риге не было... а тут одна учительница сломала указку о голову мальчишки! Деревянную указку...

– Да нет, этого не может быть, – говорю, – это тебе показалось.

– Нет, это было на уроке географии.

Я пришла в ужас... Я зашла в кабинет к своему мужу и сказала:

– Ты подумай, ведь это просто ужасно! Ну как же это так – бить ребенка до того, что указку сломали. Ну, дети, конечно, бывают противные, но, все же... бить ребенка! Я просто потрясена.

Мой муж посмотрел на меня и сказал:

– Да, я потрясен тоже. Но я потрясен клеветой на советскую школу!

Ну, мне ничего не оставалось, как открыть и закрыть глаза и рот и уйти. Вроде как я «наклеветала» или Митя «наклеветал» на... советскую школу.

Я горько плакала в этот вечер. Во-первых, почему Митя клеветал? Митя говорил правду. И почему это клевета на советскую школу? Если одна дура учительница попалась... или просто профнепригод-

ная? Почему надо было «встать на ходули» и превратить это в упрек мне?

Вот рассказ Мити об этом случае: этот эпизод я помню прекрасно. Вот как оно было на самом деле: учительница географии, Юлия Юлиановна, году в 1958–1959-м указкой пользовалась как розгой, не задумываясь. Действительно, хлопала она ею ребят неуправляемых. Это не было слишком больно, но было оскорбительно, и унижало даже больше тех, кто это видел и молчал.

А у меня были хорошие отношения с классной, Тамарой Петровной; я написал ей записку, и, уходя, положил на стол. Помню, были там такие слова «бить того, кто сдачи дать не может – подло».

Я и забыл об этой записке, сразу как из школы выскочил... Тамара на следующий день аж в лице переменялась – ходила, думала, что же делать. (Дальше – со слов мамы, но рассказано тогда же и запомнено мной).

Вызвала маму, показала ей записку. «Это, – говорит, – Ваш сын написал!» Ну, мать подумала-подумала, посмотрела на нее: «А что, – говорит, – я горжусь сыном. Хорошо написано!» Тамара не нашлась, что сказать.

Но я горжусь не только мамой в этой ситуации, а и Тамарой тоже! Она была молода, обучаемая; по меркам сотовой школы достаточно культурна и начитана, но и человеческие качества ее – на высоте. Со мной она только крепче сдружилась, а Юлия после этого сменила указку с деревянной на плексигласовую, красивую и дорогую, и никогда больше – во всяком случае, при мне – не замахнулась ею. И часто, даже уже и на следующий год – давая мне отнести указку и карту, или просто на уроке – поглядывала на указку, на меня и ухмылялась слегка.

Единственный сын Тамары Петровны, Мишка, которого мы с Наташкой, бывало, в детский сад водили и забирали, погиб в первой Афганской. – Д. М.

Было несколько подобных эпизодов, от которых мне становилось временами очень тяжело, но, тем не менее, я тоже их, так сказать, «перемаргивала».

Так, подразумевалось, что я вот «плохая», потому что я не бывала в пионерских лагерях. А я никогда не была там, потому что мой отец считал, что у него есть средства, чтобы обеспечить мне летний отдых, а туда едут дети, у которых средств нет. И поэтому, так сказать, с ними конкурировать отец считал неправильным и несправедливым. Не исключено, что наряду с этими, были у отца и другие соображения, о которых мне тогда не сообщалось.

Второе обстоятельство, которое всегда мне вменялось, так сказать, в дефект моей личности, – это то, что я выросла в христианской среде. И вот что на мне, как выразался Анатолий Дмитриевич, «есть черные, отвратительные пятна христианства».

Ну, вот, и, наконец, то, что я происходила по прямой линии от дворян. Отец мой был дворянин. И вот это и чувствовалось всю жизнь с Толей. Правда, у нас никогда не возникало из-за этого конфликтов, или даже размолвок. Надо мной по этим поводам подшучивали и Толя, и Семен; меня поддразнивали, подтрунивали надо мной. Все это существовало как бы в подтекст к моему характеру. А я воспринимала это как упрек, как недостаток своей личности.

Но, надо вам сказать, что взамен этого Анатолий Дмитриевич был действительно кристально идеен и кристально честен. Я с глубоким уважением относилась к его полному приятию того, что происходит.

Когда мы уезжали из Риги, обстановка была очень неприятная, тягостная. Когда мы жили в Харькове, прошел слух, что часто бывавшие в нашей квартире и дружившие с нами брат и сестра Эйдусы арестованы... И я сразу же вспомнила разговор с Люсей Шаповаловой¹⁷: «Увезите Анатолия Дмитриевича... Уговорите его уехать, и как можно скорее».

Тогда мы уже были в процессе переезда – оба уже работали в Минске.

¹⁷ Я не уверена в имени и фамилии этой студентки. В Харькове была у меня студентка с этим именем и фамилией – может быть, это было совпадение, но может быть, я ошиблась. Такой разговор был, а вот имя и фамилия могли быть мною забыты.

И вот через несколько лет мы опять в Риге с нашими друзьями. Через 3–4 года нашей жизни в Харькове мы с Толей поехали на защиту его аспирантки Эры Лепиной (Вигант). Лепины – наши близкие друзья. Мне тоже очень хотелось побыть в Риге, повидать всех друзей.

Ехала я на три дня раньше, мне хотелось побыть в Риге подольше, видно, я была свободна эти дни. Я остановилась у Айнбиндеров. Это очень близкие наши друзья, мы с ними в Риге жили в одной квартире.

За все время мы никогда не поссорились, наши дети росли просто как в одной семье... Семен Борисович был человеком чрезвычайно остроумным, ярким. Язык у него был как бритва, и конечно, многие его не любили. Он был уволен «в запас». Тогда многих из армии отправляли «в запас» и очень часто из-за «5-го пункта» (вопрос в анкетах о национальности). Грустно острили – «инвалид 5-й группы». Тогда «очищали» армию от «нежелательных элементов». Это было одно из проявлений политики антисемитизма.

Семен Борисович Айнбиндер после увольнения из армии работал директором Института физики АН Латвии. Но докторскую диссертацию он защитил не сразу. Защита была назначена в Ленинграде (где его знали не так хорошо, как в Москве); потом защиту перенесли, а известить об этом «не успели»; одного из официальных оппонентов срочно услали в командировку, и кто-то зачитывал отзыв по бумажке. Защита была провалена.

Теперь стало почти понятным, что все это было подстроено. И вот почему для такого предположения были веские основания.

С Толей мы остановились в гостинице, но бывали часто и подолгу в той квартире, где мы жили раньше, где жили Айнбиндеры, наши друзья. Семен Борисович Айнбиндер – большой специалист в области металлофизики, физики баллистики; мы долго не виделись, и было многое, о чем хотелось поговорить.

Анатолий Дмитриевич приехал почему-то на два дня позже, чем я.

И вот к моему приезду, вечером, позвонил Эйдус и попросил разрешения у Натальи Борисовны прийти и со мной там встретиться и поговорить.

Мы долго разговаривали в отдельной комнате, только вдвоем. Передо мной сидел мужчина лет 45–50 (весь поседевший, со шрамами на лице и с пролысынами на черепе). Он плакал и рассказывал о том, что он испытал.

Его арестовали по доносу. Донос Эйдусу показали. Он был написан... директором Института математики Академии Наук Латвийской ССР Игорем Кирко. С Кирко мы тоже были знакомы и даже как бы дружили. Кирко в этом доносе написал, что в квартире Айнбиндеров и Мышкисов встречается постоянно еврейско-латышская интеллигенция, и что эта еврейско-латышская интеллигенция является ядром заговора против правительства. Эйдус сказал, что когда его арестовали, его били, и он даже один раз что-то подписал. Но потом он отказался от этой подписи. И, несмотря на те пытки, которым его подвергали, он не подписал больше ни одного порочащего документа против Семена Борисовича и Анатолия Дмитриевича. Да, а после того, как его допрашивали, и били, его отправили в какой-то такой номерной городок, институт, где он, в общем, занимался физикой. И теперь он тоже живет не в Риге, а живет под надзором в Цесисе, это город в Латвии, и там тоже собран небольшой коллектив физиков, которые занимаются какими-то секретными проблемами.

Ему с трудом удалось приехать сюда; он надеялся, что тут будет Анатолий Дмитриевич, и Анатолию Дмитриевичу он все расскажет. Но вот так случилось, что Анатолия Дмитриевич нет, а есть только я. И он очень просит меня рассказать то, что он рассказал мне. От него я впервые узнала и о списках на выселение.

Через некоторое время приехал Анатолий Дмитриевич и я, сидя в кабинете у Семена Борисовича, при Наталье Борисовне и Семене Борисовиче рассказала то, что я услышала от Эйдуса.

Но Анатолий Дмитриевич посмотрел на меня в упор и сказал: «Я не верю ни единому твоему слову. Это все ты сейчас выдумала». Я настолько растерялась, что выскочила из дому в два часа ночи и помчалась одна в гостиницу, плача горько и рыдая по дороге. Я не знала, как вынести это оскорбление – да и за что, собственно говоря?

Когда нас уже не было в Риге, после моего разговора с Эйдусом, к Семену Борисовичу приходил Игорь Кирко.

Он плакал и каялся; рассказал, что ему угрожали уничтожением семьи и пытками; требовали, чтобы он перечислил всех, кто относился к «еврейско-латышскому националистическому кружку»; что Кирко и сделал, назвав всех, но выделив Семена Борисовича и Мышкиса, как руководителей. Этот донос Кирко и видел Эйдус. Семен же сказал: «Ну что уж! Просто слабый Кирко человек... Что уж теперь-то?!»

Эйдуса и его сестру арестовали раньше всех (раз учились в Англии – значит шпионы!).

Возможно, что Айнбиндера не арестовали, так как хотели собрать еще какой-то материал.

Выше изложены некоторые моменты, которые позволяют предполагать, что провал докторской был «подсказан».

О том, что Кирко был и говорил с Семеном Борисовичем, я узнала от жены Семена Борисовича, Наталии Борисовны Этингоф, уже здесь, в Израиле.

Нам крупно повезло, что Сталин умер, и потому «дело о еврейско-латышском заговоре интеллигенции в Риге» не успело «быть расследовано» до конца.

После этого мы долго – много лет – не говорили на эти темы. И только через годы мы узнали, что как раз в это время и готовилось переселение евреев. Теперь это известно по опубликованным материалам.

В списки для переселения были включены как раз и те люди, о которых Кирко написал в своем доносе. И не только они, но и очень-очень многие наши друзья по Москве и Ленинграду. Вот такая история.

В тот момент в Риге и долго после этого мне было очень тяжело. То, что мне говорилось всегда только в шутку, никогда не всерьез: «твое недобитое дворянство», «дворянская отрыжка», твое «христианское воспитание» – создавало дистанцию между ним, Толей, и мною.

А я так уважала несгибаемую честность Анатолия Дмитриевича, перед которой я в каком-то смысле преклонялась. Когда человек так

несгибаемо идеен... Может быть, нас так воспитали в Советском Союзе? Это вызывало у меня безусловное и глубокое уважение, а он как бы отстранял меня этим от себя.

Сейчас я, вспоминая, думаю, что он не мог же не видеть того, что уже тогда было ясно (хоть и не вполне), – всех порочных несоответствий нашей жизни и того, что о ней писали; порочности и лживости тех самых газет, о которых он говорил: «Это я пишу. Я так думаю и считаю». Теперь я подозреваю, что эта его идейность, несколько искусственно созданная, что это часть его душевной программы, которую он сам себе выработал. И в этой душевной программе он не допускает ни одной мысли, которая порочила бы тот режим, который создавал и на который работал его отец, и, частично, его мать. И я думаю, что эта вот его убежденность – это был некий акт психического самосохранения, на который он пошел; он не разрешал себе думать иначе. Инакомыслия он в себе не допускал, иначе он не смог бы заниматься; ведь наука требовала полной психической погруженности в нее, она не позволяла тратить душевные силы и мысли на нечто другое.

Но, к моему удивлению, когда он приезжал сюда (мы с ним не виделись, его видели мои дочь, внучка и правнучка – они возили его в Иерусалим), вдруг выяснилось, что Анатолий Дмитриевич принял православие, крестился, что когда он смотрел на дорогу на Голгофу, «дорогу страданий», он плакал... И сказал, что теперь вот он может и умереть, теперь, когда он побывал в Иерусалиме и увидел Крестный путь Христа.

Я совершенно не могу понять, как презрение к любому наследию христианства сменилось переходом в православие. Не понимаю, не могу понять. Зная чрезвычайную щепетильность и моральную чистоплотность Мышкиса, понимаю, что это не тот случай, что у президента Путина, который теперь осеняет себя истово крестным знамением и прикладывается к иконе – у Путина это политическая необходимость. Но у Мышкиса такой политической необходимости не было и не могло быть...

Но что же? Что могло так изменить его психику? Он ведь даже не был членом партии, карьеризм был ему абсолютно чужд, переход в православие не был нужен для его карьеры...

Кстати, переход в православие – это теперь там как-то очень модно, что ли... Вот, например, племянница Анатолия Дмитриевича, Аня, и ее дочь тоже вроде бы приняли православие и даже, говорят, в церковь ходят.

Что касается меня – я где-то, может быть, уже говорила об этом – я до какой-то степени понимаю и признаю религиозность. Но я понимаю и признаю религиозность как высший душевный императив в человеке, который побуждает его делать одно и не делать другое. И для меня этот императив всегда сводился к тому, что я всегда старалась не заставлять других людей страдать безвинно и бессмысленно.

Ну, конечно, можно вспомнить моих студентов, которым я не ставила зачеты. Но, согласитесь, что когда я добивалась каких-то знаний, это еще не есть ситуация, в которой студентов моих можно было причислить к лику мучеников, это еще не есть страдание.

И все-таки в жизни своей истинно грешна была я перед несколькими людьми. Да, была...

Понимая это, я думаю, что даже и большие грехи следует понять и, в общем-то, простить. Я, конечно, не имею в виду уголовные убийства, пытки, еще что-нибудь. Я имею в виду естественную, нормальную жизнь, где, к сожалению, человек все-таки часто вынужден совершать поступки, которые, ну, в общем, заставляют страдать других людей.

Ну, а доносчики, которых развелось так много? Например, Кирко? А сколько людей погибло, сколько было репрессировано по таким доносам? Можно ли и должно ли этих доносчиков простить? На этот вопрос я не знаю ответа... Ведь не каждый может выдержать пытки. Я «этого не проходила» – потому судить об этом не берусь и ответа на этот вопрос даже в своей душе – не знаю.

И все же наш брак «раскололся» не по причине политических разногласий: до нашего расставания было еще далеко, и жизнь шла, шли годы.

Прошло пять лет нашей жизни в Харькове и моей работы в университете. За это время я все еще пыталась сохранить направление своих занятий. В Прибалтику меня тянули мои интересы – многие возникшие передо мной исторические вопросы, так и не нашедшие своего решения до сих пор: реформация и контрреформация, распад Ливонского ордена и перераспределение земельной собственности, связи Прибалтийских торговых и земледельческих кругов с Россией, Швецией и Польшей, национальные взаимоотношения в Прибалтике. Да, и сейчас я понимаю, как неисчерпаем этот круг вопросов и как увлекателен.

И я постаралась продолжать свои занятия: из Варшавского архива я получила микрофильмы, которыми занималась дома. На каникулах при первой же возможности я ехала в Москву и занималась в Ленинской библиотеке и в архиве древних актов.

Толя пытался мне помочь: на лето, даже иногда на 2 смены он забирал всех детей в студенческий оздоровительный лагерь. Ему было трудно там (например, надо было что-то постирать Катюшке и т. д.), но он два лета героически отпускал меня в Москву – заниматься.

Он-то как раз понимал, как и насколько это нужно мне!

А меж тем и мои дела в Харьковском университете складывались тоже не всегда благоприятно. Когда было договорено о нашем переезде, то в ХГУ было обещано, что мне предоставят работу.

Работу мне предоставили, но до моего приезда без меня ведь вполне обходились. И когда меня приняли на работу, то приняли более всего потому, что вот приехала, так сказать, семья, и жену профессора надо было обеспечить какой-то работой. И теперь меня каждый год то увольняли, то принимали, так как я была на почасовой оплате, что само по себе крайне невыгодно. Но опубликованных печатных работ у меня еще не было; я так и не сделала книгу из своей диссертации (за что, как я уже говорила, муж меня «глубоко запрезирал»). Отсутствие печатных работ тоже сыграло свою отрицательную роль, – я как бы не оправдывала возложенных на меня ожиданий.

Я работала на кафедре древней истории, средних веков и археоло-

гии под руководством профессора Гриневича со Шрамко, Фризманом и Калуцкой. Это были люди культурные, знающие. Но как-то оказалось, что я-то там как бы лишняя; приехала чужая и ушла из университета, так и не став своей.

Б.М. Шрамко – археолог; человек очень активный, прекрасный организатор, стоял во главе многих экспедиций; его ученики, Кадеев и Михеев, тоже были археологами, и занимались, по-моему, скифскими и славянскими племенами.

Профессор Гриневич – человек очень пожилой – раньше занимался причерноморскими греческими колониями и их раскопками. Теперь он уже ничем не занимался.

Фризман и Калуцкая преподавали историю средних веков. Я осталась очень далека от них не потому, что не сблизилась семьями. Нет!

Но когда я жила в Москве и даже в Риге, всегда была группа людей, которые интересовались именно историей средних веков, архивными исследованиями. Ну, в Москве это было, наверное, человек 50–70, с которыми я постоянно общалась на эту тему. Когда же я приехала в Харьков и стала работать по истории на кафедре истории древнего мира, оказалось, что совершенно никто не занимается похожими средневековыми темами.

Но было и другое обстоятельство, объяснявшее мое столь долгое пребывание на почасовой оплате. Я была очень требовательна. И, собственно говоря, до конца дней своих, будучи преподавателем, я считала – ну, как бы это сказать? – что быть требовательной – это и есть преподавательская добросовестность. Я никогда не отказывалась как можно больше дать консультаций, встреч, я никогда не отказывала помочь в чем-то. Но я никогда не ставила оценки просто так. И вот, был один эпизод в харьковском университете, когда явился ко мне некий человек, очень развязный, сказал мне:

– Вы знаете, я вот приятель Астахова, – а Астахов был в то время, по-моему, секретарем парткома истфака. – И вот, просьба Астахова, чтобы Вы зачли мне экзамен по средним векам. Я заочник.

Я сказала:

– Нет. Ни по чьей просьбе я Вам ничего зачитывать не буду. Я зачту Вам Ваш экзамен тогда, когда Вы ответите на те вопросы, на которые Вы должны уметь отвечать после прохождения курса.

Ушел этот тип...

Бежит ко мне Раиса Семеновна, секретарша заочного отделения. И говорит мне:

– Катерина Дмитриевна, Вы молодой человек, Вы только приехали. Не связывайтесь с этой шайкой. Поставьте ему что угодно, только чтобы они от Вас отстали. Они испортят Вам жизнь. Ну, поверьте мне, я тут работаю 30 лет. Ну, очень Вас прошу.

– Нет, Раиса Семеновна, я не могу. Не могу – и все.

Да, ну и тут я подумала, что, пожалуй, я могу воспользоваться таким ходом, который очень пропагандировался во всех советских романах: я пошла к секретарю «большого» парткома – парткома всего университета, Бухалову. И, на мое счастье, это оказался очень культурный человек. Он вполне поддержал меня. Этой компании было сказано: «цыц». Но компания это хорошо запомнила. Этот «цыц» мне потом долго и долго откликался. Выше упомянутый Астахов стал проректором, а потом и ректором; он меня не забывал долго. Меня каждый учебный год в конце увольняли, а в начале – опять принимали и все на почасовую оплату.

Студенты-то относились ко мне очень хорошо: я неоднократно получала от них письма, в которых, в общем-то, очень высоко оценивались мои лекции. Но я-то понимаю, что оценка это высокая была не за счет содержательности, а исключительно за счет красивой формы. Я умела красиво говорить, интересно рассказать. И вот эти обстоятельства и сыграли главную роль во время моей работы и в белорусском пединституте, и здесь, в Харькове, обеспечив мне симпатии и приязнь студентов.

Во второй мой приезд в Москву я встретила с Яковом Александровичем Левицким.

Мы оба были рады этой встрече: он все ликовал, что вот нашел «затонувший колокол», как меня в шутку называли мои московские

друзья. Ведь о том, что я жила в Минске, а потом переехала в Харьков, они только что узнали.

Я рассказала о своей жизни в Харькове. Яков Александрович рассказал мне, что Центральный архив древних актов в Москве ищет человека, который сможет заняться разборкой и описанием средневековых материалов на немецком, французском, польском, шведском (кажется, еще и на других языках). Это учреждение в ведении НКВД – они легко обеспечат прописку в Москве и дадут возможность вступить в кооператив по строительству жилых домов. Года через два будет квартира, а пока – эти два года надо снять комнату; к работе можно приступить уже с сентября месяца. (Разговор происходил в июле).

Я даже и мечтать о такой работе не смела. А она – вот она... Согласиться лишь. «Наш сектор истории средних веков будет рекомендовать Вас, Катя», – сказал Яков Александрович.

И я думала, я очень, очень думала...

Я понимала, что вот-вот на истфаке в Харькове начнется сокращение штатов... А «штаты» на истфаке – это я; что если на два года оставлю детей Толе – но разве он согласится? – что у Мити опять может вспыхнуть астма; что Катюша все время страдает от последствий своей дизентерии; наконец, что будет с их учебой. А что же станется с занятиями математикой моего мужа? И вообще, два года разлуки, а если три года? Дома не скоро строят. А с тремя детьми я комнату в Москве не сниму... Я очень часто потом думала об этом. И как-то... Да, мне было очень жаль, что мне пришлось это оставить.

Когда я в последний раз приезжала в Москву в Ленинскую библиотеку уже из Харькова (дети ездили с отцом в какой-то такой палаточный лагерь на берегу моря), еще два последних месяца занималась в читальном зале.

Попытался там за мной ухаживать некий молодой человек откуда-то с Кавказа, который смешно сострил, не понимая этого. Он мне как-то сказал: «Вот, сколько народу тут! И все мы... Что мы здесь делаем? Мы все науку двигаем взад-вперед, взад-вперед, взад-вперед». Я так улыбнулась и подумала, что ведь, наверное, действительно в

Ленинской библиотеке, особенно в гуманитарном зале, очень мало кто движет науку вперед... А в основном взад-вперед, взад-вперед...

Интересно, что-то новое внесла ли я своими исследованиями – ну, допустим, в историю Риги? Ведь отзывы от моей диссертации были блестящие. Говорилось тогда на защите – и это все было зафиксировано в стенограмме, что практически я написала одну полную диссертацию «Рижские цехи в XVI веке и Календарные беспорядки в Риге» и вторую – так сказать сделала заявку на докторскую, углубившись в вопросы рижского городского права, начиная с XIV по конец XVI века; что если бы я оформила это все, это и была бы для меня докторская диссертация и монография. Но это все было «в волнах», это все было бы... и не осуществилось.

И еще одна мысль не оставляла меня: что бы я ни нашла в архивах, опубликовать это будет возможно, только если это будет, как тогда говорили, «актуально». Тогда под этим понималось: если это будет соответствовать в тот момент политике партии и правительства.

Это я тогда думала... А теперь, когда так сложны отношения с Латвией, когда распался СССР... Как хорошо, что все это в сослагательном наклонении «было бы»... Жизнь этого наклонения не терпит. Это ирреальное предложение, как говорят в немецкой грамматике.

Я даже не могу выразить, насколько горько было мне признать это свое поражение, принять этот отказ от себя самой, как неизбежную необходимость. Я же действительно владела некоторыми знаниями и навыками (средневековый нижненемецкий, архивная скоропись на русском, немецком, латыни), которые довольно редки; я могла бы составить разумные и квалифицированные описи архивных материалов... Но жизнь есть жизнь, и мне пришлось подчиниться ее диктату.

Ах, Борис Федорович, где Вы? Вы были правы: так и не смогла я отказаться от семейных трудов, горестей и радостей ради работы – такое ведь раз в жизни случается, да и не с каждым, чтобы вот она, мечта многих лет... И ты сам от нее отворачиваешься, и, стиснув зубы, говоришь: «Нет»...

Даже Толе я смогла рассказать об этом отказе от самой себя через год. Он сказал: «Я бы согласился. Я бы остался с детьми». Но он, наверное, все-таки не представлял себе всей тяжести семейного груза. Он же не мог отказаться от математики, как я от работы над архивами. Чего не смогла я... А может быть, он смог бы совмещать? Да, что уж теперь-то...

Было еще одно обстоятельство, сыгравшее немалую роль в моем уходе из университета, хотя и сокращение штатов, и сам характер работы (только лекционный), и некоторые разочарования в возможности двигать науку не «взад-вперед», а только вперед – все это имело место.

Я всегда любила заниматься языками. Все дети занимались с преподавательницей английским 2 раза в неделю, а я начинала английский раньше, в Свердловске... И вот, через 1,5 года жизни в Харькове я поступила на вечернее отделение Харьковского института иностранных языков, на отделение английского языка. Мне дали отношение с кафедры, что мне для работы нужно владеть английским языком – я выдержала экзамен и перешла уже на третий курс этого института. Я и сама много занималась, и пользовалась частными уроками преподавателей английского факультета – хотелось и знать больше и закончить скорее. И вот, однажды я разговорилась с одной из преподавательниц и рассказала ей, что в ХАИ из ГДР приехали аспиранты. Они обращаются по каким-то математическим вопросам к моему мужу, часто бывают у нас дома, и мне очень интересно общаться с ними, естественно, по-немецки.

«Знаете что, – предложила мне моя преподавательница, – ко мне обратились с Турбинного завода. Им очень нужен переводчик. Приехали немецкие инженеры из ГДР заказывать турбину; а работать без переводчика они не могут. Я предлагала студентам немецкого отделения, но стационарные студенты не могут – у них обязательное посещение, а заочники, впрочем, как и стационарные, – все боятся. Попробуйте!»

В этот же вечер были у нас «наши немцы». Из них самыми мои-

ми близкими друзьями на многие годы стали Курт Фейстель и Хейнц Зольман. Мы с Куртом, почему-то сидя на сундуке в передней, обсуждали вопрос: справлюсь ли я? И Курт, употребив нужный оборот (который я раньше никак не могла понять – «ирреальное предположение!»), сказал: «На Вашем месте я бы согласился!»

И я отправилась на Турбинный завод. Вот здорово! Сидят инженеры, специалисты по турбинам, высокие специалисты – наши и немцы – не могут без меня работать! А я ничего не понимаю в строительстве турбин. И лишь с моим участием все всё понимают, раскрывают чертежи, таблицы; потом мы идем в цеха... До чего же все это было интересно. Я проработала с октября по июль месяц. Мы эту турбину «построили», «запаковали», «погрузили» в состав, оформили всю документацию и отправили в ГДР.

А с немцами я общалась очень тесно: помогала им в быту, что-то с ними покупала, водила их в музей и в театры и везде переводила, переводила...

Мы очень подружились. К Курту приезжала молоденькая жена, Рената; она останавливалась у нас в квартире, и какие же милые, славные люди были эти мои немецкие друзья!

Из группы «турбиностроителей» мы подружились с молодым диплом-инженером Хейнцем Пиратскими и с инженером по технологии Рольфом. Как я жалею теперь, что не помню его фамилию! Письма я пожгла перед отъездом в Израиль, а т. к. об этих своих немецких друзьях я еще буду писать, то придется ограничиться именем. Много лет мы переписывались с друзьями, а позднее, когда мне удалось, то была я со своей внучкой в гостях в ГДР, об этом я, пожалуй, напишу позже; были и они в гостях у нас в Харькове.

Но после работы на Турбинном заводе и общения с немецкими аспирантами ХАИ я знала, что вполне могу перейти на работу с использованием своих знаний немецкого языка; что могу закончить очень быстро немецкий факультет.

Именно в этот момент Харьковский институт иностранных языков слили с Харьковским университетом.

Создалось некоторое двусмысленное положение – я была одновременно и студенткой, и преподавателем одного и того же учебного заведения. Тогда я обратилась с просьбой к Коломийцу (не помню имени и отчества, к сожалению) – проректору по заочному отделению, где я много работала. Он подумал, поговорил со мной и предложил перевести меня на отделение немецкого языка (засчитав мне все сданные предметы на английском отделении за немецкие) с тем, чтобы я в этом учебном году закончила университет по немецкому отделению, сдав кое-что досрочно на немецком языке, чтобы быть допущенной к госэкзаменам по немецкому отделению. Я согласилась, хотя было страшновато: я знала много такого, чего не знали другие, но я давным-давно забыла о том, что есть школьная немецкая грамматика. Ее то и надо было сдавать на госэкзамене.

К концу моего 5-го учебного года в Харькове я подготовилась и сдала экзамены за немецкое отделение факультета иностранных языков. Меня перевели приказом с английского на немецкое отделение, и я закончила его за 1 год.

Я очень благодарна Льву Самойловичу Вольфу, который занимался со мной этот последний (впрочем, и первый) год моих занятий на немецком отделении.

Лев Самойлович был, кажется, польским или немецким евреем; он эмигрировал из Германии в СССР, где и был посажен в тюрьму за то, что был членом какой-то молодежной еврейской организации. Он отсидел 10 лет в одной камере еще с одним немцем. Все эти годы они занимались немецким языком (вспоминали и пересказывали немецкую литературу, историю и т. д.). Когда его выпустили, он не сразу, конечно, но все же был принят на работу на немецкое отделение. Язык он знал превосходно и за один учебный год прошел со мной то, что там проходили за 4 года, (конечно, на базе моих прежних знаний).

Теперь у меня была новая профессия. Я знала, что все равно в университете с уменьшением часовой нагрузки начнется сокращение штатов. И я сделала решительный шаг: я ушла из университета. Как раз вышло постановление о расширении и улучшении преподавания

иностранных языков в вузах. Мне предложили (пока!) почасовку в консерватории на кафедре иностранных языков.

Да, я действительно много передумала, отказываясь от любимой работы. 15 лет моей жизни я занималась историей средних веков и читала лекции по разным разделам истории на истфаках.

Переходя на преподавание немецкого языка музыкантам, мне казалось, что покончено с моей лекционной работой (я ошибалась – лектором-то я осталась, но лекции уже были на другие темы, но об этом ниже). Но мне все же хотелось хотя бы для себя самой подвести какой-то итог, сделать вывод о том, каковы же должны быть лекции для историков: Для меня так и остался этот вопрос совершенно неразрешенным. С одной стороны, так, как читал лекции мой научный руководитель, Ян Яковлевич Зутис, – это было нечто невообразимое. Если бы человек сидел и просто слушал его, то это был какой-то ряд выкриков, всхлипов, какие-то странные слова, которые вдруг произносились очень громко, с большим ударением, и даже нельзя было понять, в конце концов, какова же связь между этими словами. Но я где-то говорила, в другой связи, что он был, быть может, единственным в мире таким знатоком истории Прибалтики. Другого такого не было. И тем не менее, вызвать какой бы то ни было интерес его лекции не могли.

Я стала его ученицей, во-первых, потому, что немецкие архивы на территории СССР были только в Прибалтике; во-вторых, история Прибалтики тесно связана с историей России и потому представляет особый интерес, оставаясь при том историей Западно-Европейской и Средневековой.

Но по лекциям Яна Яковлевича я бы никогда не пришла к нему в ученицы. И ошиблась бы тяжко. Потому что такие указания, такое знание литературы, архивов, всей ситуации, связь истории Латвии, истории Ордена с современными латвийскими городами, городками и замками больше мне никто никогда этого бы рассказать не смог, не смог бы дать совета о литературе и об источниках вопроса.

Вот так обманчиво это все выглядит, если смотреть на лекции. С

другой стороны, очень гладкие по форме, вероятно, даже небезытересные мои лекции, вносили ли они нечто новое в мышление студентов? Правда, я всегда старалась рассказать что-то интересное, взять что-то из художественной литературы, может быть, рассказать какие-то живые детали... Ну, в общем, это все-таки было на уровне – ну, я бы сказала, популяризации. Не знаю, так ли должны читаться лекции для студентов-историков; рассказывая о разных периодах истории, о разных странах, я всегда сравнивала те или иные явления истории и общественной жизни, всегда приглашала к тому же студентов.

Я составила себе очень широкое представление о разных периодах истории. И поскольку я их все-таки читала, то я приготовила их очень основательно. Ну, впрочем, один знакомый мой преподаватель когда-то сказал: «Я просидел все воскресенье и готовил лекцию (ну, там, на определенную тему). Что получилось? Ну, ухудшенный вариант учебника». Так что, в общем, и мои подготовки тоже в каком-то смысле представляли собой, если и не ухудшенный, то приукрашенный рассказами, деталями, какими-то интересными сравнениями, но тоже в некотором роде учебник.

А нужны ли студентам такие лекции – ухудшенные или даже улучшенные, но все же варианты учебников?

Если готовить свои лекции так, как я считала нужным, и к чему стремилась, – часовые нагрузки преподавателя полностью исключали такую возможность.

При объеме читаемых предметов и учебники-то выучить не было возможности.

Тогда получается, что чтение лекции – это или чересчур много, или, если выучить учебник – то для меня это не интересно – слишком мало. А поступая в аспирантуру, я шла именно на то, чтобы заниматься всю жизнь с той же интенсивностью, что и в аспирантуре.

Но лекционной работы в ближайшее время в Харьковском университете мне тоже не светило.

Меня лишили бы и той почасовки, что я имела. Я вела семинары-практикумы по законам Хаммурапи, по восточному древнему за-

конодательству. Этот раздел мне помог подготовить Б.Н. Шрамко, и я ему очень благодарна.

Практикум по изучению варварских «Правд» я вела, обращаясь к воспоминаниям о семинарах Б.И. Рыскина в Москве.

И хоть толкование законов – это уже все-таки работа над источниками, но уже изученными и комментированными многократно. А их многократное повторение переставало быть для меня интересным.

В своей жизни я выработала себе определенную «жизненную установку». Перед тем, как принять какое-то важное решение, я очень серьезно думаю и решаю для себя: чего я хочу достичь. Решив что-то, я делаю все, абсолютно все от меня зависящее для осуществления этого решения. Если я добиваюсь его, то этого я добила сама, это мое решение, осуществленное моими же действиями. Если это удачно для моей дальнейшей жизни – очень хорошо; а если неудачно – то, опять же, я этого хотела, и не на кого ссылаться в том, что оказалось неудачным.

Для некоторых людей вся их жизнь превращается в сплошные сожаления – или о том, что они сделали, или о том, чего они не сделали.

Я навсегда отрезала себе возможность таких сожалений.

Я решила на перемену профессии – решила с большим трудом, постаралась все взвесить – и я не жалела и не жалею об этом шаге.

Дети росли, и многое в их росте и становлении было радостным, многое было от меня и от отца, но были ведь и другие влияния и воздействия. Митя очень увлекался авиамоделизмом; Петя жил как-то вдалеке от практических действий, но учился отлично. Конфликты, возникавшие у моих детей в школе, были характерны и меня не огорчали, а даже скорее радовали.

Так смешно, но каждый из сыновей в соответствующем классе, (кажется, в 8-м) написал сочинение по поводу «Героя нашего времени». И оба вынесли категорическое порицание всей деятельности Печорина, не нашли в нем ничего, что вызвало бы их сочувствие... И оба получили по «удовлетворительно» за свои сочинения, т. к. это расходилось с учебником. Я же порадовалась – думают сами, не идут за кем-то, а по-своему решают.

Как-то в школе ждали какую-то комиссию. Конечно же, Петя ждал, что его вызовут. Речь должна была идти о «Евгении Онегине».

За обедом спрашиваю:

– Ну, как дела? Как ты отвечал?

Почти со слезами в голосе Петя отвечает, что получил в журнале «хорошо». (Это было для него очень обидно!)

– Ну как же это? Ты чего-то не мог ответить? – спрашиваю.

– Да вот я тебя спрошу, и ты не ответишь.

– Но ты же читал «Евгения Онегина» Что же там можно было не ответить?

– Ну, вот скажи мне: что имел в виду Пушкин, когда писал «Евгения Онегина»? – Я как-то совершенно смешалась... – Ага, вот и ты не знаешь! Вот видишь? Им не важно, читал я или нет. А вот что имел в виду Пушкин...

И он мне показал учебник Абрамовича и Головенченко, где было написано что-то вроде: «Когда Пушкин писал «Евгения Онегина», он имел в виду показать быт и нравы среднего русского дворянства».

– Вот что я должен был сказать – и получил бы отлично.

Ну, вот, опять ведь, хотел Петя что-то ответить сам, прочитав и подумав... Так что по поводу этого «хорошо» огорчаться не стоило.

Петя, окончив школу, получил так называемый «золотой аттестат» (т. е. должны были дать золотую медаль, но так и ограничились бумагой). Он мог поступать в любой университет без экзаменов, но поехал в МГУ, где было серьезное собеседование. Его приняли, а я, наверное, была единственной мамой, которая огорчилась этим успехом сына. Я очень боялась, что это добавило к Петиному характеру еще больше уверенности в своей исключительности. Я не ошиблась. Некоторое время Петин характер ухудшался; свойственное студентам лучшего вуза Москвы «задавачество» очень меня огорчало. Но потом Петя стал старше и смог более объективно оценить разных людей и разные жизненные коллизии.

Точно по Марку Твену: раньше я была очень умная, потом начала внезапно очень быстро глупеть, а потом стала как-то понемногу опять

умнеть, а особенно это стало заметно, когда Петя окончил аспирантуру и вернулся домой.

Между Петей и Митей в школе было 2 класса разницы. Как раз когда Петя уже поступил в МГУ, а Митя еще был в 8-м классе, от абитуриентов стали требовать обязательный стаж работы. Тогда Митя ушел из школы, но поступил в вечернюю школу, а в своей родной школе стал работать лаборантом. Так, к поступлению в вуз у Мити был уже двухгодичный стаж работы. Это было важно тогда. В 6-м классе у Мити появилась постоянная девочка.

Катюша занималась в музыкальной десятилетке – занималась успешно – ее хвалили и за удивительный слух, и за музыкальность, и за общее развитие. Ее надо было отвозить в школу и привозить обратно. Возили ее до 5-го класса включительно – все: и я, и отец, и Митя с Петей.

Быт был весьма нелегким. Опять стали проявляться в мамином поведении разные странности. Однажды она высказала какое-то нелепое, беспочвенное и унижительное для моей домработницы подозрение. И в тот же вечер, после неосторожных слов моей мамы, наша домоправительница – истинный профессор в своем деле – обиделась, повернулась и ушла, я осталась в очень трудном положении: дети; Катя еще маленькая, лет 6–7; ей нужна была диета (после ее дизентерии в годовалом возрасте осложнения не прошли); я же в университете, с большой нагрузкой...

Именно тогда моя свекровь как-то горько сожалела, что вырастила сына так, что он абсолютно не помогает мне в быту.

Искали, конечно, домработницу, но в Харькове легче было найти безработного кандидата наук...

Я вертелась между работой и домом со скоростью, которую даже трудно себе представить: убирала квартиру, а сама думала об очередной лекции; готовила, а в то же время писала тезисы или конспект следующего занятия. Иногда дома было, что поесть, иногда – не было, и дети и муж шли в столовую института.

И вот однажды: звонок в дверь. Открываю: стоит старушка – вся

во что-то серенькое, старенькое, много стиранное одета; на голове – серенький платок; лицо – круглое, всё в морщинах, и глаза даже тоже как бы выцветшие были, наверное, серые, а теперь какие-то бесцветные. Но все на ней такое чистенькое, аккуратное. На полу стоит перед дверью большая корзина с ручкой (с такими ходят за грибами у нас под Ленинградом). Вот, говорит старушка: «Не купите ли клюквы?» В Харькове клюквы и на базаре-то нет: это слишком уж северная ягода. А мои ребята еще недавно вспоминали: «Какая вещь – клюквенный кисель!» Мы его часто готовили и в Риге, и в Минске. Говор, слышу, у старушки совсем нездешний, но не «скопской», т. е. не из-под Пскова или Опочни (там я бывала часто и даже однажды ездила туда в диалектологическую экспедицию), там говорят «цай» – чай, «цево» – чего, а эта бабушка говорит как-то иначе. Приглашаю ее на кухню, покупаю клюкву и беседую. Выясняется, что зовут ее Павла Ивановна, что жила с дочерью где-то под Вологдой, в колхозе, но когда стало уж совсем нечего получать на трудодни (Павла Ивановна – давно вдова; работала в колхозе лишь она, а дочь Лиза училась в школе), они как-то сумели получить паспорта. Это было очень трудно, колхозникам паспортов не давали, чтобы они не уехали в город, но как именно они это сделали, я в объяснении Павлы Ивановны не поняла. Скорее всего, эффект от них двоих – старухи и девчушки – в колхозной работе был невелик... А может быть, и пожалел их председатель. С паспортами они купили в Вологде комнату; Лиза стала работать кассиршей в кинотеатре, а Павла Ивановна – по людям, где что могла – помогала.

Но служил в Красной Армии в Вологде молодой человек из деревни Даниловка, что рядом с Харьковом (мы-то как раз и жили в таком районе Харькова, что рядом с Даниловкой). Влюбился он в быстроглазую, острую на язык, красивую северной красотой Лизу: серые яркие глаза, лицо круглое, улыбчивое, яркие белые зубы и сложена крепко, не субтильная барышня, а работница – высокая, прямая, в шаге и повадках – энергичная. И увез он Лизу на Украину.

Ну, а бабушка Павла? Продала свою комнату в Вологде и двинулась за дочкой вслед. Сначала Лиза жила в доме родителей мужа, но

потом решили строить свой дом на том же участке. Муж Лизы работал на заводе, но большую часть денег заработала Павла Ивановна своими экспедициями за клюквой. Она ездила с сентября по ноябрь, до снега, брала клюкву после морозов, когда ягода эта рдеет на зеленом мху, как полупрозрачные камушки, как бы рассыпанные кем-то. Тонкие, как темные волоски, стебельки от каждой ягодки уходят в зеленый мох и там прирастают к плетям с листьями. Так и кажется, что эти плети с зелеными листочками, тянущиеся по мху, не имеют никакого отношения к как бы рассыпанным кем-то ягодам клюквы... Сколько километров по болотам, в лесу, исходила Павла Ивановна в этих сборах! Лиза ездила с ней всего пару раз – потом пошли дети... А бабушка Павла купила в Даниловке халупку и жила там одна.

Сколько в этой удивительной старенькой женщине было самоотверженности, заботы о других, и сколько какой-то особенной гордой независимости характера.

Человеком она была глубоко верующим, но ее вера была доброй, благожелательной; она была убеждена, что главное – трудиться и никогда ни о ком не сказать дурного слова. Плохих людей – грешников – она не осуждала (осуждать Бог не велит!), а жалела их, считая, что они потому плохо поступают, что «не ведают, что творят» и молилась за них, чтобы и их тоже «Бог наставил на правильный путь». Тогда бы всем стало лучше!.. А Бог – Он всеблагой! Молиться надо – это всегда помогает! – Всем и во всем! Вот это были для нее главные добродетели христианства. Каким же необыкновенной доброты человеком надо было быть, чтобы в это не только верить, но жить по этой вере.

Не знаю, сколько лет бабушка Павла помогала мне – но много, лет, может быть, десять... Летом она жила у себя в Даниловке. А зимой, когда ей бедной и топить-то свою избушку было нечем, да и сил не было – ночевала у нас на диване. Главной ценностью для нее была ванная. Павла Ивановна убирала квартиру раз в неделю, за это я ей платила. Остальные дни, если у нее были ее собственные или Лизины дела, она уходила, но приходила вечером (мне легче, хоть посуду помое). Готовить она не бралась – боялась, что не так. Пряла шерсть на-

шей собаки колли Ярчина. И до сих пор у меня носки из спряденной его шерсти и ею связанные. Все мы ходили в свитерах из шерсти Яра.

Павла Ивановна была умна и тактична; речь ее, полная каких-то северных оборотов, была очень ярка и выразительна.

Павла Ивановна убирала старательно, аккуратно. Раз, перед Пасхой – она считала, что надо особенно чистоту навести («На Пасху каждая тряпочка чистоте-то радуется!») – у меня начиналась весенняя зачетная сессия, я не могла даже окон помыть (Павла Ивановна стара, ей это было трудно и это, обычно, я сама делала). Вот бабушка Павла меня встречает вечером и говорит: «Глянь-ко! Я ведь глазами так боялась, так боялась, а руки-то делали. Вот!» – и рада, что убрала к Пасхе. Мне все же стало намного легче: хоть уборки на мне не было.

А какой душевной щедрости был человек! Какую заботу и какое отношение к себе видела я от нее! И до сих пор – какие-то ситцевые «тряпочки» – мои блузки – её покупки. «Вот шла, думаю, тебе сгодится на кофту. На, возьми себе!» Иногда даже и денег не хотела брать, «Я ведь у тебя в нахлебниках. Вот, иду – полотенца дают – взяла тебе. Тебе ведь некогда». Тогда ведь все «давали» – стояли очереди за всем. И полотенца ее – тоже тут. Я часто удивляюсь, насколько вещи долговечнее людей. И люблю я не эти вещи, но в них память о дорогих мне людях.

Самые горькие месяцы моей жизни, после ухода Толи, Павла Ивановна была у нас. Весной, в апреле–мае, она ушла, на ее место стала приходиться Лиза. Лиза могла и убрать, и приготовить, но не было в ней той удивительной душевности, доброты, какого-то света сердца, что в бабушке Павле. Я виновата перед бабушкой Павлой: не нашла времени навестить ее, а она стала как-то быстро прибалывать и умерла одна в своей избушке. Я металась к маме в больницу, на работу, с детьми – и им надо было помогать – и вот грешна перед бабушкой Павлой: все собиралась ее найти на Даниловке. Но потом узнала, что опоздала.

Но и при помощи Павлы Ивановны мне вполне хватало домашней работы.

И все же наша жизнь еще шла по-прежнему, летом мы ездили на

байдарках – 2 раза прошли Северский Донец (от Харькова через Уды) до Артемовска. Один раз спустились по Днестру от г. Николаева до Каменец-Подольска (кажется). Потом жили в Белгород-Днестровском (бывший Аккерман). По Северскому Донцу мы спустились дважды – это чудесные места.

Река не слишком велика – по большой реке не так интересно идти на байдарках, а вот когда берега, поросшие кустарником и лесом, образуют туннель, а потом вдруг открывается широкое место, и кувшинки розовато-белые, царственно прелестные, открываются навстречу солнцу, но прячутся, закрывшись, на ночь – чувствуешь истинную прелесть реки.

Рыбу ловить мы не научились, но ловили раков. Это азартное занятие и не требует терпения и сидения на месте: мы же стремились побыстрее двигаться вперед.

Однажды мы наловили почти сотню; потом решили сварить их – ну не возить же их с собой? И вот, когда все это было так весело, костер пылал, а в котел была заброшена первая порция раков – когда мы стали их вынимать – вдруг Митя расплакался (он был тогда в 4-м классе).

– Что с тобой Митенька? – спросила я.

– Ну, как ты не понимаешь, мама... Они только что были живые... они же были! – махнул он рукой и ушел вдоль берега реки.

Каких самых разных людей мы встречали! Как это было интересно!

Однажды мы целый вечер у костра просидели с мужчиной средних лет; он очень интересно говорил о хоровой музыке – прекрасно ее знал; кое-что пел. Он оказался заядлым рыболовом, большим знатоком истории Украины и тех мест, где мы были. Толя был очарован этим собеседником... А потом выяснилось, что он протоиерей Харьковского Благовещенского Собора. При том состоянии Толиного отношения к церкви это был совершенный конфуз.

А на Днестре однажды на огонек костра пришел с того берега человек, оказавшийся сторожем фруктовых садов. Весь вечер он нам

рассказывал сказки – так хохотали, что заболели мускулы щек и живота. Рассказывал он на каком-то украинско-русско-молдавском диалекте. Но самое удивительное, что мастерство исполнения было так высоко, что и я, и все мы всё понимали.

И живя дома, мы часто ходили в лес гулять, иногда на целый день.

К сожалению, прекратились наши поездки на велосипедах и вот по какому печально-комическому случаю.

Однажды в мае месяце утром мы с Толей поехали через лес и парк на озеро в 25 км от Харькова. Дорога шла все время лесом, но по тропинкам, хорошо наезженным.

Только что мы повернули домой, как колеса моего велосипеда перестали крутиться... совершенно. Я упала сильно, разбила в кровь колени, локти и даже щеку. Я говорю – не могу дальше – велосипед не едет.

Муж мне отвечает, что это глупости, этого не может быть; садись, дескать, и поедем дальше. Он был впереди меня. Я сажусь и падаю; опять сажусь, и опять падаю.

Ехала я на дамском велосипеде. Наконец я уже была вся избита, вся в синяках, Толя вернулся, попытался катить велосипед руками – колеса не крутятся...

Мы шли домой (км 18–20) пешком, по жаре; мы несли мой велосипед на весу, а свой Толя вел «за рога». Мы пришли домой часов в 5, а в 8 у меня были занятия у вечернего отделения. Боже, в каком виде я туда появилась! И как все болело...

Оказалось, что два зубчатых колеса, по которым проходила цепочка передачи, почему-то сцепились друг с другом – зубья одного вошли между зубьями другого. Дома их выбивали молотком. Ни в каких руководствах не был описан такой случай, но именно со мной это и случилось.

Наверное, всякое «техническое сооружение» чувствует, что я его боюсь и не люблю и немедленно что-нибудь со мной «вытворяет». Много было и других случаев, когда техника проявляла свою «нелюбовь» ко мне, или я к ней.

После того я перестала получать удовольствие от езды на велосипеде – я все время боялась, что опять велосипед не поедет. Так-то и перестали мы ездить на велосипедах.

В 5-м классе Катюша сильно заболела печенью; лежала в больнице, а потом мы сумели полечить её в Трускавце (я уже писала – Люда и Митя были там с ней по очереди). Врачи посоветовали ей пропустить учебный год, поправиться и окрепнуть, соблюдать диету и как можно больше быть на воздухе. Мы её перевели на балкон спать в спальном мешке; белые сухари, сливочное масло и еще кое-что из еды (что было ей можно) привозили из Москвы (ездили раз в месяц кто-нибудь), а вот гулять ее одну, или даже с Людой, в наш лесопарк я боялась отпустить – город рядом, шпана разная везде бывает. Я очень давно, а Катюша тем более хотели завести собаку. Вот так и был куплен мною наш чудный пес Яр, привезен из Москвы. Это был колли очень хороших кровей; когда я его купила, ему было 7 месяцев. Замечательный был пес! В специальной главе «Мои друзья-животные» я пишу о нем подробно и благодарно. Он надолго стал членом семьи и товарищем в походах и прогулках.

Благодаря нашей собаке появились у меня новые друзья. Они жили недалеко от больницы, где лежала моя мама. У их собаки колли и нашего Ярчина были щенки – отличные, 8 штук. Мы, смеясь, называли их наши «собачьи родственники».

Измотанная и истерзанная каждым посещением мамы, опустошенная от жалости, от невозможности помочь, от того ужаса условий, в которых жили эти несчастные, психически больные люди, я просто боялась сразу ехать домой – сдержаться было для меня сверх моих сил, а «вываливать» весь этот груз на своих – хватало и того, что со мной творилось... Их-то, моих детей, старалась я хоть немного оберегать. Вот и заезжала к своим друзьям, к Друлевым. Какие прекрасные люди встречались на моем пути и стали моими друзьями!

В этой семье каждый был по-своему цельным, замечательным человеком, но ближе всех я дружила с женской частью семьи. Оксана Петровна была медсестрой по специальности; но, когда я её знала,

уже не работала (ей было тогда 52 года), так как муж стал болеть сильно, а потом и умер вскоре. Дочь ее, Ирина, когда я их узнала, была студенткой биофака; потом она была доцентом ХГУ.

Для этой семьи было характерным и определяющим одно – я бы не постеснялась сказать – великое чувство, чувство любви ко всему живому. Это распространилось и на мужчин от женщин. Не говоря о доброте к людям, но не было ни кошки, ни собаки, ни птицы, которым бы не помогли эти мои дорогие друзья. В своих рассказах о моих животных я рассказываю об их собаке Альбе. Она спасла тонущего, утопленного кем-то, котенка, ухаживала за ним маленьким и вырастила его. Ира мне как-то сказала: «Я стала специализироваться по ботанике, так как не могла смириться с тем, как на биофаке зоологи учатся препарировать лягушек и мышей. Ведь они же живые!»

Как берегли у них в доме растения! Ира и ее муж привозили из экспедиций, да и просто из нашего харьковского лесопарка начинающие исчезать цветы: пролески, желтые и лиловые дикие ирисы (и другие, названия которых я не знаю), высаживали их у себя в саду, сохраняя их таким образом. У них был домик и сад, и с какой любовью ухаживали они за ним! Любовь эта не определялась урожайностью плодов – хоть, естественно, и компоты, и наливки славились! – но любили они Жизнь Сада, жизнь в её растительном проявлении, так же, как и животных своих, понимая и любя их, как «братьев меньших».

Мы дружили много лет. Их дом был теплым и гостеприимным. Бывало часто, что Оксана Петровна звонит мне по телефону и говорит: «Пусть твои мальчишки (а потом уже и взрослые!) приедут; да ведра захватите – абрикосов много!» (или груш, или яблок). Ира и ее муж два года были в командировке в Южной Америке – в Никарагуа, преподавали там на испанском языке, она – биологию, он – математику. В эти два года я часто ночевала у Оксаны Петровны.

Как интересно было общаться с ней... Она выросла в г. Чугуеве, а потом жила в Полтаве: ее отец был офицер; в Чугуеве еще живы были воспоминания о военных поселениях при Аракчееве. Оксана Петровна была украинка; ее речь, ее уклад, часто традиции семьи пришли

из прошлого, например, на Сочельник, канун Рождества, непременно приглашались люди одинокие (чтобы не были они одни в этот вечер); еда была часто традиционно украинская. Это не было проявлением ее религиозности, но вся ее доброта, всё её отношение к людям и ко «всему живому» – тоже были как бы проявлением ее Веры в Жизнь и желанием творить Добро.

Были мы 2–3 лета в Крыму. Недалеко от Симеиза небольшое местечко Кацивели, где мы жили и тоже часто ходили в горы. Все это было интересно – это были чудесные походы. В Кацивели с нами ездила уже Люда; одно лето, еще не будучи Митиной женой, была и Наташа (она и в Ленинграде была с нами); брали с собой и Ярчика.

В Кацивели была так называемая «летняя математическая школа» – собирались математики, и там читались лекции по разным аспектам математики. Толя не только читал там лекции, но и был доволен общением со многими математиками из других городов; в одной из таких школ я познакомилась и подружилась с Марком Вишиком и его женой. Подобная школа была и под Киевом, в Каневе.

Кажется, два лета мы провели под Киевом. Жили мы в гостинице на берегу Днепра; говорили, что эта летняя гостиница была построена к приезду украинцев из США к юбилею Т. Шевченко. Часто летом в разных местах устраивались так называемые «математические школы». Туда приглашали видных специалистов, которые читали лекции для своих коллег и проводили семинары; важны были также и возможности неформального общения людей высокого уровня одной профессии. Обычно семьям тоже создавались условия – так в Каневе мы были даже с Катюшей. Кормили нас и жили мы в гостинице, так что хозяйственных забот не было. Местность изумительная: Днепр, разливающийся плавнями и старицами, прекрасный лес, куда мы ходили за грибами, – одно из самых живописных мест Украины.

Однажды после лекции Анатолий Дмитриевич взял лодку, и мы поехали на ту сторону в плавни; ушли довольно далеко по каким-то протокам и вышли к озеру, сплошь укывшемуся в зарослях тальника.

Что-то мы сказали громко, Толя звякнул уключинами, и... вверх поднялись цапли. Я не успела их сосчитать – до 40 дошла, а потом сбилась со счета. Они кружились над нашей лодкой и над озером; солнце уже начало опускаться и оранжево освещало все вокруг, а небо стало уже не бледно-голубым, как в жару, а чистым и ярко голубым. И на этом фоне правильными, четкими кругами плыли над нами большие птицы; чудилось, что они летают как бы в одном ритме, даже крыльями почти не взмахивают, а как-то парят, плывут друг за другом. А потом они очень незаметно, одна за другой, стали скрываться из нашего поля зрения, где-то они опускались на воду, но мы этого не увидели.

Там же в этом потрясающем по красоте месте произошло горестное происшествие. Среди многих математиков был и московский математик Михаил Михайлович Постников. Он был недавно в Китае, очень интересно об этом рассказывал, и мы часто по вечерам гуляли с ним. Анатолий Дмитриевич хорошо его знал, они даже, кажется, собирались вместе писать в «Известия» статью о преподавании математики в школе.

С Мишей Постниковым были его мама и его сын, мальчик одного возраста с Катюшей.

Дети часто играли вместе.

Однажды утром мы пошли на Днепр – мать Миши, его сын и мы с Катюшей.

Место, где мы купались, было глубокое, но не сразу. Была небольшая полоса вдоль берега, где было по пояс взрослому, и дно было песчаное.

Катюша уже хорошо плавала; она спросила у меня разрешения, я отпустила ее; а бабушка говорит мальчику: «И ты иди». Я спрашиваю:

– А он умеет плавать?

– Да, пусть идет, – отвечает она.

Дети пошли вперед, а я стала раздеваться. Вдруг бежит моя Катя и кричит:

– Его нет! Его нет!

– Как это «нет»?

– Ну, я спросила его, – рассказывает Катя, – ты умеешь плавать? А он отвечает: «Еще получше тебя!» И пошел в воду. А теперь его нет.

Я бросилась туда. Ну, ныряла, конечно. Но оказался там обрыв на 12 м. Я и не могла его спасти – он, видно, наступил на пустоту, испугался и сразу же пошел ко дну. Вызвали водолазов. Извлекли тело через полчаса. Так чудовищно быстро погиб ребенок.

Потом оказалось, что бабушка с ним не жила, а мама его, с которой М.М. Постников был разведен, лежала в больнице.

Ужасная эта история как-то омрачила наш отпуск, такой до тех пор светлый и беззаботный.

Произошло у нас одно очень важное уже радостное семейное событие – женился Митя. Уже давно, с 6-го класса, был он всегда вместе с одной своей одноклассницей, Наташей Кузнецовой. И вот однажды, когда он учился на 2-м или на 3-м курсе, он пришел вечером и попросил отца и меня собраться для серьезного разговора с ним. Ну, я, конечно, уже ждала, что разговор состоится на тему о женитьбе, но я никак не ожидала того, что последовало.

Митя сообщил весьма независимым тоном, не допускающим возражений, что, во-первых, он получил 3 двойки (хвосты) и что с 3-мя из университета исключают, во-вторых, что он женится на Наташе, поступает работать электромонтером и будет жить у Наташиной мамы в кладовке; в-третьих, что он через две недели уезжает в альпинистский лагерь...

Я, конечно, ужасно возмутилась и почти начала уже в повышенном тоне, что если не учиться, то какой может быть разговор о лагере? И пр., и пр.

Но Толя очень мягко остановил мои возмущения (и как я благодарна ему!). «Постой, Митя, – сказал он, – можешь ты сдать один хвост, самый легкий (кажется, это был марксизм) до отъезда в лагерь? После этого поезжай спокойно в лагерь. Мы давно ждали, что вы с Наташей собираетесь пожениться и рады этому – мы отпразднуем вашу свадьбу; а ты сможешь после этого спокойно сдать два оставшихся хвоста (за 2 хвоста ведь не исключают!); подумай, стоит ли уходить из уни-

верситета... А если хочешь начать работать, я тебе в этом помогу. Где вы захотите, там и будете жить». Ну, на этом серьезный разговор и был пока закончен.

Митя ушел, а я осталась. «Вряд ли Наташина мать будет в восторге от Митинога плана: и зять без образования, и жизнь в ее кладовке – это вряд ли подойдет для нее. Вот увидишь, – сказал мне Толя, – все образуется».

Наташа поступила в это самое лето на английское отделение филологического факультета в Харьковском университете. Конечно, я смогла ей в этом помочь. Я ведь уже работала в Институте искусств, и у меня были определенные связи с преподавателями иностранных языков. Я смогла обеспечить Наташе занятия английским языком с тем преподавателем, который принимал вступительные экзамены – ясно, что он, занимаясь с ней всю зиму, подготовил ее хорошо и в смысле языка, и в смысле требований.

Наташе я сказала: «Если вы с Митей поженитесь, то, конечно, ты мне ничего не будешь должна. Если нет, то когда-нибудь, если ты сможешь и когда ты сможешь, ты вернешь мне эти деньги. Я их у тебя никогда не попрошу сама». К свадьбе Мити и Наташи ее мать развелась с Наташиным отцом. Работала она продавщицей в книжном магазине, конечно же, зарплата была маленькая. Когда встал вопрос, где детям жить, она очень ее уговаривала: «Ты иди, Наташа, жить с тетей Катей; она тебя не обидит, вон у нее и Люда живет. А я что зарабатываю? Вы с Митей учитесь, я вам помочь не смогу». Этот разговор мне передала Наташа именно в таких выражениях.

И стала моя семья еще больше. Правда, Люда примерно через год заканчивала музучилище и уезжала по назначению; Петя же был оставлен в аспирантуре, т. е. было неясно, вернется ли он домой.

Митя и Наташа прожили вместе с нами три года. Потом мне удалось с большими трудностями и за деньги сделать так, что они были прописаны в квартире моей мамы (она разошлась с мужем и жила некоторое время отдельно). Когда мама уже была в психбольнице, они смогли очень удачно обменять эту ее квартиру на квартиру напротив

Художественного института. Но все это делалось не сразу, и было мне совсем не легко.

Два лета мы ездили через Тбилиси в Бакуриани, где была Толина аспирантка.

Впервые я была на Кавказе, в горах. С нами был и Митя со своей женой Наташей. Митя, увлекшийся к тому времени альпинизмом, впоследствии и способствовал всячески моим горным походам.

Описывать всю красоту тех мест, где мы побывали, я не берусь: слишком слаб мой язык, и слишком сильны были мои впечатления. Но, пожалуй, два случая из моего пребывания на Кавказе я все же опишу.

Однажды из Бакуриани мы пошли на 2–3 дня в горы. С собой взяли еду; и вот Митя отравился – видно, мясо было недоброкачественное. Это все происходило далеко в горах, но это не были снега – это были горные леса, где велись лесоразработки. Внизу, под нами, была какая-то избушка; рядом стояли два трактора, и копошились люди.

Митю били судороги – он корчился, выгибался, то голову к ногам, сгибая спину, то голову к ногам – сгибая живот. Это было очень страшно: он был бело-зеленый, говорить он не мог.

Я ринулась вниз, по скользкому склону – Толя и Наташа остались с Митей.

Добежав до избушки, я умоляла этих людей помочь. Но у них не было горячего – трактора были неподвижны.

«Вон внизу – видишь дорога. Туда ведет вот эта тропа. Садись на лошадь – только что по дороге прошла машина, она повезет обратно стволы деревьев; ты успеешь. Кто-то посадил меня на лошадь... Я не помню, как это было, как – не знаю, но я доехала (лошадь шла небольшой рысью, по тропе вниз), я как-то сползла или свалилась с лошади и тут же услышала шум приближающегося грузовика.

Молодой грузин-водитель резко затормозил, когда я бросилась наперерез машины. Задыхаясь и плача, я рассказала кое-как, в чем дело. Он молча сгрузил два ствола (это была кабина, но за ней кузова не было, а были, как бы две небольшие площадки над колесами и вдоль

были проложены две металлические полосы, где и крепились цепями громадные бревна), сбросил их, взял в кабину меня и повернул назад, туда, где были Митя с Наташей и Толей. Это была кабина для 3 человек. Я с Митей почти на коленях и водитель, а Толя и Наташа на этой площадочке, где первые колеса кузова (я потом однажды ехала – ужас как страшно, недаром Наташа и Толя были одного цвета с Митей) со всей скоростью, возможной на такой дороге, водитель довез нас до первой больницы в каком-то селе. Митя был уже явно с пониженной температурой, но пульс был, хоть и слабоватый. Митю немедленно взяли в больницу – промывание желудка, уколы, ну все, что надо.

Я хотела заплатить водителю (ведь он сбросил бревна, а это заработок, может быть, не одного дня, и не только его, но и еще кого-то), отказался наотрез, даже с обидой. Я говорю: «Хоть имя скажи, мы Мити сына так назовем». «Нет, – говорит, – имя мое Грузин. Как будут при тебе русские говорить, что грузины только деньги с русских дерут, скажи, что грузины – люди; другим людям в беде помогают». Развернул машину и уехал в горы.

В Тбилиси мы останавливались в семье Дареджан и Гиви Изюмовых, оба математики. Они жили с бабушкой, Василием Ивановичем, и у них было двое мальчиков, Дато и Бидзина. Дато было лет 5, когда я приехала в Тбилиси в первый раз. Утро начиналось с того, что Дато (он стал пианистом, когда вырос) и бабушка пели грузинские песни. Маленький Дато нежным, звонким голосом и дед глубоким бархатным баритоном пели и застольные, и лирические, и шуточные песни и в унисон, и на два голоса. Я боялась показать, что я уже не сплю, чтобы не «спугнуть» эту прелесть – такое абсолютно свободное музыкальное творчество.

Однажды из Бакуриани я ехала в Тбилиси. На некоторой узловой станции мне было нужно пересесть на другой автобус. Подхожу – в автобусе все места заняты. Ну, за 10 верст видно, что я приезжая. Водитель спрашивает:

– Ты в гостях?

– Да, – говорю, – мне надо вечером быть в Тбилиси». Подходит

второй водитель; они советуются, ставят мне впереди еще один мягкий стул и говорят:

– Садись!

Ну, только мы отъехали, расспросы пошли – нравится ли мне Грузия (а мне Грузия, действительно, очень понравилась!), да, а что нравится больше всего. Говорю:

– Песни грузинские

– Ну, так мы тебе будем петь Два часа водителя вдвоем пели мне грузинские песни... И как пели! Я работала уже много лет в консерватории – но концерт-дуэт без всякой подготовки и без аккомпанемента на 2 часа – такого не мог никто из моих студентов. Наверное, у грузин музыка где-то в животе, в крови, в костях. Без специального обучения поистине с молоком матери впитывают они навыки грузинского пения.

И еще один случай удивил меня. Я уезжала из Цхалтубо, где лечилась в санатории. С чемоданом, явно на поезд или самолет, издали видно, что я приезжая. На автобус была страшная толпа, а грузины – народ темпераментный, и лезут все разом, не признают очереди. И вот из автобуса, из самой первой двери выскакивает водитель, сверху прямо «прыгает» в толпу, хватая мой чемодан и за руку втаскивает меня в автобус. «Ничего, – говорит, – не бойся. Теперь ты успеешь на поезд».

Вот такое удивительное гостеприимство по отношению ко мне, абсолютно незнакомой, но гостье. Никакого намека на доплату за эту любезность. Просто из их «кодекса чести».

Примерно в эти же годы жизнь принесла мне очень тяжелое горе: вернулась с новой силой мамина болезнь. Я очень долго не понимала, не верила, что это болезнь; я пыталась ее уговаривать, разубеждать – все было бесполезно.

Если раньше она страдала от патологической ревности, то теперь все ее мысли и чувства были сосредоточены на моих детях. Среди ночи она вдруг приезжала на такси, уверяла меня, что она слышала из подвала их крики, что их там пытали, жгли, запихивали иголки под

ногти; после того, как я уверяла ее, что все в порядке – вот дети, они спят – она стала меня подозревать в том, что это я же сама своих детей и истязую. Истерики, требования доказать ей, что это не так – бред все усложнялся. Я обратилась в психиатрический диспансер. Врач-женщина расспросила меня о маминой молодости и тут же объяснила мне, что мама давно и тяжело больна.

Но ей, врачу, необходим контакт с больной, чтобы завести на нее амбулаторную карточку (пока! ведь неизвестно, как будет развиваться болезнь, могут быть ухудшения...)

Так, впервые возникла передо мной возможность или вероятная необходимость помещения ее в клинику. Все это было ужасно! Видеть ее страдания, терпеть ее дикие выходки – только тот, кто жил с психически больными может себе это представить...

Врач все-таки нашла возможность обмануть маму, уверить ее, что собираются какие-то статистические данные о ленинградцах, войти с ней в контакт. Сомнений в ее болезни не было: было лишь неясно, сколько времени будет возможно существование мамы вне больницы; как скоро станет она опасной для окружающих...

Кроме всех домашних дел и обстоятельств, весьма нелегких, я начинала работать в совсем новой для себя профессии.

Впрочем, уже в университете проявилось во мне качество, сильно не приветствуемое администрацией. Я слишком добросовестно оценивала знания студентов и никак не могла понять, что можно поставить положительную оценку не за знания, а, например, по просьбе кого-нибудь...

Так, в университете был у меня некий конфликт, когда я какому-то заочнику не согласилась поставить положительную оценку, а он оказался... собутыльником проректора – ни больше, ни меньше.

Там же – раз и навсегда – я перестала верить нытью и уверениям: «Вы поставьте, пожалуйста, а я, ну, вот, честное слово, приду и сдам в следующий раз». Обманули меня и таким образом, но один раз. Больше такой номер не проходил. А однажды один тип на экзамене мне сказал: «Я вчера похоронил отца». Зачет он получил.

Потом я узнала, что это была ложь.

Итак, с историческим факультетом университета я рассталась.

Меня порекомендовали Розе Исааковне Гроссер – очень импозантной, очень строгой, уверенной в себе даме. Она многие годы преподавала в Харьковской консерватории немецкий язык – но в одиночестве. С ней также работала (но по английскому языку) Ольга Всеволодовна Щеткина. Вот они вдвоем, собственно говоря, и вели все иностранные языки. Но с того момента, как, по постановлению правительства, количество часов значительно увеличилось, им понадобились люди. И, в частности, в этой ситуации взяли на работу и меня. Роза Исааковна Гроссер была человек в высшей степени методичный, очень аккуратный и в смысле работы, и в смысле своих требований. В каком-то смысле, даже и непреклонный. У нее выклянчить какую-нибудь оценку было достаточно трудно. И она, посмотрев, как я веду занятия, как работаю, в общем, осталась довольна.

Хотя мой стиль работы совершенно не соответствовал ее строгой манере, ее «академичности». Но поскольку я владела языком свободно, ей это очень понравилось. Только работала-то я с ней совсем недолго. Приняли меня на работу в сентябре, а, по-моему, в ноябре Роза Исааковна заболела. Болела она крайне редко, но тут она заболела всерьез. И, в общем, к концу этого учебного года она скончалась – скончалась от рака. Болела она всего месяца три-четыре. Но потому, что она сначала просто заболела, а потом было ясно, что она уже не вернется, надо же было кому-то брать ее группы. И так получилось, что все группы по немецкому языку взяла я. И повела все эти группы, и вела их с большим трудом, но и с большим интересом. Администрация была мною чрезвычайно довольна.

Роза Исааковна скончалась, мы ее похоронили. И хотя в то время это еще не запрещалось, но мы все-таки настояли, поскольку она всю жизнь работала в Харьковской консерватории, гроб ее был выставлен в зале, была гражданская панихида – все было сделано с уважением к ней. К сожалению, через пару лет запретили выставлять на месте работы гроб с усопшим, в том случае, если его должность

была не ниже секретаря райкома партии. Эта иерархия райкомовская при переходе человека «на тот свет» мне была непонятна, мне было очень обидно за тех людей, которые всю жизнь отдали работе, скажем, у нас, в нашем институте – Харьковской консерватории, и даже им не было разрешено такое прощание со своим местом работы и со своими студентами. Я имею в виду Дубинина, я имею в виду еще ряд преподавателей, которые умерли, и которым так и не разрешили оказать такие почести.

И возник вопрос – что теперь? У нас должна быть кафедра! Раньше это не была кафедра, а было какое-то отделение или подразделение при кафедре основ марксизма, на которой, кстати, работал Леонид Михайлович Баткин, курсовую и дипломную работу которого я хорошо знала по университету. Он был действительно выдающимся человеком и выдающимся знатоком итальянского Возрождения. Человек работал очень много, не щадя сил и себя. А в консерватории он преподавал итальянский язык. Общение с Леонидом Михайловичем было чрезвычайно интересным и очень много мне дало. Когда я была преподавательницей, а он – студентом-дипломником, мы с ним не общались. А вот в консерватории, когда я оказалась в подразделении на его кафедре, мы общались, и это было очень интересно и для меня очень плодотворно.

Надо сказать, что при всех сложностях работы с вокалистами по итальянскому языку было важно, что для них этот язык был нужен – ведь они пели на итальянском оперную классику.

Но во всем институте отношение к иностранным языкам было хуже, чем у вокалистов.

В институте, где главными были профессиональные показатели, мне пришлось нелегко.

Среди администрации был взгляд на иностранный язык, как на предмет даже не второстепенный, а еще ниже. Было очень трудно отстоять не то чтобы право, а просто обязанность преподавателя требовать от студентов некоего минимума знаний предусмотренных государственной программой по предмету. К сожалению, ни препо-

даватели, ни сами студенты в громадном большинстве абсолютно не считали для себя нужным никакие знания по немецкому языку.

Моя настойчивость воспринималась как некое чудачество, непростительное для сотрудника Музыкального института.

Дело даже не столько в минимуме знаний и навыков, обязательных по программе: дело в том, что громадное большинство преподавателей по специальности далеко не всегда были в состоянии (или не хотели!) всерьез отнестись к тому факту, что общая культура для музыканта необходима, может быть, даже больше, чем для среднего инженера. Хотя как здесь может быть «больше» или «меньше»...?

Для администрации было важно иметь благополучные отчеты. Я не исключаю и такого варианта, что даже на ректора могло быть оказано давление (у ректора семья и дети, их учителя, а главное – врачи, знакомые знакомых, друзья друзей и проч., и проч.), но что давление оказывалось на деканов, мне просто известно.

Всегда были в ходу аргументы: он (она) – хороший музыкант; ему (ей) не удастся иностранный язык, надо ему (ей помочь), войти в положение... И что же Вы, декан, не можете распорядиться, чтобы преподаватель понял, что от него требуется?

Да, а вот данный преподаватель вполне понимал, что от него хотят, но делал-то по-своему!

Доходило до того, что меня вызывали к ректору по поводу студента N; я говорила, если Вы считаете возможным поставить ему оценку – поставьте в ведомости. Я не считаю возможным и не поставлю. Помочь – пожалуйста.

И я часами сидела и учила их учиться, учила заниматься.

Вот был, например, хороший скрипач, Валерий Соркин. Полтора года он не отвечал мне, не сдавал нужное внеклассное чтение. Полтора года мне звонили по телефону, меня просили, уговаривали, даже угрожали жалобой в обком.

Наконец, Валерий пришел ко мне на консультацию, походил полгода, позанимался сам и со мной и сдал экзамен на «отл.»

«Вы знаете, – сказал он, – позаниматься и сдать интереснее, чем

просить всех знакомых». Но, как правило, громадное большинство моих студентов сами начинали с интересом, хоть и не без труда, выполнять мои требования. Правда, своего времени и своих сил я не жалела... Довольно быстро я поняла: здесь все музыканты, есть очень хорошие, есть хорошие, средние и совсем слабые... Но все они музыканты; их действительно интересует только музыка – все остальное для них дело второстепенное.

Значит, читать с ними, говорить с ними и заставлять их говорить по-немецки надо, прежде всего о музыке.

Учебники у нас были в лучшем случае для университетов или для технических вузов.

Тогда я к каждой группе, с учетом знаний и возможностей каждого студента, стала готовить материалы из немецких газет; я показывала студентам, как правильно выписывать слова и обороты и предлагала каждому, используя эти слова и обороты, рассказать совсем коротко о каком-нибудь музыканте или о его конкретном концерте. Задания были индивидуальны. Из этих моих начинаний выросли две специализированных пособия по немецкому языку для музыкантов. Об этих пособиях я расскажу несколько позже.

Моим требованием было уметь объясняться на немецком языке с воображаемым немцем по разным вопросам. Это было трудно, но достижимо. Постепенно и преподаватели по специальности, услышав от своих учеников о том, как им стало интересно заниматься у меня, перестали обращаться ко мне с просьбами «подойти индивидуально», «учесть», «помочь» и т. п. Уроки мои надо было вести в темпе: игры, вопросы-ответы, развитие находчивости, загадки – я использовала все. Контингент иногда бывал очень разный – из сельских школ, например, «народники» (студенты кафедры народных инструментов) зачастую вообще не имели занятий в школе по иностранным языкам; тогда с ними надо было начинать с алфавита. Скрипачи и пианисты, как правило, приходили хорошо подготовленными.

Я разрабатывала свои занятия как «театр одного актера», работая по 6, а иногда по 8 ч в день в аудитории. Обычно расписание остав-

ляло свободными 2 дня для собственных занятий. Вскоре после моего прихода в институт и смерти прежнего заведующего кафедрой, Р.И. Гроссер, заведовать стала Ольга Всеволодовна Щеткина – культурнейший и тактичнейший человек. Она работала по тому принципу, что хороший начальник не должен препятствовать ничему полезному и не должен разрешать ничего вредного. И наш «бабский» коллектив работал очень слаженно; не все, конечно, так отстаивали свои принципы, как я, но все понимали, что если начинать ставить оценки «по просьбам», то они будут увеличиваться по частоте в геометрической прогрессии. А как же тогда вести групповые занятия? Потому я встречала поддержку со стороны наших остальных женщин.

Иностранные языки в связи с готовящимся съездом Демократической молодежи стали пользоваться некоторой поддержкой – было увеличено количество часов в вузах.

При Московской консерватории состоялось всесоюзное совещание преподавателей иностранных языков музыкальных вузов и вузов искусств.

Я выступила на этом совещании; предложила собрать материал, подготовить к изданию специализированный учебник для музыкантов. Было много общего в наших проблемах, но, конечно, студенты Москвы имели совсем другую мотивацию для изучения иностранных языков, нежели студенты остальных городов.

На этом совещании я познакомилась с заведующим кафедрой, профессором Валентином Николаевичем Девекиным.

На многие вопросы наши точки зрения совпадали, но не всегда. На то, что я была сторонницей «увлечательства» студентов, что стремилась сделать занятия (не всегда, но часто – игрой) Валентин Николаевич сказал: «Да к чертовой матери! Нужно им, значит, пусть сядут и выучат.. Еще не хватало цирк для них на занятиях организовать!» Да, мотивация у его и у моих студентов была слишком различна... В Москве-то учились немцы из ГДР. Да и перспективы концертной деятельности для студентов Московской консерватории и моих были весьма различны...

Вторым знакомством, имевшим для меня очень большие последствия, стало знакомство с преподавательницей Ростовского музыкального института Александрой Андреевной Пономаревой.

А.А. Пономарева – жена военного, моряка и до Ростова-на-Дону работала в Архангельском медицинском институте. Теперь, в Ростове, ей пришлось очень трудно: не было ни учебников, ни подходящих книг для внеклассного чтения, а у нее не было опыта работы в вузе такого профиля. Я сразу же предложила ей все собранное мною и используемое на занятиях, все разработки с грамматическим и лексическим комментарием. Я, как всегда очень радовалась, когда выяснялось, что мои взгляды на преподавание и мои разработки интересуют кого-то еще, а не только меня. А.А. увезла из Москвы много интересного и много очень пригодившихся ей в работе материалов.

К концу этого же учебного года А.А. звонит мне по телефону; она предлагает мне приехать к ним, посидеть вместе некоторое время над нашими разработками и превратить их в книгу – ее муж может помочь нам издать эту работу типографским образом. Конечно же, я согласилась... Ведь работ такого профиля в Советском Союзе не было; издать же это в Москве – ну, я бы успела до тех пор скончаться!

Так началась наша общая работа с А.А. Пономаревой. Результатом (правда, не скорым, что вполне естественно) были две книжки – «Musik Zu Gast» – «Музыка в гостях» для 1–2-х курсов и «Sprechen Wir Über russischen Komponisten!» для 3–4-х курсов, для продвинутых историко-теоретических и для аспирантских групп. А.А. Пономарева проделала очень большую работу по подготовке моих материалов к печати; конечно же, без ее помощи и, главное, без помощи ее мужа, мне бы никогда не удалось выпустить эти книжки.

Но и она, конечно, без меня сделать такую работу не смогла бы. Так мы стали соавторами, и я считаю, что это было справедливо и правильно. Я очень подружилась с этой семьей; к сожалению, потом наши связи нарушились: мужа А.А. перевели куда-то, и они уехали из Ростова-на-Дону, но до того, наверное, лет 6, я бывала там постоянно для работы над своими пособиями.

Моя домашняя жизнь тоже ведь не останавливалась: мамина болезнь прогрессировала, с ней было очень трудно. Как ни нелепо, но именно первым ее следствием стал уход от меня моей «домоправительницы» – неважно, как это случилось, но осталась я на все свое хозяйство (часто бесхозяйственное!) одна... Очень было трудно, тем более что все меньше продуктов можно было купить в магазинах.

И хоть была у меня стиральная машина, и теперь была вода и газовая колонка, но стирала я по ночам, готовила – по ночам, ставя будильник на каждые 20–25 минут – поменять белье в машине, выключить борщ и т. п.

Как-то стал Анатолий Дмитриевич стремиться на студенческие вечера или даже вечеринки – но без меня!

Но я была еще и сама-то молода, и очень мне хотелось пойти вместе с мужем куда-то и потанцевать.

Танцевать-то я его научила...

Однажды, когда Катюша совсем еще маленькая хоть и лежала в больнице, но ей стало лучше, зашли мы вечером в маленький ресторанчик в парке «Аркадия» (в этом же парке была расположена и больница); там играл оркестр; танцевали несколько пар. А потом как-то все перестали, остались мы с Толей, и к нам подошел директор этого ресторанчика и сказал: «Я вижу, вы преподаватели танцев. Если бы вы согласились 2 раза в неделю работать у нас, мы бы договорились о цене». Как был горд мой муж! Это было тогда... А теперь он уходил на студенческий вечер с танцами, а я должна была оставаться одна. Я страдала и плакала; он злился, мрачнел, обвинял меня в «зверином эгоизме».

Однажды случилось такое при моей свекрови. Погрустнела Хая Самойловна; меня погладила по голове: «Молодость его влечет... Это потом, может быть, и пройдет. Ты старайся не показывать вида». Но мне было очень обидно – ведь на мне лежало так много всего... Легко ли «не показывать вида». Я ведь и по натуре очень ревнива; а кроме того, я так изматывалась от хозяйства, мне так хотелось быть с ним вместе.

Хая Самойловна перед Митиной свадьбой говорила с Толей и высказала свою точку зрения: мальчики должны знать всю правду. Я так этого не хотела – растут братьями и пусть так все и останется... Но Толя сказал: «Это твоя точка зрения, но бывает и другая».

Именно после празднования свадьбы я увела мальчиков погулять, и рассказала им все. Что-то они вспоминали из своего раннего детства, но вместе с тем все изложенное из моих уст произвело на них сильное впечатление. А мне было страшно: не изменятся ли наши отношения после этого разговора?.. Перед свадьбой Митя сказал мне: «Знаешь, мам, я так счастлив, что мне кажется, что могу летать!» Как жаль, что не удержалось Митино и Наташино счастье! Как я ни старалась, что-то в Митином характере оказалось не то из того, что было необходимо для поддержания их «полетного состояния».

Но и до этого еще было далеко; пока Наташа училась, Митя и учился, и начал на 3-м курсе работать, Люда приезжала из деревни раз в месяц на несколько дней. Как-то в семействе сложилось такое мнение: тетя Катя (это я!) не любит смотреть телевизор, она любит мыть посуду... Да! Раньше – несколько лет я занималась со всеми детьми немецким – теперь Пети не было дома, Митя и учился, и работал. А я? Ну, я так работала, как, пожалуй, никто в семье...

В институте, кроме всего, на меня возложили довольно сложную обязанность: раз в неделю 1,5 часа – политчас на всем оркестровом отделении.

Приходилось к этому тоже готовиться – темы давались заранее, но материал (газеты и журналы) надо было выучить самой, все обдумать, иногда даже найти материал, надо было еще и уметь рассказать так, чтобы говорить то, что правда, а с другой стороны – не всю правду, или только такую правду, которая не была бы компрометирующим меня материалом и не повредила бы мне самой. Ведь наверняка были и среди моих слушателей «стукачи». Постепенно я знакомилась и с преподавателями. Некоторые так и не отрешились от прежнего упорного взгляда на музыканта, как на ограниченного ремесленника. «Вот

тебе твоя дудка – в нее и дуй». Но были и другие. С этими другими возникали деловые и дружеские связи.

Моя деятельность в институте расширялась и даже, как ни странно (и как это было радостно для меня), по инициативе самих студентов.

Как-то приходят ко мне несколько студентов факультета хорового дирижирования и спрашивают: «Почему мы поем в произведении (кажется, И.С. Баха) «Крути фикус, крути фикус», – распевая этот фикус несколько тактов. При чем тут фикус?» Я просто обалдела... Смотрю на них дикими глазами и не знаю даже, что сказать. А потом меня вдруг осенило: это же «срусіфіх» – распятие по-латыни, распетое хором. И вот тогда-то мне и стало ясно, как важно при исполнении донести не только гуманные принципы христианства, но как важно просто понять людям, что они поют. Потому что тогда это будет исполняться в совершенно другом ключе и в другом качестве. И тогда я стала очень много работать над переводом текстов самых разных музыкальных произведений.

На это же обстоятельство обратил внимание и Павел Владимирович Шакальский, побывавший на наших занятиях по переводу. «Я и представить себе не мог, как интересно Вы повернули работу по немецкому языку к нуждам преподавания нашего института», – сказал он.

П.В. Шакальский часто ездил на гастрольи с Харьковским филармоническим оркестром для чтения лекций. Он сказал мне: «Меня поразило, что множество наших выпускников, с которыми я разговаривал в этих поездках, вспоминали именно Вас, и всегда так тепло, и просили передавать приветы и пожелания всего наилучшего». Мне это было очень радостно слышать.

Кружение дней, недель от домашних дел – к работе, от вопросов детского благополучия – опять к работе, от проблем достать (это в смысле «купить»), как-то становилось все напряженнее. С некоторого времени просто купить что-нибудь стало невозможно. Все «доставали», куда-то надо было бежать в самое неудобное время, везде надо было выстаивать очередь, выслушивать перебранку на тему:

«Вас здесь, гражданка, не стояло!» «Нет, это Вас не стояло, а вовсе не меня!» Это все было не просто утомительно, это просто изнуряло.

Наш ректор, Тамара Яковлевна Веске, когда-то отстояла наш институт от направлений на работу в колхозы на длительные сроки (1,5 месяца); было доказано, что при тяжелой физической работе музыканты становятся профнепригодными. Остались разовые поездки – на рубку каких-то веток для прореживания лесополос, на уборку моркови, капусты и т. п.

Надо сказать, что во все эти поездки неизменно ездила Зинаида Борисовна Юферева – жена Георгия Борисовича Аверьянова (сначала секретаря парткома, а потом – ректора) и Алена Аверьянова – наша студентка. Никогда они не отлынивали ни от какой работы, а на кафедре истории музыки Зинаида Борисовна тоже отличалась примерным трудолюбием и аккуратностью, в частности, при работе над курсовыми и дипломными студенческими работами.

Но во всем этом очень напряженном круговороте дел было в то время для меня одно самое болезненное, совершенно непредсказуемое – мама! Ее бред, страх за то, что она может натворить в любую минуту, боль за нее и за ее страдания... Тень от ее болезни ложилась на всю семью.

Очень изменился Митин характер. Раньше он говорил мне: «Знаешь, плохо работать – это по-настоящему стыдно». Теперь их стали посылать на помощь в колхозы. Студенты должны были собирать помидоры и складывать их в ящики; потом эти ящики они же отвозили куда-то на сборочный пункт. За несколько километров от него стояла вонь от гниющих помидоров; ящики, в которые студенты сортировали помидоры, сложенные в несколько этажей, все текли; кругом нельзя проехать – тучи мух и ос... А в городе нет в продаже овощей, тех же помидоров.

Митя говорил мне: «Выходит, что хорошо работать не нужно? Зачем мы эти помидоры собирали и сортировали?»

И могло ли при этих условиях возникнуть то почти религиозное отношение к работе – всегда трудиться изо всех сил – какое выросло

во мне и которое я стремилась воспитать в своих детях? Тот «культ работы», которым жила моя семья?

Студентов отрывают от учебы. Зачем? Зачем все это? Очень от всего этого мой мальчик изменился.

Аналогичная ситуация сложилась и с моими студентами у меня. Нас посылали на уборку моркови и капусты – требовали, чтобы мы сортировали морковь, чтобы капусту рубили, оставляя кусок корневища, 5–6 см. Если это не соблюдалось, нас какие-то бригадиры ругали.

Я работала сама очень честно, и моя бригада студентов (стыдно же им было от меня отставать) тоже трудились не за страх, а за совесть.

А через 3 дня мы увидели, что «нашу морковь» и «нашу капусту» трактором запахивают в землю! Хотя бы уж не на глазах наших это делали! Ну как после этого уговаривать ребят хорошо работать: А зачем?

Родился у нас первый внук. Это было трудно и матери, и ребенку, мы сдали много крови для них. Я себе дала зарок, если они оба будут здоровы (я узнала тогда, что страшно не хватает крови в лечебных заведениях и родильных домах), я буду сдавать кровь, пока будет можно – до известного возраста. Этот зарок я выполнила – сдавала кровь до 56 лет.

На станции переливания крови сначала все спрашивали – для кого сдаю? Когда сдают кровь, то сдают для кого-то, или за это платят деньги донору. Я же отказалась от денег. Они думали, что я какая-то психопатка – сдаю просто так, кому-нибудь, кому надо, и денег не беру? Ясно, что сумасшедшая.

Потом привыкли. Вот только справки на 3 дня отпуска за каждую сдачу крови (сдавала я 1 раз за 2 месяца) я получала. Потом они оказались очень нужны мне, т. к. обстоятельства на моей работе сильно изменились. Но об этом я расскажу позже.

Один раз мне удалось уговорить маму, и она легла в больницу добровольно на 3 месяца. Ей стало немного лучше – «бред стал не таким пышным», как говорят психиатры.

Я впервые увидела своими глазами психиатрическую клинику.

Трехэтажное кирпичное здание с датой постройки – 1860 г. Можно ли представить себе все убожество этой клиники? Начиная с планировки помещений, коммуникаций водопроводных, отопительных, канализационных... Это ужас! Ведь несчастные эти женщины не были виноваты в своей болезни, а жизнь их была настолько ужасна – их как бы наказывали, истязая жестоко.

Громадный зал – общая палата, человек на 50–60... кровати почти впритык. Когда не хватает мест – кладут по двое на одну кровать... Боже, ведь они же больные, какие-то человеческие условия им для пребывания здесь (я уж не говорю об излечении!) просто необходимы. Моя мама – человек до педантизма чистоплотный, ложилась под кровать, чтобы не спать с другой женщиной на одной постели; одеты они были в какие-то линючие, страшные халаты (мы приносили маме ее вещи и раз в 2 недели, когда я ее навещала, меняли ей халат, кофточку и т. п.).

Бедная моя мама! Когда я приезжала (дорога у меня требовала 2,5 часа в один конец) и привозила ей какую-то еду, она всегда просила меня поесть вместе с ней. Видно, так блокада навсегда запечатлелась в бедной ее голове – она всегда боялась, что я голодна... Я «делала вид», что ем с ней вместе, чтобы ее не огорчать.

Но после трехмесячного лечения она пробыла дома 1 год, и бред возобновился с новой силой. Время остановилось для мамы в тот момент, когда она (уже навсегда!) оказалась в психклинике.

Казалось бы, несчастные эти женщины, психически больные, лишённые самых элементарных условий человеческого существования, чем они могли проявить какой-то такт в отношении меня? Они нашли единственное, в чем они могли мне оказать услугу, чем они располагали во всем этом ужасе их бытия.

Единственный туалет на 10 мест с одной входной дверью предоставлялся в мое единоличное распоряжение; ни одна пациентка ни разу не зашла, ни разу не стеснила меня; даже близко к туалету никто не подходил, пока я была: ведь почти 5 часов на поездку туда и обратно, да еще побыть с мамой – а особенно, если холодно!

Бедные, несчастные женщины! Они делали это для меня – это была их щедрость, их подарок мне... Они старались услужить мне тем, чем могли. Боже мой, даже в них жила какая-то человеческая доброта.

Однажды мы были с дочкой на Юге; когда мы вернулись домой, у девочки была сильная ангина с высокой температурой. Вечером приехала мама – помочь мне. Я стала давать Катюше лекарство... И тут мама бросилась на меня, повалила меня на пол и стала душить. Она была выше меня, крупнее. А я уж никак не ожидала ее нападения.

В какой-то момент я почувствовала, что теряю сознание, подумала: «Она меня прикончит!» Тогда я укусила ее за руку – она меня бросила, а я стала звать мужа. Он был у себя в кабинете и занимался.

Мама, указывая на меня, в страшном возбуждении говорила ему: «Она отравит, она отравит... Ее надо убить и поскорей. Мне удалось спасти ребенка в этот раз, но удастся ли еще?»

Тогда у нас уже не осталось сомнений – помещение ее в больницу неизбежно; вызвали милиционера с машиной (в их функции входила доставка беспокойных больных в клинику), и мы поехали. Было уже около 12 часов ночи; Толя сначала не хотел ехать, но милиционер ему говорит: «Как же одна женщина ночью будет добираться? Поезжайте вместе...»

Незабываема кошмарная процедура ее помещения в больницу...

Она четко придерживалась своего бреда, не узнавала меня, утверждала, что я аферистка, покушаюсь на жизнь ее внуков; что в Кремле маршал Малиновский; он все видит, и что он ее любит, не оставит ее, что ей нужно к Малиновскому. С плачем и с криками рвалась из рук санитаров...

Вся эта ужасная приемка ее в больницу длилась до 3 часов ночи. Потом ее увели – она все угрожала мне... – и мы поехали домой.

В такси мой муж вдруг говорит мне:

- Бедная ты моя, бедная!
- Что ты, Толик, что с тобой?
- Придет день и час, когда ты привезешь меня, как привезла ее
- Ну, Бог с тобой... Почему ты так говоришь?

– Потому что я слышу голоса и людей разных вижу... Только вот тебя одну я всегда узнаю... Не понимаю еще, как можно самого близкого человека не узнавать и принимать за кого-то другого.

Мы замолчали надолго – я взяла его за руку, и больше он со мной об этом не говорил.

Теперь, вот теперь мне стало страшно. Страх сдавил мне сердце, горло, голову. Что делать? Говорить с врачом? С каким врачом? Или сидеть и ждать, делая вид, что все в порядке?

У Толи на работе изменилась обстановка к худшему – умер директор института Люкевич; на его место пришел его первый заместитель, Масленников, – человек, с которым у Толи отношения никак не сложились. Толю пригласили перейти в организованный только что Институт низких температур. Он перешел, оставив за собой лекционные курсы в Харьковском Авиационном институте – ХАИ.

Все чаще у него бывали приступы тяжелого настроения. Тогда весь дом замирал: атмосфера накалялась, становилось трудно дышать, тяжело жить.

Однажды Митя мне сказал:

– Я не могу это видеть. Я поговорю с отцом. Он не имеет права так себя вести. Это же какое-то рабство.

– Митюля, родной. Знай: я сама обратила себя в рабство. Любой разговор может только навредить!

– Ну, если ты так считаешь, я буду молчать.

Не могла я ему рассказать, почему я так веду себя.

И я обратилась в психдиспансер. Очень милая женщина моего возраста долго разговаривала со мной. И мы решили изобразить все так, как будто я встретила своих друзей по Ленинграду, еще по школе; пригласила их к нам. Ее муж заведовал кафедрой психиатрии в Харьковском институте. Он объяснял мне (увы! я это уже знала) что ему необходим контакт с больным, чтобы больной «раскрылся» перед ним.

Года два эта супружеская чета бывала у нас; они интересные люди и прекрасно «вписались» в тот кружок, что бывал у нас. Их фамилия

Столяревские. На второй год нашего знакомства они переезжали куда-то в другой город. Перед отъездом я спросила:

– Ну как, удалось Вам войти в контакт с моим мужем?

– Да, вполне, – ответил он. – Выслушайте очень внимательно, что я Вам скажу. Вы должны всю жизнь, ни на минуту не забывать: Ваш муж болен. Но он не настолько болен, чтобы его было необходимо (во всяком случае, сейчас, а может быть, и довольно длительное время) лечить. Но он и не настолько здоров, чтобы Вы имели право хоть на минуту забыть о его болезни. Будьте мужественны!..

Итак. Ни на минуту не забывать...

Где-то я однажды прочитала, что если человек каждый день идет на работу с чувством интереса и с удовольствием, а после работы возвращается домой с радостью, то это счастливый человек. До определенного момента я и была счастливым человеком.

Но теперь во мне всегда жило ожидание ужаса; домой я шла со страхом перед тем, что меня может там ожидать. При этом работа, несмотря ни на что, не потеряла для меня интереса; не то чтобы я забывалась за работой – нет, это было невозможно забыть, но может быть, именно потому, я и работала так интенсивно, как бы старалась скорее, скорее успеть сделать задуманное.

Одновременно со всеми этими делами, даже еще задолго до разговора с врачом о Толином состоянии здоровья, начала я читать в нашем общежитии лекции. Уж очень нелепым представлялись мне эти «посещения», за которые, подумать только, даже писали в нагрузку какие-то такие «часы».

Вспомнились мне и девочки в Минском пединституте, и мои лекции на истфаке в Харькове.

Я всегда старалась поподробнее рассказывать о культуре и искусстве (эти темы были в каждом разделе). Однажды на Харьковской кафедре всеобщей истории я наткнулась на какой-то большой прибор, весь в пыли; оказалось, что туда можно вставлять и разные иллюстрации, и даже книги – и использовать это все на лекциях. Студенты помогли мне, мы этот прибор почистили и перенесли в аудиторию. Я

стала использовать эту машину на лекциях.

Всем это очень понравилось; только мне было жаль моих книг и картинок – прибор жег их немилосердно: они выходили оттуда, дымясь.

Но теперь, в общежитии, начав с картинок и альбомов, я решила перейти к слайдам. Мне когда-то дети подарили на день рождения аппарат «Свет», я купила специальный переносной экран, и теперь вопрос стоял лишь о самих слайдах. Я пыталась покупать их в советских магазинах, но они были очень плохого качества: через несколько недель они становились зелеными или лиловыми; о том, как я разрешила этот вопрос, напишу позже.

Сейчас я остановлюсь на том, о чем, собственно, начала я читать свои лекции и чем они должны были отличаться от учебников по истории искусств.

Большинство вопросов, которые возникали у студентов, были связаны с сюжетами Библии и Евангелия. Так как русская икона – вид искусства очень трудный для восприятия; то начало моих лекций было посвящено итальянской живописи раннего Возрождения. Вопросы студентов оказывались чаще всего связанными с христианством. Эта тема необъятна по объему и значению, как в истории, так и в истории культуры всего человечества. Мне надо было выделить некие вопросы этой темы, связанные непосредственно со специальностью моих слушателей, во-первых, а во-вторых, объяснить, почему христианство стало религией трети жителей Земли.

Работая над переводами текстов духовной музыки, я еще раз убеждалась не только в необходимости понимания этих текстов при исполнении, но и в необходимости знания хотя бы самых основ христианской мифологии. К этому же приходили мы и при рассмотрении многих произведений живописи – ведь и сюжеты живописи, и сюжеты музыкальных произведений часто коренятся в библейских сюжетах. Я не могу считать себя религиозным человеком, но моё внутреннее ощущение морали и совести, несомненно, близко христианскому.

Начиная свою лекционную деятельность, я хотела, чтобы эти лек-

ции ни в коем случае не повторяли бы учебники по истории искусств (хотя без общих сведений конечно нельзя было обойтись). Но главное, мне хотелось, чтобы у моих слушателей формировалось бы иное отношение к религии, – не вульгарно-ругательное, характерное для прежних лет антирелигиозной пропаганды и сохранившееся у многих моих слушателей, а отношение к религии, как явлению культуры. Именно потому религия и оказалась так тесно связана с искусством: и с музыкой, и с живописью, и со скульптурой, что сама религия – явление культуры. Сама эта тема – связь разных видов искусства с религией – необъятна. Но первое, что я пыталась показать и разъяснить моим слушателям – это распространенность христианства. Христианство – первая религия, провозгласившая равенство людей перед Богом. Неважно, обрезанный или необрезанный, иудей, римлянин или варвар, но если у тебя в сердце твоём Христос, то ты и есть христианин (в общем, я не точно цитирую, но смысл именно таков). И вот эту сторону христианства мне очень хотелось донести до моих студентов.

Мне кажется, что это та первая особенность христианства, благодаря которой христианство и стало религией трети населения земного шара. В христианстве впервые проявилось то, что мы теперь, вероятно (во всяком случае, в мое время!), понимали под интернационализмом.

Так впервые в религиозной форме было провозглашено равенство любого человека перед Богом, если этот человек стал христианином; отсюда истоки всех буржуазных конституций – это истоки понимания равенства всех людей. Это предвкусение современного понимания равенства в правах человека. Мне казалось, что на это непременно следовало обратить внимание моих слушателей, и что это было особенно важно в период «государственного антисемитизма».

При изучении и при исполнении классической духовной музыки мы встречаем множество хоров, так же, как и сольные партии. В них заключено громадное философское и общечеловеческое эмоциональное содержание. И опять возникает вопрос: следует исполнять классическое музыкальное произведение с текстом на языке оригинала

или на языке аудитории слушателей? Есть разные точки зрения на этот предмет. Одни исследователи считают, что надо петь на языке, понятном слушателям, другие считают, что надо петь на языке оригинала. Я думаю, что и та, и другая точка зрения имеют собственную правоту. Но, с другой стороны, чтобы проникнуть в красоту музыки, в философскую глубину произведения, необходимо понимать, что тут написано, и как это надо петь. И я, переводя эти тексты, поражаюсь тому проникновению в суть человеческих переживаний, которая отражалась в «Страстях по Матфею», «Страстях по Иоанну». Ведь это отражение поистине общечеловеческих чувств!

И мне кажется, что вторая особенность христианства, способствующая тому, что оно стало религией трети населения земного шара как раз и есть его «общечеловечность». В христианстве потрясающе простое и безотказное понимание не только неизбежности страданий в жизни, но их возвеличение. А миф о страданиях («Страсти») Христа легко переносится, как бы отождествляя с жизнью любого и каждого человека. Ну, кто из людей не страдал в своей жизни? Кто (во всяком случае, с его собственной личной точки зрения) не подвергался несправедливости на протяжении своего жизненного пути?

Когда-то мы разговаривали на эту тему с Дмитрием Львовичем Клебановым. И он очень удивился моему высказыванию – я вообще думаю, что религиозные тексты, особенно переложенные на музыку, чем-то сродни гаданию. Потому что каждый вкладывает в гадание то, что он считает для себя нужным, близким, естественным, родным.

Как в прорицательских высказываниях умной гадалки каждый может (если хочет!) найти и свое будущее, и свое прошлое, так и в этом мифе каждый верующий находил свою собственную жизнь, свое прошлое и надежду на светлое будущее. Вот точно так же и в религиозные, особенно переложенные на музыку тексты каждый слушатель вкладывает свое содержание, свое понимание и самое главное – свои собственные чувства.

Веками отрабатывался текст; веками текст усиливался музыкой, недаром так часто встречается в музыке тема «Страстей». Веками

тексты молитв обрабатывались даже еще до их канонизации и доводились до высоко художественной краткой, выразительной формы, которая поддерживалась музыкой и всем ритуалом богослужения.

В каждой разновидности христианства, в полном соответствии с духом именно этой разновидности, ритуал уже канонизировали.

Недаром тема «Страстей» (по сути дела, пасхальная служба) – воспринималась с такой эмоциональной отдачей; после посещения пасхального богослужения молящийся испытывал подлинное душевное потрясение, эмоциональное напряжение, сменяющееся чувством эмоционального подъема и очищения (истинный катарсис у древних).

Эта легкость включения себя самого как бы в сферу и атмосферу мифа о Христе, эмоциональная действенность этого мифа и вековая форма слияния этого мифа с музыкой, живописью, превращение этого в сильно действующее эмоциональное средство воздействия на молящихся – сильнейшая сторона религиозного ритуала в христианстве. Христианская служба объединяла эстетическое и эмоциональное напряжения, предоставляя «пик» – разрядку, очищение в молитве. Вот это некоторые особенности христианства, на которые я обращала внимание своих слушателей.

Я много времени и сил отдала переводам «Страстей». И была у меня такая мечта, чтобы перевод этот не только укладывался бы в распев, т. е. был бы эквиритмическим, но, чтобы приходя в концерт, слушатели могли бы получить программку с напечатанным эквиритмическим высокохудожественным переводом. Вот тогда бы было и полное понимание у исполнителей и у аудитории, и полное эмоциональное восприятие всего произведения. Красота этих молитв, их человечность и бессмертная музыка сливались бы в единое целое с душевным настроением слушателей, на каком бы языке ни шло исполнение.

Лекции в общежитии я начала с раннего итальянского Возрождения.

Глубокая человечность итальянского искусства, гуманность и гуманизм (провозглашенные впервые в Италии именно итальянскими

гуманистами), были выражены художниками в произведениях религиозного изобразительного искусства. Поскольку мне хотелось показать итальянскую религиозную живопись в развитии и в разнообразии школ, это потребовало очень большого количества слайдов.

Вообще, начиная эти рассказы, я даже не представляла себе, во что это выльется, как захватит меня, сколько это заберет у меня работы, сил, времени, и... денег.

Наша кафедра в лучшие свои времена состояла из заведующей – Ольги Всеволодовны Щеткиной, Софьи Иосифовны Лубенской, Аллы Борисовны Писаревой, Нелли Александровны Журавлевой – это все преподаватели английского языка; одна преподавательница французского – Ольга Михайловна Дроздова и одна «половина мужчины» – Леонид Михайлович Баткин. Он вел у вокалистов итальянский язык. Была еще одна преподавательница немецкого языка – Людмила Борисовна Моница, и я.

Моя преподавательская работа шла в нескольких направлениях: я отбирала и комментировала для ротاپринтных внутриинститутских изданий языковой материал, в частности, для так называемых разговорных тем выдумывала и разрабатывала мнемонические приемы для книжек (для младших курсов и для аспирантских групп), проверяла на группах и студентах разного уровня отбираемый и обрабатываемый материал.

Надо было сделать так много. Надо было заканчивать начатые работы (пособия и переводы со студентами и с А.А. Пономаревой), надо было «ставить на ноги» заболевшую печенью Катюшу, помогать Мите и Наташе – у их сына начались приступы бронхиальной астмы.

Кате была нужна диета, а в Харькове нельзя было купить ни белого хлеба, ни сливочного масла. Иногда я, иногда Митя ездили в Москву, а Хая Самойловна готовила нам белые сухари и масло; по своим делам ездил в Москву и Толя – тоже привозил продукты.

В Харькове на рынке ввели цены на все – обязательные! Началась совершенно нелепая вещь. Например, некто с яичками, спрятанными от глаз милиционера, на быстром беге бормотал: «Яички, яички, N

рублей десяток». За ним рысью бегали покупатели и бормотали свою цену; потом забегали в подворотню, происходил «товарообмен»; но туда же мог заскочить (заскакивал!) милиционер, и тогда – «плакали» и яички, и продавец, и покупатели, т. к. яички конфисковывались, деньги пропадали. Жить, просто доставать еду, становилось все труднее и хлопотнее.

Я заметила, что мои быстро растущие мальчишки стали постоянно «прикладываться» и жевать куски хлеба. Я сердилась – у нас это было не принято, а они отшучивались: «Ну мам, что тебе куска хлеба жалко?»

Как-то перешли мы на картошку, уж очень решительно и почти исключительно на нее в разных видах, но все равно на нее. Я, конечно, с ног сбивалась, но с картошкой всегда еще было хоть что-нибудь: чаще рыбное, но иногда и мясо.

Очень важным ежегодным событием в масштабах нашей кафедры (и может быть, даже интересным для преподавателей иностранных кафедр других институтов, не говоря уже о студентах) были наши вечера.

Раз в год наша кафедра проводила большой концерт-вечер в двух отделениях. Мы приглашали много народа, обычно даже не все желающие могли попасть.

Основную работу по этим вечерам несли С.И. Лубенская, Н.А. Журавлева и я; остальные все готовили номера, но мы втроем и сценарий писали, и репетиции проводили, а главное, вместе со студентами и некоторыми преподавателями по музыкальным дисциплинам подбирали и выбирали материал.

На таких вечерах было всегда много приглашенных преподавателей иностранных языков из других вузов. Наша кафедра высоко котиновалась в городском масштабе.

На таких вечерах студенты выступали очень охотно, но в несколько неожиданных амплуа: так, пианисты могли петь или танцевать, духовики – петь, играть на аккордеоне, студенты театрального отделения – аккомпанировать и т. п. Так, теперь ректор института (2003 г.) Татьяна Борисовна Веркина – пианистка, именно на одном из наших

вечеров впервые выступила как певица. Она, кажется, и теперь выступает и в этом жанре.

Все это всегда шло на прекрасном вполне профессиональном (еще бы!) музыкальном уровне. Обычно разрабатывался сценарий. Речевые прокладки на всех преподаваемых языках были обязательны; номера были всегда вокальные (инструментальные не допускались – не интересно и не для кафедры иностранных языков); сценарий же должен был объединять номера сюжетно; исполнялись обычно произведения в то время популярные, часто – пародии и все в обработке наших же студентов.

Впрочем, звучала и «иноземная», так сказать, новейшая (для нас) классика, Гершвин, например.

Наша кафедра превосходно заявляла о себе в городских масштабах. Многие пользовались и нашим опытом, но, конечно, нас «переплюнуть» никому не удавалось: наши студенты ведь действительно артисты, выступали охотно и радостно.

Подготовка номеров шла в разное время, ведь все наши студенты работали профессионально по вечерам; поэтому прогон мы вынуждены были проводить (по специальному разрешению) ночью.

Я очень просила ребят не курить и после прогона с электрофоноариком проверяла под стульями зрительного зала, нет ли окурков. Боялась очень!

Один из концертов включал сцену из «Порги и Бесс» Гершвина. Исполнялись и модные тогда блюзы и танго. Кто-то хотел петь что-то из немецкого репертуара, но учил английский. И мы переводили с немецкого на английский, с французского на немецкий и т. д.

Кто-то требовал и просил у меня перевести на немецкий песенку из кинофильма «Бриллиантовая рука». Ну, это-то я не смогла! Да, думаю, и никто бы не смог: «В этот страшный час дело есть у нас – мы заветную косим трын-траву!»

А вокалисты стали даже просить переводить с русского языка на немецкий... Пушкина! Это же просто курьез! Комическое косвенное свидетельство, однако, к признанию наших иностранных вечеров.

Непрененно были и грим, и костюмы. Нам даже разрешались джазовые импровизации, что тогда не приветствовалось.

Эти вечера были еще очень важны и для создания дружеской, творческой, деловой атмосферы в отношениях между студентами, преподавателями нашей кафедры и многими преподавателями музыкальных дисциплин, участвовавших в подготовке вечеров.

От нашей кафедры в городском методическом объединении я несколько раз выступала с докладами по методике преподавания. Я проповедовала свой «символ веры»: путь к успеху в преподавании иностранного языка – «хороша любая методика, кроме скучной».

На всех собраниях нам постоянно напоминали о том, что наш вуз – идеологический.

Кафедрой марксизма-ленинизма заведовала пожилая женщина, Вера Ивановна Логвинова. Она не была ни подлой, ни особенно активной. Важно так же отметить, что с половины пятидесятых до половины шестидесятых годов было время так называемой хрущевской оттепели, от названия произведения И. Эренбурга. Это время получило такое название, когда Хрущев впервые выступил с разоблачением ужасов сталинского режима, сказав об этом на трибуне съезда, после чего многие были реабилитированы. Во всяком случае, оно для советской интеллигенции было действительно временем оттепели.

На кафедре основ марксистско-ленинской философии работал и Леонид Михайлович Баткин, преподававший на нашей кафедре итальянский язык.

С ним я встретила, как только приехала в Харьков: тогда он заканчивал истфак. По его дипломной работе уже было ясно, что он человек выдающихся способностей. Его диплом был посвящен Данте. Именно для работы над своей темой Л.М. Баткин и занимался (и с большим успехом!) итальянским языком. Впоследствии им была написана монография о Данте, которая позже была переведена на итальянский язык в Италии.

На нашей кафедре Леонид Михайлович преподавал вокалистам итальянский – это было «полмужчины» – полставки на нашей кафедре.

В нашем институте раз в месяц или в полтора проходили обязательные семинары для преподавателей на самые разные темы: обсуждались международные события в нашей стране, новинки музыкальной и театральной жизни, исполнение каких-нибудь произведений в нашем городе и многое другое.

Я помню на редкость интересный семинар на тему «Есть ли будущее у оперы, как жанра?»

Эти семинары проводил Леонид Михайлович Баткин и делал это чрезвычайно интересно. Многие преподаватели активно участвовали, иногда готовили доклады, а иногда выступали в дискуссиях. Выступала и я.

Особенно запомнила я на всю жизнь один такой семинар, который провела сама, и который имел для меня большое значение, даже как бы во многом определил одно из направлений моей дальнейшей деятельности в институте.

Н.С. Хрущев посетил Художественную выставку в Манеже в Москве. Он произнес по этому поводу речь, где многих ругал: скульптора Э. Неизвестного (который потом стал автором памятника Хрущеву) и еще кого-то; но особенно его негодование вызвало полотно маслом «Обнаженная» Р. Фолька.

Ко мне часто обращались студенты с разными вопросами и тут тоже сразу пришли и спросили, что это за «Голая Фалька», которая так уж не понравилась Хрущеву? Я объяснила, что надо думать над художественными произведениями – что это непросто; что Н.С. дал нам направление, в котором следует думать прежде, чем обнародовать свое произведение, что его критика коснулась многих, в частности и художника Р. Фалька за конкретную его картину маслом «Обнаженная». На следующий день на последней паре проводится собрание всех студентов и преподавателей, посвященное выступлению Хрущева. Я абсолютно спокойно ожидаю открытия собрания. И... О ужас! Объявляют, что первое слово предоставляется мне... Хотя бы предупредили заранее...

Я поднимаюсь на сцену и начинаю свое выступление словами:

«Дорогие товарищи! Мы, конечно же, не можем не согласиться с Никитой Сергеевичем в его оценке важной роли искусства в нашей советской действительности». Ну и далее; я как-то истолковываю речь Хрущева в том смысле, что поскольку искусство очень важно для народа, то над каждым произведением любого искусства его автору следует много и серьезно думать, прежде чем его обнародовать. Не знаю, подразумевал ли это сам Хрущев, но с моей интерпретацией его выступления все охотно согласились. Дальше как-то так и говорили – сколь серьезна задача тружеников искусства. Уф! Уф!

Дмитрий Львович Клебанов, с которым мы часто в хорошую погоду немножко шли пешком, просто до слез смеялся над тем, как я «истолковала» речь Хрущева. А я очень хотела бы забыть это все и надеялась, что никаких последствий это мое выступление иметь не будет. Я ошиблась... Именно мне было предложено провести семинар для преподавателей по вопросам изобразительного искусства.

Я продумала, что показывать; посоветовалась с Л.М. Баткиным – изложила ему «свою» точку зрения, общепринятую в советской литературе, т. е. вкратце она сводилась к следующему.

Реалистические произведения в изобразительном искусстве – один из источников нашего понимания действительности (ее, действительность, они отражают), они будят в нас сложные эмоции – и этим они нас воспитывают. При этом эффект воздействия на нас тем больше, чем совершеннее данное произведение искусства. В подтверждение я показала ряд репродукций русской классики. Вопрос о художественном совершенстве, а именно этого касается оценка Н.С. Хрущевым работы Фалька «Обнаженная», я оставила «за кадром» и оставила преднамеренно, так как 1) я не специалист и судить об этом компетентно не могу; 2) вот уж поистине «мы не можем не согласиться с Хрущевым...»

Я показала кое-что вполне известное и поистине бессмертное – копии экспонатов Третьяковской галереи (опять же, художественный уровень сомнению не подвергался). Отражают ли они действительность? Будят ли в нас эмоции? Здесь высказывались участники семинара.

Ответ, конечно же, предусматривался...

А затем я совершила некий кульбит: показала альбом польского художника Болеслава Линке «Камни кричат!» Этот альбом посвящен разрушенным фашистами еврейским кварталам Варшавы.

Ставлю вопросы: Отражает ли это действительность? Будит ли это эмоции? Обращаю внимание потрясенных участников семинара – это совсем иной способ отражения действительности, нежели только что просмотренные нами и любимые произведения русского изобразительного искусства (если необходимо такое отображение в искусстве как-то назвать, я бы осмелилась назвать символизмом). Б. Линке не только отображает действительность, не просто воздействует, он потря-са-ет!

Да, это, несомненно, произведения искусства... Да, это некое отражение жизни, но отражение – фантастическое. Тут я не формулирую такого вывода (это ведь «несогласие» с Н.С. Хрущевым), но все именно здесь понимают – и потрясать, и воспитывать зрителя может не только привычный нам реализм. А возможны ли отклонения от этого предполагаемого правила? Может быть, вы сможете привести примеры? А каковы особенности восприятия музыки в зависимости от интеллекта и эмоций?

Всегда ли объектом искусства должна быть «правда жизни?» Или просто жизнь?

Всякое ли отражение «правды жизни» может быть объектом изобразительного искусства? А нужно ли такое отображение? А кому нужно? И что в этом случае значит «нужно»? А если художник – ма-ньяк, извращенец – ему нужно его творчество, может быть даже из медицинских соображений, а кому-то еще нужно? А обществу – нужно? Ага – а какому обществу? Ну, например, очень хорошо изображенный акт дефекации? Голос: «Это натурализм!» А где вы проведете точную границу между высоко ценимым нами реализмом и натурализмом? Может быть, в реалистическом произведении кроме показа жизни заложена еще и какая-то идея? Давайте вспомним, что у многих первобытных и древних народов часто встречалось увеличенное

и очень натуральное изображение фаллоса – оно служило культовым целям. Что это для нас: произведение искусства, ну, хотя бы и натуралистическое, или нет? А они, эти древние и первобытные народы, воспринимали эти изображения фаллоса как произведение искусства или как предмет культа? А в чем разница? А где разница между эмоциональным воздействием искусства и религиозным? Может ли восприниматься нами как произведение искусства сейчас некое произведение, возникшее как предмет культа, некий «культовый реквизит»? Ну, например, русская икона?

Много лет прошло с тех пор, как читала я эти свои лекции, боясь, не обвинили бы меня в пособничестве церкви и в религиозной пропаганде. И при Хрущеве, и долго после за такие обвинения можно было сильно поплатиться. Даже с того времени, как я об этом написала, тоже много воды утекло. Записки писались многие годы (~2000–2003 гг.).

И вот теперь все с большим изумлением и недоумением смотрю я передачи по каналу «РТР-Планета». В них даже сомнению не подлежит, а внушается зрителям как факт чудотворность икон (таких, оказывается, несколько!); излагаются и даже показываются (?) «жития святых», например, Ксении Петербургской и Иоанна Кронштадского. Поистине «в кино все возможно».

И не устарело ли то, что тогда, в 60-е годы, было нужно и даже полезно продумать, взвесить, пообсуждать? Но что обсуждать в чудотворной иконе? Ее «чудотворность» или художественный уровень?

Оказывается, наше восприятие увиденного, чего-то, как предмета искусства, подвижно «и во времени, и в географии». Икона – часто предмет искусства, а изображение фаллоса для нас, современных историков, – не предмет искусства, а свидетельство религиозных верований и уровня развития материальной культуры первобытных народов.

Как много зависит в восприятии некоего предмета и его классификации в нашем восприятии от всего объема и от уровня нашей собственной культуры, от ее, так сказать, «географической и национальной обусловленности»: и от «I среды», например, природно-гео-

графической и от «П среды» – нашей, впитанной нами, культуры. Так, африканец из отдаленной деревни не испытает тех же эмоций, что и мы, при восприятии произведения Б. Линке; а африканец, воспитанный в Европе, будет, вероятно, реагировать на европейское искусство, как и европеец. А если он попал в Европу и получил европейское воспитание, будучи уже довольно взрослым, то он сохранит в себе культуру своего африканского народа или племени, но также «впитает» и европейскую культуру.

При виде инородного для нас искусства эстетического его «приятя» в нас часто не возникает, а возникает эстетически отрицательное чувство, ну, в том же случае с африканскими танцами, хоть мы и понимаем, что это искусство.

Вот ведь, оказывается, при восприятии произведения искусства важна еще и эстетическая его оценка. Тогда эта оценка повышает значимость данного произведения, делает его поистине и бесспорно произведением искусства. А что значит «бесспорно»? Ведь и эстетическая оценка произведения искусства тоже может быть весьма различна и даже подвижна, как у одного субъекта, так и у целого общества. Об этом свидетельствуют многие примеры из истории музыки: вначале не привилось, вызывало даже протест, потом начинало нравиться, а сейчас – стало классикой. А вот почему так происходит? Меняемся мы сами, меняются наши вкусы; а мы – это публика; а публика – это общество (до известной степени). Так в какой же мере решение вопроса «искусство» или «не искусство» зависит от мнения большинства, от публики? И всегда ли публика в этом вопросе права? Или, может быть, «право» публики тоже может быть временной? Может быть, публика, во-первых, меняется со временем, а во-вторых, может быть, мнение публики следует воспитывать? В школах, в средствах массовой информации, во всей концертно-театральной политике; на выставках и в музеях – экспонатами и экскурсиями. А бывает ли, что средства массовой информации воспитывают в публике «дурной вкус»? А зачем? Можете ли вы привести примеры воспитания «дурного вку-

са» средствами массовой информации? И что такое «дурной», а что такое «хороший вкус»? Как и чем это определяется, по каким критериям?

О! Какие высказывания, какие дискуссии спровоцировала я! Как связали все это с современной музыкой и с классикой...

Я хорошо помню, как в Эрмитаже при мне некая дама возмущалась крайним неприличием скульптуры О. Родена «Поцелуй». Ее мнение было, несомненно, мнением ничтожного меньшинства о признанном шедевре мирового искусства; ее мнение уже не могло иметь влияния на мировую оценку этой скульптуры.

Может быть, и я вроде той дамы, но для меня «Черный квадрат» Малевича – не искусство. То есть, вся математика, конечно же, отражает объективную реальность; но это наука. «Черный квадрат», наверное, – больше геометрия, чем искусство, и поэтому он у меня никаких эмоций не вызывает и не оказывает на меня никакого, не говоря уже об эстетическом, воздействия.

Итак, каждый может сделать для себя вывод: отражать действительность, и вызывать эмоции может искусство, созданное разными школами и в разных манерах.

Что же касается оценки созданного в качестве произведения искусства, то оценка эта подвижна и во времени и в зависимости от места создания произведения и его восприятия.

Следует все же отметить, что семинар-то проводился в условиях, когда не следовало подчеркивать подвижность эстетической оценки – ведь оценка Н.С. Хрущева на тот момент должна была признаваться как абсолютная и «вечная».

Вообще этот семинар был как бы последним отзвуком хрущевской оттепели, ее инерционного существования в нашем институте – вскоре обстановка в институте стала сильно меняться; да и в ходе семинара я соблюдала осторожность; вопросы перед участниками ставила, но выводы делала весьма «резиновые», чтобы не «противоречили» (об этом не могло быть и речи!), а лишь подтверждали, как важны для любого вида искусства указания Н.С. Хрущева.

Я хотела, чтобы слушатели сделали вывод: искусство может быть разным.

А каково вообще участие фантазии человека в создании, а потом и в восприятии произведений искусства? Отображать действительность можно по-разному, как бы с разных позиций, с разных точек зрения, с большей или меньшей долей фантазии.

Может быть, даже без фантазии автора создание произведения искусства вообще невозможно... А уж восприятие искусства человеком, начисто лишенным фантазии (представим себе такого!) – еще более невозможно...

А не является ли способность человека фантазировать одной из обязательных предпосылок художественного творчества? А как фантазировать? Где граница: фантазии, дающие толчок, даже плоды художественного творчества – или бесплодная маниловщина?

Ну, должна сказать, выпустила я джина из бутылки. Такие возникли дискуссии – наш семинар шел больше двух часов!

Специалисты-музыканты все стремились найти параллели между музыкой и изобразительным искусством, пытались даже привлечь балет и скульптуру.

Но нельзя же «объять необъятное»! Хоть, конечно, хочется! Вопросы этого семинара я потом и ставила в своих лекциях. Конечно, разрешить их невозможно, но если такие вопросы у моих ребят-слушателей возникали, – это тоже был результат. После этого семинара долго еще возникали разные разговоры, варьировавшие возникшие в его ходе вопросы и темы.

Пошли ко мне студенты и поодиночке, и парами, и группами с вопросами боле всего о связи музыки и сюжетов, нашедших свое отражение в изобразительном искусстве.

Что-то я знала. О чем-то говорила: «Придите (называла день и час), я постараюсь найти ответы на Ваши вопросы».

Ну, конечно, искала. Иногда находила не сразу. Все это было очень интересно... Но, Боже мой, вся эта работа абсолютно никуда не учитывалась, не писалась в нагрузку... А меня никто не освобождал ни

от хозяйства, ни от посещений, а главное, от морального стресса – от моего постоянного, неизменного «спутника» во всем, везде, всегда, от ужаса перед «этим», перед тем, что может случиться ежеминутно, перед ужасом, что «это» – всегда здесь. Да, я ни на секунду об «этом» не забывала. Поистине как у И. Бунина, уже давно, не год, и не два «моя душа изъязвлена».

А еще нужно... и еще нужно... Боже мой, а мама...

Впрочем, может быть я не совсем права, я не была одна. Так, довольно долго к маме ездил Митя, иногда со мной, иногда один. Иногда даже (вот когда у Катюши была больна печень, ей была нужна строгая диета) Митя и Петя привозили из Москвы чемоданами сухари белые (белого хлеба в Харькове купить было нельзя и негде), сливочное масло, даже рыбные консервы, из которых я варила суп для девочки (рыба в собственном соку, так они назывались). Что могли, покупали сами, что-то подготавливал к «рейду из Харькова» Шура по указанию Хаи Самойловны.

Обычно в поход на базар меня тоже сопровождали мальчишки – помогали нести покупки.

Но все равно, работы было так много, как в русских сказках: сколько ее ни делали, она все прибавлялась и прибавлялась...

Иногда было так радостно, что мои мальчишки рядом; что они помогают мне. Как-то Петя (ему было лет 10–12) рассуждал философски: когда мы были маленькие, ты могла сама справиться, а теперь, когда тебе трудно – мы может тебе помочь...

Да, только вот помогать-то они не всегда хотели. Обычно на любую необходимость что-то сделать, шел долгий нудный вопль: «Почему я? Почему не он? Я занят, я не могу!..» Но уж если достигнута была договоренность, что вот тогда-то это будет сделано, я могла быть спокойна и не проверяла: делалось всегда. Не обходилось и без смешных случаев. Так, однажды (Петя уже уехал в Москву, а Люда в свою деревню), Митиной обязанностью было отвозить и привозить чемодан белья в прачечную. И вот однажды... Я очень плохая хозяйка, но целый чемодан постельного белья... гм... гм... – исчез! Я не могла

этого не заметить. Робко спрашиваю Митю, а он жестоко обижается: «Ну что, ты думаешь, я белье продал? Нет у меня квитанций! Нету – понимаешь?» Ладно, больше не спрашиваю, но в недоумении... Вдруг звонок по телефону – звонят из прачечной... Бранятся – чуть не полгода белье не можете забрать! Оказывается, Митя квитанцию потерял, а поскольку ее не было, то о белье забыл накрепко.

По правде говоря, ребята ведь были очень заняты. Они привыкли (и мы это подразумевали!), что надо как следует учиться в школе; Петя всегда еще и математикой занимался, много читал – он давно и серьезно интересовался историей русской общественной мысли; в 6–7-м классах он занимался математикой со своим одноклассником, Костей Поповым, который всегда и во всем помогал в доме и был тоже как бы членом нашей семьи.

Митя занимался авиамоделизмом (в институте была специальная авиамодельная мастерская, куда детям сотрудников давали пропуск). После 7-го класса Митя в каких-то соревнованиях по этому спорту получил 3-е место (кажется!) по Харькову и был даже награжден путевкой на месяц в специальный лагерь для авиамоделистов под Киевом.

С 7-го класса у Мити началось серьезное увлечение девочкой (на ней он и женился на II курсе университета); когда они были в 8-м классе, и мы ездили всей семьей в Ленинград, Наташа ездила с нами.

Дети много читали. Давно прошло время, когда мне в виде упрека говорилось: «Ну да! Конечно, вот твоего Диккенса у нас в классе никто не читает. Что, все дураки?» И в театр уже ходили (а раньше: «Ну, кому интересно в балет ходить? Что там смотреть? А в оперу вообще одни ненормальные ходят!»). Все это давно прошло. Вот только оказалось: «Мама телевизор не любит. Она любит мыть посуду».

Это, верно, конечно – насчет посуды; но про телевизор – неверно. Просто не было у меня ни времени, ни «головы свободной».

С одной стороны, ведь меня никто не заставлял делать на работе все то, что я делала и что не входило в нагрузку. Могла и не делать. Но в том-то и дело, что не могла. Считала это своим моральным долгом,

не делила на то, что записывается в нагрузку, и на то, что не записывается.

А с другой стороны – это было мне так интересно, что не могла не делать.

Начала зарождаться и моя «Веселая грамматика». Кроме всяких игр на уроках, старалась элементарную немецкую грамматику превратить как бы в серию последовательных веселых рассказов; использовать или придумать разные мнемонические приемы, облегчающие запоминание.

Может быть, после 1964 г. – смещения Н.С. Хрущева, а может быть, около 1966–1967 гг. – я могу в этом ошибаться – на кафедре основ марксизма начали происходить определенные изменения. Отправилась на заслуженный отдых Вера Ивановна Логвинова и, кажется, именно на заведование этой кафедрой приехал из Новосибирской консерватории Василий Степанович Корниенко. Он был автором учебника по марксистско-ленинской эстетике. Это был специальный учебник, страниц 280–300. К сожалению, не могу привести из него цитаты и утверждения, но учебник был слабый. До приезда Корниенко курс марксистско-ленинской эстетики читал Л.М. Баткин. А поскольку он и человек очень умный, и лектор прекрасный, то читал он этот курс очень хорошо. Естественно, что такой конкурент Корниенко был не нужен на его собственной кафедре. Не помню, по какому поводу (ну повод найти всегда можно!) был уволен Леонид Михайлович Баткин. Это была очень большая потеря, т. к. такой уровень эрудиции, такой лекторский талант следовало бы беречь и ценить, но для Василия Степановича Корниенко такой сотрудник был нежелателен. Ну, и «5-й пункт» также у Баткина присутствовал, а Корниенко был «чист».

Был уволен и еще один молодой сотрудник и лектор Нестеренко, пользовавшийся большой популярностью у студентов, но популярностью иного порядка, чем Баткин. Этот второй, как иногда это бывает с молодыми преподавателями, в погоне за популярностью, позволял себе иногда со студентами панибратство, иногда рискованные шутки. Так, в одной из лекций, уже когда во главе страны был Бреж-

нев, этот лектор позволил себе полущутку на тему о том, что сильно развитые надбровные дуги и ярко выраженные брови у первобытных людей свидетельствовали не о развитии интеллекта, а о развитом охотничьем инстинкте... Ну, и был тут же уволен. Кажется, он потом работал в Краснодаре.

Леонид Михайлович, конечно, в первый момент был обескуражен: по отношению к нему это увольнение было так явно несправедливо; ему было очень горько. Но потом он переехал в Москву, кажется, работал в Институте истории средних веков АН СССР; стал ближайшим соратником А.Д. Сахарова, играл очень важную роль в общественной жизни. Л.М. Баткин, пожалуй, ничего не потерял. А вот Харьков потерял видного ученого и крупного общественного деятеля. (В 2007 году в одной из передач «Апокриф» выступал Л.М. Баткин).

Наши студенты потеряли прекрасного преподавателя, который читал лекции на высоком научном уровне и к тому же – очень увлекательно.

Наша кафедра осталась без преподавателя итальянского языка, который был обязателен для вокалистов.

Так, на нашей кафедре появился новый преподаватель – «целый мужчина», поскольку на целую ставку: 0,5 ставки – итальянский язык и 0,5 ставки – немецкий у заочников. Звали его Серафим Михайлович Татаринцев. Он окончил немецкое отделение не то пединститута, не то Института иностранных языков (если таковой имелся) в г. Калуге; кроме того, он владел итальянским, т. к., сражался во время войны в рядах итальянского партизанского отряда, имел в награду итальянский орден; летом, во время навигации он обслуживал, как переводчик, советские суда Черноморских и Средиземноморских пассажирских линий.

Когда-то давно Дмитрий Семенович Ермаков, отец А.Д. Мышкиса, во время одного из скандалов орал, топая ногами: «Как вы себе друзей подбираете? Одни их имена послушать по телефону – и достаточно!»

Странны и трагически печальны реалии нашей жизни – но он

был прав в каком-то смысле; также была права и моя «незабвенная» завкафедрой, Лидия Михайловна Щеглова, везде кричавшая и даже писавшая, что я еврейка, но скрываю это и фальсифицировала свои документы!

Я русская наполовину по крови, но гораздо важнее, что (смею надеяться, что это видно) я русская по всей своей культуре; именно ее представители многократно выступали на стороне угнетаемых; этот самый принцип внушала и внушила мне русская литература.

Учитывая это обстоятельство, может быть, и становится понятным, почему я все годы так называемой «борьбы с космополитизмом» – этого проводимого в масштабах государственной политики антисемитизма – очень остро чувствовала себя еврейкой. Именно антисемитизм мне особенно омерзителен, как извращение естественной гуманности – этого высочайшего достижения общечеловеческой культуры.

Ни в еврейскую, ни в славянскую, ни в немецкую кровь я не только не верю, но за всю свою долгую жизнь не разглядела никакого различия между людьми этих разных «кровей».

Деление людей по этому признаку мне всегда было абсолютно чуждо с самых детских лет; этот взгляд уважения к людям вне связи с их «кровью» культивировался в семье моего отца. В Москве ожидали погромы (во время революции 1905 г.); их, правда, к счастью не было! Но папа и тетя Катя с мужем прятали семьи врачей и фармацевтов по разным квартирам. При мне об этом вспомнили друзья тети через много лет за столом. Я спросила (мне тогда было 5 лет): «Вы что, в прятки играли?» А дядя мне сказал: «Ты маленькая – тебе бы и знать об этих прятках не надо!» С детских лет друзья моей тети Кати, о которой я писала, были евреями. Это я теперь поняла, когда всплывают из прошлого их лица – ведь врачи и фармацевты часто были евреями в царской России.

В Ленинграде в моем классе было около 35 человек. Шесть было из недавно закрытой Польской школы. Одна была немка. Остальные были русские и евреи. Только сейчас я их мысленно посчитала – кажется, русских и евреев было приблизительно поровну.

Никогда за все годы учебы в школе не почувяла я ни малейшего антисемитского «душка».

Отец моего сына Мити – еврей, мой муж А.Д. Мышкис – «полукровка», его мать – чистокровная еврейка.

Мой зять – Борис Магальник – еврей! Слава, которого я вырастила с 10 лет, – полукровка.

Попозже – мой сын Петя женился на полуеврейке, полугречанке.

Все эти данные о моем семействе вполне были в поле зрения моей завкафедры. Но о ней – позже, здесь же о том, что видно, с одной стороны, чем-то я привлекала людей, которые с омерзением относились ко всякому антисемитизму, а с другой – тех, в ком эта гнусность – антисемитизм – присутствовала даже в малой степени, издали и сразу понимали их собственную категорическую несовместимость со мной.

Но здесь... Здесь я чувствую себя мало сказать русской, здесь я чувствую себя представителем русской интеллигенции во втором, к сожалению, уходящем из жизни, поколении.

Я выросла на идеалах прогрессивной русской либерально-демократической интеллигенции. (Я не вкладываю в этот термин «ругательного» смысла, как коммунисты). Идеалы эти включали многое, весьма разное, но, вероятно, все же среди них неперемutable уважение к людям вообще, а к людям труда, умственного и физического – в особенности; впитанный с молоком матери во многих поколениях, патриотизм; от христианской религии – лучшее, что в ней было, что сделало ее одной из мировых религий – то, что мы теперь называем интернационализмом – в ней не было племенной и национальной исключительности. При моем не только неприятии этого явления, но и категорическом омерзении по отношению к нему.

Именно на вопросе об антисемитизме проявилась и началась та эволюция, которая происходила во мне на протяжении всей моей жизни, и привела меня к неприятию и отрицанию многих и многих сторон нашей советской действительности.

Была я, естественно, и «продуктом» сталинской обработки мозгов.

Именно эта комбинация – всего впитанного от семьи, от отца и из

русской литературы, самый чистый и естественный для меня патриотизм... и «если завтра война, если завтра в поход» – мое добровольное вступление в армию... И блеск Победы, опьянение надеждой, что никогда, никогда не будет больше войны. Весь тот ужас, который вынесла моя страна, и я, и мое поколение – никогда не повторится... И все это под руководством Партии... Да, да! Я верила в это...

Когда в Москве на IV курсе предложили рекомендовать меня в партию, я не решилась: мне казалось, что я не сделала еще чего-то особенного, что могло бы быть именно настоящей, а не формальной рекомендацией для меня в партию; мне казалось, что если я напишу прекрасную диссертацию, вложу в науку свой истинно неповторимый вклад, вот тогда я буду достойна стать в один ряд с теми, кто... ну, и т. д.

Я в это верила, но считала себя недостойной этой чести.

Но напор «вышестоящих организаций», списки во всех газетах, где, если перефразировать высказывание моего свекра, достаточно было прочесть фамилии – и все становилось ясно; Постановление 1946 г. о журналах «Звезда» и «Ленинград»... об опере «Великая дружба»... Наступление на литературу и искусство... Мы знали очень мало, но все же кое-что знали.

Наступление нашего партийного истеблишмента на интеллигенцию и, в первую очередь, с еврейскими фамилиями; снижение уровня литературы и поэзии; увольнение в запас моего мужа, С. Айнбиндера, многих друзей все с тем же пресловутым «5-м пунктом» – все это было причиной эволюции моего миропонимания и меня, как личности. Может быть, острее всего подействовал на меня в этом смысле разговор с Эйдусом... Это изменение мировоззрения и мировосприятия стало и одной из причин изменения моей профессии. Работая в архивах, делая выводы на основе документов (впрочем, находить в документах тоже можно было лишь то, что было нужно на данный момент), я все же опиралась на историческую действительность, на исторические факты. Читая же лекции, я тоже опиралась на факты, но была обязана не отступать от некоторых обязательных точек зре-

ния; например, ругать «прислужницу империализма» – кибернетику; о ней-то мой муж-математик имел значительно более полное знание, чем в то время наша историческая наука, на основе которой я была обязана строить свои лекции. Кроме того, факты из учебников – это совсем не то, что ты нашел, увидел и понял из своей архивной работы.

Изменив свою специальность и придя на работу в Харьковский институт искусств, я опять увидела столько недостойного в отношении ряда людей близких мне по духу и все с теми же фамилиями! Все это было инспирировано «сверху» (поднимался палец, указывалось куда-то в потолок – понималось – Обком), проводилось и осуществлялось парткомом. Здесь я уже не только почувствовала, но и поняла – сколь же недостойна партия! Сколь же непристойно поведение многих ее членов, особенно «начальственных», как противоречит действительное их поведение тем нормам и принципам, на которых я выросла и которые «исповедовала» в своей жизни. Не я недостойна партии, а партия недостойна того, чтобы в ней и по ее указке действовали порядочные люди...

И тем не менее я отчетливо видела, что многие уважаемые мною порядочные люди были членами партии. Лишь партбилет делал возможным работу на «командных должностях» – люди активные, очень часто способные, стремясь не только работать, но и воздействовать в порученном им деле, вступали в партию.

Чем выше была занимаемая должность, тем неизбежнее и неотвратимее было воздействие партии на этих людей – и всегда в сторону деградации.

На моих глазах шел этот процесс на человеке, глубоко мною и Анатолием Дмитриевичем уважаемом. Вадим Григорьевич Кононенко – очень талантливый ученый и, что редко сочетается, не менее талантливый организатор, сначала аспирант, потом декан, потом ректор авиаинститута – фигура очень крупная для Харькова (и не только!) не всегда мог противостоять нажиму обкома. Но иногда все-таки мог. Он хотел взять и взял на работу в свой институт моего зятя, еврея. Это не было просто. Кстати, мой зять занимался студенческой самодеятель-

ностью, вывел самостоятельные коллективы этого института на такой уровень, что их концертные поездки проходили даже на государственной границе в среднеазиатских республиках; за что они получали все-союзные премии.

С семьей Вадима Григорьевича мы близко дружили. Очень напряженная работа привела его к болезни сердца, при которой алкоголь был категорически противопоказан, но на всех приемах это было принято; и ему не удавалось избежать приемов и, соответственно, возлияний, здравиц и проч. Он умер от сердечного приступа. А какой был человек! Талант во всем, масштаб государственного деятеля и ученого с мировой известностью (он был приглашен и читал курсы лекций в Федеративной Республике Германии).

Когда я начала работать в Харьковской консерватории (а потом в Институте искусств) мне пришлось, овладевая новой профессией, одновременно и утверждать себя, свой преподавательский авторитет, доказывая истинность и качество своих знаний. Так случилось, я через месяц или два осталась единственной «немкой» на кафедре, т. е. прежняя заведующая, Роза Исааковна Гроссер, умерла.

Но в нашем институте был несколько своеобразный взгляд в среде преподавателей и студентов на иностранный язык, как предмет преподавания и, в частности, на обязательность его усвоения для студентов.

Расскажу один случай, произошедший с нашей преподавательницей английского языка, Марксиной Васильевной Уманцевой. В тот год (кажется, это был 1963–1964 учебный год) администрация распорядилась: тем преподавателям, которые не сдали зачетные ведомости, не выдавать отпускные. А в ведомости и в зачетки отметка заносилась одновременно одним числом и только «зачтено»; «не зачтено» не вносились никуда, чтобы не то отчетности не портить, не то дать студенту время для повторных попыток.

Однажды, уже в конце июня, Марксина Васильевна пошла в кино; в очереди видит она своего студента, не сдавшего зачет, и вообще, очень недисциплинированного. Она подходит к нему и просит его сдать зачет, так как ей в начале июля нужно уехать. Студент ей от-

вечает: «Вы знаете, я давно хотел к Вам зайти, но мне все никак, ну, совершенно некогда». Как-то прозвучало в этом «зайти», что сдавать как бы нечего, лишь вот «зайти», но... времени нет...

Поистине это было бы смешно, если бы не было так грустно. Но такое сложилось отношение к иностранному языку в нашем институте, и это отношение пришлось менять нашей кафедре и мне, в частности.

Именно по этому вопросу я впервые столкнулась с Георгием Борисовичем Аверьяновым, который был тогда, кажется, секретарем парторганизации института. Потом он долго был ректором, и его отношение ко мне играло определенную роль в моей последующей жизни. Может быть, это был, так сказать, отголосок порядков в школе, но у нас подсчитывались оценки, выводились проценты успеваемости и т. д. Студенты, не сдавшие зачет, не допускались к экзаменам, а это уже могло «пахнуть» и отчислением; ну, ясно ведь, что не каждого можно обучить музыке на уровень музыкального вуза, поэтому, конечно, отчисление представлялось крайне нежелательным, так как преподавательские штаты зависели от количества студентов.

И вот однажды, примерно году в 1964-м, кто-то не сдавал мне очень долго немецкий. Я была вызвана в партбюро в присутствии декана Захарченко.

– Екатерина Дмитриевна, – начал Захарченко, – ну ведь ясно же, что студент N сдаст зачет рано или поздно... Так поставьте ему зачет сейчас, и дело с концом

– Он, конечно, может сдать и сдаст, если выучит материал. Вот когда и если сдаст – я и поставлю ему зачет...

– Но ведь это же вопрос времени и простая формальность. Поставьте сейчас, а сдаст он потом.

– Он сдаст, и после этого я поставлю зачет в ведомость и не раньше

– Позвольте, позвольте, – вступил Аверьянов. Я понимаю преподавателя: зачет, например, будет сейчас проставлен в ведомость, а студент не придет и не будет сдавать зачет. Каково тогда положение преподавателя?

Остальные преподаватели нашей кафедры тоже хорошо понимали, что если соглашаться на такие уговоры, будет почти невозможно добиться определенного уровня знаний в группах. Поэтому-то с каждым, кто не хотел, не мог, не умел выучить необходимое сам, я и вынуждена была работать часами – помогая, обучая учить, консультируя уже вне всяких норм, рекомендуемых для консультаций (которые входили в часовую нагрузку).

Некоторые хорошо относящиеся ко мне люди уговаривали, отговаривали меня. Зачем мучить себя и студентов? Кому из них будут нужны эти вымученные знания по немецкому языку в их непосредственной работе?

Ну, с одной стороны – все же некоторым оказались нужны. Например, Анатолию Попику – не только прекрасному преподавателю Полтавского музыкального училища, но и бессменному дирижеру трех городских оркестров. Я многие годы поддерживала дружбу с этой семьей (Тамара Лебеденко, его жена и преподаватель музучилища). Они читали много предисловий к нотным изданиям ГДР, т. е. пользовались в своей непосредственной работе немецким языком; известны мне и другие случаи: в то время ноты в Союзе продавались преимущественно изданий ГДР.

Но было и еще одно обстоятельство: убеждать меня в бессмысленности требований к студентам было, может быть, столь же бесполезно, как уверять верующего в нелогичности и бессмысленности его верования. Качество моей работы, ее роль в воспитании студентов – это была одна из составляющих смысла и содержания моей жизни. Именно в этом я видела воспитательное воздействие на студентов – через качество моей работы воспитание требовательности у студента к качеству своей собственной работы, повышение требовательности к себе самому, неуклонное, добросовестное и качественное выполнение взятых на себя обязательств (в учебе, в данном случае), впоследствии – добросовестная работа без халтуры.

Кажется, в 1964-м году был приемный экзамен для наших абитуриентов по иностранному языку. Перед экзаменом проводились кон-

сультации, кстати, групповые; выяснялся уровень подготовки абитуриентов, опробовались примерные вопросы.

На моей консультации было 2 выпускницы музыкальной школы-десятилетки Кацева и Балаклеевская; обе прекрасные ученицы, одна из них медалистка, обе с «5-м пунктом».

На консультации обе эти девочки показали прекрасную подготовку.

После консультации меня вызывает и. о. ректора (ректора довольно долго не было) Тамара Яковлевна Веске и объясняет мне, что именно эти две студентки, как она сказала «наш институт не интересуют». Я тут же ей возразила, что они прекрасно подготовлены, что это – цвет нашей музыкальной десятилетки, что они прекрасно проявили себя на консультации... Начальница была очень недовольна. Я рассказала об этом Леониду Михайловичу Баткину; это услышал кто-то еще, короче, это все стало известно.

На моем экзамене обе эти абитуриентки получили «пять».

Тогда их пытались провалить на экзамене по истории СССР. С Балаклеевской на экзамене «беседовала», кажется, завкафедрой марксизма в течение... 1,5 часов, и... девочке поставили «удовлетворительно».

Тогда ее папа собрал все ее похвальные грамоты за каждый год и поехал в тот же вечер в Москву. Почему-то на следующий день звонок из Москвы, даже, кажется, из ЦК последовал не в кабинет ректора, а в канцелярию, и я случайно была там и стала свидетелем этого разговора (с одной, естественно, Харьковской, стороны). Это был телефонный приказ; и все же девочку приняли лишь на заочное отделение.

До сих пор мы переписываемся и перезванивается с этими моими бывшими студентками. Они в США. Один из сыновей Балаклеевской вполне состоявшийся американский музыкант.

Незадолго до моего отъезда в Израиль, в Харьков из Москвы приехала Марина Кацева. Она работала в Московском объединении «Госконцерт», стала популярным лектором по истории музыкальной культуры и по русской литературе.

У нас в институте она прочитала тогда прекрасную лекцию о Марине Цветаевой. Ей очень хлопали, кто-то сказал, что наш институт может гордиться такой выпускницей; ей преподнесли прекрасный букет.

В ответном слове Марина сказала, что она благодарна за теплый прием: Что институт должен гордиться теми людьми, которые ее приняли, воспитывали в ней отношение к русской культуре. «Вот он – этот человек, благодаря которому я смогла поступить в наш институт; что поэтому именно Е.Д. Мышкис я и хочу вручить этот букет – и от меня, и от всех тех, кого она принимала и кого учила», – сказала Кацева.

Из присутствующих мало кто знал и помнил историю с приемным экзаменом по немецкому языку. Но кое-кто помнил. Например, профессор Галина Александровна Тюменева, которая подошла ко мне и сказала: «Я хотела бы, чтобы этот букет был бы и от меня».

Вот так. Вечер мы провели вместе; их отъезд был решен; наш стоял на повестке дня, но это было недавно, а та давняя история – поступление этих двух девочек очень ясно показало администрации, кто и что есть я.

Тогда, еще до вступительного экзамена, было почти решено, что я буду заведовать кафедрой иностранных языков, но слишком понятно стало администрации, сколь неудобный у меня характер, как мало во мне нужной им «гибкости».

На заведование была проведена Ольга Всеволодовна Щеткина. Нам всем повезло (и ей тоже!); больше вступительных экзаменов по иностранным языкам не устраивали, а в остальном «гибкость» уже была не так нужна, не на таком «акробатическом» уровне.

Впрочем, в тот момент мне стало немного жаль, мне казалось, что я могу принести пользу, если стану заведовать кафедрой. Но я очень быстро поняла, как я ошибалась.

Ольга Всеволодовна при абсолютной порядочности и высокой культуре могла и умела, не будучи «гибкой», быть разумно-политичной. Я этого не умела; поэтому она стала и была намного лучшей (и

достигающей больших результатов в отношениях с администрацией) заведующей кафедрой, чем я.

Поскольку я это понимала, то и отношения на кафедре были абсолютно нормальные; это обеспечивало хорошую работу всех нас.

До 1969 года под руководством Ольги Всеволодовны я начала много интересных работ, и многое из задуманного осуществила. Сейчас, когда все это далекое прошлое, я нередко сама удивляюсь тому, как много я успела сделать. В основном, был собран материал для двух пособий, и одно было почти уже и опубликовано: «Музыка в гостях», «Поговорим о русских композиторах» (напечатаны позднее). Подготовлены многие разработки для студентов для индивидуального и группового использования; начата работа по переводу текстов музыкальных произведений мировой классики. Вся эта работа расширялась и развивалась. Это было интересно и мне, и студентам; все это приносило свои плоды.

В университете у меня была не очень большая годовая нагрузка, около 600 часов в год, но в институте я выполняла все 800–900 часов. Нагрузка состояла из разных видов работы; в эти 900 часов (максимум преподавателя) входили не только занятия в аудитории, но и экзамены, зачеты, консультации и многое еще. Но в аудитории 900 с лишним часов не давал никто (так мне сказал один наш декан, потом уехавший в другой город), кроме меня. Именно мне планировалось все 900 часов из-за смерти бывшей завкафедрой, ведшей немецкий, – все 900 с лишним часов «горлом» в аудитории. Это было очень тяжело, любой преподаватель это знает. При этом много работ, которые я делала, просто никуда не вписывались: консультации, переводы, многие материалы для индивидуальной работы студентов, не говоря уже о лекциях в общежитии. Конечно, мои труды приносили свой результат: студенты все же знали требуемое, но не все, конечно. Лучшие знали даже и неплохо. Потом уехавшие в Германию передавали мне слова благодарности: им было не очень трудно включиться в языковое окружение, жаль лишь то, что они уезжали... Уезжали лучшие.

Впрочем до этой своеобразной «проверки качества» моей работы было еще далеко...

Дома и с детьми тоже не было все так легко и просто.

Трудный переходный возраст моей дочери – вся она была в какой-то тревоге, что-то в ее собственной жизни оставалось скрытым от меня. Решительно уйдя от музыки, она стала много читать по биологии, правда, на уровне популярной литературы.

Ах, мама! Теперь, после второго её помещения в больницу, мама лежала в больнице годами – в общей сложности 25 лет. И каждое ее посещение (а ездила я к ней два раза в месяц – сначала в Харькове была больница, потом за городом, в поселке Липцы) выбивало меня из нормального состояния: 2–3 дня тряслись руки, меня знобило, я не могла спать.

Но главным в жизни стало ожидание – только бы ничего не случилось с Толей...

Однажды весной позвонил мне из Москвы свекор, Дмитрий Семенович, и сказал: «Знаешь, Катя, Лена (сестра) работала всю зиму, очень устала, ей надо отдохнуть, Ане (дочери Лены) с бабушкой скучно, так вот, мы хотим, чтобы ты сняла дачу на Рижском взморье и забрала бабушку на лето». Честно сказать, я поперхнулась. Я знала, что это совсем не просто... между прочим, от Риги до Москвы даже ближе, чем до Харькова... ну, я знала также, что в Москве-то быт много легче, чем у нас. И я тоже работала, и у меня ведь трое детей... Но я очень любила свою свекровь. Я знала, что ей сделали операцию – удалили грудь: знала, что ей всегда нравилось бывать у нас на Рижском взморье...

Попросила друзей – нам сняли дачу; мы с контейнером, где были велосипеды и байдарки, отправились под Ригу. И все эти хлопоты, вся беготня – все это, естественно, ложилось на меня; скажем прямо, все это стоило и немалых денег.

Началось наше предпоследнее лето под Ригой. Мы поехали еще в один поход на байдарках, ездили на велосипедах; Хае Самойловне было с нами хорошо; она отдыхала, радовалась природе, близости

сына и внуков. Ей было, в общем, как я понимаю, достаточно спокойно и приятно.

Но она заболела как бы воспалением легких. И врач, который навещал ее у нас дома, на Взморье (она знала нас много лет), сказала, что это – продолжение той раковой опухоли, которую у Хаи Самойловны вырезали, когда ампутировали грудь. И что лучше отвезти ее в Москву. В Москву Хаю Самойловну отвезла моя приемная дочь Люда, надо было отвезти Хаю Самойловну как можно скорее, может быть, нужна будет еще операция. А я осталась – ведь теперь надо было организовывать обратную дорогу в Харьков – вещи, контейнеры, билеты и т. д.

Люда привезла ее в Москву и оказалась вдвоем в квартире с Дмитрием Семеновичем. И опять этот старый развратник стал лезть к девочке, которой было 16 или 17 лет и которая была, между прочим, его сына и моей приемной дочерью. Люда уехала в тот же день вечером. Дмитрий Семенович уговаривал ее пожить с ним; он покажет ей Москву, он купит ей новые наряды, а когда Хая Самойловна умрет, он на Люде женится. В страхе от всего этого Люда умчалась в Харьков.

Меньше месяца прожила моя свекровь в больнице.

В конце сентября мы ездили на похороны. А потом, через какое-то время, летом, Дмитрий Семенович приехал к нам в Померки. Мы жили в доме Авиационного института, у нас рядом был парк и большой лес. Так что у нас действительно было лучше, чем в городе.

А я в это время очутилась в больнице – с обострением бронхиальной астмы.

Тут я что-то выясняю, что Люда почему-то ушла из дома, Дмитрий Семенович приехал, девочки меня навещают в больнице (больница была недалеко). И все вроде бы нормально. Но Люда вот почему-то ушла и дома жить не хочет. И лишь потом выяснилось, что, в общем-то продолжалась все та история: Дмитрий Семенович уговаривал ее, он говорил, что он устроит ее в Московскую консерваторию, что у него большие связи.

Кстати, я думаю, что связи его действительно существовали: вряд

ли Аня его, внучка, окончившая всего лишь Библиотечный институт и курсы английского языка (правда, очень хорошо!) могла бы без его помощи быть принята на работу в институт Азии и Африки АН СССР; проявила она себя очень хорошо, но поступить в Москве на такую работу... впрочем, может быть, это было единственное его доброе дело.

Дмитрий Семенович очень долго был видным партийным деятелем – секретарем Обкома Черкасской области; потом был в войсках КГБ и принимал участие в выселении крымских татар, потом черкесов с Кавказа; потом был заведующим отделом кадров Министерства речного флота всего Советского Союза. Так что, может, у него и были какие-то связи... Но он, так сказать, усиленно Люду этим «покупал».

Я узнала об этом только тогда, когда Дмитрий Семенович уже уехал от нас и когда наш брак с Анатолием Дмитриевичем тоже кончился. И только тогда Люда мне об этом рассказала.

В Харькове мы начали нормальный учебный год. Когда Анатолий Дмитриевич был в командировке в Черновцах, а я была на работе, меня по телефону нашли в институте и известили о смерти Хаи Самойловны.

Я тут же поехала в аэропорт и улетела в Москву, но попросила Толину аспирантку встретить его в аэропорту, подготовить к известию о смерти матери и купить ему сразу же билет в Москву. (Потом Толя при мне восхищался тем, что его аспирантка все это сделала, какая она чуткая, как он считал, по собственной инициативе. Я промолчала). В Москве выяснилось, что у Хаи Самойловны были довольно большие сбережения (о которых никто не знал); что поскольку брак с Дмитрием Семеновичем не был зарегистрирован, то эти деньги могут получить только ее дети: Анатолий Дмитриевич и его сестра Лена; но Толя задержался после похорон, так как отказывался от своей доли наследства. Было найдено в бумагах Хаи Самойловны некое завещание, правда, не оформленное; Толя отказался от своей доли, желая на эти деньги как-то устроить жилье для Ани.

С нашим возвращением домой что-то в доме стало другим: другой стала вся атмосфера. Как перед грозой почему-то трудно дышать, так

мы, не понимая, что произошло, чувствовали себя не то виноватыми в чем-то, не то неизвестно за что наказанными. Общая атмосфера – мрачное Толино настроение... то он, с грохотом отодвигая стул, молча, уходит из-за стола; то, часами, не разговаривая ни с кем, ходит взад и вперед по кабинету; то вдруг, обращаясь ко мне говорит: «Меня все здесь раздражает. Мне все здесь неприятно». Опять вспоминается мне, что мы «за квартиру продались».

Как я жила все это время – это нельзя описать: ехала домой со страхом, не зная, что меня ждет. А уж после каждого посещения мамы в больнице – вся в страхе и ознобе – как после нашей с Толей дороги в такси... Но тогда он хоть говорил со мной, как с самым близким человеком. А теперь между нами встала стена отчуждения его от меня и моего страха за него, ужаса, что от моего «не того слова» все может стать еще хуже. А как хуже – это я на примере мамы знала очень хорошо.

Эти два года, может быть, были самыми трудными для меня. Может быть, от всей этой трудной нашей обстановки у меня начались тяжелые приступы бронхиальной астмы, переходившие в воспаление легких.

Но были еще иногда и какие-то более легкие периоды. Так, мы один раз вместе съездили в Москву. Хоть и странно как-то Толя рвался в Черноголовку, а съездив туда, вернулся совсем, как будто у него что-то случилось.

На лето, после последнего приезда к нам Дмитрия Семеновича, я с детьми (прямо из больницы) опять поехала в Ригу.

Мне стало легче в Риге. Через некоторое время приехал Толя, и мы даже однажды пошли вдвоем в пеший поход.

При въезде в город Цесис наткнулись мы на раздавленную крупную рыжую собаку; оскаленная, как бы в последнем предсмертном раскрывшая пасть; вся она – уже окоченевшая, такая прежде сильная, красивая. Как-то я почему-то подумала, что ведь с любым из нас может такое быть: секунды – и все, нет жизни...

Вдруг Толя захотел в Цесисе непременно пойти на почту... Еще

два дня назад мы, кажется, и сами не знали, что здесь окажемся... Это уже потом я поняла: он не ждал письма, он туда шел, чтобы написать куда-то; ему было тяжело со мной.

Дома тоже было как-то трудно. Катюша ушла из музыкальной школы, собиралась заниматься биологией. Но что-то и здесь с ней происходило – возраст трудный – вся в какой-то тревоге, что-то в ее собственной жизни оставалось скрытым от меня.

Вот последняя зима, когда Толя еще был с нами. Но был ли? Такая холодная атмосфера, такое нагнетание недовольства на все и за все... Я просто вся съежилась в своей комнате от страха, обиды, отчаяния – вся отвергнутая любовь моя, вся моя душа стремилась к нему; только одного я боялась, и казалось, оно все ближе, все неотвратимее. И полная невозможность что-нибудь сделать, как-нибудь воспрепятствовать неизбежно надвигающемуся.

А детям надо было помогать; семья требовала самых обычных дел: убрать, приготовить, постирать... Правда, теперь мы белье отдавали в прачечную. Но ведь было много и всего другого.

А я ни на день не освобождалась от занятий, от консультаций; работу над книжками для музыкантов я тоже не могла оставить. Может быть, даже это и к лучшему: то, как я была занята, насколько все это было невозможно остановить или отменить, оказалось даже как бы спасением для меня.

В конце сентября моя дочь оказалась в одной больнице, жена Мити Наташа – в другой. В 3 часа утра встаю, готовлю 2 пакета передачи – диета разная; в 5 утра выхожу с собакой; в 6 – выезжаю к Кате; Митя едет в другую больницу – к Наташе. В 9 часов утра я на работе.

Все это как-то Толю не касается. Он странно изолирован сам в себе; мрачен, ни с кем не разговаривает. Даже лицо у него как-то меняется – как бы один глаз стал слегка косить; походка стала какая-то другая – весь ссутулился, голова втянута в плечи: походка несчастного, чем-то тяжело удрученного человека.

В ноябрьские праздники я уезжаю к друзьям в Тбилиси: думаю, может быть лучше на праздники не быть дома. В конце ноября (На-

таша из больницы живет у нас) она мне рассказывает, что «дядя Толя все время куда-то звонит по междугородному телефону. Очень длинные наборы... И он очень все время расстроен». Это, впрочем, мне говорить не надо: сама вижу. И вот однажды вечером, часов в 10 он одевается и уходит, ни слова не говоря. Я так боюсь за него: у него такой странный вид... Сначала бегу, потом еду за ним в том же троллейбусе... Выходим в центре; он идет на междугородний телефонный пункт. Я сажусь в кафе напротив.

Моросит холодный не то дождь, не то туман. Зябко и страшно мне. Через час он выходит. Тем же порядком едем домой.

Он выходит, не доезжая до Померок. Иду почти рядом по мокрому тротуару. Наконец, не выдержав, окликаю.

– А, Катя... и ты тоже здесь!

– Да, Толик. Ты куда идешь?

– Да вот, никуда... Иду... Дело в том, что здесь есть еще один человек...

– Толик, милый, никого рядом нет. Только мы с тобой. Уже поздно, и улица пустынна. (Господи, кого он видит?)

– Нет, ты не понимаешь. Есть еще один человек – это женщина. – Долгое молчание. – Я люблю ее.

Улица перевернулась вокруг меня. Но я удержалась на ногах.

– Хорошо – говорю я – но сейчас поедем домой. Уже поздно и холодно. Мы промокнем.

Беру его за руку. Едем домой молча. Но, слава Богу, кажется, это не бред. А может быть, это как раз бред? Нет, нет, кажется, он не безумен... Самое главное – это не требует госпитализации...

И потом мысль – не мысль – железная скоба на сердце: а как же я? А как же все мы? Как же жить? Как жить?.. – как метроном в Ленинграде во время воздушной тревоги. Как жить, как жить, как жить...

Последний месяц его пребывания в нашем общем, когда-то живом, теплом, а теперь каком-то мертвом доме...

Звоню Пете в Москву, прошу приехать.

И вот все дети здесь, и он говорит всем нам: «Я уезжаю. Может

быть, года на 2–3; я буду жить в Москве, работать на физтехе в Долгопрудном».

Петя и Митя в это время сдавали экзамены; Катюша была в 9-м классе.

Однажды в этот ужасный месяц моей жизни она меня спрашивает:

– Мама, он нас совсем, совсем не любит?

– Не знаю, – отвечаю, – думаю, он и сам сейчас этого не знает.

– А если я буду с ним, это поможет ему не забывать нас?

– Не знаю. Может быть, и поможет.

– Мама, а если я поеду с ним? Тогда ведь ему будет труднее встретиться с этой женщиной?

– Не знаю, может быть.

И она, моя доченька, предложила ему поехать с ним. Он не захотел, отказался.

И вот, 28 декабря, складываю ему его вещи в большой чемодан. На пороге он целует меня...

В этом поцелуе для меня – вся невозможность расставания и связь моя с ним навсегда... пока жива... Для него – его неостывающее желание, неизменная его страсть ко мне, кажется, несколько не остывшие с годами...

Он с трудом отрывается от меня, отстраняет от себя, как бы ставя между нами преграду... переступает порог... Дверь закрывается.

Мы с дочкой сидим рядом на тахте в моей комнате, молча. Плакать мы не можем.

Наш пес, милый наш Ярчик – что он понял своими собачьими мозгами, что почувствовал сердцем? – перемахнув через нас, садится сзади, втискивается между нами, сует голову между моим и ее плечом, кладет нам на плечи морду, лижет нам щеки и... говорит с нами: и подлаивает, и рычит немножко, как-то глухо, животом, и повизгивает, и в чем-то уговаривает нас, обращаясь то к одной, то к другой, убеждает нас изо всех сил, не умолкает долго...

Мы обе плачем. Я – за много месяцев в первый раз.

Жизнь Четвертая

Но жизнь проходит.
Дни кружатся...
И невозможно быть живым,
И трудно мертвым притворяться...
И. Бунин

В январе занятий по расписанию уже нет. Это хорошо: я не слышу и не понимаю, что мне говорят. В ушах, в голове, даже в животе – все тот же метроном. Тик. Так. Как жить. Как жить. Тик. Так.

Чтобы понять, что говорят, надо сделать над собой большое усилие; понимаешь не сразу, а с некоторой задержкой во времени.

Всех и всё вижу, но как если бы сидела внутри громадной стеклянной банки – от всех отгорожена плотной, прозрачной стеной своего отчаяния. Если через нее услышу, тогда понимаю, кого и почему вижу; но и это не сразу, а тоже как-то замедленно.

Катюшу отправила на школьные каникулы к друзьям в Ригу. Петя в Москве заканчивает последние аспирантские экзамены и придет домой, будет работать на физтехе ХГУ. Митя и Наташа сдают экзамены.

Я не одна. Со мной остался Костя. Товарищ Пети по школе (Петя подтягивал его по математике), когда-то ставший почти членом нашей семьи. Маленькая Катя по-английски составила рассказ о своей семье и сказала: «У меня два родных брата – Петя и Митя и один брат знакомый – Костя». Жил он близко, работал на заводе рядом и теперь

уже был инженером. Все годы нашей жизни в Харькове он и правда, был будто братом моих детей, а мне – как бы одним из сыновей. Вот на кого я могла положиться: закупить и привезти картофель, помочь мне (съездить со мной на рынок, ухаживать за маленькой Катей, если она была больна, а дома никого не было, проводить меня на вокзал или в аэропорт, или встретить, если все были заняты и не могли); не было такого дела, в котором он не помог бы мне и моей семье, когда это было нужно. А нужно было всегда. Что-то всегда находилось, и все делалось. Как-то он умудрялся менять смены: если нужно было днем быть с кем-то из нас (со мной, Катюшей, потом – и с маленькой Катюшей, моей внучкой) – работал ночью. Наверное, это было совсем не просто, но всегда, когда было мне трудно, Костя был рядом.

Он верил, что травы помогают при разных болезнях: мне и Катюше покупал травы на рынке, готовил сам отвары и настои, поил нас, и часто помогало. Не было случая, чтобы больной Катюше или мне он не пришел на помощь.

Как-то кто-то с кафедры математики спросил его (ведь мы жили в городке ХАИ, где все всё знали и видели):

– Какое отношение Вы, Попов, имеете к Мышкисам?

Он развел руки, как бы в недоумении и ответил с комической интонацией:

– Видите ли, я их добрачный сын!

Больше расспросов не было.

Теперь, в этом страшном для меня январе, Костя что-то готовил мне поесть, заставлял меня, сидя рядом, что-то проглотить; у меня же были жуткие спазмы в горле – начинаю глотать, начинается рвота. Я физически не могла ни есть, ни спать. На смену Косте не оставляла меня одну и Павла Ивановна.

Ходила, как маятник, ночью по пустой комнате Толи (маленькая дочка называла его кабинет – «папинет»), и, как метроном во мне – как жить, папинет, как жить, папинет...

Через 2 недели приехала Катюша из Риги и привезла свой портрет работы Маши Айнбиндер.

На следующий день после ее приезда, я пошла в 6 часов утра с Яром, поскользнулась и упала, ударилась головой, потеряв сознание. Меня принесли домой соседи, шедшие утром на работу. Когда я пришла в себя, мне вызвали невропатолога. У меня оказалось сильное сотрясение мозга, меня нельзя было даже везти в больницу, мне на 2 недели запретили вставать и садиться; теперь Катя – дочь – была со мной; приезжал и привозил какую-никакую еду Митя; во всем помогал Костя. 1 февраля мне разрешили (и прописали!) гулять, но запретили ездить в транспорте. Стала выходить с собакой...

А с 10 февраля начинался семестр. У меня была очень любимая группа III курса: Миша Грач, Оля Якутина, Люда Судакова и еще несколько человек – группа состояла из 8 студентов. На наше счастье, группы у нас редко были многочисленны; трудности были в том, что в группе могли быть и бывали студенты разных факультетов, что порождало сложности с составлением расписания, и что очень разным бывал уровень их языковой подготовки.

Эти студенты однажды явились ко мне домой полным составом (я еще была на больничном листе) и попросили позаниматься с ними немецким языком дома; так я «одним ударом» была выведена на необходимость начать заниматься (ездить на транспорте мне разрешили лишь в конце февраля).

Стала эта группа (вся!) приезжать ко мне заниматься 2 раза в неделю. Очень это хорошо получалось – заниматься с милыми моими студентами! Книжки разные покажешь, чай приготовишь и все с ними по-немецки... Потом они говорили, что очень им было интересно, лучше, чем в институте.

Вероятно, инициаторами всего этого мероприятия с немецким языком были Миша Грач и Оля Якутина.

Миша Грач – очень способный и очень избалованный в семье (он в детстве, играя с соседским мальчиком, лишился глаза), вначале первого курса вел себя безобразно, буквально срывал мне уроки «этого дурацкого немецкого никому, кроме психопатки-немки, не нужного». Очень мне было трудно: раза два доводил меня до астматического

приступа. Но постепенно я превратилась в «Liebe Lehrerin»; группа занималась и успевала прекрасно.

И вот, в начале февраля и явилась ко мне вся эта моя группа в полном составе – навестить меня и... позаниматься немецким.

Это был первый случай, когда я была выведена, прямо насильно этим посещением в необходимость работать, а значит, и слышать и понимать окружающее. Моя «стеклянная банка», моя «моральная одинокая камера» оставалась еще годы. Еще и понимала я не сразу, если обращались ко мне в минуты моего «ухода от действительности», но все же постепенно «расстояние» моего понимания от поступления каких-то впечатлений становилось короче; не быстро, к сожалению, очень не быстро. Еще очень долго для меня было как бы две действительности: одна внутри меня, другая – вне. Очень странно устроена человеческая психика! Все прошлое, начиная с раннего детства, я как бы видела в цвете, как бы киноплёнка проходила передо мной на каком-то внутреннем экране, я ничего не вспоминала, я описывала то, что на этом «экране» видела. Теперь я не только «видела», но слышала – все время «внутри банки» мы говорили с Толей. Я одновременно «присутствовала» в двух местах – и «вне банки», где я говорила и общалась со всем окружающим, и внутри нее – только с ним одним.

Однажды после занятий немецким языком у меня на дому Миша Грач, составляя в мечтах планы на летние каникулы, вдруг говорит: «Liebe Lehrerin, а поведете-ка нас этим летом в поход на Кавказ? Возьмем Ярчика, Вашу палатку-серебрянку, разработаем маршрут и оборудование... Ведь Вы не решили, что будете делать этим летом?»

Я не сразу поняла, даже о чем речь – так я была внутри «своей стеклянной банки». Всем эта идея очень понравилась, моей дочери тоже... А у меня внутри все этот ужасный «магнитофонный диалог»: в чем я виновата? почему он бросил нас? А иногда, конечно, и внутренние претензии к нему – за 20 с лишним лет их было немало, при его-то характере... А потом опять, «прокручиваю» в голове нашу жизнь: в чем я виновата? А главное – только бы он был здоров, только бы не это...

И как-то при моем самом пассивном и минимальном участии всё и обсуждалось; принял участие и мой сын Митя (он увлекался альпинизмом), обсудил все и помог с легким маршрутом, с картами, а я все как-то в полуотсутствии и соглашалась даже.

Была я приглашена в гости к семье Грачей – милая, дружная семья. Мама – учительница музыки; говорила с забавным, ярко выраженным еврейским акцентом.

Подобралась группа: Миша Грач – пианист, его друзья: Миша Розенталь – скрипач, Володя Матюхин – дирижер-хоровик, Оля Якутина – альтистка, моя дочь Катя, моя собака Ярчик и я. Вопрос считается решенным: время – со второй половины июля по конец августа.

В конце февраля я вышла на работу после сотрясения мозга; как-то так посматривают на меня странно, в коридоре расступаются... наверное, плоховато я выглядела после своего «потрясения» не только «мозгового», но и всей моей жизни...

Много лет спустя я спросила Мишу Грача, знали ли они, моя милая группа, о том, что произошло в моей семье? Миша, засмеявшись тепло, махнул рукой и ответил: «Ну, не все ли это равно, Liebe Lehrerin, особенно теперь?» Так что, вероятно, знали.

А пока, все время подготовки, в которой как-то странно я участвовала только одной половиной, внешней, а внутренняя оставалась все так же изолирована от всей нормальной жизни, Берта Павловна, Мишина мама, выясняла по телефону степень моей «подготовленности» к летнему походу. Со своим забавным акцентом, она говорила: «Ну, Екатерина Дмитриевна, вы же ведь не совсем сумасшедшая...» – после этого вступления шло обсуждение вопроса, что дети будут в походе кушать, а какие же вещи они смогут взять... и т. п. Поход состоялся, он был очень удачен для всех. Этот поход принес также некоторые изменения в составе моей сложной семьи, но было это все в отпуске. А до того очень важные события произошли на нашей кафедре до конца 1967–1968 учебного года, и многое определило и последующий учебный год.

Да, не думали мы, даже представить себе не могли, какие измене-

ния ожидали нашу кафедру в близком будущем. Ректорство В.С. Корниенко, как казалось, не могло особенно близко касаться нас. Очень жаль, что уехал в Москву Леонид Михайлович Баткин, но новый преподаватель итальянским языком владел, стремился установить со студентами дружеские отношения (и преуспел в этом); в дела преподавания английского и немецкого языков не вмешивался.

В конце февраля я вышла на работу после «потрясения мозга» и всей своей жизни. Встречая меня в коридорах, сотрудники посматривали на меня как-то странно; спрашивали о самочувствии. Я отговаривалась головными болями.

Я же часто старалась смотреть на себя как бы со стороны, и все время мне было страшно: замечают ли другие, что делаю всё, что и все люди, я одновременно совсем другая.

Замечают ли они, что внутри моей головы есть не только цветной кинофильм, но и никогда не отключающийся внутренний магнитофон и что я веду нескончаемый диалог с Анатолием Дмитриевичем? Что я веду даже не двойное, а тройное существование?

Но с того вечера, когда мы шли «втроем»: он, она (Раиса Максимовна Довгешко, как потом сказал Толя) и я – началась странная вещь: я видела, не сразу (через свое стекло) и слышала тоже не сразу то, что мне говорили. Но внутри меня я все время слышала совершенно четко многие разговоры с Толей – со всеми его интонациями... и те, давние, слова его любви, и те, в последний месяц – его рассказ о встрече с этой женщиной, о вспыхнувшей к ней любви, какой-то внезапно-отчаянной; его уверения, что «я не могу иначе», «я не смог...», и мои ответы...

Я всё время искала свою вину в том, что случилось, понимая, что виноваты в «гибели любви» оба. Как-то один раз он сказал мне: «Я начинаю тебя бояться... А это не лучшее средство для укрепления отношений!» Теперь я постоянно слышала эту фразу внутри себя...

Вот тогда надо было искать: почему стал бояться? Был ли это мой ревнивый характер, который я не всегда умела обуздать? Была ли чрезмерность всего груза, что я несла – в быту, на работе – вся ответ-

ственность за всё? Была ли моя любовь всё же – «любовью для себя», и я не смогла любить его только для него, совсем забывая о себе? Хотя я и любила его больше себя, но может быть, всё же и для себя тоже? Может, именно этого я и не смогла... А кто-нибудь может?

И всё это внутри меня – всё звучало так отчетливо, что я боялась, вдруг это не мне одной слышно, а и вне меня – тоже; и вдруг другие это услышат, и тогда откроется, что я схожу с ума...

Я, кажется, стала понимать, что у психиатров понимается под «раздвоением личности».

Но еще более странно, что наряду как бы с этими моими «двумя существованиями» одно – то, что я одна слышу, о чем думаю, на что отвечаю в уме; второе – то, что есть вокруг моей «стеклянной банки», и что есть и моя жизнь тоже и при этом совершенно реальная, моя работа, мои студенты, сотрудники, члены моей семьи, и третье – что у меня даже появляются какие-то новые идеи по поводу «веселой грамматики», той, что я хотела сделать. Это было уже какое-то почти тройное существование... Эта работа с полным напряжением и интенсивностью – это уже третье мое существо? Кроме «магнитофона» со звуком и фильмом с «кинолентой»? Я часто боялась, что другие это заметят... боялась, что я начну не только видеть и слышать свою другую жизнь, но что начну чувствовать себя кем-то другим...

Милые мои сотрудницы! Они всеми силами старались как-то помочь мне; я без конца «заговаривала им зубы» на профессиональные темы; вполне возможно, что им вовсе не всегда хотелось со мной об этом говорить – никогда, ни одна не оборвала меня; всегда находилась одна или другая мне по пути, чтобы я не была одна.

Ольга Всеволодовна, Софа Лубенская, Алла Писарева и Нелли Журавлева знали. Конечно же, обсуждали мы многое и о многом говорили именно в таком составе – обсуждалось всё. И в политике все события, и связанные со становлением Израиля тоже; с замиранием сердца следили за героической борьбой израильтян.

Однако на полной кафедре такие вещи обсуждать было опасно. И сразу после одного из конкурсов Чайковского, если мне не изменяет

память (а проверить мне здесь не по чему), после второго конкурса Чайковского, получил одну из премий китайский аспирант, учившийся в Москве. И после конкурса он поехал на родину. И тут прошел слух (не могу опять сказать, насколько это было справедливо и было ли так), но прошел слух, что у него отрубили руки. Это произвело ужасное впечатление на всю, так сказать, музыкальную общественность Союза и, в частности, это широко обсуждалось и у нас в консерватории.

Стало известно, что некоторые еврейские семьи хлопочут об отъезде в Израиль. Такое разрешение получить было очень трудно, общеизвестно, какую травлю выдерживали эти люди, как их выгоняли с работы, как за тех, кто осмеливался пожелать уехать, получали неприятности их непосредственные начальники. Ну, и это тоже, конечно, в своем кругу мы обсуждали на кафедре.

После того, как мой муж ушел из дома, – это было почти накануне нового 1969 года, – на мое счастье, Ольга Всеволодовна еще работала до конца этого учебного года и во II семестре я вышла на работу после сотрясения мозга при ней. Работа ведь не останавливалась, как бы ни было плохо мне; институтские события не проходили совсем уж мимо меня, жизнь вокруг шла и втягивала и меня в свой круговорот. И вот, однажды, после ученого совета Ольга Всеволодовна приходит и с некоторой долей иронии, но и с явным опасением рассказывает, что в нашей Харьковской музыкальной десятилетке «раскрыли антиправительственный заговор». В нем якобы участвовали духовик Ю. Шацкий и альтист М. Лоткин. Шацкий в армии, и туда уже все сообщено; Лоткин, успевший поступить в наш институт, конечно же, исключен; дело расследуется органами безопасности.

В своем узком кругу мы обсуждали, конечно, эту новость. Мы не верили ни в какой заговор, тем более в «антиправительственный»; пожалели ребят; подумали, что может быть они что-то читали и сболтнули лишнее (почитать в «самиздате» было что). Становилось страшно и понятно, что «заговор» в нашей школе-десятилетке – очередная «охота за ведьмами»; что работать станет все труднее. Мы не ошиблись.

Довольно быстро пошли слухи и о том, что двое наших преподавателей подали документы на отъезд в Израиль. Мы их, естественно, хорошо знали. Это был доцент кафедры смычковых инструментов Исаак Владимирович Заславский и молодой способный преподаватель кафедры специального фортепиано Александр Волков. Мать Волкова работала в Музыкальной десятилетке, а его жена была знакома с Софой Лубенской, т. к. тоже окончила английский факультет. Шума было много: и собрания и проклятия на этих собраниях со стороны выступавших (иногда по своей воле, а чаще – по приказанию начальства). Нам было горестно: методы забрасывания грязью были всем нам четверым абсолютно чужды.

В тот момент Ольга Всеволодовна поняла, насколько тягостной становилась обстановка в институте и решила, что уйдет на пенсию. Ни Софа Лубенская, ни я тогда еще не могли предположить возможность собственного выезда из страны, но вся эта шумиха вокруг отъезжающих выглядела так негуманно, так по-милицейски нагло. Ольга Всеволодовна же в тот же момент поняла, насколько тягостной становится обстановка в нашем институте, так же как и во всей стране. Наша «кафедральная» жизнь, как все в институте, менялось после хрущевской оттепели в сторону все большего застоя, омертвения. Недаром ведь годы правления Брежнева называли «годами застоя». Но я вовсе не ставлю перед собой задачу написать об этом.

Прошли многие годы, и я услышала об «антиправительственном заговоре» в Харьковской музыкальной десятилетке из уст его участника. Здесь, в Израиле, живут Марк Моисеевич Лоткин и его жена Рита Костовецкая, с которой долго вместе работал мой зять, Борис Григорьевич Магальник. Итак, оказалось, что не заговор, конечно, но кружок молодежи, настроенный антиправительственно, в Харькове действительно был. Он даже просуществовал года два. Кружок этот, конечно, не мог быть антиправительственным заговором, то есть он не ставил своей целью свержение правительства, но цель кружка была – изучение работ Ленина (а может быть, и не только Ленина, но, например, также и Плеханова?) с целью отметить или исправить те

расхождения, которые являло собой настоящее в сравнении с ленинскими революционными идеями по устройству общества.

По замыслу участников кружка следовало вести разъяснительную работу, чтобы исправить допущенные в политике правительства отклонения, от которых страдали трудовые массы народа.

Кроме упомянутых Ю. Шацкого и М. Лоткина в кружке принимали участие один студент (кажется!) Политехнического института и четыре девушки из Института радиозлектроники в Харькове.

К счастью, эти ребята не вели никаких протоколов и вообще записей. Именно это обстоятельство помогло участникам кружка при допросах – ребята не сказали ничего, что прямо привело бы их за решетку, а письменных обличающих их материалов не было.

Тогда мы и предположить не могли, каковы в действительности были эти участники кружка. Нет, недооценили мы тогда этих ребят! Их благородного желания найти способ, чтобы вывести страну из тупика.

Эти дети были благородны и умны – они размышляли, они понимали многое, но они были добры и наивны. Кого хотели они учить гуманным идеям? С кем вести разъяснительную работу – с зажавшейся партийной верхушкой? С элитой, борющейся за власть? С рядовыми, оболваненными агитацией?

После исключения из консерватории М. Лоткин должен был пройти, так сказать, «очищение от интеллигентской скверны» в рабочем здоровом коллективе. На заводе к нему отнеслись очень по-доброму: даже старались, чтобы он не очень уж перетрудил руки (он ведь с 6 лет играл на альте, и играл превосходно!).

Через два года М. Лоткин уехал в Ленинград, поступил там в консерваторию и очень хорошо ее окончил. Так что для него при его очень больших способностях эта история закончилась благополучно – если не считать, конечно, нервотрепки.

Тогда же все это было не просто горько, но очень опасно и страшно.

Кстати, один из участников этого кружка был сыном женщины,

работавшей заведующим отделом кадров одного из крупных харьковских заводов. То ли мама была какая-то не очень уж партийная, то ли и при партийной маме вырос думающий порядочный, общественно неравнодушный сын? Всякое бывало.

Однажды на кафедре (где стояли шкафы с литературой и часто проводились занятия) были мы – Софа Лубенская и я. Обе стояли у шкафов и выбирали материал для следующих занятий; стояли рядом и разговаривали. Я сказала, что зря этот китаец (лауреат конкурса им. Чайковского) поехал в Китай; после конкурса, став призером, он мог поехать и в другую какую-нибудь страну.

Софа ответила: «Ну, уж тогда, наверное, лучше в Израиль было ехать – все же культурная страна, там хоть рук не рубят». И в этот момент я заметила, что дверь приоткрылась еще больше (она не была плотно закрыта), и появился Татаринцев с какой-то странной ухмылкой на физиономии; после этого, через несколько дней, начались вызовы в партбюро. Вызывали всех членов кафедры по очереди и допытывались, какие разговоры ведутся у нас на кафедре и, в частности, что мы говорим об Израиле, как мы относимся, значит, к этой стране, которая вот вся такая плохая (покрывали ее в то время толстым слоем ругательств).

Совершенно ясно – Татаринцев сообщил об этой реплике Софы Иосифовны и о том, что реплика эта была сказана в моем присутствии в ответ на какие-то мои высказывания. Вызывали всех по отдельности, выспрашивали, устраивали перекрестные допросы.

Добились единственно от Ольги Михайловны Дроздовой, что Лубенская вполне могла такое сказать; потому что она еврейка, а евреи все за Израиль; здесь же Дроздова сообщила, что она вообще всех татар ненавидит, а евреев не любит и им никогда не доверяет.

От остальных ни от кого ничего не добились.

Я делала глупое лицо и говорила, что мы на кафедре обсуждаем исключительно моды, варку овощей и оценки у студентов. Вызывали Аллу Борисовну Писареву, требовали, чтобы она вспомнила, говорил ли кто-нибудь что-нибудь в защиту Израиля, говорил ли кто-нибудь

что-нибудь о современной политике. Алла Борисовна проявила очень большое мужество (она тогда только недавно начала работать) и сказала: «Я, Георгий Борисович, не могу вспомнить то, чего не было. Поэтому меня лучше по этому поводу больше не спрашивать».

Георгий Борисович Аверьянов, который был в это время секретарем партбюро, на многие годы запомнил этот ответ, и на многие годы это определило его отношение к Алле Борисовне. Настродалась Алла Борисовна предостаточно.

В это же время началось на нашей кафедре такое – как сказать? – сокращение всего, что можно. Сокращение количества часов, сокращение штатных единиц. Во-первых, это был II семестр, значит, к весне сначала перевели на полставки Журавлеву, потом Журавлева была вообще уволена. Надо сказать, что Журавлева была великолепным преподавателем. Она очень образована – кроме факультета английского языка окончила факультет русского языка и литературы, пишет стихи; у нее большой дар – она великая искусница по части организации разных иностранных вечеров (она сама играет на рояле, у нее хороший голос, и она поет); окончила курсы по организации самодеятельности по режиссерскому отделению.

Наша кафедра была обязана каждый учебный год проводить вечер на иностранных языках с участием всех факультетов. Нелли Александровна была незаменима в этих случаях. С ее увольнением уже не было ни одного иностранного вечера. Этот вид работы был уничтожен окончательно с приходом новой завкафедрой.

Теперь Аверьянов вызывал Лубенскую, изображал «дружеский» разговор (они часто раньше играли в спортзале в пинг-понг!) и говорил ей: «Ну, признайтесь, Софья Иосифовна, Вы могли бы такое сказать?» На что Софа ответила: «Нигде нельзя привлечь человека к ответственности за то, что он мог бы сказать!»

Лубенскую перевели на 0,5 ставки; потом она уехала в Москву.

В качестве справки скажу, что и Журавлева, и Лубенская живут сейчас в Соединенных Штатах. Лубенская, если мне не изменяет память, сейчас первый заместитель вице-президента Общества все-

американских славистов. Есть такое общество, которое занимается всеми славянскими языками. Она бывает в Москве, где ее встречают: «Профессор Лубенская...», – расшаркиваются, потому что она приезжает как виднейший представитель науки славистики в Соединенных Штатах. У нее вышел великолепный словарь, выходит сейчас еще и учебник с кинолентой; она работает плодотворно, интересно, она приносит громадную пользу. Там же, в Штатах, работает и Журавлева. Журавлева руководит каждый год, в июле месяце, так называемой «Всеамериканской школой русского языка». Это преподаватели русского языка, студенты-выпускники всех университетов Америки такой специализации приезжают на месяц и живут в непринужденной атмосфере – русского языка, русских концертов, русских вечеров, русских загадок, русских розыгрышей. Все это организует Нелли Александровна Журавлева.

Очень много потерял наш институт с их уходом!

Вся эта история с бесконечными допросами, все это, конечно, нервировало и расстраивало разумную рабочую атмосферу на кафедре. Причем совершенно четко было видно, что удар был направлен против наиболее культурных, пользующихся хорошей славой преподавателей. Ольга Всеволодовна оказалась бессильна перед этим напором, а начальство, прежде всего, новый ректор, был нашей кафедрой недоволен.

Этот учебный год подходил к концу. На следующий учебный год на нашей кафедре должен был быть объявлен конкурс на заведование. Ольга Всеволодовна устала; эта история, когда на кафедру оказывалось такое давление, – все это было слишком тяжело для нее. Конечно, ожидала перемен на кафедре и я. Но я была слишком выбита из нормального состояния своим «мозговым и душевным потрясением» и что-то о кафедральных делах не очень-то задумывалась.

Ближе всех на кафедре я дружила с С.И. Лубенской и А.Б. Писаревой. Софья Иосифовна обладала потрясающей работоспособностью, она очень культурна, она очень много знала. Свое образование она получила не только в Харькове, но первые три курса факультета клас-

сической филологии окончила в Ленинграде. Она знала латынь, итальянский, не говоря уж об английском (этот факультет она и окончила в Харькове); была очень одаренным преподавателем. Еще когда она работала у нас лаборанткой, к нам на кафедру часто приходила ее двоюродная сестра, тоже филолог по образованию.

Как-то она стала говорить, что есть у нее сын, лет девяти, что он очень интересуется животными; что, вот, у Вас, Е.Д., много книжек про животных. А нельзя ли, чтобы он к вам пришел, посмотрел эти книжки? Ну я, конечно, сказала: «Можно, пожалуйста, пусть приходит». Первый раз она пришла с ним сама.

Я как сейчас помню, она заставляла его есть жареную картошку, он давился и ничего не хотел есть до тех пор, пока мать не ушла. Мальчику было лет 9.

Оказывается, он жил не у матери, он жил в интернате. Потом, живя в интернате, он окончил школу, она отдала его в ПТУ на какую-то специальность по электричеству. Так что, собственно говоря, с матерью-то он и не жил.

Довольно быстро после первого знакомства, он стал приходить к нам всё чаще. Не помню точно, в каком он был классе. Но это было время, когда он начинал читать, – не для школы, а потому, что интересовался животными, – читать для себя. Это очень важно, можно сказать, переход к чтению – это качественный скачок в развитии ребенка. Наверное, это был 3-й класс. Видно, очень понравилось ему у нас – и наши книги, и мы сами, и наша собака.

Его увлечением был кружок юннатов при харьковском зоопарке. Там была группа ребят, у которых у всех не было нормальной семьи. И вот они нашли себе пристанище там, в этом кружке; нашли приложение своей любви, своей заботы о малышах-животных. Они этих животных выхаживали от болезней; выхаживали тех детенышей, от которых отказались их «звериные родители», следили за своими питомцами на так называемой «площадке молодняка» – выполняли большую и очень полезную работу для зоопарка, и все, естественно, увлекались литературой о животных.

И вот однажды я узнала, что Славина мама и Славина бабушка всеми силами стараются сделать так, чтобы запретили ему ходить в этот самый кружок юннатов, якобы для того, чтобы он стал лучше учиться. Они даже советовались со мной, как это осуществить. Я поразились: это было жестоко – лишать мальчика его увлечения; это было недальновидно, ведь именно такое увлечение и могло бы во многом помочь ему утвердиться в жизни, стать настоящим человеком. Да уже то, что он поэтому читал, надо было только приветствовать... Я поражалась нечуткости этих женщин. В конце концов методом самых разных, но «телефонных воздействий» я все-таки отстояла Славку. Он всё более «прилипал» к нам. Сначала он стал к нам приходить только по пятницам, оставался на субботу и воскресенье.

Потом оказалось, что Слава очень легко простужается. Он оставался у нас уже на целую неделю, мы ему ставили банки, мы его лечили. А Слава в это время был у нас, и читал, и помогал по хозяйству, и что-то там чинил. У него были совершенно золотые руки. Мы заставляли его делать все уроки. И Слава как-то незаметно-незаметно оказался еще одним моим приемным сыном. В это время Люда как раз уехала работать и жила там, в деревне, приезжала только на субботу-воскресенье. А Слава как-то постепенно становился, становился, да и стал членом нашей семьи... Все, абсолютно все с ним занимались. Петя занимался математикой, Митя – физикой и химией, я – английским языком. И наши общие труды увенчались успехом – он хорошо окончил школу. А когда он окончил 7 или 8 классов, перешел в ПТУ, то он, чтобы часто не уходить в общежитие, спросил: «Можно я дам старшему мастеру Ваш телефон; он хочет звонить Вам и справляться, где я ночую и как себя веду у Вас». Мы посмеялись; потом мастер действительно несколько раз мне звонил; я дала о Славе самый лучший отзыв и все это время, он, естественно, жил у нас. Поскольку мама его считала, что он вполне обеспечен в интернате и в общежитии ПТУ, и тем более у нас, а у нее были другие «необходимости». Денег, естественно, ни ему, ни на него она не давала – алименты от его отца находили другое применение.

С 5-го класса школы он уже вполне жил у нас, а не в интернате; договорившись с мастером из ПТУ (с которым я и беседовала по телефону о Славе), и проходя практику на заводе, рядом с которым мы жили, он жил у нас; после практики поступил работать на этот же завод; под нашим нажимом (мы буквально заставили его) он окончил полную среднюю школу (вечернюю школу при заводе), поступил на вечернее отделение ХАИ, потом перешел в Харьковский политехнический институт и окончил его.

Хилый ребенок – у нас он вырос здоровым, спортивным юношей, стал альпинистом.

В малограмотной среде – он окончил институт, стал прекрасным инженером; стал Мужчиной.

Многие годы прожил он у нас. Он всегда был верным товарищем, он пришел ребенком, вырос в нашем доме, от нас он ушел в армию и к нам же вернулся. Мой старший сын не очень любит всякую работу руками. А мой младший сын пожил с нами года три, наверное, и они уехали, стали жить с матерью его жены.

Поэтому уже лет с 12 Слава был «мужчиной в доме». Он чинил все, что нуждалось в починке, ничего не надо было говорить – он сам все видел. Всякие замки, электричество, где-то что-то надо привинтить, прибить, где-то что-то надо сделать для моего удобства, в этом смысле с ним было очень легко. Все, что он делал, он делал очень хорошо – это всегда была «чистая работа».

Его мать странным образом разговор о своем сыне всегда начинала со слов: «Ну, не могу же я... (готовить ему еду, купить штаны, давать деньги и т. д.)». Почему-то я могла – готовила ему завтрак, даже когда рано утром он уходил на завод, раньше всех; Катюша перешивала ему что-то Борино, все старшие могли и занимались с ним – все мои дети могли. Мог для нас и он. Все мог. И делал все то, что мог.

Из армии он вернулся – увы! – националистом. С ним, видимо, служили какие-то люди из азиатских республик. Иначе, как «чурками» или «обезьянами» он их не называл, относился к ним с величайшим и полным презрением. И все это было для меня, с моими абсо-

лютно интернациональными взглядами, с моим полным неприятием какой бы то ни было национальной исключительности, – все это было для меня очень тяжело. И это, пожалуй, единственное, что омрачало мои отношения со Славой.

Все это тем более странно, что Слава и сам полукровка: мать еврейка, а отец русский. Отец Славы со своей дочерью приезжали в Харьков и тоже гостили у меня, так что я с ними вполне знакома.

Ведь и сам Славик во всех этих интернатах и ПТУ тяжело страдал от антисемитизма. Он не сильно об этом рассказывал, но я знала, как это бывало в тех условиях, и кое-что все же просочилось и из его рассказов.

То, что Слава вырос в нашей семье, под нашим влиянием, и вырос националистом – ложится на мою совесть: не сумела, не смогла.

Это высокомерие Славика было тем более странно, что он и сам-то не был «кладезем культуры». Были области знаний, которые необходимы каждому культурному человеку – история и история искусств, высокая поэзия, серьезная музыка – долгое время Славик был глух ко всему этому, ограничиваясь интересом к спорту и к технике, «через плечо», презирая всех «чучмеков» и «черных обезьян». И все же постепенно что-то стало меняться в нем. Его эволюция началась с интереса к так называемой «бардовской песне» – жанру тогда молодежно-интеллигентскому. Развивался этот жанр – с ним вместе развивался и культурно взрослел Слава. Он стал знатоком бардовской песни.

Он знает об этом, кажется, все, и настолько досконально, что знает всех, кто этим занимался; у него масса записей. И, как это ни странно, сейчас он в Канаде, в Торонто, представляет собой, так сказать, центр приглашений бардов из бывшего Советского Союза. К нему с концертами приезжают очень многие.

Это все он организует, он этим занимается. Я просто удивлена. Вот в этом направлении проявились вдруг и определенная культура, и вкус его, и умение привлечь к себе других людей, и организаторские способности. Вот, скажем, были у него неоднократно известные представители этой песни – Сергей и Татьяна Никитины – великолепный

дуэт из Москвы. Потом к нему приезжает постоянно такой известный в Харькове поэт и певец Григорий Дикштейн, с которым они проводят концерты.

Все это очень хорошо. Это показывает, что в нем множество достойных свойств и качеств. Может быть, он немного переменялся – все-таки он повзрослел. Но, может быть, и нет. Тут ничего нельзя сказать.

Когда мы уезжали сюда, в Израиль, Слава и ныне умерший муж моей внучки уговаривали меня ни в коем случае не оставаться в Харькове одной. (Не знаю, насколько они были правы. Об этом моем решении я еще скажу – на него многое повлияло!)

Я приняла это решение. Я уехала по ряду причин, но может быть, также и потому, что я осталась одна в этом прежде таком живом доме, в нашей большой квартире, где, как сказал мой сын, было слишком свободно без тел моей семьи и слишком тесно от оставшихся здесь, в нашем доме, их душ.

В Израиль мы ехали почти вместе со Славой: он брал мне билеты, он помогал мне отправлять багаж, он складывал вместе с моим сыном Митей вещи, которые я уже не в состоянии была сложить – просто физически. Некоторое время, когда мы жили здесь, он бывал у нас очень часто, и мы были все очень дружны.

Сейчас Слава живет в Торонто. Он женат, у них дружная семья, теплый и открытый для друзей дом. Растет (уже школьница) необыкновенно милая маленькая дочка – могу гордиться – она носит мое имя. Слава очень много занимается с дочкой, стремится дать ей то, чего долго был лишен сам. Много сил они кладут на то, чтобы Алиса-Кетрин выросла образованным человеком. Девочка свободно владеет английским, французским и русским; занимается гимнастикой; есть уже и сын – ему год.

Мы общаемся по телефону и со Славой, и с малышкой. По разговору нельзя даже предположить, что она растет в нерусской среде, никакого акцента, речь свободная, прекрасный запас слов. Узнаю многое: ближайшая ее подруга, кажется, из иранской семьи. У Славы

долго жил юноша, кажется, из Тайваня; среди его друзей на работе есть цветные: один афроканадец, другой китаец. «Не внешний вид главное в человеке, а его поступки», – сказал мне как-то Слава в долгом телефонном разговоре (явно по контексту разумелся под «внешним видом» цвет кожи). Я очень порадовалась: он повзрослел окончательно; он переменялся.

Слава сильно уговаривал меня переехать из Израиля к ним (я очень плохо переношу жару). Он предлагал мне как-то выписать меня туда, взять меня на свое иждивение (как-то это называется соответственно), так, чтобы я жила у них и какое-то время вообще даже не заикалась бы о том, чтобы мне помогало канадское правительство, а полностью жила бы на счет Славы. Так, оказывается, что в каких-то вещах люди, благодарны. И я получала за то, что я старалась делать и что смогла для них сделать, соответственное, так сказать, «моральное вознаграждение».

Вот так появился в нашем доме Слава – незадолго до ухода Анатолия Дмитриевича – и остался на многие годы; а когда Софья Иосифовна уехала, Слава из ее родственника превратился в члена нашей семьи.

Казалось бы ерунда – началось все как бы с шуточных мечтаний о каникулах, а вылилось в поход в горы. А как этот поход повлиял на мою последующую жизнь!

Мне трудно сразу объяснить, что именно значил для меня и этот первый поход, да и все последующие походы со студентами.

Ну, в первый поход я шла, все еще как-бы находясь не в походе, а внутри себя – в своей «стеклянной банке». Но именно в походе создалась такая ситуация, которая требовала от меня сверхвозможного напряжения физических сил, с одной стороны, а с другой – непрерывного чувства ответственности за ребят, которых я повела в горы. Мне было уже за 40; я не была дипломированной спортсменкой, хоть и любила лодку, плавание, лыжи. Но со мной шли сильные молодые ребята и девушка, около 23–24 лет, хотя тоже не рекордсмены. Им нужен был

поход, в котором не было бы физически скучно, нужно было нечто на пределах их сил – и только тогда поход интересен (с одной точки зрения, но есть, конечно, еще и другие критерии оценки). Но какого же напряжения это стоило мне? Я – руководитель группы. Поистине, «в пути тяжелом, перед крутизной» я обязана была командовать «за мной» и быть впереди; я обязана была быть всегда сильнее, выносливее, неутомимее их... И была!

«Стеклянную свою банку» разбить не могла, несла ее всегда с собой, но физическое напряжение убрало куда-то бессонницу, а мой внутренний метроном теперь не тикал больше с вопросом «как жить», а выговаривал: «ид-ти, ид-ти, ид-ти». Где-то я читала: «последние километры катер шел не на горючем, а на энтузиазме». Я шла не на ногах, а на силе воли; рюкзак 25–28 кг несла не на спине, а на характере.

И выдержала... Товарищи мои по этому и по многим последующим походам, мои дорогие студенты – слушатели моих лекций, теперь видели во мне не только преподавателя, но и значительно большее – товарища, с которым «можно пойти в горы», как в войну говорили «с ним можно пойти в разведку». Это много, очень много...

Наш институт все-таки в некотором смысле особый. Наши студенты нередко с 5–7 лет «обречены» на музыку. Исполнительство требует особой эмоциональности и громадного труда. У этих детей часто не оставалось времени ни на чтение, ни на спорт. В то же время музыкантам запрещены многие виды спорта (перенапряжение рук приводит к профнепригодности), а психический склад и нервная система музыкантов, с детства «обреченных» на музыку, требует и строго определенных физических нагрузок, но и непременно психических разгрузок; именно потому так важен музыкантам туризм.

Наша кафедра физкультуры делала в этом отношении очень много, но все спортивные соревнования и сборы проходят во время зимних, а чаще летних студенческих каникул; преподавателей физкультуры не хватало именно в таких случаях (ведь у них же тоже должен был быть отпуск!). Не каждый преподаватель мог и хотел проводить большую часть отпуска со студентами, а я могла и хотела.

За первым моим успешным походом последовали еще многие – на майские праздники и на День Победы выкраивалось несколько дней (разрешалось дать занятия раньше). Честно говоря, студенты все равно уезжали домой на праздники; возвращаясь, они привозили справки о болезнях. Ректорат разрешал, чтобы преподаватели «отработали» эти 2–3 дня между праздниками, а студенты, очень желавшие поехать в поход, честно соблюдали условия ректората. Таким образом, на праздники выкраивалась целая неделя, и при этом состоялись и занятия, и походы.

Потому именно так и «пришлась ко двору» моя постоянная туристическая деятельность для кафедры физкультуры.

Было всего два преподавателя (не с кафедры физкультуры), руководившие походами в горы: Михаил Витальевич Чекмарев (кафедра народных инструментов) и я.

Михаил Витальевич – человек чрезвычайно добрый, брал в свои группы без особого отбора. Мужчина, очень сильный физически, он не так, как я, боялся каких-нибудь ЧП; но я, прежде чем собрать группу, старалась хорошо узнать ее участников. Поистине, не с каждым человеком можно пойти в горы!

Редко, правда, но были случаи, когда приходилось отказываться от общества некоторых студентов. И важно было сделать это вовремя, еще «на берегу», т. к. в походе могли бы быть очень серьезные происшествия.

Так что предварительный отбор был нужен и правилен.

Сначала, после иностранных вечеров, кто-нибудь из студентов «зацеплялся за порог» моего дома, становились друзьями сестры Днепровские, режиссер Сергей Гордеев, пианист Саша Складаров. Потом, после первого же похода, друзьями оказались Грач (который, к сожалению, в первый же день заболел воспалением тройничного нерва, в поход не вышел, а в друзьях остался до сих пор!), Оля Якутина, Миша Розенталь и даже... семья моя увеличилась! – косвенно тоже из-за этого похода.

В походе мы очень подружились с Олей Якутиной – она «про-

шла» рядом со мной почти восемь лет моей (нашей общей) жизни; жила с нами и стала для меня очень родным, очень близким человеком. Оля Якутина была моей студенткой на 1-м, 2-м и 3-м курсе. На 3-м курсе немецкий язык у них закончился, но еще до того мы с ней провели тот первый поход в горах. Когда мы были в этом походе, мы вдруг подумали с моей дочерью: зачем Оля будет жить в каком-то студенческом общежитии, когда она может жить у нас? И тогда Оля стала моим ближайшим другом, моей помощницей. Оля прожила с нами восемь лет. И от нас уже уехала в Хабаровск, выйдя замуж. Несмотря на разницу в возрасте, мы стали с ней очень близкими подругами; почти все последующие походы мы проделали с ней; она научилась печатать, была как бы моим секретарем – печатала все нужное мне (на немецком и русском языках). А когда родилась моя внучка, Оля, как и все члены нашей большой «семейной коммуны», несла «дежурство по ребенку» (Катя, дочь, тогда училась на 1-м курсе Ветеринарного института, который находился за городом). Оля была замечательной альтисткой, и в Хабаровске, где был оркестр, она давала сольные альтовые концерты – это редчайшая вещь, тем более, в такой провинции.

Но не только в музыке, она вообще была человеком способным и многосторонним. Она умела водить автомобиль, чинить, когда надо, любые какие-то «железки», она прекрасно шила и вязала; последнее время, уже уехав в Хабаровск, она в основном зарабатывала на жизнь шитьем. Она прекрасно шила великолепные дорогие вещи. К сожалению, трудно поддерживать связи из Харькова с Хабаровском.

Но не это было главное. Главное было то, что ее муж категорически был против всего того, что давало ей хоть что-то ее, собственное, хоть какой-то кусочек жизни, который не был связан с ним. Он так безумно ее ревновал ко всему – к прошлому, к будущему, ко всему тому, что только может случиться; что она сможет, посмеет поехать к нам в Харьков погостить, что она будет играть, давать концерты.

Я бы, конечно, хотела поддерживать с ней связь, но я не могла, потому что ее семья – это семья кадрового военного: отец Оли сейчас,

правда, уже умер. Но у нее остался брат, который тоже военный, окончил военное учебное заведение. Я за эти годы близко знала их всех; я понимала, что мой отъезд в Израиль не будет встречен ни сочувствием, ни какими-либо положительными эмоциями, будет встречен лишь и только в штыки. Ее муж – кадровый военный. Брат Оли, Саша (тоже участник некоторых наших походов), во время перестройки и распада СССР был каким-то видным общественным деятелем в республике на левом берегу Днестра. Мать ее раньше жила в Ленинграде.

Но я не стала звонить матери Оли перед своим отъездом. Отрицательное отношение к нашему отъезду всей ее семьи было бы очень тяжело для Оли.

Очень жаль, что мы потеряли друг друга. Столько лет жизни – столько прекрасного и немало сложного пережили мы вместе; столько вместе читали и слушали музыку, о столько спорили. Да что говорить – 8 лет жизни! А уж походы... по Кавказу, на Прииссыккулье, в Закарпатье, по Украине – и пешком и на лыжах – все это такая радость, такая совершенно особенная близость наша... Ни с кем никогда у меня таких отношений ни до, ни после не сложилось.

Всегда будь счастлива, Оля! Вот пишу, а ведь все мои молодые друзья – сейчас уже и не молодые вовсе; даже не знаю, живы ли?

Да, вот так, после первого похода увеличилась моя семья. Вернулся домой Петя; закончился его срок в аспирантуре; он стал работать в отпочковавшемся от университета физтехе, в Харькове.

Как благодарна я Пете! После ухода отца его возвращение домой – это такое свидетельство о нашей семейной сплоченности. И для меня это так важно, не только было, но и осталось.

Его возвращение домой из Москвы – это как бы подтверждение делом одного нашего разговора с ним.

В тот год, когда перед своим уходом Толя метался по квартире, весь в своих переживаниях над принятием решения об уходе из семьи, Петя был на 3-м курсе аспирантуры МГУ.

Летом на каникулы он приехал домой, а потом и говорит мне:

– Знаешь, я хочу поехать в Чебоксары – познакомиться с теми мо-

ими родственниками. Оттуда я приеду домой, и уже из дома вернусь в Москву к началу учебного года.

– Ну, что ж. Хочешь поехать, поезжай!

Он пробыл там немного меньше месяца. Вернувшись, выбрал момент, когда мы были только вдвоем, и сказал мне:

– Я знаю и хочу, чтобы ты знала, что я это знаю, – ты все сделала правильно. Ты моя единственная, настоящая – моя мама. Я не должен был расти в той семье – я вырос бы не тем, кем нужно.

У нас не были приняты многословные излияния, и то, что он сказал мне тогда, значило очень много для нас обоих.

А его возвращение домой после окончания срока аспирантуры и ухода отца подтвердило лишь то, что он тогда понял и о чем сказал мне.

Это все не только тогда было важно для меня, но и осталось важным навсегда, даже сейчас, когда ему уже больше, чем 60, а мне – больше, чем 80 лет.

Он был мне опорой и помощником все годы, пока меня преследовала Щеглова.

Но еще один человек появился у нас в доме тоже после первого похода: Миша Розенталь привел своего друга, тоже скрипача, Борю Магальника; они дружили всю их жизнь – с детского сада и первых шагов обучения музыке.

Боря стал моим зятем. Он из культурной еврейской семьи: дед его еще до революции был наборщиком в типографии – должность для грамотного и квалифицированного рабочего. Отец Бори был журналистом и фотокорреспондентом, специальным корреспондентом «Известий».

Боря передал мне свой разговор с матерью в преддверии свадьбы:

– Ты идешь в русскую семью... Не услышишь ли ты однажды о своей «жидовской морде»?

– Нет, – ответил Боря, – я не знаю, что будет: может быть разное в семье – но о «жидовской морде» я не услышу никогда. Это я знаю твердо.

Ну что ж, это правда. Мать его умерла, так и не узнав о крушении этого брака – от нее скрыли правду. Но причины этого были совсем другие. Этот брак просуществовал 26 лет – это немалый срок!

Моя дочь Катя училась в 10-м классе. После своих тяжелых детских и подростковых болезней, уходя из музыкальной десятилетки, встретила она в нем свою первую любовь. Боря стал ее мужем и отцом ее двоих детей.

На свадьбу приезжал ее отец; в один из его приездов он заговорил об алиментах на Катю. Я категорически отказалась принимать от него какую бы то ни было денежную помощь ни для Кати, ни для сыновей, которым еще надо было помогать. Он неожиданно очень обрадовался моему отказу. Всем помогала одна я, и довольно долго.

Итак, теперь семья состояла из Пети, Бори, Кати, Оли, Славика, Мити и его жены Наташи, приезжавшей из деревни Люды, меня и собаки Ярчика, а потом и второго песика – маленького Сурика.

Своеобразное положение занимал Костя. Он был как бы «приходящим членом» семьи: жил он со своей мамой близко от нас, но никогда не жил у нас; при этом всегда был с нами – в нужное время был рядом; как бы раз и навсегда взял на себя все трудности быта, был с моей семьей и в горе, и в радости, в праздники, и в будни. Так и остался на все годы – был моей опорой. Почему-то он считал себя ответственным за мою жизнь.

Теперь постоянно появлялись друзья Бори, многие из них, окончив с ним музучилище, стали моими студентами.

Семейка собралась немаленькая. Работающие – Петя, Оля, Боря, а потом Славик, Катя – вносили на питание. Конечно, немного... Остальное «докладывала» я.

Жили мы все очень дружно.

Я сейчас с большой любовью вспоминаю всю эту молодежь, которая крутилась около меня, с которой мы вместе бегали на лыжах, уезжали в походы вокруг Харькова – сначала ехали немного на поезде, потом шли пешком и возвращались домой в воскресенье уже поздно вечером.

Я старалась уставать как можно сильнее: тогда не так остра была моя острая тоска, ведь никак не проходила моя «зубная боль в сердце».

Моя двоюродная сестра сказала мне:

– Чего это ты собираешь каких-то людей повсюду?

– Я не собираю, – ответила я ей, – они сами как-то так приходят..

Ну, сказать, что я собирала этих людей где-то «по вокзалам» – этого не было. Но как-то получилось, что они ко мне пришли, и некоторые жили у меня. И одна моя подруга однажды встречает меня и говорит: «Ты знаешь, я сейчас ехала в автобусе и впереди меня сидела пара, по-видимому, с уже устоявшимися супружескими отношениями. И вот они обсуждали вопрос о том, где бы им жить. У нее очень маленькая квартира, и жить просто негде. А у него квартира большая и хорошая, но... сказал он: «Ты знаешь, у моих родителей не так-то удобно жить на шее. У них шея для этого не очень хорошо приспособлена». И тут моя подруга засмеялась. Она рассказала мне об этом и говорит: «Я подумала, что твоя шея приспособлена для этого необыкновенно удачным образом».

Три года жили у нас Митя и его жена Наташа. Пока Митя не стал работать, да потом, когда появился Илья – мой внук, и Наташа не работала, я помогала и им, «платила стипендию» Пете на учебу, Наташе на сына до Ильюшиных пяти лет, когда Наташа стала работать.

Прожив с нами года три, Митя и Наташа смогли обменять квартиру моей мамы, в которой они жили и были прописаны (мама лежала в психбольнице), и квартиру Наташиной мамы на одну довольно хорошую и большую в центре Харькова.

Ну, насчет «шеи» – это, пожалуй, чуть-чуть преувеличено... Не знаю, всегда ли были довольны «открытостью» дома мои сыновья? Может быть, и нет, но временами. В целом же, наверное, да. Дружно жила наша семейная коммуна.

По-прежнему, дом был открытый, но состав его посетителей, как и обитателей сильно изменился.

С уходом Анатолия Дмитриевича порвались связи с математиками.

Хоть многие мне и звонили и говорили о своем неизменно хорошем отношении (Борис Яковлевич Левин и Лия Яковлевна, Мария Михайловна Марченко, Наум Ильич Ахиезер), но я чувствуя себя как бы горбатой, не такой как все, как-то продолжать эти контакты не смогла.

Покончил жизнь самоубийством Израиль Маркович Глазман – самый близкий наш друг. Это ужасное событие произошло еще при Анатолие Дмитриевиче. Когда после этой ужасной смерти я была в Тбилиси, и там же были наши друзья из Ростова-на-Дону – Воровичи, то Люба Ворович сказала мне: «Ты так говоришь об Израиле, как будто ты была его любовницей!» Честное слово, нет, не было этого... Но он был особенный человек: необыкновенно человеческий, чуткий, умный и обаятельный. Его гибель, такая странная, такая безвременная, объяснялась не только личным его состоянием психики, но и давлением, (как я узнала это потом от его жены), которое оказывали на него «органы». Что они хотели от него, я не знаю, но вызывали и допрашивали.

Теперь в нашем доме собиралась молодежь. Мой сын Петя и Магальники, Катя и ее муж Боря, моя приемная дочь Люда Крещук, участники похода, мои студенты, Оля Якутина часто оказывались и соучениками по музыкальному училищу, и сокурсниками даже; по субботам мы часто ходили в лес, иногда за грибами; когда выпадал снег – на лыжах; иногда уезжали из Харькова на поезде – возвращались пешком.

А дома опять было много музыки. Постоянно играл на рояле Саша Складаров, пели – часто хором, иногда Боря под гитару; постоянными гостями были сестры Днепровские – обе музыкантши; после какого-то вечера «застрял» режиссер Сережа Гордеев вместе с женой пианисткой, после других походов – Саша Безвесильный.

Почти после каждого похода как-то нечаянно появлялся кто-нибудь, кто становился постоянным другом всей нашей большой семьи. И вот после одного из походов, кажется, по Восточному Крыму, и появился в моем доме баянист Саша Безвесильный.

В немецкой группе он у меня не учился, но в походе как-то сразу

сумел стать моим помощником и моей опорой. Жил он в деревне Даниловка, рядом с Харьковом.

Автобус на Даниловку шел мимо нашего поселка, авиаинститута, да и пешком, ради прогулки, это тоже было не очень далеко.

После Крыма мы «составом» этого похода несколько раз ходили за грибами в лес, между нашим поселком и речкой, за которой и начиналась Даниловка. В этих прогулках уже приняла участие и подруга Саши Зиночка, ставшая вскоре его женой. Она была учительницей в Даниловской школе.

Странная была эта деревня. По харьковским легендам, до постройки железной дороги в конце XIX века там жили ямщики и разбойники; многие были и тем, и другим.

При мне это была большая деревня с клубом и школой; вероятно, там был и колхоз, но очень многие сумели от колхоза оторваться.

Кто-то работал на заводе, рядом с нашим домом, т. наз. «Коммуной». Там до войны был завод фотоаппаратов, описанный С. Макаренко в его романе «Флаги на башнях». Отсюда и название – коммуна им. Дзержинского; кто-то ездил на работу в Харьков.

Значительную часть Даниловки занимал цыганский табор. Цыгане прожили там довольно долго – несколько лет, а потом бросили свои дома и ушли. Почему, мне не известно.

Но оказалось, что семью Саши Безвесильного эти «цыганские дела» коснулись и весьма существенно повлияли на жизнь этой добродушной трудолюбивой украинской семьи.

Когда Саша стал постоянным участником наших походов (потом вместе со своей женой) и постоянным слушателем моих лекций в общезитии, я познакомилась и с его родителями, и с братом; Саша и Зина часто бывали у нас дома, а я – в гостях у родителей Саши, с которыми они вместе жили. Мы бывали друг у друга в дни рождения, в праздники и просто иногда в субботу или воскресенье. Отец Саши Василь, как его звали (отчества я, к стыду своему, не помню), был фронтовик. С Великой Отечественной войны он вернулся без правой руки; она была ампутирована до плеча.

Его жена, Шура, тоже была на фронте, была ранена и контужена.

Оба вернулись в родную деревню, разрушенную и сожженную в боях за Харьков...

И вот не побоялись они на этом пепелище строить свою совместную жизнь!.. Своими руками поставили дом; родили двух сыновей. Саша был старший.

Эта семья была типично по-украински музыкальна.

Все Безвесильные отличались любовью к пению. Они «спивали» на работе, пока хватало сил, дома пели постоянно – все: отец, Шура и мальчики, а потом уже с женами; Саша дирижировал. С пяти лет Саша проявил и слух, и общую музыкальность, а главное – желание учиться музыке.

Даже в то время – годы 70–80-е, – когда я там жила, и то было трудно представить себе, какие трудности пришлось преодолеть Шуре, чтобы Саша смог заниматься музыкой.

Автобус на Даниловку пошел далеко не сразу; поэтому шли пешком до трамвая, примерно 5–6 км; когда пустили автобус, он ходил так редко, что был всегда переполнен, а маленький Саша в 7–8 лет не только не мог влезть сам, да еще втащить и тяжелый баян; но и страшно было, что отберут, баян-то... Дорогая это вещь...

В любую погоду Шура (между прочим, раненая и контуженая) не только с ребенком, но и с тяжелым инструментом шла и ехала в Харьков в музыкальную школу – до которой с автобуса еще надо было пересест на трамвай и ехать еще 5–7 остановок... Саша был малорослый – лишь в 14–15 лет он стал настолько по росту и силе взрослым, что его можно было опускать одного...

И... всё выдержали!

Ну, естественно, что музучилище, а потом – консерватория – это все такой труд, такое упорство... Не говоря уже об одаренности...

Все выдержала эта семья.

Второй сын, Виктор, после школы в Даниловке сумел выдержать конкурсные экзамены в Автодорожный институт. Тоже ведь только лучшие ученики выдерживали, тем более не харьковская ведь школа!

Я знала его, когда он был уже на 3-м курсе...

В Даниловской школе, естественно, учились все ребята, и украинские, и цыганские. И вот тут-то и связала любовь Витю Безвесильного и его соученицу по школе, цыганку. Ее звали Галя. Галя, окончив школу, пошла работать на фабрику-кухню авиаинститута, там сдала экзамен и стала профессионалом-кондитером.

И, как-то раз, в это самое время, цыганский табор вздумал откочевать из Даниловки.

Галя отказалась уйти с табором. Отец бил ее вожжами, запирал в подполье... Но Гале все-таки удалось сбежать; она ночью прибежала к Безвесильным, и они прятали ее у своих родственников, пока табор не откочевал...

Не помогли никакие угрозы цыган и отца Гали.

Безвесильные сыграли свадьбу – все честь честью – я на этой свадьбе была гостьей.

Родители, Василь и Шура, отдали молодым две комнаты с отдельным выходом – зажили все дружно и в труде. Табор уехал.

Был у семьи большой огород – картофель и овощи; поставил Василь пяток ульев. На огороде работали все. Саша подрабатывал – играл на свадьбах, похоронах, крестинах – везде, где мог.

Виктор слесарил, где по ремонту машины, а где помогал в стройках вместе с отцом.

А Саша и Виктор оба еще и учились в институтах.

Как часто видела я раздоры в семьях, где все были или украинцами, или русскими, или евреями. А тут – никаких ссор, никаких конфликтов...

Родилась у Виктора с Галей девочка; ребенок родился с врожденными серьезными дефектами – их операционное устранение возможно было лишь после трех лет жизни, а до операции ребенок не мог посещать ни ясли, ни садик.

И Шура выхаживала ребенка до трех с половиной лет, чтобы Галя могла работать.

В три с половиной года сделали операцию; все прошло удачно, и вся семья вздохнула с облегчением.

Но вот вдруг, как снег на голову, явились родственники Гали: отец и мать; а брат попал в тюрьму за драку с поножовщиной. Это семейство поселилось у Василя с Шурой. Отец Гали стал требовать денег. Сказал: «На выкуп сына». Я не знаю точно, сколько, но семья Безвесильных сколько-то денег дала. Месяц живут, два – живут. А на третий – папаша выпил и стал кнутом бить и жену, и Галю. Тут Василь не выдержал: выгнал их и больше я об этой истории уже не слышала.

Цыгане прокляли Галю навсегда, отказались от нее и ушли.

А Саша тоже женился, и на той свадьбе я была. Дом все пристраивали (вся семья) – и получилось 3 части с отдельными входами, по две комнаты и по кухне. Потом я была на крестинах Сашиного сына.

Много лет мы поддерживали дружбу. И Безвесильные не раз растрогали меня своим участием. Когда я лежала в больнице с обострением бронхиальной астмы – меня навещали в больнице, приносили мне мед и прополис.

Но все же – у всех дети; Саша окончил консерваторию, стал работать – времени становилось все меньше.

Саша оказался прирожденным умным и чутким педагогом, воспитателем – прекрасно умел работать с детьми.

В Даниловке он организовал два детских оркестра. Один из них – «ложжари» (играли на деревянных ложках!) – участвовал во многих конкурсах и получил премию; преподавал и баян, и теорию музыки в Даниловской, организованной им, музыкальной школе.

Я много слышала о его работе, но встречались мы все реже. Это обычно: трудно находить время на все.

Для меня казалось самым важным даже не работа Саши в качестве музыканта, а его воздействие на ребят, которых Саша своими оркестрами «отвоевывал» от хулиганства и безделья.

Прошли годы.

В 1980 году нам все же пришлось делать ремонт квартиры. Да, удобно, конечно, когда квартира большая, тем более что она отнюдь не пустовала...

Но вот делать ремонт... О! Мне кажется, это синоним пребывания в аду. Три учебных года шел этот самый ремонт.

А кто же его осуществлял? Ну, разные какие-то мастера; их находили, они что-то делали (не заканчивали), но получив деньги, исчезали надолго.

А где же были все «наши»?

Петя в разгар ремонта уехал в Москву на курсы повышения квалификации... там он женился. Какой уж тут ремонт?

Митю в отпуске отправляли на работу со студентами в колхоз (и это – каждое лето! Молодой преподаватель, мужчина!, не инвалид).

Катя в разгар ремонта оказалась беременной.

Оля вышла замуж и уехала.

Люда работала и, кажется, сдавала экзамены в институте.

За три-то года многое может произойти... За два года сделали три комнаты. Оставались одна комната, передняя, кухня, службы, входная дверь и тамбур на лестничную площадку.

Почему-то на этой точке все остановилось надолго...

Я как-то ехала домой и в троллейбусе встретила Сашу Безвесильного. На вопрос «как живу» я рассказала про свой ремонт и про дверь, естественно.

В воскресенье – звонок. Открываю. Василь и Саша с инструментами. Василь смеется и говорит: «Тремя руками сделаем мы, тебе, Дмитриевна, дверь!» И правда, сделали и дверь, и тамбур. Как я была им благодарна!

Их вмешательство доказало, что только космос бесконечен, а ремонт все же может закончиться когда-нибудь... Подумаешь – всего-то три года... что это по сравнению с вечностью!

Но все это было потом. Это я забежала на много лет вперед – очень хотелось сказать тепло о Безвесильных!

А пока что я после потрясения всей моей жизни и моих бедных мозгов приступила к работе. Этот учебный год, начавшийся после моего первого похода в горы со студентами, происходил в обстановке

ожидания перемен на кафедре. Ольга Всеволодовна нам сказала, что подавать на конкурс не будет. После увольнения и отъезда в Москву Софы Лубенской и увольнения Нелли Журавлевой были очень сокращены часы, и на немецкий язык в том числе.

Я очень спешила закончить начатую с А.А. Пономаревой работу по книжкам «Немецкий – для музыкантов». Первая должна была выйти в этом учебном году (1968-1969), другая была в работе.

До тех пор подобных специализированных пособий по немецкому языку для музыкантов в Советском Союзе не было, и я очень спешила закончить хотя бы первую часть, пока во главе кафедры еще была Ольга Всеволодовна.

Приходилось ездить в Ростов-на-Дону; и, по-прежнему – мама, мама... Горькое сознание ее состояния, необходимость навещать ее и полная безысходность всей этой ситуации – ни помочь ей, ни облегчить ее страданий – весь ужас ее пребывания в условиях этой больницы... И ничего, абсолютно ничего нельзя сделать.

Хозяйство тоже ведь не само шло: все что-то ели, дети были во что-то одеты, квартиру я убирала по пятницам, когда у меня по расписанию не было занятий. А готовила, как всегда, по ночам. Как-то приспособилась. Правда, с покупками помогали Петя и Боря; когда родилась внучка Катенька, очень помогала Оля, и на полгода приехала из Нижнего Тагила моя тетя Зиночка.

Но трудно было все равно. Может быть, только это напряжение и держало меня – расслабляться было нельзя.

В тот год, когда Катюша-дочка окончила школу, она сдавала экзамены на биофак университета. Сдала с очень хорошим проходным баллом (кажется, из 3 экзаменов 2 – на «5», 1 – на «4»), но с тем же баллом сдала и другая девочка из детдома. Принимали группу, кажется, 15 человек.

И Астахов с собутыльниками, с которым я когда-то так «негуманно» поступила, утвердил в списке ту девочку, сказав: «Профессорская дочка без высшего образования не останется».

Вряд ли Астахов, историк по профессии, вообще хоть раз видел

упомянутого профессора. Но, увы! – меня он запомнил даже слишком хорошо... Он мог (в таких случаях это делалось!) принять мою дочь условно, до первой сессии, а там обычно такие «кандидаты в студенты» после первых экзаменов зачислялись.

Да, как права оказалась Раиса Семеновна! Не мне уже он мстил, а моей дочери. Это за меня она, маленькая, поплатилась...

Я поехала в Ростов-на-Дону. Иосиф Израилевич Ворович уже тогда был членкором АН СССР. Я рассказала ему (об уходе Толи он знал раньше) о Катюшиних делах. Он мне ответил очень тепло и предложил следующее: Катюша имеет на руках экзаменационный лист с очень хорошими, вполне проходными оценками. Такие вещи допускались – с этим листом она придет в Ростов, а Иося поговорит с ректором их университета. Он биолог; очень порядочный человек и настоящий ученый. Иося сказал: «Я на 99% уверен, что он мне не откажет – Катю зачислят на I семестр «кандидатом», а после I сессии все устроится. Жить она будет у нас».

О Жданове, ректоре Ростовского университета, много хорошего я знала и от Иоси, и от своих друзей по аспирантуре – Светланы и Саши Пронштейнов. Жданов был мужем Светланы Сталиной и многие годы воспитывал сына ее от первого брака и их общую дочь. Жданов был дружен и с семьей Воровича. Отметки за экзамены (1 четверка и 2 пятерки) вполне были проходным баллом в Ростовский университет на биофак.

Но прежде, чем просить Жданова, Иося хотел точно знать, согласится ли Катя. «Позвони мне из дома сразу, как приедешь», – сказал он.

Увы! У нее в голове был Боря; любовь не так-то просто подавить в себе... Да она этого делать и не захотела... Нам всем казалось, что у нее впереди еще столько возможностей!

Но... Так вот и осталась моя «профессорская дочь» без высшего образования, к моему горькому сожалению...

Поступила работать на тяжелую работу: в экспериментальной конюшне от биоинститута им. Мечникова брала у лошадей желудочный сок, из которого потом вырабатывался аптечный препарат. Потом по-

ступила в Ветеринарный институт – бросила; потом пыталась окончить курсы медсестер – бросила. Что-то, верно, сломалось в ней за эти годы... И ни я ли виновата, что не сумела воспитать в ней настоящего, непреодолимого устремления к учебе? Не слишком ли я «разделила» с ней, «взвалив» и на нее, непереносимое своё отчаяние?

Потом, когда должна была родить, она работала в детском саду.

Я тогда пыталась совершить единственный бесчестный поступок в своей жизни, пойти на уголовное преступление. Дочь решила еще раз держать экзамен, теперь в медицинском институте. И я нашла женщину, которая, передав кому-то (кому нужно) взятку (все деньги, которые у меня были и которые я могла взять в долг), могла бы таким образом «осуществить» Катюшино поступление (конечно, при прилично сданных экзаменах). Но та женщина посмотрела документы и сказала: «Нет. Отец – полужид. Муж девочки – еврей. Я за это не возьмусь».

Катюша экзамены сдала неплохо, но по конкурсу, естественно, не прошла.

Так я не совершила этого уголовного преступления. Благодаря «5-му пункту».

На нашу кафедру был объявлен конкурс на заведование.

С одной стороны, я была так занята, и внутри моей несчастной головы был такой постоянный вечно стоявший передо мной вопрос: все-таки почему же и как все это со мной случилось, я чувствовала себя до такой степени не такой, как все люди, что я и не подумала даже, что это объявление может иметь какое-то отношение ко мне. Меня никто не вызвал к ректору, и подать документы мне никто не предложил.

Но после заседания конкурсной комиссии я встретила случайно на улице с Дмитрием Львовичем Клебановым – он был председателем этой комиссии, с ним мы поддерживали очень добрые и теплые отношения и часто встречались.

Как-то я поделилась с ним моим восприятием музыки и сравнила воздействие на человека музыки и религии.

Занимаясь переводом текстов к «Страстям», я сравнивала религиозные тексты, столетиями отшлифованные и слившиеся с музыкой, с текстами гаданий, воздействующих на человека, если он в определенном эмоциональном состоянии, как бы в некоей полурелигиозной экзальтации, воспринимает гадание.

Это все очень заинтересовало Дмитрия Львовича. С ним мы говорили и о многих других вещах.

В ту встречу, Дмитрий Львович сказал мне:

– Почему не было Вашего заявления на заведование? Вот сейчас Вы были бы утверждены и стали бы заведующей кафедрой

– Мне никто не сказал, что надо подать такое заявление, – ответила я.

– Ну, спросили бы меня, – пожал плечами Дмитрий Львович.

– Мне не пришло в голову, что я должна об этом спрашивать.

А поскольку объявление было в газетах, то к нам на это место буквально сразу же после этого заседания конкурсной комиссии к следующему ее заседанию поступило заявление Лидии Михайловны Щегловой.

По всем справкам, которые наводили о ней официально и неофициально, баба это была жутко склочная, вечно заводила какие-то скандалы и дразги. В месткоме института, где она раньше работала, сказали нашему «уполномоченному разведчику», тоже члену (но нашего месткома): «С тех пор, как она станет у вас работать, местком, профком, партком, ректорат и вообще все, кто только есть в институте будут разбирать ее склоки». Увы! Это предсказание оправдалось, но не принять ее не смогли. Ее «воткнул» обком партии; она была член партии, фронтовичка и «дочь ответственного (ныне умершего!) партийного харьковского работника». Ну, для дочери, конечно, старовата, но что поделать – «была дочерью» уже лет 50.

Таким образом, эта женщина утвердилась на заведовании нашей кафедрой на 12 лет. При начале занятий присутствовали все оставшиеся члены кафедры, кроме Татаринцева.

Он – кажется, в качестве переводчика – работал на судах черно-

морского флота, которые плавали в Турцию, Италию, ну, и по другим пунктам Средиземного моря. Иногда он задерживался. Поэтому я не видела их первой встречи. Но она, как говорят, была очень знаменательная. Они оба не ожидали как-то друг друга увидеть и оба как-то заметно изменились в лице. Когда я первый раз обратила внимание на всю эту странную ситуацию, было это следующим образом. Я шла к двери мимо Серафима Михайловича Татаринцева, а он шел мимо меня вглубь аудитории, где за столом сидела Лидия Михайловна Щеглова. И вот, когда я шла мимо Татаринцева, я совершенно ясно услышала, что им была произнесена по адресу Щегловой матерная ругань – тихо, но очень отчетливо. Очевидно, конфликт должен был возникнуть.

За все время моей работы в институте (более 30 лет) я болела раза три; но каждый раз лежала в больнице, вот и тут я оказалась в больнице на 1,5 месяца. Поэтому основной «эпопеи по изгнанию Татаринцева» я своими глазами не видела. Было несколько собраний, но я была только на одном.

Татаринцева обвиняли в том, что он фальсифицировал свою автобиографию, что в то время, когда он был в Калуге в оккупации, он работал переводчиком на немцев.

В своих документах он писал, что он был оканчивающим студентом немецкого факультета Калужского педагогического института, когда Калуга была оккупирована немецкими войсками, что его просто обязали работать, что он некоторое время работал переводчиком – документы какие-то переводил; что потом он был в советской армии, потом был в плену у немцев, бежал из плена к итальянским партизанам; работал и воевал в итальянском партизанском отряде и имеет в награду итальянский орден. Но из его биографии опять и опять вылавливали какие-то факты, что-то выясняли – собраний было много.

Татаринцев – отвратительная для меня фигура. Он скользкий, он доносчик – вот, собственно говоря, началось-то все с его доноса в партбюро, когда было сообщено, о чем разговаривали мы с Лубенской. Он явно подслушивал под дверью, когда я увидела, как эта дверь приоткрывается (она уже была приоткрыта, но она приоткрывается

еще больше). Он отвратителен, но и травля эта, организованная и подогреваемая Щегловой, не менее отвратительна; происходило это все на глазах всего института. Татаринцев, во всяком случае, итальянским языком владел. Потом он в чем-то долго оправдывался, представлял какие-то документы. В конце концов я уже за этим не следила. Был ли он действительно в рядах итальянских партизан, бежал ли он из плена у немцев в итальянские партизанские отряды или нет – этого я не знаю. Но встретила я с Серафимом Михайловичем тогда, когда у него был инфаркт после всех этих дел, и он лежал в больнице. Так что Лидия Михайловна тоже сумела-таки довести его до «должной кондиции».

Его «ушла» из института Щеглова, а на его место взяла молодую выпускницу английского отделения и сказала ей: «Будешь учить итальянский перед тем, как войдешь в класс. Что-нибудь выучишь, а не выучишь – неважно».

Вот такое отношение к преподаванию было у нашей завкафедрой.

Сколько мы вкладывали изобретательности, как искали, например, материалы для внеклассного чтения студентов – чтобы интересно было студентам, чтобы было связано с музыкой, чтобы лексика была современной. Лидия Михайловна себя такими пустяками не утруждала. Как она нам объяснила, когда она была студенткой 1-го и 2-го курса (!), у них проходили в качестве внеклассного чтения какую-то книжку – вы можете представить, какого года издания? Про какую-то охоту в Африке на козлов. Так вот она подняла невероятный шум, чтобы получить из какого-то библиотечного старья эту книгу. Потому что она сказала: «Чего это ради я буду искать новые книжки? Я буду читать с ними вот эту! Охоту на козлов!»

Щеглова была в общекультурном смысле, если не малограмотна, то вполне можно сказать, просто невежественна.

Но если бы ее невежество было пассивным, ленивым, это было бы даже хорошо (ничего не знает, ни во что не вмешивается). Беда же была как раз в том, что это было невежество воинствующее, активно действующее.

Она чистосердечно ненавидела и презирала людей, которые хорошо работали, которые знали больше и хотели знать еще больше, которые не удовлетворялись уровнем ее интересов и ее жизненными установками.

Как изменилось все на кафедре с приходом Щегловой! Если при Ольге Всеволодовне Щеткиной те немногие минуты, когда мы оставались между занятиями на кафедре, либо у нас были окна, либо нам надо было достать из шкафов какие-то материалы... О чем мы говорили? Мы говорили о кино, о книгах. Очень часто темой наших разговоров служили концерты, которые мы обязательно посещали. Работая с музыкантами, мы считали совершенно обязательным для себя быть в курсе их профессионального роста. (Это особенно, конечно, касалось музыкального отделения, потому что тогда еще театральное не было к нам присоединено).

Понимая профессиональные интересы и уровень развития каждого нашего студента, мы подходили к работе с ним по иностранному языку индивидуально, что повышало интерес студентов и сказывалось на уровне их знаний.

Поскольку отношения наши были очень дружеские, мы, конечно, говорили и о своих семейных делах; но дети были не у всех, потому что не всегда интересовало всех. Но работа... Работа была наша, общая; она волновала нас, всегда она составляла наш главный интерес...

Пришла Щеглова. Любимой темой ее разговора на кафедре стали какие-то странные сплетни о преподавателях университета. Но, вероятно, самой омерзительной, что я до сих пор вспоминаю с содроганием, была история о том, что в подвал ее дома приходила какая-то пара.

Лидия Михайловна упорно выслеживала: а что они там делают?... Она спускалась вниз, подслушивала... и это длилось не один месяц. Результат своих расследований Щеглова докладывала на кафедре – тоже постоянно: «А знаете, вчера...» И вот, однажды, она с торжеством, посмеиваясь и потирая руки, сообщила на кафедре: в один прекрасный вечер, когда она была уверена, что «они» там, и она знала точно, что они там делают, она привела дворника и милиционера. Те

осветили эту несчастную пару, поймали их, так сказать, публично на том, чем все занимаются... Потом Лидия Михайловна нам сообщила, что она все это, конечно, довела до сведения партийной организации того института, где училась эта несчастная девчонка.

Постоянные сообщения о слезке за этой парой вызывали у меня дрожь отвращения, но часто надо было подготовить материал для занятий, а все материалы лежали на кафедре в шкафах, приходилось делать это в перерывах, и уйти было некуда.

В течение многих лет никто ни разу не был друг у друга на занятиях. То есть, занятия никоим образом не интересовали заведующую кафедрой. И каждый, так сказать, мог только радоваться, что она не приходила к нему на занятия. Но так же не приходил никто и друг к другу. Я очень хорошо знаю, как полезно посещать друг у друга занятия. И когда есть доброе, товарищеское отношение друг к другу, насколько это становится не страшным, а наоборот – интересным и приятным! И вот лишь только когда пришел к нам Юрий Маркович, тогда поняли это и все остальные.

В Музыкальном институте, где люди, в общем, хуже или лучше исполняя, но жили все-таки музыкой и в атмосфере музыки, сама фигура Лидии Михайловны была одиозна и отвратительна. Она настолько не входила в общий контекст, что само ее существование на кафедре более десяти лет (два конкурса) было нонсенсом, глупостью. Казалось, нельзя это было никак объяснить. Но Лидия Михайловна очень твердо держалась – этому было очень понятное объяснение: все видели, а ректор, в первую очередь, что представляет собой Щеглова, но она была рекомендована обкомом, она была «дочь видного партийного работника» – никому не хотелось идти на конфликт с этой скандальной бабой, которая пользовалась такой поддержкой.

В очень многих случаях Аверьянов как бы заминал ее склоки, защищая меня, делал это так, что это не было широко известно, но все же хоть так, но защищал (во всяком случае, требования моего увольнения и не думал выполнять... Но я-то этого тогда не знала!)

Но Щеглова держалась крепко и умудрялась в стенах нашей не-

большой кафедры устроить такую... ну, что ли, борьбу пауков в банке. И вот, когда ушла Щеткина... когда «ушли» Журавлеву, когда «ушли» Лубенскую, когда «ушли» Татаринцева, тогда-то главной мишенью ее деятельности (и на многие годы) стала я; и в кафедральную «борьбу» – поедание меня живьем Щегловой – никто долго не вмешивался.

Интересно ли это? Ну – это ведь тоже «примета времени» – кто, как и почему в творческом вузе мог оказаться и оказывался на руководящей должности.

У нас было принято в тех случаях, когда в город приезжал кто-то из видных музыкантов, и с ним устраивались встречи студентов, снимать группы с занятий. Это было очень правильно. Помню поразительно интересную встречу с композитором Таривердиевым, долгий разговор с ним о современной музыке, о путях ее развития, вопросы студентов. Помню и многие другие встречи. Но когда приехал Растропович, Щеглова громко заявила: «Этот Распопович, что играет на этом (она стала показывать руками виолончель, не зная названия инструмента)... Нечего студентам с ним разговаривать, какая может быть беседа? Моим студентам (!) и мне (!) это все не нужно!»

Слышавшие это просто остолбенели от изумления. Но какая же это была удивительная, незабываемая встреча... О музыке, о преподавании, о поэзии в музыке.

Осталась я как бы в единоборстве со Щегловой. Остальные наши преподаватели боялись ее, как разъяренной ядовитой змеи. Она же в конце учебного года стала буквально «кулаком по столу» требовать, чтобы я ушла. «Чтобы я вас здесь больше не видела», – сказала она мне перед уходом в отпуск на последнем заседании кафедры. И я испугалась. У меня не было сил бороться, а что эта борьба не на жизнь, а на смерть – я понимала.

Первый учебный год она сначала «осмотрелась», к тому же она ведь была «занята» не только моей травлей: сначала осмотрелась, потом «съела» Лубенскую, потом Журавлеву, потом Татаринцева.

И главным в ее деятельности стало уничтожить меня.

Я была главной зарабатывающей единицей в семье: Пете еще надо

было закончить аспирантуру и защитить диссертацию – это минимум два года; Митя и Наташа еще оба были студентами; правда, Славик и Люда начали уже работать; Люда же собиралась родить, ей я помогала с квартирой – собирала деньги для этого (и свои вкладывала, и ее).

Я попыталась уйти. В это время был объявлен конкурс в одном из военных училищ, и я подала туда документы. Но меня не взяли, взяли другого человека.

Это же конкурс, иногда возьмут, иногда нет. И мне ничего не оставалось, как вернуться на свою родную кафедру.

Больше некуда мне было деться!

Когда 26 августа я пришла на первое заседание кафедры, Щеглова обратилась ко мне и сказала: «А почему Вы здесь? Я же не разрешила больше Вам здесь появляться!» Я объяснила, что я не прошла по конкурсу, что я не уволена здесь и, согласно положению и уставу высшей школы вышла на работу.

С этого началось 10-летие нашей совместной работы со Щегловой.

Это были тяжкие годы! Но и в самое трудное время все же бывают какие-то просветы.

Милые мои ребята, не забывавшие наш дом; члены семьи и их друзья; так шла моя двойная жизнь – внутри стеклянной банки, где я существовала всегда как бы с включенным магнитофоном и с *его* голосом и все о том же, ах, все о том же! И все тот же вопрос: ну почему, за что это случилось со мной? В чем я виновата? И все же мое отношение к нему всегда оставалось неизменным: никогда, даже в самые горькие годы моей жизни, я не желала ему зла; всегда я думала: «Только бы он был здоров...» Эта одна моя мысль всегда жила во мне: «Только бы не это... Только бы не как мама...» Кого или что я заклинала и просила – его ли судьбу, обстоятельства ли его жизни...

Когда первые года полтора после его ухода из семьи он жил в Долгопрудном и приезжал по работе в Харьков, он останавливался дома.

И опять повторялась наша близость; наша неостывшая страсть вновь бросала нас друг к другу, и я просила его тогда: «Сохрани с ней то, что не удалось сохранить нам... Она так важна для тебя – береги

это!» Не о ней же я заботилась – лишь только о нем! Я боялась, что еще одно такое потрясение – он не выдержит, сорвется... Лишь бы только не это, только бы он был здоров.

Мне было очень плохо – иногда я завидовала вдовам, но это касалось только моего отчаяния. Ему же я желала одного – здоровья.

И тогда, в те, тепер уже далекие годы, и сейчас, когда прошли не только десятки лет, прошла уже вся жизнь, не было у меня в мыслях, что каждый, кто развелся с женой после долгой совместной жизни, безумен. Но может быть, не случайно, что так много выдающихся людей – писателей, ученых – имели по несколько браков?

Может быть, ряду людей такого склада, дарования просто необходим этот сильнейший всплеск чувств, как стимулятор в их интеллектуальной деятельности?

Насколько мне известно, та болезнь, что отступила от него в молодости, в момент начала войны, и про признаки которой он говорил мне в конце 50-х или начале 60-х гг., потом не потребовала вмешательства медиков.

Он работал по-прежнему плодотворно до глубокого возраста. (Во всяком случае, об этом говорил нашей дочери кто-то из израильских математиков, вместе с дочерью провожавшей А.Д. Мышкиса в аэропорт).

Может быть, такой научной продуктивности способствовала его новая любовь (несомненно, очень сильная встряска для его нервной системы)?

А может быть, религия, к которой он пришел в последующие годы жизни, была для него тем лекарством, которое помогло выстоять перед возможной болезнью...

Да что бы это ни было – все равно это благо... Сохранилась его научная активность, уровень работоспособности.

Но жизнь идет, и дни кружатся... Вокруг были мои дети и их друзья. Особенно близкими нам стали две молодые семьи музыкантов, с которыми дружба была столь тесной, что и жизнь – почти общей.

Первая семья – это уже упомянутый Миша Розенталь, друг Бори.

Миша женился на Катинной подруге; мы жили рядом; дети были почти одного возраста; к тому же Боря и Миша работали вместе в одном ансамбле (о котором позже).

Всё чаще нашими друзьями становились уже не только мои ученики (или бывшие ученики), но и друзья друзей. Так, через одну очень любимую мою ученицу (как она сама себя назвала раз в разговоре с деканом, о чём мне тот и сообщил, даже как бы удивляясь: ведь всего-навсего немецкий, не специальный же предмет!) – Ниночку Руденко (Боже, она уже тоже бабушка!). Познакомились мы и подружились с семьей Стрельцовых. Милая наша Диночка Стрельцова была преподавательницей по фортепиано; она работала в музыкальной школе. Муж её, Олег, тоже окончил Харьковское музучилище по скрипке, потом еще и исторический факультет; их дочь, Ира, тоже стала музыкантом – окончила Московское музыкальное училище и вышла замуж за музыканта. Сейчас они все живут в Германии, но это теперь.

А тогда Ира была постарше моей внучки Катеньки, но дружили мы все вместе: и моя дочь, и зять, и я, и вся семья Стрельцовых. И музыканты все, и «собачники»; в походы под Харьковом за грибами, и просто прогулки в лес.

Помню одно удивительное зрелище, которому мы были свидетелями: танец индюков. Да, да! Не смейтесь! Это так не вяжется с устоявшимися в языке представлениями об индюке. Это же стало нарицательным... Говорят: «Он же просто индюк!» Это значит глупый, тупой и самодовольный... Ну, индюк, одним словом. Раньше я не только читала, но и в кино видела танцы журавлей, глухариный ток и других птиц, это явление природы очень красиво, но не часто его увидишь.

Однажды мы гуляли в лесопарке; случайно вышли к двум домикам, как бы хуторам в глубине леса (потом их оттуда переселили!); там был и колодец.

Мы сели отдохнуть и перекусить, перед нами был общий, поросший зеленой травой двор этих двух домиков. Было начало мая – всё зацвело, зеленело и вдруг... На середине этого двора появились че-

тыре крупных белоснежных индюка. Они построились в шеренгу и стали в общем ритме, не нарушая строя, двигаться то в одну, то в другую сторону; при движении они распускали крылья, приседали, поворачивались, кланялись все разом, то в одну, то в другую сторону – ну, прямо «танец маленьких лебедей»... Солнце светило на них через листву деревьев сбоку. Их наросты (попросту называемые «соплями») на шеях и головах под солнцем вдруг превратились в полупрозрачные «рубиновые короны и украшения», которые при движениях во время «танца» дрожали, и просвечивала, как рубины, кровь! Их танец «маленьких лебедей» стал поистине Танцем Королей; они танцевали царственно-невозмутимы и прекрасны... Этот удивительно красивый танец длился несколько минут. Потом они «закудыкали» все сразу, смешали строй и пошли в угол, где сидело несколько невзрачных, мелковатых индюшек.

Не знаю, как индюшки, но мы были зачарованы! Вот только все четверо были одинаково хороши, и мы не смогли назвать победителя.

Пока длился танец (воспринимая истинное искусство – вопросов не задаешь), все молчали. Лишь потом поражаешься: как они держали строй, ни разу не сбились, что за внутреннюю музыку слышали они все одновременно? Или они что? Умели считать?

Вот тебе и индюки. Даже они могут быть обаятельны... когда захотят.

Навсегда запомнила я эту удивительную картину: зелень двора и четыре белоснежных красавца в весеннем танце...

Много побродили мы в окрестностях Харькова. Однажды моя внучка ходила даже по Крыму со Стрельцовыми; с ними же часто ездила в походы по Кавказу и семья моего сына Мити.

Стрельцовы и квартиру поменяли в наш район – могли ведь и в другой район, но нам всем так хотелось жить недалеко!

А уж говорили-то мы обо всем... Вот хорошо, что не было у меня подслушивающих аппаратов, как у Берманов (об этом ниже!).

Кроме интереса и любви к музыке (почти на профессиональном уровне), Олег вполне серьезно интересовался историей. Не случай-

но же он оканчивал исторический факультет! Только, к сожалению, наше историческое образование ни на какие вопросы и запросы ответов дать не могло! И в нашей компании, где вполне всерьёз вопросами истории интересовались мой сын Петя, Олег и я, вопросы мы пытались – ну, не разрешить, конечно! – хотя бы осмыслить сами.

О многом я впервые услышала от Олега, он занимался отношениями России с Турцией и Персией в XIX в., например, о тёмной истории с германскими деньгами, переданными В.И. Ленину, о Парвусе, о секретаре Сталина, сбежавшем за границу Б. Бажанове, о партсъездах и о многом другом.

Во всех трудных ситуациях Олег «подставлял своё плечо». Уж не помню в деталях, но в чём-то Олег очень помог мне при помещении моей мамы в психклинику. Всегда очень меня поддерживала уверенность Олега в пользе и необходимости моих лекций – это он придумал, и при его участии мне дети собирали и покупали «оборудование» – аппарат «Свет», экран, простенький магнитофон, слайды. Вот, не помню я, что именно делал Олег на заводе, но именно он рекомендовал меня, когда мне так были нужны деньги, и я там, на заводе, подрабатывала, наверное, около года, читая лекции в клубе.

Стрельцовы первыми из всех наших друзей решились на отъезд; обсуждалось же это в нашем узком кругу долго. Стрельцовы, Розентали и семья моего сына Мити очень думали обо всём том, что у нас в стране и... что не у нас.

Постепенно начинали понимать, а может быть, это только казалось, что начинали понимать. Но казалось, что да, – понимали.

Очень смешной и характерный для наших странных порядков эпизод произошёл, когда приехали мои друзья-немцы. Я познакомила их и со Стрельцовыми, и с Розенталями; много времени мы проводили все вместе в тот месяц. Я никогда не смогу забыть весь характерный для нашей той жизни комизм отъезда моих немецких друзей из Харькова и роль Олега. Ах, если бы это записать... Как это было бы смешно... и как странно это выглядело для «моих немцев». Я звоню и вызываю такси (едет их четверо, я и множество чемоданов)... Мне

отвечают: «Заказы на определённое время не принимаются. Такси все заказаны», – и тут же бросают трубку. Я звоню еще раз – уже на диспетчерский пункт: «Машин нет!» – и опять брошена трубка. А я в полном недоумении – что же делать? Провожали мы наших друзей прощальным ужином у нас вместе со Стрельцовыми и Розенталями. Все смотрят друг на друга. Что делать? Олег берёт трубку, набирает номер. Он говорит: «Здравствуйте! Это говорит Стрельцов Олег Николаевич, – надо было слышать этот тон, ну, как бы не менее, чем первый секретарь Обкома; само выражение голоса предусматривало абсолютную невозможность возражения. – Надо обеспечить отправку на поезд «Харьков–Москва» группы иностранцев. Да, да, чтобы не было никаких накладок – две машины. Да, вот адрес и телефон, – диктует. – Так, вы всё поняли? К 19 часам! Еще раз повторяю, это говорит Стрельцов». Господи, он же не сказал ничего, кроме своей фамилии! Машины пришли минута в минуту!

Как люблю я их всех, моих харьковских друзей! Как жаль, что уже никогда не увижу никого из них. Но никогда не забываю. И висит на стене подарок Диночки (она художественно одарена!), чуть тонированная и подправленная ее рукой коряга – готовая взлететь, насторожившаяся птица... Так и мы разлетелись по всему миру...

Но есть телефон – всё же иногда перезваниваемся.

Это была молодежь – ученики и студенты... Жизнь шла и проходила, и дни кружились вокруг... всё быстрее. Милые мои ребята! Они были рядом и вокруг меня, и всё это молодежное кружение не мешало мне жить внутри себя особой собственной жизнью, которая не была ни заметна, ни известна; но она все равно не отпускала меня, она была во мне, а я – в своей стеклянной банке, никому не видимой.

И все же появлялись новые друзья, как бы «не молодёжные»...

Среди моих студентов оказалась внучка одного из моих любимых московских педагогов по истфаку, Бориса Ильича Рыскина, – Регина Дрикер. Девочка стала взрослой, окончила институт, начала работать,

а моя дружба с этой замечательной семьей длится вот уже больше 40 лет.

Эта семья состояла тогда из три человек: отец, Юлий Григорьевич, работал в Политехническом институте – самом большом институте Харькова. Вел он какие-то чисто технические дисциплины и одновременно был деканом для всех иностранных студентов. Наверное, надо было иметь особенные способности (при том-то пресловутом «5-м пункте»), чтобы работать с иностранцами.

Множество всевозможных проблем непрестанно требовали разрешения. Но, судя по тому, что Юлий Григорьевич занимался этой работой много лет, и по тем отзывам о нем, которые доходили до меня от его немецких студентов, он был прекрасным деканом.

Я знала его в семейной обстановке – он был замечательным отцом, очень душевным человеком и одновременно человеком весьма практичным, умеющим выходить из самых разнообразных трудных ситуаций.

Наверное, много сложных коллизий возникало в его деятельности; именно этот его опыт позволил ему многократно помогать мне в моей «обороне» от Л.М. Щегловой.

А каким интересным собеседником и остроумным человеком он был! Сколько он знал стихов, часто сатирических – поэзия 30–40-х годов была для него как бы домашней книжной полкой – из нее на память он извлекал всегда что-то уместное в разговоре.

Я же была в отчаянии от полного неумения бороться. Отстаивать свою правоту я абсолютно не умела. Юлий Григорьевич «консультировал» меня о том, как противостоять всем несправедливостям, помогал мне писать всякие объяснительные и даже посоветовал мне самой обратиться с жалобой в местком. Эта жалоба моя не раз фигурировала в обстановке склок и выгодно свидетельствовала в мою пользу.

Мама моей милой Региночки – Эся Марковна Мнухина – врач. Она заведовала большим детским санаторием со школой вместе. Это был санаторий для ослабленных (а может быть, инфицированных туберкулезом) детей.

В школе при этом санатории работали два выпускника истфака — мои два бывших студента. От них я знала, какая истинно материнская заботливость по отношению к детям и к персоналу санатория характеризовала главврача этого санатория. Душой этой большой школы-санатория и была Эся Марковна.

Эся Марковна добилась основательного расширения санатория; на большом участке в лесопарке были отстроены новые корпуса; даже маршрут автобуса до этого санатория добилась Эся Марковна!

Поистине, кто не жил в то время и в тех условиях, тот и представить себе не может все вставшие на пути этой мужественной женщины препятствия. Она едва ли не единственная еврейка, которой было присвоено звание «Заслуженный врач УССР».

Мы часто виделись и говорили обо всем. Когда встал вопрос об отъезде из страны, Эся Марковна сказала: «Вот только когда я закончу все дела, и санаторий будет работать на новом месте, только тогда можно будет говорить об отъезде».

Все эти годы моя жизнь была заполнена до предела: но было также многое, без чего я бы вполне могла бы обойтись и жить легче, даже не говоря о моей незаменимой завкафедрой.

Например, ужас маминого существования в психбольнице! Больница 1860 г. постройки (выложено на доме кирпичами)!

Психбольница Харькова... Она было переполнена до того, что больных клали вдвоем на одну кровать...

В это едва можно поверить, но это было именно так. Моя мама, человек до мнительности чистоплотный, брала простыню и спала... под кроватью, чтобы не спать с другой больной (психически! больной) женщиной...

И вот однажды решили больницу разгрузить. Для начала вызвали моего сына Митю (он жил с женой, сыном и тещей, но мама была там прописана, т. к. в обмене использовалась и ее квартира, где жил и был прописан Митя и его семья).

Мите стали угрожать, что привезут маму на «скорой помощи» и высадят ее перед домом; пусть только Митя посмеет не взять ее к себе!

А мама временами бывала агрессивна: меня врач предупреждал, что она хотела увезти моих детей; меня она узнавала не всегда – иногда кричала, что я проститутка, и меня надо уничтожить.

У Мити же сын маленький и теща...

С нарочным милиционером вызвали с работы меня: не грозили мне судом, но стали объяснять, что больница переполнена, они вынуждены перевести маму куда-то очень далеко – на другую железнодорожную станцию, так далеко, что я бы не смогла никогда ее навестить.

Вот тогда я и попросила Эсю Марковну о помощи. И Эся Марковна помогла мне. Маму перевели в Липцы – туда из Харькова ходил автобус. И хотя это было и далеко, и трудно, но все же возможно ее навещать. Меня все уговаривали ее взять домой, но врач отделения рассказал мне, что у нее все время была мысль – «спасти» моих детей, увезти их от меня. Она вполне могла бы это осуществить, т. к. осталось в ней и ее обаяние, и уверенность в поведении и в манерах. Она очень убедительно действовала.

Так, однажды я ехала из больницы в трамвае, и в том же трамвае ехали медички-практикантки. Они проходили практику в том отделении, где лежала мама. Эти девушки (медички, заметьте!) говорили о том, что вот держат же в больнице вполне нормального человека: вот учительница французского языка, бедная! Ее дочь бессовестная, хочет лишить ее возможности видеться с внуками; эта женщина как-то поссорилась с дочерью, а дочь отправила ее в психушку. И держат ее тут абсолютно зря. И даже не дают письмо с жалобой на эти незаконные действия отправить. Вот такой разговор! А учительница-то французского языка там была одна-единственная – моя мама... И говорили они с ее слов – обо мне! Убедила она их...

Еще до ее постоянного пребывания в больнице сумела же, моя мама, несомненно психически больной человек, побывать на приеме у маршала Малиновского и говорить с ним...

Уверена, что далеко не каждому нормальному и здоровому человеку это удалось бы, даже если бы ему это было очень нужно...

Частью ее бреда было убеждение, что маршал Малиновский ее

любит, следит за ее жизнью и непременно ей поможет, если узнает, что с ней.

Я бы не поверила, но на мой адрес (она почему-то дала мой Харьковский адрес в канцелярии Малиновского) пришла официальная бумага о том, что она в беседе с маршалом (указано месяц, число – официальная бумага) просила о медали за оборону Ленинграда, и что ей эта медаль будет дана через горисполком Харькова.

Но она оказалась в больнице и медали уже не получила. Но на прием-то к Малиновскому она пробилась...

Нет, на то, чтобы взять ее домой я не могла согласиться: ее активность, ее кажущаяся разумность и ее непрестанная убежденность, что моих детей надо от меня увезти... – это слишком опасное сочетание; к тому же и меня она узнавала далеко не всегда, и уже попыталась один раз меня задушить.

Ее при просьбе и помощи Эси Марковны удалось поместить в дом инвалидов-психохроников в Липцах. Об этом доме, где прожила она несколько лет и умерла, я еще напишу.

С тех пор прошли годы, уже десятки лет. Моя милая ученица и замуж вышла, и у нее уже взрослые дети, и даже внук. И здесь, в Израиле, дружим мы по-прежнему, радуемся успехам детей, горюем о смерти Юлия Григорьевича, доживаем наши дни, не потеряв нашей дружбы.

Моя жизнь была так переполнена, что дрязги со Щегловой хоть и занимали отвратительно много места, но все же было и другое: работа и прежде всего, семейно-дружеский круг...

Жизнь, однако, не останавливается; она неудержимо движется независимо от наших желаний... Да и необходимое в быту не отступало, не оставляло меня.

Дни мои кружились, как в карусели, и часто было мне очень горестно и трудно. Все труднее стало просто кормить семью, совершенно элементарно – просто кормить.

Исчезли из магазинов многие продукты: ни масла, ни мяса, ни сыра, ни круп, ни макарон купить было нельзя. Мой сын Петя как-то

грустно сострил: «Это раньше были сыры; потом остался один сыр, очень похожий на мыло; а теперь и его нет». В магазинах был, правда, сахар. Остальные продукты, если и «выбрасывали» (это значило – пустили в продажу!), то их качество катастрофически упало: колбаса под названием «свинварен» часто была несъедобна. Если где-то что-то «выбрасывали» – в этот магазин становилась очередь. Все быстро раскупалось.

Нам повезло – у нас был свой полуподвал, с полками, замками и даже решеткой на окне. Это спасало нас (когда стало трудно с едой, подвалы вскрывали и обкрадывали).

Картошку покупали и засыпали на всю зиму, до появления новой. Кое-какие овощи хранили там же, в ящиках с песком; полки были заставлены домашними консервами в 3-литровых банках. Когда-то я их пробовала считать, но сбилась где-то на 5-м десятке. Консервами занимались дочь Катя и Петя. По ночам.

Поскольку был сахар, а фрукты и ягоды не были очень дороги – варили варенье. Это была моя обязанность – тоже много разных банок.

Странно длинна жизнь человеческая... и одновременно очень стремительна, и даже как бы коротка... прошли годы, и моя собственная «стеклянная банка» начала таять; как бы растворяться в воздухе, и, наконец, растаяла, а голос, который разговаривал со мной, которому я отвечала, вдруг переселился в меня...

Для краткости всю совокупность нашей психической жизни мы называем душой. И стала она, моя душа, каким-то «сиамским близнецом». Не ушла в прошлое, даже не стала воспоминанием вся эта часть моей жизни...

Нет. Просто внутри меня в этой моей душе стало обо всем два мнения (мое собственное, и то, которое было как бы его мнение), две точки зрения на людей и события, даже два разных вкуса... Как бы два сросшихся существа, две души. Они возникали одновременно, вместе, но были отграничены...

Это касалось и житейских пустяков, и крупных, принципиальных вопросов.

Пустяковые привычки – он всегда развязывал все веревочки от посылок и свертков, а я – резала ножницами; он разворачивал бумагу пакета, а я рвала. Но теперь, разрывая бумагу, я одновременно ее как бы вместо него и вместе с ним и разворачивала, мысленно. При этом я понимала, что этот он внутри моего воображения такой, каким он примерно был в долгие годы нашей общей жизни; что остался он в моих мыслях, как бы «засоленный» моим горем и слезами, но что он теперь уже совсем другой. Что он теперь другой – это неважно, важно лишь, что он, тот прежний, остался и живет во мне. Как на фотографии – никто не меняется – не менялся он в моей душе.

Я понимала, конечно, что он давно изменился, что он всегда (и сейчас) меняется, что уже так давно он не со мной. Но, понимая это, я все равно была и оставалась «сиамским близнецом» – связана с ним неразрывно и навсегда.

Его день рождения – 13 апреля. И в 2005 году в ту дату я сказала дочери: «Ведь это день его рождения». Она взглянула на меня и сказала: «Ты уже давно не его жена. Со своей женой он прожил уже намного больше, чем с тобой...» Мне стало так больно!

Тот – прежний навсегда остался и остается (вопреки математике!) одновременно и параллельно и вместе с тем – слитно – со мной – в моей душе.

Не проходит жизнь человеческая без любви, самой разной и разной всегда.

С ухода Толи прошло уже 7 лет...

Как это у Маяковского: «Сквозь жизнь я тащу миллионы огромных чистых Любостей. Миллион миллионов маленьких грязных любят».

Ну, в моей-то жизни – единица была одна; даже и не единица, а нечто, никакому исчислению не поддающееся, во всяком случае, в моей «внутренней бухгалтерии».

Но и «миллиона миллионов» тоже не было в моей жизни; не было и «маленького» и «грязного», но, наверное, как у всякой женщины, не полностью лишенной привлекательности, бывало нечто... Не грязное,

нет, а что-то, после чего оставалось чувство, что произошло что-то неправильное, ненужное, нелепое, и уж скорее бы прошло...

Как бы обувь надел с правой ноги на левую и зачем-то должен так странно ходить. Скорей бы уж кончилось это все...

И бывало так в период горького моего существования в «запад-не» – тяжкой неудачной моей жизни с Виктором; может быть, это были попытки вырваться из той ловушки?

Потом был период счастья, потом – период моего «пребывания» в «стеклянной банке», но и это перешло в другое качество.

Силы уходили на быт, на отчаяние из-за мамы... Лидия – подумать лишь: 12 лет! – это же, как ни рассказывай, все равно не расскажешь...

Мне исполнилось 49 лет. Прошло уже 7 долгих лет с ухода Анатолия Дмитриевича, и дома возникали радостные вспышки света: моя внучка Катюша, дружба с молодежью, в первую очередь, с Петей и зятем Борей, с семьей Мити, его сыном и женой Наташей; мои бывшие студенты, теперь ставшие настоящими друзьями.

В день своего рождения открыла я почтовый ящик, и выпало письмо – поздравление от Кости Попова. Он жил со своей мамой в пяти минутах ходьбы от нас, но тогда он был в отъезде. В конверте были стихи. Вот они:

Я мог бы говорить и долго, и роскошно,
И тонкий смысл придать своим словам,
Но было б это все так мелко, так ничтожно
О женщине, причисленной к богам.
Из слов я мог бы наплести Вам ворох кружев...
А я томим желанием простым:
Пошли мне, добрый Бог, чтоб я был также нужен
Как Вы мне столько лет нужны...

А после занятий пошли мы с Дмитрием Львовичем Клебановым пешком – очень был красивый осенний день... Я ему сказала, что сегодня день моего рождения, и я получила в подарок стихи. И прочитала их.

Дмитрий Львович поздравил, поцеловал мне руку и сказал: «Этот человек очень любит Вас!»

Ну, что же... Насчет «столько лет» – это была правда. И он уже не был «желторотый птенчик», ему было 32 года; хоть он и вырос в моем доме, хоть он и был Катюшкиным «знакомым братом», стал он «моим мужем перед богом и людьми». Так он чувствовал, так говорил и так поступал... Знал ли он о том, что я – «сиамский близнец»? Знал; но он принимал меня такой, какой я была; он давно почувствовал свою ответственность за меня и мою судьбу и нёс эту ответственность и «до», и «после» перемены в наших отношениях.

Трудно загнать в какие-то формулировки эти человеческие отношения и связи – они всегда разные.

Скажем жизни «спасибо»... Обойдемся без оценок. Что было, то было. Почему-то в моей жизни было больше хорошего...

Много лет чувствовала я себя окруженной своими – детьми, семьей и друзьями, учениками и поддерживающими меня сотрудниками нашего института.

Нет, я не была одна! Хоть и поплакала я, и перетрусила изрядно, и все время боялась, что лишусь работы и заработка (достаточно высокого!), и много было слез пролито мною, но одна я не была. Всего 12 лет со Щегловой, из которых 10 – открытая травля. Даже удивительно, что я удержалась. Это не сила моего характера – это сила ощущаемой мною поддержки.

А сколько вечеров, почти ночей, Петя и Костя без конца помогали мне подсчитывать нагрузку (!), писать объяснительные на докладные Щегловой; сколько копий с разных бумаг снял Костя на заводе – и все это срочно, и все – совершенно бессмысленно! Но без этого я бы, наверное, не удержалась все это время на работе.

За 10 лет не было ни одного заседания кафедры, на котором не разбиралось бы какое-нибудь обвинение против меня. Некоторые из них свидетельствовали просто о ее безграмотности; другие сопровождались бесконечными докладными (на каждую докладную я обязана была написать объяснительную записку, притом безотлагательно); все

эти бумаги рассматривались во всех «комах», при участии всех, кого только можно было привлечь из начальства; вся эта кутерьма раздражала всех – и в какой-то момент уже никому не хотелось выяснять – я ли «шубу ukrала», у меня ли «ukрали» – хотелось только, чтобы не дергали их по поводу и без повода в связи с моей фамилией.

Сама Щеглова победоносно-радостно считала количества поданных на меня (или, надо сказать здесь, «против» меня) докладных – 29 за 10 лет; 26 комиссий из нашего института, последняя, 27-я, из ЦК Партии из Москвы, занимались разбирательством этих дразг.

Приведу несколько анекдотических примеров из жизни нашей кафедры. Ах, сколько слез стоили мне эти анекдоты!

На одном из заседаний завкафедрой говорит:

– Попрошу тов. Мышкис объяснить, почему у нее все переводы божественны? А секретаря прошу отразить объяснение тов. Мышкис в протоколе.

Я немного опешила и спрашиваю:

– В каком смысле, что это значит, что Вы имеете в виду?

– Ну, божественные – это все про Бога, все про Бога.

– Лидия Михайловна, мои переводы были бы божественны, если бы были, скажем, не хуже переводов из Гейне у Лермонтова. Но мои переводы – это просто перевод тех религиозных текстов, которые исполняет наш хор. Чтобы исполнять хор с текстом, люди должны текст, который они поют, понимать; для этого я их перевожу.

Одна из моих работ для чтения студентам была составлена из немецких рецензий на русский балет. Эта работа называлась «Полет русской Терпсихоры».

Опять на заседании кафедры:

– Объяснитесь, тов. Мышкис: опять у Вас в работе, как всегда, какие-то странности, нечто студентам непонятное и совершенно ненужное. Это что такое – пси, три, при, пси? Это что?!

– Это не «что» – это муза танца у древних, ее имя Терпсихора. И это строчка из Пушкина – из «Евгения Онегина»...

– Ну, так бы и сказали, что это из Пушкина!

Эта женщина всячески третировала студентов с так называемыми «космополитическими фамилиями», и при том обвиняла меня в том, что я не ставлю положительные оценки... «по националистическим соображениям», т. к. я скрытая еврейка, но фальсифицировала свои документы. Каждое свое обвинение она писала в какие-нибудь инстанции; за этим следовали проверки в отделе кадров и еще где-то... Потом она обвиняла меня в том, что у меня подложные документы, и что ни один нормальный человек не может окончить заочное отделение Иностранного института за полтора года. Потом – в том, что я была в оккупации и сотрудничала с немцами, потому и владею немецким языком. Проверялись документы в университете, во всех возможных инстанциях; иногда меня вызывали и спрашивали, иногда нет. Потом она писала какие-то доносы, что студенты бывают у меня дома по праздникам, что следует проверить, о чем мы ведем у меня дома разговоры; распускались грязные инсинуации о моих отношениях с теми студентами, с которыми я хожу в походы.

«Чем они там у Мышкис занимаются, о чем говорят, это проверить надо! Почему это все – опять Мышкис?»

Да и правда, о чем говорили и чем занимались? Ну, ведь музыканты все: пели песни тех лет и народные хором, русские и украинские по отдельности (например, мой зять Боря), играли на рояле и на гитаре, на баяне – Саша Безвесильный. Очень любили все музыкальные пародии – на них (и не только на них) был прекрасным исполнителем Саша Скляр.

Танцевали, импровизировали лирико-драматические сценки под музыку (Сергея Гордеев и я). Да и говорили, не таясь! Вполне антиправительственных разговоров не было, но экономика и состояние сельского хозяйства были столь плачевны, что это не могло не обсуждаться. Как-то вот приходили к выводу: наш государственный эксперимент явно неудачен; изменения какие-то необходимы, но какие? Все-таки знаний у всех в решении этих проблем не было.

Да и как это написать – ведь речь идет о таком большом отрезке времени – от 1970 до 1979 г.; и потом – когда не стало в моей жизни

Щегловой – все равно друзья приходили и говорили мы обо всем, что происходило. Что делалось в стране – о том и говорили. О высылках, о репрессиях, об Афганской войне. Хорошо, что не было у нас подслушивающих устройств!

Еще в Хрущевскую оттепель был опубликован «День Ивана Денисовича»; немного позже «Матренин двор» и «На станции» А. Солженицына. Конечно, мои музыканты были в экономике не сведущи, но читать-то – читали. И обсуждали, естественно, может быть, не сразу, с некоторым запаздыванием, когда узнавали, но обсуждали, конечно.

В Ленинграде прошел процесс, где судили Бродского «за тунеядство». Через всесильный «самиздат» попала в наш дом стенограмма этого суда, сделанная писательницей Фридой Вигдаровой.

Уже после трех «разносов», которым подверг Хрущев и художников, и литераторов, опять стало страшновато жить, особенно интеллигенции. По тому анекдоту: «Хрущев: «Мальчик, скажи своему папе: сажают не только кукурузу!». Нет, все же это не был Сталинский террор – но тоже было страшновато. Требовалось молчание.

А у меня в доме обсуждались вполне серьезные вещи, о которых говорить очень даже не разрешалось.

И самиздат почитывали, и «голоса» послушивали. Старший сын даже записывал «Архипелаг Гулаг», который читали по «Свободной Европе» уже после высылки Солженицына в 1974 г. Обсуждались высылки из страны В. Некрасова, ведь все читали его «В окопах Сталинграда», и дело Синявского.

Хотела ли Щеглова спровоцировать какую-то предосудительную беседу на кафедре, но я отлично помню, как она, сияя, с газетой в руках возглашала: «Лишили его гражданства! И за дело! Я и раньше говорила, что нечего нашим студентам с ним встречаться (и ведь действительно говорила, когда он приехал в Харьков) и их с моих занятий снимать!» – это она (!) говорила о Ростроповиче! И где? В среде музыкантов... Кафедра безмолвствовала.

А Щеглова все не уставала писать на меня клеюзы во все возможные инстанции.

Все «писания» Лидии Михайловны разбирались на заседаниях всевозможных комиссий и разных организаций – и среди них очень много парткомовских, месткомовских, но участвовали сотрудники и других институтов, и нашего собственного. И все эти комиссии занимались всякими дрызгами. В первую очередь, огонь Лидии Михайловны был направлен против меня. И, надо сказать, что Георгий Борисович Аверьянов прекрасно знал всему цену. Так, Якустиди – преподаватель с кафедры инструментов, который от месткома занимался в одной из комиссий, сказал, что Щеглова обвиняет Мышкис в том, что Мышкис себя противопоставляет коллективу и говорит, что она больше всех работает. Аверьянов пожал плечами и сказал: «Так это же чистая правда! Достаточно посмотреть на расписание». Это была действительно чистая правда. Я работала так много и потому, что мне было интересно, но и потому, что Лидия Михайловна всегда заботилась о том, чтобы мое расписание мне не давало бы никакой возможности научной работы.

Чтобы закончить свою книжку для 4-х курсов музыкальных вузов и для аспирантских групп, над которой мы уже начали работать с Александрой Андреевной Пономаревой, я ездила в Ростов-на-Дону, «собирая» за 2 месяца дни, полагавшиеся мне за сдачу крови (я была донором) – собирала 2 + 2 + 1 свободный день и ездила на эти дни в Ростов-на-Дону. Аверьянову писала заявление, что уезжаю за город отдохнуть после сдачи крови. Так что книжки мои были в буквальном смысле слова написаны моей кровью.

Особенно характерная для того времени и для характеристики Лидии Михайловны история произошла с моим лыжным походом по Карелии во время одних студенческих зимних каникул.

В нашем институте особенно важно было обеспечить спортивные занятия теми видами спорта, которые рекомендованы музыкантам, поскольку другие виды спорта просто запрещены.

Зимние лыжные походы – прекрасный вид спортивного отдыха и воспитания студентов. Но на кафедре физкультуры не хватало своих сотрудников, особенно в дни зимних каникул, чтобы повести

студентов в какие-то физкультурные походы, обычно использовали также и меня. И вот, заведующая кафедрой физкультуры, Грабковская, написала заявление и пошла к ректору. Объяснила ему всю ситуацию: в этом заявлении она просит преподавателя Мышкис с кафедры иностранных языков направить для проведения лыжного похода по Карелии, такие-то и такие-то числа, зимние студенческие каникулы. Ректор написал: «Разрешаю». Грабковская принесла мне эту бумагу, отдала:

– Ну вот, собирайтесь, формируйте группу – группа лыжная, квалификация по лыжным походам.

– Хорошо.

Поход был чрезвычайно интересный. Всем студентам очень понравился.

Надо сказать, что прошли мы около 400 км по горам и лесам Карелии. Было и очень трудно, и очень красиво... Здорово было... Группа сдружилась; в группу вошло 15 человек. Трое из них из-за слабой лыжной подготовки остались на базе около Петрозаводска, а остальные прошли весь поход без всяких ЧП. Особенно трудно пришлось в три-четыре дня оттепели – как хватило сил!

Но самое страшное, чего я боялась – отморожения.

В группе была только что окончившая тогда институт (потом преподавательница), Елена Григорьевна Пинчук. Энергичная, прекрасный организатор, неунывающая ни в каких трудностях – она была моей первой помощницей в этом походе. Подумали мы с ней ночью и в первый же день поехали в универмаг в Петрозаводске и купили для всей группы шерстяные грубошерстные носки; проверили у всех варежки, лыжные костюмы и свитера и тоже что-то докупили. В походе каждый вечер (мы ночевали в заброшенных избах-зимовках) мы проверяли ноги; смотрели горло; перед выходом я учила ребят правильно обуваться. На обратной дороге мы заехали в Ленинград (я договорилась остановиться в общежитии консерватории) и три дня ходили по городу и по музеям.

Такой был удачный во всех смыслах поход!

Да, вот здорово было... А когда приехали домой, вскоре на меня была подана очередная бумага с требованием завкафедрой уволить меня за 3-недельный прогул, вычесть зарплату и не выплачивать мне при увольнении денег за отпуск, т. к. я не выполняла за это время никаких заданий кафедры; что я подлежу увольнению, как злостная прогульщица.

Вот такой сюрприз!

А произошло следующее: заявление завкафедрой физкультуры с резолюцией ректора было отдано мне. Я его «довела до сведения» Щегловой и уехала спокойно.

Но, приехав, дома как-то его не нашла, о чем и сказала случайно в присутствии нашей лаборантки; об этом стало известно Щегловой. Тогда Щеглова пошла на прием к ректору и спросила его:

- Вы отпускали Мышкис на каникулы?
- Мышкис? Я не помню, она у меня не была.

А ведь я, действительно, у него не была – у него была заведующая кафедрой физкультуры.

Всю ночь моя семья искала эту бумагу (она оказалась как-то между немецкими газетами). Мы нашли эту бумажку, Костя снял с нее ксерокопию. И я представила эти копии везде, куда были посланы на меня очередные бумаги.

Однажды была подписана докладная о том, что я «систематически опаздываю на работу»; были указаны даты, группы и количество минут. (Она стояла в корпусе с часами и подсчитывала. Почему? Тем более, занятия после второй пары, по средам?) Оказалось следующее.

Я была назначена от партбюро проводить политчасы у оркестрового факультета. Они проводились строго по расписанию, по средам, и заканчивались по звонку. Раньше звонка их окончить было нельзя – отпустить весь факультет – был бы шум!

Я должна была провести беседу, узнать, как студенты читают газеты, как понимают международные события и т. д. Такие занятия проводились одновременно на всех факультетах.

Это довольно ответственная и не вполне безопасная вещь. Прихо-

дилось и самой готовиться, и материал подбирать, и продумать хорошо, что и как сказать.

Милые мои чистосердечные студенты открывали рот и пытались спрашивать меня о том, что говорили «вражеские голоса», которые нам было запрещено слушать. И вот тут я с железным выражением лица и железным голосом говорила: «Дорогие, мы знаем только то, что передается по советским радиостанциям. Никто из наших студентов не слушает «вражеские голоса». Ну, значит, таким образом все вопросы на эту тему снимались.

Но от руководителей требовалось сразу же после звонка принести журнал в партбюро. Журнал должен быть отмечен – кто был, кто не был и о чем была тема разговора.

Я была не одна в это время – приходили же и другие преподаватели, чтобы отдать свои журналы в партбюро; я не могла «проникнуть» в партбюро первая. Там же начинали спрашивать преподавателей. А это тоже время! «Ну как? О чем спрашивали Вас наши студенты? А какие у вас были животрепещущие темы?» На что я, тоже с деревянным лицом и железным голосом говорила: «Мы обсуждали передачу советского радио». И поэтому меня быстро перестали спрашивать. Я же была уже научена горьким опытом. В Риге меня пытались «привлечь» – сделать доносчиком на соседей и друзей. Именно благодаря «деревянному лицу», на котором я изображала непроходимую глупость, меня перестали вызывать и выспрашивать. Впрочем, я довольно легко отделалась – меня вызвали всего 2 раза.

Но проникнуть в партбюро «без очереди» я не могла – вынуждена была немного задержаться в партбюро после политчаса. Вот эти-то опоздания и были подсчитаны и включены в очередную докладную Щегловой.

Я проработала в институте искусств 31 год и за это время болела, кажется, три раза и каждый раз лежала в больнице.

Лидия Михайловна приезжала и в больницу, и в поликлинику, подняла там жуткий скандал, что мне все мои болезни даются по блату. После этого врачи сказали, что за все время, что они тут работают, это

был первый такой человек, который приехал и поднял такую грязь и такое безобразие. Мы ведь жили в небольшом поселке, где была небольшая же больница, и все врачи знали и меня, и всю мою семью.

Когда я подписывала у главврача свой больничный лист, смеясь, спросила: «В чем дело? Почему мне делали рентген черепа? У меня что – рак обнаружили?» (я жаловалась на сильные головные боли). А главврач засмеялся и говорит: «Не у Вас рак обнаружился в голове, а у Вас на работе раковая опухоль – Вы что, не знаете?»

Я уже рассказала о том «кружке переводов», в котором мои студенты переводили тексты тех музыкальных произведений, о которых они писали курсовые и дипломные работы. За многие годы таких работ накопился целый шкаф, студенты писали перевод для нашей кафедры и использовали его для своих курсовых и дипломных.

В институте шел ремонт, наша кафедра со всеми своими бумагами перешла в другое помещение – а шкаф с переводами – исчез! Т. е. шкаф нашли пустым внизу, в раздевалке.

Тут же поступила очень длинная докладная (во все возможные инстанции!) – что переводов этих вообще не было и нет, что я все это придумала, чтобы «приписать себе часы». Где переводы? Где? В месткоме, однако, обратили внимание на то, что этот вид работы ни в какой сетке часов не предусмотрен и в нагрузку не входит; что Е.Д. Мышкис делала эту работу в свое свободное время. Но тогда стало повсюду фигурировать: «Это обман кафедры, обман руководства; каков же моральный уровень этого человека?»

Тогда от кафедр истории и теории музыки к нам на кафедру была «командирована» Ирма Львовна Золотовицкая; на тех кафедрах были подняты курсовые и дипломные с приложенными к ним переводами. Было доказано, что без этих переводов курсовые и дипломные на означенные темы вообще не могли бы быть написаны.

После этого заседания кафедры Ирма Львовна Золотовицкая была просто в ужасе. Мне она сказала, что это «просто фашистская прислужница, Ваша Щеглова». У себя же на кафедре, отчитываясь об этом посещении, она сказала, что она думала, что я человек экспан-

сивный, и что я что-то преувеличиваю, когда делюсь впечатлениями о собственной жизни на кафедре. Но когда она побывала сама, то увидела, что здесь преувеличить нельзя; что любой рассказ может только преуменьшить то ужасное впечатление, которое вынесла она от непосредственного посещения нашего коллектива.

Сейчас все это представляется таким диким, таким глупым. Но, Боже мой, как болезненно, как горько все это было тогда... Когда я ежемесячно рисковала остаться без работы, с плохой характеристикой и, как сказал мой сосед – ректор Авиационного института: «Знаешь, Катя, с такой характеристикой, которую она тебе даст, тебя даже в тюрьму работать не пустят». Да, действительно, тут было использовано все, что только можно. Но я рассказывала и о том, как, в общем-то, защищал меня Аверьянов. Хотя, в общем, защищал как-то так, чтобы это было никому неизвестно. Но защищал! Все-таки именно благодаря ему в ряде случаев меня оставляли в покое.

Впрочем, и он тоже побаивался. Она была рекомендована партийными органами города, сама имела отличные анкетные данные, была членом партии; стоит ли в этих записках писать об этом?

Я решила, что и это тоже может представлять определенный исторический интерес.

Ведь именно то, что Щеглова пользовалась поддержкой «там» (указывалось в потолок), позволяло ей отравлять жизнь нормально работающим людям и приносить вред там, где подразумевалось, что она приносит пользу.

Аверьянов – неглупый человек. Он все знал и понимал, но не хотел неприятностей от этой бешеной, злобной и очень активной бабы.

А моя жизнь все это время! Сколько ночей вся семья искала какие-то бумажки, что-то считала, сколько нервов, времени, сил было потрачено на сочинение всех этих «писаний»: объяснительных записок, пояснений, объяснений... Ужас! Я ненавидела ее до такой степени, что, как я читала в каких-то романах, в некоторых случаях, когда человек очень любит, и он не видит, кто входит в комнату, но чувствует, что это входит предмет его любви. Вот точно так на любом собрании, куда

Лидия Михайловна почему-то всегда считала себя обязанной опаздывать, когда открывалась дверь, и я спиной чувствовала – не знаю, как – я чувствовала, что это она. Я менялась в лице и вся бледнела – до такой степени я ее ненавидела... Часто рядом сидящая (обычно Алла Писарева или Оля Гусарова) спрашивали: «Что с Вами?»

А Лидия Михайловна меж тем все расширяла диапазон своих действий.

Теперь она стала выступать на профсоюзных и открытых партийных собраниях. Я почти всегда посещала такие собрания – ведь надо было быть в курсе всех дел, чтобы не случилось что-то абсолютно неожиданное. Но однажды я не пошла; я чувствовала себя достаточно скверно и вскоре была вынуждена обратиться к врачу.

На следующий день встречаю в коридоре нашу преподавательницу с кафедры фортепиано, Ирину Карминскую. Она меня остановила и говорит: «Как жаль, что Вас вчера не было на собрании. Вы знаете, я не сентиментальный человек, но я со слезами на глазах слушала выступление одной студентки с факультета теории и истории музыки. Она сказала: «Я молодой член партии, но мне стыдно за тех, кто слушает эту недостойную клевету Лидии Михайловны Щегловой, клевету на нашу прекрасную преподавательницу и любимого педагога Е.Д. Мышкис». И она говорила о том, какие интересные у Вас занятия, как много Вы дали своим студентам. Я всего не помню, но, честное слово, у меня сердце забилося: наконец-то положили конец этой гнусной истории».

Я очень растерялась от неожиданности. Потом мне многие говорили об этом выступлении Люси Шаповаловой.

Какие-то студенты написали групповое (!) заявление в партбюро: у нас никакие групповые заявления не разрешались и не допускались. Теперь Лидия Михайловна обвиняла меня в том, что я занимаюсь подстрекательством студентов против администрации.

До порога психического срыва она меня довела. Я боялась заснуть: во сне я или спасалась от бомбежек и обстрелов и тащила на себе из-под взрывов мужа или детей; или, что еще страшнее, я истя-

зала Лидию Михайловну; я получала наслаждение во сне, избивая ее палкой, или видя, как ее истязает кто-то другой. Стоило мне чуть-чуть задремать, как я опять видела, как ее избивают, как она кричит и извивается... – я просыпалась не столько в страхе, но даже с какой-то злобной радостью.

Это было ужасно. Я не злой человек, но я стала считать себя вполне спятившей злобной гадиной – такой же, как и она.

В этом кошмаре снов и еще большего кошмара бодрствования, в страхе потерять работу, быть вызванной на партсобрание, отвечать за это заявление студентов (в котором я абсолютно не была повинна), при нагрузке, которая не давала никакой возможности заниматься, прошел еще один учебный год. Летом меня все тот же Костя повез в специальный нервный санаторий в Кисловодск. Сумел купить там курсовку, устроил все для моего лечения. Да, там меня подлечили – ванны, массажи, внушение, уколы, медикаменты – прошел этот кошмар.

Следующий учебный год как-то начался спокойнее; но вскоре я должна была проходить конкурс; на кафедре были собраны все документы, описывающие мою жуткую аморальную, антиобщественную и еще какую-то деятельность, была написана чудовищная многостраничная характеристика, негодная даже для тюрьмы; Лидия Михайловна все подготовила, чтобы меня на этом конкурсе провалить. А я была больна, и как раз за три дня до начала конкурса я вышла на работу: спешила выйти, просто не знала, что если я больна, конкурс механически переносится на другое время.

И вот, в коридоре меня встретила жена ректора Аверьянова, Зинаида Борисовна Юферова, как-то так оттеснила меня в уголок и, глядя на меня очень пристально, сказала:

– Вы так плохо выглядите! Екатерина Дмитриевна, что с Вами? Вы так плохо выглядите!

– Ну да, может быть, – похлопала я глазами, – я болела долго.

– Нет, но Вы действительно ужасно выглядите! – после того она мне стала подмигивать. Я уже совсем перестала понимать, что она от меня хочет. И тогда ей пришлось сказать открытым текстом.

– Послушайте меня, у Вас через три дня конкурс. Так вот, идите домой, ложитесь в кровать, скажите, что у Вас рецидив Вашего заболевания, что Вы чувствуете себя очень плохо, и что Вы не можете пойти на работу в ближайшую неделю. Вы меня поняли?

– Да, теперь я поняла.

Я действительно так и сделала. Как я понимаю, по совету Аверьянова. Мой конкурс был перенесен на следующий учебный год. И таким образом оказалось, что конкурс Щегловой должен был быть проведен раньше, чем мой, то есть в самом начале – в сентябре месяце.

И вот тут случилась удивительная вещь. Заведующая кафедрой, которая проработала у нас более 10 лет, член партии, фронтовичка, была на конкурсе провалена единогласно! Это, кажется, единственный случай в Харькове.

Секретарь партбюро, Игорь Павлович Шитов, на моем конкурсе выступил и сказал: «Незадолго до конкурса Мышкис ко мне стали приходить самые разные люди: и преподаватели и студенты. Все они давали самые лучшие отзывы о Мышкис и говорили, что недопустимо потерять такого работника; что она делает так много и так интересно работает со студентами, что у нее столько полезных начинаний!»

Ну, что же, все прекрасно, и справедливость торжествует? Но не совсем так.

Уезжая (почему – скажу ниже), я зашла проститься с Люсей Шаповаловой – уже годы прошли с того собрания, когда она так горячо защищала меня. Теперь, кажется, она была деканом своего факультета. Я благодарила ее, а она погрустнела и говорит: «Дорого мне обошлось мое выступление. Мне собирались дать Ленинскую стипендию (она была большая!); у меня был маленький ребенок, мы с мужем были студентами. Но меня вызвали на партбюро, даже дали выговор (если я правильно поняла), конечно, о стипендии вообще не могло быть и речи, а сколько я выслушала, что не имела я права на несанкционированное выступление!» Даже при одном воспоминании обо всем этом чувствовалось в той женщине, как ей тогда «разъяснили» все о партийной дисциплине!

Кроме чистосердечной благодарности ей, испытала я к ней и острую жалость, и возмущение тем, как скрутили эту честную, открытую девочку в угоду тем, кто совсем иначе понимал свободу критики и общественную пользу, чем она.

И чтобы более никогда – даже в мыслях и в воспоминаниях – не возвращаться к этим годам моей жизни, расскажу и о последней комиссии, рассматривающей наши дела.

Щеглова добилась того, что из Москвы, кажется даже, из ЦК приехала специальная комиссия по ее жалобе; было три человека, а во главе этой комиссии стоял завкафедрой химии из какого-то Московского химического института, крупного Московского вуза.

Комиссия эта ознакомилась со всеми бумагами; ее представители беседовали и с администрацией, и со студентами, и с преподавателями разных кафедр, и с нами. После всех бесед и встреч председатель комиссии довольно долго говорил и со мной и, наконец, спросил меня:

– У меня к Вам есть один вопрос. Почему Вы не подавали в суд на эту женщину за клевету?

Я подумала и сказала ему следующее:

– Знаете, во-первых, я очень люблю свою работу и свой институт, и мне не хотелось тратить время на то, чтобы ходить и таскать всю эту грязь по судам; во-вторых, очень многие люди, которые прекрасно относились ко мне, считали бы себя обязанными приходить в суд, выступать – это отнимало бы у них время. А кто-нибудь, даже и хорошо относясь ко мне, не захотел бы идти в эти суды. Вот поэтому, – говорю, – чтобы не отвлекать себя, не тратить на это время, не отвлекать других людей, я и не подавала в суд.

Он так улыбнулся, посмотрел на меня и говорит:

– Ну, что ж, Вы, наверное, правы.

Странно – я так «вижу» всех этих людей, как они разговаривали, как ходили, как одевались – помню с детства и до последних дней; и председателя этой комиссии вижу и помню, и лицо его.

Одну Щеглову не помню абсолютно, ни лица ее не вижу, ни походки. Совсем ничего. Однажды какая-то женщина, войдя в полупустой

троллейбус и увидев меня, тут же вышла из него... а я даже не узнала ее и только потом, по дороге, подумала: «Может быть, это была Щеглова?»

На заведование к нам пришел другой человек. С ним я проработала до своего отъезда – это было ... это была счастливая работа. Так иногда тоже бывает в жизни.

Звали его Юрий Маркович Ткаченко.

Так мне хотелось навсегда забыть о Щегловой и о том, какие гадости были связаны с ее «руководством» нашей кафедрой! Поэтому я и поспешила сказать хоть пару слов о Юрии Марковиче. Но это все же еще рановато. Ведь и 10 лет (если не больше) со Щегловой далеко не из одной Щегловой состояли. Работа все равно была; была всегда интересна, а иногда – просто увлекательна.

Так, кроме преподавания немецкого языка (и это была очень серьезная работа), была еще одна область моей деятельности, ставшая для меня очень важной. О ней – дальше.

Именно с приходом к нам Юрия Марковича стала я оглядываться на свое сравнительно недавнее прошлое: стало мне опять казаться, что все, что произошло со мной, было как бы с кем-то другим, а я лишь наблюдала все это со стороны; вот Щеглову я даже и не помню, всех вижу «в своем кинофильме», а ее – нет, не вижу... И это так хорошо!

А вот душа моя так и осталась, и останется уже до конца «сиамским близнецом»... и, может быть, это тоже хорошо... То, главное, что было в моей жизни, осталось со мной... и «банки» уже нет... И началась для меня как бы опять другая, новая, следующая жизнь.

Жизнь Пятая

Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!
Н. Заболоцкий

В это новое время моей жизни я вкладывала душу и силы не только в преподавание немецкого языка – этому делу по-прежнему отдавала я много сил, не меньше чем раньше. Вместе с тем как-то получилось, что одновременно с немецким я все чаще говорила со студентами о религии (ведь очень много музыки духовной) и о тех отражениях религии в изобразительном искусстве, которые стали мировыми шедеврами.

Собственно, с того семинара преподавателей, который я провела, началась моя деятельность в институте, так сказать, напрямую с преподаванием немецкого языка не связанная. Еще в Минске я стала приносить и к девочкам в общежития, и на лекции альбомы, книги с иллюстрациями, рассказывать о картинах и художниках.

Теперь, после того политчаса для преподавателей (слухом-то земля полнится), пошли ко мне студенты – поодиночке, парами, группами – с вопросами о картинах, связанных сюжетом с музыкой, которой они занимались и, очень часто, с музыкой духовной и с картинами на религиозные сюжеты.

Еще работая на истфаке в Харьковском университете, в последние

три года работы я стала практиковать на лекциях показ иллюстраций. В моей собственной библиотеке было много альбомов и по древней, и по средней истории, и по истории первобытного общества, и по этнографии.

В кафедральной кладовке я обнаружила некое сооружение, вроде небольшой кафедры; этот столик подключался к штепселю, туда можно было вложить любую иллюстрацию, книгу, таблицу; это проектировалось в цвете на белую поверхность. Студенты помогли втащить этот агрегат в наш класс, девочки вытерли с него пуды пыли и мы, повесив на доску простыню, получили возможность видеть много интересных материалов. Я была первой, кто использовал это «машину» на лекциях.

Ведь в каждой теме был раздел об искусстве – о литературе, о живописи, об архитектуре. И я всегда эти разделы сопровождала показом репродукций. И таким образом эти лекции действительно проходили у меня очень интересно и живо.

И тут, в Институте искусств, преподаватели тоже были обязаны «посещать» общежитие. Проверять, нет ли пыли на шкафах, проводить беседы (когда студенты приходили усталые после занятий и работы), проверять, где у них грязное белье лежит.. И тогда я решила: лучше я буду рассказывать им об изобразительном искусстве.

Но возникли трудности: первая – такого «агрегата» у нас в общежитии не было, а кроме того он ужасно сжигал иллюстрации – я вытаскивала бумагу, буквально дымившуюся. Значит, нужны были слайды. Самое простое было покупать их в советских магазинах, но увы! Буквально через несколько месяцев они покрывались какой-то зеленой или фиолетовой пленкой. И когда я уезжала сюда, я выбросила два помойных ведра слайдов, которые покупала в советских магазинах (тоже, между прочим, за деньги – посчитать, так это немало денег-то!).

На день рождения дети подарили мне аппарат «Свет», и я стала искать мастера, который (естественно, за деньги) стал делать мне слайды по моему заказу.

Но прежде всего надо было найти книги, где иллюстрации были такого качества, что с них можно было сделать хорошие слайды. Лучшими для этой цели были итальянские монографии. Надо было у знакомых найти подходящие книги, чтобы там были достаточно высокого качества иллюстрации, упрямить доверять их мне, снять эти иллюстрации на слайды. И все это не только найти, разыскать, отнести, принести, но и оплатить (между прочим, совсем недешево). Все это стоило очень много труда и много сил. Я уже не говорю о том, что заказывая, выбирая что-то для слайда, надо было уже представлять себе, что именно это будет, и в какой связи о нем рассказывать.

Надо еще иметь в виду, что материал все расширялся: за многие годы мною были прочитаны лекции по Западно-Европейской живописи – с XIV по XX в., по школам и странам, по русской живописи (отдельные циклы) и циклы по русской иконе, по русскому лубку, о примитивистах и о немецких художниках-антифашистах.

Поистине неоценимую помощь мне оказал мой студент Валерий Давиденко. Если бы не он, я многое не смогла бы сделать.

А произошло это так.

Обычно ходила ко мне постоянная группа студентов – всегда одни и те же, в течение нескольких лет, пока люди учились, они ходили на мои лекции в общежитии. И вот, однажды ко мне обратился мой бывший студент, который был уже в то время на втором курсе, по-моему. Он мне сказал: «Я ничем не могу отблагодарить Вас за ту радость, которую мы получаем от Ваших лекций. Но я – хороший фотограф. И если Вы обеспечите мне, так сказать, материалы, то я обещаю Вам, что вся моя работа, пока я буду в Харькове, пойдет на то, чтобы сделать Вам слайды и сделать их высокого качества».

Странный я человек – я никогда не считала ни общего количества слайдов, ни затрат, хотя бы чисто денежных. Это все было очень сложно и стоило очень много и труда, и средств, но я никогда не пожалела об этом, т. к. мне было очень интересно, и я думаю, что я принесла этим большую пользу своим слушателям. Я видела от них такое хоро-

шее отношение, такой интерес, такое желание помочь! Спасибо вам всем, дорогие мои студенты!

Вот, например, приведу такой факт. Была у меня одна студентка, ее папа был за рубежом – работал там. И привез из Англии полное издание серии «Музеев мира» – чуть ли не двенадцать или восемнадцать томов. Жили они где-то, по-моему, в Кривом Роге... Ну, в общем, не в Харькове. Эти книги строжайшим образом запрещалось, естественно, выносить из дому.

Но девочка эта упросила папу. Папа приехал на машине ее навестить на три дня. Он, по ее просьбе, привез несколько томов этого издания. И мы с Валерием сумели все-таки, буквально работая день и ночь, выписывая, находя подходящее, составляя каталожные карточки, сделать эти слайды из серии «Музеев мира».

Валерия я отправляла в Ленинград дважды. С большими суммами денег и с заданиями привезти всевозможные химикаты, пленки и все такое. Много лет помогал он мне. И даже уже когда он окончил институт и уехал, мы еще с ним продолжали дружбу. Когда он был в армии, мы с ним тоже переписывались. Даже здесь, в Израиле, висят на стене два собачьих портрета его работы.

Я глубоко благодарна Валерии за его помощь, за его истинно дружеское отношение.

Доставать материалы для слайдов и делать их было трудно, но, вероятно, главная сложность моего положения крылась в другом.

Естественным образом, переводы текстов я делала по произведениям И.С. Баха. Многие другие произведения классической музыки были связаны с религиозной тематикой, а говорить и рассказывать о религиозных произведениях искусства было совсем непросто.

Во-первых, аудитория была абсолютно неподготовленная; даже хуже – была подготовлена в духе нигилизма, отрицания религии. Я же ставила своей задачей вызвать уважение к религии, как к явлению культуры и явлению историческому. А это было как раз временем очень жесткой политики Хрущева по отношению к церкви, ее служителям – к религии вообще. Я была свидетелем многих фактов пресле-

дования за религиозные убеждения (и в детстве, когда арестовывали, высылали, в лагеря отправляли священников, монахинь и т. д.), и в нашем же институте были лично мне известны два случая, когда один из моих студентов (кстати, прошедший со мной поход по Карелии и показавший себя с самой лучшей стороны) Коля Усачев, отличный музыкант (факультет духовых инструментов) подвергся унижительному разбирательству и чуть не был исключен из института (он был уже на последнем курсе, и это его уберегло от отчисления) за то, что носил крест. Второй случай – к нам хотел поступить человек с блестящими вокальными данными. Когда он пел на приемном экзамене, вся бухгалтерия, все лаборанты сбежались на его голос в зал. Его не приняли – он окончил духовную академию.

При этих условиях неосторожность, неосмотрительность при чтении лекций, связанных с вопросами религии, могли быть просто опасны для меня самой, тем более, при Щегловой.

Будучи по воспитанию и традициям близка к христианству, я стремилась всячески воспрепятствовать появлению у моих слушателей вульгарного взгляда на религию в духе «доблестных комсомольцев-безбожников 20–30-х гг.» в их борьбе с «пузатыми попами», которые «религию просто выдумали»; но я же вела просветительскую работу, проводила истинно научную атеистическую пропаганду, не унижая религию, а стараясь показать ее высокое влияние на все области искусства. При всем том я, понимая важность религии, как явления культуры, сама человек неверующий – т. е. атеист – рассматривала религию, а в данном случае, религиозные тексты, как исторические источники; как литературные произведения искусства, часто близкие к фольклору, оказывающие глубокое поэтическое и всестороннее воздействие на слушателя. Но от вопросов моей доблестной Щегловой: «Почему это Вы все про Бога, все про Бога в своих работах», – было совсем недалеко до обвинения меня в популяризации религии в студенческой среде. К счастью, она была слишком глупа и невежественна и до этого не додумалась. К тому же она была ленива и ни разу не поинтересовалась, что же я делаю в общежитии. Я «посещала». В

кафедральных бумажках и журнале общежития это значилось. Значит, как бы не к чему было ей и привязаться. Но История – страшная, громадная каменная баба – Истукан. Под ее нелегкими стопами погибли миллионы, а другие миллионы оказались скручены в спираль, как проволока для поделок...

Я вполне могу себе представить, что если бы я сейчас читала цикл об иконах, могла бы от какого-то даже вполне влиятельного лица получить вопрос: «А почему это, госпожа Лектор, Вы не в достаточной степени раскрыли божественную сущность этой иконы?»

Да все дело-то в том, что «божественной сущности» иконы я не видела, не чувствовала и не признавала. Не признаю и сейчас.

Именно к тому и стремилась я, чтобы раскрыть в них (в иконах, а также в картинах религиозного содержания) общечеловеческое абсолютно земное содержание.

Термин икона чаще всего употребляется по отношению к священным культовым изображениям на Руси и в Восточной Европе. По отношению к немецкими, испанским, французским священным изображениям мы термин «икона» обычно не употребляем, хотя, по сути, они тоже были иконами – висели в церквях; т. е. они так же, как и икона, были предметом культа. Здесь, в Институте искусств, мне пришлось столкнуться с тем, что студенты очень плохо представляют себе те самые литературные основы, по которым написаны музыкальные произведения, над которыми эти студенты работали. При этом неминуемо возникали вопросы о теснейшей связи всех искусств между собой – во-первых; о воздействии всех искусств на религию – во-вторых, и о воздействии религии на все искусства – в-третьих.

Т. е. связи эти несомненны, но естественно, я не претендовала на то, чтобы показать их в их настоящем объеме... Этот вопрос необъятен вероятно даже для многих научно-исследовательских институтов. Мне только хотелось, чтобы мои слушатели научились видеть эти связи в конкретных произведениях искусств, особенно если это было связано с изучаемой или исполняемой ими музыкой.

Мне казалось, что если студенты мои будут знать с несколько

иных точек зрения (а не только с точки зрения, так сказать, порнографии) что-то об изобразительном искусстве, они станут от этого умнее, чище, их жизнь станет ярче и интереснее.

Кроме того, поскольку музыка теснейшим образом связана и с литературой своей эпохи, и не менее тесно с вопросами религии, а студенты наши вот об этом-то как раз ничего и не знают, я была поставлена перед необходимостью рассказать нашим студентам о христианстве, и рассказать им об этом несколько иначе, чем это ставилось в плане – ну, такой, я бы сказала, вульгарной антирелигиозной пропаганды. Это было очень сложной задачей, потому что я сама, как я уже говорила, хотя и выросла в традициях христианского мировоззрения, но я атеист.

Я не верю в существование Высшего разума, я начисто отмечаю любую обрядность, не верю ни в магические ритуалы, ни в магические свойства предметов религиозного культа.

Но я вполне могу понять и с уважением признаю христианскую религиозность в качестве высшего морально-этического императива в человеке. При этом, конечно, главным является вопрос о том, каково же направление этого морально-этического императива.

Скажем, ведь стремление к уничтожению «неверных», к джихаду, – тоже проявление одного из религиозно-этических императивов в системе исламских мировоззрений; именно на таком императиве построена вся деятельность террористов-самоубийц. Такого рода моральный императив – основа терроризма: он, как и сам терроризм, абсолютно враждебен всему человечеству. Так что религиозный, внутренний императив различен для разных религиозных систем, я же в своей работе всегда имела в виду именно христианство.

В вопросах совершенно элементарных, связанных с религией, наши студенты были просто безграмотны. Я уже, кажется, приводила тот пример, когда меня спрашивали о том, что такое «распятие», что такое «крест», почему они играют такую роль в христианской символике.

Тогда я поставила первый в институтском общежитии большой

цикл лекций в основном по итальянским репродукциям с конца XIV по XVII в. (и не только итальянским!). Цикл «рос» по мере чтения и постепенно включил в себя также живопись Испании, Германии, Нидерландов и Франции этого периода.

Такое построение материала диктовалось не только хронологией и историей. Взаимодействие религии и искусств сложно вплеталось в исторические события, само воздействовало на историю. По мере развития европейских стран изменялась их культура; в тесной связи с их конкретной историей получало свой особый облик и христианство. (Вспомним в этой связи историю Нидерландов и нидерландское искусство или историю Испании и особый разгул католической реакции, и испанское искусство этого периода).

Это именно то время, когда изобразительное искусство сначала еще и не отделилось от религиозной тематики, а потом стало отделяться; разделилось с религией и, постепенно, отделилось совсем и стало самостоятельным.

По мере прослушивания лекций и понимания живописного материала мои слушатели все больше задавались именно этими вопросами: историчность религии, этапы развития религиозного искусства в разных странах, их сходства и различия, и все большее значение земного, светского в них, вплоть до разделения изобразительного искусства на светское и религиозное.

В ходе своих лекций я старалась воспитать в слушателях уважение к религии как к глубокому культурному и историческому явлению. Кроме того, мне казалось очень интересным и важным сравнить, скажем, такие произведения на религиозные темы, какие мы могли показать по репродукциям в Италии и Германии с русскими иконами. Так получилось, что тематика моя расширилась, возникла потребность в цикле, посвященном иконе.

Это очень сложный раздел искусства, и я не могла начать с икон. Все-таки академическая русская живопись базировалась на итальянском искусстве, поэтому мне и показалось разумным не начинать с икон. Впоследствии весь цикл об иконах вызывал необычайный ин-

терес, быть может, потому, что связывался со старинной русской церковной музыкой.

С первой же лекции об итальянском искусстве XIV в. началась эта полоса – чтение лекций и посещение их моими студентами превратилось в нашу постоянную связь. Это было очень интересно. Во-первых, я очень много узнала и сама. Во-вторых, я заказывала (все это, конечно, собственные деньги) множество слайдов. Практически у меня собрались коллекции слайдов по всем музеям мира. И я была в состоянии уже прочитать и показать – ну, в общем, все периоды развития живописи по странам и по эпохам.

Так получилось, что я в Харьковском институте искусств осваивала как бы два новых для себя направления вполне профессионально: 1) преподавание немецкого языка музыкантам; 2) история живописи, как одного из явлений общей мировой культуры.

Работа в этой новой области приносила мне все больше радостного, но требовала от меня все больше времени, все больше сил. Интересно, сколько их (сил и времени) было у меня в те годы?.. Сейчас вот пишу – в первый раз пытаюсь оглядеть все сделанное – и удивляюсь, как успела?

«Но жизнь проходит, дни кружатся» – и не возможно ни остановить, ни даже замедлить это кружение.

Дома-то все было совсем не легко и не просто: и быт, и сложности устройства Митиной семьи в отношении квартиры – все это – и время, и силы, и деньги. Но благословен дар забвения! Если и не забвение, но некое отдаление от испытанного неминуемо для человека и для меня тоже, несмотря на то, что, как видно, обладаю я неким даром (или дефектом?) – особенно остро быть счастливой, или наоборот, – особенно горько несчастливой – это, наверное, как цветные сны: другие видят черно-белые, а я – абсолютно цветные, во всех красках.

Мои лекции в общежитии проходили теперь при таком количестве студентов, что они просто не помещались даже в самую большую аудиторию. Однажды, я помню, был такой случай.

Я должна была читать лекцию, а по телевидению должны были

транслировать какой-то очень, ну, чрезвычайно интересный футбольный матч. И мне мой зять сказал:

– Ну, мама, ты что думаешь, к тебе кто-нибудь придет сегодня?

– Я не знаю, придут ли они, а я должна прийти. Поэтому, как всегда, помоги мне довести до общежития экран и «волшебный фонарь».

– Ну, конечно, я помогу.

И когда мы подошли к аудитории, и я открыла туда дверь, аудитория была набита битком. Это была лекция о Чурленисе.

Я показывала слайды, читала его стихи, рассказывала о нем и об этом времени... Мы поставили пластинки с его музыкой.

Лекция получилась исключительно удачной. Не могу сказать, что Чурленис был мне очень близок, как поэт и художник, но для ребят это все было так ново, так удивительно...

Надо сказать, что отношения мои с другими преподавателями института складывались все же по-разному.

Я за все 38 лет так и не поняла позицию ректората или, может быть, общественное мнение в этой консерватории по поводу иностранных языков. В общем, то, что я считала элементарной добросовестностью – требовательность по отношению к студентам, умение привлечь их к овладению языками, умение заставить их работать, умение наладить с ними какие-то работы (курсовые или дипломные), в которых использовалась бы иностранная литература – ну, как-то для ректората и даже для многих преподавателей специальных кафедр все это казалось несколько странным и ненужным.

Хотя, не всем, конечно. Не могу сказать, что это было свойственно всем. Отнюдь, нет.

Скажем, кафедра музлитературы, теории музыки, кафедра фортепиано – все эти кафедры, конечно, очень сочувствовали этим моим начинаниям, поддерживали меня. И более того – я действительно наладила широкое использование иностранной литературы и разных других материалов при написании курсовых и дипломных работ.

Все преподаватели обязаны были «посещать» общежитие. Они приходили, попадали случайно на мои лекции и... начинали совер-

шенно иначе относиться и ко мне, и к моим занятиям языком со студентами.

Я как-то всегда старалась в лекциях использовать стихи. (У историков – стихи о Египте и древнюю подлинную египетскую поэзию, например), или по итальянскому искусству – стихи поэтов Возрождения, привлекала сонеты, например. Микельанджело Буанаротти; на его сонеты есть музыка Д. Шостаковича. И мы и о ней говорили. Так, где и как я могла, я старалась показать близость искусств между собой. Иногда это удавалось. Иногда нет. Но попытки такие я делала. Бывало, я привлекала поэзию несовременную данному произведению живописи, порой даже из другой страны, но если эта поэзия помогала «прочитать» живописное произведение, вводила в эпоху, я пользовалась этим методом тоже.

Вообще я очень любила привлекать в своих лекциях поэзию, а иногда и прозу... Например, рассказывая о Фламандской живописи, я читала стихи Верхарна; а показывая И. Босха, читала стихи советских поэтов, ему посвященные; о малых голландцах – тогда как раз вышел сборник стихов из Голландской поэзии XV–XVII вв. (кажется). Питера Брейгеля иллюстрировала Шарлем де Костером.

Это сразу расширяло наши горизонты – мои слушатели узнавали новое для себя и в поэзии, и в литературе. Цикл о русском лубке я сопровождала русскими сатирическими сказками; этот же цикл нашел свое образное продолжение в беседах о народном искусстве и китче.

В Полтаве было принято в годовщину Полтавской битвы проводить так называемые Дни Полтавы. Там я бывала часто потому, что в Полтавском музыкальном училище тоже читала цикл лекций об украинском изобразительном искусстве, а также и потому, что там работали многие мои бывшие студенты. Особенно крепкие дружеские связи были у меня с семьей Анатолия Попика и Тамары Лебеденко. Они оба мои студенты (кстати, они оба много пользовались для работы немецким, читали вступительные статьи к изданным в ГДР нотам). Анатолий Попик в течение нескольких десятков лет играл важную роль в музыкальной жизни Полтавы – был дирижером нескольких оркестров.

На Дни Полтавы всегда устраивались интересные мне мероприятия: концерты, выступления хоров и танцевальных коллективов, замечательные выставки и даже ярмарки изделий народных мастеров-умельцев. Кое-что я привозила, показывала – это было множество открыток, фотографий из разделов о народном искусстве, о народной игрушке. Показывала и некоторые вещи, которые собирала и покупала: русскую богородскую игрушку, каргопольскую и вятскую глиняную игрушку, хохломскую городецкую и полховскую деревянную расписную посуду.

Мы говорили о владении материалом и цветом, о юморе в народной игрушке, об удивительной силе и мастерстве обобщения при сохранении чисто местных индивидуальных особенностей.

Я очень старалась привить вкус, чувство стиля и неприятие ко всякого рода китчу, вульгарной (не народной!) пошлой поделке. Теперь мне трудно судить, была ли я права тогда: вкусы меняются. С моей точки зрения, пошлость, китч, вульгарность затопила эстраду – теперь в передачах всего мира такое господство вульгарности, пошлости, дешевого щекотания секса, что-то, что раньше мне и моим единомышленникам, моим товарищам по вкусам и восприятию, казалось проявлением вкуса, теперь кажется серой пресной жвачкой. А может быть, время еще изменится, и возникнет нечто еще более странное, на наш взгляд, а на взгляд будущих, так сказать, «потребителей искусства» – еще более привлекательное.

В то время мои взгляды, или, скажем, мое понимание вкуса, получили забавное признание, меня очень тронувшее тогда.

Очень смешно, но мой вкус получил довольно странное признание в том, что, например, некоторые вокалисты, с которыми я никогда не занималась языками, а только иногда давала консультации, если они пели на немецком языке, приходили ко мне и советовались, как им одеться перед каким-то ответственным сольным концертом. Если они ехали в Москву или в Ленинград (это бывало тоже), то весь их костюм – рубашка, галстук и запонки – все это обсуждалось со мной. Неожиданно я оказалась для них в этом смысле консультантом.

Я очень старалась, потому что я понимала, что для ребят это важно, это существенно для артиста на камерном концерте. Как нам тогда казалось, недопустимо «выйти, выпасть из стиля» его репертуара, где базарное, ширпотребовское украшение могло быть неуместно и, следовательно, безвкусно.

Очень трудно сформулировать, что же это такое – «хороший вкус». Меняется жизнь – изменяется и понятие «хороший вкус». Но для своего времени остаются признаками вкуса и «ничего лишнего», и «уместность для данной ситуации», и «чувство юмора», и «соответствие моде» – тому, что принято, но и «некоторое отступление от моды», т. е. некоторая оригинальность, индивидуальность – без этого тоже нельзя; понимание и учет собственных особенностей, комплекции, цвета волос, лица, глаз... И все в меру – краски, качество... Не знаю, не могу сформулировать... Но сразу вижу: это безвкусица, пошлость, вульгарность...

Это многими признавалось, как мое качество. Чем оно было воспитано – не знаю. Может быть, я должна и за это благодарить папу и свое ленинградское детство.

Когда мы заканчивали заниматься или в выходной день, когда была плохая погода и мы не могли поехать за город и походить там по паркам, мы с отцом шли в музеи Ленинграда. Не только в Русский музей, не только в Эрмитаж. Мы ходили также и в этнографический музей – в оба, два громадных этнографических музея в Ленинграде; и в бывшую Кунсткамеру, из которой вырос прекрасный Зоологический музей – и все это воспитывало вкус и чувство меры.

Я не помню, чтобы папа говорил со мной о картинах. Ну, может быть, только тогда, когда картина была написана на какой-то исторический сюжет. Но, вероятно, эти странствия по музеям (обычно у нас такая экскурсия занимала не более двух с половиной часов) приучили меня воспринимать настоящее искусство и породили во мне на всю жизнь отрицание и неприятие любого китча.

Всякого рода китч, базарное, ширпотребовское украшение нашей жизни было мне настолько неприятно, настолько противоестествен-

но, что я все время старалась и в своих лекциях противопоставить настоящее искусство китчу.

Мне иногда бывало страшно на одной лекции, например, сопоставить стихи разных эпох, разных авторов и произведения живописи... Я очень это продумывала, и почти всегда это хорошо получалось.

Но бывали и неудачи. Так, однажды я пыталась тему «Русская природа в живописи» сопроводить и стихами русских поэтов, и записями русских романсов, кстати, в прекрасном исполнении. Казалось все так созвучно... а вот не получилась лекция! То ли я «перегрузила» лекцию, было чересчур, не хватило мне чувства меры; то ли не смогла органично слить магнитофон и свой текст – не знаю. Было очень жаль, лекция была в художественной школе; слушали меня, конечно, но как-то кисловато!..

Но вот лекция в институтском общежитии о Питере Брейгеле, где я очень волновалась, стоит ли объединять в этой теме прозаические отрывки и современные стихи, прошла очень удачно.

Так, при рассказе о Питере Брейгеле Старшем я использовала прозаические отрывки из «Легенды о Тиле Уленшпигеле» Шарля де Костера и... стихи Новеллы Матвеевой, хоть и боялась этого сочетания!

И как раз на эту лекцию случайно наткнулся при посещении общежития Юлий Федорович Вахранев.

Прослушав мою лекцию о Питере Брейгеле, где я впервые сформулировала для себя и для слушателей тезис «неучастие может быть преступно», «преступность неучастия», Вахранев сказал мне:

– Маленькая женщина! Почему ректор не носит Вас на руках?

На что я ответила:

– Боюсь, что я из чистого золота, и мой вес столь велик, что это не по силам нашему ректору!

Вот так, но многие все же убеждались в полезности того, что я делаю.

Большая дружба сложилась у меня с Виктором Александровичем Гризодубом, доцентом кафедры народных инструментов и ученым секретарем нашего института. В.А. переводил с немецкого книгу ко-

го-то из видных немецких дирижеров, и мы часто советовались с ним, как лучше сформулировать ту или иную мысль по-русски при переводе. В.А. был также преподавателем у моей Люды Крещук, когда она заканчивала музыкальное училище по классу народных инструментов. Он очень был доволен Людой, и тут как-то выяснилось, что Люда – моя приемная дочь. Кроме того, у меня в группе учился его сын – виолончелист, который после нашего института окончил аспирантуру в Киеве: очень способный музыкант и в высшей степени эрудированный юноша.

На моих занятиях на «кружке перевода» (я уже писала, что это был за кружок) был также Павел Владимирович Шакальский. После занятия он сказал мне: «Вы знаете, мне даже не могло прийти в голову, что можно сделать такие нестандартные вещи, что можно заставить наших студентов работать так интересно. Особенно важно, что Вы привлекли к работе не очень сильных студентов, а студентов средних над такими неожиданными для них и важными вещами, как перевод настоящих идентичных текстов».

На другом каком-то кружке была у меня Ирма Львовна Золото-вицкая, которая тоже сказала: «Я не могла даже представить себе, что кафедра иностранных языков может проводить такую интересную и полезную музыкантам работу».

И моя работа по переводам, и иностранные вечера, и мои лекции, и походы на лыжах и пешком – все это как-то способствовало моим дружным и хорошим отношениям со студентами.

Я была строга и требовательна.

Да, я действительно требовала работы. Я требовала, например, чтобы внеклассное чтение отвечали в виде пусть самого примитивного, но рассказа на иностранном языке. Я требовала умения задавать вопросы, умения отвечать на вопросы. Каждый мой студент обязан был в виде рассказа (во сколько ему удобно приемов) пересказать мне весь объем внеклассного чтения. Сколько времени это у меня занимало! По нормам за зачет писали преподавателю 15 минут за одного сту-

дента за семестр. А сколько времени тратила я? Это даже и посчитать невозможно. Студент приходил «по мере выучивания»; свой материал делил на маленькие отрывки – чтобы легче рассказывать. Даже Роза Исааковна Гроссер требовала только список слов, которые спрашивались, так сказать, в разбивку, отдельно, (ну, не составлялись из них фразы). Только я требовала пусть самого элементарного, но все-таки связного рассказа. Так ребята, мои студенты, учили язык. При этом складывалась атмосфера, в общем-то, дружбы и хороших отношений.

Потому моя невероятная строгость, о которой уже складывали целые легенды и сказания в консерватории, в общем, не мешала моим хорошим отношениям со студентами, а наоборот, способствовала обучению немецкому языку, пусть элементарному, но возможному в качестве средства общения.

Разными были пути возникновения моих дружеских связей со студентами: то из-за походов, то из-за моих лекций. Но одна дружба, самая длительная (я думаю, что она кончится лишь с моим естественным переходом в другое качество) возникла изначально из-за моей придирчивости к ответам студентов по немецкому языку и их обид на меня. Они воспринимали мои требования, как унижение для себя, особенно более культурные и одаренные студенты не привыкли к моей манере принимать у них материал. Как-то (особенно те, кто отлично учились) считали, что пришел, ответил за один раз и готово; ведь «некогда ходить-то»! Они очень сердились и обижались, когда я спрашивала материал и требовала от них ответ в форме их рассказа; все внеклассное чтение по кусочкам (каким угодно маленьким – по их выбору), но непременно все, что было задано на месяц и на семестр. Надо было ответить: рассказать, ответить на мои вопросы и т. п. Некоторые ужасно злились, что приходилось столько раз приходить. Они не понимали, что таким образом я приучала их к некоему общению на немецком языке, что чем чаще они ко мне приходили и мне что-нибудь отвечали, тем лучше они закрепляли полученное на уроках, тем лучше запоминали и, пытаясь каждый раз строить свой рассказ, так

учились языку, а не только «сдавали знаки» – как это называлось на студенческом жаргоне. Я своего времени не жалела, принимала почти каждый день, договаривалась на удобное для них время, но сдать надо было – и это было неизбежно! Только когда было отвечено все – ставился «зачет» в ведомость и в зачетку.

Один из моих студентов так рассердился на меня, что почти что расплакался, стал говорить, что я к нему придираюсь; что заметила, как он мои остроты записывал, и теперь вот я мщу ему за это... Мне было так жаль этого самолюбивого, умного мальчика! Я так хотела, чтобы для него, будущего музыковеда, немецкий язык стал бы вспомогательным средством в его будущей работе... А что из него выйдет толк – это я понимала; сама, занимавшаяся в аспирантуре, я понимала, как ему будут нужны языки.

И состоялась тогда длительная душевная беседа.

Под конец я сказала ему примерно следующее: «Пройдет совсем немного лет... Вам в научной работе понадобится немецкий язык. И тогда Вы вспомните эту нашу беседу с улыбкой и больше не будете на меня сердиться!» Да, все так и случилось.

Милый мой ученик, соавтор, собеседник!

Это мой друг, на которого оставляю я свое «наследство» – все, написанное мною и никем не изданное; так высоко многими понимающими людьми оцененное, и никому не нужное, – все то, во что вложена большая часть моей жизни...

Это ты! Был Гришенька, стал Григорий Израилевич Ганзбург и уже переступил рубеж полувека: без тебя этих записок бы не было – это ты меня на них «подвигнул». Да, стал ты видным специалистом по Р. Шуману; есть у тебя работа о Ф. Листе, много других статей. Ведь почти все это основано на немецких материалах!

Не зря прошли наши занятия. Мне только жаль, что не «втянула» я тебя в овладение английским и французским. А как интересны поднимаемые тобой вопросы, например, вопрос о либреттологии – почему и когда сливается текст с музыкой в единое произведение, а почему и когда этого не происходит? Это отражение двух жизненно важных для

тебя интересов – и к музыке, и к слову. И я, всегда зная твою чуткость к слову, твой вкус к литературе и образованность, себя спрашивала: «Неужели он не пишет стихов?» Но тебя не спросила ни разу: боялась «лезть» в душу! И вот в этот раз твоя душа вдруг открылась мне: я получила твои стихи. С одной стороны, я понимаю, как глупо излагать стихи прозой. Зачем? Ведь потому и сложились стихи, что об этом в прозе – хуже, бледнее, да, пожалуй, и вообще невозможно передать.

Но с другой-то стороны – хоть и понимаю, что глупо, но уже очень хочется сказать-то... Может быть, больше о моем восприятии, даже не о самих стихах, а именно о том, что они для меня; что они мне принесли, что открыли. И это тоже очень трудно: стихи, как музыка, как всякое искусство, каждому дают в меру его возможностей и его понимания.

Прежде всего, меня поразила форма – твои стихи одновременно изысканны и просты, лаконичны и многозначны. Они одновременно и романтичны и философски глубоки.

Я не литературный критик, поэтому не знаю, стоит ли принимать всерьез мое мнение, но ты пишешь:

Стихи мы пишем для друзей,
А прозу для чужих людей

А я ведь твой друг, быть может, уже даже и очень давний – более, эдак, лет тридцати! Это все-таки срок...

То, что посвящено Мандельштаму меня потрясло! «На смерть Мандельштама» – это, казалось бы, простое перечисление многих глаголов движения, стремление умирающей души к активной жизни и ее, души, вечное существование в творчестве после смерти. Это растворенность его творчества – его души – в необъятности и беспредельности нашего мира, в его черноте, немоте, даже глухоте, и бездушии – и все же – в беспредельной его красоте! Да, черен, нем, страшен мир и...прекрасен! Но прекрасна Вселенная лишь при наличии света, поэзии, культуры, музыки, исходящих от таких светочей, как он, Мандельштам.

О том, что без него не полон свет Вселенной,
Велел вам передать какой-то Мандельштам.
(«Письмо из тюрьмы»)

Как коротко и как много сказано. И концовка, к каждому живущему обращенная, – ведь «земная судьба, что без двери изба – не войдешь, не уйдешь, – не гадай, не поймешь», – так наша каждая жизнь непредсказуема, перевернуты и вывернуты наши отдельные судьбы. И в каждом твоём даже в самом коротком стихотворении – как от землетрясения, гул истории – такой страшной: «Сколько лет живет Россия», «Рондо-коллаж»

«Я хату покинул
Пошел воевать...»
«Да отняли список,
И негде узнать».
«Откуда у хлопца
Испанская грусть?»
«Забуть громыханье
Черных Марусь...»

Как поразительно объединены горькая романтика и поэзия революции – и ее страшные результаты... Какое единство и неизбежность истории! И еще – какое немногословие и как глубоко содержание... (А я вот всю жизнь страдаю многословием!)

Это жизнь поколения моего и твоих родителей, но также и поколения наших детей, твоего поколения. Все это страшное и неизбежное было. Но другого времени не дала нам судьба – дала именно это, а не другое. Оно наше не только потому, что мы были в нем, но и потому что оно – в нас самих, глубоко внутри.

У тебя евреи, что пииты, –
Ни один не умер; все убиты.
(«Песня о Родине»)

И «Моя родословная» – четыре строчки, вместившие путь еврейской, но одновременно и русской культуры, и «Песня о Родине» кажутся мне маленькими шедеврами, может быть не потому только, что я к тебе отношусь особенно, но потому, что по своему жизненному пути я часто чувствую себя еврейкой. Знаешь, я бы хотела, чтобы этот «Шепот из могилы» стал бы моей эпитафией.

Зачем цветы? – Есть листья клена.

(«Шепот из могилы»)

Да!.. Только вот в Израиле нет места на кладбищах, деревья посадить негде. А если бы дома... Ишь! Размечталась – из могилы шептать... Тут на кладбищах так тесно, лишь камни – не до деревьев. Построили было крематорий, но он сгорел – скорее всего, это религиозные его подожгли: хоронить надо только в земле. Вот такие здесь трудности.

Но я отвлеклась от твоих стихов – они важнее моих размышлений о собственных похоронах (только я решила просить о крематории – его и спалили!)

Так вот что главное о твоих стихах: во всех стихах, что ты мне прислал, поражает краткость и красота, я бы даже сказала изысканность формы, многозначность и глубина содержания.

Я счастлива, что ты все это смог.

Мне представляются весьма интересными и глубокими твои соображения о смене стилей в музыке, изложенные в статье о композиторах-романтиках, о Листе. Мне, например, кажется, что картина смены стилей аналогична и в других искусствах. И сейчас, когда я уже 15 лет в другой стране, читаю твои работы, радуюсь: в этом твоём становлении есть что-то и от меня, от тех прошлых лет... Как много разных вопросов мы с тобой обсуждали! И переводы, и то, что слушали и читали. А когда ты начал посещать мои лекции, мне кажется, ты не пропустил ничего. Даже те годы, когда ты работал и жил в Полтаве, а я приезжала туда, мы обсуждали какую-то работу, кажется,

какой-то перевод. Даже свою «Сказку о первом немце» (возникновение начал немецкой грамматики) я дала читать тебе первому, а потом Юрию Марковичу. Ты не советовал мне уезжать... Но ведь мне было невозможно остаться! И мы никогда не увидимся, но и никогда не расстанемся – до моего естественного конца! Ведь есть телефон! Все же для чего-то и техника нужна...

Кстати, не знаю, как объяснить один «телефонный случай» в Харькове. Мы с тобой обсуждали перевод и вообще историю «Stabat Mater» по телефону. И вдруг вклинивается мужской голос и говорит мне: «Хватит ерундой заниматься», – и разговор прервали. Я спросила тебя, вновь соединившись, ты сказал, кажется, что не слышал этого вмешательства. Это что было – постоянное прослушивание или «на удачу», кто и о чем? Мне кто-то (свекор, кажется, – он был в курсе этих дел) рассказывал, что так делали. Или это мой телефон прослушивался постоянно?

Все-таки вернусь я к рассказу о том, как я стала читать все больше и больше лекций, и уже не только в общежитии нашего института.

Мой старший сын в это время уже работал на физтехе Харьковского университета – преподавал математику. И вдруг к нему однажды подошли два преподавателя, которые там у них вели историю партии, философии и марксизм-ленинизм. Они ему говорят:

– Вот, Ваша фамилия Мышкис. А Вы знаете, когда мы занимались на истфаке, у нас была преподавательница – у нее тоже была фамилия Мышкис... Она чрезвычайно интересно рассказывала нам обо всех вопросах развития живописи, литературы, вообще культуры... Это были самые интересные лекции... Вы не знаете, где она?

Мой сын рассмеялся и сказал:

– Нет, я совершенно точно знаю, где она, потому что это моя мама.

– Вот, знаете, мы решили, давайте попросим Вашу маму, пусть она у нас, на физтехе, проведет несколько лекций.

– Хорошо, – сказал мой сын, – я поговорю с ней.

И он дома стал мне говорить:

– Почему, собственно говоря, ты не хочешь это сделать?

– Я очень устаю.

– Ну, что ж, – говорит, – все устают. Но это для тебя интересно. И в этом очень большая польза, потому что наши студенты этого не знают; и им тоже будет интересно, и люди будут тебя слушать.

Так и началась еще одна моя деятельность – чтение лекций, уже не у нас в институте, а в масштабах города. Было такое общество «Знание»; коллектив лекторов, где лектор получал небольшие деньги за лекции (надо было прочитать сколько-то бесплатных, а остальные оплачивались нищенски). Мне же деньги были нужны всегда и очень.

Меня очень быстро включили в группу лекторов, которые выступали на разных предприятиях. И, конечно, я не посчитала, сколько же мною было прочитано, но было очень много лекций. У меня были точки, где я просто вела постоянный курс – скажем, в Пятихатках, в Физико-техническом научно-исследовательском институте у меня был курс, который продолжался, по-моему, четыре года, по два раза в месяц, когда я рассказывала просто всю историю искусства. С большим интересом меня посещали, и обычно на моих занятиях было человек по 70–80.

Кажется, две или три зимы я читала лекции в Институте низких температур; два года на большом заводе; часто в заводских общежитиях.

Для всех членов «Знания» обязательно было чтение лекций о Ленине к 22 апреля, естественно, бесплатно. Все о Ленине было уже так известно, сто раз повторено, «обмусолено»: и разбитый кувшин, и зеленая лампа, и очередь к парикмахеру... И когда сам понимаешь, как тошно такую твою лекцию слушать, становится еще более тошно ее читать. И вот я решила чем-то эту свою лекцию «подновить» и сделала две вещи. В своих турпоходах я добралась в Сибирь и побывала в селе Шушенском. Там, к моему сожалению, слайдов не было (тоже очередная нерасторопность нашей торговли). Но я как-то разговорилась с экскурсоводом-краеведом; узнала многое и очень интересное из этнографии Сибирского края; узнала о многих других ссыльных, бывших в Шушенском; записала это все, кое-что еще почитала, обра-

ботала, и получилась вполне приличная, во всяком случае нескучная, лекция не столько о Ленине, сколько об этнографии Сибирского края и о многих интересных ссыльных в селе Шушенском. Называлась она «Ленин в Шушенском». Такое название от нас требовали. По правде, это была лекция «Сибирское село Шушенское; его жизнь и обитатели. Место ссылки В.И. Ленина». И это было интересно, необычно – о людях, коренных сибиряках и о ссыльных, их трудах и быте.

Но слайдов не было. И я все искала везде какой-то материал – ведь все равно придется же читать лекцию к Ленинским дням! И вот в одном из небольших кавказских городов в универмаге – о, радость! – набор слайдов «Скульптуры Ленина» – целая коробка... 48 штук. Приехав домой, открыв коробку, я просто пришла в ужас... Такой набор, представленный как единое целое – это же злейшая карикатура на «великого вождя» и это одновременно свидетельство убожества советской скульптуры! Да, но также и того факта, что истинное искусство не может, не умеет лгать; а если лжет, то немедленно превращается в свою противоположность – вот в это самое убожество – это много-много уродов... Да их же просто опасно показать подряд – все 48 штук! Если такое чучело стоит где-то на площади, то оно ведь – одно; люди бегут мимо по своим делам, и не смотрят даже, забывают о нем. Но показать на лекции 48 штук подряд – всю серию... Да за это просто могут «привлечь», обвинить в «опошлении», «искажении»; мало ли еще в чем, что придумают. Это показать невозможно...

И показала я лишь дома близким своим, как нечто абсолютно запретное... Эта серия скульптур Ленина лишь подтвердила мою убежденность в том, что искусство не может лгать. Если автор создает что-то против самого себя, хочет солгать и начинает лгать – его произведение... не получается.

Столетний юбилей рождения Ленина – 22 апреля 1970 года – готовился задолго и праздновался весьма торжественно. Примерно за год до этого дня в магазинах, на почтах, в поликлиниках, ателье, мастерских, аптеках появились красиво отделанные рамочки, и в них меняющиеся каждый день то ли сообщения, то ли оповещения, то ли

извещения – не знаю даже, как это можно и нужно назвать – в общем «наглядная агитация»... Напоминания о том, сколько точно осталось до рождения Ленина; очень точно – месяцев, иногда недель, дней... До часов все же не додумались. Например: «Осталось 9 месяцев и 3 дня!» «Осталось 10 дней!» «Осталось 3 дня!» Мне было интересно, что же случится! Вот тогда..., когда он «родится»? Что? Я следила: за два дня еще были эти объявления. Не стало их сразу, лишь когда остался 1 день – как по волшебству, сразу везде исчезли эти рамочки-графаретки.

Все надеялись, что, может быть, сделают день рождения Ленина нерабочим днем... Но зря надеялись. Не знаю, имела ли место в других городах СССР такая наглядная демонстрация и такое опубликование общественной глупости, но в Харькове это было именно так.

К 8 Марта тоже была обязательной лекция в обществе «Знание». Но к этому дню можно было прочитать много разных и интересных лекций. В то время, когда вся страна, а уж город Харьков особенно, волновалась, не опоздать бы ко дню рождения Ленина, моя семья волновалась по совсем другому поводу: моя дочь Катя окончила школу и выходила замуж за Борю Магальника, скрипача, окончившего музыкальное училище и студента-заочника третьего курса филфака ХГУ. Хотелось, чтобы была свадьба, – и веселая – чтобы она на всю жизнь запомнилась... Только вот почему-то уже почти ничего просто купить было невозможно. Все надо было «доставать». Спиртное – ящик вин – удалось достать. А вот костюм жениху и платье невесте – ну, просто невозможно, нет ничего в магазинах! Бегали, доставали. Я ездила в Ростов-на-Дону – у одной моей студентки дед был там ювелиром – сделать им кольца и уменьшить для дочери золотой браслет на часах. Там меня и обокрали: деньги, золотые вещи, какие там кольца и часы – ничего не осталось. Я приехала белая, как стенка. В дверях Боря, увидев меня, понял все по моему потерянному виду, и я никогда не забуду его слов: «Мамочка, ведь это только деньги. Ты здорова, мы все вместе – все будет хорошо!» Ну, не так уж и хорошо стало теперь-то! А помню и благодарю: и за эти слова, и за то, что было потом

много хорошего в нашей совместной жизни – 26 лет прожил Боря в нашем доме. Из нашего дома Боря ушел служить в армию, когда дочке его, Катюше, был едва ли год. В армии Боря стал членом ВКП.

Теперь, в 70–80-е годы, антисемитская политика выглядела так: по соответствию с дипломом – евреев на работу не брали чаще всего – «нет штатных единиц», и вообще под любыми предлогами. Но на работу не по специальности тоже не брали, т. к. требовали, чтобы работали в соответствии с полученной профессией. «Вас государство учило – работайте по специальности». А не работаете – значит, тунеядец. Вот так и Бродского осудили. Таким образом многим тогда «перекрывали воздух»: Тем, кто выступал, как правозащитник, тем, кто подал документы на выезд, но получил отказ. Они назывались «подписанты» и «выезжанты», «оставанцы» и «отказники» – великий, могучий и любимый русский язык... Какие удивительные неологизмы!

Да, великий и такой выразительный наш родной и прекрасный русский язык лишь в одном случае оказался странно бессилён: нет в русском языке приличного глагола для обозначения действия, без которого само человечество вымерло бы! Во всяком случае, пока громадное большинство людей является в мир именно как результат этого действия, а другие варианты весьма дороги и малоэффективны, хотя надежда обходиться как-то иначе в этом вопросе все же есть. Думаю, что именно благодаря христианству это действие стало считаться греховным, постыдным, даже как бы недостойным христианина и человека. «Плодиться и размножаться» христианство именно предписывало: но тот акт, который этому предшествовал, который всеми людьми почитается, как одно из величайших наслаждений жизни, – этот акт в христианстве получил значение греха – постыдного, действия, виновницей которого оказалась бедная Ева. За этот грех ее и несут наказание все женщины, не только «рожая в муках», но и терпят за это унижения и получают презрение – что и доносит до нас терминология матерной ругани, по смыслу своему унижающая женщину в этом акте.

Я долго не понимала значения «матерного диалекта», но жизнен-

ный опыт помог мне разобраться в этом странном «филологическом явлении». Я абсолютно не понимала (и очень долго!) почему это действие, желаемое по адресу матери кого-то, кого некто хочет обругать, есть в нашем языке грязное оскорбление для человека... Ну, во-первых, сам этот акт – что в этом плохого? Все это делают и чаще всего с удовольствием. (Если уж не иметь в виду гораздо нечто большее в человеческой жизни, с этим актом связанное). Ну, скажи ему-то, что он – дерьмо, говно, гадина, дурак, подлец – но при чем тут чья-то (или даже его) мать? Это удивляло меня, как невероятная бессмыслица. Потом, как мне кажется, я поняла: принижение самого акта идет от христианского понимания его греховности, а оскорбление матери – это, наверное, остатки патриархата – сомнение в законном происхождении человека (если чья-то «мать» способна на этот такт не с отцом данного человека, а с кем-то другим). От этого природа ругательства мне стала как бы более понятной, но скорее по происхождению; употребление же все равно представлялось мне бессмысленным и абсолютно нелепым. Я никогда им не пользовалась.

Но однажды со мной и с моим недавно обретенным зятем произошло следующее. Через пару месяцев после свадьбы я перемыла посуду после завтрака. Это была пятница – у меня занятий не было, а накануне, в четверг, уже под вечер, часов в 5–6 у меня было заседание кафедры. (Посуду некоторое время мы мыли в ванной комнате – еще не успели сделать выход для воды на кухню от только что поставленной газовой колонки).

Боря пришел в ванную, я собрала ему на руки всю посуду, чтобы он отнес ее в кухню. Он спросил меня: «Ну, как, мамочка, прошла кафедра?» И тут я... обернувшись к нему, выругалась... Я даже не могла предположить, что где-то в каких-то извилинах мозга хранится у меня это словосочетание – но, еще не произнеся, я услышала грохот падающей на пол посуды и увидела лицо Бори, опешившего от того, что он услышал от меня! «Лидия велела записать в протокол, что я неставляю зачеты студентам с еврейскими фамилиями специально, так как притворяюсь антисемиткой, чтобы люди вокруг не догадались,

что я еврейка и что я это скрываю!» – довела я до конца свое высказывание, начатое мною в столь необычной для меня форме... И тут я поняла: многократно повторяемый бессмысленный набор слов безусловно стал «каменным» ругательством, если даже я сама – не признавая, не принимая этого – все же воспользовалась этим набором слов в момент, когда у меня действительно «не хватило слов» для выражения моего чувства негодования, ненависти и возмущения... Потому русские и матерятся, совершая самые разные действия: вбивая гвоздь, запрягая лошадь, выражая досаду, злость, бессилие, негодование, а иногда... даже одобрение! Но со мной это произошло единственный раз в жизни... Ни разу потом я не употребила этих ругательств, но я поняла: неважно, какие именно слова употребляются, но раз они употребляются в значении грязного ругательства, они им и становятся (у арабов, например, таким ужасным оскорблением оказывается – показать зубы и постучать по ним пальцем). Да! Становятся даже у меня: в тот один раз я не нашла других слов для выражения негодования.

По понедельникам по каналу (ведущий Виктор Ерофеев) передают передачу «Апокриф». Кажется, в последний понедельник июня 2005 года был как раз разговор об употреблении этой самой лексики. Интересные, самые разные точки зрения. При всем том констатируется, что эта «неформальная лексика», буквально заполняющая нашу так называемую «художественную литературу» – и низкопробную, и действительно художественную – и печатается теперь в тексте «черным по белому»; все это литературное появление нецензурных прежде выражений в печати – действительно явление современного русского языка.

Мне кажется, что вторжение нецензурной лексики в жизнь – явление одного порядка с вторжением в язык жаргона преступного мира. Да, увы – жизнь в языке отражается – в этом смысле в литературе даже прибавилось реалистичности. Другой вопрос, уже поставленный давно: все ли естественное должно в литературе отражаться? Зачем и до какой степени? Эта проблема вполне связана с «модой» на нецензурную лексику и в жизни, и, следовательно, в литературе. Появление

напечатанных нецензурных выражений – не только реалистическое (даже слишком!) отражение жизни – это утверждение этих оборотов, непечатное стало вполне печатным, неформальное – формальным. То, что считалось (и в определенном смысле и было) неприличным, постыдным, оскорбительным высказыванием, становится повседневной речью даже в образованных кругах; в литературе это явление не только отражается, а из нее же и усваивается в этом качестве.

Мне кажется, это, безусловно, дурно. Но есть и еще одно обстоятельство. Психика человека для выражения сверхсильных эмоций нуждается в сверхсильных выражениях. Перевод матерного диалекта в разряд цензурных, печатных выражений сделал эти выражения не то синонимом медицинских терминов, не то просто обычной повседневной бытовой речью. Разве это обогатило русский язык?

Когда Боря отслужил в армии, его взял на работу в авиаинститут ректор, Вадим Григорьевич Кононенко. Еврея взять в ХАИ даже Вадиму Григорьевичу было нелегко. Но взял – и не пожалел. Боря проработал в ХАИ много лет, до отъезда. Боря много и хорошо работал в авиаинституте – не знаю, как он назывался, но занимался он всевозможной культурно-просветительской и организаторской работой со студентами. Человек он культурный, музыкально и филологически образованный, очень активный, принес на этой работе много пользы и даже премий для ХАИ в разных конкурсах и во Всесоюзном конкурсе между командами КВН.

После свадьбы Бори и Кати жили мы в следующем составе: Катя, Боря, Славик, мой сын Петя, Оля, (наездами – Люда) и я. Денег надо было довольно много. Петя, Боря и Оля зарабатывали немного и вносили деньги только на питание (чего, однако, все равно и на питание было мало!), но я на все докладывала и все время старалась везде заработать, хотя зарплата у меня была большая (для сравнения: Оля зарабатывала в «Оперной студии» 100 рублей, Петя – 120, Боря – 140, Катя пока не работала, Славик – тоже, а я – 320 рублей).

Лекций я читала много. Как-то я к 8 Марта прочитала лекцию о творчестве крепостного мастера Аргунова, показала его работы; рас-

сказала о Прасковье Жемчуговой, показала ее портреты и прочитала сложенную о ней народную песню. И вот после того, как я рассказывала о Прасковье Жемчуговой и о музыкальной деятельности семьи Шереметевых, ко мне подошли парни (это было в рабочем общежитии) и благодаря меня за лекцию, они сказали: «Вот Вам какое большое спасибо... Такая была лекция хорошая. Рассказали Вы нам о хорошей женщине; красивая она была и портреты показывали. А то нам на каждой лекции все про сифилис и гонорею рассказывают и снимки цветные показывают про это – очень некрасивые. Вот Вам какое спасибо!» (и руками показал, какое большое «спасибо»).

Свои лекции об изобразительном искусстве я начала с итальянского искусства XIV в. и вела весь цикл еще при Ольге Всеволодовне, после выступления Н.С. Хрущева в Манеже в ноябре–декабре 1962 года. Мой семинар для преподавателей был, наверное, в марте 1963 года, а в конце этого же учебного года, как следствие постоянных вопросов со стороны студентов, начались и мои лекции. Сначала я не имела в виду рассматривать изобразительное искусство в таком значительном объеме, но студентов приходило все больше; они обращались ко мне со столь разнообразными вопросами, что отвечать на них становилось все труднее: требовалось хоть как-то систематизировать все это множество – готовиться одновременно сразу ко всем их вопросам было просто невыносимо, я «утонула» – мои-то знания тоже были весьма ограничены.

Я, конечно, понимала, что и икона, и лубок, и народные поделки, и примитивисты, и Эль-Греко, и Ренуар – все это великое настоящее искусство. И со всем этим приходили ко мне мои слушатели. И все хотели узнать все сразу.

Все это было очень интересно: от меня мои студенты получили множество новых впечатлений... А уж сколько узнавала я сама! Сколько прочитала!.. Все время надо было читать, узнавать и обо всем этом думать, обо всем подбирать материал, что показать...

У меня занимались полтавчане – они любят свой город, один из старинных городов, со своими традициями.

Во время проведения Дней Полтавы начался разговор с вопросов о традиционных полтавских вещицах (народных фигурках, ларцах, вышивках, картинках), перекинулся на лубок, на изделия художественного ремесла других областей, не только Украины. Мы все пытались «объять необъятное». Но – увы! Это оказалось совершенно невозможным! Но как жаль, как жаль! Тем не менее, мы все равно стремились к этому.

Сожалея об этой «невозможности», чтобы хоть что-то «объять» и привлечь, пришлось делить все на циклы. Сложилась следующая система. Лекции мои в общежитии проходили с 1962–1963 учебного года по 1989 год почти каждый месяц по 2 раза. Отменялись лекции только из-за моей болезни – при том я, обычно, если и заболела, то тянулась изо всех сил, чтобы довести до конца свою работу, а в больницу ложилась в то время, когда занятий по расписанию уже не было (итого 16–17 лекций за учебный год). Кроме того, в последние годы, уже при Юрии Марковиче, я иногда уезжала на повышение квалификации.

Таким образом, было прочитано и показано в слайдах Западно-Европейское искусство с XIV по XIX вв.; русская икона (в этот цикл вошли также и сведения, и слайды об убранстве русской церкви и о церковной архитектуре); русский лубок; художники-примитивисты; основные направления современного изобразительного искусства XX в. (сюда вошел также цикл «Художники-антифашисты»).

А как же быть – русское искусство не могло же остаться вне поля зрения?

Русское искусство – это тоже ведь слишком много; естественно, пришлось отбирать, рассказывать по темам. Сокращать то, о чем сравнительно легко можно было прочитать; но выделялись циклы мне особенно дорогие, не стандартные, тесно связанные со всей русской культурой XVIII–XIX вв. Я очень любила некоторые разделы истории русской культуры этого периода.

Поистине наша русская культура вышла вся из XIX в. – язык, литература, живопись, музыка – и все это оказало громадное влияние на

всю мировую культуру. Ростки всех искусств и наук, начала всего в нашей истории культуры – это все XIX в.

И тогда рождались циклы о разных явлениях культуры в XIX в. И опять, по 2 раза в месяц проходили мои лекции.

Только сейчас я как-то посчитала – сколько же мною всего прочитано лекций? И даже пришла сама в полное недоумение и удивилась ужасно. Все эти лекции читались в мое свободное от работы время и не только не оплачивались, но каждая лекция сопровождалась слайдами, изготовленными при немалых моих денежных затратах... Это же более 300 лекций! Впрочем, считаю я, конечно, плохо, но все же... Я сама как-то перестала понимать – как это я смогла... Где уж было понять Щегловой – зачем я это делала?... А и вправду – зачем?

Может быть, это та самая пресловутая «воспитательная работа» преподавателя, которую я даже и признавать-то не хотела на протяжении всего долгого срока своей преподавательской работы? Не признавала... А что же делала, как не эту самую, ну, ее! – воспитательную работу – и в лекциях, и в походах? Да, что-то, Екатерина Дмитриевна у Вас с логикой не совсем... Вы ее, эту логику, 3 раза на экзаменах сдавали и все на «отлично». И, как видно, сдали эту логику, совсем сдали... ведь как-то нелогично Вы жили. Весьма нелогично...

Чем больше я читала о XIX веке, тем интереснее могла я рассказать об этом, тем больше хотелось мне увлечь своих слушателей тем, чем была увлечена я сама.

Конечно, за столько лет было рассказано и о русской парсуне, и о русской исторической живописи. Ведь основателем Харьковского художественного института был Саблуков, ученик Лосенко.

И «передвижники» тоже вошли, «вдвинулись» в нашу аудиторию вместе со стихами – и русская природа, и русская история. И обо всем этом стихи – как много я прочитала тогда стихов – отбирала, даже вполне осознано по плану. Так, например, о книжной иллюстрации я не очень-то много рассказывала, но о Петербурге XIX в. показывала слайды – иллюстрации А. Бенуа к «Медному всаднику» и читала, наслаждаясь сама...

Показывала иллюстрации к теме «Петербург XIX века – его архитектура», читала Пушкина... Я так любила «Петра творенье», в котором прошла моя молодость и – честное слово! – этой любовью заражала и свою аудиторию.

Читая стихи Пушкина, я как бы мысленно шла по городу... и со мною вместе в этом городе, прекрасном и неповторимом, возникали перед моей аудиторией они – незабываемые люди той эпохи.

Декабрист Лунин писал: «В обществе стала мода на благородство и честь», – вот об этом времени, о XIX в., который оказал такое громадное влияние на всю современную культуру, о «моде на благородство и честь» хотела я рассказать своим слушателям – рассказать и показать им «лица эпохи» – портреты.

Лицо эпохи – лица эпохи... Портреты. Тот портрет значим, который улавливает в личности портетируемого нечто самое важное, самое главное, его «самость». Художник – не фотограф (хоть фотограф, уловив это самое, особое в человеке, именно тогда становится художником). И мне удалось собрать большую коллекцию слайдов портретов (от парсуны до начала XX в.). За XVIII–XIX вв. мне удалось показать моим слушателям не только портреты, пользующиеся известностью, не только те портреты, о которых было известно, кто на нем изображен, история этого человека и автора. Но мне удалось также собрать и показать целую боль, например, известно, что это помещики, допустим, из-под Ярославля, или что это купец, или дочь, или жена купца. Иногда даже нет ни имени, ни фамилии, иногда неизвестен и автор... И тем не менее, вся эта большая портретная галерея – это лицо эпохи, это все собрано и спортретировано людьми, которые представляли собой культуру этого периода; равно и художники, и сами персонажи портретов – это отражение того времени и его культуры.

Художник – это не зеркало, хоть он и отражает эпоху. Художник – это личность; воспринимая эпоху, он перерабатывает ее творчески, а созданное им художественное произведение воздействует на зрителя совершенно особым образом – в этом и есть чудо искусства. Мы ви-

дим этих людей, мы их понимаем, мы их узнаем, мы их любим или осуждаем.

Это ведь верно, что лицо эпохи – это портреты. В мое время, как реакция на «навязывание искусства», возникла потребность в художественном самовыражении личности (кстати, и так называемая «бардовская песня» – это тоже стремление уйти в сфере искусства от навязывания коллективных чувств и эмоций, стремление выразить личное, индивидуальное). Тогда же в среде особенно студенческой молодежи, именно как средство проявления своей индивидуальности, и именно в 60е гг. XX в. возникла также и мода... на бороды. В институтах даже требовали сбривать их. Просматривая книги о русской общественной мысли, глядя в фотографии русских общественных деятелей 60-х гг. XIX в. – столетней давности – я вдруг увидела сходство наших «бородатых юношей» с деятелями того столетия.

А разве не остались теми же представителями русской прогрессивной интеллигенции мои современники, даже мои дети? Как у Евтушенко: «В каждом русском настоящем где-то спрятан декабрист...» Верилось в возможности перестройки. Были надежды... Все же хрущевская оттепель давала к тому определенные предпосылки... А разве не осталась той же духовная сущность лучших представителей русской интеллигенции – служить своими делами интересам народа?

И вот тут должна Вам сказать, что я как-то совершенно иначе отнеслась к этой теме, чем это можно было предположить. Да, я действительно показывала русские портреты. Я показывала не только портреты известных авторов, но я использовала портреты из провинциальных музеев, авторы которых остались неизвестны. Но эти портреты настолько высоки по своему художественному уровню, настолько ярко по индивидуальным человеческим характеристикам, что они давали целую картину интеллектуального и культурного развития разных слоев русского общества в разное время с конца XVII по начало XX вв. (Использовались слайды, сделанные по альбомам: «Калининская картинная галерея», «Ярославль. Картинная галерея»,

«Переяславль-Залесский», «Современники Пушкина», картины из Третьяковской галереи, Русского музея и Эрмитажа).

Более всего я сосредоточила свое внимание на женском портрете, как всегда широко привлекая материал из поэтических произведений, прозы и даже из периодической печати. Естественно, что и без использования серьезных исторических исследований я не могла обойтись при подготовке и чтении этого цикла (на целый учебный год).

Я понимала, что в литературу, равно, как и в живопись, эти женщины пришли из жизни, из крестьянских семей – героини Венецианова, Аргунова, Тропинина, Некрасова; из чиновничества и купечества – героини Федотова и Островского (их же мы видели и на картинах Ярославского музея); из разночинной, чиновничьей, купеческой среды – героини Федотова и Достоевского; из дворянских семей – весь «круг Пушкина», декабристы и их жены, героини Тургенева.

Все это характеры и идеалы, ставшие идеальными моделями для подражания и образцами для последующих живых героинь. Они из искусства шагнули в жизнь, разбрелись по жизни, став ее строительницами, активными участницами, героинями. Это одна из удивительных особенностей русского искусства XIX в. – жизнь его, искусства, героинь, в реальной повседневности.

В каком-то смысле без них, без этих героинь искусства XIX в. не было бы ни героинь, ни героев Великой Отечественной войны. Только воспитанные на гуманнейшей русской литературе люди смогли стать и стали героями, которых мы с вами уже знали лично.

Ю.М. Лотман (о нем несколько подробнее – ниже), говоря о декабристах, и в частности, о женах, поехавших в Сибирь, рассказывает о тех романтических образцах (литературных и в жизни – Н.Б. Шереметева), за которыми следовали в действительности эти героические женщины; он считает это следование романтическим образцом поведения, «знаком» эпохи романтизма. Но разве следование прекрасному, пусть и романтическому образу героя в жизни, характерно только и именно для той эпохи?

Как ни одна литература мира, русская литература и русская исто-

рия представляют всем ее читателям обширнейшую галерею образов (и женских и мужских), но особенно женских, ставших образцами для подражания и в XIX, и в XX вв. Может быть, это произошло потому, что из-за цензуры все вопросы общественной жизни поднимались, и их возможные решения предлагались лишь в завуалированной, художественной форме?

Не мною замечено, что в России поэт – больше, чем поэт, писатель – больше, чем писатель. В России же, особенно в советское время, единственно возможными формами самовыражения и выражения хоть каких-то «несанкционированных идей» стала литература. При этом отметим, что были десятилетия, когда и эти жалкие возможности было невозможно осуществить, и все же, скажем, было время, когда хоть что-то, но все же «дозволялось» – это время так называемой хрущевской оттепели (1953–1962 годы) и время перед так называемой «перестройкой» – 80-е годы. И опять тогда и тем более поэт был в России больше, чем поэт, а писатель – больше, чем писатель; они – поэты и писатели писали о том, о чем нельзя было сказать открыто. Потому и были они больше, чем поэты и писатели. Это все вещи общеизвестные.

Писать о литературе этого периода – это совсем другая область, не задача моих мемуарных записок. Я же не могу не остановиться на нескольких именах этого периода лишь потому, что рассматриваю их явление по той роли в воспитании читателя и слушателя, которую, как я надеюсь, видела не только я, поскольку пользовалась плодами их работ в своей лекционной практике. Да, да, целый ряд писателей, некоторые поэты и два писателя и одновременно ученых-историка были в 60–80-е годы больше, чем поэты и писатели для читающей русской публики.

Н.Я. Эйдельман и Ю.М. Лотман были учеными историками и авторами увлекательных произведений, одновременно художественных, научных и популярных – что само по себе удивительно! Ю.М. Лотман при всем интересе читателя к его произведениям, все же оставался больше ученым. Н.Я. Эйдельман, оставаясь ученым, обладал редчай-

шим даром создавать работы действительно научные, написанные на основании скрупулезно изученных разнообразных источников: по захватывающему интересу – романы, по абсолютной правдивости – исторические исследования.

Оба эти замечательных историка – мои современники – занимались во многом пересекающимися вопросами: время и люди часто были одни и те же... Их героями были Радищев, декабристы и их жены; Пушкин, Грибоедов, Суворов, Кутузов.

Эйдельману, например, принадлежат книги: «Радищев», «Апостол Сергей», «Пушкин и декабристы», «Лунин», «Герцен против самодержавия», «Последний летописец», он написал также книгу о Грибоедове и о созданной им торговой компании; накануне своей кончины завершил книгу о Раевском.

Лотману принадлежат книги: «А.С. Пушкин» (биография), «Комментарий к Евгению Онегину», «Беседы о русской культуре», «Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX вв.)», «Письма русского путешественника» (о Карамзине).

Оба этих замечательных человека обращались в прошлом к героям, к людям, достойным не только изучения, но и преклонения, а во многом – и подражания. Не обращаясь к великим характерам прошлого разве донесли бы они эти великие характеры до нас? Подобно тому, как жены декабристов вдохновлялись жизнью Н.Б. Шереметевой, а героини Тургенева и Толстого стали образцами для подражания для многих женщин и девушек конца XIX – начала XX вв., разве не стали эти великие характеры образцами и для нас? Не искали ли эти мыслящие историки в прошлом уроков на будущее? Не стремились ли они показать нам историю, чтобы мы, потомки, извлекли из истории уроки? Когда Эйдельман показывал, как единственный известный в истории раз привилегированный класс выступил против своих привилегий в интересах народа, не возникала ли мысль о тех привилегиях, которыми пользуются наши «слуги народа»?

А если все III отделение выпило (оно праздновало свой юбилей в полном составе, но списков состава не велось!) 35 бутылок шампан-

ского – то сколько бутылок понадобилось бы для одного московского отделения КГБ? И при этом, конечно же, возникало некое предполагаемое количество его членов... и количество возможного для употребления спиртного. История оказывалась волне увязанной с современностью.

Нет, не дурак был Иосиф Виссарионович! Очень похоже, что по его устному указанию – «не надо об этом» – столько лет не публиковалось ничего большими тиражами и для массового читателя о декабристах. Не в пользу советского строя и общества свидетельствовала история декабризма...

Ведь и 1-й том фундаментальной работы М.В. Нечкиной «Декабристы» увидел свет лишь в 1955 году. То есть уже после смерти Сталина.

Сам Ю.М. Лотман – участник Великой Отечественной войны. Н.Я. Эйдельман в ней участвовать не мог – он родился в 1930 году. Но отец Эйдельмана в 50 лет ушел добровольно в ополчение.

Известные из биографий Ю.М. Лотмана и Н.Я. Эйдельмана факты говорят о том, что оба они испытывали на себе давление государственного антисемитизма. Ю.М. Лотман не учился в аспирантуре, защищая диссертацию, работал в Тарту. Н.Я. Эйдельман после окончания ленинградского университета был принят лишь на работу в заводскую школу в Орехово-Зуеве; как он сам острил – он узнал себе цену, так как за его прием на работу кто-то кому-то выделил 2 тонны цемента! Дело происходило в начале 50-х годов – в Москве еврею «устроиться» на работу в соответствии с дипломом было почти невозможно. Эйдельман ездил в электричке по 3 часа в один конец; преподавал в этой школе физику, историю, иностранный язык, кажется еще и географию и астрономию; при этом он занимался историей в архивах и читальных залах – уж я-то понимаю, сколько и как интенсивно он работал! Он обладал феноменальной памятью, громадной эрудицией и удивительным чутьем на архивные материалы. Это был блестящий лектор, остроумный и увлекательный собеседник.

А биография его складывалась очень не просто!

Отец Эйдельмана, добровольно ушедший на защиту Родины в Отечественную войну, был репрессирован, и из лагеря его освободила лишь смерть Сталина. Эйдельмана исключали из комсомола; он был свидетелем обыска в их доме; его допрашивали на Лубянке; в 80-е годы ему стали слышны, притом явственно, черносотенные окрики с советом убираться вон из России.

Ни он, ни Лотман не уехали из Союза именно потому, что для них русская культура была не только их средой обитания, их «домом», но самой их жизнью.

Преподаватели литературы и истории знали имя Юрия Михайловича Лотмана. Его работы в первые 15–17 лет его педагогической и исследовательской работы в Тарту были посвящены вопросам общественной жизни конца XVIII – начала XIX вв.; работы эти были необычайно интересны не только для специалистов, но просто интересны в самом обычном смысле слова; однако пользовались ими преимущественно специалисты.

Лишь после его занятий жизнью и творчеством А.С. Пушкина его имя стало известно в весьма широких кругах. Его работы этого периода издавались в помощь преподавателям литературы, но сразу же рамки их распространения становились все шире.

Я заметила для себя это имя, но как-то не сразу связала его с университетом города Тарту. Но вот я стала слышать то от харьковских филологов, то от московских своих друзей, что почему-то очень способная гуманитарными науками интересующаяся молодежь уезжает (или ездит эпизодически) в Тарту. И тут я вдруг поняла: есть в Тарту некто, кто стал главой школы филологов этого периода. И тогда связалась эта как бы вновь родившаяся в России способность возникновения гуманитарных научных школ с именем Ю.М. Лотмана. Учившийся в ленинградском университете, стал он поистине главой как бы «нового» (для моего времени) явления. В Лотмане вновь возродилось историко-филологическое направление наук, так прославившееся в XIX – начале XX вв. в России. Но во второй половине XX в. вероятно не случайно шло как бы дробление, расчленение

этих наук на многие их частные направления, на вспомогательные науки (например, разделение археологии). Отчасти это объясняется развитием техники, но также и невозможностью создать некую концепцию в условиях сталинской диктатуры. Вспомним «работу» Сталина о языкознании! Под нее требовалось подвести любую концепцию! Так, при любой публикации исторического и литературного характера, также и при оформлении диссертации, список литературы и источников начинался с пункта «Первоисточники», и следовал список работ Сталина, Ленина, Маркса, Энгельса (именно в таком порядке). Далее шли уже собственно источники (например, как опубликованные, так и архивные), цеховые уставы, городские хроники, торговые договора – то есть те самые исторические источники, на которых и основывалось данное исследование – они-то и являлись по смыслу своему «первоисточниками», но их так не называли; далее шел список литературы по данному вопросу на русском и иностранных языках. Этот странный термин – «первоисточники» – особенно дико звучал, например, в отношении работ Сталина и проблем цехового строя в средневековых европейских городах – это та тема, которой я занималась.

Да! Но исходить-то в своих выводах я была обязана только из духа и буквы сталинских установок, базироваться на цитатах из этих работ.

На моих глазах история и филология настолько отделились друг от друга, что стали казаться как были совершенно не связанными друг с другом. Но именно историко-филологическое направление в изучении прошлого открывает в этом прошлом для нас зарождение и развитие культуры. Именно историко-филологические науки в их нерасторжимом единстве, в их неразрывности показывают нам динамику развития культуры и, следовательно, общества. Но это обстоятельство на время как бы ушло из поля зрения наших исследователей. Во второй половине XX века было создано много замечательных исследований как в истории, так и в филологии, но это были исследования, посвященные частным проблемам. Но уже давно не было (а в то время и не могло быть на таком глубоком уровне) исследований историко-фи-

дологического характера. Ибо такая обобщающая работа требовала создания концепции, что было невозможно при Сталине.

В своей бывшей области – медиевистике – я могу назвать целый ряд крупных ученых, имевших фундаментальные исследования. Но их исследования были посвящены все же отдельным проблемам: М. Смирин – Крестьянской войне в Германии; А. Неусыхин – аграрному строю раннего Средневековья; М. Барг – особенностям средневековой культуры; В. Стоклицкая-Терешкович – развитию средневековых городов, Я. Зутис – проблемам развития и истории Прибалтики; всех перечислять не имеет смысла. Но их работы известны лишь специалистам в определенных областях. Их имена – тоже. Поистине широкой известностью пользовались лишь два историка, два моих современника – Ю.М. Лотман и Н.Я. Эйдельман. Их читает вся читающая публика (может быть, следует здесь говорить обо всем этом в прошедшем времени?). Не знаю, что читают сейчас в начале XXI века, но на протяжении 60–90-х годов XX века эти два историка пользовались вполне заслуженной и, может быть, даже недостаточно оцененной популярностью. Может быть здесь слово «популярность» вернее было бы заменить словом «слава».

Поистине, трудно сказать: что же является предметом исследований Лотмана. История? Филология? Семиатика? Психика давно ушедших людей – и великих и совсем обычных? Их быт?

Ю.М. Лотман использует часто письма, дневники и другие материалы из жизни обычных людей (то есть незначительных), но людей, именно характерных для своего времени; он показывает нам, как через их жизни, их дома, их семьи проходит история; как их жизнь и их действия в историю вливаются, ее, историю, делают. Но нельзя понять действия и поступки этих людей, не поняв, не вникнув во все особенности их жизни.

И Ю.М. Лотман исследует эту прошедшую жизнь во всех ее многообразных проявлениях. Ничто не остается без внимания – карточная игра и бал, маскарад и военный парад, нравы помещиков и нравы офицеров, дуэльные обычаи и сватовство... И только поняв, предста-

вив себе все это и поняв чувства этих людей, можно понять и их поступки... Вот поступки их и есть история; вся их жизнь – это история в ее всеобщем значении.

Такое понимание истории, такое ее изучение требовало и широчайшего культурного кругозора, и громадных филологических знаний и знаний во многих чисто материальных областях (ремесла, кухни, мод), не говоря уже об исторической обстановке. Даже и теперь – после всего, что мы узнали благодаря Ю.М. Лотману – нелегко вообразить себе жизнь того времени.

И Лотман, и Эйдельман были люди русской культуры: они с ней сроднились, слились, стали ее летописцами, апологетами, одновременно учеными историками и поэтами, воспевшими подвиги великих характеров конца XVIII – первой половины XIX вв.

Давно известна особенно действенная роль русского романтизма и влияния его на жизнь, даже на повседневную жизнь русского дворянства. А разве мои современники и сверстники не искали для себя – «делать жизнь с кого»? Но уже был развенчан культ Сталина... Многие очень многое знали и «делать жизнь» по совету Маяковского «с Феликса Дзержинского» не хотели.

В головах наших перемешивались и романтические идеалы, и патриотизм, отчасти естественный, отчасти насаждаемый; в какой-то степени каждого коснулось и воздействие культа Сталина. Хоть и развенчанный, он как-то на нашей психике отложился. Да, мы выбирали для себя образцы для подражания... Это было совсем непросто. Вопросы, пожалуй, состояли, во-первых, в том, что выбрать образцом, и кто этот образец олицетворял, а во-вторых, насколько ты мог следовать этому образцу в своей собственной жизни. Впрочем, решение этой задачи в жизни каждого человека и есть вся его жизнь; но мысли такие, несомненно, возникали – во всяком случае у тех, у кого вообще были в голове мысли.

В конце 50-х – начале 60-х гг. появилось некое новое (хорошо забытое старое) явление – в группах молодежи, особенно, да и вообще при встречах друзей – песни под гитару в узком кругу. Первые мо-

лодежные концерты с выступлениями самодеятельных поэтов, чаще всего аккомпанирующих себе на гитаре, не приветствовались начальством ни в комсомольском, ни в партийном кругу. Но постепенно этот жанр становился поистине самым распространенным молодежным жанром. В конце 50-х гг. становится особенно известен Булат Шалвович Окуджава – вот он и стал истинным выразителем настроений прогрессивной интеллигенции того времени.

Как долго мы не слышали таких слов: благородство, честь, достоинство... Как давно мы вспоминали, пели, читали о женщине – работнице, летчице, капитане – о ней, как о «лучшем друге человека»!.. Но «Ваше величество Женщина!» – за много лет впервые произнес Окуджава; как высока лексика его стихов и песен, какой прекрасный контраст с полублатным, полуграмотным словарем многих песен тех лет. Какое противопоставление восхвалению секса!.. Поистине он стал для многих героем нашего времени. Ушел в армию раньше, чем это было по возрасту, до призыва; нашел в войне, как он пишет, «теплое место в окопчике», воевал в пехоте, «откупился от войны» раной – возненавидел войну навсегда, стал последовательным пацифистом. Честно воевал, зная, что его отец был расстрелян, а мать почти на 30 лет посажена в лагерь, но он защищал свое отечество. Для очень многих он стал именно тем героем, тем образцом, кто жизнь свою прожил в соответствии со своими взглядами. И он сделался примером. Ему стремились подражать, он был тогда «властителем наших дум».

Совесь, благородство и достоинство –
 Вот оно – святое наше воинство.
 Протяни ему свою ладонь,
 За него не страшно и в огонь –
 Лик его высок и удивителен,
 Посвяти ему свой краткий век.
 Может, и не станешь победителем,
 Но зато умрешь, как человек.

А какие, казалось, позабытые слова: святое воинство, лик его высок и удивителен. А оказалось, что и слова эти еще живут в нас; что с

этими словами возрождаются и чувства, тоже как бы забытые до поры до времени.

Не знаю, многие ли смогли прожить свою жизнь, как этот живший среди нас романтический и такой реальный герой – кумир молодежи, образец для многих в 60–90-е гг. XX в.; но если верили ему, подражали ему, старались быть и жить как он – это очень хорошо.

Именно это и было важно для меня в моей так называемой «воспитательной работе» со студентами (которую я-то... и не признавала!). И, конечно, те имена, о которых я пишу в этом разделе в своих воспоминаниях, выбраны мною именно по той роли, которую играли они в моей работе. Как не вспомнить о Лунине, повторяя про себя стихи Окуджавы: в то время «в обществе стала мода на благородство и честь». И я пропагандировала именно эту моду...

В 1971 году у моей дочери родилась дочь – Катюша. На много лет она стала для меня, быть может, «главным человеком» моей жизни. С четырех лет она жила в моей комнате: я с ней читала книжки и рассматривала картинки; с ней занималась немецким с четырех лет.

Старшие дети уже стали совсем взрослыми; у Мити уже был сын, он старше Катюши на 2,5 года, и часто гостил у нас. Оля, как и все, «дежурила по детям» – график разрабатывался по часам и дням недели. Катя-дочь попыталась еще раз учиться, но потом отчаялась и стала работать. Лет с шести маленькая Катя ездила со мной на все мои лекции в Пятихатки – там я читала лекции четыре года, по два раза в месяц; за мной присылали машину, и девочка, даже если что-то не понимала, потом спрашивала меня и очень многое запомнила и полюбила за это время. В 1975–1976 гг. наша Оля вышла замуж и уехала к мужу в Хабаровск. Окончила институт и вышла замуж Люда; вскоре она родила дочку, и тоже часто они все гостили у нас. Я помогла ей с квартирой деньгами, и у них теперь была трехкомнатная квартира; Славик стал работать и тоже давать деньги.

Теперь мы ходили в походы и по Украине, и по Кавказу с Борей, с маленькой Катюшей, с нашими друзьями, Голодцами и Уринсонами. И Катюша подрастала и побывала уже со мной во многих местах

Союза: в Прибалтике, Москве, Ленинграде, Киеве, на Урале и во Владивостоке, даже в Германии. Одно лето мы с ней были в колхозе на Харьковщине – гостили у моего бывшего студента. Там мы и на огороде работали, и Катюшка коров пасла по дежурству – я думаю это ей все было очень интересно и полезно.

Пришел и еще один человек в мир – родился у Катюши сын Кешенька, и подрос уже. Когда ему было два года, два лета я забирала Катю и Кешу, и мы жили недалеко от Туапсе у моей старшей двоюродной сестры Оли – опять ходили в лес и в горы.

Но это все в отпуске! А весь учебный год дети подрастали, учились; а я? Я – тоже училась – готовила лекции и работала над задуманной книжкой для начинающих немецкий язык; и все время читала лекции и в институтском общежитии, и во многих местах в городе. И чем больше я читала о русском искусстве XIX в., чем больше связывались для меня история, искусство и литература XIX в., тем больше я этим увлекалась и тем детальнее старалась я вникнуть в эти явления русской культуры. Тут мне открылась самая характерная черта русского искусства, начиная с XIX в. – его демократичность, его совестливость.

Но именно эти качества только могли быть воспитаны (и были воспитаны) несколькими поколениями русских женщин.

Именно поэтому, рассказывая и показывая портреты, свое особое внимание я сосредоточила на женских портретах и женских судьбах.

Меня всегда очень радует, если я сама прихожу к каким-то выводам, а они подтверждаются потом в работах и высказываниях специалистов по этому вопросу.

Я помню, как я радовалась, когда Микаэл Таривердиев во время беседы в нашем институте говорил о путях развития современной песни и современной оперы. Тогда начала распространяться так называемая авторская (бардовская) песня, и многие мои студенты – профессионалы-музыканты – отнеслись свысока к этому возникшему жанру; я же говорила об особой роли этой песни в нашей жизни, о той нише, которую эта песня заполнила, о ее развитии. И было мне очень приятно услышать сходные точки зрения от Таривердиева.

А занимаясь русским женским портретом и думая о формировании русской культуры XIX в., я самостоятельно пришла к тому, какую необычайно важную роль играли в ее развитии русские женщины. На поверхности лежала и связь роли русской женщины XIX в. и декабристов. Громадную роль в воспитании русской дворяночки сыграли няньки, тетки, бабушки, матери. Эта дворяночка потом стала матерью и женой декабристов, стала подругой многих революционеров. Но не одни революционеры творили историю: историю творили все слои русского общества. В скором будущем, уже во 2-ой половине XIX в., женщины из подруг, жен, воспитательниц сами превращаются в деятельниц, буквально во всех аспектах русской жизни. Русская женщина стала подругой и предпринимателей, и издателей, и купцов, которые сыграли в последующее время, скажем, уже в конце XIX – начале XX в. такую громадную роль в развитии культуры.

Показывая женские портреты, как известные, так и неизвестные, рассказывая истории многих известных женщин того времени, я старалась показать и возрастающую роль женщин в истории общества и отражение этой роли в литературе и в искусстве.

Русская женщина зачастую и сама стояла во главе «дела», сама становилась предпринимателем. Русская женщина стала актрисой – явлением культуры...

Что такое культура? Трудно это объяснить. Это громадное нечто, что окружает нас всех, и что одновременно заключено в каждом из нас – в большей или в меньшей степени. И вот эта-то общая культура, русская культура, и отличается невероятным человеколюбием, невероятной гуманностью. В этом смысле нет более в мире такой культуры, как русская. Вот она-то и создавалась в значительной мере под громадным влиянием женщин и женщинами, которые воспитывали своих детей, которые создали круг читателей, и портреты которых были сделаны русскими именитыми и, очень часто, неизвестными нам художниками...

Теперь, когда вышли работы Ю.М. Лотмана о русской культуре, можно считать доказанным, что русская культура XIX в. и, в частно-

сти, русская поэзия возникла и сложилась под громадным женским влиянием; что роль русской женщины-дворянки XIX–XX вв. во многом определила русскую культуру и ее особенности. Некоторые из этих женщин были прославлены поэтами – мы о них знаем. Некоторые оказывались сами поэтессами и писательницами – как Бунина, например (писатель И. Бунин – ее внучатый племянник).

Некоторые портреты, показанные мною на лекциях (слайды были изготовлены по альбомам провинциальных русских музеев), числились как портреты неизвестных авторов; часто неизвестны и имена портретируемых. Но все равно эти женщины прославились: их лица говорили об их доброте, интеллекте, о высоком моральном облике. А высокое мастерство даже и неизвестных художников говорит об уровне искусства того времени.

Поистине – и лица Эпохи, и лицо ее – Эпохи – в искусстве!..

Вот так часто от даже безымянного женского портрета стали мы на лекции вспоминать достойные выдающиеся характеры этого времени и пришли к декабристкам – и уж, конечно, речь пошла о портретах работы Н. Бестужева. Сама история создания этих портретов, их поисков и публикации – тема интереснейшей лекции. И все это я, конечно, рассказала.

В той лекции рассказала и о книге Ильи Самойловича Зильберштейна о его розыске портретов Н. Бестужева, и о нем, об Илье Самойловиче Зильберштейне, о его выдающемся, подвижнической деятельности о сборе материалов по истории русской культуры, о привезенных им сокровищах, и о том, что могло бы их быть больше (его «выпустили» за границу лишь в 60-е годы. Советское правительство поручило ему собирать материалы, на что выдали ему 10 долларов! И предупредили, что он должен дать отчет об их трате...). Он привез множество ценнейших материалов (портрет Пушкина, рисунки Бенуа и Добужинского и много еще всего – более двух тысяч экспонатов – и вернул 10 долларов, так как все экспонаты ему дарили и отдавали из любви к России и из уважения к нему.

Прочитав множество опубликованных о декабристах материалов,

я что-то стала сомневаться в незыблемости установки о том, что «декабристы были очень даже бесконечно далеки от народа». Очень много я прочитала о том, как солдат отправляли на Кавказ – все те, самые полки, которые участвовали, или были скомпрометированы своими офицерами в период декабристского восстания.

Так... Многие солдаты сочувствовали своим офицерам. Известно, что длительное время существовали так называемые ланкастерские школы, которыми руководили офицеры. Я много об этом прочитала. В этих школах солдаты получали, так сказать, общее культурное развитие. Множество людей во время солдатской службы проходили это обучение.

Сотни людей обучали офицеры в ланкастерских школах на Украине и в Бессарабии. Так, тысяча человек обучалась в столице, тысяча пятьсот – на Украине и еще около полутора тысяч – в Бессарабии. Это все солдаты, которых обучают не только грамоте, но которых развивают в самом широком смысле этого слова. Они на этих курсах овладевают историей. Ну, и, конечно, это все не проходило незамеченным для начальства. Пытались закрыть эти «ланкастерские курсы», но солдаты были настолько подготовлены, что они отвечали ровно то, что было надо начальству. Таким образом, эти ланкастерские школы просуществовали довольно долго, не один десяток лет. Зафиксированы 4000, разве это мало? А сколько осталось неучтенных? Они, несомненно, были: их не могло не быть... Очень даже возможно, а о некоторых полках известно, что и полки, участвовавшие так или иначе в движении (или сочувствии декабристам) были уже несколько просвещены в системе и этих школ, хотя о самом восстании четкого понимания и не имели.

Несомненно, сочувствующие восстанию моряки и солдаты были расстреляны картечью на льду Невы. Нигде нет данных, сколько погибло там солдат, но широка ведь Нева-то! – а писано, что была она «усеяна трупами».

Вот расчет, приведенный в работе Н. Эйдельмана: 122 офицера были осуждены Верховным Уголовным судом в 1821 г.; более 450 – были отправлены (разжалованы) в солдаты. При этом следует учесть,

что многие сумели ускользнуть от следствия, и их причастность осталась все-таки тайной.

Тысячи жителей Петербурга сочувствовали и даже пытались помогать тем, кто был под угрозой. Давайте же учтем при этом большие дворянские семьи, породнившиеся браками, где было принято, чтобы сыновья были офицерами, сколько было связей дружеских, родственных, по свойству, с самими декабристами, с их женами, кузенами, кузинами, соседями по поместьям?.. Ну, некоторые, конечно, испугались после восстания, и особенно после следствия. Но гораздо больше сочувствовали, сострадали. Их число ведь тоже очень велико. Среди дворянства таких сочувствующих – многие сотни.

Известен случай – Генриетта Зоннтаг, приезжая певица, в Большом театре спела романс о судьбе высланных декабристов... Публика плакала... Это всего-навсего деталь, но яркая. Из кого состояла публика? Не только из дворян – самые разные люди посещали концерты.

«Никогда, ни в одной стране мира столь значительная часть правящего класса не выступала против собственных привилегий», – Н. Эйдельман («Известия», декабрь 1985 г.).

Вот тут-то я и стала сомневаться: а были ли декабристы далеки от народа? И даже – «бесконечно далеки»? Ну, хорошо... А что такое «народ»? Разве солдаты, погибшие и оставшиеся в живых – не народ? А петербуржцы – на площади, а публика в Большом театре – не народ? Неужели «народ» – это только совершенно малограмотная, только что получившая освобождение от крепостного права толпа? А что, интеллигенция, разночинцы, дворяне – они что, разве не народ? Они ведь тоже народ.

Ну, хорошо, это разные слои народа. Но ведь эти слои между собой как-то взаимопроникали, взаимно воздействовали друг на друга. И меня поистине потряс один факт, до того мне не известный. И не только мне.

Да широко ли известен тот факт, что за полком, стоявшим на Сенатской площади, в ссылку отправились за своими мужьями 20 солдаток? Справедливо воспет и признан подвиг жен декабристов... Но

широко ли известен подвиг этих солдатских жен? Не затерялись ли их следы в пыли истории? Что известно о них? К сожалению, очень немного. Но то, что известно, наводит на некоторые размышления. Итак, полк, получивший название Московского, ранее проявил себя в героическом сражении под Бородино.

Утром 27 февраля 1826 г. этот полк был построен и под бой барабанов начал марш на Кавказ – в «Теплую Сибирь». Но за полком наблюдали солдатки. Оказывается, жены братьев-близнецов Михайловых неизвестно как, но узнали о повелении царя, успели провести совещание среди солдатских жен, узнали, кто будет командиром – им был назначен Иван Павлович Шипов – бывший член «Союза спасения» и «Союза благоденствия».

Как они это узнали? От кого? Кто-то, значит, сочувствовал им...

Проводив полк (они следовали на расстоянии), к вечеру солдатки отстали.

9 апреля полк прибыл в г. Рыбинск, где должен был ожидать баржи для спуска вниз по реке. В это время солдатам разрешили работать себе на пропитание.

Сначала стали приходиться какие-то женщины и передавать солдатам узелки с едой; на это Шипов распорядился «не препятствовать», т. к. это «оплата за работы от местного населения».

Но к моменту отправления на баржах на пристань прибыла группа из 20 женщин с письмом от местного полицмейстера с просьбой доставить до Астрахани 20 женщин, пробирающихся туда на заработки.

Так. Значит, знали женщины, что погрузка на баржи будет в Рыбинске; знали точно, когда она состоится; добрались до Рыбинска... Как? Получили это письмо от полицмейстера – каким образом? За деньги? Из сочувствия? Чьего сочувствия?

Плавание на баржах длилось 46 дней. В пешем строю 10 июля полк вышел на город Моздок, но по приказу командования полк отправился из Моздока в Тифлис после 2-дневного отдыха. В Моздоке Шипов обнаружил 20 женщин, которые пришли за полком; он разрешил следовать им и дальше.

В Тифлисе 16 августа смотр полка принимал генерал А.П. Ермолов, главнокомандующий на Кавказе.

Ермолов задержался и заговорил с унтер-офицером Петром Федоровым, с которым они вместе участвовали в Бородинском бое.

Ермолов спросил Федорова, не может ли он чем-то ему быть полезен? Федоров рассказал Ермолову о женах и сказал: «Обо мне не извольте беспокоиться, Ваше превосходительство. Я, как все – привычен. О женах наших позаботиться прошу». Ермолов оценил мужество женщин, разрешил им следовать за мужьями. Полк участвовал в боевых действиях, был награжден.

7 июля 1828 г. Сводный полк покинул Тифлис. Его путь пролегал через Владикавказ, Ставрополь, Новочеркасск, Воронеж, Орел. 7 ноября полк прошел по Красной Площади, везя 17 трофейных орудий, отлитых в Тавризе, отбитых в русско-персидской войне.

Вместе с полком в Петербург вернулись и женщины («Культура и жизнь», 12 апреля 1984 г.).

Стоит только попытаться представить себе эти «просторы родины широкой»... Невозможно даже вообразить, с какими трудностями и как преодолевали женщины эти расстояния... Солдаты шли, в основном, в пешем строю, маршем; иногда вот на баржах... А в горах? А беспредельные южные степи?... А пропитание и ночевки?

Невозможно было все это преодолеть без помощи. Чьей помощи? Ну, уж тут вполне можно сказать, народа... Люди помогали... Везде, на всех этапах этого героического женского похода. Солдатки эти были и сами – народ, им и помогал он же – народ. Ну, а кто же был далек и от кого?

Да, конечно, эти женщины восстания не поднимали... Но они любили своих мужей, сочувствовали им. Вопрос: а что знали солдаты? Понимали ли, в какой-то мере, ну, хотя бы своих офицеров? Вероятно, что все же некоторое взаимопонимание между ними существовало.

Очень мало сведений о том, сколько и насколько сочувствия и помощи встретили декабристы и их действия от народа, – но и сочувствие, и помощь несомненно были.

Мало сведений об этом по ряду причин. Во-первых, и сочувствие и помощь скрывали от властей. Во-вторых, власти были на этот раз потрясены тем, что действия против императорской власти исходили от дворянского класса, от тех офицеров, которые были часто и лично знакомы и связаны некими отношениями с великими князьями и императорской фамилией.

Уж если мы, в наше время, тоже поражены тем, что это было единственное в истории Европы выступление дворянства против дворянских привилегий, против своего класса, то как же это оценивалось тогда? Известна острота того времени: «Французские сапожники делали революцию, чтобы стать дворянами... А русские дворяне, пытаясь сделать революции в России, наверное хотели стать сапожниками?»

И тем не менее исследования проектов Конституции, составленных декабристами, показали, что эти русские офицеры стремились к ограниченной парламентарной монархии, некоторые мечтали о республике.

При том, что декабристы были разбиты и наказаны, их влияние на современников было очень важно и велико.

Декабристы – люди, оказавшие колоссальное воздействие на своих современников, люди, подвиг которых длился десятки лет, – до их кончины; этот подвиг перешел к следующему поколению и влиял на нашу историю в XX веке! А не дольше ли? Некоторые свидетельства подсказали мне: важно было бы проследить, как декабристы, их дети, их жизнь, их подвиг – как он, этот подвиг отразился в последующие годы? В конце XIX в.? В XX в.? В наши дни?

И при этом открылось очень много чрезвычайно важных и для меня очень интересных фактов; а поскольку мои слушатели более всего интересовались культурой и ее развитием (как и я сама), то мне важно было показать культурное влияние декабризма в нашей русской истории.

И тут мне открылась совершенная нерасторжимость исторических связей русской культуры XIX в. и современности.

Потомки декабристов... Как удивительны факты о них, которые все же можно найти в литературе.

В одну из годовщин восстания декабристов в Ленинграде в музее-квартире Пушкина на Мойке, 12 директор этого музея, Нина Ивановна Попова, устроила необыкновенную переключку. На вызванные фамилии декабристов отвечали «Здесь...» и вставали их внуки и правнуки. Были потомки Рылеева, Муравьева, Анненкова, Ивашова.

Декабрист Д.И. Завалишин был представлен известным мостостроителем Борисом Ивановичем Еропкиным...

За последние 15–20 лет многое прояснилось в судьбах известных в русской истории декабристов и прогрессивно, патриотически настроенных дворян.

Как мне была интересна тема о влиянии декабристов на наше время, но я так и не смогла собрать нужный материал. Ах, как жаль!

Но, несомненно, еще будут об этом материалы. Вот, например, в конце июня 2005 года по телевидению («РТР-Планета») было интересное сообщение: последняя «потомица» Михаила Бибикова и дочери Никиты и Александрины Муравьевых – Софьи – была в Москве. Ее зовут Ирина Бибикова. Она приехала, чтобы передать в исторический музей Москвы семейную и историческую реликвию – календарь с пометками рукой Софьи Муравьевой. Ирина Бибикова рассказала, что она живет во Франции и много лет собирала сведения обо всех потомках декабристов; ею написана о них книга – она выйдет во Франции...

Как хотелось бы хоть раз взглянуть на эту книгу! Но нет уже надежд на исполнение таких моих желаний. Это лишь мечты и они, увы! – несбыточны!

Но вернемся назад, от квартиры А.С. Пушкина и этого интересного мероприятия к моим лекциям о декабристах и их женах. А т. к. шла я от женского портрета, то пришла неминуемо к семье Бестужевых. Пять братьев – все были участниками декабристского движения, а один из них был и создателем целой галереи портретов декабристов – всего 80 – среди них все женщины, приехавшие за мужьями в Сибирь.

Отец декабристов Бестужевых был тесно связан и с культурной жизнью конца XVIII – начала XIX вв., и с разрешением разных технических проблем своего времени. Он был директором Екатеринбургской гранильной фабрики, потом был президентом Академии художеств в Петербурге. Он автор трактата «О воспитании».

В доме постоянно бывали художники, например, Боровиковский; многие поэты и литераторы. В семье живо интересовались литературой, искусством, педагогикой.

Все его сыновья не только служили на флоте, но были и прекрасными инженерами.

Известно, что моряки из экипажа под руководством Бестужевых руководили установкой колонн Казанского собора и Александрийского столпа – колонны на Дворцовой площади.

Тогда иностранные мастера запросили за эти работы в 10 раз больше того, за что сделали все нужное моряки под руководством морского инженера Бестужева.

Во время службы во флоте и своей жизни в Кронштадте Николай Бестужев много занимался теорией и практикой судостроения, разными инженерными вопросами. Одновременно он обнаружил и блестящие способности в гуманитарных науках – посылал статьи в журналы по искусству, к тому же и сам был превосходным художником; при этом он проявляет и способности, и интерес к естественным наукам, к математике и физике. Его современники, декабристы, считали его гением.

Николай Бестужев всю жизнь любил одну женщину – Любовь Ивановну Степовую. Так высок нравственный, моральный уровень этих людей. Дети Н. Бестужева, его брата Михаила и дочери Степовой сохранили дружбу на всю жизнь.

Сам Николай Бестужев активно участвовал в восстании, был подвергнут суду; каторгу отбывал в Петровском заводе, а поселение – в Селенгинске. В Селенгинске жили Николай и Михаил Бестужевы и их друг, Константин Петрович Торсон. Бестужевы женились на местных женщинах: Николай – гражданским браком на бурятке Евдокии

Эрдынеевой, Михаил – на Марии Селивановой. Оба имели детей, но о них ниже. К Торсону разрешили приехать матери и сестре; лишь в 1817 г. разрешили приехать пожилым сестрам Бестужевым.

Селенгинск и дом Бестужевых стал духовным центром округа. Там работала школа; мальчиков Бестужевы и Торсон учили навыкам слесаря, чеканщика, часовщика, строителя, плотника, ювелира; по окончании школы детям дарили нужные для работы инструменты.

В этом домике увлекались театром и народным искусством, писали стихи, очерки, вели исследования по этнографии, лудили, ковали, шили, шорничали.

Капитан-лейтенант Константин Торсон ранее участвовал в русской экспедиции в Антарктиду под руководством Беллинсгаузена и Лазарева в 1820 г., и именем Торсона был назван один из открытых островов. Но после восстания имя Торсона исчезло с географических карт.

И вот 22 февраля 2004 г. по телевидению передают удивительное для меня сообщение из поселка Беллинсгаузена, из Антарктиды... Там идет освящение только что собранной прелестной православной деревянной церкви старинной архитектуры.

Была она выполнена артелью староверов-плотников на Алтае.

В лесах были найдены и выбраны нужных пород и качества деревья; они срублены и обработаны старинными методами; церковь была собрана там же, проверена, потом погружена в разобранном виде и доставлена в Антарктиду, в поселок Беллинсгаузена, и там уже была выстроена.

Она прекрасна – эта церковь, как были прекрасны церкви Севера, к сожалению, сохранившиеся далеко не все.

Но не умерла их певучая красота...

Вновь родившись на земле, открытой русскими мореплавателями, поет своими колоколами славу своим открывателям это прекрасное творение гениев русского Севера!

И тут... Выступает «шведский предприниматель» Кристофер Муравьев-Апостол... Это он на свои средства заказал колокола,

он доставил их сюда – во славу Родины своих предков. И он говорит ПО-РУССКИ!

Прошло почти 200 лет с той экспедиции и многие сотни лет с рождения деревянного рукотворного певучего чуда – русских северных церквей – но жива бессмертная красота, звучит ее голос и потомок славного русского рода, участников декабрьского восстания 1825 г. в эти торжественные часы – душой вместе с нами, с русскими и говорит на русском языке...

Там же в Селенгинске Н. Бестужев заканчивал задуманный им труд – портретную галерею (более 80 портретов) и жизнеописание каждого, изображенного на портрете декабриста и всех героических женщин, пошедших за мужьями на каторгу.

П.Н. Соколов – однокашник художников Варнека и Тропинина – преуспевающий, работавший при дворе, тоже собирался создать галерею выдающихся деятелей своего времени... но – не успел! Слишком грандиозен был замысел...

А вот А.Н. Бестужев успел написать 80 (!) портретов... но не успел составить жизнеописаний к портретам, он умер, простудившись в дороге, т. к. уступил в кибитке место женщине с ребенком, а сам поехал на открытом сиденье, рядом с возницей.

Николай и Михаил Бестужевы и Константин Торсон покоятся на высоком берегу бурной и быстрой Селенги. Но содеянное ими живет и по сей день.

Дом-музей передан городскому Совету Кяхты, ближайшим другом Н. Бестужева, Дмитрием Старцевым.

Дмитрий Старцев был купцом, довольно известным в тех краях. После смерти Н. Бестужева его дети, Алексей и Екатерина, по желанию Николая, были усыновлены Д. Старцевым (дети ссыльно-поселенца всегда были поражены в правах; чтобы избежать этого, и было предпринято это усыновление).

В Кяхтинском домике бывали многие, ныне известные люди: был в Кяхте известен род купцов Сабашниковых (впоследствии это были

крупные прогрессивные издатели). Сабашниковы дружили с Бестужевыми. Навещал Бестужева знаменитый китаевед Бичурин и многие другие заезжие ученые.

Бывал у Бестужевых и близко дружил с ними И.Ф. Токмаков. Женой Токмакова стала подруга дочери Михаила Бестужева, Лёля, близкая родственница Сабашниковых. (Токмаков распространял подпольные издания А. Герцена). Леля дружила и с Токмаковыми.

В 1883 г. Токмаков поселился в Крыму, в Кореизе с успехом занимался виноделием, участвовал во Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде и во Всемирной выставке в Бордо. Его вина получили медали.

В Мисхоре, где тогда жило 160 чел. (!), Токмаковы строят школу и больницу, в Ялте корпуса для сестер милосердия, в Алуште – пансион.

В этом пансионе жили многие известные люди, например, в 1897 г. М. Горький с семьей.

В 1901 г. в Кореизе Токмаковы построили Народный дом; в нем работали 3 драматических кружка, хор, оркестр народных инструментов. В этом доме побывали Л.Н. Толстой и его жена. Софья Андреевна писала: «Странное сочетание людей играющих: жена доктора, кузнец, фельдшерица, каменотес и графиня. Это – хорошо».

Дочь Токмаковых Мария, в замужестве Водовозова, была издательницей книги Ленина «Развитие капитализма в России»¹⁸.

На сцене народного дома в разное время выступали М. Ермолова, Е. Турчанинова, О. Книппер-Чехова, Ксения Эрдели, Сергей Рахманинов.

В пансионе, кроме М. Горького, жили А. Куприн, Ф. Шалапин, В. Немирович-Данченко, Л. Андреев; скрывался там Л.Б. Красин и многие другие революционеры¹⁹.

А это уже XX век, 90-е годы! Не такое уж и далекое от нас время... Всего-то 100 лет.

¹⁸ «Правда», 11 октября 1979 г.

¹⁹ В. Бараев «В далекой дымке – Олеиз» // «Правда», 11 октября 1979 г.

Из далекого Селенгинска дух дома Бестужевых как бы был перенесен их близкими друзьями (а также Лелей, дочерью М. Бестужева) в Крым; а из гостеприимного дома Токмаковых через живших там их друзей и знакомых, через артистов, выступавших в Народном доме, как по эстафете, распространился по России.

Известно также, что Алексей Старцев (сын Николая Бестужева) сначала уехал на Восток просто приказчиком; потом успешно вел дела и разбогател, стал видным чаоторговцем и коммерсантом. Он продолжал дело отца, создавал школы, библиотеки, выплачивал стипендии.

Он построил первую в Китае железную дорогу. Через его контору в Тяньцзине шли письма из Лондона от Герцена, а с его караванами чая – нелегальная литература, «Колокол» и «Полярная звезда» – в Россию.

Старцев собрал уникальные коллекции рукописных и старопечатных книг и предметов буддийского культа; эти коллекции предлагал купить у него Лувр за очень большие деньги (3 млн. франков). Старцев не согласился и вернулся на родину. На родину он привез и все свои коллекции. Кавалер французского ордена, полученного за работу в качестве переводчика при дипломатических переговорах в 1885 г., он чтит память отца и всю жизнь носил кольцо со вделанным в него куском железа от кандалов.

Алексей Старцев умер во Владивостоке в 1900 г.²⁰ Его дети и дети его сестры, Екатерины Старцевой, жили там же; были в основном инженерами. После Великой Отечественной войны, в 40-е годы, было известно, что все потомки Старцева (Бестужева) во Владивостоке, работают; в основном, представители технической интеллигенции – инженеры, строители, дети учатся²¹.

А это уже 40-е годы XX века, т. е. это уже годы моей жизни! И здесь речь идет о потомках Бестужева, как о... моих современниках!

²⁰ «Комсомольская правда», 18 ноября 1979 г.

²¹ Экспедиция по следам жен декабристов // «Работница», номер к 150-летию, с. 24–27.

Как, оказывается, тесно связаны человеческие жизни одновременностью существования на протяжении двух – всего двух! – неполных столетий!

В годы моей юности широко распространялись карты Союза со стрелками, показывающими движения белых войск и войск интервентов во время Гражданской войны. Не знаю, составлял ли кто-нибудь из историков карту распространения влияния декабристов по России в XIX–XX вв...

Вот пункты (кстати, не все, но главные!) поселения декабристов: Туринск, Красноярск, Тобольск, Нерчинск, Чита, Иркутск, Ялуторовск, Енисейск, Вилюйск, Баргузин, Кяхта...

И из этих точек, как лучи, идет это влияние декабристов по всей России – от Владивостока, Забайкалья, Сибири – в Крым, Калугу, Нижний Новгород, не говоря уже о Москве и Петербурге.

И это распространение не ограничивается Россией. Подвиг декабристов был известен и во Франции. Во Францию шли письма сестрам Екатерины Трубецкой (урожденной Лаваль).

Пачка писем сохранилась в Русско-Славянской библиотеке Парижа. Интереснейшие документы нашлись и в архиве графов Лебцельторнов, обнаружилось письмо также М.Н. Волконской и С.П. Трубецкого. Этими письмами заинтересовался православный священник Иван Николаевич Кологривов. Он изучил все имеющиеся материалы, также и русские, опубликованные к столетию восстания декабристов, и написал книгу в 400 страниц «Княгиня Екатерина Ивановна Трубецкая».

К сожалению, из-за оккупации Франции немецкими войсками книга полностью не была напечатана, был напечатан лишь сильно сокращенный журнальный вариант.

Потомки Трубецких и Давыдовых живут во Франции. Дочь Трубецких, Лиза, вышла замуж за сына Давыдова; их праправнучка Ольга Давыдова-Дакс живет во Франции. Ее муж, Макс Эльброни, тоже вложил (уже теперь) свой вклад в ознакомление публики с историей декабристов; вот как это произошло.

История Полины Гебль (Прасковьи Егоровны Анненковой) известна во Франции по 2-томному изданию записок учителя фехтования Гризье, жившему долго в России, и по роману А. Дюма, в основу которого Дюма положил эти записки.

После ссылки Анненковы переехали в Нижний Новгород, где Анненков стал предводителем дворянства. Полина Гебль продиктовала свои воспоминания дочери Ольге по-французски, так как русским владела не очень хорошо. Ольга же записывала диктовку матери на русском языке, стараясь сохранить все особенности записок.

Макс Эльбронн записки, продиктованные Ольге и записанные по-русски, перевел опять на французский. Самое удивительное, в этих удивительных событиях жизни Полины Гебль – то, что это все правда: Полина действительно пыталась устроить побег своему любимому из тюрьмы при помощи своего соотечественника – учителя фехтования Гризье. Никогда не унывающая, практичная – в ссылке она учила жен декабристов шить и вести хозяйство.

А богатая мамаша – генеральша Анненкова – соглашалась отдать 4000, но не за помощь сыну, а за то лишь, чтобы узнать, была ли Полина обвенчана с ее сыном до ссылки или не была...

А. Дюма, путешествуя по России, был встречен на обеде в свою честь живой героиней своего романа. Даже умеющий изобретать и описывать всевозможные приключения А. Дюма такого приключения не ожидал!

А мы, как Дюма, поразимся чудесам истории и жизни. Ольга Давыдова-Дакс и Макс Эльбронн в 1981 г. были в Иркутске на могиле Екатерины Ивановны Трубецкой²². Может быть, почти в это самое время я и мои студенты тоже как бы «общались» через мой рассказ с этой удивительной женщиной.

Вот они – жизнь и дела декабристов... Поистине все это не только принадлежит истории, но и в прошлое не отходит – это прошлое все время в наших днях...

²² Марк Сергеев «Времена и судьбы» // «Советская культура», 27 июля 1982 г.

Какие сложнейшие чувства влекут Ольгу Давыдову-Дакс, Кристофера Муравьева-Апостола и многих других ко всему русскому? Почему натурализовавшиеся во Франции, в Англии и в Америке русские так часто, бережно, сохраняют русский язык? Что есть в русской ментальности, чего не гасит даже многолетняя жизнь в других странах?

Вот, в конце декабря 2004 года передавали по телевидению (кажется, по НТР) поразившую меня передачу. Большое подразделение русской армии было направлено русским монархом в распоряжение французского правительства для участия в Первой мировой войне. (Как я поняла, у русской армии остро не хватало оружия и боеприпасов – французское правительство за этих солдат и «заплатило» боеприпасами). Русские солдаты прекрасно сражались с германскими войсками, отличились во многих боях, например, на Марне: в частности, в Эльзасе и Лотарингии они сыграли решающую роль в том, что эти земли отошли к Франции. По окончании войны они участвовали в параде победы во Франции. Эта часть русской армии постоянно квартировала рядом с одним из французских городов в Южной Франции. При этом поселке русских была построена русская церковь, и при ней же хоронили умерших и павших в боях за Францию русских солдат. Там возникло русское кладбище.

Эта церковь и это кладбище существуют и до наших дней и бережно охраняются. И не только охраняются! Многие годы – и до наших дней – существует традиция: на Троицын день съезжаются туда русские эмигранты, даже их потомки в третьем поколении из разных стран Европы...

В передаче были показаны документальные кадры. Старики и подростки, дамы и небольшие дети – в траурной церемонии на этом кладбище и на службе на Троицын день. Говорят по-русски! Из разных стран приехавшие – дети! – говорят по-русски! Даже если не очень хорошо владеют русским языком, но такова традиция этих встреч. Впечатление от всего этого потрясает!

Как я жалею, что не записала сразу все данные: название города во Франции, историю сражений этих русских солдат и даты, когда этот

город посетили Н. Хрущев и советский маршал Р. Малиновский, бывший солдат этого славного подразделения русской армии, сражавшегося за Францию!

Глядя на эти кадры, я думала об удивительной традиции – из разных стран Европы потомки русских эмигрантов приезжают поклониться праху русских солдат, погибших за Францию...

Из всех этих солдат всего 17 человек живыми вернулись на родину после революции 1918 года, и в их числе – Р. Малиновский. Нетленна память о прошлом; нетленна и многогранна любовь человеческая – и одна из граней этой великой любви – уважение к своему прошлому, любовь к своему языку и культуре. Как у А. Ахматовой

Как в прошлом грядущее зреет,
Так в грядущем прошлое тлеет.

Может быть, даже не столько тлеет это прошлое в наших днях, сколько светится искрами, из которых и сегодня, кажется, рождается самое светлое и чистое пламя любви и самоотверженности.

Дочь гувернантки в доме генерала Иванова (адъютанта Суворова) Камилла ле Дантю. Она не могла рассчитывать на брак с блестящим кавалергардом, сыном генерала. Но к каторжнику, на вечную каторгу, как поется в народной песне на стихи одного из декабристов, «летит» Камилла «ласточкой».

Она в прямом смысле слова спасает Ивашова своим приездом, т. к. он уже решил на побег, что было равносильно самоубийству в тех условиях. Их счастье длится 6 лет...

Но через 6 лет Камилла умирает, а вскоре умирает и Василий Петрович Ивашов. Остались двое детей. Их воспитывает тетка по отцу, Хованская. Дети получили прекрасное образование; они росли в любви к своим умершим родителям и в преклонении перед идеалами декабристов. Детям прививали чувство верности общественному долгу, бесстрашие в его исполнении. Так, ухаживая за больными холерой,

тетка брала детей с собой в холерный барак. (Вспомним генерала Раевского, отца Марии Волконской, который в критический момент Бородинского боя вывел вперед полка, под пули французов, двух своих сыновей, 11 и 14 лет.. Дух героический, дух самопожертвования!)

Дети помогали тетке учить крестьянских детей. Мария Васильевна (дочь Камиллы ле Дантю и Василия Петровича Ивашова, выйдя замуж, носит фамилию Трубникова (но с мужем она развелась). Мария Трубникова (Ивашова) становится видной деятельницей по женскому вопросу.

Она тесно дружит с Надеждой Васильевной Стасовой и со всей этой очень дружной, активной, прогрессивной семьей. Общеизвестна деятельность Владимира Васильевича Стасова, виднейшего критика искусства второй половины XIX в., его брата – юриста, Поликсены Степановны и Елены Степановны (?) Стасовых. Мария Трубникова также очень дружит и с семьей Серно-Соловьевичей (В. Серно-Соловьевич – организатор первой группы «Земля и Воля»). Показываю портрет Варвары Тарановской работы Ярошенко – это будущая жена Черткова. Портрет называется «Курсистка». Рассказываю об организации «Высших женских курсов» Бестужева. Активная группа женщин: Стасовы, Трубникова и Философова – организует общества помощи работающим и нуждающимся женщинам, «Общество переводчиц», «Общество дешевых квартир». Буквально «на пустом месте» с 222 р. 22 коп. они основали «миллионное дело» – 20 сентября 1878 г. были открыты бестужевские женские курсы. Они должны были существовать на частные пожертвования и до 1913 г. не давали университетского диплома, но давали прекрасное образование.

Женское высшее образование в России было одним из важных общественных вопросов, стояло «на повестке дня»: его поддерживали все прогрессивные круги. Как сказал В.В. Стасов «Все рубли большие и малые дала вся страна». Лучшие научные силы пришли на помощь женскому образованию – на этих курсах преподавали Д.И. Менделеев, А.М. Бутлеров, А.М. Бекетов, А.Е. Фаворский, Н.Е. Введенский, А.Е. Ферсман.

А вот великий поэт XX в. А. Блок, говорят, когда-то сказал, что у него было «всего два романа – Любовь Дмитриевна и все остальные». Да... Любовь Дмитриевна – это дочь Дмитрия Ивановича Менделеева. А жена Менделеева – дочь декабриста Мозгалевского; его семья дружила с семьей декабриста Басаргина, и дочь Мозгалевского брала уроки у Басаргина; а Менделеев-то, оказывается, брат жены декабриста Басаргина²³.

Вот так, от поэзии XX в. и от науки XX в. корни идут к декабристам.

А любимый ученик Бутлерова – химик Иван Лаврентьевич Кондаков, занимавшийся синтезом каучука, учился в школе в Вилуйске, недалеко от Якутска. Преподавал ему там Н.Г. Чернышевский²⁴.

Само название курсов связывает их по фамилии с декабристами (хотя так называемый их «учредитель», академик, историк К.Н. Бестужев-то – племянник казненного декабриста – и не был инициатором их организации), но все же фамилия эта так знаменита в истории русской культуры, что не зря она так и осталась как название первого в России прекрасного высшего учебного заведения женщин.

Ну что же, я не была «бестужевкой», нет, конечно, но три бестужевки оказали свое влияние и на мою жизнь.

Софья Алексеевна Хвоцинская... Вероятно ее увлечение русской словесностью, историей, русской культурой, ее педагогическое мастерство оказали на меня такое влияние в школьные годы, что я стала тем, чем я стала: преподавателем, лектором, гуманитарием по всем своим интересам и образованию.

Вера Вениаминовна Стоклицкая-Терешкович – специалист по истории средневекового западно-европейского города, профессор Московского университета, медиевист... Она почти стала официальным оппонентом моей диссертации, поэтому я с ней много общалась. (В последнюю минуту решили, что лучше, чтобы у меня был другой оппонент).

²³ В. Чивилихин «Память»

²⁴ Э. Максимова «Школе – полтора века» // «Известия», 18 ноября 1979 г.

Энциклопедическая общая образованность Веры Вениаминовны, ее научная добросовестность и преданность выбранной ею науке навсегда запомнились мне.

А третья – это моя любимая свекровь – Хая Самойловна Мышкис... Ее образованности, душевному такту, общей культуре, годами помогавшим мне жить, благодарна я и буду благодарна до последнего вздоха. Выходит, что серебряные нити культуры, образования, каких-то высоких душевных качеств эпохи декабризма и XIX в. и до меня достигаются?.. А сколько же было учеников у четырех членов-корреспондентов, одного действительного члена Академии наук, десятков заслуженных деятелей науки и заслуженных (и не заслуженных, а просто учителей-бестужевок), докторов наук, профессоров, видных сотрудниц Эрмитажа – всех выпускников Бестужевских курсов?²⁵

Возможно ли как-то измерить вклад в культуру XX в. этой женской интеллигенции нашей страны? Этот вклад неизмерим, невозможен для вычисления... И связи этих кругов XIX в. уходят корнями в 30–40 гг. XIX в.

Громадное влияние оказали декабристы на всю русскую литературу (уже говорилось и о впечатлении от этих событий, отразившихся во французской литературе).

Поэма Некрасова «Декабристки» написана им после внимательного изучения «Записок» Марии Волконской, изданных сыном Волконских, Николаем.

Известно, что Л. Толстой работал над произведением о декабристах. Он изучал материалы. Встречался с оставшимися в живых участниками восстания: со Свистуновым, с дочерью Никиты Муравьева, Софьей, вышедшей замуж за Михаила Бибикова, отец которого тоже был женат на сестре Муравьевых-Апостолов и был участником восстания. В этой семье чтили и хранили память о декабристах. Дальними родственниками Л. Толстого были Федор Шаховской, Федор Глинка, Федор Толстой – все они были декабристами. Героиней своей

²⁵ «Известия», 24 сентября 1978 г.

книги о декабристах Л.Н. Толстой хотел сделать Наталью Дмитриевну Фонвизин, жену Н. Пушкина (в ее втором браке). Он не раз читал ее записки, и они произвели на него чрезвычайно сильное впечатление²⁶.

И третий великий русский писатель, пользующийся, быть может, наибольшей популярностью в мире – Ф.М. Достоевский. Его в ссылке встретила Н.Д. Фонвизин с Полиной Гебль (Прасковьей Егоровной Анненковой). Женщины-декабристки помогали Достоевскому и петрашевцам, его товарищам, передавали им деньги, и Достоевский, возвращаясь из ссылки, переписывался с Н.Д. Фонвизин до 1854 г.

Ее образ встает незримо позади Достоевского во время его речи на открытии памятника Пушкину в Москве «Русская женщина смела, русская женщина смело пойдет за тем, во что поверит, и она доказала это»²⁷. Достоевский был знаком и с дочерью Полины Гебль и с Екатериной Трубецкой.

Нет, мы не можем сказать что-то о прямом влиянии декабризма на Н.В. Гоголя, но могли вполне предположить, что он был знаком с сестрой Ивана и Захара Муравьевых-Апостолов, Еленой Ивановной. Эта дочь декабриста вышла замуж за Семена Васильевича Капниста (Василий Васильевич Капнист, прогрессивный писатель; известен более всего комедией «Ябеда»). Капнисты дружили с Трощинским (автор одного из проектов о переустройстве России); в Полтавской губернии в их имении рядом с имением Муравьевых-Апостолов был домашний театр, которым руководил отец Н.В. Гоголя, Василий Федорович Гоголь-Яновский. В доме этом часто встречались друзья и соседи, в числе которых был и поэт Константин Батюшков (1787–1855 гг.), известный своей анакреонтической лирикой и другими стихами.

По всей Сибири от множества пунктов расходятся лучи влияния декабристов; некоторые центры стали особенно важными – в них были сосредоточены по несколько семей и сосланных на поселение

²⁶ Н. Эйдельман «Был канун зимнего Николина дня...» // «Знание – сила», февраль 1985 г.

²⁷ С. Житомирский «Ужель та самая Татьяна» // «Знание – сила», ноябрь 1986 г.

(например, село Урик около Иркутска). Еще до переселения с каторги на поселение, и в Петровском заводе и в Чите декабристы жили коммуной – у них все было общее; у них были общие деньги и из этой кассы выдавались деньги уезжающим на поселение.

Не эта ли коммуна и общая касса стали прообразами «артели Веры Павловны» в романе Чернышевского «Что делать?» Не по этому ли образцу образовывались аналогичные коммуны в жизни интеллигенции конца XIX в., например, коммуна-артель в семье художника Крамского, где общее хозяйство вела его жена?

Женщины-декабристки организовали первую в Сибири аптеку. Родственники декабристов, особенно мать мужа Александрины Муравьевой, Екатерина Федоровна, переправляла непрерывно в Сибирь большие посылки. Медицинские инструменты, ткани и инструменты для столярного и слесарного дела, бумага, ноты, саженцы и семена растений – все это шло в посылках. Врач-декабрист Вольф организовал больницу для местного населения (местные жительницы называли его «женским богом»). Женщины-декабристки вели санитарно-просветительскую работу среди местных женщин.

Огромное состояние было переправлено в Сибирь, так сказать, в «разобранном виде», как и книги, которые шли в разобранном измятом состоянии, как бы оберточная бумага. На месте книги гладились утюгом и сшивались. Шли, начиная с 1848-го, книги и русских, и иностранных изданий, даже работа К. Маркса была переслана декабристам. Эти книги и сейчас хранятся в Читинской библиотеке, размещенной в бывшем доме декабристки Нарышкиной.

Декабристы делились всем, чем могли не только со своими друзьями-ссыльными, но и с каторжниками – отдавали им деньги, теплые вещи, шили им рубашки.

Когда каторжники вырыли могилу для Александрины Муравьевой, им хотели заплатить. Они отказались, а один из них сказал: «Разве за могилу родной матери деньги берут? А она нам – как мать родная».

Однажды, когда готовился побег кого-то из каторжников, и Александрина узнала об этом, она отдала деньги и шубу своего мужа беглецам.

К сожалению, бежавших поймали; секли нещадно и требовали сказать, кто дал деньги и теплые вещи. Каторжники Александрина не выдали.

В посылках они получали саженцы и семена – разводили огороды – огурцы, помидоры, лекарственные травы. Первые сады: яблоневый сад (Ялуторовск – декабрист Тизенгаузен), вишневый сад (Трубецкие в Иркутске) – тоже память о декабристах.

Очень много занимались улучшением сельского хозяйства Сергей Волконский (Иркутск) и Вильгельм и Михаил Кюхельбекеры (Баргузин).

Декабристы были первыми инженерами в Сибири – дом Трубецких в Иркутске, дом Бестужевых в Кяхте, Мавзолей-часовня Александрины Муравьевой построены по проектам и при участии Н. Бестужева; Батеньков – инженер, строитель Кругобайкальской железной дороги; Басаргин первым предложил проект железной дороги от Тюмени до Перми; в 1912 г. пошел первый поезд от Москвы до Ялуторовска.

В Петровском заводе работал инженер Ребиндер. В то время на вооружении в армии были кремневые ружья. Этот инженер изобрел новый вид ружья, близкий к современному, и, что было очень трудно, сумел даже изготовить опытный образец. Это был истинно патриотический акт! Сын этого инженера женился на одной из дочерей Трубецких. Эта семья потомственных декабристов-инженеров и ученых дала для страны в советское уже время академика Ребиндера Петра Андреевича (1898–1972 гг.). Известно, что в конце XX в. были живы потомки декабриста Сутгофа.

Многие декабристы были отличными музыкантами. Василий Ивашов был учеником Фильда; Юшневский был и пианистом, и альтистом; Вадковский и Крюков были скрипачами; Свистунов был выдающимся виолончелистом.

Композиторы Алябьев и Варламов писали музыку и романсы на стихи декабристов.

Свистунов был организатором одной из школ; воспитал несколько детей. Дочь его, Свистунова Мария, была выдающейся пианисткой,

концертировала в Европе, была знакома со многими выдающимися людьми и была ученицей Антона Рубинштейна и Листа. Характер Свистунова частично отражен в «Войне и мире» в характере старого князя Болконского.

Многое известно о потомках Ивана Якушкина. Его теща помогала всем декабристам, кого только знала. Была она замужем за Василием Петровичем Шереметевым, одним из потомков Николая Шереметева и Прасковьи Жемчуговой. Надежда Николаевна Шереметева – теща декабриста Ивана Якушкина и родная тетка поэта Тютчева – была известна своей религиозностью и гуманным отношением к крепостным, она всегда приходила на помощь нуждавшимся, помогала всем декабристам.

Уже после смерти Ивана Якушкина и своей дочери Анастасии была очень дружна с Н.В. Гоголем, по-видимому, на основе религиозно-этической общности взглядов.

Иван Якушкин был категорическим атеистом-гуманистом: с друзьями спас тысячи людей от голода в округе Смоленска, старался освободить крестьян с землей.

После смерти своей жены, в ее память, открыл первую в Сибири школу для девочек (конец 40-х гг. XIX в.).

Сын Ивана Якушкина – Евгений (1826–1905 гг.) – известный общественный деятель, историк декабризма, корреспондент А. Герцена.

Как правило, портреты всех упоминаемых в лекциях людей я показывала в слайдах. Были и редкие исключения, например, Наталья Шереметева, в замужестве Долгорукая (1714–1771 гг.). Ее трогательная история была рассказана мною²⁸. Далее следовала история Н.П. Шереметева и Прасковьи Жемчуговой, ее портреты Ивана Аргунова, народная песня в ее честь.

И вот связь Шереметевых с декабристами – протрет Ивана Якушкина Н.Н. Шереметевой и Анастасии Якушкиной.

²⁸ М.Ю. Лотман. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века). СПб.: Искусство-СПб, 1994. – С. 293–301.

Живут в Москве потомки Якушкиных: известно, что праправнучка Якушкина, Варвара Ивановна Осмоловская-Якушкина, биолог, в 70 лет изучала сусликов и ездила для этого на Чукотку! Правнук Якушкина, Николай Вячеславович (1882–1946 гг.), – автор статьи о несостоявшейся поездке Анастасии Васильевны Якушкиной в Сибирь; правнучка, Елена Вячеславовна (1883–1943 гг.); остальные потомки Якушкиных и Шереметевых – были (вероятно, и есть) москвичи²⁹. Но судьбы их разные.

Один из достойных потомков Шереметевых – Сергей Дмитриевич Шереметев (1844–1918 гг.). Он был одним из образованнейших людей России. Адъютант наследника, автор интереснейших мемуаров и исторических работ, в 1904 году стал за них почетным членом Академии Наук. Он был последним владельцем имения Остафьево (родовое поместье Вяземских), где С.Д. Шереметев создал первый в России общедоступный Пушкинский музей (Пушкин часто бывал в Остафьево). Павел Сергеевич Шереметев (1871–1943 гг.), сын С.Д., был первым хранителем этого музея уже при советской власти³⁰.

По-видимому, последняя в Москве Шереметева (Ольга) жила накануне Великой Отечественной войны в так называемом «доме Шереметевых».

Эти сведения я получила от Амалии Ароновны Этингф, которая работала вместе с Ольгой Шереметевой в Историческом музее. Амалия Ароновна – мать Наталии Борисовны Этингф, жены Семена Борисовича Айнбиндера. Мы жили с этой семьей в Риге в одной квартире по ул. Карла Маркса (Гертрудес), д. 54, кв. 13.

Амалия Ароновна и Ольга Шереметева подружились: работали вместе в Историческом музее и жили рядом.

Шереметева жила на Воздвиженке, ул. Калинина, д. 6. Дом этот (москвичи так его и называли – «Шереметевский») стал «правитель-

²⁹ С. Кайдаш: «Невозможно не чувствовать горя» // Журнал инд. 70603; приблизительно за 70-е годы. Статья.

³⁰ Б. Тарасов «Чаадаев» 1986, стр.629-630.

ственным», а ей оставили маленькую комнату. Амалия Ароновна рассказывала мне об О. Шереметевой, как о человеке очень гуманном, всегда приходившем на помощь тем, кто в ней нуждался. Сын О. Шереметевой был выслан, получил, как тогда говорили, «100 км», т. е. мог жить лишь не ближе, чем в 100 км от больших городов. Лишь тайком, лишь иногда мог он приехать проведать мать.

Во время воздушных налетов на Москву Ольга Шереметева, уже вполне немолодая женщина, дежурила на крыше и сбрасывала зажигательные бомбы.

Амалия Ароновна уехала в эвакуацию с Академией им. Жуковского, где работал ее зять – С.Б. Айнбиндер. Жили они в Москве тоже на ул. Калинина, д. 4/7. В настоящий момент Амалии Ароновны уже нет в живых.

Разные судьбы потомков Шереметевых. В марте 2001 г. в Москве была проведена конференция выходцев из России. Из разных стран приехали эмигранты разного времени. Был и потомок Шереметевых – последний, быть может, представитель этого славного древнего рода, известного и в истории России, и в истории русской культуры, особенно музыки.

Кстати, от Амалии Ароновны Этингоф мне стал известен один из фактов ее биографии – тоже очень интересный. Но сейчас я расскажу о том, чем занималась Амалия Ароновна, работая в Историческом музее, а главное, почему ей пришлось эту работу оставить.

И впрямь, наше время было «несвоевременно» для изучения и публикаций материалов о декабристах!

Слишком уж контрастировала вся эта история с нашей современностью...

Декабристы были первыми, кто вел наблюдения за животным, растительным миром, почвами Сибири; изучали разные явления природы, вели дневники; изучали этнографию народов Сибири, собирали этнографические коллекции и фольклор.

Уже с самой ссылки декабристов представители прогрессивных

слоев дворянства и формирующихся уже слоев разночинцев все с большим вниманием и интересом относятся к сведениям, поступающим от декабристов и о декабристах. 60–80-е гг. XIX в. – годы оживленной издательской деятельности.

Н.А. Некрасов издает «Отечественные записки», П.И. Бартенов – журнал «Русская старина». Этот журнал имел 60 тыс. постоянных читателей!

К.Т. Солдатенков поддерживает финансами Н.А. Некрасова, он же поддерживает пожилую сестру Бестужевых – покупает рисунки Н.А. Бестужева. И.С. Аксаков выпускает газету «День».

Во всех этих изданиях печатались материалы о декабристах.

Некоторые города, где были сосредоточены семьи вернувшихся после амнистии декабристов, стали в то время очагами культуры.

Так, пожалуй, более других следует упомянуть город Калугу, где жили Г.С. Батеньков, П.Н. Свистунов, А.М. Жемчужников. Губернаторшей там была сестра декабристов Муравьевых-Апостолов. С 1852 г. упрочиваются связи с Герценовской бесцензурной печатью: корреспондентами А.И. Герцена были Михаил Бестужев, Владимир Раевский, Иван Пущин, Матвей Муравьев-Апостол, Иван Якушкин, Александр Поджио.

Под непосредственным влиянием Марии Казимировны Юшневской растут дети в известной семье сибирского купца, чаоторговца Петра Боткина. Три его сына стали выдающимися деятелями русской науки и культуры XIX в.: Василий Петрович (1811–1869 гг.) – писатель, западник, искусствовед, друг Белинского и Герцена; Михаил Петрович (1839–1914 гг.) – живописец, гравер, коллекционер; Сергей Петрович (1832–1889 гг.) – врач, основоположник клиники внутренних болезней.

Боткины были тесно связаны с семьей Третьяковых, т. к. одна из сестер Боткиных была замужем за одним из членов семьи Третьяковых. Кстати, от Амалии Ароновны Этингф мне стало известно, что она работала в Историческом музее, а также, что ей пришлось оставить эту работу и вот при каких обстоятельствах.

Амалия Ароновна училась в Париже, жила там несколько лет, окончила Сорбонну, кажется по философии, но вернувшись в Тифлис и выйдя замуж, довольно долго преподавала французский язык. После переезда в Москву она стала работать в Историческом музее, разбирала имеющиеся там французские материалы. В ее руках оказались письма Камиллы ле Дантю, или Полины Гебль (?), рассказывая мне, она не вспомнила, из чьих писем француженок-декабристок она переводила, а может быть даже, что и той и другой; но работа ей очень нравилась, шла хорошо; она надеялась, что ее работу опубликуют; в музее ее начальство тоже было довольно... Но вдруг – ей «посоветовало» начальство эту работу оставить; к тому же она была не в штате, а работала по договору; и раз «закрыли» тему – ей пришлось уйти. Это было для нее очень большим ударом. Но ей сказали, намекнули, что «он сам» не одобряет эти публикации о декабристах. Это было примерно в 1937–1938 гг.

Рассказывала все это мне Амалия Ароновна примерно в 1950–1951 гг. (я хорошо помню, так как это было до рождения моей дочери).

Студенты-историки разных московских вузов общались между собой и знали темы, над которыми шла работа (было принято посещать заседания сектора средних веков, иногда заседания соответствующих кафедр (вывешивались объявления). Ходили интересующиеся.

И тут я задумалась: ведь за все время моего обучения на истфаке ни разу я не слышала, чтобы кому-то была дана тема, связанная с декабризмом – ни для курсовой, ни для дипломной. Почему? И правда, так мало было на эти темы исследований, лишь только одна монография М.В. Нечкиной, 1955 года, т. е. уже после смерти Сталина изданное (громоздкое академическое издание, не предназначенное для массового читателя). Почему? Очень было похоже на существование какого-то «товарищеского» указания сверху...

Смешно было бы даже пытаться мне в рамках моих записок создать нечто вроде психологического портрета Сталина. Этот страшный человек, может быть, одержимый манией преследования и стремлением повелевать миром, отнюдь не был простачком и дураком. Он

вполне мог «почувать» несоответствие темы декабризма, атмосферы идей дворянской чести XIX в. с проводимой им политикой партии.

Такие потрясающие исторические материалы очень мало изучались, во всяком случае, почти не было публикаций до 1955 года!

Благодаря этой детали, сообщенной Амалией Ароновной о своей работе над материалами по декабристам, вдруг ярко и контрастно осветилось все, даже то небольшое, что мы знали тогда, (это были 50-е годы!) о деятельности КГБ, о лагерях, обо всем страхе, в котором десятки лет все жили...

И впрямь, наше время было «несвоевременно» для изучения и публикаций материалов о декабристах!

Слишком уж человечны и благородны для нашего времени были эти люди, пожертвовавшие всем ради блага народа, как они его понимали... Слишком уж контрастировала вся эта история с нашей современностью...

И «всемогуший Отец народов», наверное, потому и «посоветовал» как-то, чтобы этим не занимались, не стоит; чем и объясняется столь длительное невнимание к этой важнейшей теме.

Во времена моей юности и молодости было модным «поднимать на щит», так сказать, отмечать особенно торжественно рабочие династии. Но занимаясь историей развития живописи, я столкнулась со многими «династиями» в среде интеллигенции, но в то время об этом не говорили.

Как мне кажется, одной из первых таких династий – «семейных» гнезд культуры – была семья директора лицея, в котором учился А.С. Пушкин, – семья Малиновских. Наверное, не без влияния того человека, о котором тепло отзывался и Пушкин, обе его дочери вышли замуж: одна – за декабриста Розена, другая – за лицейского друга Пушкина Вадковского.

Обе семьи поддерживали тесную дружбу: в период ссылки сын Розенов жил в семье Вадковских. После амнистии Розены вернулись на Украину, там, вблизи города Изюма было у них небольшое имение. Розены открыли очень хорошую школу, где преподавание велось на

высоком уровне; занимались в округе земской деятельностью, было известно, что суд в Изюме очень справедливый.

Широко была известна и благотворительная деятельность супругов Розенов, немного не доживших до «диамантовой свадьбы».

Но, пожалуй, ярче всего видна «династичность» русских культурных семей именно в области искусства.

Братья Аргуновы, еще, по-видимому, крепостные; семья Маковских – художники и художественные критики; отец и сын Ивановы; брат и сестра Поленовы; архитектор отец и сын художник – Брюлловы; связи Бенуа, Лансере и Серебряковой – это все история русского искусства. Обо всех о них надо бы говорить подробнее именно в ключе преемственности и наследования традиций при продвижении вперед и открытии новых возможностей и в архитектуре, и в скульптуре, и в живописи.

Моя жизнь (в частности, именно работа с музыкантами) натолкнула меня на проблемы взаимовлияния разных видов искусств друг на друга, на их взаимное сосуществование и на влияние идей, господствующих в данное время и в данном месте, на художника-творца, и обратное влияние произведений искусства на его современников и на последующие эпохи.

И мои лекции, и мои занятия в процессе подготовки этих лекций, родились, как попытки ответить на вопросы о взаимосвязи отдельных художественных явлений, или хотя бы как процесс постановки этих вопросов. Конечно же, по-настоящему охватить эти сложнейшие явления в подобных лекциях-беседах просто невозможно. Но пробудить размышления у своих слушателей по этим поводам – к этому я стремилась.

Я не искусствовед – атрибуция, реставрация, анализ произведения искусства вспомогательными методами – все это чрезвычайно интересно; но для этого нужно именно специальное искусствоведческое образование, которого у меня не было. И нужно ли это было моим музыкантам? Для моих слушателей, как мне казалось, было необходимо именно некое общее понимание вопросов развития культуры,

понимание возникновения неких аналогичных пластов в разных видах искусства. Ну, например, «Пушкинский круг» в поэзии. А что соответствовало этому кругу (конечно, несколько огрубляя явление) в живописи? А в музыке?

Именно потому и родилась такая форма моих лекций, например, портрет и с ним вместе стихи; или в более общем виде – произведение живописи и к нему – литературные фрагменты.

История не только написания произведения (хотя, конечно, и это!), но историческая обстановка, реальные «повести из жизни» действующих лиц, как отражение быта и идей своего времени. Так, идя от портретов, преимущественно женских, я и пришла к декабризму. Именно самые передовые идеи своего времени стали у декабристов «действиями»; идейное и личностное их влияние развилось, трансформировалось, проросло сквозь XIX и даже XX век, дало ростки во все области: науку, культуру, литературы, мораль, этику. В этом убедилась я сама и старалась убедить своих слушателей.

Но начинала я с истоков – показывала портреты Анны Буниной (Иван Бунин был ее внучатым племянником), жены Александра Радищева, говорила об этой семейной истории, такой трагической; говорила и о художнике Алексее Боголюбове, как основателе музея в Саратове, и его портрет показывала.

Особая тема – это семья Шереметевых; их роль в развитии русской музыки и театра; о братьях Аргуновых – показывала портреты Парашки Жемчуговой (1768–1803 гг.) – крепостной актрисы и певицы, ставшей русской графиней Шереметевой; приводила русскую народную песню о ней; показывала портрет девочки-калмычки кисти Аргунова.

И в процессе своих рассматриваний я заметила не всегда династии (у художников, пожалуй, да!), но семейные группы, кланы интеллигенции. Например, портрет Лазаревой и вся история укоренения в Москве и России этой культурной, деловой армянской семьи, столько помогавшей своим соотечественникам и не только им! Богатый дом, мануфактуры по производству шелка и бархата, соперничающие с французскими тканями. Но самое главное – основание в Москве и ныне

существующего Института восточных языков. Поколение ученых, в частности, Лазарев Виктор Николаевич (1897–1976 гг.) – член-корреспондент Академии наук, специалист по истории искусства, византийского и древнерусского, – не потомок ли этой семьи?

Уже приведенные фамилии Стасовых, Боткиных, Третьяковых и многих других – это цвет прогрессивной интеллигенции прошлого века. При демонстрации женских портретов я привлекала и использовала стихи поэтов Пушкинского круга, не одного Пушкина.

Не имеет смысла полное перечисление демонстрированных произведений, но для меня было важно, что в процессе слушания моих лекций на дворянство и купечество XIX и начала XX вв. возникала совсем иная по сравнению с прежними школьными учебниками (советского периода, на которых воспитывались мои слушатели) оценка – более многогранная, не столь категоричная. Дворяне были разные; помещицы и помещики, оказывается, далеко не все были Салтычихами, жестокими самодурами, истязателями крепостных; купцы тоже далеко не все были невеждами, пьяницами и самодурами.

И демонстрация произведений прекрасного русского искусства – да, может быть, именно в выборочном варианте – «женский портрет» от начала XIX до начала XX вв. помог мне «высветить» в нашей истории, как и в истории изобразительного искусства, то поистине Вечное, Прекрасное, что учит, поднимает нас, прививает нам самые высокие человеческие чувства. И в мое время с не меньшей силой зазвучали слова М.Н. Волконской, чем в XIX в.: «Тот, кто жертвует жизнью за свои убеждения, не может не заслужить уважения соотечественников; кто кладет голову свою на плаху за свои убеждения, тот истинно любит отечество, хотя, может быть, и преждевременно затеял дело свое». За разные убеждения! – в тот момент это было важно.

М. Волконская писала, конечно, о декабристах. Она защищала ту точку зрения, что люди имеют право на разные убеждения – то есть речь шла о свободе убеждений, о праве на такую свободу.

Слушая мои лекции, слушатели мысленно откликались на призыв, во-первых, иметь свои убеждения, во-вторых, иметь разные убежде-

ния; и на наших лекциях у многих и многое всплывало в памяти: и на наших глазах, люди страдали (и страдают!) за свои убеждения, подвергаются репрессиям – ссылке, суду, высылке из страны, тюремному заключению.

Но, естественно, об этом не говорилось... на лекциях-то!

До начала XXI века всегда в таких случаях подразумевалось, что человек отдает свою жизнь за благо других людей (как он его понимает), и что такая жертва не может не вызывать уважения. В XXI веке появляется некое религиозное убеждение, точнее, может быть, широко распространяется в форме крайнего мусульманского фанатизма вера, что отдавая свою жизнь в соответствии с ней, следует вместе с тем убить как можно больше людей... Можно ли считать это достойным уважения? То, что раньше считалось абсолютно естественным и понятным, теперь нуждается в пространных разъяснениях.

Могли ли подумать об этом декабристы?

Даже мои слушатели до конца 70-х – начала 80-х годов не могли представить себе ни трагедию Бислана, ни разрушение башен-близнецов в Нью-Йорке, ни ужас в театре «Норд-Ост» в Москве.

Вот и получается, что от строк Волконской переходим к нашим понятиям о добре и зле, о долге и памяти.

Всю коллекцию слайдов я подарила Татьяне Гишплинд – преподавательнице рисования в нескольких школах Израиля и художнице. Может быть, она в своей работе с детьми использует эти обширные материалы. Да так и не посчитала я – сколько же слайдов у меня было уже в Израиле.

Поскольку лекции мои в институтском общежитии состоялись в течение многих учебных лет, то собственно еще до того, как выделила свою тему, женские портреты в XIX – нач. XX вв. отбирались мною в зависимости от того, как я могла «ввести» такой портрет при показе в историко-бытовую среду того времени (например, портрет А. Буниной работы Варнека, или портреты П. Стасовой) не столько по его значению, как произведения искусства, сколько в зависимо-

сти от возможностей и часто, от возможности найти последующие историко-культурные связи. Лекции цикла «Портрет XVIII–XIX вв.» и «Женский портрет XVIII–XIX вв.» «накладывались» на уже рассказанный прежде материал.

Надо сказать, что многого из творчества передвижников я не смогла выбрать, не было у меня всех портретов передвижников, о которых я смогла бы интересно и достаточно выразительно (для эпохи) рассказать. Ведь мои рассказы носили «литературный» оттенок. Может быть, я не справилась с такой задачей.

Ну, конечно, речь шла о портретах жены Крамского и об артели или коммуне на Васильевском острове, которая все же просуществовала несколько лет; показывала я и «Незнакомку». Кроме того, портреты русских актрис конца XIX – начала XX в., женщин семьи Стасовых (работы Репина), «Курсистка» Ярошенко, автопортрет З. Серебряковой.

Таким образом, по количеству лекций все же больше всего я рассказывала о женском портрете XIX в.

И тут я должна объяснить и даже признаться в том, почему именно этот цикл был так любим, так прочувствован мною.

Ведь цикл читался и, главное, готовился мною в те страшные для меня годы, когда кафедрой руководила Щеглова. Я ежедневно чувствовала себя в обстановке риска быть уволенной. Я была все время объектом грязной клеветы – клевете подвергалась и моя частная жизнь, и моя работа; Щеглова насаждала на кафедре дух антисемитизма и, свойственный антисемитизму дух воинствующего невежества.

Мне было необходимо противопоставить всему этому нечто диаметрально противоположное: дух высокой культуры, если хотите, «Культ Культуры» (культ высоких чувств, как возвращенный во мне самой, так и переданный мною моим слушателям).

Но чем больше я занималась XIX веком, чем больше фактов общей русской истории культуры открывалось мне в процессе моих занятий, тем больше задумывалась я над ролью женщины... в XIX веке.

Не «женщины, как лучшего друга человека», но женщины, как создательницы русской интеллигенции. Если журнал «Русская старина» имел 60 тыс. читателей – то эти 60 тыс. читателей взялись не из тех ли детских, где имелись шкафы с первыми русскими детскими книгами и специальными детскими журналами? А кто учил этих детей читать по-русски – не немцы-гувернеры и не француженки-гувернантки (у них были свои задачи!). Матери, тетки, бабушки преимущественно обедневших дворянских семей, где не было гувернеров и гувернанток.

В процессе подготовки своих лекций я знакомилась с многочисленными фактами истории культуры; составила и хронологическая сетка этих фактов. Я сопоставила историю моей семьи, семьи моего отца, моей бабушки, соотнесла известные мне точно факты моей семейной истории с тем, что я узнавала, вставила эти факты в общую историко-хронологическую сетку. И все это было так контрастно с той обстановкой грязных интрижек и паучьей возни в банке на нашей кафедре!

Это помогало мне чувствовать себя продолжательницей дела женщин XIX века, моих родственниц по отцу; это давало мне силы выстоять, не опуститься до уровня Щегловой и тех, кто ее поддерживал и вдохновлял.

К сожалению, со времен революции на протяжении многих лет, а с 20-х по 60-е годы было не только «не модно» говорить о своих дворянских предках: это было просто даже вполне небезопасно!

Страх Сталинских репрессий, страх всей этой эпохи наложил свою печать и на меня.

Были годы, когда отец ждал ареста. Он говорил со мной об этом и предупреждал меня – а было мне лет 10!

И я боялась... Именно потому.

Сожгла я, уезжая из Ленинграда в эвакуацию, «Жалованную грамоту Екатерины II» русскому дворянству – очень внушительный манускрипт нашему роду на пергаменте с печатями и с личной ее, Екатерины II подписью... Боялась... Сожгла и еще некоторые документы,

например, папины документы о его обучении в гимназии и в Горном институте. И, конечно, папины записи, чертеж и исследования, которые не должны были попасть в чужие руки (папа был засекречен по самую макушку), – как мне поручил он сам.

Но я знаю многое из устных рассказов, из весьма характерных для того времени биографий моих теток и моего отца.

Не моя ли бабушка, Екатерина Александровна Кутырина, еще до брака стремилась получить музыкальное образование и училась у Николая Рубинштейна, и была одной из его любимых учениц? По выходе замуж и потом брошенная мужем с шестью детьми, не моя ли бабушка, пройдя через унижения и при недостатке средств (не было ни гувернанток, ни гувернеров – не хватало даже валенок на всех шестерых детей для зимы), добилась для всех детей образования? Не у них ли в семье было принято детское чтение? Благодаря этому семейному навыку мой папа с 10 лет, прочитав книгу, где говорится о крестьянском мальчике, попавшем в беду, решил стать горным инженером, т. к. именно приехавший горный инженер выручил этого мальчика, и благодаря его вмешательству, деревня опять получила родник...

Так часто упрекали дореволюционную детскую литературу за сентиментальность, за то, что это все «святочные рассказы»...

Но не эти ли рассказы сподвигнули всех трех моих теток выбрать своим поприщем «помощь страждущим»? Одна стала детским врачом, другая совсем молодой девушкой стала медсестрой и оставалась ей всю свою жизнь, а третья, став монахиней, фактически работала учительницей при монастырском детском приюте для девочек-сирот. Именно семья моего отца может служить ярким историческим примером разорения бедного русского дворянства и формирования русской интеллигенции из его рядов.

Бабушка моя была помещицей, но от поместья-то собственно уже ничего и не осталось. Дед проиграл в карты и промотал все, что мог, и даже то, чего не мог, но все же сумел и, бросив жену и детей, скрылся в неизвестном направлении.

В небольшом доме и с небольшим поместьем с малопродуктивны-

ми землями остались бабушка и тетя Лида. Жили они молочным хозяйством; продукты его отвозили в магазин в Москве. Это уже тоже было не столько помещичье, сколько товарное хозяйство.

Папа жил высокими зарплатами главного инженера Уральских императорских пушечных заводов. Тетя Катя окончила в Монпелье, под Парижем, медицинское отделение, приехала, сдала труднейшие экзамены; здесь, в Москве, она и стала уже работать как практикующий врач.

Но произошла революция. И надо сказать, что, по-видимому, отношение к бабушке со стороны деревенских жителей, было, в общем-то, очень терпимое. Никто их не обидел. Тетя Лида купила небольшой домик в Малоярославце, а из Песочного в Малоярославец была вывезена обстановка. И сложена была в так называемом «каретном сарае»; обстановка эта потом перешла в нашу ленинградскую квартиру. И всю мою жизнь, до войны, я помню эти старинные вещи красного дерева, сделанные какими-то очень настоящими, вероятно, еще крепостными мастерами по дереву. И я всегда радовалась, что книжные шкафы и письменный стол были у меня точно такие, как в Ленинской библиотеке (в Румянцевском музее); и даже когда я занималась в Ленинской библиотеке в Москве, до отъезда в Ригу, я вспоминала дом и наши вещи – они были точно такие, как в библиотеке.

Я ведь и впрямь – второе поколение русской интеллигенции, потому что хоть и была «Жалованная грамота Екатерины II» нашему роду, хотя как бы изначально должен был мой отец стать помещиком, а только никакого помещика из него не получилось.

Имение было слабенькое, заложенное-перезаложенное, я уже рассказывала об этом... И он, и тетя Катя стали представителями интеллигенции. Папа мой стал выдающимся инженером и знатоком по закаливанию качественных сталей – сталей, которые шли исключительно на оборонную промышленность. Тетя Катя стала специалистом по детскому туберкулезу, который в то время страшным образом косил детей и из бедных и из состоятельных семей. Ее муж был преподавателем математики сначала в гимназии, а потом в институте.

Так оказалось, что еще до революции мои предки стали уходить, уходить от своего прежнего предназначения и прокладывать пути в новые для них области.

И я гордилась в душе своим полным отличием от Щегловой и ей подобных. Я чувствовала себя продолжательницей этого Великого дела Просвещения (в самом широком смысле слова!), я радовалась корням русской культуры и образованности, идущим ко мне и моей просветительской работе из прошлого века, и через меня посредством моей преподавательской деятельности – к моим слушателям и ученикам.

Я знала людей намного более образованных, чем я; но что всегда было присуще мне – это стремление стать все более знающей, все более образованной, все более интеллигентной...

Я хотела быть достойной продолжательницей дела лучших русских женщин в их любви к родине, в их бесстрашии, в их помощи нуждающимся. Для них не имели значения ни образовательный ценз, ни национальность. Я всегда помнила то омерзение по отношению к антисемитизму, которое было характерно для моего отца и его сестер.

Когда в 1912 г. в Москве ожидали погрома, моя тетка – врач – пряталась в своей квартире евреев – зубных врачей и аптекарей. Она могла дорого заплатить за это...

Закончившийся цикл о портрете вызвал очень оживленное обсуждение моих слушателей. И одна из моих бывших студенток, Ира Копоть, выступая последней, сказала: «После таких лекций остается чувство светлой радости. Ты сам становишься как будто лучше».

И я думаю, что это был главный итог моих лекций и не только о портрете.

Искусство дает каждому столько, сколько он может взять. Я показывала своим студентам – откуда брать; я как бы призывала их: «Берите больше! Чем больше вы здесь возьмете, тем интересней станет ваша жизнь».

Нет, я не ленилась... И даже не то, чтобы себе этого «не позво-

ляла», – мне просто было так интересно делать то, что я делала... И зачем бы мне было не делать этого? Ленился было мне просто скучно, но вот горести жизни и ее горечь я действительно преодолевала работой, так что преподавание немецкого и мои лекции в общежитии всегда шли, как обычно. Но кроме того, мне были всегда очень нужны деньги, и потому я читала очень много лекций через общество «Знание». Хоть и плохо платили – мало – но все же платили.

Теперь дома остались Петя, Катя – дочка – с двумя детьми, Боря и я. Слава ушел в армию. Люда жила с мужем, своей матерью и своей дочкой, много работала. Даже просто «кормиться», покупать продукты, при том, что у меня зарплата была высокая, что Петя, Катя и Боря теперь тоже работали, становилось все труднее. Как сказал мой старший сын Петя: «Раньше были сыры, потом стал один сыр, похожий на мыло, а потом и он исчез».

Не стало в магазинах ни колбасы, ни мяса, ни круп. Правда, сахар был. Исчезли из продажи и овощи.

И вот тогда родилась система снабжения горожан Харькова овощами и фруктами, которая могла родиться только при социалистической системе хозяйствования. Могу судить только о Харькове, да и то, вероятно, не обо всем Харькове («Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика...»), но о том, как это получалось в нашей семье и во многих знакомых и дружественных нам семьях.

Моя дочь работала в одном научно-исследовательском институте (фармацевтическом), невестка – в другом. Вот, все лето и осень, иногда в рабочие дни, а чаще – в выходные, фармацевтический НИИ должен был везти своих сотрудников на помощь колхозу. (Колхозы и НИИ были распределены и закреплены друг за другом). Вот тогда, накануне выезда (обеспечивался транспорт), моя дочь звонила невестке, своим подругам: «Едем на помидоры (или на огурцы, или на перец...)!» Фармацевтический НИИ заинтересован в количестве помощников, приехавших в колхоз, так что это вполне приветствовалось. К месту сбора к 6 часам утра приходили, приезжали с «тарой» – с рюкзаками, сумками. На поле работали до 14–15 часов. При этом требовалось вы-

полнить норму по сбору (норма – количество ящиков – была вполне посильная), а часа 1,5–2 все собирали уже для себя. Иногда эти собранные для себя овощи оплачивались, но очень дешево, а иногда за них никаких денег не брали. Бывало, что, например, обещали, что будут собирать яблоки, а привозили на кормовую свеклу. Но уже тогда, после работы, обязательно завозили на 2 часа на яблоки, чтобы все оставались довольны. В колхозах же (поскольку это были постоянные связи), то и приезжими, как правило, бывали довольны. Вначале ездили все – даже профессора, доктора наук; но потом уже молодежь с друзьями – лишь бы были трудовые единицы! Бывали и другие варианты – кто-то звонил и приглашал на огурцы или на капусту. В начале лета объявлялись сборы на ягоды, редиску, крыжовник... Милая моя доченька однажды привезла 40 кг помидоров – еле дотащила!... Дома сказала: «Я думала – умру!» Но брат ей сказал: «Ты же советская женщина!» Обработывались все овощи ночью – сын Петя и дочь Катюша стерилизовали банки, варили маринад. Дома было у нас все специальное оборудование для консервирования: бак для кипячения банок, специальные щипцы, крышки, приспособление для закатывания банок – все это целое искусство! Банки относились в подвал...

Как хорошо, что у нас был подвал, даже с небольшим зарешеченным окошечком, с отделением для картошки и с полками для банок... Я занималась только вареньем. То ли меня жалели: я не могу не спать ночью, а днем работать; может быть, уже возраст был не тот. А дети выдерживали. А куда было деваться? Картошка без ничего, или та же картошка с салатом из кислой капусты, или с соленым огурцом и помидором – это не «одна большая разница» – как в Одессе говорили (да и у нас в Харькове), а даже «целых две и очень даже больших разницы»! А в городе-то за помидорами или огурцами – очереди на 2 часа! Бедные люди! У них никто не работал в НИИ!

Пустые магазины и несоразмерные ни с какими зарплатами цены вынуждали выкручиваться, кто как мог. Нашли лазейку и мы для себя, все-таки мясо – ну не всегда, конечно, но иногда – бывало. Пищевые запреты и традиции вообще у людей очень стойки, но у меня (я все

же блокадница!) они довольно свободны. Так, во-первых, многие не покупают и не едят кроликов, мы же очень радостно воспринимали такую еду.

Катя на работе познакомилась с женщиной, которая разводила нутрий. От них хорошие шкурки – их выделывали и из них можно делать отличные вещи. Но ведь и тушки от них оказались истинно деликатесным мясом! Мы их очень любили, но их покупали немногие, брезговали – хвост у нутрий, как у крысы. Питается нутрия корнеплодами, овсом; на воле – корнями и травами, живет у воды, как выхухоль или выдра. В походе мы однажды видели выводок нутрий у лесного озера под Коростенью.

И вот однажды была у нас в гостях Катина подруга со своим мужем. Жаркое всем очень понравилось, но мы не говорили, что это за мясо. В конце обеда сказали и... бедный тот наш гость позеленел и ринулся в уборную – весь обед «отдал». Вот настолько... А как нахваливал, пока не знал!

В сезон покупали на рынке маленьких козлят – еще «молочных». У Кати на работе (она получала от лошадей желудочный сок, который шел в аптечное производство) иногда пригоняли жеребых кобыл; если были жеребята – их забивали, а мясо тоже продавали сотрудникам. И очень хорошее было это мясо!

Вот такие у нас бывали «мясные удачи». Но иногда их не было по долгу, месяцами и больше. Тогда – картошка с домашними салатами. Помню, в 1986-м или в 1988-м был какой-то праздник. Ничего мы не достали. Для тех, кто пришел с работы, – картошка с домашними соленьями; для всех – пиво и черные соленые сухари – дочка засушила. И чай с вареньем. Все же скучновато! Для праздника-то...

Загадка для меня, почему в Харькове все годы нашей жизни были такие дорогие куры и яички. Казалось бы, куры так быстро растут? В США и Англии это дешевое мясо: гостям дать неприлично. Я читала, может быть потому, что государственные фермы – птицефабрики – часто были очень плохо организованы и ухожены.

Один наш знакомый от какого-то НИИ был направлен на помощь

такой птицефабрике. Приехав, он даже не смог описать, как ужасно эти куры выглядели – голые, в болячках и струпьях. Он взял слово с жены, что она никогда ни разу не купит ни яиц, ни кур в магазине.

Да, в магазинах продавались куры очень редко и очень страшные. Народ их прозвал «скилягами» (помесь двух слов: скелет и употребительное в то время пренебрежительно-враждебное слово «стиляга» – очень модно одетый молодой человек, в очень узких брюках) – такой вот неологизм родился в очередях! А мы спешили этих «скиляг» купить, хоть и были они очень худые и синие, если, конечно, успевали в очередь. Все же куриные кости почти без мяса на суп годились.

Жили мы в своей харьковской квартире уже три десятка лет и сделали один ремонт лет через 10–12; теперь ремонт был совершенно необходим. Все это понимали. На общем нашем «совещании» Костя предложил: есть бригада инженеров (они были «оставанцы» – пытались уехать в Израиль, их с работ поувольняли, но не выпустили – и они так себе на жизнь зарабатывали), сделают все за 2 месяца (делают хорошо!); но спросили они какую-то сумму для меня абсолютно неподъемную – а платить надо было по окончании работ... Я отказалась, но вопрос о ремонте все еще не был решен. Все сильно осложнилось и другими обстоятельствами, но мы решили делать ремонт «сами». Сами и начали – то есть все разворотили весной. Начали с замены батарей – во всей квартире – полный разгром. Грязь. Но – начали. И тут пошло...

Начались нелады у Мити с женой. Они теперь все ссорились и редко у нас бывали. Митя всегда должен был ездить в колхоз на весь отпуск – молодой мужчина и без инвалидности – такие сотрудники институтов летом дома не бывали. Потом они разошлись с женой, и Митя уехал в Ташкент, потом в Москву. Вернулся в конце 80-х годов ко мне в родительский дом. Слава, кажется, был в армии. Боря тоже уезжал, но чаще со студенческими концертными бригадами. Он очень хорошо организовал в ХАИ всякую культурную деятельность. В середине ремонта Петя уехал на курсы повышения квалификации в Москву и женился на москвичке. В процессе этого «начала» моя

дочь оказалась беременной; Кеша родился в разгар всего ремонтного кошмара. Кто-то приезжал и уезжал в этот развал, в разгромленную, «перевернутую» квартиру... Да! Не подумайте, что делались мрамор и вообще нечто (как теперь говорят «евроремонт») – нет, просто обои я привезла из Минска, но надо было ободрать штукатурку, заменить заплывшие накипью батареи, провести закрытую электропроводку и кое-где подогнать рамы...

Боря попытался сам вставить стекла (мы делали вторую дверь на балкон для тепла) – рассек себе руку стеклом; он ведь скрипач, так что его помощи мне было уже вполне достаточно.

Он, Катя-дочь, а потом и родившийся Кеша жили некоторое время у его родителей...

Костя почему-то решил, что все паркетины – каждую – надо привинтить к (так называемому черному) дощатому полу; он это сделал, отчего сильно утомился – на этом кончилась его помощь. Петя приезжал с женой и ребенком (ее сыном) два лета в отпуск – как бы «на дачу» в этот развал и свинство; не заставляйте же их работать на наш ремонт? Постоянно дома жили только внучка, школьница 10–12 лет, я и собака.

Так что, когда решали делать ремонт и решили – в основном «сами», то когда начали его, то кто же оказался этот самый «сам»?

И вот три учебных года длилась эта кошмарная затея – ремонт. Утром я отвозила внучку в школу, домой она возвращалась уже сама, потом работала в институте, вечером где-нибудь читала лекции, а по ночам вытаскивала мусор и мыла полы. Искала и нанимала каких-то рабочих; они же то работали – то исчезали... И все время – деньги, деньги, как в прорву. Все покупала я сама и все записывала; влезла в долги. И... в конце (ремонт все еще не кончился – что-то еще оставалось) – приехали Катя, Боря и Кеша; мы посчитали – потратила я ровно столько, сколько назначили те инженеры-«оставанцы». Честные были ребята!

В последний, третий учебный год «эпохи ремонта» была моя очередь стажироваться по повышению квалификации, и Юрий Маркович направил меня на эту стажировку в харьковский университет. Вот

спасибо ему. Хотя свои часы в своем институте (а также и свои лекции в общежитии) я полностью выполняла, но во «вторую смену» – с 15:00 до 19:20 я посещала и университет. Ну, утомлена я была перманентно и сверх всяких сил. Но на собственных занятиях и лекциях невозможно заснуть... А вот на лекциях, где я была слушателем, – да, тут, конечно, случалось... Были у нас лекции по психологии, где слушал большой поток, человек 100–150.

А у меня есть смешная привычка – садиться обычно на одно и то же определенное место. Ну и тут я садилась всегда около прохода, в левой части; садилась, чтобы видеть лектора... Лекции по психологии читал молодой преподаватель, читал совсем неплохо, даже интересно. Но, увы, к концу лекции (ночью мусор таскала и полы мыла, потом в первой половине дня – вела занятия у себя!) я засыпала... и просыпалась в момент окончания лекции...

Да, не подумала я, что если мне лектор хорошо виден, то и я ему тоже. В конце этого курса по психологии был у нас не то, чтобы экзамен, а собеседование. Ну, я ответила на вопросы лектора совсем неплохо... А под конец он и говорит: «Я, читая лекции, обычно смотрю на слушающих. И вот я заметил, что Вы на каждой лекции засыпали. Неужели так изнурительно скучны мои лекции?» О, как мне было неловко! Бедный молодой наш лектор, и знающий, и культурный, но только еще начинающий свой преподавательский путь... Как он, наверное, старался, как готовился... И я просто и открыто рассказала ему о причине моей совершенно непреодолимой сонливости. Я даже рассказала ему о нескольких очень интересных, приведенных им фактах; просила извинить меня...

И все равно – сама опытный лектор – как это я не подумала о том впечатлении, которое может произвести спящий слушатель именно на начинающего лектора.

Я рассказала уже о том, как ректор Г.Б. Аверьянов через свою жену Зинаиду Борисовну Юфереву дал мне понять, что я должна не выходить на работу после болезни и, что тем самым, мой конкурс будет перенесен на следующий учебный год.

Именно благодаря этому совету, переданному в весьма своеобразной форме, оказалось, что сначала был проведен конкурс Щегловой на заведывание нашей кафедры, а потом уже мой – на занимаемую доцентскую должность.

Произошла вещь, в те времена просто удивительная: Щеглова – член партии, фронтовичка, дочь крупного партийного работника, и еще там у нее были какие-то достоинства – не знаю, какие, – но она была провалена на конкурсе, при тайном голосовании ученого совета института, единогласно; за нее был подан один голос – наверное, ее собственный... это совершенно неслыханный вариант. Тем не менее, такое действительно случилось в нашем институте.

И после этого пришел к нам работать из университета преподаватель по фамилии Ткаченко.

Юрий Маркович Ткаченко – специалист по английскому языку, культурнейший, великолепных знаний человек, и, кстати, очень тонкий политик. Когда он у нас работал, а я была, так сказать, под его руководством. Как часто я думала: «Какая все-таки удача, что я так и не стала заведовать кафедрой. Как я абсолютно не подхожу по своим индивидуальным качествам для этой деятельности... А ведь было время, что шаг один – я бы была на заведовании». Тогда я думала, что принесла бы пользу на этом месте. Но потом я поняла, у меня категорически нет тех качеств, которые нужны были для успешного исполнения задач на этой должности. Многие жалели, что я не заведовала нашей кафедрой; некоторое время жалела и я. И только когда пришел на работу Юрий Маркович, тогда я поняла, насколько я не подхожу для этой деятельности.

Художник Суриков, кажется, сказал, что если бы ему надо было ад писать, так он бы сам в огне стоял и натурщика бы в огонь посадил. Так вот, я тоже отношусь к этой же категории людей. Я сама работаю при полном напряжении всех сил, и я бы стала требовать этого от других своих сотрудников.

Но далеко не каждый может и считает нужным это выдерживать. Такой темп для очень многих – такая «преданность своей работе»

– представляется ненужной. В общем-то, может быть, они и правы даже. Я теперь иногда думаю, что есть в этом своя «сермяжная правда».

При этом вовсе не сказано, что они работали плохо – нет! Они работали добросовестно, они работали с определенной долей интереса, они пользовались уважением студентов – студенты у них получали знания. Но вот такой сверхотдачи, в общем-то, они не признавали для себя необходимой.

Юрий Маркович сумел привлечь всех... Всех в работе заставил показать свои самые лучшие качества; но он сумел это сделать очень мягко, без всяких скандалов, без всякого нажима, которые были все время при Щегловой.

И как-то так получилось, что каждый преподаватель стал работать значительно лучше и значительно интересней. Кроме того, конечно, очень большую роль играли постоянные взаимопосещения. Разбор каждого занятия – благожелательный, спокойный, поистине дружеский... Как это полезно и интересно! Со Щегловой не было ни одного посещения занятий, одни грязные сплетни и склоки.

Юрий Маркович, сохраняя все, что можно было полезного, поддерживая все нужное, все-таки умудрился во всех сложных ситуациях вести нашу небольшую ладью так, чтобы ничему и никому не повредить. Великолепное его знание английского языка послужило как раз для меня одним из сигналов, чтобы я походила на его занятия. У него был специальный курс для теоретического факультета, где он вел занятия немного на более высоком уровне. Это было чрезвычайно интересно. Я ходила на эти занятия и получала удовольствие – и от языка, и от того, как эти занятия ведутся, и от той атмосферы радостного вдумывания в язык, которую сумел организовать Юрий Маркович на этих занятиях.

А сложные ситуации возникали и с администрацией, и со студентами. Приведу один пример. Когда Щеглова расправилась с Татаринцевым, оказалось, что вести итальянский язык у вокалистов (а он обязателен по программе!) просто некому.

Щеглова приняла на работу молодую преподавательницу с английским дипломом и сказала ей (при мне на кафедре) «Неважно, что ты итальянский не знаешь и никогда не учила. Будешь учить накануне по учебникам то, что будешь завтра преподавать им. Не все ли равно...» Белая, Лена Белая – так ее звали – боялась ужасно, но другой работы не было у нее и она, как «в клетку с тигром» шла на свои занятия итальянским языком.

Эти занятия, однако, кончились тем, что с одним из своих студентов Лена начала встречаться и началась между ними обычная любовная история.

Это очень не приветствовалось в нашем институте. Юрий Маркович нашел Лене другую работу; она ушла из института, а потом вышла замуж за этого человека.

А как тесен мир! Оказалось, что эта Белая со своим ребенком и с этим вокалистом уехала в Штаты. И я даже получила фотографию – они оказались в соседних домах с моими близкими друзьями!

Так что эта любовная история закончилась очень благополучно для Лены Белой, и, я бы сказала, с полным удовольствием для кафедры. Потому что английский взяла Орлова – преподавательница, безусловно, знающая английский язык значительно лучше, чем Белая (сейчас, после смерти Юрия Михайловича, Орлова заведует нашей кафедрой).

А на итальянский язык была взята преподавательница Розина, которая вообще была специалистом по французскому и итальянскому. И тоже это все как-то оказалось значительно удачнее, чем опыт с преподавательницей Белой.

При Лидии Михайловне никто ни разу не получил никакой возможности повышения квалификации. И только с приходом Юрия Марковича по определенной очередности мы стали получать полугодовые отпуска. Иногда мы освобождались от учебной нагрузки, иногда учебная нагрузка сохранялась – может быть, даже в уменьшенном размере, иногда отпускали в другой город.

Например, один раз я стажировалась в Москве, при Московской

консерватории. Это было чрезвычайно интересно. Не потому даже, что может быть, надо было больше использовать возможности посетить московские концерты и театры. Этого как раз мне почти не удалось сделать. Но мне было чрезвычайно полезно и интересно общаться с кафедрой иностранного языка Московской консерватории. Например, мы очень много времени проводили вместе и обсуждали очень многие вещи с Валентином Николаевичем Девекиным. Это чрезвычайно знающий, очень интересный человек, который во многом исповедовал, так сказать, ту же веру, что и я. То есть, он всячески вкладывал знания в головы своих подопечных. Ну, в Москве это, конечно, было легче, потому что в Москве были студенты из ГДР, которые тоже занимались в наших группах. Поэтому отношение к иностранному языку было, в общем-то, значительно более положительным, чем в Харькове.

В тот приезд я также познакомилась и с заведующей кафедрой иностранных языков в Московском институте им. Гнесиных Людмилой Иосифовной Астровой.

Как в профессиональном, так и в чисто человеческом отношении от сотрудников кафедр обоих крупнейших музыкальных вузов страны я получила очень много – заряд на несколько следующих лет работы.

Второй раз я стажировалась «с отрывом от дома» в Минске.

В Минском институте иностранных языков были постоянно существующие курсы повышения квалификации. Причем, странным образом они были названы «компьютерными курсами». В общем, про компьютер я ничего не поняла и ничего не вынесла из этих курсов в области компьютера.

Просто тогда стали везде писать и говорить о компьютеризации всего на свете – это стало модой. Во время курсов на одном уроке нам показали компьютер. Единственное, что я поняла, что клавиатура похожа на пишущую машинку, но что это лучше – можно быстро исправлять ошибки.

Были в институте и лекции по теории устройства компьютера, где я не поняла абсолютно ничего; были никуда не годные лекции по педагогике и интересные – по языку.

Но важным фактом, определившим мои занятия на много лет вперед, была одна встреча в комитете по печати БССР. О ней я и расскажу.

Довольно давно я пришла к выводу, что в наших специфических условиях можно добиться определенных успехов в освоении иностранного языка лишь при условии, что методика преподавания не будет скучной. (Администрация смотрела на иностранный язык, как на ненужное отвлечение студентов от занятий музыкой; студенты были абсолютно не приучены работать над языком самостоятельно, а знание его считали совершенно ненужным музыкантам).

Используя на уроках игры, меняя текст, используя их интерес к музыке, вводя короткие забавные рассказы и обучая студентов работать над небольшими отрывками о музыке и исполнителях, я все же видела, что невозможно обойтись без элементарной грамматики.

Стараясь сделать изложение занимательным, а необходимое для запоминания и заучивания превратить в некую цепь мнемонических приемов, я от занятия к занятию (20–25 минут) вела последовательный рассказ о самых элементарных основах немецкой грамматики; рассказ этот представлял собой разработанную мною сказку с небольшим количеством действующих лиц. Формировалось это изложение не сразу – оно видоизменялось, совершенствовалось.

Так, урок за уроком, у меня стало складываться изложение элементарной немецкой грамматики, условно названное сначала «Сказкой о первом немце».

Я заметила, что один из моих студентов на уроках постоянно что-то рисовал. Я его спросила, что он рисует. Он показал мне смешные фигурки – мою сказку, им проиллюстрированную. Естественно, что такая наша с Колей Ивановым совместная работа (он был композитором) стала интересной для нас обоих, и шла уже постоянно. Я все больше узнавала Колю. Он был старше среднего студента; сначала учился в техническом вузе, потом окончил режиссерское отделение, кажется, при Институте культуры (был такой в те годы в Харькове), а теперь вот очень серьезно занимается музыкой; подрабатывает, рисуя в газеты карикатуры (если берут, то неплохо платят). И тут Коля

сказал мне: «Знаете, как странно: то, как Вы рассказываете немецкую грамматику, очень похоже на лекции по математике – я когда-то учился в ХАИ, слушал там лекции по высшей математике на первом и втором курсе; я ушел оттуда после второго курса. Ведь, казалось бы, ну как может быть похоже занятие по немецкому на лекцию по математике? А я вот все время это сходство чувствую!»

Да вот так! Оказывается, душа-то моя, душа «сиамского близнеца» выглянула во время моих занятий и даже была замечена другим человеком: именно в те годы, когда Коля учился в ХАИ – там работал Толя... И это на его лекции и оказались так похожи мои занятия! Вот такая странность!

Спасибо моему дорогому Коле Иванову – наши студенты долго пользовались моим пособием с его рисунками.

К началу моей стажировки в Минске «Сказка о первом немце» была размножена в институте (кажется, на стеклографе).

В то время был известный учебник английского языка для школьников, и автор его (мне очень стыдно, но фамилию его я забыла) жил в Минске. Я встретила с ним на каких-то занятиях в институте, мы разговорились, я показала ему свою «Сказку о первом немце», которая с этого времени стала называться «Веселая грамматика». Он очень одобрил и посоветовал мне обратиться в ЦК Белоруссии, в отдел печати. Что я и сделала.

Отделом печати в ЦК ВКП в Минске заведовал Виктор Борисович Волынский. Он человек исключительно культурный и очень доброжелательный. Кстати, сам блестяще владел английским языком, знал и немецкий, общаться с ним было чрезвычайно интересно. И благодаря его интересу и одобрению моей работы «Веселая грамматика» (даже и теперь я об этом очень тепло вспоминаю), на половину моей жизни хватило работы, которой я занималась.

Он был первым (ну, если уж честно, то первым все же был Юрий Маркович!), кто поддержал меня в моем начинании.

Виктор Борисович познакомился с моей работой, рекомендовал ее к печати. Однако, как это ни печально, но это дело не осуществилось.

Завотделом, который тоже ознакомился с моей работой и хотел печатать мою книжку, попал надолго в больницу. После болезни он уже не вернулся к работе.

А заместитель его был категорически против. Этот заместитель не владел немецким языком, и ему казалось, что это вовсе и не нужно – такая книжка. Короче говоря, пришлось мне приехать еще раз в Минск, т. к. мне пришла не просто отрицательная, а оскорбительная рецензия.

Получив рецензию на свою книгу, я пришла к Волынскому.

Виктор Борисович спросил:

– Кому отдали на рецензию Вашу работу?

– Я не знаю, мне же это не сообщают.

– Ну, что я скажу? Я работаю здесь, – он сказал, сколько лет, – и только два человека, получая книгу на отзыв, не спросили, какой отзыв мы хотели бы получить. Поэтому будьте, так сказать, морально готовы к тому, что в этом смысле Вас ждут некоторые неприятности.

Он был прав. Потому-то и отзыв оказался крайне неприятным. Причем, была «потеряна» целая половина работы; отзыв был направлен, в основном, на то, что автор виноват в том, что, вот, у него ничего не сходится: вот, у него не изложено то, и не изложено это. Оказалось, что все это было во второй части. Но это, в общем, дела уже давно прошедших дней.

Просто мне хочется сказать о том, что в отделе печати в ЦК Партии Белоруссии был такой человек, которого звали Виктор Борисович Волынский, и который принес много пользы на занимаемом им посту.

Я же над своей книгой работала еще много лет. Это было очень интересно для меня, но... не я одна не смогла реализоваться в тех условиях распада СССР. Много что рушилось – и моя книга тоже так и не «видит свет».

И, наконец. Последнее место, где я проходила стажировку, – это был Харьковский университет. В это время в Харьковский университет приехал из ГДР преподаватель Гюнтер Кашель. И, проходя курсы повышения квалификации без отрыва от моей собственной учебной

нагрузки, я встретила с Гюнтером. И он, и многие преподаватели нашего иностранного факультета вели занятия с нами на ФПК. Очень это было полезно и интересно, не то, что лекции об устройстве компьютера, где я просто плакала, потому что ничего не понимала. После лекции Гюнтера я задала ему какие-то вопросы, которые смущали меня по поводу переводов текстов к «Страстям...» Баха (текст старинный, и кое в чем у меня были какие-то сомнения).

Кашель очень заинтересовался моими переводами, с большим теплом отнесся вообще к моей работе. Я прослушала все его лекции.

А потом, когда мои курсы повышения уже закончились, а он преподавал на немецком факультете в переводческой группе, мне очень захотелось ходить на его занятия. Мне даже в голову не могло прийти, что это что-то предосудительное, для меня и для него, во всяком случае, что-то недопустимое. Я походила... ну, наверное, месяц или полтора – не знаю.

И вдруг Гюнтер меня встречает – ну, прямо такой смущенный, прямо весь перевернутый. Я вижу, что он просто не может мне сказать то, что он хочет сказать. В конце концов выяснилось, что декан факультета, Виктор Иванович Каравашкин, категорически против того, чтоб я ходила на эти занятия. Он даже запретил Кашелю допускать меня на свои занятия и в этой и в других группах. Как и мне, Гюнтеру тоже в голову не могло прийти, конечно, что могло вызвать какую-то отрицательную реакцию.

Преподаватель, который только что усовершенствовался на курсах в этом же университете, преподаватель, который работает, который интересуется своей профессией, – ну, в чем же дело? Но, тем не менее, запрет есть запрет. И я перестала ходить на эти занятия, хотя какие-то семинары Кашель еще проводил.

Мне известно, что во многих странах да и когда-то в царской России было принято посещать лекции. Например, интересные лекции видных историков посещал, кто хотел: хоть математики, хоть химики. И это вовсе не считалось чем-то предосудительным. Более того, в Ленинграде, когда я там училась, лекции по античной литературе и по

общему языкознанию часто посещали студенты других факультетов (проф. Иванов и проф. Рифтин). И почему-то в Харьковском университете вот я столкнулась с таким странным отношением, которое и по сей день не могу себе объяснить.

Гюнтер Кашель всегда интересовался, какими вопросами немецкой грамматики и методики преподавания языка занимаются наши преподаватели. Кашель с интересом знакомился со многими моими работами, и всегда относился к ним очень одобрительно.

Гюнтер Кашель уже давно, естественно, живет в Дрездене. Я иногда с ним перезваниваюсь по телефону. Он ушел уже на пенсию. И, естественно, что, поскольку он преподаватель из ГДР, то, конечно, там тоже была очень сложная ситуация и с работой, и вообще со всем на свете. Так что он уже и просто по возрасту ушел. Но я с большой благодарностью вспоминаю его лекции, занятия с ним и все его замечания.

Вообще, я очень – как бы сказать? – любила учиться. И тем самым, быть может, вызывала особую ненависть и особое недоумение Лидии Михайловны Щегловой. Чего совершенно не было после того, как к нам пришел Юрий Маркович.

Конечно, пока заведовала кафедрой Щеглова, не могло быть и речи о том, чтобы мне съездить в ГДР. А у меня были постоянные связи с несколькими семьями из ГДР, о которых я и расскажу.

Постоянная переписка была у меня много лет с тремя семьями. Три инженера из ГДР однажды приехали в Харьковский авиационный институт как бы в аспирантуру; они все работали на авиазаводе в городе Пирна – на Эльбе, а в Харькове прожили, кажется, года 3.

Они консультировались по математическим вопросам у моего мужа, я помогала при переводе; они часто бывали у нас в доме; мы подружились. Старшего звали Эрих. Его фамилию я, к стыду своему, забыла. Это был очень начитанный вдумчивый человек и одновременно хороший спортсмен. Помню, что ему очень хотелось купить мотоцикл «Яву» – я тогда одолжила ему денег, и мы потом на этой «Яве» с коляской ездили, а мой сын Митя тогда-то и решил твердо: себе тоже, когда вырастет, купить «Яву».

Эрих очень скучал без дочери, рассказывал о ней. Девочка увлекалась конным спортом; в клубе занималась и разными видами верховой езды, и уходом за лошадью.

С Эрихом вместе приехали два его более молодых сотрудника. Курт Фейстель – веселый, подвижный, отменный танцор. Он играл на рояле или концертино, Толя на рояле или скрипке – весело было. Как-то очень ладно пели мы хором – смешно – каждый на своем языке, по песеннику, где были и русские и немецкие слова многих русских и немецких песен.

У Курта дома осталась молоденькая жена и маленькая дочка.

Третьим был Хейнц Золльман. Он был таким как бы типичным немцем – полноватым, белобрысым, светлоглазым в отличие от Эриха и Курта – очень высоких, сухопарых шатенов. Он с особенным интересом отнесся к моему сыну Мите, который любил что-то мастерить сам, занимался авиамоделизмом. Хейнц помогал ему и советом, и руками.

Хейнц женат не был.

Жили «наши немцы» в общежитии ХАИ, все трое в одной комнате.

Эрих был старше всех – впрочем, тоже молодой, лет под 40; Хейнц и Курт были примерно, моего возраста. Однажды Курт рассказал, что к нему на месяц должна приехать жена. И я сразу предложила им одну комнату у нас в квартире – мы с дочкой ушли в проходную комнату, где жили Петя и Митя, а нашу комнату предложили Курту. Он с восторгом согласился, т. к. просить ему комнату в общежитии было неприятно: может быть, дадут, а может быть, нет. А так, его жена к общежитию никакого отношения иметь не будет.

И как же славно мы провели этот июнь месяц! В июле они до следующего учебного года уехали в ГДР. Мы все очень сдружились. Рената оказалась очень милой, веселой – все домашние дела мы делали вместе; много гуляли в лесу, собирали грибы, ездили купаться.

Это была, так сказать, группа моих друзей по авиацинституту. Я уже рассказывала, как Курт косвенно как бы повлиял на перемену

моей специальности: он посоветовал мне попробовать работу переводчицы на турбинном заводе.

Более 10 месяцев я работала на турбинном заводе с группой немецких инженеров, командированных в Харьков для постройки турбины.

Их было тоже трое. Как бы главным в группе был (он так и назывался диплом-инженер) Хейнц Герберт Пиратский. Молодой, лет под 30, инженер, как я понимаю, очень способный; очень воспитанный, красивый, образованный, знал английский и французский; русский учил – умел наизусть декламировать «Сон Татьяны», но вот с вокзала до гостиницы добраться – это было очень трудно... «Во всяком случае, с русскими харьковскими инженерами за переводчика не сходил» и без переводчика работать не мог, почему я и понадобилась.

С Пиратским приехали два инженера-техника: Рольф Зиберт и Вильгельм (фамилию его я забыла, может быть, потому, что переписка с ним была не такой долгой). Рольф Зиберт был намного старше, ему было далеко за 40. Он был солдатом на войне и был в плену в СССР, где-то в Сибири. Он, кстати, никогда ни одного плохого слова не сказал о своем пребывании в плену, только хорошее.

С Рольфом и Хейнцем я как-то ближе общалась, чем с Вильгельмом: помогала им в бытовых делах, бывала с ними в Оперном театре и на концертах, переписывалась с ними несколько лет. А главное – это, конечно, совместная работа: турбину эту построили, упаковали и погрузили на специальный состав. Рождение и созидание турбины – все этапы прошли мы с этими моими сотрудниками. Хейнц и Рольф – берлинцы.

И, наконец, была еще одна семья, тоже в Берлине, с которой я переписывалась.

Познакомились мы так.

Однажды после похода по Северному Кавказу, мы спустились с гор и, (тогда еще это разрешалось) поставили свою палатку на пляже в Сухуми, около турбазы. Рядом стояла машина, и была разбита палатка. И вдруг я слышу, в палатке говорят по-немецки – мужчина

и женщина. Из разговора я понимаю, что один из детей – младший сын – болен, у него высокая температура. Они думали, что в Сухуми есть немецкое посольство или консул, но нет ничего подобного. У них кончились деньги, они не знают, как им обменять на советские, не знают, к кому обратиться с ребенком. В голосе женщины – слезы. С кем говорить – они говорят по-немецки, и по-английски... К кому обратиться?..

Я подошла к палатке и заговорила с ними. О, они были так рады... Я помогла им – мы поехали на турбазу, нашли врача для мальчика; устроили как-то обмен денег в банке – куда-то я с ними ездила, везде разговаривала за переводчицу. И все устроилось.

Ах, как мне хотелось поехать в ГДР! Катюша-внучка очень славно не только читала, но и болтала по-немецки. Как полезно было бы и ей, и мне поехать! Как интересно!.. Я написала своим друзьям, и Фейстели сразу же прислали приглашение нам с внучкой.

Юрий Маркович вполне поддержал меня в моем желании поехать в ГДР. Это и интересно, и, конечно, очень полезно для языка – не меньше пользы, чем от ФПК.

Потребовалось некоторое «хождение по милициям», но в этот раз все устроилось, как нельзя лучше. На первом же приеме со мной беседовала некая довольно молодая женщина. Она выслушала весь мой рассказ-просьбу и сказала: «Напишите все о Вашей работе с немцами. Принесите мне их письма (мы их Вам вернем). Мы проверим все, и если все это правда, Вы получите разрешение». Еще один раз я была на приеме, и на этом закончилось «хождение» по кабинетам начальства, хотя приглашение было мне и моей внучке. Но все удалось. Разрешение было дано. Накупила я подарков... Катюше велели «Крепко держать Баку за руку, а то вдруг Бака (это я) потеряется».

И на самолете из Киева – в Берлин. Я даю телеграммы Пиратскому и Герхарду... Боюсь ужасно!

В аэропорту нас встречают: Хейнц Рольф и средних лет дама. Она узнает меня, вспоминает, как я им помогала, и даже собаку Ярчика вспомнила. И тут же, в аэропорту, начинается «совещание» – разра-

бывається наш график пребывания – у кого, сколько дней, в какие числа и где мы будем жить. Все очень по-деловому и по-дружески. Решаем: сегодня до вечера пробудем у Рольфа и его жены в предместье Берлина; вечером он нас посадит в поезд до Дрездена. Мы позвоним от Рольфа Фейстелям. Затем 10 дней – у Фейстелей, в Пирне на Эльбе, потом неделя – у Пиратских в Берлине, остальные – 12 дней у Герхарда и его жены, тоже в Берлине. От них – на поезд до Москвы.

Так началось наше пребывание в ГДР. О нем я подробно расскажу, не о достопримечательностях – их мы видели, конечно, но о людях, которые нас принимали с любовью и заботой; о том хоть и немногом, что мне кажется интересным в поведении, в быту, в жизни этих людей.

Итак, после аэропорта, (а самолет прилетел часов в 5 утра), мы отправляемся к Рольфу (Oranienburg DDR 14, Postfach 7907). Встречает нас его жена Anchen – маленького роста, худенькая, очень быстрая в речи и в движениях.

У них двухэтажный домик; сад. В саду ягодные кусты, несколько плодовых деревьев и цветы, цветы... И розы, и флоксы, и астры – все такое пышно цветущее, яркое по краскам; и цветы все очень крупные, может быть, там сорта хорошие? А может быть, уход, но сад – истинное отдохновение души.

Ну, конечно, кормит нас Anchen – ведь с дороги – и вообще, видно, что она отличная хозяйка. Пирог с яблоками и со сбитыми сливками; жаркое какое-то необыкновенное – с травами и со сливами; вино «Мозельское» отличное.

Уговаривают нас поспать; Катюшу кладу после ванны, а я жалею времени. И мы сидим и до вечера говорим, говорим. Рольф, кстати, опять вспоминает русский плен и говорит: «Это спасло мне жизнь. И лечили в госпитале после ранения, и ухаживали, и кормили, хоть это и было очень трудное время для Вашей страны».

Вспоминает, как в Харькове на заводе в процессе работы над турбиной встречались с рабочими завода. (Изготовление турбины – сложный процесс, и в нем принимали участие очень многие квалифи-

цированные рабочие); как дружно и доброжелательно проходила эта работа.

В процессе производства на громадное «тело» турбины – огромный удлиненный корпус – наваривают так называемые «лопатки». Очень много ошибок происходило, когда этот корпус стоял горизонтально. И вот, у нас на заводе догадались и поставили корпус вертикально. «Смотрите, фрау Катрин. Это чудо – это просто, но это гениальная простота! – сказал мне тогда Рольф. – А потом по дощатой лестнице мы стали подниматься вверх (теперь электросварка производилась, когда корпус стоял вертикально). И тут... все доски болтались; никакой надежности не было; мы балансировали на высоте нескольких десятков метров... над станками цеха».

И тогда Рольф спросил меня: «Неужели простую деревянную лестницу труднее сделать, чем решить так гениально задачу наварки лопаток?» Я подумала: почему? Это что, в русском характере? Гениальное изобретение рядом с неряшливой плохой работой? И было мне очень обидно – мне хотелось, чтобы все на заводе было бы на высоте. Но, увы! Много заметили немцы: и то, что масла нет в магазинах, и то убожество и страшная дороговизна (при плохом качестве) одежды и обуви.

Но были надежды, что это все временные трудности, что станет же и у нас легче и лучше жить.

Вечером Рольф отвез нас на вокзал на своей машине. Распрощались мы с его женой; потом с нею переписывались, и ее племянницы заезжали к нам в Харьков по дороге в Крым или на Кавказ.

До Дрездена несколько часов езды. Поезд до Праги – практически там нет границы. Можно съездить из Пирны и в Чехословакию, но я не решилась: мало ли что, я ведь иностранка.

Нас встречает милый наш Курт, и поздно ночью (или уже ранним утром) – мы в Пирне.

Потом мы не раз ходили по улицам города, заходили в церковь, в магазины. Но пока – отдыхать от дороги, мыться, пить кофе. Рената сегодня с утра дома; она работает воспитательницей в детском

саду завода, где работают наши друзья. С ней вместе работает и жена Хейнца. Хейнец женился; у него уже взрослый сын. Жену зовут Кристель. Эти 2 семьи очень дружат, практически всегда вместе.

Но пока нас Рената ведет в комнату девочек (они уже тоже выросли – одна уже замужем; другая учится – будет садоводом, специалистом по плодовым деревьям).

Квартира в очень скромном двухэтажном доме на втором этаже. Нумеруют не дома, а подъезды. В их подъезде внизу цветы, наверху – перед дверью – уличная обувь; везде чистота и уют.

Квартира из трех комнат: все они в ряд по левую руку от коридора; направо – кухня, ванная и кладовка. Обстановка очень скромная. Скажу лишь, что ни в Пирне, ни в Берлине не видела я тех самых полированных стенок, которые так резво покупали у нас, когда это стало всеобщей модой.

Рената – женщина работающая. Такой роскошной еды, как у Anchen у нее нет, но есть все, что нужно, все вкусное, но, в основном, магазинное, а не домашнее. Исключение составляют компоты и заготовленные овощные консервы – у них сад. Позже мы в нем будем, а пока на стол ставятся «собственные» овощи.

Опять же, разрабатывается план на время пребывания в Пирне (и рядом – Дрезден). И Эрих, и Хейнец, и Курт делят эти заботы «на троих».

Меня спрашивают, что мне хотелось бы видеть кроме музеев. Я хотела бы побывать в немецкой деревне.

Каждый день в 9 утра – кто-то из троих на своей машине ждет нас. Предусмотрено, где нас будут кормить обедом, где в 5 часов будем пить кофе (Это неперенный ритуал. Однажды я сказала: «Ну, зачем кофе в 5 часов?» На меня посмотрели с недоумением и даже как бы с испугом. Вроде я что-то совсем странное сказала). О достопримечательностях не буду. Буду о том, что нас тогда удивило, что показалось странным. Очень понравилось нам бродить по Пирне. Город, ну, совершенно как из сказок: дома старинные. На многих даты: XVI, XVII, XVIII века. Я спрашиваю – неужели эти дома такие старые?

Они выглядят такими аккуратными, чистеньким. Курт мне объяснил, что не разрешается изменять внешний вид старинных домов; что хозяева передельывают и модернизируют все внутри (это дорого стоит!), но внешний вид остается неизменным. Чистота везде – нигде никакого мусора. В одном месте валялся клочок газеты – так Курт извинялся передо мной за этот беспорядок.

Мы с интересом ходили в магазины. Нас удивило, что все магазины со «съестным» очень вкусно пахли. Мясные – копченым мясом, булочные – свежим хлебом. Даже рыбный магазин вкусно пах копченой рыбой (я со стыдом вспомнила Харьковские магазины – страшно вонючие и все больше пустеющие).

Поразили нас автоматы по приему всевозможной стеклянной тары (пластмассовой тары – как сейчас здесь, там тогда почти не было). Очень разные автоматы, и выдавали они жетоны, которые обменивались в кассе на деньги.

Кажется, по субботам центральная площадь города превращалась в рынок (постоянного рынка там не было). Продавали там цветы, зелень, ягоды. Но все это было и в магазине. Ну, конечно, на рынке – свежее.

Рената и Кристель показали нам детский сад. Одна воспитательница всегда ела вместе с детьми. Но была отдельная комната, где остальные воспитательницы могли спокойно поесть или попить кофе без детишек. Нас поразило, что дети должны были есть, пользуясь ножом и вилкой. Они умели это делать (в отличие от меня – я так и не научилась этому, как положено!)

При нас происходила церемония окончания детского садика и переход в 1-й класс. Это был прекрасный концерт, все очень торжественно.

Мужья – Хейнц Зольман и Курт – в хозяйстве во всем очень помогали женам: часто мыли посуду, убирали пылесосом комнаты (в отличие от Герхарта в Берлине – но об этой семье чуть позже).

Ездили мы и в сады. Недалеко от Пирны (раньше были до войны жилые дома) – после войны остались пустыри с мусором. Земля была

просто утрамбована щебнем и железными остатками. Предложили желающим сделать там сады.

И вот наши друзья подняли эти мусорные свалки; проделали колодцы – бурили артезианские скважины и поставили там домики – дачи. Делали все сами – жены не отставали в работе.

Вообще, эти три инженера очень охотно и много работали руками: что-то в доме чинили, приспособливали. А что касается дачных домиков, то, когда мы вошли в дом Хейнца и Кристель, мне показалось, что я попала в музей. В стиле старинного дома – коричневое дерево без краски, балки перекрытия – все видно. Висят сухие травки. Сундуки-лавки, ставни, стол, стулья, кровати – все резные с инкрустациями разных пород дерева; все по чертежам Хейнца все выполнено им самим – и как выполнено!

Один только раз видала я нечто подобное. На Урале, недалеко от Нижнего Тагила в поселке Черноисточинск есть (а может быть был) дом весь резной и раскрашенный... Русская сказка! Жила в нем семья рабочего с Черноисточинских шлюзов, и этот рабочий делал все сам: ворота, наличники, ставни – и внутри всю утварь из дерева, всю изукрашенную, резную, всю из дерева!

Есть видно умельцы в любой земле и у всех народов!

У Хейнца на специальной подставке стояла сделанная им в 1,5 м величиной модель какого-то старинного мореходного судна – во всех деталях – деревянных и металлических, и тоже сделана Хайнцем. Такие модели я видела в Риге в музее.

Оба садика – рядом; думаю, садам лет по 20. Плодовые деревья, цветы, ягодные кусты. И все так ухожено, с любовью, со вниманием к удобству и так красиво.

В саду один вечер что-то жарили, пили вино и ели фрукты.

И вот говорят Кате: «Пойди, может быть, ты найдешь какое-нибудь интересное дерево».

А у них, оказалось, есть такой обычай: когда ребенок идет в школу, для него наряжают в саду дерево и разными подарками (преимущественно, к школе), и сладостями, и игрушками.

Катюша тогда перешла во 2-й класс.

Она подлетает к нашему столу, глаза как плоски и, задохнувшись от изумления и восторга, даже говорит с трудом, смотря, показывает куда-то в сад.

– Там, там – дерево такое!..

– Это тебе.

– Нет, нет, – отвечает, – я ведь не иду в школу, я уже во 2-м классе... Это кому-то другому!

Ее уверили, что она ведь не получила «свое дерево», когда шла в школу. Но она вот теперь приехала в Германию, и для нее и выросло это дерево...

Какое-то время она молча наслаждалась подарками, а потом, включаясь в игру, спрашивает с «хитрым лицом»:

– Но откуда же берутся семена таких деревьев?

– Знаешь, Катюша, – ответил Курт, – семечко этого дерева мы привезли из Харькова от Бакиных цветов в кабинете.

Очень мне было приятно это услышать!

О разных вещах говорили мы. Говорили и о диктатуре фашистов и об антисемитизме. Оказывается, двоюродная сестра Ренаты (довольно старше ее) была замужем за евреем. Муж ее умер, где-то в начале 30-х годов, но у нее был сын. И вот этого-то юношу надо было спасать: детей от таких браков отбирали, отправляли в специальные лагеря. Ну, что же делать? И тогда кузина взяла с собой Ренату, и они поехали «путешествовать» по Италии – им было известно (разузнали они), у кого там можно получить за деньги фиктивные документы на мальчика.

Таким образом, он больше уже не был евреем, а стал итальянцем.

Впрочем, о многом простые жители Германии не знали (я вспомнила о лагерях у нас; вспомнила о деньгах в моем школьном чемоданчике на случай папиного ареста и наказ от него: всеми силами добраться до тети Кати, в Сокол. Если бы меня тогда поймали – тоже отправили бы в детский дом. Этого больше всего и боялся папа. Но я не стала рассказывать этого немцам...)

Было исполнено и мое пожелание – быть в немецкой деревне. Мы были даже в двух.

В деревне жила мать Эриха.

Большой двухэтажный дом, большой двор и несколько сараев, построено все квадратом.

Спальни и жилые комнаты на втором этаже. Совсем уже престарелая хозяйка живет одна: ее каждый день навещает, кажется, дочь. Но уходить из своего дома она не хочет.

Весь низ дома – кухня, очень большая, и еще больше – мастерская.

Отец Эриха был плотником; у него была мастерская и несколько учеников.

Двор замер: нет ни коровы, ни овец, ни птицы. Все тихо и пусто, порастает травой. А видно, что раньше, когда был жив отец, и были у него ученики и подмастерья, двор был использован в хозяйстве; и что в кухне варились большие котлы.

Но все-таки в доме – водопровод; а вот туалет – во дворе; там же и душ.

Угощала нас хозяйка немецкими мятными пряниками, предлагала чай, но мы постеснялись ее затруднять.

Второе наше посещение деревни – визит к чьей-то сестре.

Деревня маленькая, но есть магазин. Занимается население, преимущественно, молочным хозяйством – коровы на стойловом содержании.

Во всей деревне (домов 20) нет ни одного двухэтажного. При каждом доме огород.

В этом доме живут пожилые родители и средних лет женщина – их дочь. Она вдова. Она надомница – берет работу на какой-то фабрике и пришивает на машине крючки на корсеты и бюстгальтеры.

У этой семьи коровы нет, но у них громадный, очень породистый бык. «За счет» этого быка и живут родители. Ухаживают за быком. Он их знает и любит, но вообще – очень сердитый.

В доме водопровод и даже туалет. Но под одной крышей с домом – коровник, где означенный важный бык и проживает в покое и в одиночестве.

Ходили мы на него смотреть. Велено было, чтобы от нас – ни

звука. В полной тишине и с некоторым трепетом смотрим: Ну и громадина! И шкура, как атласная – вся блестит, а голова – громадная, по-моему, он мою Катюху может на один зуб себе положить... Но он жует зеленую траву. От него пахнет чем-то коровье-травяным. Очень хорош! Очень... Но хорошо, что он занят. А то страшно все-таки. Если рассердится – раскидает по дощечке весь свой двор.

Возили нас и в город, где живут оставшиеся до сих пор славяне – лужичане. Там городок главный и вывески – язык уже не немецкий, а какой-то как бы похож на славянские языки, но буквы латинские. Прекрасно расписанное по дням и часам наше пребывание в Пирне подходило к концу.

И вот Курт сажает нас в поезд до Берлина, а встречает нас Хейнц Пиратский со своей женой Уллой. У них квартира маленькая, всего 2 комнаты (когда мы там ночевали, они уходили к ее родителям). Обстановка тоже очень скромная, но много книг (больше, чем у Хейнца Золльмана и у Курта). Есть беллетристика, но много математики, много чего-то инженерного.

Рассматриваем вечером семейные фотографии. На них – красивый негр. Оказывается, сестра Хейнца, вышла замуж за кубинца, который в ГДР учился. Родители были против, но ничего не помогло. Живут они на Кубе. У них двое детей – такие два красивых мальчика, лет 12 и 14... Но живут очень трудно. Родители Хейнца и он сам постоянно посылают туда продовольственные посылки. Раза два мальчика гостили в ГДР по два года.

Но дети должны же жить с родителями... Говорят они по-испански, по-английски и по-немецки.

Рассказывал об этом Хейнц не то с грустью, не то гордился твердым характером сестры; мальчиков он очень любит. Они очень трудолюбивы, спортивные и музыкальны. И улыбнулся грустно: уж очень они далеко живут!..

Улла – физиотерапевт. У них это специальная медицинская школа, кажется, четыре года. И работа на разных приборах. У них дочка-школьница.

Там дети и взрослые очень много занимались спортом. Старшая дочь Курта и Ренаты, кажется, баскетболистка, а ее муж – тренер команды, едва ли не ГДР по баскетболу.

Дочь Эриха всерьез занимается конным спором, дочь Хейнца Пиратского и Уллы – спортивной гимнастикой.

И еще одно интересное наблюдение: нас всегда старались кормить в частных кафе; кофе пили почти всегда в частных кафе-мороженое.

Однажды, когда мы были в деревне, обедали мы в сельском ресторанчике-кабачке. Жена Эриха рассказала, что все 3 года, что Эрих жил в Харькове, она жила в этом деревенском постоялом дворе (может быть, маленькой гостинице?) и там и питалась. Обед меня там просто потряс: зеленый горошек прекрасного сорта при нас был сорван с огорода; с огорода же и все овощи, только что собранные; свежайшая телятина; домашнее вино.

И все оказалось очень дешево.

Но ведь мало кто пользуется гостиницами в этой деревне – удивилась я. Мне объяснили, что по воскресным дням и по праздникам жители этой деревни и окрестных деревень охотно посещают этот ресторан.

Но вот в Берлине есть, конечно, частные рестораны, они просто непомерно дороги.

Пока мы жили у Пиратских, мы с Уллой много ходили по магазинам. В основном, просто посмотреть. Все нужное купила я в Пирне, с помощью Ренаты и Кристель. В Берлине же были музеи, театр, окрестности; мы много ездили на маленьких парходиках, вроде наших речных трамваев.

Пришло время, и нас забирают к себе Герхардт и Гизела. Громадная квартира – комнат, кажется, 6; темноватая и мрачноватая. Нам предоставляют комнату старшего сына, он не то в армии, не то где-то в отъезде. Вся комната увешана громадными цветными снимками (вроде плакатов, как-то они называются специально) – все про мотоциклы и мотоциклетные гонки. На стене – шлемы, перчатки, наколенники, специальная обувь. Дома живут родители и младший сын; где средний – кажется, где-то в Африке.

В столовой или, как они говорят, в жилой комнате обстановка старинная – черная дубовая мебель – громадный стол и стулья; у отца – специальное кресло. Мебели совсем немного, комната очень большая; здесь все собираются за столом. Из этой комнаты – громадные двери в библиотеку. Книжные шкафы разные, видно, что не сразу купленные. И книги – да какие! По переплетам вижу XVI в.! А есть и старше. Отдельно – все издания работ Лютера и все его прижизненные и все последующие (Теперь поняла, почему Хейнц Пиратский надо мной подсмеивался, говорил: «Научитесь молиться»!)

Утром, в 9 часов, завтрак. Все должны быть без опозданий. Короткая молитва. На завтрак – непременно каша, булочки, масло и кофе.

Потом каждый идет по своим делам. Мы решили не приходить обедать (как я поняла, все обедают днем, где кто находится), чтобы не обременять Гизелу и чтобы не тратить на это время.

В Берлине такие музеи, что сколько ни отведи на них времени, все равно будет мало.

Один день полностью, с утра до вечера, Герхардт посвятил нам. В своем автомобиле он возил нас по Берлину; рассказывал о его отдельных районах, об истории города, районов и даже отдельных зданий.

Он повез нас в детский сад, который содержала их религиозная община. Потом в санаторий для одиноких больных женщин, тоже от этой же общины; потом в детский дом для сирот или детей, чьи родители больны и не могут воспитать детей.

Все это за городом, но в пригородах Берлина. И я совсем иначе стала с того времени оценивать и понимать (и слово, и деятельность!) благотворительность – да, тут я своими глазами увидела, что именно «благо», «добро» творится. Я интересовалась средствами, обслуживающим медицинским и педагогическим персоналом.

Герхардт – во главе всего этого, действительно, был занят с утра до ночи.

Однажды вечером мы пошли в церковь (оказывается, в ГДР была «объединенная церковь»). Кирха была рядом, и Герхардт 2 часа играл на органе старинных авторов для меня и маленькой Кати.

Очень интересно было общаться с этой семьей, так непохожей ни на кого, кого я знала.

В своей жизни они были очень скромны: у всех моих других знакомых – кашей на завтрак не ограничивались. Гизела, оказывается, уже в молодости болела сердцем; она из семьи потомственных военных. Два ее брата – оба в чинах – остались в Федеративной Германии, а Герхард, будучи пацифистом и верующим христианином, порвал связи со всеми родственниками и уехал в ГДР.

Гизела полюбила его, когда он учился; чем больше он уходил в мир христианских идей, тем больше она любила его, но тем невозможнее было получить согласие на брак, тем более что врачи запретили ей рожать детей. Она все-таки нашла способ обвенчаться с ним (ее братья совершенно отказались от них, не признали их брак и, главное, их отъезд в ГДР). Но они оба решили, что «все в руках Божьих», что если Господь их брак одобряет, то будут дети, и она не погибнет.

Сильны же в человеке вера и любовь!.. Семья счастливая, очень дружная. Очень религиозная. Трое детей. И мальчики тоже ненавидят войну и убийство. Работают честно и много.

Но семья даже с нашей (тогдашней) точки зрения, кое в чем даже была свободнее, чем это было принято у нас. К младшему сыну приходила его подруга; оставалась у него ночевать, утром приходила завтракать за общий стол и молилась вместе со всеми. Отец и мать считали, что это в порядке вещей.

Гизела мне рассказала, что они уже года полтора-два вместе; что ее сын просил девушку о браке, хочет иметь детей. Но она не хочет, т. к. хочет доучиться (училась она, кажется, чему-то странному, чуть ли не механической вышивке, и уже года два). Он же уговаривал ее родить ребенка, и он будет за ребенком ухаживать. Гизела улыбалась и говорила: «Как им нравится! Как они хотят!» Впрочем, через два года я получила от них приглашение на свадьбу.

Гизела, ее сын, я (иногда присоединялась и подруга) допоздна, чуть ли не все ночи разговаривали – обо всем. Они спросили меня, не интересно ли мне освоить берлинский диалект. (Литературный не-

мецкий – «хох» – «высокий немецкий»). И мы говорили на берлинере, и я научилась за эти ночи этому диалекту. Днем мы по 2–3 часа ходили по музеям, а потом гуляли по городу.

В центре была огромная государственная столовая, но она так напомнила мне наши столовые, что ели мы днем на улице. На многие площади привозили жареных на гриле цыплят; к ним полагалась булка, а запивали мы все это каким-нибудь соком.

Вечером нам предлагался чай с булкой и с маслом, немного печенья с кремом. Но мы так уставали, что вечером уже и есть не хотелось; впрочем, цыплята жареные были уж очень хороши, нам хватало!

Герхардт очень негодовал на имущественное неравенство. Номер в отеле на сутки стоил заработка сына за месяц! Это гнусно, считал Герхардт. Если так пойдет и дальше, то ничего от идеалов христианского равенства не останется...

Да, трудно было бы ему смириться с тем, что происходит сейчас. Но ему тогда было за 60; думаю, что он не дожил до самых для него грустных реалий: до все большего социального расслоения.

Гизела сводила нас 2 раза в зоопарк. Громадный, очень чистый и просторный; и животные тоже – чистые, сытые, даже веселые. Гизела подарила нам на память хорошо сделанные пластмассовые фигурки: олени, целое стадо, с оленятами и вожак с прекрасными ветвистыми рогами.

Так прошел наш месяц в ГДР. Он очень много дал мне – этот месяц непосредственного, живого общения с разными людьми; все они были очень добры и предупредительны к нам. Я же с трудом перешла на русский язык при переезде границы...

Единственное, о чем сожалею, – о том, что внучка моя прекрасно говорившая, а потом и читавшая по-немецки еще в 16 лет, когда друзья наши Фейстели и Золльманы приехали к нам на месяц в Харьков, провожавшая их и в магазины, и в Харьковский музей, и говорила так свободно, теперь, при переезде в Израиль, забыла немецкий накрепко.

Очень я об этом сожалею. Твердо уверена – каждый язык – это

великая культурная ценность, и такая потеря всегда обедняет человека.

А еще подумала, как многое было тогда проще. Вот пригласила четверых к себе; дала только подписку, что буду их кормить и, кажется, обеспечу им отдых. И не потребовали у меня, чтобы у меня была жилплощадь на 36 м² больше положенной нормы. Приняла друзей у себя, потеснились мы из четырех комнат в две, а две им отдали. И к ним мы ездили – никто не потребовал, чтобы мы жили в отеле; не проверяли, где мы жили в Берлине.

А сейчас я, участница блокады, награжденная, хотела поехать в Ленинград (теперь Санкт-Петербург) к своей двоюродной сестре, участнице войны. Так дай им справку, что у нее в квартире лишняя, в 18 м², жилплощадь (а откуда она может быть, если квартиры получали по строгим нормам?), или надо жить в отеле, а плата за номер в таких суммах (за сутки!) которые ни мне, ни сестре и во сне не снились? Вот и соглашаешься с Герхардтом – отель за месячную зарплату? Да нет, еще и больше. Так и не смогла поехать, повидать сестру.

Мы долго переписывались с моими немецкими друзьями. И от Фейстелей и Золльманов много лет на Рождество приходили посылки с игрушками, книжками для детей – для маленькой Кати, постепенно выраставшей.

Приехали мы в Харьков, домой – на кафедре теперь, при Юрии Марковиче, стало так интересно, так дружно и тепло. Теперь, когда мы оставались по каким-то причинам между занятиями, у нас очень бурные дискуссии вспыхивали о прочитанных – например, в толстых журналах – вещах. Очень бурные дискуссии вспыхивали о специальных статьях о преподавании. Это был совершенно другой уровень, другой... ну, если хотите, другой мир, в котором мы стали существовать. У нас бывали преподаватели из университета. В частности, у нас бывала Рената Муха со своими сообщениями, которая была тогда совсем молодой преподавательницей, но уже тогда очень обаятельной, очень умной, очень яркой. У нас бывала просто на занятиях, а потом стала работать Беатриса Иосифовна Роговская. Она, так сказать,

«мама» всех выросших в Харькове кандидатов по английской филологии. Она всем нам в университете читала лекции по теоретической грамматике английского языка; общение и работа с ней на одной кафедре тоже были всем нам очень полезны... Да, конечно же, все это было полезно... Но как же это было и интересно!

Абсолютно иное отношение установилось теперь к нашим научным и обязательным, так называемым, научно-методическим разработкам.

Если при Щегловой чем больше кто-то занимался какими-то разработками или стремился к разработке какой-то проблемы с перспективой на защиту, тем большую ее ненависть такой человек вызывал (в частности, то преследование, которому подвергалась я).

При Юрии Марковиче каждую работу мы обсуждали всесторонне, с большим вниманием друг к другу. И это тоже значительно улучшало качество преподавания. С Юрием Марковичем пришла молодая преподавательница из университета, Орлова. Очень сильная преподавательница, которая, как мне стало известно, теперь кандидат наук и, после ухода Юрия Марковича, заведует кафедрой иностранных языков в нашем институте.

Мои работы Юрий Маркович оценивал очень высоко. В частности, он первый, прочитав мои разработки «Веселой грамматики» назвал их «блестящими». Потом работы читала Беатриса Иосифовна Роговская и Рената Григорьевна Муха. (Потом был заводделом печати в ЦК Белоруссии Виктор Борисович Волынский). Даже странно теперь вспоминать это – так много людей высоко оценили мою работу, и... она так и не была напечатана.

Очень внимательно прочитала мою работу Беатриса Иосифовна Роговская – не только работу, но и описание 1015 рисунков к тексту, мною придуманных и подробно описанных.

Она тоже оценила работу, как прекрасную занимательную книгу, как бы веселое чтение для усвоения немецкой грамматики; она сказала мне: «Вы – гений трудолюбия и Ваша работа, Катенька, прекрасна и по замыслу, и по вложенной в нее изобретательности, по изложе-

нию. Но приготовьтесь морально, не ломайтесь... Ваша работа не будет напечатана. Она слишком трудна для издания... Р.Г. Муха тоже прочитала, сказала: «Ну, писать Вы умеете: это так интересно!»

И, Боже мой, сколько мучений я прошла, а работа так и не напечатана... Уже из Израиля обратилась я в издательство «Аргус» в Москве. Мою книгу там приняли, оценили; у меня был договор, я все не верила. А потом даже заплатили по договору первую выплату денег и... тут я поверила! Я была так счастлива – труд 2–3 десятков лет; полезная для всех интересующихся немецким языком книга...

Но издательство «Аргус» разорилось, лопнуло...

Да нет... Я не жалею многих лет труда – мне было интересно жить с этой работой в душе – днем и ночью, неотступно. На каждом занятии что-то проверять из придуманного, что-то менять, что-то находить вновь.

Ну, да видно, «не к нашему двору» были «построенные мною резные ворота» – не нужны были издательствам такие работы. Легче какие-то детективы. Вот и порнуха идет же хорошо... Увы. И хорошие книги XIX в. – дешево (авторам платить не надо) и сердито!..

Не я первая, не я последняя, кто не смог осуществиться в наше сложное время...

Года за два до нашей с внучкой поездки в ГДР в Харьков приехал из Киева в Художественно-промышленный институт новый заведующий кафедрой истории живописи – Николай Семенович Гуецкий. Довольно быстро у нас нашлись общие знакомые; естественно, что Николай Семенович заинтересовался моими лекциями. Мне тоже было очень интересно – ведь наши лекции касались творчества одних и тех же художников, одних и тех же периодов, но эти наши лекции были совершенно отличны друг от друга.

Николай Семенович был из семьи художников, получил соответствующее искусствоведческое образование, и его работа в вузе была работой профессионала. Мои лекции носили культурологический характер – я отнюдь не была специалистом-искусствоведом.

И все же я считала себя вправе вести ту лекционную работу в мас-

штабах города, которую вела. Николая Семеновича удивила и, смею сказать, «покорила» моя коллекция слайдов по русскому портрету XVIII–XIX вв., а я, в свою очередь, впервые имела возможность увидеть материалы об искусстве древних цивилизаций Америки, особенно Южной и Центральной Америки, собранные Н.С. Гуецким.

Свою прекрасную киевскую квартиру он не сразу поменял на Харьков, но все, наконец, устроилось; он смог перевезти жену и сына – мы подружились с этой семьей. Но вот доходят до меня слухи (ах, даже миллионный город – и все равно все всё друг о друге знают!), что там в Художественном институте, на этой самой кафедре очень все неблагополучно. Дама, ранее исполнявшая обязанности заведующей, весьма недовольна приездом Гуецкого. Он – кандидат искусствоведения, а она так и не смогла стать кандидатом; да и вообще, он, приехав, стал что-то менять – это ей не нравится. К ней все привыкли, а тут – новое. И тут стал Николай Семенович уговаривать меня пройти конкурс на его кафедру. «Вы сможете заниматься любимым делом», – говаривал он. Ну и уговорил он меня прочитать у них в институте лекцию о первобытном искусстве. Я согласилась.

Присутствовала вся кафедра этого института – еще бы! Ведь это возможная новая сотрудница; известно было, что и хорошая знакомая Гуецкого, и что в городе известный лектор... Да, конечно, лектор-то я опытный, и кандидат... Только вот вспомнила я любимую формулировку Щегловой «Мышкис – кандидат не тех наук». Тогда широкое распространение в вузовской практике имело сокращение «кандидат тех. наук» (технических). Ну, а про меня – прямо в цель – не тех, т. е. исторических, а не филологических, не искусствоведческих. Лекцию я прочитала красиво, даже как бы с «шиком», но... что-то я сказала не то о довольно знаменитом изделии из кости, найденном в раскопках селения кроманьонского человека. Как все ухватились за свои ручки и карандаши! Разбор был, в целом, положителен, но вот... – и следовал детальный разбор моей ошибки. А я ведь и правда, видела лишь фотографии в учебнике, а самого-то изделия не видала, даже не знаю, в каком это музее.

А Николай Семенович решил, что лекция моя прошла очень хорошо, что я уже наготове подать заявление на конкурс. А я так ругала себя за слабохарактерность – зачем я согласилась на эту лекцию? Ну, зачем? То, что я делала и в немецком языке, и в своих лекциях, вполне было моим любимым делом. Юрий Маркович был моим единомышленником в преподавании, прекрасно относился к моей работе и ко мне. Зачем мне уходить? Ведь там, в Художественном институте, я буду еще более чужой, чем была на истфаке; там все они много лет работают – зачем мне туда лезть? Я ведь теперь, с приходом Юрия Марковича, делаю на работе все, что считаю нужным делать, и всегда встречаю его поддержку; я понимала, что даже если в будущем и возникнут какие-то разногласия по работе, они будут разрешаться для пользы дела и в достойной форме.

Я рассказала о своей лекции Юрию Марковичу, даже как бы покалась, а он мне ответил: «Вы будете работать со мной до тех пор, пока буду работать я».

В 80-е годы, естественно, постарели мои молодые друзья, появились у них семьи, дети, реже стали мы встречаться. Но много времени проводили мы вместе с семьей Розенталей (Миша Розенталь дружит с Борей с пяти лет) и подружились мы с семьей Дикштейна. Григорий Ефимович Дикштейн – поэт. У него много песен и стихов – и лирических, и иронических – всяких и разных, и очень хороших.

Сейчас он в США. В 1995 году вышла книга стихов и песен с нотами Григорий Дикштейн «И отзовется эхо...», Чикаго, 1995.

Когда мы подружились семьями, он работал художником-дизайнером. Но будучи человеком очень талантливым, уже тогда он писал стихи и музыку (не имея музыкального образования). Б. Магальник расписывал и аранжировал его песни в сопровождении гитары, скрипки (Б. Магальник) и альты (М. Розенталь). Это трио стало известно в Харькове; они давали концерты и с большим успехом. Только вот платили каждому участнику (а их трое) – как и мне от общества «Знание» – 5 рублей за концерт! Скажем прямо, никак не щедрой была такая плата...

Естественно, что после нашей поездки в ГДР дружба с моими немецкими друзьями еще больше окрепла, переписка продолжалась, и они опять приглашали нас приехать. Да, это очень здорово было бы. И вот (почти!) закончив ремонт, стали мы подумывать о новой поездке.

Поскольку в первый раз все это мероприятие прошло довольно легко, я как-то совсем не была готова к тому, что меня ожидало при второй попытке. Я пошла на прием к милиционерскому начальнику с приглашениями, с письмами от немцев и своим заявлением. Не было той женщины, а сидел на этом месте некий тип – худшее воплощение милиционерского чина! Как в кино!..

Привстав, постукивая пальцами по столу и как бы наклонившись в мою сторону, он не разговаривал – он шипел, как змея или орал, стуча кулаком по столу:

– Вы что это, гражданка, туда-сюда вздумали ездить? Там купить, а тут продать? Что именно? Сервисы или трикотаж? Вы за кого меня принимаете, или я Вам такое разрешу?

На мое возражение, что я вот немецкий язык преподаю, что это мне для освоения языка полезно, я получила:

– Если кому что для работы нужно, то вас в институте учили; государство об этом заботится, командировки дает. А спекулировать не позволю! И вообще, если эти самые немцы – Ваши распрекрасные друзья, то что-то вот они к Вам не едут!

Я:

– Вы дайте разрешение, и они приедут! – оскорбленная всем этим разговором сказала я, что называется, «с плеча».

– Ну, пишите заявление, оформляйте разрешение. Это Вам не туда-сюда за вещами ездить – захотят они – пусть приезжают.

На меня весь этот разговор произвел совершенно ужасное впечатление: какая-то оскорбительная тупость, грубость этого человека, обвинения дурацкие. Я даже была уверена, что не дадут мне этого разрешения. Но... разрешили!!! И были у нас Фейстели и Золльманы, гостили целый месяц. Как дружно и весело мы его провели! Все мое семейство говорило по-немецки вовсю, особенно дочь и внука.

Внучка даже возила их в музей, там все им по-немецки рассказывала (я подвернула ногу и три дня лежала). Куда же это теперь все ее познания девались! И как жаль мне этих потерянных знаний.

Но это была наша последняя встреча с моими немецкими друзьями. По телефону говорили и переписывались даже отсюда, из Израиля. Но теперь уже Хейнц и Курт умерли. Многие мои друзья уже ушли, а я почему-то живу долго!..

Мне захотелось также привести здесь два рассказа о том, что и в милиции – даже и в милиции – иногда все же встречались милиционеры-люди, а не наоборот.

Первый случай моей благодарности (нашей семейной благодарности) относится к тому времени, когда моя бабушка, высланная как «член семьи репрессированного» дедушки, при наступлении немецких войск бежала от оккупации и добралась-таки от Вышнего Волочка до Нижнего Тагила – не близкий свет! Да еще во время войны и в толпах беженцев... Когда ее дочь Зина пришла в Нижнем Тагиле к начальнику отделения милиции и рассказала ему все (и что мать была высланная, ЧСР) – ей этот начальник сказал: «Гражданка, Ваша мама – беженка. Она получит паспорт, как беженка и будет жить у Вас». Это много для того времени. Тагил – сплошь военные заводы. Но вот такой попался начальник.

Второй случай произошел в Харькове с очень близкой моей знакомой. Я подружилась с ней, и она мне рассказала следующее. Когда немецкие войска оккупировали Харьков, а потом отступали, многих молодых женщин они насильственно вывезли в Германию. Попала в этот эшелон и она. Ей удалось зашить паспорт в блузку. Их не очень обыскивали. Когда привезли в Германию (это оказался город Пирна на Эльбе, где я была в гостях), их поместили в такие дощатые домики-бочонки (потом их строили у нас на турбазах), и она работала на авиационном заводе. (С этого завода как раз и были через много лет инженеры прикомандированы к ХАИ и стали моими друзьями). Когда война закончилась, эта моя знакомая с большими сложностями вернулась домой в Харьков. Ее муж был где-то на фронте, а дома

чудом уцелел глухой и почти слепой ее отец. Она пришла в милицию и все рассказала, подала начальнику паспорт. Он посмотрел паспорт, вернул ей и сказал: «Ваш паспорт в полном порядке. Вы прописаны у себя дома. Вы совершенно не обязаны рассказывать кому-либо то, что рассказали мне. Живите у себя дома спокойно».

В то время тем, кто побывал в Германии, да еще работал на военном заводе, грозили многие неприятности. Так что иногда бывали и милиционеры, и даже начальники, людьми.

По-прежнему бывали в нашем доме друзья Мити – альпинисты; друзья Бори – музыканты; по-прежнему слушали музыку и пели. Но 70–80-е годы – это ведь время широкой общественной борьбы за права человека. Спорили, читали... «Голоса» слушали. Имена Сахарова и Елены Боннер были у всех и на уме, и на языке, и на слуху. «Самиздат» работал повсюду. Друг моего сына Мити, В.В. Померанцев, участвовал в работе некоторых групп, печатавших и распространявших «Самиздат». По этой деятельности Померанцев был связан с известным в Харькове правозащитником Алтуняном. Алтунян был в заключении по каким-то политическим процессам; потом он был освобожден и по-прежнему участвовал как в правозащитной деятельности, так и в общественной жизни. В. Померанцева допрашивали; какие-то материалы его и Алтуняна собирались прятать у нас. (В.В. Померанцев с 1995 по 1998 гг. был вторым мужем моей дочери Кати, но этот брак распался). То ли уже чувствовалось приближение перестройки, то ли деятельность эта не была настолько «антигосударственной», но как-то само по себе все это утихло.

Жить становилось все труднее. Стихи Г. Дикштейна – это сгустки впечатлений, отпечатки той жизни:

Наш полубуржуа-полубедняк,
Свободу в телевизоре выдавший,
Затурканный, отставший,
Живет он так и не познавший
Ни прав своих, ни полнокровных книг.

Живет он, лишь из газет узнавая, что «пере», а что «недо». Вот это мы и были, эти «полу».

Как бы зарплата у меня была немаленькая, но я все время нуждалась в деньгах, была «полубедняком». И это именно мои кастрюли «тосковали по мясу». Чем больше не только кастрюли, но и вся семья «тосковала по мясу», чем больше мне хотелось, чтобы моя внучка (пока я могу!) что-то увидела, куда-то съездила, тем больше я нуждалась в дополнительном (к моей большой зарплате!) заработке. И машину я не купила, и не пил у нас в семье никто – а денег очень не хватало... И чем больше я стремилась заработать, тем острее, с самого начала моей лекционной деятельности, стояла передо мной проблема: искать и находить материал, с которого можно было делать слайды; эта проблема, возникнув, так и стояла все то время, что я работала: ведь слайды надо было обновлять; расширялись старые темы, возникали новые. Я нашла человека, который делал для меня слайды очень хорошо (кстати, семья Векслерчиков тоже скоро превратилась в моих друзей – ведь Валерий Давиденко появился далеко не сразу, а лишь в процессе моего чтения лекций в общежитии, года через 2–3).

Мне постоянно нужны были книги, с которых можно было сделать слайды для показа; книги должны были быть очень хороших изданий, с хорошо переданным цветом живописных произведений. Начались поиски знакомых. Моя дорогая подруга Пеля (Полина Борисовна Найман), сама математик и вдова математика Израиля Марковича Глазмана (это были самые близкие наши друзья), порекомендовала меня семье видного алгебраиста, Самуила Давыдовича Бермана. Берманы, к которым я первоначально обратилась с просьбой о книгах и альбомах, сердечно откликнулись и стали моими близкими друзьями.

Книг и альбомов было много; отличное их качество позволило мне весьма расширить и обогатить мою коллекцию слайдов.

Сама же дружба со всеми членами этой семьи не только расширила рамки известного мне, но и подарила мне радость общения и встреч с поистине удивительными и замечательными людьми.

Приехали они в Харьков из Ужгорода – оба участники Великой

Отечественной; он награжден орденом. У них трое детей. Когда я их узнала, дети уже были взрослыми.

Старший сын окончил Институт радиоэлектроники. Однако махнул он рукой на свой диплом. Красивый молодой человек, с прекрасным голосом и сценическими данными (не для оперы, но для эстрады), пошел он петь в одном из ресторанов Харькова; ну, что ж, хорошо пел; довольно быстро женился, появились у него две дочки и... вскоре еще одна жена, и тоже, в ожидании...

Второго сына я узнала незадолго до его ухода в армию; институт он окончил; появилась и у него невеста, потом стала она женой и, естественно, дочка появилась тоже.

Дочь Берманов, Наташа, как и старший брат, была очень музыкально одаренная девушка, но абсолютно не математических склонностей; окончила университет и пошла работать в школу, учить детей русскому языку и русской литературе.

И Самуил Давыдович, и Белла Наумовна были великолепными знатоками литературы и поэзии, в первую очередь – русской, но не только. Французские и английские поэты не в переводе, а в подлинниках в этом доме не только украшали полки, а и цитировались, вызвали обсуждение, сравнивались с их переводами на русский язык.

Вообще меня всегда очень радовал и удивлял тот настрой, скажем, душевно-иронический, который был характерен для всей этой семьи. Ничто не скрывалось; все «выкладывалось начистоту» – любовные перипетии детей, их увлечения, все события с ними и вокруг них – все обсуждалось всеми в том самом «душевно-ироническом» ключе. (Вспомним хотя бы двух жен старшего сына – одну с двумя маленькими чудесными дочками и вторую, беременную – за общим семейным веселым праздничным столом!) Больше я нигде ничего в таком роде не встречала... Какое-то удивительно оптимистичное отношение ко всем жизненным событиям...

Но и горько же пришлось этой семье! Как-то примерно в то же самое время, когда в Харькове очень уж потянуло зловонием антисемитизма, произошло несколько (по крайней мере, лично известных

мне) горестных событий. В 1968 году Израиль Маркович Глазман выбросился из окна своей квартиры с восьмого этажа...

Это было большое горе для всех нас, так как Глазман был нашим самыми любимыми и дорогими друзьями. Очень дружили все – и взрослые и дети. Для меня Полина Борисовна и ее родители были как мои собственные родственники. А об Израиле Марковиче я так тосковала, что одна моя подруга, с которой мы были в Тбилиси (наши мужья участвовали в какой-то математической конференции), даже заподозрила меня в любовной связи с ним. Но не было этого! Не было!

Просто Изя был абсолютно особенным человеком – всегда и всем готовый прийти на помощь, невероятно чуткий к чужой боли, и моральной и физической. Кроме того, он был остроумен, обаятелен, музыкален... Нет!.. Таких людей – такого масштаба человечности и обаяния – я больше в своей жизни никогда не встретила! По общему мнению, он был и совершенно выдающимся специалистом в области математики. Пеля как-то «выдала» мне, что его самоубийству предшествовали вызовы в «органы»; что от него требовали каких-то признаний; что это тянулось года два. Но он оберегал жену; даже ей всего не рассказывал; думаю, что и мне она не все рассказала... Да и зачем?..

Я встретила в своей жизни много людей и умных, и хороших, но Изя Глазман был такой единственный, какие, наверное, редко рождаются на земле.

Я часто бывала у Берманов. Там я встречала Бориса Чичибабина, – прекрасного поэта, долго сидевшего в каких-то лагерях, не сломавшегося и создавшего много великолепных истинно философских и лирических произведений.

Там же бывали еще какие-то люди; встретила там и Алтуняна. Шли беседы о подписании неких обращений в правительство правозащитного характера; обсуждались вполне откровенно проблемы внутренней и внешней политики. А вот именно внутренняя-то политика оставляла желать много лучшего; она ударяла по нашей жизни. У Дикштейна в одном из стихотворений сказано: «Бьет времечко по

темечку...» – и поистине, било как молотком... Обсуждались вопросы преподавания в высшей школе; говорили об усилении антисемитизма; о бессмысленности и потерях в Афганской войне!

Пожалуй, начались горести у Берманов с дочери Наташи. Окончив филфак университета, она пошла в школу преподавать русский язык и литературу. Она выросла в атмосфере интеллектуального творчества, литературных интересов и глубокого знания русской литературы. Я бы осмелилась сказать, при погруженности родителей в русскую культуру и не затухающих интересов ко всей западно-европейской культуре со стороны всех членов семьи. Наташа искренне стремилась передать этот живой интерес ученикам... Но как грустно это закончилось!

То ли у Наташи не было той силы воли и такого характера, что позволяет и делает необходимым для учителя «завладеть» личностями учеников, подчинить их себе, увлечь за собой, то ли уж и правда, ее ученики ну никак до культурных потребностей не доросли.

А дети – эти «цветы жизни» – в своем росте и «выросте» иногда превращаются в стадо жестоких и злобных тварей, которых не могу сравнить ни с каким сообществом животных, чтобы животных этим сравнением не обидеть. Бедная Наташка не справилась – не смогла добиться того, чтобы они хотя бы стали ее слушать... Куда там! Ей кричали: «Жидовка, убирайся к своим жидам! Их учи!» Подкидывали записки с обещаниями избить... Ушла Наташа из школы.

А человек она талантливый – писала стихи и пела их, играя на гитаре; писала и очень даже славные рассказы; вышла замуж за молодого (кажется, инженера) человека по фамилии Дорошко, под этой фамилией дала несколько концертов и не без успеха в Харькове (все же ведь большой город!).

Вспоминая печальную попытку Наташи «сеять разумное, доброе, вечное» и неуспех этой попытки, я думаю также о своей приемной дочке – Люде Крещук, получившей, благодаря тайному голосованию учеников, звание «лучшей учительницы г. Харькова». Боже мой! А преподавала-то она что? Пение с пятого по седьмой классы... Это всегда самые трудные классы школы, особенно из-за дисциплины.

Какие же в ней были удивительные способности скрыты, раз она сумела в одном из трудных (особенно по работе с подростками) районов Харькова добиться и любви, и признания у этих «деток»! Не пела она на концертах – голос у нее был обычный, не концертный; и окончила она дирижерско-хоровой факультет Института культуры. А вот, поди ж ты!

Наташиного мужа я видела один раз (во всяком случае – запомнила!) при следующих обстоятельствах. Он пришел (позже, чем мы с Пелей) с большим синяком под глазом, даже синяк-то делался при нас, когда мы ставили холодные примочки, а синяк вздувался на глазах. Рассказал нам молодой человек, что в лифт с ним вошли двое парней; спросили его: «Зачем ты, жидовская морда, сюда, в наш дом зачастил?» – и один из них его ударил; но лифт остановился на 4-м этаже, и Наташиному мужу удалось все же выскочить. Он (так он гордо повествовал) якобы тоже кому-то из них «двинул»... но ведь их было двое... Так что, слава Богу, что сумел выйти из лифта. Скажем прямо, эти обстоятельства могли бы не сильно способствовать Наташиному роману! А ее муж оказался молодцом, наплевал он на эти угрозы и на возможные осложнения, не являясь носителем означенной «морды» и будучи украинцем, женился он на Наташе.

Прошло несколько лет. Однажды Пеля мне рассказала, что Самуила Давыдовича уволили с работы (он заведовал кафедрой). Уволили и Беллу Наумовну. Было кошмарное открытое партийное собрание, на котором Самуила Давыдовича обвинили в... «идейном и интеллектуальном растлении» молодежи; что его также исключили из партии...

Как раз это было какой-то день, когда было принято собираться у Берманов – не то праздник, не то чей-то день рождения.

Была хорошая погода, и мы шли с Пелей пешком. Она мне рассказала, что всю кафедру Самуила Давыдовича вызывали в «органы»; всех допрашивали, добываясь компрометирующих его свидетельств, все держались стойко. И тогда (об этом говорила, кажется, его аспирантка по фамилии Таирова) ей включили запись спора, который проходил у Берманов. Все это длилось года два. «Учти, – сказала Пеля, –

значит, есть там записывающие устройства. У меня двое детей – я там больше не скажу ни слова».

И действительно, после этого вечера она у Берманов всегда молчала, лишь улыбалась и кивала или качала головой. Как всегда, в этой семье обсуждалось все сообща. Самуил Давыдович рассказал о том, что при беседах с ним в «органах» какой-то молодой человек пытался кричать на него и стучать кулаком, требуя: «Вы еврей, почему Вы не уезжаете? Уезжайте вон из страны, раз Вам здесь не нравится!» – и тоже ставили ему запись какого-то спора в их доме, где Самуил Давыдович осмелился критиковать условия нашей жизни и работы. Самуил Давыдович сказал: «Почему Вы, молодой человек, позволяете себе на меня кричать? Это моя родина. Я защищал ее и никуда отсюда не хочу уезжать».

На следующий день после этого вечера у Берманов Самуил Давыдович поехал в Москву. Он обратился в ЦК Партии, и справедливость как бы восторжествовала; его восстановили в партии, дали строгий выговор с занесением в личное дело; и Беллу Наумовну, и Самуила Давыдовича приняли на работу, но уже только с почасовой оплатой (за ту же работу просто стали платить во много раз меньше); я теперь не помню, восстановили ли его на заведовании кафедрой, а если восстановили, то когда. В любом случае все это «восстановление справедливости» поставило семью и в тяжелые материальные условия, и доставило моральные переживания. Не говоря уже об унижении – математик с мировым именем – в Харькове даже снят с заведования кафедрой... У него десятки учеников... Наконец, большая семья. Все это было так тяжело, так несправедливо... Не просто так прошла вся эта история, все унижения и вся несправедливость – здоровье Самуила Давыдовича было подорвано. Через пару лет он умер скоропостижно, кажется, от инфаркта.

Но мы продолжали встречаться. Мы с Пелей, обе, потерявшие мужей, – одного унесла страшная, жестокая смерть, другого увела от семьи новая любовь – очень дружили. Наши дочери (Ева была тяжело больна после смерти отца), Ева и Катя учились вместе в музыкальной

школе; и потом, когда Катя не захотела заниматься музыкой и ушла, их дружба продолжалась.

Мы часто встречались с Беллой Наумовной. Она героически помогала своим сыновьям ставить на ножки и воспитывать своих четырех маленьких внучек; много занималась с ними.

Годы шли, но атмосфера в нашей стране чище не становилась: антисемитизм успешно рос и развивался. На рубеже 1989-го и 1990-го, кажется, должен был быть какой-то большой еврейский праздник. И вот, с разных сторон, в частности из Москвы, тоже поползли слухи о возможности еврейских погромов в Харькове. Подруга моей дочери Кати привезла к нам своего сына, лет 10–12 (они жили на Холодной Горе). У нас все же авиаинститутский городок, студенческие дружины не допустят беспорядков, подумали мы. Саша прожил у нас неделю.

В эти дни, кажется, Слава принес и оставил мне номер телефона. Если все же состоятся эти беспорядки – на тот случай, по-видимому, были организованы (конечно, нелегально) какие-то отряды молодежи, может быть, по преимуществу, еврейской... Но до погромов дело все же не дошло. Однако об этих слухах я вспомнила вот по какому поводу. Примерно в это же время мне однажды позвонили бывшие студенты нашего института, которых я хорошо знала по иностранным вечерам. Они рассказали, в Харьков приезжает владелец галереи карикатур и сатирических плакатов и рисунков; приезжает на несколько дней, чтобы познакомиться с творчеством харьковских художников, в частности, он хочет посетить некоторых из так сказать «андеграунда»; что русским не владеет и просит помочь ему в поисках переводчика, так как официально его визит разрешен, но переводчика ему не предоставляют.

Не знаю, а может быть, уже просто теперь не помню, как и почему вышли на меня. Конечно, я согласилась. Просто мне было всегда интересно поработать переводчицей, тем более – познакомиться самой с художниками Харькова. Художника звали Volkmar (Фолькмар) Doberitz (Деберитц). Тогда его адрес был: Schmidt-Blegge Stroepe 37; 5060 Bergisch Gloc bach 2, Tel. 02202 52115 Kritische Zeichnugen

Karikaturen und Kartoons Koln. Я с большим интересом поработала с Фолькмаром дней 10–12. Мы были у разных художников и теперь я не помню, купил ли он что-нибудь для своей галереи. Но однажды мы были по какому-то адресу, где вход в квартиру был со двора, как бы полностью закрытого с улицы. Там жил художник с еврейской фамилией. Мы видели очень плохое жилье, сделанное из какого-то полуподвала; видели женщину с грудным ребенком... Как у всех художников, их жилье было заставлено холстами. Но самое страшное я увидела во дворе: тесное это пространство пестрело свастиками, а на дверях в «квартиру» (если это можно было назвать квартирой!) была четкая надпись: «Жи́ды! Убирайтесь вон!»

До тех пор я все же нигде и никогда таких надписей не встречала. И тут я поверила в возможность погромов, и мне стало так страшно за всех евреев. Я поставила себя на место этой женщины с грудным ребенком: как она выходит и входит и видит эти надписи и как, наверное, думает, брать ли ребенка или оставить его за дверью. Но Фолькмару я эти надписи не перевела...

Фолькмар оказался очень симпатичным человеком широких демократических взглядов. Кажется, при его помощи все же состоялась поездка нашего харьковского детского хора по городам Германии. Как будто мне кто-то рассказывал об этом. Но это произошло уже после моего отъезда, так что я несколько забегаю вперед в этом месте своего рассказа.

Становилось все страшнее. Многие пытались уехать из страны, но это сопровождалось такими сложностями, что практически выехать было трудно. Но хлопотали многие, и постепенно стали люди выезжать.

Я знала, что Белла Наумовна все больше склонялась к мысли об отъезде. Думаю, что она связалась с кем-то из учеников Самуила Давыдовича в США, и они все же смогли помочь: Берманы получили разрешение на выезд. Мне было очень грустно расставаться с Берманами. Но я все время как бы видела эту страшную надпись, этот утаенный вход в жилище той семьи и женщину с грудным ребенком...

И мне было страшно, страшно за ту женщину – как она могла каждый день идти через этот двор... Ну, а как она могла там не ходить? И вообще – ведь это могло быть в любом месте...

Берманы – Белла Наумовна, два сына, три их жены (одна в документах значилась, как «жена», а другая – как «мать детей Д. Бермана»), и четверо внучек уезжали в США. Наташа оставалась с мужем. Это было в конце 80-х годов.

Я провожала их в аэропорту, и мне в голову не могло придти, что мы увидимся еще хоть раз в этой жизни... Но как же она, эта жизнь, непредсказуема. Около года я прожила в Израиле, и к нашим общим знакомым приехали и Белла Наумовна, и Наташа.

Наташа получила туристическую визу в Израиль; а в США – повидаться с родными – ее, как я понимаю, не выпустили. Белла Наумовна рассказывала мне о своих внучках; как она занимается с ними русским языком; что ее девочки не только говорят и читают, но и пишут по-русски. Видно неистребима в нас всех любовь к русскому языку, к русской культуре, родной, несмотря ни на что!

А с Наташей я встретилась еще раз через несколько лет. Ее привезли в Израиль на носилках. Встречали ее наши общие знакомые и прямо доставили в больницу. Ей сделали сложную операцию – удалили раковую опухоль. Мы встречались с ней в таком лечебном учреждении – здесь он назвался «хостель» – где люди после удаления подобных опухолей живут по 1,5 месяца; они подвергаются там лечению, весьма трудному.

Я тоже была там после такой же операции. Мы с Наташей очень обрадовались друг другу. Она хорошо выглядела, была полна надежд.

Мне повезло – я оказалась счастливее и... осталась жива. А Наташа... Через несколько месяцев после нашей встречи она умерла от рака. Какой процент вины за ее гибель лежит на всех этих событиях нашей харьковской жизни? Кто знает?.. В харьковском издательстве «Фолио» издан посмертно томик ее стихов и рассказов.

Но годы все-таки уносили здоровье – как бы «укатали Сивку крутые горки». Последние походы прошла я уже не по горам, а по Укра-

ине – по тем прекрасным местам, в которых потом стало так страшно после Чернобыльской катастрофы. Да и по Кавказу теперь уже шла я не со студенческими своими группами, а с друзьями, конечно, помоложе меня, но уже со взрослыми детьми – с Голодцами и Уринсонами. В 56 лет я поднялась в горы Кавказа в последний раз – мы вышли к Орджоникидзе (теперь Владикавказ) и доехали до Тбилиси.

Все больше мне теперь хотелось показать как можно больше своей внучке, пока могу. Были мы в Прибалтике (Рига, Таллинн, Каунас, Вильнюс); побывали на Среднем и Южном Урале (Свердловск, Нижний Тагил, Челябинск, Миас); доехали на поезде до Хабаровска, от него на самолете – до Владивостока.

Такие прекрасные эти величественные и реки, и горы, и леса, где грибы косят косой, – поистине необозримые, бесконечные и непредставимые красоты и богатства... и надпись на доске на берегу океана, где кончается земля, а до Москвы – 10 тысяч километров! Как хотелось мне, чтобы ей была в жизни дана эта радость познания окружающего и любовь к этой суровой красоте нашей земли.

И последняя поездка – Кижы и Хельми.

Даже и представить себе не могла я в те годы, что мы уедем навсегда, и что моя правнучка будет израильтянкой, дочь и внучка уже не будут ощущать себя русскими, а я? Я буду жить, как некий странный рудимент второй половины XX века...

Примерно в 1985–1986 гг. начала я болеть. Какие-то очень острые, притом внезапные боли в левой ноге, настолько сильные, что я, вообще человек к боли терпеливый, плакала; когда и почему они начинались, что-то мне никто из врачей ничего пока не сказал. Да и ходить по врачам не было времени – пройдет боль – и ладно...

Но я была счастлива: у меня были ученики, ставшие моими друзьями.

Могу ли я забыть ту любовь и помощь, которую видела от них – от многих! Невозможно даже просто перечислить их всех, моих учеников – дорогих и любимых...

Кто-то занимался у меня в немецких группах, кто-то ходил в походы со мной, кто-то слушал лекции, а были и такие, кто участвовал во всех видах моей деятельности. И вот однажды... Можно ли забыть вот такое? Идет экзамен у группы фортепианного факультета: больше я с ними работать не буду – курс закончен. А я еле держусь. У меня стала в самое разное время возникать очень сильная боль в левой ноге. Такая боль, что в глазах темнеет, еле сдерживаю стоны. Начинается этот приступ боли, будто бы нога очень зябнет; потом все больнее, больнее, и уже не как бы ломит от холода, а просто нестерпимо больно; через некоторое время проходит, иногда около часа болит, иногда меньше.

По мне видно – я меняюсь в лице; боюсь упасть, от боли, в голове все мутится, в глазах искры какие-то или темно...

Еле-еле провела экзамен; сижу в классе, пальцы себе кусаю, чтобы не стонать; встать не могу, жду, когда отпустит.

Подходит ко мне милая моя отличница, Светочка Тимофеева и говорит: «Екатерина Дмитриевна, мой муж молодой врач; он закончил в Ленинграде военно-медицинскую академию и получил сюда назначение. Он молодой, но думающий врач. Пусть он Вас посмотрит, ведь хуже уж, во всяком случае, не будет».

И вот Игорь (Владимирович) Тимофеев приезжает ко мне домой, смотрит меня; расспрашивает. Начинается при нем такой нестерпимый приступ боли – он все на мою ногу смотрит; она становится белая и холодная, как мрамор, а боль – ну, нет сил терпеть, и я плачу тихонько (это ведь не на занятиях). Игорь обследует меня по невропатологии, расспрашивает.

Ага! – во время блокады были у меня и ноги и руки обморожены...

Вот что он говорит мне: «Я думаю, что у Вас болезнь Рейно. Это бывает после обморожений и, в тяжелых случаях, развитие болезни может требовать ампутации. Постарайтесь полечиться радоновыми ваннами – это в Цхалтубо. Там много санаториев – просите туда путевку».

Я рассказываю об этом Юрию Марковичу, и он начинает хлопо-

ты в местком по поводу путевки для меня. Это все в феврале, и вот на июль мне в местком дают путевку в Цхалтубо. Во время лечения всего 2 раза были приступы болей, а потом прошли и больше не повторялись никогда.

Кончила наш институт Светочка, а Игорь поступил в Ленинграде в ординатуру. Они уезжали в Ленинград; на прощание Игорь мне сказал: «Постарайтесь еще раз пройти лечение радоном – тогда более вероятно, что не будет рецидивов болезни. И еще, не допускайте даже малейшей возможности переохлаждения – это может быть опасно».

Итак, ни лыж, ни походов в горы... На этом поставлена точка.

Уехали мои милые Тимофеевы. Второй раз за 2 учебных года мне путевки через местком уже не дадут... А про возвращение болей и возможных результатов даже подумать страшно.

Но в Грузии что-то происходит – идет борьба между Эдуардом Шеварднадзе и его противником, ставленником из Восточной Грузии, Звиадом Гамсахурдиа; об этом глухо, но все же что-то становится известно.

У меня на 2-м курсе учится девочка – грузинка Кэто Мачавариани. Прелестная, очень способная, всем интересующаяся. Занимается немецким не за страх, а за совесть.

Весной она обращается ко мне. Ее отец приедет на несколько дней в Харьков и хочет со мной встретиться.

Приезжает он, и мы говорим в институте. Ну, понятно, о девочке – девочка чудная. Но Автандил Викторович не очень подробно, но все же в общих чертах говорит о тревожной обстановке в Грузии – на семейном совете они решают во всей этой сложной ситуации забрать девочку, чтобы училась дома. «Что Вы посоветуете?» – спрашивает он меня. Ну, что сказать? Можно ли что-то советовать, не желая терять прекрасную студентку? И я с ним соглашаюсь: Кэто доучится до конца года, сдаст зачеты и экзамены и уедет в Грузию.

На одном из последних занятий Кэто говорит мне, что они живут в Кутаиси, до Цхалтубо – 1–1,5 ч. на автобусе; что они будут рады, если я приеду к ним в гости и на лечение; на следующий день еще раз

приходит ее отец и вполне официально приглашает меня приехать и совершенно спокойно обещает мне, что в Цхалтубо можно будет купить путевку за наличный расчет.

Когда я ехала в поезде, началась забастовка железнодорожников. Даже неизвестно, как до них доехать – ведь все чужое.

Но семья Кэто разыскала меня, приняла, окружила заботой... А Автандил Викторович поехал со мной в Цхалтубо, помог мне купить путевку. Несколько раз я была у них в Кутаиси; в дни, свободные от лечения, гостила у них, как у родных.

Вот так две девочки, мои студентки, и близкие им люди, даже не будучи знакомы мне раньше, помогли мне в трудных условиях. Может быть, это даже спасло мне ногу.

Отец Кэто оказался дирижером Театра оперы и балета в Кутаиси.

Григорий Ефимович Дикштейн, Боря Магальник (мой зять) и Михаил Розенталь много работали вместе. Это их трио стало известно не только в Харькове – они выступали в других городах и даже получили приглашение на запись в Москве в «Мелодии» – для выхода пластинки.

С наступлением перестройки вспыхнули новые надежды. Ведь всегда хочется надеяться на лучшее! И вместе с тем становится страшно – все больше друзей уезжают. Да и разрешение на отъезд стало получить проще. И все же такое решение очень нелегко принять!

Трио Дикштейна было записано, и в 1988 году вышла их первая пластинка, в 1989-м – вторая, в 1990-м – третья. В 1990 году в продаже появились две пластинки; третья в Союзе так в продажу и не вышла. За всю эту работу мой зять получил... 17 рублей 10 копеек. За все поездки в Москву, все репетиции – а в один конец в Москву на поезде билет и то стоил дороже! При том, что для каждой записи участники ездили в Москву, и даже не один раз – эта сумма выглядела просто насмешкой.

Начинался распад Союза. Никто теперь не знал, эта запись должна относиться к Украине или к России, да и вообще, что будет дальше

со всей этой фирмой «Мелодия» – кто же будет ею заниматься? (Забегаю вперед, скажу: третья пластинка вышла в Чикаго в 1998 году по восстановленной московской записи под названием «Старое танго с секретом»).

Боря «бился» за пластинки – все же надеялся, что это даст деньги и всесоюзное имя. А я «билась» за свою «Веселую грамматику». Сделанные мною переводы к «Страстям» И.С. Баха вызвали определенный интерес в издательстве «Музыка» в Ленинграде. Главный редактор, Владимир Несторович Гурков, сочувственно отнесся к идее дать такой параллельный перевод к нотному изданию «Страстей» и на немецком, и на русском языках (в эквиритмическом переводе).

Я была в издательстве. Это место рядом с моим домом, в соседнем переулке! – Как много связано в моей жизни с этими местами... Я оставила свои работы на просмотр и по договоренности приехала за ответом. Владимир Несторович очень одобрил мои переводы и всю эту идею – издание нот с текстом на языке оригинала и с переводом на русский язык. В разговоре я сказала и о «Веселой грамматике», что ищу издательство, где бы ее взяли в работу. «Ну, что же! Давайте мне, я ее посмотрю!» – сказал мне Гурков.

На следующий день я уезжала. Утром захожу – встречаюсь с Гурковым. «Я всю ночь читал Вашу «Граматику» и всю ночь смеялся!.. Хотя наше издательство «Музыка», – говорит, – но поскольку Ваша работа – пособие для музыкальных вузов, мы издадим Вашу работу. Приезжайте через 2 месяца для окончательных переговоров». Это было в ноябре 1989 года. Так была достигнута договоренность об издании моей «Веселой грамматики» в ленинградском отделении издательства «Музыка». А нога уже правая у меня опять болела все сильнее и совсем иначе, чем раньше; без палки я уже не передвигалась даже в доме. Меня почему-то все посылали к гинекологу и говорили, что все в порядке.

Друг Славы по альпинизму, врач, проверил меня на рентгене, обследовал и сказал, что у меня стерся хрящ в бедре; что это часто бывает у стариков – можно делать операцию. Но на Украине ее делают

не очень удачно. И я решила ждать... Ведь пока еще хожу и работаю, ведь я не балерина, а преподаватель немецкого языка!

А жизнь не останавливается. Объективная реальность – как ни борись! $3 + 7 = 10!$ Появились у моей любимой внучки мальчишки. Ах, как не хочется мириться с этой неизбежностью – это так грустно, когда дети вырастают и уходит это счастье единения с ними. А вот уже моя ненаглядная ласточка, цветок моей жизни, не только выросла – вот она уже и замуж выходит... Ах, вот уже и вышла... и еще один новый человек опять пришел в мир – правнучка моя Екатерина и даже случайно – Дмитриевна. Вот она уже и подросла – скоро ей год. Я одна видела ее, когда она в первый раз пошла! Это чудо – первые в жизни самостоятельные шаги... Только вот это самое чудо кушать хочет... А у мамы молока уже нет – не доится она. Тогда встал этот самый главный и совершенно неразрешимый вопрос. Жизнь становилась невыносима: магазины стояли пустые; на рынке за бешеные деньги (а где их взять?!) можно было купить заграничное детское питание. Но пачки-то запечатанные, да и сроки годности неизвестны... Это просто опасно...

С началом перестройки вновь возникли надежды на перемены, на демократические реформы, на улучшение общих условий жизни, на какой-то порядок в экономике. И опять очень тяжелое впечатление на прогрессивную общественность произвела история снятия с поста Ельцина. А тот факт, что 19-я партконференция не восстановила его в партии, зримо подтвердил, что кардинальных перемен нет и не будет. После нее мой зять через друзей и их родственников в Израиле попросил вызов.

Все больше друзей уезжало – уехали Эся Марковна Мнухина, Юлий Григорьевич, их дочь и зять. Мы же, ожидая вызова, все еще не решили – все еще думали. И до вызова еще было время. Я решила съездить с внуком Кешей в Москву и Ленинград, пока он еще со мной. В остальном же, когда придет вызов, мы решили сделать так: вся семья дочери (она, ее муж, двое ее детей – моих внуков, и ребенок внучки) уедут, лишь только девочке исполнится 1 год (детей младше

1 года в самолете везти не разрешали). Муж внучки оставался (он хотел сдать экзамены – он был студентом Политехнического института). Я тоже остаюсь; я работаю; для меня важно издание моих работ, а дело это небыстрое.

Какие все люди разные! Не перестаю этому удивляться... Но почему столь различны, например, брат и сестра от одних родителей, мои любимые внуки – не могу объяснить себе этого. Иногда совсем становлюсь в тупик. Мне так хотелось передать им, Кате и Кеше, мою любовь и преклонение перед красотой нашей природы и нашей страны – ее рек и городов, ее музеев и архитектуры, ее литературы и поэзии, ее музыки и народного ремесла! Ну, и что? Ну такие они оба, Кеша и Катя, оказались разные, особенно Кеша – ну, совсем непонятный оказался для меня человек... Такой любимый – и такой другой, чем я.

Очень мне хотелось (ведь их отъезд был решен) показать Кеше Москву и Ленинград.

Были мы в Кремле; гуляли в московских парках, но, по-моему, действительно интересно ему было только на ВДНХ, да и то только в двух случаях: когда он залезал в модель спутника и в модель какого-то вертолета.

Ни животные, никакие павильоны республик не взволновали и не заинтересовали его. Так и не знаю, какие-нибудь впечатления о Москве остались ли у моего милого внука, или все это теперь забылось и «быльем поросло»?

В моем любимом Ленинграде были мы в Эрмитаже; по-моему, один только раз оживился мой ребенок, увидев скульптурные мраморные поясные портреты двух негров, кажется итальянской работы конца XVIII века. Думала, его заинтересует поездка по Неве на речном трамвае: так все красиво, видны дворцы и набережные, и я рассказываю ему об этом...

По приходе домой к моей сестре делится Кеша впечатлением – какое необыкновенное окно в речном трамвае, какой у окна замок, как оно опускается и запирается; рядом вода, а не проходит!

И не я его порадовала на прощанье – а он меня. Молчаливое внимание этого мальчика в 8–10 лет ко мне и моей работе: лежат у меня на столе камни – он мне принес, заметив, что от ветра летят листки бумаги, когда я пишу: «Это я тебе принес, чтобы тебе было удобней!» А вот фигурка из Литвы, где он был с мамой в музее чертей – вспомнил, что Баке будет интересно, и привез мне глиняную фигурку. А в зоопарке при входе стоял мотоцикл. Так мы остановились и 1,5 часа даже не сошли с места: смотрели на мотоцикл. До зверей не дошли... Родной мой, такой любимый и так малопонятный для меня, теперь уже взрослый внук! Я никогда не увижу тебя... Если бы я была верующим человеком, я бы молилась за тебя и верила бы, что это поможет тебе быть счастливым... Но я не верю, а все равно мое самое большое желание, чтобы ты был счастлив. Не верю, но думаю о тебе всегда и очень горжусь тобой!

И еще один такой дорогой мне человек – тоже внук; тоже уже взрослый. Какой он «ясный человек»! Приходил – и всем сразу делалось хорошо на душе; и от него, от Ильюшеньки, подарки – складная палка (чтобы легче было с ней в транспорт садиться). А как ты помогал мне выходить из бассейна! Как любили тебя малыши – твоя племянница, с которой ты даже скалолазаньем занимался...

А вот твоя лягушка (твоей работы), что ты подарил, уезжая, своей сестре, – этот символ семейного благополучия – сидит на моем письменном столе и смотрит на меня. Твои графические виды Ленинграда (ты художник!) тоже всегда со мной.

Я люблю эти вещи – они хранят тепло ваших рук, от них свет ваших сердец светит мне издалека, отражаясь в этих вещах... Это знаки связи с прошлым.

Когда не остается ничего в будущем – прошлое становится так бесконечно близко и дорого!

У тебя, Ильюша, дарование также и к спорту, ты часто работаешь спортивным тренером то по лыжам, то по плаванию. И сейчас ты живешь в Ванкувере, работаешь спортивным тренером и занимаешься витражами.

А Кеша по-прежнему увлекается мотоциклами; работает, даже не знаю кем, но кем-то очень умным – окончил колледж, сам за себя платил, работая. Боже, как я хочу счастья для вас! Такого, какого вы сами себе хотите... Ведь я уже совсем не понимаю вас и не представляю вашей жизни...

Когда стало все более понятно, что все мои (моё Всё) – дети, внуки и правнучка, уедут, я попросила зятя Борю еще раз съездить со мной навестить мою маму.

По просьбе Эси Марковны она теперь жила в поселке Липцы в доме для психохроников. Туда ходил автобус – не от нас – с другого конца Харькова. Это было для меня (нога-то болела!) трудное дело – ведь еще и сумки с собой. Я навещала ее раз в месяц, но это каждый раз было так трудно! После долгого пути в автобусе надо было с сумками идти довольно далеко – около часа – пешком. На самом дальнем краю поселка был когда-то выгон для скота; последние несколько домов (один из них двухэтажный, довольно большой) и несколько одноэтажных домиков теперь занимали эти неизлечимо больные люди.

Одно время мама жила в одноэтажном домике на самом краю участка, этого бывшего выгона. В доме было несколько комнат, умывальник; туалет – деревянная будка – на улице.

В эти несколько приездов (около полугода!) мама жила в одной комнате с двумя другими женщинами. Состояние ее все время становилось менее активным; она теряла память. Для нее время остановилось тогда, когда мы отвезли ее в больницу: мою внучку она принимала за мою дочь; меня иногда узнавала, иногда – нет; в бреду участвовали Малиновский и давно умершие ее родители; иногда Борю она принимала за моего сына Митю, а иногда вообще не вспоминала ничего, кроме крыс, голода и бомбежек. Глаза ее становились какими-то выцветшими и мутными; она сама и даже ее бред – все более вялым.

Мы с Борей поехали к ней в конце апреля. Войдя на территорию, мы оба как бы окаменели. Боря удержал меня – мы стояли и не могли двинуться с места.

Перед нами открылся невероятный вид – как бы «сад уродов»; больные со всеми явными признаками их болезненного психического и физического состояния заполняли весь бывший выгон для скота. Больных было очень много, думаю около ста человек – погода была прекрасная, трава уже зеленела. Весь бывший выгон был усажен молодыми разворачивающимися листву деревьями, в руку толщиной; каждое деревце было подвязано к шесту, толстой палке. Деревца были посажены «квадратно-гнездовым способом» – через каждые 2,5 метра. Яркое солнце заливало эту страшную сцену – эти больные гуляли по дорожкам; некоторые парами, другие поодиночке. Одни молча, кто-то смеялся, кто-то плакал и жестикулировал.

Через некоторое время мы опомнились. Я говорю Боре: «Ну, это же просто больные люди. Им надо гулять, дышать воздухом... Пойдем – там вон домик, где мама живет!» И мы двинулись.

И вот тогда мы заметили, что на каждой палке, к которой были привязаны деревца, были прибиты... лозунги: «Догнать и перегнать Америку!», «Водитель! Не уверен – не обгоняй! Тебя ждут жена и дети!», «Профсоюзы – школа коммунизма!», «Все силы бросим на выполнение решений XXV партсъезда!»

Одна с ужасно искаженным лицом женщина стояла рядом с лозунгом: «Наше поколение будет жить при коммунизме!» Она что-то говорила не то этому дереву, не то себе, не то лозунгу... «Больше зерновых – больше мяса!» «Молодежь – борись за мир!» «Экономика должна быть экономной!» «Берегите природу!» Иногда лозунги повторялись – рядом оказывалась другая пара или один больной; некоторые что-то говорили друг другу. Может быть, некоторые даже читали эти лозунги... Интересно, что они при этом думали?..

Где лежали эти фанерные доски! Кому пришло в голову использовать их для наглядной агитации среди больных этого лечебного заведения? Это что – недомыслие такое чудовищное? Или экономия, чтобы «добро не пропало»? Что там Оруэлл... Мы с Борей вполне чувствовали себя в одном громадном, распространившемся на всё и всех сумасшедшем доме...

А погода стояла великолепная: листочки начинали разворачиваться, трава зеленела, и все население этого заведения – все разнообразие этих несчастных больных – безжалостно ярко освещалось весенним солнцем; их лица и манеры в сочетании с лозунгами... Это незабываемо... Даже в автобусе мы ехали с Борей молча, потрясенные увиденным.

Маме стало еще хуже: ее перевели в большой дом; она так ослабла, что почти не вставала. Это было мое последнее свидание с нею – она умерла на той же неделе...

Ну, и вот что произошло дальше.

Весной 1989 года были выборы в Верховный Совет – при Горбачеве – первый раз. От Харькова были выдвинуты поэт Евгений Евтушенко и редактор «Огонька» Владимир Коротич. В предвыборной кампании очень активно участвовал коллектив трио Г. Дикштейн, Б. Магальник и М. Розенталь; из Москвы приехали Сергей и Татьяна Никитины. Они все давали концерты, так сказать в «культурной программе» перед выборами. Стали очень популярны.

Уже после выборов, 28 ноября 1990 года, был концерт нашего трио в Харькове. Его передавали по харьковскому телевидению. И вот ведущий неожиданно обратился к участникам концерта, не думают ли они уезжать из страны? Вопрос был поставлен совершенно неожиданно, и первого почему-то спросили Борю... Он сказал: «Да, думаю...» Остальные сказали: «Нет, нет! Что Вы? Нет! Нет!» (Все они теперь в США – уехали на полгода позже нас!). Потом мне Боря сказал: «Я не ожидал и очень растерялся».

Через два дня после этой передачи был очередной ученый совет в нашем институте. Юрий Маркович приходит после совета бледный, руки у него дрожат. Он не знает, как начать разговор со мной... и я поняла: меня увольняют... Мою ставку срезали, мне сказано не подавать на конкурс – я работаю только до 10 июля 1991 года и уйду на пенсию. Горько мне очень, но уже ничего сделать нельзя. Я же не собиралась уезжать, я хотела работать. Однажды Юрий Маркович сказал мне: «Вы будете работать со мной столько, сколько буду работать

я». И вот теперь он чувствует себя виноватым, что не смог отстоять меня. Решение ректората и партбюро было столь категоричным, что возражать было бессмысленно.

Но, пока суд да дело, я вынуждена была в любом случае ждать. И я решила для себя: «Веселая грамматика» немецкого языка, мною написанная – для русскодумающих и русскоговорящих. Мое место в СССР. Некуда мне ехать, если эту книгу издадут. Ну, значит, надо ждать. Теперь ждать решения вопроса в издательстве в Ленинграде.

19 января 1991 года девочке исполняется год – 26 января они уезжают в Москву, потом в аэропорт и дальше – в Израиль.

Я остаюсь дома. Со мной Люда. Даже на вокзал у меня нет сил ехать: хлопанье дверей (две машины) – друзья увозят их на вокзал. Полгода, до самого моего отъезда, стоял у меня в ушах этот звук захлопывающихся дверей и отъезжающих со двора машин.

По договоренности с Владимиром Несторовичем Гурковым еду в Ленинград в начале февраля. Он крайне смущен; сообщает мне о том, что сокращают почти всех редакторов; закрывают уже идущие в работу книги и ноты. «Я не имею права обманывать Вас, – говорит он, – что будет с издательством совершенно непонятно. Ваша семья уехала. Вам нужна операция. Уезжайте... Я не могу ни предвидеть того, что будет, ни обещать Вам что-то определенное».

Ну вот. Закончилась моя не просто еще одна глава, а едва ли не все предыдущие главы моей жизни. Может ли конец стать началом? Может быть, но не в 66 лет, а мне уже 66... Со мной Люда, Славик, муж внучки Дима, мой сын Митя. И Славик, и Дима, и Боря по телефону из Израиля, и бывший аспирант моего бывшего мужа, когда-то живший у нас, Виталий Мильман – все уговаривают меня уехать. Оставаться в Харькове? Зачем? Работы – нет; перспектив на издание – нет. У Люды на руках – парализованная мать. Мне 66, и мне нужна операция (уже тогда было ясно, что необходима).

Решение принято, и мой отъезд становится неизбежным. Но время еще есть – в мае принимаю в последний раз зачеты и экзамены; читаю в общежитии последнюю лекцию. Надо съездить проститься с

сестрами: Оля – в Волгодонске, Леся – в Ленинграде. Потом все дела завершу в Харькове и уеду в середине июля; оформление всех документов тоже займет какое-то время.

Я и сама понимаю, и сестры понимают, что уезжаю навсегда, что мы видимся в последний раз. Каждая такая разлука – куски сердца с незаживающими потеками крови... Но я не могу – всю свою жизнь я жила с семьей дочери и с ее детьми – я не могу расстаться с ними, ничто и никто мне не может быть дороже, чем они.

А вот мое прощание с Ленинградом стало для меня неожиданным по силе воздействия и по необычности.

Начало июня. Белые ночи. Кто сказал, что они белые? С вечера они сиреневые, а утром – бледно-золотистые и голубые. Я иду по тем местам, где сотни раз ходила – ребенком и солдаткой, счастливой и осиротевшей, полной сил и умирающей от голода, под музыку и под обстрелы. И в моей смятенной и смешанной голове все это проходит одновременно... Я не могу этого объяснить себе, и сама же не могу понять этого.

Невский... вмерзшие в снегу вагоны с оторванными дверями и, не доходя до угла Знаменской, – магазин «Соки и мороженое», и я вижу в нем своих одноклассниц: вон там, у стойки, где мы всегда пили соки и ели мороженое, – две Люси и две Вали... Какие они хорошенькие! Мы смеялись когда-то, что сироп назывался «свежее сено». Разве мы коровы? Ха, ха! Как было весело... Они смеются мне, я киваю и тоже улыбаюсь.

Иду, опираясь на палку по «нашей солнечной, теплой» стороне Невского... Громадный обрушенный дом – вижу фанеру – изнутри замаскирован фасад: весь дом обрушен, лишь передняя стена стоит... Это дом, где погибла моя подруга, одна из Люсь, что я видела только что в «Соках». Подхожу ближе – вместо фанер – стекла сверкают на солнце, ворота открыты, виден проход во двор и двор... Дом-то оказывается отреставрирован! Почти рядом освещенный, работающий кинотеатр «Титан» и магазин слайдов; там я покупала их для своих лекций, бывая в Ленинграде. Очень плохое качество,

все они оказались скоро непригодны. Жаль! Впрочем, не все ли равно? Теперь-то...

Иду по набережной Невы – величавая серо-сиреневая масса воды и со мной рядом мои друзья – давно умершие и погибшие во время войны – мальчики в форме военных школ, это за два года до войны... Подхожу к Летнему саду, сворачиваю – идет мне навстречу «умерший от ран» Виктор Богданов; он идет, улыбаясь; рубашка на нем летняя, без рукавов, он без пиджака; он машет мне рукой и «мы» (т. е. я) садимся на ту скамейку, где сидели с ним часто уже во время войны, когда он занимался маскировкой города. Тогда не было статуй, их при нас укладывали в деревянные ящики, засыпали песком и увозили. Сейчас они стоят. В клумбе цветут тюльпаны... А тогда были астры.

Я встаю (уже отдохнула), опираясь на палку, выхожу на набережную канала. На той стороне, наискосок через Марсово поле, угловой дом выходит на набережную Невы. Он освещен солнцем, отреставрирован. А я вижу как бы то, что внутри, как будто у него стены прозрачны. Этот дом взорван бомбой, наверное; на верхнем этаже висит кусок крыши, под ней еще виден угол квартиры; на стенке какая-то одежда на вешалке и зеркало, косой пол с куском стены, а в покосившемся этом углу пола чудом висит, не падает почему-то – рояль.

Как странно!.. Дети говорили мне: «Мама, ты у нас фантазерка, ну просто невозможная!..» Наверное, это так и есть.

Поворачиваю и иду к Литейному, к дому по Пантелеймоновской улице. Слева – какой-то красивый особняк – в нем когда-то была выставка цветов и овощей – мы там были; дальше ограда сада и вдоль нее высоченные книжные шкафы – в 1,5 этажа – это букинисты. Шкафы в линию, их, кажется, было пять; и лестница вроде пожарной – чтобы залезать и перебирать книги на полках. Мы часто с папой сюда заходили, когда я была школьницей, и покупали книги. «Но я теперь ведь не залезу по лестнице», – думаю я... и вижу на одной стороне эти высокие книжные шкафы букинистов с лестницей, где мы с папой так часто покупали мне много книг... Только я сквозь шкафы вижу забор (ленинградский, такие чугунные копы), за ними – сад неболь-

шой, старые деревья и дом. Ну, раньше я этого никогда не видела?.. Так ведь шкафов же нет!

Я отворачиваюсь от несуществующих шкафов, смотрю на другую сторону этой улицы и там вижу: ледяная гора у лопнувшего водопровода и люди ползут в гору и с горы с чайниками и кастрюлями; вижу эти блокадные лица и плачущую женщину, у которой слезы сбегают по черным от копоти щекам, превращаясь в шарики льда. Она упала и разлила воду... и даже нельзя понять – старая она или молодая... Но я все-таки понимаю, что этого на самом деле уже нет...

Вот дом на углу Литейного – весь в мемориальных досках: там, кажется, жили не только все ленинградские детские писатели, а и вся редакция журнала «Костер».

Перехожу Литейный. Вот церковь в сквере с турецкими пушками и цепями, где мы играли. Не эти ли пушки взяты и привезены московским полком, что стоял на Сенатской площади 14 декабря, потом сражался в Русско-турецкой войне и вернулся со славой через всю Россию, везя эти пушки? И не этих ли пушек касались руки 20 солдатских жен, проделавших с полком весь этот поход? А вот двор, где жила семья декабристов Муравьевых. И странно живет во мне всё одновременно; я, еще ребенок, мои друзья юности вместе со мною и даже все то, что я прочитала и продумала для своих лекций, и любимые стихи Пушкина звучат музыкой...

Прохожу по Надеждинской улице, минуя свой Саперный, поворачиваю в Басков переулок – хочу пройти мимо своей школы. Здание есть, но что в нем – не написано. Напротив серый дом – там была квартира Л. Утесова. Там жил юноша, который признался мне в любви уже в солдатской форме. Лева Шейдин – он тоже погиб.

Поворачиваю на Знаменскую, иду по направлению к Кирочной улице, но совсем близко за аптекой (она прежняя, старинная, на втором этаже). Заворачиваю в странный узкий и кривой, как самоварная труба, сгибающийся под прямым углом переулок, со Знаменской улицы – выхожу на свой Саперный переулок. Напротив, через переулок – наша дверь. Сюда выходят окна двух комнат – на переулок.

Я стою напротив нашего дома, там, где я ждала со страхом – нет ли чего-то опасного... Не арестован ли отец; у меня в руках чемоданчик; в нем деньги, чтобы бежать на поезд и добираться до тети Кати.

А вот мое окно – там всегда любила сидеть моя Бебочка; она ждала меня всегда... Вот знакомые гранитные тумбы – когда-то к ним привязывали лошадей. Теперь переулок заасфальтирован.

Наши окна странно необитаемы: грязные, без занавесок, без цветов. Наверное, в квартире никто не живет. Наш двор совсем открыт, садик чистенький. А в тупичке, который на этой стороне Знаменской улицы за Саперным переулком, на месте дома, где жила Надежда Николаевна Хитрово, построена школа, и ее номер 193. Так это же моя школа! Она была в Басковом переулке – теперь она напротив окон нашей квартиры, выходивших во двор, двор открыт для прохода.

А вот около этого окна на улицу стоял стол, где папа занимался со мной... И вдруг я спросила себя, что осталось во мне вот теперь, когда я уже на два года прожила дольше, чем было суждено ему? Я уже не помню ни геометрии, ни алгебры, ни физики. Пожалуй, осталось только одно – упорство в работе, умение заниматься. Занятия с папой учили побеждать себя саму – свою неспособность к чему-то – побеждать упорством и трудолюбием. Учили чувству удовлетворения от этих побед. Может быть, это и был итог наших занятий на всю мою последующую жизнь.

Как красив этот «просто переулок»! Наш дом и другие его дома. Оказывается, в соседнем доме жил Мамин-Сибиряк...

И как прекрасен весь Петербург – мой Ленинград. Я, пожалуй, впервые чувствую, что архитектура – это замершая в неподвижности музыка! И какое единство всего города (доблокадного, конечно)! Как каждый дом в своей улице входит в свою группу, какой общий симфонический ансамбль! И у каждого дома – свой «голос»... И я чувствую, что все это прошлое растворено во мне, что все – неразрывно, едино; что я в нем, а оно – во мне.

Да, неразрывно. Уезжая, я увезу все это в себе. Может быть, моя

любовь не угаснет совсем, и все же хоть и не полностью, но еще будет жить в моих детях и внуках... А может быть, и нет. Как знать?

И в последний раз уезжаю с такого до боли знакомого Московского вокзала в Ленинграде. Они почти одинаковые в Ленинграде и в Москве... Сколько связано с этими поездками... Поезд Ленинград–Харьков – теперь есть и такой.

Осталось теперь одно. Надо было разрушить «построенный» мною дом – дом моей семьи, в котором я прожила 35 лет. Это больно, и мне – сильно болеющей и немолодой – очень трудно физически.

Скорее, скорее! Продаю все, что можно продать: рояль и обстановку столовой на грузовике увозят знакомые в Кутаиси... Как жаль, рояль – как что-то живое, как голос всей моей закончившейся жизни.

Помогают Миша Розенталь и его жена Марина. Продаю и раздаю книги. Люда и подруга внучки по училищу помогает укладывать вещи. Но все увезти невозможно... да и куда? Митя и Славик отправляют ящики с багажом. Все деньги отдаю Люде, чтобы купила сад у матери Димы, думаю, там фрукты, земля – проживут со своими овощами и фруктами.

Боже мой, как страшно теперь в нашем доме! Как в квартире «тесно от оставшихся в нем душ, и как пусто без уехавших из него тел».

12 июля 1991 года выезжаю в Москву. Последняя встреча с семьей сына Пети, с московскими друзьями. В аэропорт провожают меня Петя, Люда и Марина Розенталь. Ухожу за стойку, вижу их лица – в последний раз.

ЭПИЛОГ

Можно ли повернуть голову на 180 градусов?
Вот именно этой гимнастикой я и занимаюсь.

То мои мысли и мой взгляд прикованы к будущему как всеобщему – даже в масштабах нашего прекрасного и так легко уязвимого земного мира, то к личному – моим внукам и правнукам, к их будущему.

Но это все – будущее – уже не мое; скорее, это итоги моего прошлого – жизни и даже опыта. Здесь нет у меня чувства, что это моя некая новая жизнь. Слишком неразрывна я со своим прошлым, которое странно, уйдя, остается со мной.

Я прожила долгую жизнь и узнала, кажется, все чувства, свойственные человеку: радость любимой работы и искания в ней; любовь, страсть и счастье материнства – без чего, наверное, невозможно счастье женщины; я встретила в жизни так много хороших и интересных людей...

Более того, верный признак любви – постоянное присутствие любимого. Он ушел, но – страшно сказать! – он всю жизнь был и есть со мной. Душа моя навсегда осталась (и остается до моего последнего вздоха) «сиамским близнецом».

Даже ненависть я тоже испытала, хотя без этого чувства я вполне могла бы прожить, но... не получилось!

Единственное, чего я не знала никогда (с детских лет, и надеюсь, что до последнего часа не узнаю), только одного состояния, – скуки. Мне всегда не хватало времени, мне всегда хотелось сделать что-то еще, мне всегда было интересно делать то, что я делала. Я думаю, что это один из компонентов состояния «счастья». Не каждый человек может сказать: я был счастлив. А я была...

Содержание

От публикатора	5
Предыстория	9
Жизнь первая	30
Жизнь вторая	135
Жизнь третья	265
Жизнь четвертая	447
Жизнь пятая	516
Эпилог	662

Литературно-документальное издание

Екатерина Дмитриевна Мышкис

МОИ ПЯТЬ ЖИЗНЕЙ
Воспоминания

Издание подготовил
Григорий Израилевич Ганзбург

Издатель *Леонид Янович*
Корректор *Оксана Зеленская*
Верстка и оригинал-макет *Андрей Янович*
Обложка *Владимир Хананов*

Налоговая льгота –
Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2;
953000 – книги, брошюры
НП Издательство «Новый хронограф»
Контактный телефон +7 (916) 651-3094
по вопросам реализации +7 (985) 427-9193
E-mail: nkhronograf@mail.ru
Информация об издательстве: <http://www.novhron.info>
Подписано к печати 20.05.2019
Формат 70х90/16. Бумага офсетная № 1
Печать офсетная. Усл.-печ. л. – 42,5.
Тираж 500 экз. Заказ №

Отпечатано в АО «ИПК «Чувашия»
428019, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 13.

ISBN 978-5-94881-449-0



9 785948 814490



Екатерина Дмитриевна Мышкис. 1970-е гг.



С дочерью Катей и внучкой Катей. 1980-е гг.



С матерью - Татьяной Геннадьевной, урожденной Бориславской. 1925 г.



Е.Д. Мышкис с Якутиной



В день регистрации новорожденной внучки. 1971 г.



Ермаков Дмитрий Семенович - отец А.Д.Мышкиса.



**Хая Самойловна Мышкис, мать А.Д.Мышкиса,
свекровь Е.Д.Мышкис.**



В.Д.Кутырин - дед Е.Д. Мышкис.



Лидия Владимировна Жарова, урожденная Кутырина - тетка Е.Д. Мышкис.



Дм.В.Кутырин,
отец Е.Д.Мышкис.



К. Фишеръ
въ Москвѣ.
Кувнецкій мостъ №

Лидия Владимировна Жарова



Дмитрий Кутырин



Дмитрий Кутырин



Екатерина Кутырина



Екатерина Кутырина



Екатерина Попперк



Екатерина Попперек

Автобиография.

Я, Мухомов Владимир Дмитриевич, родился в 1924 г. в Москве в семье служащего. Отец - Кузьма Дмитриевич Владимирский, последнее место работы - Замосковский директор по научной работе Ленинградского филиала НИИ № 24. Он умер в Ленинграде 1941-1942 г. Мать - Сидорова Мария Ивановна преподавала немецкий и французский языки. Она находилась в доме дня нехв-хроников.

В 1929 г. семья переехала в Москву в Ленинград, где я окончил школу № 193 и поступил на отделение Германской филологии ЛГУ в 1941-42 гг. работал в библиотеке, в апреле 1942 г. бегло эвакуировался в с. Велье Свердловской области, где работала воспитательницей в детдоме. В 1942 г. поступила на кафедру Свердловского педагогического института; в 1943 г. вышла замуж за Виктора Владимировича Таболинского, переехала в Москву и закончила Ленинградский областной педагогический институт в 1946 г. с специальностью аспирантуру только по институту. В 1951 г. защитила диссертацию и получила звание кандидата исторических наук. По приезде в Москву я работала с мужем. Последнее место работы - Институт «Восход», основательницей секретаря парткомитета. Мой брак был оформлен в 1956 г. и с тех пор я именуюсь Мухомов. В 1949 г. семья переехала в Пензу, пошла из-за болезни ребенка мы переехали в Минск, где я работала по историческому факультету до 1956 г., а в 1956 г. мы переехали в Харьков. В Харьковской Государственной Университете я работала по историческому факультету до 1961 г. За это время я закончила (заочно) вечернее отделение факультета иностранных языков и работала с группой студентов-иностранцев переводчицей на турбазном заводе.

С ноября 1961. перешла на кафедру иностранных языков Харювской Государственной Консерватории в качестве преподавателя немецкого языка; сейчас исполняю обязанности доцента. Веду занятия по истории иobraжательного искусства по общему «Знанию». В настоящее время я разведена с мужем. Александр Дмитриевич Мочулис также в Москве и работает в институте телезащиты транспорта.

Сын Мочулис Петр Александрович работает в Москве в Автодорожном институте, ассистент. Адрес: Москва, пр. Ленина д. 3 кв. 24.

Сын Мочулис Дмитрий Александрович, работает в Харюк. НИИ проблем машиностроения, инженер. Адрес: Краснознаменная 79 кв. 74.

Дочь Мочулис Екатерина Александровна, временно не работает, проживает вместе со мной.


Внука Мочулис Екатерина Борисовна, школьница, проживает вместе со мной.

Мои родственники и я сама к судьбой твердости не привлекательны мой адрес

Харюв 84, ул. Гамова 15 кв. 13

тел. 44-07-87

3/11-86 Е.Д. Мышкис

	<p>«Все студенты обязаны сдавать экзамены за полный курс каждого предмета, вошедшего в учебные планы, а также сдавать зачеты по практическим работам после того, как данный курс прослушан студентами полностью.</p> <p>Экзамены по сложным предметам, имеющим самостоятельные разделы, проводятся по частям, но не чаще, чем два раза в год.</p> <p>(Из постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 23 июня 1936 г. «О работе высших учебных заведений и о руководстве высшей школой».)</p> <p>«Перевод студентов с курса на курс производится один раз в год.</p> <p>Экзамены принимаются только профессорами, доцентами и старшими преподавателями, а зачеты также ассистентами и преподавателями.</p> <p>Успеваемость студентов определяется следующим образом:</p> <p>1) «отлично», 2) «хорошо», 3) «удовлетворительно», 4) «неудовлетворительно».</p> <p>Каждому студенту выдается единый студенческий билет и единый матрикул (зачетная книжка). В матрикул записываются все предметы, обязательные для прохождения и сдачи во экзаменах и зачетах. Отпуска в матрикуле проставляются лицами, производящими экзамены и принимающими зачеты.</p> <p>(Из того же указа высшего учебного заведения, утвержденного постановом СНК СССР от 9/IX 1935 г.)</p>
<p>личная подпись студента</p>	<p>Народный Комиссариат Просвещения РСФСР <u>Московский Высший Педагогический институт</u> <small>(полное наименование университета или института)</small></p> <p>ЗАЧЕТНАЯ КНИЖКА № 450573</p> <p>Фамилия, имя, отчество <u>Гингерика Евдочья Диди</u></p> <p>Факультет <u>Исторический</u></p> <p>Поступил (переведен) на <u>II</u> курс из <u>Ленинградского Педагогического ин-та</u></p> <p>Зам. директора по учебной части <u>М. Я. ...</u></p> <p>Декан факультета <u>Л. В. ...</u></p> <p><u>28 декабря 1945 года</u> <small>(дата выдачи зачетной книжки)</small></p>

Зачетка Е.Д. Мышкис